

томская классика

Георгий
Гребенщиков

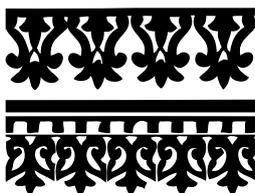
Георгий Гребенщиков

томская
классика

III



томская
классика





Георгий Гребенщиков

Избранное

Томск-2014

УДК 821.161.1-32 Гребенщиков
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г 79

Гребенщиков Георгий Дмитриевич. Избранное. Книжная серия «Томская классика» — Томск:, 2014. — 460 с. Составитель и автор послесловия А. Казаркин.

Книжная серия «Томская классика»
выходит при поддержке губернатора Томской области
Сергея Анатольевича Жвачкина

Томская писательская организация благодарит
руководителей ООО «Межениновская птицефабрика»
Андрея Андреевича Чуркина,
Леонида Викторовича Ющенко,
Владимира Николаевича Хорошилова,
Фёдора Николаевича Халецкого
за финансирование издательского проекта
«Томская классика»

В книгу вошли рассказы Г. Д. Гребенщикова и автобиографическая повесть «Егоркина жизнь».

Издание даёт представление о наследии крупнейшего писателя-сибиряка, чьё творческое становление было связано с Томском.

ISBN 5-902350-01-8
ISBN 5-902350-10-7

© А. П. Казаркин: составление, 2014
© Томская писательская
организация: переиздание, 2014

Лесные короли

I

Михаил Григорьевич любил своё лесничество, как самого себя. Он был холостяком, охотником по перу и пуху, и большую часть времени проводил в лесу.

Часто, отправляясь в лес, он чувствовал какую-то отеческую нежность к каждому деревцу, всякому ручью, дорожке, камешку, как будто всё это были давнишние и младшие друзья, которых надо заботливо любить и охранять.

Иногда, не выезжая в лес с неделю, он обстоятельно расспрашивал объездчиков о новостях и происшествиях в лесу, и как бы между прочим вдруг припоминал:

— А что, сосна у Крутого ключа, помнишь, с затесью, поправилась?

И, получив подробный рапорт о сосне, лесничий наставлял:

— Там у Бродка есть старая берёза с кокоринной, в дуге кокоринны губа растёт, так ты посматривай — я берегу их для коллекции...

И объездчик следил за сосной и за берёзовой губой, и в следующий раз, не ожидая вопроса, докладывал:

— Так что затесь на сосне покрылась серой... Сосна в добром здоровье, только что верхушка пошла вширь... Должно, рост остановился.

Михаил Григорьевич был доволен, что его объездчик смыслит в лесоведении, и говорил:

— Хорошо... Спасибо...

Объездчик же рапортовал дальше:

— Так что и губа вашего высокородия.., берёзовая то есть, в сохранности...

Михаил Григорьевич улыбался неудачному выражению объездчика, потом расспрашивал о глухарях, о том, не высыпали ли тетерева, если дело было летом, о раскраске белки — если осенью.

Сведущий объездчик вдруг преображался и спешил:

— Семь кулём, вашескородье, конфисковал... Должно, опять Антроповы сыны наставили...

— Так, так, так... — твёрдо поощрял Михаил Григорьевич. — Кулёмы — к чёрту, к чёрту, а охотников лови, лови, да — в протокол... Капканами брать зверя в моём лесу я не позволю.

Возмущённый сообщением, он вскоре ехал на охоту и самолично, зорко, через золотые очки посматривал между деревьев, нет ли коварного и скрытого врага зверей — кулёмы или капкана.

Обыкновенно на охоту ездил он на паре простых лошадок, в простом плетёном коробке, и кроме объездчика на козлах брал объездчика верхом, который то и дело по указанию лесничего делал разведки насчёт дичи, а главное, ловил или проверял порубщиков.

Михаил Григорьевич одевался просто: в бобриковую верблюжью тужурку, в высокие простые сапоги, в ушанку-шапку без кокарды. Большого роста, плотный, с полуседой подстриженной бородкой, он походил на прасола, торгующего лошадьми, если бы не носил золотых очков и не обладал певучим, мягким, барским голосом.

Ездить с утра до вечера по лесу, осматривать, считать пеньки, о том о сём калякать с лесниками, ночевать в палатке у костра — для Михаила Григорьевича было настоящей жизнью, в которой он был добр и весел. Сидеть же дома, составлять бумаги, подписывать билеты, читать начальнические циркуляры или выслушивать рассказы старой экономки о новостях и сплетнях на селе было для него ленивым прозябанием, которое давило скукой и клонило в долгий и тяжёлый сон.

Оттого и в холостой его квартире было неудобно, всё разбросано, запылено и одиноко. И оттого же Михаил Григорьевич всё чаще уезжал в леса, раскинувшиеся на сотни вёрст по горам, по долам и долинам рек и речек.

Иногда, заехав на одну из гор, лесничий, прищурившись, оглядывал синеющие дали и с чувством глубокого удовлетворения думал: «Да, есть где поохотиться... Есть где побродяжить».

И Михаилу Григорьевичу хотелось в этот миг загородить огромное лесничество высокой стеной, у ворот поставить стражу и царствовать в лесу единолично... Пусть бы рос и дичал лес, плодились и множились звери и птицы, а Михаил Григорьевич бродил бы в нём, как в запущенном саду, и только изредка бы пропускал гостей из города и угощал бы их неслыханной охотой.

Но эти думы посещали Михаила Григорьевича ненадолго. Он тут же внутренне смеялся над собою, считал свои мечты вздором, а себя — старым дураком, к которому прокрался бес в ребро...

II

Был у Михаила Григорьевича грех один.

Он прятал этот грех от всех, кривил из-за него душою, боролся сам с собою, потому что был не молод и не глуп, но всё-таки грех над ним властвовал. Он часто против воли тянул его в лес, туда, в Медвежий лог, где в синеве густого кедрача на дне ущелья запряталась заимка богача Антропа с большим, в два этажа, кедровым домом.

Однажды, год назад, Михаил Григорьевич в дождливую погоду заехал на заимку ночью. Антропа дома не было. Он был на ярмарке, а сын его, большак Самойло, с женою ушёл помогать тестю — строили амбар в селе. Дома были меньшаки Антропа, немая дочь его от первой бабы и молодая Зеновея.

С лесничим были два объездчика. Их приняли в двух помещениях: объездчиков — внизу, в избе, где спали меньшаки Антропа, а Михаила Григорьевича — в горнице, где находилась Зеновея с дочками Самойлы.

Лесничий в первый раз увидел Зеновею, недавно вышедшую за Антропа. При свете восковой свечи, с которой Зеновея встретила лесничего в дверях, он увидел красивое, открытое лицо, смугло-матовую и высокую, обвитую янтарями шею и пышные, крутые плечи, не покрытые ничем. Зеновея не сконфузилась и громко, певуче приветствовала гостя.

— Проходи-ка, здорово живёшь... А мы уж спать легли, ишь, я в одной юбчонке.

На полу в горнице лежала мягкая перина, а на ней, разметавшись, спали две маленькие светловолосые девчурки.

Случилось как-то так, что Михаил Григорьевич не захотел ни есть, ни пить, и Зеновея не настаивала. Она переложила девочек с перины на кошму, перетрясла, расправила постель, подвинула её в передний угол и, почёсывая грудь, сказала:

— Ложись-ка, спи давай...

Михаил Григорьевич стоял в двери, как бы боясь, что Зеновея выйдет, и, не узнавая собственного голоса, спросил:

— А ты-то где же ляжешь?

Молодуха повернула к нему голову, потрянула тяжёлыми серёжками, усмехнулась широко, оскалив белый ряд зубов, и весело сказала:

— Дыть ты, поди, меня не съешь!.. Тут же, подле девчонок, и улягусь...

Михаил Григорьевич в ту ночь, как никогда, был разговорчив... Никогда, даже в гимназические годы, он не говорил так горячо и молодо, как в эту ночь. Десятки лет свалились с его плеч, и в сердце заползла такая жажда жизни, такая смелость

и отвага, что он не узнавал себя... и молодая, казавшаяся уверенной и довольной баба ослабела, расплакалась, рассказала шёпотом про своё короткое житьё-бытьё со старым ненавистным мужем, про своё сиротство и нужду в девичестве, а на заре сама пришла к Михаилу Григорьевичу.

С тех пор между ним и Зеновеей возникла связь, воровская, узловатая, но крепкая и неизбежная, как смерть.

Михаил Григорьевич в любовь не верил, и то, что чувствовал к жене Антропа, не считал любовью. Но каждый раз, когда ехал по лесу, против воли попадал в Медвежий лог и заезжал к Антропу. Когда же видел Зеновею, ядрёную и молодую, весь загорался желанием открыто отобрать её у старого Антропа и увезти куда-нибудь в лесную глушь, зажить там попросту и никуда не выезжать.

Любила ли его Зеновея, он не знал. Но чувствовал и видел, как при встрече с ним в глазах её, светло-голубых и бойких, загоралась страсть, и как ловко и настойчиво она обманывала всех, воруя час и место для свидания с ним...

Он также чувствовал, что не похоть связывает их друг с другом. В бойкой, гордой бабе он не видел рабства, он видел в ней простого неиспорченного человека и не считал её виновной в том, что она обманывает мужа. Может быть, это происходило оттого, что он невольно чувствовал к Антропу страх и в разговоре с ним кривил душой. Старался быть с ним строгим и решительным, и на словах не делал никаких поблажек насчёт лесу, хотя и знал, что Антроп безнаказанно ворует лес, живёт в нём неограниченным хозяином и истребляет птицу и зверя всеми недозволёнными способами...

Михаил Григорьевич часто бродил с ружьём по лесу, терзался разными сомненьями и злыми думами прогнать Антропа, и снова заезжал в Медвежий лог, то будто мимоездом, то будто по делам...

III

Стоял декабрь, морозный и буранливый, с пургой и вьюгами, и с непроезжими путями. Снег был ещё рыхлый, и ходить на лыжах было трудно.

Михаил Григорьевич давно не ездил никуда и лишь пешком бродил в окрестностях своей усадьбы, стоявшей на краю села, у склона заросшей пихтачом горы. Он уходил далеко, забирался в тесные семейства темноствольных пихт и выслеживал красивых горностаев. Белые, как самый снег, они выстрачивали по нему узоры из следов и изредка мелькали

тёмными кончиками хвоста... Мелькнут и скроются за ствол лесины, обовьют её и сделают прыжок к другой... Заманивало и убить, и пожалеть зверька, и иногда лесничий, прицелившись, раздумывал стрелять, спускал курки и любовался красивой трусостью зверька, накладывавшего всё новые и новые строчки следов на белый снег.

Раздумывал и удивлялся:

— Что это со мною: я остываю или нездоров?

Было странно, что охотничья страсть, всегда такая беспокойная и жгучая, теперь в нём умолкает и уступает место чему-то как бы постороннему, но важному и близкому...

— Да, да... Мне сорок третий год... Пора и остывать... Пора, пора... — тихо говорил с собою Михаил Григорьевич и почему-то вспомнил яркий, тихий день минувшей осенью... Он шёл один по лесу в Медвежий лог, и золотые листья сыпались спокойно, чуть-чуть шурша и устилая землю золотым ковром... В душе была какая-то певучесть, и было безответно радостно и грустно в одно и то же время. И вдруг по тропе навстречу едет Зеновья. Она сидит верхом на рыжем жеребце и потихонечку напевает песню. Лес ей вторит, умножает звуки, как будто помогает петь.

Увидела его, смутилась, осадила лошадь и молча подозвала к себе рукой. Затем отъехала в густой осинник, сошла с коня и строго указала на приподнятый тугой живот:

— Вот беда-то... Понял ты?..

Михаил Григорьевич понял и упрекающе сказал:

— Это не беда, а радость!

— Радость! — проговорила Зеновья. — А как родится да в тебя?.. — добавила она и нехотя улыбнулась.

— Тем лучше! — говорил лесничий, радостно смеясь и чувствуя, как он обновляется и крепнет, будто обрастает древесиной... — Тем лучше... — повторил он и смотрел на Зеновью, тайную свою жену и мать его ребёнка, такую близкую и дикую, как лесная бузина, с зардевшимся лицом и в красном с жёлтыми цветами сарафане.

— Ах ты, ребёнок мой матёрый... А как Антроп-то догадается, тогда што будет, а?..

— Боже спаси тебя, чтоб догадался, — зашептал лесничий. — Ты подготовь его заранее, да чтобы он поверил, что его...

— А как не поверит он?.. — вдруг скорбным шёпотом спросила Зеновья. — Как ежели он догадки делает да по ночам меня изводит, а?.. Вот погляди-ка, грудь-то как исщипана...

Зеновья расстегнула сарафан и показала иссиня-багровые кровоподтёки на груди.

Лесничий замолчал, склонил лицо и слышал, как глубоко и скоро дышит Зеновья.

— Да ладно уж, всё вытерплю... — сказала она. — Только ты хучь не брось меня...

Она вдруг заморгала, сморщила лицо и, наклонившись, подняла край нарукавника, чтоб просморкаться.

Осенний лес молчал, пронизанный лучами солнца, и Зеновья ещё роднее показалась Михаилу Григорьевичу, как будто между ним и ею совершился настоящий равный брак...

Но с тех пор вот уже два месяца прошло, а Михаил Григорьевич не был у Антропа и не знал, что с Зеновеей. Словно боялся туда ехать.

Совсем забыв про горностаев, он шёл по лесу, поднимаясь выше в гору, как будто хотел с неё увидеть, здорова ль Зеновья, а главное, не умерло ли то, что так сроднило его с нею и что она должна беречь под сердцем...

Но на вершине горы выла вьюга, сыпала пургой и застила-ла матовой завесой все дали.

Михаил Григорьевич вскоре стал спускаться под гору и, по колени утопая в снегу, побрёл к селу.

Вблизи села догнал его верховой объездчик из Медвежье-го лога и, поздоровавшись, возбуждённо сообщил:

— Так что, вашескородие, Антроп Савелич поклон вам посылают. Будто што берлогу медвежью они обложили... На охоту приглашают...

Михаил Григорьевич растерянно переспросил:

— В самом деле?

— Так точно. И так что говорят, медведь огромнейший... Много лет пасеку ихнюю зорит... Видели его там не одна.

— Ну, ни... Подумаю... А ты ко мне?

— Так точно. С талонами...

— Хорошо. Поезжай вперёд, скажи, чтобы самовар поставили.

— Слушаю!

Объездчик ускакал, а Михаил Григорьевич остановился и подумал вслух:

— Тут щука не без чебака... — и по лицу его скользнула тень. — Но надо ехать! — добавил он, направляясь к дому.

И Михаил Григорьевич решил поехать на Антропову заимку на другой день во что бы то ни стало.

IV

К утру буран утих. Оранжевое солнце показалось в рукавицах — погода настывала.

Михаил Григорьевич проснулся до свету, при огне напился чаю и с восходом солнца велел запрягать кошёвку. На резоны

старшего дежурного объездчика о том, что дорогу занесло и нет ни одного следа, лесничий энергично крикнул:

— Я знаю, что я делаю! Седлай и ты — со мной поедешь.

Он захватил трёхствольное ружьё, на всякий случай — несколько разрывных пуль на зверя, в кошёвку кинул лыжи, подбитые жеребковой шкуркой, и взял с собой дорожный саквояж с припасами. Уселся в кошёвку и по нетоптаной дороге тяжело поехал в лес.

На козлах сидел лесник, позади ехал верхом объездчик.

Лошади едва везли, и лесник то и дело соскакивал с козел, пинал из-под полозьев комья снега и снова понукал упревших лошадей.

Лесничий кутался в доху, смотрел на изукрашенный белыми кружевами лес и ни о чём не думал. Но в душе его притаилось напряжённое ожидание чего-то нового, необычайного.

Дорога шла густым, затихшим, будто спящим под покровом снега лесом, часто изгибалась в нём, падала в овраги и взбегала на косогоры. Когда измученные лошади останавливались, было слышно только их короткое, тяжёлое дыхание, а лес молчал и точно слушал что-то важное, таинственно совершавшееся в природе. Эта давно знакомая зимняя тишина в лесу напомнила Михаилу Григорьевичу о вечном молчаливом покое, таком вдумчивом и бесконечном...

И такой коротенькой и жалкой представилась человеческая жизнь. Его же жизнь показалась никому не нужной, бессмысленной, ничем не связанной с людьми. А то единственное, что связывало его с природой — охота, — вредило ей, отнимая у неё её живые украшения — зверей и птиц.

В чём оправданье жизни?.. В чём цель её?.. Он снова вспомнил Зеновею и то значительное, что связывает их, — её беременность... Но в то же время стало как-то стыдно и обидно. Чужая по духу и закону баба, краденая, случайная, будет матерью его ребёнка. А что же ждёт ребёнка?.. Он не знает...

Углубляясь в думы, он шептал:

— Глупо всё, как глупо...

Но кони трогались, кошёвка начинала покачиваться, скрипеть полозьями, и лес оживал. Деревья торопливо перебежали друг за друга: ближние бежали назад, дальние — вперёд. И думы отступали, сменялись всё тем же напряжённым ожиданием ближайшего, сегодняшнего будущего.

— А хорошо бы, — вдруг улыбнулся в бороду лесничий, — родился бы мальчик, взял бы я его, нанял бы няньку, вырастил бы шустренького шалуна... А там, в старости, учить, и всё бы для него... Разлюбезное бы дело... Вот тебе и смысл бы, и оправданье... Да...

И становилось веселее и светлее на душе... В тело вступала бодрая упругость, будто оно готовилось к какой-то сильной схватке с недругом.

Вскоре засинел Медвежий лог, а в нём покуривала широко рассеяная заимка Антропа.

Подъезжая к ней, Михаил Григорьевич впервые заметил, как хозяйственен Антроп и как много украл он для своих построек в лесу.

Огромные дворы раскинулись обширно, их звенья плотны и высоки, повети покрыты сплошной жердью, столбы и ворота — из лучшего строевого кедрача... Коренастые амбары расселись важно, как бояре, с туго нахлобученными тесовыми крышами, теперь придавленными снегом. И посреди амбаров, как древний царь среди бояр, возвышается суровый, серый, крепкий дом в два этажа. Его крутая крыша, решётчатая загородка на глухом крыльце, маленькие, точно прищуренные окна и низенькие двери, — всё говорило о том, что строил человек тугой, расчётливый и осторожный, ревниво берегущий своё добро и предрассудки дедов.

И Михаил Григорьевич проникся вдруг невольным уважением к маленькому седенькому старичку с причёсанными висками на плешивой голове и с узенькой святительской бородкой, когда старичок этот в одной длинной расписной рубахе появился на крыльце, встречая гостя.

Он опирался на решётчатую загородку и, указывая костлявой рукой леснику на раскрытые ворота в тёплый двор, тоненьким, но строгим голоском кричал:

— Заводи коней-то да выпрягай... Рогожами укрой их, чтоб не передрогли... — Пожалуйте-ка, вашеское благородие... Проходите в горницу... Да не отряхивайтесь, бабы там обчистят... Пожалуйте-ка, грейтесь...

— Я не замёрз... — сказал лесничий и встретил взгляд колючих светло-синих глаз Антропа с двумя торчащими клочками седых и реденьких бровей.

— Как, поди!.. Дорога дальняя, худая, — чеканил Антроп каждое слово. — Сейчас медку дадут, погреетесь.

Они вошли в тёплую, пахнущую кумачом, воском горницу, где встретила их Зеновья.

— Здравствуешь, хозяйшкa, — проговорил лесничий, стараясь быть дружелюбным и спокойным.

— Здорово ты живёшь, — ответила та в тон ему и улыбнулась. — Проходи-ка, раздевайся, гостем будешь...

В голосе её лесничий уловил едва заметное дрожанье, но удивился, что она так просто владеет собой, будто между ними никогда и ничего не произошло. От этого и сам он стал

спокойнее и даже пошутил с хозяйкой, чтобы ободрить её и отвлечь подозрительный и острый взгляд Антропа:

— Ай да молодуха!.. Да она тебе, Антроп Савельич, ещё какого-то Антропыча готовит...

Но шутка оказалась неудачной.

Антроп метнул глазами на жену и гостя и отчётливо проговорил:

— Ишь, в очках-то вам, вашеское благородье, повиднее... А я так ещё не разглядел — забрюхатела она али жиреет... Однако надо завести и мне очки...

Все неловко замолчали, но хозяин вскоре выручил:

— Давай-ка, Зеновея, поворачивайся... Гостя-то надобно кормить... А то он с голодухи-то тебе ещё не это брякнет...

Михаил Григорьевич принуждённо рассмеялся, чувствуя, как от стыда перед самим собою у него холодеет тело и учащённо моргают веки.

«Как грубо, глупо это вышло у меня!» — подумал он с негодованием и не мог глядеть в глаза хозяевам.

Зеновея сдвинула собольи брови, с силой пнула дверь из горницы, спустилась вниз готовить ужин.

V

Антроп, усевшись в передний угол у стола, заговорил:

— Да, вашеское благородье, был бы жив родитель у меня, дак взял бы свой костыль — учил бы, учил меня, сукина сына...

— За что же так? — глядя в окно на сумеречно окрашенные лесистые горы, спросил лесничий.

— А за то, што с семидесяти лет сызнава жить захотел, на молодой женился... Вот за што!

В тонком, резком голосе Антропа Михаил Григорьевич чуял искренность, но каждое его отчётливое слово падало на его сердце горячим угольком. И он не знал, что говорить Антропу.

— Жил, так будем говорить, сорок пять лет со старухой, похоронил... Полтора года вдовел, всё чинно, благородно... И надо бы вдоветь до гроба, построить на пасеке келейку да молиться о грехах... Дак нет! На шестьдесят восьмом году увидел бастенькую девку, взглянул — женился... Ну-ка те, скажи, разве это не дьяволово искушенье, а?

Михаил Григорьевич молчал, не понимая, к чему старик ведёт.

— У меня вот сыну за сорок, внучата — женихи, скоро будут правнуки, а им дедушку ровесника рожу... Кто поверит-то?..

Михаил Григорьевич чувствовал, что он немеет перед стариком, теряет мысли и слова, как будто их перехватывал и крал Антроп, и не находил, что отвечать ему.

— Вот, скажем, вы учёный человек, вашеское благородие, и дела и мысли ваши не моим чета... Марать себя каким ни на есть грехом паскудным не пожелаете. А в нашем-то быту прохвостов всяких разве мало!.. Да я вон собственному сыну меньшаку не верю... Вот до чего дошло... Не грех ли это, не дьявольское наваждение?

Старик всё понижал тон, но слова его звучали всё отчётливее, всё строже...

Михаил Григорьевич не выдержал и вдруг, собравшись с духом, с улыбкой возразил:

— Так что же ты, Антроп Савельич, надо мной-то строжишься?

Старик скривил шею, наклонил голову и принуждённо захихикал:

— Хе, хе, хе... Пошто же строжиться... Я к слову, вашеское благородие, к слову... Извините, хе, хе, хе... Оно и так будем говорить: живём в лесу, молимся колесу. Приехал посторонний человек, мы рады все помыслы ему отдать... Действительно, всё это вам не любопытно.

— Нет, отчего же... Если хочешь поделиться — я готов...

Я слушаю...

— А вот сейчас мы займём вас медвежьим разговором... Это будет для вас забавнее. Сейчас я кликну большака...

Старик, согнувшись и не переставая тихонько похохотывать, направился к двери, одёргивая длинную цветастую рубаху и поглаживая узкую седую бороду.

Лесничий стиснул зубы, провёл по волосам рукой и собрал остатки сил, чтобы не потерять самообладанья.

Вскоре вошёл Антропов сын Самойло, такой же маленький, стальной и быстроглазый, как отец, но с чёрными, как смоль, волосами на голове и бороде. Только светло-серые глаза его на тёмном лице сверкали ярче и сверлили больнее.

Он неуклюже шагнул из-за порога, погладил голову и протянул гостю твёрдую рабочую руку.

— Каковы? — спросил он вместо приветствия и лениво сел у печки на скамейку.

— А ничего, спасибо... — проговорил лесничий и сел возле стола. — Вот приехал медвежатничать, если есть за кем...

Самойло слова цедил скупно, совсем не так, как отец, и загадочно усмехался.

— Куда он девался!.. — медленно тянул он. — Только вот как его узять-то?.. Он не скотина — поймал да стукнул по лбу... Ноне я вот в пасеке стренулся с ним, дак куды у меня и память девалась... Встал как на дыбы да рявкнул, дак я, ровно как перед королём каким, так на коленки и присел... Седой весь, старый, должно... На хребте щетина...

— Как же ты расстался с ним? — спросил лесничий.

— А вот от батюшки-родителя слыхивал, что надо кричать и не убегать. Ну и кричал... Он ревёт, и я реву. Поревели, поревели — разошлись... Его если не тронешь — он смирный, только пугливый, будто што...

Антроп сидел, облокотившись на стол, склонив голову, и суровым взглядом, исподлобья, следил за сыном. Видно было, что тот под этим взглядом не смеет сказать лишнего глупого слова.

Случалось же, раза по три добывали мы с родителем, — нерешительно продолжал Самойло. — Один-то был матёр, четвертей семнадцать... А два — поменьше... Их раньше тут водилось много... Оттого и место Медвежьим логом зовётся... — Самойло замолчал, потупив острые глаза перед отцовским взглядом.

Антроп перевёл глаза на гостя.

— Годов тому десятка с три, вашеское благородие, сюда тропинки не было... Я промышлял же раньше — было дело, помоложе-то был, пошустрее. Наткнулся как-то тут на вольных пчёл и думаю: не воля ли Господня перст свой указывает?.. А втупор притесняли нас за веру-то нещадно... Ну посоветовался с дядей... Родитель-то был уж покойным... Да и переселился...

И трудно было, а пришлось... Дак много лет скотинка не велась. Кругом леса были, тайга страшная, а самый этот зверь, как скот, ходил... Как вырвалась скотина, отошла на версту, он её либо задавит, либо пугнёт... напорет на сухару... Помаялись мы тут, пока всё сладили... Покосов не было, дорог — сажени не было протоптано...

Лесничий понимал, что Антроп говорил это не без расчёта. Теперь с него берут за покос, за лес, за пасеку и за расчищенные покосы...

Вошла с тарелкой мёда Зеновья. За нею — старая и толстая немая с накрошенной парной говядиной и булкой хлеба. А вскоре — и сноха Антропа, жидкая, сухая баба со строгими карими глазами. Она несла жбан с медовой брагой и кричала на бежавших позади девчонок:

— А вы зачем бежите? Без вас не принесли бы!..

Она взяла от одной ложку, от другой вилку. Все входившие молча здоровались с гостем, а немая попыталась даже

что-то объяснить ему, мыча и широко улыбаясь. Но Антроп остро взглянул на неё, что-то помаячил, и она обиженно ушла.

Одна из девочек, поменьше, стала меж колен Самойлы и взяла в рот палец.

Зеновея снова весело, непринуждённо улыбалась и громко говорила гостю:

— Покушай-ка, садись, нашего крестьянского угощенья...

Не обессудь...

Антроп очистил стол, взял с него толстую в деревянных крышках Кормчую, отодвинувшись на лавке, ткнул пальцем в жбан и коротко приказал Самойле:

— Налей-ка да подай!

Самойло встал и бережно налил в две чашки брагу. Одну подал отцу, другую гостю и снова сел у печки. Антроп большим крестом размашисто перекрестился.

Зеновея, положив руки под пазухи, стала в куть. Самойлова жена несла к столу солёные капусту и арбуз.

Михаил Григорьевич сел за стол один и, понуждаемый со всех сторон, стал ужинать.

Из лесу надвигались сумерки. Самойло зажёл желтую восковую свечку своего изделия.

Михаил Григорьевич знал, что за столом у староверов говорить не принято, и молча ел, без аппетита.

Наконец, когда молчание стало тяготить его, он обратился к Самойле:

— Ну так как же мы насчёт медведя-то?..

Но Зеновея громко оборвала его:

— Да ешь ты хлеб-то соль сперва с молитвой!.. Не поминай «его», Христос с тобой!

Антроп сурово покосился на неё и отчеканил гостю:

— Успеем, вашеское благородие, утречком о «нём» поговорим...

Самойло встал и, направляясь к выходу, поддакнул:

— Как не успеть! У него, мохнатого, теперь ночь долгая, до самой Пасхи, почитай, проспит...

VI

Спать ложились на заимке рано. Но Антроп для гостя повечеровал. После ужина рассказал лесничему длинный ряд воспоминаний об отцах и дедах и, как бы в назиданье Зеновее, сидевшей за шитьём, припомнил посторонний случай о том, как молодую бабу одну муж посадил в муравейник.

— Никак не каялась, а грех имела... Как посадил её раздетую да с часик подержал — всё, как на ладонку, выложила...

Он поклевал пальцем правой руки по ладони левой.

Зеновея выслушала, откинула голову назад и, брякнув янтарями, громко возразила:

— А может, она наклепала на себя?.. Хучь до кого доведись — зачнут мучить, так покаешься, в чём и не грешен!..

Антроп смутился и не нашёл, что ответить. Он злобно метнул на Зеновею острым взглядом и передразнил:

— Гм... Не грешен!..

Михаил Григорьевич уловил, что властный, сильный патриарх Антроп не властен над женою. Никто в семье не говорил с ним так непринуждённо, как она. Сила власти преклонялась перед силой её молодости и красоты. И с ужасом чувствовал лесничий, что Антроп догадывается о виновнике своих придушенных мучений. Что только спесь да мужественное самообладание, а может быть, и какая-нибудь тайная цель удерживает старика от жуткой расправы. И, может быть, ещё — лесничий хотел этого — у Антропа теплилась искорка веры в чистоту жены.

Спать легли рано. Михаила Григорьевича уложили на кровать. Антроп лёг на полу. Зеновея постлала себе в кути, поодаль от Антропа.

Михаил Григорьевич почти всю ночь не спал, ворочался, вздыхал и скрипел кроватью. Он слышал, что не спят и Зеновея, и Антроп. Старик два раза выходил на улицу, и Михаилу Григорьевичу показалось, что оба раза он из сеней не выходил, а слушал у дверей. Лесничий и Зеновея друг другу не сказали без него ни слова. Между тем Михаил Григорьевич теперь-то и хотел с ней поговорить. Он чувствовал, что надо пощадить Антропа и лгать ему во что бы то ни стало, только бы не убивать его страшной истиной. Но в то же время Михаила Григорьевича как никогда тянуло к Зеновее; не к телу её, но к душе, правдивой и прямой, к простому, гордому характеру... А главное, к тому, что крепко-накрепко связало их — ребёнку, которого ещё питает и согревает её кровь.

Он метался, мучился, но ничего не мог придумать, и только перед рассветом тяжело уснул. Уснул и увидел странный сон. Будто он маленький мальчик, а с ним его бабушка. Она рассказывает ему сказки про медведя. А он такой маленький, что боится сказки, и в то же время хочет посмотреть медведя, настоящего, в лесу. Он спрашивает бабушку показать ему медведя, она берёт его за ручонку и ведёт, и ведёт его в тайгу... Но там жарко и темно... И в темноте на них напал медведь... Он навалился, но не душит, а будто обнимает, и шепчет ласково и тихо:

— Эй, слушай-ка... В лесу-то осторожней с ними. Я боюсь, как бы они тебя, мой сокол, не убили... Слышишь ты?

Он проснулся. На груди его лежала грудью Зеновья и сжимала его плечи...

В горнице чуть-чуть белел рассвет. А со двора доносился резкий голос Антропа:

— Самойло!.. Лыжи-то, гляди, не надломились бы...

— Понял ты, ай не, я што сказала?.. Не гляди, што они ласковы... Смотри... Её глаза теперь казались тёмными, глубокими, и радостна была их жгучесть и тревога. Она приникла смуглой щекой к его щеке, смахнула фартуком с ресниц слезинку и быстро и беззвучно скрылась за дверь. Михаил Григорьевич сел на кровати и потирал рукой сморщенные брови.

Но то, что шепнула ему Зеновья, вдруг отрезвило его, он быстро встал и начал одеваться, проворчав с заносчивой уверенностью:

— Врут... Не посмеют...

Его охватила какая-то отважная решимость. Он спустился вниз, велел леснику распаковать ящик с зарядами и вышел в ограду.

Антроп был в тёплой, лёгкой шубке, поскрипывал пимами по мёрзлому снегу, покрякивал и проворно, молодо покидывал несколько пар лыж, выбирая себе покрепче и полегче.

После сытного завтрака и дружных совещаний Антроп, Самойло и лесничий с лесником, увешанные припасами и снаряжением, не торопясь, пошли на лыжах по крутому склону, забирая наискось на синюю большую гору.

Впереди шёл Самойло, за ним Антроп, потом лесничий и лесник. Самойло на цепочке вёл серую с остроконечными ушами Рыску, которая, поставив на хребте щетину, рвалась вперёд, придушенно повизгивала и зубатым ртом хватала снег.

Сначала все шли молча, лишь Самойло разговаривал с Рыской да Антроп покрякивал, сердясь на лыжи, которые под ним фальшивили. Потом в одном логу лесник догнал Самойло и разговорился. Антроп с лесничим поотстали.

Небо было тусклое от не успевшего растаять раннего тумана. Кедр и пихты покрылись куржаком, и лес казался отлитым из серебра.

— А далеко ещё? — спросил Михаил Григорьевич у Антропа, когда стал уставать.

— Да нет уж... Версты со три эдак, почитай... Нам вот только на седло взобраться... А там под гору-то живо... В логу «он», в ямине... — добавил он спокойно.

Лесничий помолчал. Станным показалось ему спокойствие Антропа. Как-никак идут они на лесного витязя, на смертную борьбу с ним... Неужели так легко прийти, нарушить его сон, взять, убить?.. Михаил Григорьевич даже на охоте за волками чувствует всегда какое-то торжественное напряжение и скрытую тревогу. На медведя он идёт впервые, и кажется, что он идёт на край могилы... Лежащий где-то в буреломинах, под снегом, зверь должен чують их приход и видеть вещий сон. Теперь он просыпается и насторожённо ждёт врагов... Он, владыка дикого, глухого леса, не даст своей богатой шубы даром...

И Михаил Григорьевич спросил у Антропа:

— А как, Антроп Савельич, сердце-то очень бьётся?.. Всё-таки зверь!..

Антроп остановился, глянул из-под глубокой шапки на лесничего и, моргнув глазами, проговорил:

— Да на вашем месте как бы не билось... Говорят, матёрый!..

— Как на моём?.. — удивился Михаил Григорьевич. — Разве мы не вместе будем?

Антроп просыпал мелкий козлийный смешок:

— Вот насмешили бы мы добрых-то людей, кабы у гостя блюдо с угощением отняли...

«Ага-а... — подумал Михаил Григорьевич. — Вот оно что...»

Он нащупал за спиной тяжёлый и холодный ствол ружья и вслух проговорил:

— Спасибо за такое угощение!.. Оно, пожалуй, и само может слопать...

Антроп остановился.

— Неужто вы, вашеское благородие, боитесь!.. Ежели боитесь, всё это напрасно мы... Тогда вернуться надо.

— Да нет, с какой же стати... — поспешил сказать лесничий, почуяв, что пятиться назад теперь немислимо.

— То-то што... — сказал Антроп. — При вашем-то ружье. Да скинуть бы лет двадцать, дак и я бы не попятился.

Михаилу Григорьевичу вдруг стало почему-то грустно, будто он был одиноко брошен в пустыне и не надеялся найти из неё выхода.

Антроп же между тем ехидно проблеял:

— За бабами-то ты, слышать, охотишься не худо?!

Михаил Григорьевич почувствовал, как обожгло его этими словами, и он принуждённо, почти вызывающе, весело ответил:

— Да не пожалуюсь!.. Везло мне, чёрт возьми!..

— Везло, дак повезёт и дальше, — отчеканил Антроп.

— Повезёт не повезёт, а назад играть не станем, милый человек.

— Слышу, слышу...

Антроп уже не величал лесничего и был с ним почти резок. Он тяжело дышал, едва передвигая лыжи, и то и дело опирался грудью на каёк.

Михаил Григорьевич обошёл Антропа, не сказав ему ни слова.

Вскоре он поднялся на седло хребта, где поджидал его Самойло с лесником и Рыской. От быстрого хода смуглые щёки его, прорезанные двумя глубокими у носа морщинами, разгорелись, как у юноши.

VII

Когда пришёл Антроп, Самойло счистил рукавицей с валежины снег.

— Садись, батюшка, передохни.

Антроп присел и устало поглядел назад, под гору.

— Уходили бурку крутые горки — говорится!..

У Самойлы усы и борода покрылись инеем, и теперь это был вылитый Антроп.

Он заботливо сказал отцу:

— Тебе бы дальше-то идти я не советовал...

— Да я и не пойду туда... Вы помоложе... Да и глаз у меня не тот уж... Уж я отсюда, в случае чего, полюбопытствую...

В душе Михаила Григорьевича вместе с нетерпением поднималось какое-то презрительное чувство к Антропу и к Самойле. Он видел, что они с полуслова понимают друг друга, стало быть, план их ясен, стало быть, и на Самойлу надеяться не следует. Это как бы подзадорило его, прибавило отваги, и он, обращаясь к леснику, тревожно посматривавшему в ямину, сказал:

— А ты тоже не ходи. Останься здесь.

Лесник был молодой, услужливый и бойкий. Он храбро выпрямился и сказал:

— Помилуйте настолько, ваше высокородие... Я желаю наводиться при вас... Всё-таки ведь зверь!..

— Ну, ну, не разговаривай!.. — коротко окрикнул Михаил Григорьевич и посмотрел на Самойлу, который покрепче привязывал к опояске Рыску.

— Вот что, Самойло Антропыч, — сказал он строго. — Ты собаку-то бы отпустил с цепочки...

— Што вы, што вы, ваше благородие... Она ведь может раньше времени кинуться... Может помешать... Она ещё не ставила зверей, молодая...

— Ну хорошо, — вынужденно согласился Михаил Григорьевич. Теперь уж он не сомневался, что «кержаки», как звал он их за глаза, хотят его стравить медведю...

— Посмотрим... Поглядим... — сказал он вслух и ближе положил запасные заряды. — Ну, что ж, готово всё?

Антроп поднялся с места, снял шапку, подозвал Самойлу и перекрестил его.

«Иезуиты, сукины сыны»... — подумал Михаил Григорьевич и ту же натянул ушанку, сунул по карманам рукавицы и голыми руками взялся за кайки.

— Левей держите... Тут положе, — напутствовал Антроп. — Да сразу близко-то не подходите... Пар должен идти... На пар и подходите... Да, однако, я и сам отправлюсь?..

— Нет, нет уж, батюшка!.. — встревожился Самойло. — Ты не ходи... Неровён час...

Лесник приблизился к Михаилу Григорьевичу.

— Ваше высокородие... Разрешите вместе?

Михаил Григорьевич порывисто ответил:

— Ну нет, голубчик, ты останься!.. — шагнул вперёд.

Но Самойло обогнал его. Рыска едва поспевала вслед за ним, то и дело падая и проваливаясь меж кустов в рыхлом и глубоком снегу и запутываясь цепочкой.

Антроп и лесник не удержались и потихоньку пошли следом.

Михаил Григорьевич подкатывался под гору. Он представлял себе лохматого, полуседого зверя, огромного и беспощадного, и чувствовал, что весь дрожит.

— Так вот кого избрал моим судьёй Антроп Савельевич!..

Посмотрим, поглядим!..

Самойло шмыгнул с крутика меж густых огромных кедров. Рыска слетела на цепочке вслед за ним кубарем и завизжала. Должно быть, ушиблась о лесину. Михаил Григорьевич по следам Самойлы скатывался осторожно, и напряжённо думал о том, что надо быть спокойнее.

Лес пошёл всё гуще и дичее, и Михаил Григорьевич почувствовал себя совсем оторванным от мира, брошенным куда-то на край света, в необитаемую глушь.

Спуск был ещё круче, лыжи понесли стрелой, и где-то в тёмной яме Михаил Григорьевич наткнулся на Самойлу.

Сквозь чащу лохматых великанов брызнул на снег луч солнца, яркий, ослепительно сверкнувший на ледяных сосульках, свисавших с веток кедрача.

— Вот тут... Шагов с полсотни... — прошептал Самойло и нерешительно стал высекать длинную, тонкую жердь.

— Поди, протокол-то не составишь... — усмехнулся он лесничему и, сваливши жердь, стал очищать её и завастривать вершинку.

Когда жердь была готова, он заткнул топор за опояску и таинственно спросил:

— Передохнём, ай сразу?

— Пожалуй, отдохнём...

И снова тишина лесной глуши, какая-то особенно торжественная и извечная, прикоснулась к душе Михаила Григорьевича и далеко-далеко отодвинула от него всё, что было так близко и дорого: работу и воспоминания, охоту и друзей, и копошащуюся где-то за лесами пышную культуру, в которую он верил и которой поклонялся... И даже самый лес, который он любит и в котором был теперь, куда-то отступил и помутнел... И только Зеновья с тугим и тёплым животом отчётливо нарисовалась и стояла, как живая, близко, где-то тут же, рядом.

— Ну, Господи, благослови... — сказал Самойло и пошёл вперёд.

Уже виделась гряда буреломин, осмысленно наложенная пирамидой и закутанная плотным, тяжёлым пластом снега.

Рыска задёргала ноздрями и подняла щетину на хребте.

Самойло в одной руке держал ружьё, в другой — кайки и длинную жердь, и шёл в обход берлоги.

Михаил Григорьевич воткнул кайки в снег, взял ружьё наизготовку и пошёл к берлоге. Самойло что-то маячил ему руками, как бы останавливал его, но он медленно подвигался ближе и радовался тому, что теперь совсем не волновался... Ему даже представилось, что в берлоге нет никого и что это, вероятно, и не берлога вовсе, а так, куча буреломин, и даже показалась комически-забавной такая их предосторожность.

Самойло не спускал собаку. Он то и дело останавливался, приглядывался и прислушивался.

— Какие-то сны видит его величество? — подумал Михаил Григорьевич и вздрогнул.

Рыска резко и визгливо тьякнула. На синем пятне тени, падавшей от соседнего кедра, Михаил Григорьевич заметил пар... В нём вдруг проснулась охотничья страсть и заслонила собою и страх, и думы, и рассудок. Он быстро подкатился к Самойле и сказал:

— Что ж ты?.. Отпусти собаку!..

Михаил Григорьевич обернулся к нему и закричал:

— Отпускай собаку!

Самойло, держа ружьё наизготове, молчал и пятился за кедр. Рыска рвалась, потягивая его за опояску.

— Ах ты, сволочь! — зашипел лесничий и, схвативши жердь, погнался за Самойлой. Но тот навстречу Михаилу Григорьевичу прицелился и угрожающе сказал:

— Смотри, не балуй!.. — и, повернувшись, выстрелил в берлогу.

Михаил Григорьевич оторопел и бросил жердь.

Позади него затрещали буреломины, и над пирамидой их в крупных брызгах снега, как в облаке, на задних лапах стоял огромный зверь и раскатисто, свирепо рывкал.

Михаил Григорьевич рванулся вперёд, но, позабыв, что под ним лыжи, упал с них в снег... Но быстро встал, прицелился и выстрелил во что-то близко подкатившееся, кошмарно-беспощадное и дикое. И в тот же миг почувял, что болезненно кричит и с кем-то борется, сжимая голыми руками остистую сырую шерсть...

И чует: хрустнула его ступня в железной пасти, и внутренности подступили к горлу, лезут в рот, но ему не больно...

Он знает хорошо, отчётливо и трезво, что руками крепко ухватил медведя так, как хватают его умные собаки, когда ставят на ноги. Пусть зверь отгрызёт ему ноги, пусть тискает в своих когтях, но он ни за что не разомкнёт судорожно сжатых рук и не даст уродовать лица, засыпанного снегом, который почему-то совсем не холодит и пахнет тёплым и солёным...

— Кровь... — догадывается Михаил Григорьевич. — Значит, ранен... Значит, сдохнет... — и он радостно забылся, потеряв сознание.

VIII

Поздно вечером к заимке шли на лыжах трое: Антроп, Самойло и лесник. Они поочерёдно везли сделанные из лыж нарты, на которых лежала свежая, окровавленная медвежья шкура, а на ней, в полусознание, едва живой и изуродованный Михаил Григорьевич.

Когда пришли к заимке, Антроп был снова строгим и гостеприимным и рассудительно приказал объездчикам:

— Поосторожнее, ребята, выносите... Поосторожнее... —

И жалостливо обращался к гостю, когда его положили на кровать в горнице:

— Што, вашеское благородие, больно?.. Говорил я вам: раз не хватает твёрдости, вернуться надо... Но вот уже Зеновея

походит, — Бог даст, поправитесь... А там в больницу, в город отвезём... Где Зеновея-то?

Но Зеновеи не было... Вошедшая жена Самойлы негромко сообщила старику:

— Она сейчас в кладовке заперлась... Дрожит чего-то, стонет там...

Антроп с Самойлой ворвались в кладовку и увидели, что Зеновея выкинула сына. Она придушенно шептала старику, вонзя в него острый, лихорадочно горящий взгляд:

— Убивец!.. Лиходей!..

К утру лесничий умер.

Змей Горыныч

I

Село Язево, по прозванию Чёртов Яр, с кряжистым старожилым населением, стоит как раз на полпути между двух уездных городов, пятой станцией и от того, и от другого. Оба города стоят на большой реке, которая не пошла через тайгу, а обошла её раздольной, гладкой степью, загнув дугу вёрст этак в пятьсот. Если же ехать прямо, через тайгу, давно отоптанную, наполовину выжженную и вырубленную, то от города до города — вёрст двести. Тут и протянулся старый большой тракт. Тут и повели новую железную дорогу.

За последний год у Якова Тяжова, исконвечного язевского ямщика, такой разгон на лошадей, что ни днём, ни ночью не перестают звенеть колокольцы. Оно и выгодно, и в то же время тяжело. Сам Яков устарел, отяжелел, а сыну, Спиридону, всего лишь девятнадцатый годок. Работники — народ ненадёжный: всё норовят с проезжающих господ на водку заработать — пересобачат лошадей, спустят раньше времени к воде, и что ни лучший конь, тот с копыт долой.

За всем нужны глаза да глазоньки, и Яков ничему не рад. Другой раз всю ночь не спит. То встречает, то провожает, то с проезжающим каким-нибудь грешит: тоже всякие и господа бывают. Другому грош цена, а тоже строжится, из-за гривны три часа кричит, сельское начальство на ноги поставит... Наземских ехать неохота — тихо больно везут, а на «верёвочке» — копейку переплатить не любо... А лошадей давай хороших!..

Или работники в разъезде, а парня жаль будить и ночью посылать в дорогу. Парень молодой, один, как порошок в глазу, а дорога не совсем удобная — как бы не вздремнул да не свалился в Чёртов Яр вместе с лошадьми и с господами.

И старик не будит Спиридона — пусть понежится: намазаться ещё успеет, жизнь прожить — не поле перейти...

Торопливо надевает Яков новые пимы, потуже подпоясывает шубу красной опояской и, нахлобучивая шапку, шёпотом передаёт жене домашние заботы:

— Приедет Кирька — догляди, чтоб лошадей привязал покрепче... А то с жару снега нахватаются... Да пусть рогожей

оденет Савраску: кобыла как бы не выкинула... Будь оно проклято — мерингов хватать не стало! — ворчит старик и молодёжь выходит из избы к готовой тройке.

И как только сел на козлы — все заботы тут же у ворот свалятся.

— Э-э-ка, вы-ы! — прикрикнет за воротами, — колокольцы так и захлебнутся сразу.

Ворчал Яков на работников за то, что те гоняют лошадей, а сам тихонько ездить с пассажиром не умел. Как одеваться плохо для поездки не любил, так и медленной езды терпеть не мог. Зато уж и умел ходить за лошадьми. Вовремя напоит, и выкормит, и выгладит кормилиц.

По Якову пошёл и Спиридон. Такой же рослый, коренастый, с быстрой, громкой речью. Только по обличью в мать — белокурый, с синими глазами и высокой русой бровью. Как приоденется да сядет в праздник на коня, по улице с товарищами прокатиться, — мать, Карповна, так и запоёт от радости:

— Патретик ты мой писаный! — а сама фартуком слезинки подбирает с поблекшего лица.

И долго смотрит вдоль по улице, по которой удаляется молодая проголосная об удахом добром молодце...

Не любила Карповна новых песен, и сама в досужую минуту напевала сыну старые. А Спиридон учил товарищей, и частенько вместе с ними тешил Карповну, будя в ней образы давно прошедшего. Она послушает-послушает да и вспомнит песню ещё того старее.

— А ещё певали прежде, — скажет она, грустно улыбнувшись, — мой дедушка певал, бывало, вот такую песню.

И начинает потихоньку тонким, сиповатым голосом припоминать её. Пропоёт и расскажет что-нибудь из старины, про своё девичество да про вольготное житьё старинное сибирское.

— И ничего-то в те поры не знали. Ни тебе поборов, ни тебе налогов... Живи, как у Христа за пазухой... А теперь?.. — Карповна не договаривала и, безнадежно махнув рукой, тяжело вздыхала.

Спиридону нравились песни и рассказы матери, но всё-таки он часто с лёгкой усмешкой переспрашивал:

— А косить руками всё-таки, поди, не глянулось?.. Теперь вот жнём и косим машиной, а в те поры...

Но Карповна перебивала:

— А на кого мы теперь жнём да косим-то? На чёрта косолапова!.. Раньше хучь и маешься, дак про себя, и пили-ели досьта. А нынче и молока досьта не поешь — всё на молоканку стащишь... Ровно бы и денег много, а и те на шилье да на мылье все уходят... А раньше и без денег всего вдосталь было...

Неграмотный был Спиридон, и обо всём об этом думал про себя. И нередко как бы вскользь задавал о том, о сём вопросы проезжающим господам, особенно если это не были чиновники. С чиновниками говорить боялся после того, как один из них однажды выругал его за землемера. У Якова был иноходец, купленный у проезжего землемера. Спиридон с простой души возьми да и назови его Землемером. С тех пор так — Землемер да Землемер — и пошла ему кличка. Повёз Спиридон чиновника, а Землемер был в корню. Спиридон выкрикнул, стегнув коренника:

— Эй ты, Землемер, не похрапывай!..

Чиновник и прогневался:

— Ах ты паршивец этакий!.. Да как ты смеешь так при мне ругаться?..

Спиридон уже потом сообразил, что чиновник был, должно быть, землемер, и потому с тех пор не стал с чиновниками разговаривать, которые уже все казались ему землемерами. И лошадь свою перестал звать Землемером.

II

Однажды в Филипповки вёз Спиридон какого-то молодого господина, и выкрикнул на иноходного коренника:

— Эй ты, Князь Молоконска-ай!..

Почему он так выкрикнул, он и сам не знал. Слышал только, как какие-то двое проезжающих спорили между собой за чаем и поминали эти слова — теперь он ими и обозвал коренника.

— А ты знаешь, кто такой князь Волоконский-то? — вдруг спросил у Спиридона пассажир.

Спиридон так и похолодел от страха. Он неловко оглянулся назад, и вместо злого чиновничьего лица увидел насмешливо улыбавшиеся чёрные глаза и белые оскаленные зубы.

— Знаешь, нет? — повторил вопрос проезжающий.

— Нет... — сокрушённо ответил Спиридон.

— То-то и есть... Эх ты, голова!

Спиридон невольно засмеялся над собой и уже охотнее оглядывался на молодого пассажира.

— Ты мне лучше вот что объясни, — потребовал всё с той же насмешкой проезжающий. — Вот везде у вас, ямщиков, карточки над зеркалом прибиты: вольный ямщик, дескать, такой-то, имеет «благонадёжную верёвочку». Это что же за «благонадёжная верёвочка»? Проезжающих душить, что ли?.. У вас тут в Сибири, чего доброго...

Спиридон от всей души расхохотался.

— Эх ты-ы! — ответил он задорно и не без упрёка в голосе. — Да ведь верёвочка-то — это значит линия ямщицкая... Дружки. Понял?..

— Какие это ещё «дружки»?

— А дружки наши ямщицкие, понял?.. Вот, скажем, тебя из Кузихи к нам привезли дружки наши... А в Селиванове опять же я должен тебя своим дружкам сдать на руки, сквозь по всей «верёвочке» этой самой и проедешь... Понял?

Пассажиру поглянул этот задушевный выговор, и он совсем по-приятельски глядел на Спиридона...

— Ну, я, брат, этих ваших сибирских слов не понимаю... У вас тут всё навыворот... Загнут словечко вроде «шилованит», а шут его поймёт...

— А ты откуда — какой? — разговорился Спиридон.

— Я из России... На постройку дороги здешней еду. Механик я...

Спиридон долго не отворачивал от механика своё румяное, безусое лицо с опущёнными снежными ресницами. Потом спросил:

— А где ты жить-то будешь?

— А посмотрю вот, где товарищи и мастерская. Может, в Селиванове, а может, дальше...

Так прокалякали они семь вёрст — до самого подъёма на Чёртов Яр.

— Ну, тут держись смотри! — сказал Спиридон, зорко следя за лошадьми и за раскатывающейся кошевой. — Речонка небольшая, а гляди какую пропастину вырыла... Каждую весну сажени на три яр-от сваливается... Года через три и ездить будет негде.

— Тогда железный путь пройдёт... В лошадях-то ваших и нужды не будет.

— Н-но-о, што ты! — недоверчиво усмехнулся Спиридон.

Он посмотрел под Чёртов Яр на глубоко лежавшую внизу бороздку спящей подо льдом речонки.

Слова механика впервые разбудили в нём сомнение:

«А как взаправду скоро конец ямщицкой службе?»

— Какого чёрта не огораживают? — вскричал механик.

— Нет, огораживают каждый год... Да только каждый год и обмывает... А там, вишь, пни да косогоры прокапывать — работы много...

Чёртов Яр проехали, и кони снова понеслись по белой мгле метели, оставляя позади опушку поредевшей, вымирающей тайги.

Скрипя полозьями, кошева ныряла по крутым ухабам, подбрасывая механика, а Спиридон уже не думал о конце ямщины и весело покрикивал на коренного.

— Эх ты, Князь Молоконска-ай!..

По разрыхлённой, ухабистой дороге непрерывной вереницей навстречу ехали тяжёлые обозы: с тушами свиней, с красными возами мяса, с маслом, с хлебом...

— А жирно вы живёте! — заговорил опять механик.

— Чего ты говоришь? — не понял Спиридон.

— Сыто, говорю, живёте. Видишь, еды-то сколько прут.

— Кабы к нам везли, а то от нас ведь, — криво улыбнулся Спиридон. — Вот и дорогу-то железную строят для того, должно, чтобы всё от нас скорей повывезти...

— Зато машин навезут к вам много, — сказал механик. — Американцами вас сделают...

Но Спиридон не отозвался, потому что впереди навстречу, обгоняя по глубокому снегу обоз, в целом облаке летевшего из-под копыт снега бежала тройка, а на козлах кошевы, закутанная в тёплую цветную шаль, сидела и улыбалась Спиридону Маремьяна.

Спиридон широко усмехнулся ей и, стегнув её бичом по тёплому тулупу, прокричал:

— Маремьяне Митривне!..

— Ох, чёрт возьми! — приподнявшись в кошеве, обернулся механик. — Баба, что ли?

— Девка! — с гордостью ответил Спиридон.

— Знакомая тебе?

— Селивановского дружка нашего дочка.

— Ах, ёлки зелёные! — опять обернулся механик, но Маремьяна, помахивая над тройкой бичом, уже скрылась в пелене бурана.

— Прямо мужику не уважит! — похвалил Спиридон девку и тоже пристегнул коней, как будто Маремьяна поднесла ему чашку доброй браги.

— Ты познакомь-ка меня с ней! — попросил механик и прищуренно засмеялся обернувшемуся и переставшему смеяться Спиридону. — А может быть, она твоя невеста? — спохватился он. — Тебе который год?

— Завтра девятнадцать будет... Спиридоны у нас завтра, — отчеканил Спиридон и почему-то, осердившись на «Князя Молоконского», начал сильно бить его кнутом.

...В обратный путь из Селиванова Спиридон ехал ночью. Он зорко вглядывался вперёд, поджидая тройку Маремьяны, и громко пел, как бы желая песней заглушить какие-то совсем не прощенные, беспокойные раздумья.

Когда же перед самым Чёртовым Яром уловил знакомый звон колокольцев, то не остановился, как хотел, а встал в кошеве на ноги и, разогнав коней, во весь опор промчался мимо тройки Маремьяны с разудалым выкриком:

— Э-эй вы-ы, гра-абя-ат!..

И этот выкрик горячим угольком подкатился к сердцу девки.

— Ишь, леший, как гонит! — сказала Маремьяна, прислушиваясь к завыванию белоснежной вьюги и вспомнив про опасный Чёртов Яр, к которому понёсся Спиридон.

III

Домой вернулась Маремьяна в сиден-вечер. В горнице для проезжающих горел огонь.

Отец тоже только что вернулся из поездки и не дал выпрягать ей лошадей.

— Иди-ка, доченька, ставь самовар. Я выпрягу да попьём чайку, погреемся, — сказал он ласково.

Матери у Маремьяны не было. Старшая сестра давно замужем, старший брат в отделе, а средний в солдатах. Хозяйство держится на солдатке да на Маремьяне. В ней отец души не чаял.

Маремьяна обмела с тулупа снег, выхлопала шаль и раскосмаченная, румянящаяся, вбежала прямо в горницу.

— Ну, здравствуй! — сказал механик, остановившись посреди комнаты и поедая её чёрными глазами.

— Здравствуй, голенастый! — отозвалась она насмешливо и громко и схватила со стола остывший самовар. — Поди, давно напился чаю-то, а самовар держишь!..

Сверкнув на него большими серыми глазами и уходя в другую избу, она со звонким смехом прибавила:

— Ишь, загостился!..

Механик пожал плечами и расхохотался.

— Экая дичь сибирская! — сказал он сам себе и стал устраивать постель.

Но долго не мог уснуть, ворочаясь и вздыхая.

Маремьяна два раза приходила в горницу — за чайником и за подносом. В простой, широкой красной юбке с жёлтой отделкой, в кофточке без талии Маремьяна показала механику ширококостной и мужиковатой. Но быстрый взгляд её огромных серых глаз, смуглое лицо и тяжёлая, растрёпанная русая коса посеяли в нём любопытство... Он хотел, чтобы она ещё раз пришла в горницу и как можно дольше стучала бы в шкаф посудой. Но она не приходила, и в другой комнате долго ещё звенел её беспечный, звонкий голос...

Утром встал механик поздно, и без чая пошёл искать своих путейских. Нашёл он только одного подрядчика, и от него

узнал, что временные мастерские находятся вблизи от Селиванова.

Вернувшийся на квартиру механик увидел свежевзмысленную тройку у ворот, а в комнате — какого-то чиновника.

Из другой же половины дома доносился голос Спиридона. Он решительно вошёл туда и засмеялся молодому ямщику:

— А-а, ты уже опять приехал!..

— Доводится... Што-што именинник! — Спиридон потупил красное, обветрившееся лицо над блюдцем.

— А-а, ты Спиридон-солнцеворот, видно? — протянул Митрий Егорыч. — Солнышко на лето, зиму на мороз поверты-ваешь... Ну, с ангелом тебя! Дай Бог ума накопить больше.

— Спаси Бог, дядя Митрий!.. — буркнул Спиридон.

Маремьяна сидела за самоваром, а отец её с работником торопливо одевались, чтобы идти и запрягать коней чиновнику.

— И мне одну лошадку запрягите, — сказал механик. — Поеду в мастерские, да искать квартиру буду, — добавил он и сел на лавку.

— Добре, добре, господин! — пропел хозяин. — А вы што же не проходите?.. Проходите в горницу!..

— Да я чайку вот выпил бы! — попросил механик и подвинулся к столу.

Хозяин встрепенулся.

— Да вы чего же здесь-то? Проходите в горницу! Там барину самовар же подадут сейчас...

— Да и здесь напьюсь! — настойчиво сказал механик, улыбнувшись.

— Воля ваша... Нам всё равно... Только тут у нас не обиходно: хомуты да узды, всякий хлам... Давай, дочь, наливай, нето! — сказал он Маремьяне и вышел из избы.

В избе неловко помолчали.

Но скоро Спиридон спросил механика с усмешкой:

— Чиновников-то, видать, и ты боишься?

— Просто не люблю...

— А девок любишь? — промолчав, расхохотался Спиридон.

— А девок люблю! — сказал механик и острым взглядом впился в Маремьяну, которая с насмешкой глядела на него.

— Чудной ты, господин! — строго сказала Маремьяна, и механик увидел в ушах её огромные серебряные серьги, а на смуглой шее — несколько рядов цветистых янтарей.

— Чем же я чудной?

— А всем! — коротко ответила она и наклонилась к блюдцу, поглядывая исподлобья то на механика, то на Спиридона.

А Спиридон сидел, уже не улыбался, и украдкой глядел на Маремьяну, будто впервые её видел и не мог наглядеться.

Механик пил чай вприкуску с сахаром и с чёрствым хлебом и, лукаво улыбаясь, говорил:

— Уж если кто чудной, так это вы, сибиряки!.. К вам не знаешь как и подойти.

— А чего к нам подходить-то? — огрызнулась Маремьяна. — Ты иди своей дорогой, мы своей...

— Ишь ты какая! А может быть, дорога-то у всех одна?

— Где уж нам за вами! — сухо и как будто с тайной завистью вымолвила Маремьяна.

Спиридон угрюмо и неодобрительно покосился в сторону девки, а механик продолжал смеяться:

— Чего ты сердишься?.. Я, может быть, любя сказал!

— Оно и видно! — выпалила Маремьяна, надменно покачав серёжками. — Полюбил волк жеребёнка...

Механик прикусил усы.

«Вот змея-то, чёрт бы её побрал», — подумал он, и вдруг, как бы озлившись, заговорил:

— Спесь твоя, красавица, дело хорошее, а был бы разум, ещё лучше... Вот Змей-то Горыныч — железная дорога — к вам подкрадывается, а вы живёте здесь, как сто годов назад, и никого к себе со свежим словом не подпускаете.

— Ни к чему нам этот разговор! — отрезала Маремьяна, перевёртывая вверх дном на блюде чашку.

— И на том спасибо! — краснея, промычал механик и тоже отодвинул допитый стакан.

Спиридон молчал и ехидно ухмылялся.

Скоро чиновнику и механику подали лошадей. Один за другим они уехали, а Спиридон с кнутом за опояской стоял и ласково шептал:

— Ладно ты ему напела!..

— И што он на меня бесстыжие глаза-то пучит... — громко говорила Маремьяна. — Ишь, подсыпаться начал...

И Спиридон поехал домой радостный и хорошо понял, что лучше Маремьяны нет для него невесты...

Только бы родители согласие дали, да её бы как-нибудь не рассердить: девка с норовом, того и гляди отошьёт.

IV

Яков Тяжов и Митрий Егорыч, отец Маремьяны, охотно прыгали на козлы кошёвок потому, что ехали всегда друг к другу в гости. Днём ли, в полночь ли, всегда согреют друг дру-

га чайком, выпьют по шкалику вина и посидят, поговорят чашок-другой по сердцу. Настоящие дружки!

Вскоре после святок, когда непрерывно ехали с каникул разные ученики, Яков приоделся понаряднее, отнял из рук работников вожжи и крикнул вышедшей на крыльцо Карповне:

— Ну, благословляй, старуха... Попытаем, што Бог даст.

Он прыгнул на козлы кошевы, в которой сидело трое реалистов, и уехал в Селиваново.

Особенно бойко в этот раз помахивал он кнутовищем и покрикивал на лошадей. А когда приехал в Селиваново, забыл с реалистов получить за прогон. Так, шельмецы, и увезли по гривне за версту — два сорок.

Был праздник, и Митрий Егорыч отправил с реалистами работника, а сам ввёл Якова в горницу и велел солдатке ставить самовар.

Маремьяны дома не было — ушла к подруге на девичник.

Яков долго обчищался и приглаживался у порога, потом, не снимая тулупа и держа в руках шапку, прошёл в передний угол, сел к столу и, разгладив бороду, прокашлялся.

— Вот чего, Митрий Егорыч! — негромко и как будто даже строго заговорил он, не теряя ни минуты. — Ведь я к тебе с большим поклоном!..

Митрий Егорыч тоже сел и тоже, погладив узенькую бороду, прокашлялся.

— Как так, Яков Агафоныч? Как будто ты поклонливым-то не был... — сказал хозяин и, закинув ногу на ногу, пытливо посмотрел на гостя.

— Ты знаешь, я калякать долго не люблю... Вот я тебя сейчас спрошу, а ты мне прямо и ответь. Есть — есть, а нет — и чаю ждать не буду!..

— Да ты пошто же так круто-то? — обеспокоился вдруг Митрий Егорыч, смекнув, в чём дело. — Ты, Бога ради, не пугай меня.

— Пугайся не пугайся, а я к тебе, друг, свататься приехал!

— Да ты, Христос с тобой... Ты, Яков Агафоныч, ровно как на драку вызываешь... Постой уж, вон самоварчик подадут — поговорим, как следует быть...

Но Яков уже не сидел на месте. Он встал со стула и, взяв в обе руки шапку, прижал её к своей груди.

— Ты знаешь, Митрий Егорыч, что парнишка у меня один, как соринка в глазе. И вижу я — не по дням, а по часам парнишка сохнет... И рано мне его женить, да некуда деваться... А девку твою вместо дочери лелеять будем, — и Яков большим крестом перекрестился на иконы.

— Экой ты какой, Яков Агафоныч, — умиротворяюще протянул хозяин. — Ты ровно как кошёвки попросить приехал

али мешок овса... Да ведь это дело не шуточное, да и девку спросить надо... А на неё, брат, у меня не скоро орать-то накинешь — улягнёт!.. Хх-хе...

— Знаю, друг Митрий Егорыч. Девка — сокол, да ведь и мой — орёл...

— Да, коренник хороший для моей пристяжки, — продолжал шутить Митрий Егорыч. — Только, видишь ли, запрягать-то их не рано ли?.. Ведь не объезжены они... А ну как зауроят — ведь уж тогда ни тпру ни ну?..

Солдатка внесла и поставила на стол тарелку с жареной говядиной и крупными ломтями нарезала стожок пышного пшеничного хлеба. Потом внесла кипящий самовар, загремела чашками.

Дмитрий Егорыч — в шкаф, достал графинчик с водкой и тяжёлые стеклянные рюмки-стопочки.

— У тебя вот, Яков Агафоныч, за своё-то дело душа болит, а у меня за Маремьянку не болит, ты как думаешь? — распевисто упрекал он гостя. — А она ведь у меня, ты знаешь, трёх худых работников заменит... Легко ли с экой-то расстаться? Подумай-ка ты сам!

Яков опять с достоинством погладил бороду и, выпрямившись, уже спокойнее заговорил:

— Митрий Егорыч! Я насильно дочь твою у те не отбираю. Только што желаю знать сегодняшники: пан или пропал?.. Говорю, што за стол не сяду, ежели отказ.

— Выходит: кум — кум, а не кум, дак и ребёнка об пол?! — Митрий Егорыч угрюмо прикусил свою бородку, поглядел с минуту на пол, потом вдруг поднял голову к божнице, размашисто перекрестился и, строго глядя в глаза Якова Тяжова, гостеприимно указал ему место у стола.

— Садись нето, сваток, закусим!

Тяжов поспешно снял тулуп и, помолившись, сел за стол.

— Недаром, видно, Митрий Егорыч, и отцы наши покойнички верёвочку не рвали... А теперь и дети не порвут!..

Но Митрий Егорыч, наливая водку в стопочку, вдруг грустно протянул:

— Бог знает, Яков Агафоныч, какая участь ждёт наших детей. Ишь, вон как скорёхонько всё изменяется: на прок вон, будто бы, и чугушка в действие пойдёт, а там, глядишь, и тракт... — Но он не договорил.

В горницу, топоча мужскими сапогами, весело вбежала Маремьяна с двумя подружками.

Девки ярко-красным и большим пятном остановились в дверях горницы и, увидев стариков, застенчиво спрятали смеющиеся лица в фартуки.

— Здорово, дядя Яков!.. — бросила Маремьяна и обратилась к вошедшей из другой избы с огурцами снохе-солдатке:

— Мы за тобой пришли, Арина! У нас никто не знает свадебных песен... Батя, — повернулась она к отцу, — отпусти её с нами к Акулине на девичник!.. Весело там как! — обернулась она к солдатке. — Сейчас девки венки наряжают — невесту в баню поведём.

Потом, вдруг хлопнув в ладоши и прижав к животу руки, склонилась от накотившего смеха и, захлёбываясь, продолжала:

— А этот слесарь, механик ли он... Да будь он проклятой... Обрядился крестьянским парнем да с балалайкой и пришёл туда... Да как зачал наигрывать да петь... Да присказульки разные... Всех девок перетормошил... Дак мы со смеху подошли... Батя! Отпусти скорей Арину!

Но Митрий подозвал к себе раскрасневшуюся, задышавшуюся Маремьяну и с ласковым упрёком сказал ей:

— Вот что, мила дочь: Арине некогда по свадьбам бегать, да и тебе пора быть поумнее. Ты сама теперь невеста... Тебе уже восемнадцатый годок... Вот я тебя за Спиридона запросовал... Слышишь ты?

— Ну так! — вдруг дёрнула пунцовыми губами Маремьяна и вихрем понеслась из горницы впереди своих подруг.

Изумлённый Яков Агафоныч видел, как по снегу мимо окон быстро промелькнуло ярко-красное пятно из девичьих нарядов. А до слуха долетел отрывок бойкой песенки:

Эй, в Молоканке была
Да на стуле сидела...
Ай, молоканщика любила —
Хорошее дело!..

— Вот видишь, Яков Агафоныч, — сконфуженно сказал Митрий Егорыч, — какой в ей ещё ум?

Яков за закуской выпил лишнее и в обратный путь сердито бил своих коней и громко сам себя наказывал:

— Да эдакую халду я не токмо сыну... Злому ворогу не пожелаю!..

V

Спиридон не знал о том, что отец ездил сватать Маремьяну. Его грызла кручина, потому что Маремьяна за все святки ни разу не приезжала в Язево, а в Селиванове он никак не мог с глазу на глаз её увидеть и начистоту поговорить. Либо дома

нет, либо ей некогда. На рождество увидел её на крылечке — семечки щёлкала, — пока прогоны получал да перекладывал багаж проезжего, ушла к подружкам. Прямо будто как и видеть не желает. А чем он не жених ей? Неужто тем, что молод — на жеребье ещё не бывал?!

Парень он не робкого десятка, за словом в карман не лезет... Первым долгом хотел сказать ей, что в солдаты ему не идти: один сын у отца, и что согласен свадьбу ждать хоть до другой зимы — лишь бы слово дала.

Но не видел девки, и томился. Отцу и матери сказать стеснялся, а сам ночей не спал, скрипел всю ночь полатами и в коротком сне турусил Маремьяной. За обедом ложку всё рассматривал, будто ни Бог весть какие там картины видел, а есть как следует не ел.

Сторонним людям невдомёк, а материно да отцово сердце чуяли, что изводит парня девичья краса: ровно как присуху на него наслали или по ветру злую сухоту пустили.

Карповна тайком со знахаркой пошептались: ладили на утренний печной дымок, и на конский волос, и на пищу, и на квас — ничего не помогало... Даже хуже: никогда Спиридон не связывался с забияками, а тут в драку угодил, пришёл с разорванными рукавами, с синяком под глазом, и водкой пахло изо рта... Не вытерпела Карповна. Раз утром в воскресенье расплакалась, раскричалась:

— Сыночек мой! Да ты бы образумился! Вот в церкви Божией который праздник не бывал... С отцом, с матерью не говоришь, не молишься на сон грядущий. Тебя, поди, Господь-от и наказывает... А ты бы образумился да помолился хорошень... Оно бы, может, и отлегло у те от сердца-то...

Но Спиридон надвинул шапку на самые глаза и, не сказав ни слова, сильно хлопнул дверью и ушёл во двор. Налёг там грудью на прясло и долго так стоял, смотрел на лошадей, как они, похрумкивая, подбирали сено. И всё прислушивался: не звенят ли колокольчики — не везёт ли Маремьяна проезжающих?... Уж дома-то у себя он сумел бы с ней поговорить... И как это он раньше не догадывался... Бывало, два раза в неделю приезжала...

Колокольчики звенели, но чаще не с той стороны: всё больше ехали в селивановскую сторону, в глубь тайги приезжали разные купцы, чиновники, землемеры, инженеры.

На «сплошной» неделе перед масляной из Кузихи приехал знакомый Спиридону механик. Он был выпивши, громко говорил, весело смеялся и подмигивал.

— Из города, брат, еду!.. Туда проехал по другой «верёвочке»... Маремьяна, брат, меня возила...

Как бичом стегнули Якова эти слова.

— Да быть не может, господин, штоб Митриевы проезжающие мимо нас проехали!.. Вы это как-нибудь запомнили... Теперича лет сорок с пятком, поди, верёвочку содержим вместе, да штобы мимо провезли...

Механик насмешливо прищурился, захохотал, но вдруг, как будто спохватившись, сбивчиво сказал:

— А, шут вас побери!.. Конечно, перепутал я... Коньячишку для тепла глотнул дорогой, вот и того...

Но Спиридон почуял, что всё нутро его как льдом подёрнулось — похолодело. Он заспешил с запряжкой лошадей и, несмотря на уговор отца послать работника, сам снарядился в путь.

А механик медлил, долго чаевал, рассказывал о городе, о том, как возле Селиванова на днях пустили первый поезд на двадцать вёрст, почти до самого Чёртова Яра, возле которого весною начнётся постройка моста через Язевку.

— Капут вашему чёрту!.. — подмигнул механик и вдруг вспомнил:

— Ведь я обнову, брат, везу!.. — закричал он Спиридону. — Тащи-ка там ящик — в кошеве, в рогоже... Тащи-ка поскорей! Я сейчас вам покажу такую загогулину... Поёт, хохочет, говорит! — добавил он, хлопнув по плечу встревоженную Карповну.

Спиридон втащил тяжёлый ящик. Механик быстро и умело вскрыл его и, вытащив, поставил на стол патефон.

Спиридон видел такой же у язевского торговца на молококанке: по вечерам мастер для девок плясовые песни играет, только тот с трубой, а этот без трубы.

— Знаешь что я заведу, а?.. «Верёвочку», брат, «Верёвочку»... Специально для тебя купил... А ну-ка, садитесь, слушайте!..

Высокий заунывный голос сразу же ухватил за сердце Спиридона.

Вил верёвочку парень бравый,
Пе-сню звонкую он пе-ел...

Большим раздольем трактовой дороги, далеко уносящая грустью колокольчиков, ретивой горячностью коней и чётко сыплющимся топотом копыт бегущей вихрем тройки повеяло на Спиридона. Он слушал песню и видел в ней себя, всю свою молодую и кручинную судьбу, и непонятное в нём закипело... Хотелось что-то сделать ухарски отважное, хотелось плакать и мчаться дальше и быстрее куда-нибудь от этой плачущей над ним судьбы, от механика, от отца и матери, от Маремьяны...

Как да на этой на верё-овочке
Жизнь покончил молодец... —

выбросила из себя последние слова машина и тяжким камнем придавила сердце Спиридона.

— А это вот купил для Маремьяны, — говорил механик, доставая новую пластинку. — Развесёлая она девах... поплясать любит.

И машина с шумом, с гиканьем, со смехом заиграла «Ой-ру».

— Таковую, братец, вечеринку мы в Селиванове соорудим!.. — складывая патефон, подмигивал лукавым глазом механик. — Что пей — не хочу!.. А теперь, друг милый, погоняй!..

И он, пошатываясь, стал спешить в дорогу.

Мчался Спиридон по тракту, и заунывный, за сердце хватающий мотив «Верёвочки» всё ещё звенел в его ушах.

Колокольчики под дугой так и выводили:

Как на этой на верёвочке
Жизнь покончил молодец!..

VI

В пятницу на масленую с утра Спиридон запряг тройку самолучших лошадей в обитую коврами кошеву. Обрядился в чёрный плисовый халат, два раза обмотал вокруг шеи голубой пуховый шарф и концы его скрестил на груди, заткнул за красную гарусную опояску... Гладко причёсанную голову бережно покрыл бобровой шапкой и, стоя в кошеве на ногах, один, без пассажиров, лёгкой рысцой поехал в Селиваново.

В этот день на сердце у него не было кручины, даже, напротив, — румяное, безусое лицо его с задорной удалью глядело на блестящую медным узором сбрую, на горячившихся пристяжек, на косматого «Князя Молоконского», высоко поднявшего к раскрашенной дуге убранныю в ленты голову.

Спиридон доволен был собой и не гнал коней, приберегая их для того, чтобы лихо покатасть Маремьяну и её подружек.

Верил он, что девка сядет с ним кататься, потому что в прошлый раз, когда он возил механика, она сама за чаем говорила:

— Приезжай на масленке кататься!..

Спиридон хотел тогда же с ней поговорить начистоту, да отлегло от сердца после этих слов её, и он решил сождать...

Но уж теперь он с ней наговорится вдосталь. Ничего, что мясоед прошёл, — повенчаться можно и на Пасхе, лишь бы слова добиться...

В снежном бусе на халате и на шапке и на цветных коврах лихо подкатил он к Митриеву дому.

Но дома никого не было. Стоявший у ворот работник рассказал, что Митрий уехал к сыну-большаку на заимку, а Маремьяна и солдатка с девками катаются на тройке.

До слуха Спиридона донёлся звонкий голос от песен, криков и колокольцев с главной улицы села.

Он постоял возле ворот, поправил шлею на кореннике, ладонью стукнул по дуге, стал снова в кошеву и, повернувши тройку, поехал по сугробистому переулку на празднично шумливую главную улицу.

По улице носились тройки, пары и одиночки, перегруженные цветистыми, румяными девицами и коренастыми парнями. Праздно зевавшие с крылечек и завалинок мужики и бабы грызли семечки. Верхом на лошадях скакали мимо них подростки. От громких песен, криков и колокольцев стоял нестройный и крикливо непрерывный гул. Снег под санями и копытами был жёлтый, рыхлый и тяжёлый, и длинная, крикливая улица была запружена ошалевшей пёстрой толпой народа.

Спиридон вклинился между саней и кошевной и с порожней кошевой поехал мелкой рысью. Кое-кто из парней и девок, стоявших в улице, кричали ему:

— Пошто пустопорожний едешь?.. Посади-ка нас!..

Другие с громким смехом бросали в кошеву комья снега и застывшие конские «глызы».

Но Спиридон не отвечал им, даже не оглядывался, когда комья попадали ему в спину. Он жадно вглядывался в кошевы, отыскивая большие серые знакомые глаза.

Проехал по улице раз, другой и третий, и наконец позади себя услышал бойкий, ударивший по сердцу голос Маремьяны.

— Эй, чего зеваешь? Горшки, што ль, продаёшь!..

Спиридон обернулся. Взмахнул бичом над украшенными в разноцветные ленты лошадьми. Маремьяна туго натянула вожжи и, узнав его, оторопела.

— А-а! Это вон кто!.. — протянула она, слабо улыбнувшись. — А я думала, другой кто... — и присела на обочину кошевы, на дне которой среди разряженных девиц сидели два крестьянских парня. Один из них играл на балалайке и подпевал:

В этом нет большой науки —
Изогнув крючками руки,

И вот так-то, хоть без такта,
Плавай да ныряй-ай...

Спиридон, сдержав коней, поехал рядом и, взглядевшись в парня, встретился с чёрными, лукавыми глазами знакомого механика.

— Ба-атюшки!.. Кого я вижу! — закричал механик и встал на ноги, протягивая руку Спиридону.

Спиридон невольно ухмыльнулся и, здороваясь с другим парнем, узнал в нём Терёху Дорофеева, сына ямщика другой селивановской «верёвочки». И снова на грудь его как будто кто-то навалил тяжёлую гирю, но он не переставал ухмыляться и не стегнул по лошадям, чтобы ускакать от тройки Маремьяны.

Механик с парнем прямо на езде перелезли в кошеву, придерживаясь за плечи Спиридона и дыша в лицо ему горячим запахом вина.

— Ну, как живёшь, парнюга? — хлопнув по плечу Спиридона, насмешливо спросил механик и, не дожидаясь ответа, продолжал:

— А мы, брат, тут совсем окрестьянулись... Гуляем вот с Терёхой третий день...

— Вечёрку, товарга, делали вчера, — подхватил Терёха. — Девья было невпроворот... Холостёжь драку затеяли... Грозилась бить его! — Терёха ткнул пальцем в шапку механика. — А он им четверть поставил на мировую — они и стихомирились...

— Ха-ха! — кричал механик. — У мужика за водку душу вынуть можно... А я-то раньше голову ломал: с какого боку подойти?!

— А Маремьяну, слышь, — простодушно хохотал Терёха, — вчера на вечеринке... Взял да...

Но механик зажал рукой Терёхе рот и вместо него договорил:

— Плясать по-новому учил!..

— Дак прямо хаханьки... — захлёбываясь, говорил Терёха. — Когда он и успел её осилить... Вся спесь у девки спала.

— Да не болтай ты вздор, мужичья харя!.. — схватив Терёху за ворот, простодушно смеялся механик и, обернувшись к Маремьяне, прокричал:

Маремьяна девка рьяна.
Не глупа была, не пьяна...

Маремьяна не могла смотреть на Спиридона и не могла собрать выпавших из рук вожжей... Остальное Спиридону

сердце досказало... Уж не хотел он ни слышать, ни видеть ничего, ни говорить с любимой девкой... Людная, крикливая улица стала для него чужой и непонятной, и весь белый свет, прикрытый зимним небом, показался скучным и постылым...

VII

Под вечер поехали все к механику в гости — послушать машину и поплясать. Больно полюбилась девкам музыка. Квартира, снятая механиком, была большая — как раз для вечеринок.

Самовар, конфеты, пряники, сладкая наливка. Девки до всего охотницы, а хозяин угостительный, весёлый, где тут деревенским парням, рохлям!

Смотрит Спиридон на Маремьяну — рюмку за рюмкой опрокидывает девка... Разгорелась, а сама сидит в углу, не пляшет, не поёт, а на Спиридона — хоть бы одним глазом!.. Так и прячет от него глаза. Спиридон с четвёртой рюмки охмелел, но память служит ему верно.

«Надо уезжать бы поскорее!» — думает он про себя, сам не может глаз отнять от Маремьяны, не может с места сдвинуться, и всё хочется ему сказать ей что-то, да не знает: громко надо ей сказать об этом или шёпотом.

А механик всё своё ведёт, мужиков чалдонами ругает, смеётся над старинным складом жизни.

— Вот Спиридон сидит, повесил хвост! — кричит он весело. — Досадно — девка перед ним не ползает... Привыкли к рабьему покорству!.. — и тут же улыбнулся Маремьяне, подмигнув ей.

— Эй, Маремьяна, ты чего насупилась?.. Веселись, гуляй, не бойся никого!..

И Спиридон увидел, как механик обнял девку и из-под мышки запустил под кофточку к ней руку.

«Скорее уезжать мне надо!» — решает с болью в сердце Спиридон, но вместо того подбегает к Маремьяне и кричит ей:

— Маремьяна!.. Убежим со мной отсюда?..

Маремьяна вдруг уткнула лицо в фартук и заголосила пьяным, хриплым голосом:

— Ой, да куда же я теперича деваюся!..

— А ты кто такой, а?.. — завопил вдруг Спиридон и сильными руками впился в грудь механика. — Ты кто такой сюда явился, а?..

Механик быстро высвободил руку и звонко шлёпнул ею по лицу парня.

Терёха бросился их разнимать, а девки уговаривали Маремьяну.

Механик сел возле стола, закрыл глаза ладонью и ругался:

— Вот угораздил меня чёрт связаться!! Не было печали...

Не взглянув на Маремьяну и зажимая больно горевшую щёку, Спиридон, сопровождаемый Терёхой, пошатываясь, вышел от механика, сел в кошеву и надрывно простонал на лошадей:

— У-ух, вы-ы!

И сел на дно кошевы, не управляя тройкой и не зная, куда она несёт его.

А перепоенная, голодная и застоявшаяся тройка несла его сперва по улице села, мимо быстро мелькавших вечерних огоньков, потом какими-то сугробами, потом бездорожной белой равниной...

Освежённый воздухом и бьющими в лицо комьями снега, Спиридон пришёл в себя, привстал и оглянулся. Над белой равниной висела чёрная, беззвёздная ночь, а по равнине растлались и трепались белые, огромные лоскутья начинающейся вьюги...

Лошади, проваливаясь в снег и ударяя копытами по кошеве, бежали всё тише и всё чаще, тяжелей дышали.

Спиридон поднялся на ноги, сдержал тройку, осмотрелся — и не мог понять, куда он едет и зачем?..

И опять отступили думы и желанья, ему казалось безразличным, куда несёт его измученная тройка, кто он и почему сюда попал...

Стегнув по лошадям, он снова опустился на дно кошевы, и под напевы снега под полозьями отдался жалостно баюкающей дремоте...

Долго ли, коротко ли спал, и проснулся ли от сна, он не мог понять, когда над снежной равниной послышался какой-то гулкий, страшный рёв, а вслед за ним, как будто нарастая, надвигался непрерывный гром.

Спиридон опять поднялся, оглядел равнину, перегороженную впереди чёрной стеной леса, и увидел, как из тайги навстречу выползает что-то чёрное, огромное и многоногое, и красными глазами из огня, не моргая, смотрит вперёд. И бесстрашно, быстро и неумолимо мчится прямо на остановившуюся тройку...

И тройка ошалела, храпнула, метнулась вбок и вихрем помчалась назад... И видел Спиридон, как чёрное чудовище с красными глазами загремело рядом. Ухарски погнался он свою

тройку вслед, как бы желая обогнать или стоптать железное чудовище...

Но страшное чудовище, гремя железными ногами, пронеслось и, исчезая, снова огласило мгlistую равнину гулким рёвом, как бы приказывая ей проснуться и встречать его с почётом.

Перепуганная тройка Спиридона неслась быстрее и быстрее. Стоя в кошеве, дико ухал на неё ямщик, пьяный от ночного страха и от лихой, безумной скачки по бездорожной темноте.

...Как сквозь землю провалился Спиридон с тройкой и с кошевой.

Искали его всюду, допрашивали механика и Маремьяну, Терёху и девиц, катавшихся с ним вместе. Никаких следов не отыскивали.

Все решили, что убили Спиридона конокрады и угнали самолучших лошадей за сотни вёрст...

Запил с горя Яков. Порвалась его ямщицкая «верёвочка».

Только весной, когда ещё не растаяли остатки снежных обвалов над северными склонами таёжных сопок, по берегу речки Язевки бродили с удочками ребятишки, и под самым Чёртовым Яром увидели вытаявший из-под снега и сверкнувший сталью подрез кошевы. Чёрную гриву «Князя Молоконского» и отливавший голубой шарф Спиридона заметили лишь тогда, когда стали раскапывать заледенелый, смешанный с обвалившейся землёю снег...

Слепнуть стала от печали Карповна и безразлично слушала соседок, нашёптывающих ей, что Маремьяна забрюхатела от механика...

Смолокуры

I

Всякому своё счастье. И всякий по-своему его толкует.

Куриному уму — куриное счастье, а сокол всегда будет летать по поднебесью. Конечно, вить гнёзда и выводить детёнышей на облаках нельзя — всё такое грешное и будничное делается на земле, где столько драк промеж зверей и птиц, и насекомых, не говоря уж про людей, которые иной раз не на шутку видят счастье в том, если друг другу глотку перервут удачно.

Мало ли людей теперь, у которых ум как будто соколиный, а дела куриные: поклевать досыта зёрнышек в свежем навозе да снести яичко в безопасном месте — все и идеалы тут... Хоть верхи взять, хоть низы!..

А всё-таки до боли жаль людей, душа болит о них... Хочется почаще говорить им колючие слова правды и хочется размягчить их сердце ласковой любовью, будь они князя или рабы в душе своей.

Потому что все люди жаждут счастья и тянутся к нему через все грехи и препятствия из всех чертогов и трущоб. Вот почему вспомнились мне наши смолокуры, люди самые последние среди сибиряков, всегда достаточных, степенных, сытых и смекалистых.

Вот как это было.

В длинные летние дни, когда над молчаливыми сибирскими лесами, раскинутыми по холмам и далям, идёт солнце, — синяя пустыня тайги кажется совсем немою.

Только кое-где на синеве — живые белые клубки: это покуривают разбросанные по тайге ямы дегтярен и смолокурен.

А тёмными ночами в рыхлой тьме тайги вместо белых клубков золотятся огоньки, как редкие нападавшие с неба звёзды.

Это костры у смолокуров.

Смолокуры — те же золотоискатели в тайге: такие же оборванцы, такие же отчаянные головы и так же голодают по неделям.

Вся разница в шароварах: у золотоискателей шаровары из бархата и плиса и широкие, как бабьи юбки, а у смолоку-

ров — из просмоленного холста, крепкие и твёрдые, как кедровая кора.

Но золотоискатели за шаровары дорого расплачиваются. Смолокур подумает, что в бархатных штанах Бог весть какие самородки, — примет на душу незамолимый грех... А там, в широких-то карманах, — один кисет с махоркой.

Так, должно быть, и Максим сложил головушку, первый Маланьин сожитель.

Пока ходил в холщовых шароварах, выкуривал с Маланьей смолу, — хоть плохо, да были сыты. А как обрядился в бархатные, ушёл искать золото, — насиделась Маланья с маленьким Федькой голодом.

Да и сам Максим, бывало, вернётся с поисков, как из скиотов: худой, измаянный, печальный.

Только один раз и пофартило, — нашёл, принёс домой три самородка величиной в зерно подсолнуха, — обзарился: насулил Маланье палат каменных. Потом ушёл железную лопату покупать — золото выкапывать, — да так и не вернулся. Не вернулся и слухов о себе никаких не оставил.

Через полгода сосед Парфён, из поселенцев, заявился на Маланьин стан и повёл турысы на колёсах. То да сё, да лучше в дёгтю пачкаться, нежели за золотом охотиться. А потом напрямик и грохнул:

— Нашли в Лешачьей согре Максимовы штаны. Бархат-то, видать, не скоро сопревает... Кости да штаны...

Подумала Маланья: не Парфёново ли это дело? Да Парфён так озаботился о ней и о Федьке, что она возьми да и свяжись с ним... Старик не хуже молодого приголубил.

Сперва приголубил, а потом и сел на плечи, впряг во всё Маланью.

«Стиснул в своих варнацких кулачищах, дармоед», — тайно думала Маланья, а сама не смела огрызнуться.

Пока парнишка подрос, Маланья на яме, в первую голову, в дёгтю вся выпачкается. Ни кожи ни рожи.

Накурит бочку, думает сама свезти — продать, купить себе кое-какую лопотину. Нет, он не дозволит. Сам поедет, продаст, накупит водки и ездит по тайге, с другими смолокурами пьянствует.

Кровь всю выпил. Молодость с ним загубила. Встал на дороге, как стена острожная.

А была у Маланьи одна зацепка верная, — для Федьки сберегала.

Маланье сорок стукнуло, Федьку, того гляди, надо женить, а она всё ещё крепилась, не хотела Федьке открывать свою давнишнюю золотую думку.

— Больно молод! Глуп, — глядела она на сына прятавшими что-то важное глазами.

А в эти глаза впивались другие — острые и спрашивающие глаза Парфёна.

Пятнадцать лет носила в глазах Маланья свою думку. И все пятнадцать лет Парфён следил за ними, мучился и не мог угадать: что в ней, в этой бабе, какой дьявол сидит?

В первые годы, лет семь, думал:

— Повадка такая блудливая у бабы. Если бы не в тайге жили, — семерых бы полюбовников имела сразу.

И ревновал ко всякому смолокуру, ко всякому прохожему охотнику, к черневым татарам, приезжающим шишковать, — орехи бить.

Следил, доискивался, бил — ничего не узнал. Так в глазах у неё и осталось это мудрёное, влекущее и скрытое.

Был бы не стар — сказала бы, открылась. А то вот угадайка, что за этими зрачками кроется.

Боялась Маланья глаз Парфёновых. Так и изогнётся под остриём его ищущего, неморгающего взгляда.

— На щенка-то чего уставилась? — вскидывался он, перехватывая взгляд Маланьи.

Маланья вздрагивала, будто выронила правду, но справлялась и притворно фыркала:

— Да ты с ума-то не сходи! — Хоть к сыну-то родному не ревнуй.

Парфён сощуривал глаза. Как тетиву, натягивал свой сильный голос, и, как стрела, летело оскорбительное слово:

— Паску-уда-а!..

Давно убил бы он Маланью, если бы не уловил в глазах её такое, что заглушало злобу и приказывало ждать, искать, пытывать.

II

Однажды поздно осенью, когда ни на санях, ни на телеге нельзя было уехать из тайги в село, Парфён выжил Федьку из избы своей злобой. Поедом съел Маланью.

Федька взял винтовку, стал на лыжи, выругался за стеной избушки, так, чтобы старик не слышал, и ушёл на охоту.

А Парфён закрючил дверь избушки, медленно, не отнимая ног от земляного пола, наплыл на Маланью и, как чёрный сон, навалился на неё:

— Пря-а-чешься?!.

Свернул с головы подшалок, раскосматил волосы, намотал их на руку и притянул Маланьино лицо к себе так близко, что борода его залезла к ней за воротник. И шипучим голосом стал допрашивать:

— Ну, змея... Ну-у?!.

Маланья сделалась вдруг гибкой, лёгкою, как молодлица, и покорным, прерывающимся голосом молила:

— Да никого-о я, окромя тебя... не зна-аю... Ну, ка-аюсь... Один Максим был моим полюбо-о-о...

Это «о» так и вырвалось из избушки и понеслось по лесу печальной песней...

Парфён ещё жаднее вбирал в свой рот пропахшую махоркой и дёгтем бороду и жевал её большими волчьими зубами, а руки его толкали в твёрдый пол Маланьино лицо.

— Скажешь?.. Не скажешь?!

Только тут, впервые в жизни, Маланья оскорбилась:

— Не скажу!! — прохрипела она и оберуч схватилась за бороду старика.

Схватилась и, как лежала на боку, так и потянулась вся с перекошенным ртом к зернистому носу Парфёна.

Впервые сделалось Парфёну страшно. Он рванулся от Маланьи и в руках её оставил окровавленные клочья бороды.

Вышел из избушки и ходил возле неё до вечера, как обложенный медведь.

Маланья долго сидела на полу, ощупывая синие кровоподтёки на лице, долго не могла завывать, — подавилась страшною обидой. А потом приподнялась, умылась, вышла из избушки и потрясла сухим кулаком в сторону Парфёна:

— Врёшь, проклятый! Врёшь, острожник! Ничего ты не узнаешь.

А про себя чуть слышно и решительно прошептала:

— Убьёт — всё сгинет... Надобно скорее открыться Федыке.

Парфён ходил возле избушки, прикидывал в уме, как вытрясти из бабы правду, и жевал от злобы остатки бороды.

Федыка пришёл с охоты поздно. Было совсем темно. А наутро увидал затёкшее лицо Маланьи и вырванную бороду Парфёна и заржал от дикого веселья:

— Натешились? Ха-ха-а! У обоих рожито как перекошило...

Дикарь был Федыка, не смыслил, что мать из-за него страдает, счастье бережёт ему, зверёнышу.

В лесу родился, в лесу вырос; возле смолокуров только и науки — ругань.

Весь просмолился, прокоптел возле дегтярных ям, — в Петровку ни один комар не сядет, не укусит. А волосы — кора корой.

Смолой лечился от брюшной боли, дёгтем смазывал царапины и вереда, дёгтем мазал трескавшиеся от солнца губы.

Настоящий дьяволёнок, выкинутый из ада, где грешники в смоле кипят.

Невзначай однажды увидал себя в воде, и долго по лесу носился его дикий смех. Не мог налюбоваться на себя, — глядел в воду и хохотал на разные лады.

Мать как-то закричала:

— Да ты хоть раз умойся! Дай волосы-то остригу.

Федька оскалил зубы, а глаза его совсем исчезли в узких прорезях.

— Ха-ха-а... — смеялся Федька, вспомнив про своё отражение в воде.

— Олух, прости Господи... Женить ведь скоро надо...

Федька озорно поглядел на мать и облизнул намазанные дёгтем губы.

— Жени, — храбро согласился он, но, как будто испугавшись, что мать за это поколотит его, опасливо отпрыгнул от неё и стал ждать, что будет дальше.

— Зверёныш ты, зверёныш и есть. Тятенька родимый — чертёнок дегтяной!

— А женишь? — ещё подальше отступил от матери Федька и стоял на полусогнутых ногах, готовый к новому прыжку.

— Женю! — пригрозила Маланья, и по изрытому побоями лицу её заиграла мягкая улыбка.

III

Чему-чему, а жениханью учиться не надо. Придёт пора, потянет парня к девке — вот и всё.

Увидал Федька Дарку Туголукову, — с дёгтем раз в неделю мимо ездила.

Увидал, свистнул вслед, захлебнулся смехом, — и в другой раз потянуло...

И начал каждый раз глядеть в ту сторону, откуда должна ехать Дарка.

Чаще стал глядеть на себя в воду, умываться стал. Даже остригся.

Дарка постоянно с песней ехала.

А как увидит Федьку — перестанет петь, стегнёт по лошади и скроется. Закипела в сердце у Федьки смола.

Стал Федька в деревню ездить, на вечеринку отважился пойти.

Вкусно пахло от девок новым кумачом, и всех вкусней — от Дарки.

Пойдёт к Дарке, а она толкается.

— Фу-у, как дёгтем-то провонял! С души прёт. Уйди!

А сама тоже смолокурка, только в бане часто парилась.

И Федька в баню стал похаживать, — не помогло. Запалила смола душу Федькину. Перестал он зубы скалить. Начал мать корить:

— Одного родила и того непутёвого. А тоже: «женись!..».

Осталась у него одна утеха — взять винтовку, стать на лыжи — да в лес, за зверем, промышлять...

Но вдруг Маланья улучила время без Парфёна, схватила за вихры Федьку и сказала:

— Дурак ты, Федька, дурак! Ничего-то ты не знаешь... А я-то, я-то для тебя полжизни загубила.

Федька выпучил дремучие зелёные глаза, не понимал.

— Счастье-то какое для тебя сберегла...

Маланья снова вдруг помолодела, и в глазах её сверкнула скрытая весёлая игра.

— Красавчиком оно тебя доспеет!.. Не токмо Дарка, сама царевна выйдет за тебя, глупёныш ты мо-ой!..

Федька ничего не понимал. Он одно знал: не надо ему никакой царевны, Дарку ему надо. И, может, только для того, чтобы пошибче отлупить.

— Задаётся больно, язва!..

— Слушай ты, дурак. Не пророни ни слова, — Маланья всё сильнее теребила за волосы Федьку, чтобы понял, чтобы почувял, какие сильные слова она ему откроет. — Вёрст двадцать отсюдава... — шептала она, задыхаясь. — В тайге, за речкою... есть лог один... С отцом твоим давно, давно была я там... Нашёл он там три самородка... золотые... Чуешь ты, глупёныш?!.

Маланья задохнулась, слёзы брызнули на слипшиеся, дегтяные волосы Федьки.

— Вот погоди, уж весна придёт...

Ещё что-то главное хотела открыть Маланья Федьке, да оглянулась: поблазнило ей, что за спиной Парфён зубами скрипнул.

Нет, не поблазнило.

Парфён стоял за нею и сверлящими глазами пожирал Федьку и Маланью...

— Понял!.. Услыхал, острожник!.. Отгадал загадку!

Остановилось Маланьино сердце. Выпило всю кровь с лица...

Но из бороды Парфёна выпали чужие, незнакомые слова:

— Маланьюшка!.. Сердечушко...

Старик держался за сердце и трясся, еле стоя на ногах.

— Врёшь, змей лютей!.. Врёшь, змей подколодный, — говорили немые глаза Маланьи. — Давно бы ты сгубил нас... Давно бы промотал всё... пропил!..

И не смела поглядеть на сына. Будто вместе с взглядом упал бы на его голову топор, который держали трясущиеся руки Парфёна.

И затянул всех крепкий узел, неразрывная удавка, схлестнувшаяся из трёх тропинок: Парфёновой — к богатству, Маланьиной — к счастью Федьки, а Федькиной — к Дарке чернобровой.

IV

Парфён из-за жажды быть богатым молодость свою на каторге оставил. Всю жизнь проползал вором, а не человеком.

И вот оно, богатство, где-то близко, протяни руку и бери... Но ключ к нему — на нутре Маланьи.

— Немножко бы... Немножко пожить без дёгтю на сердце... — шепчет он возле Маланьи и добирается руками до этого нутра, как будто хочет вырвать, силою отнять золотую думку у Маланьи.

Он хочет быть с Маланьей ласковым, хочет приголубить, приласкать её, а руки против воли тискают её тело: Маланья в темноте бессонной ночи хрипит, как перед смертью...

Федька как вошёл в избушку с вечера, остановился у порога, так и не выпускал из рук винтовку. И Парфён про это знает... Потому-то он и говорит таким чужим, совсем не своим голосом:

— Маланьюшка!.. Сердечушко!.. Скажи, откройся... Вместе с Федькой мы будем добывать... Не изобижу.

Маланья слышит и не слышит. Зелёные круги идут во тьме перед глазами, такие зелёные, как тот лужок, на котором когда-то давно спозналась она с Максимом... Много раз потом ходила она туда по хмель, по смородину. А от этого лужка наискосок, по косогору... Всё по косогору шли они с Максимом, до самого счастья. До самых зёрен золотых величиною с подсолнушное семя.

И делаются круги в глазах Маланьи маленькими, жёлтенькими и тяжёлыми. Засыпали всё тело, давят грудь. Совиными когтями въедаются под самое сердце...

— Скажи приметку-то!.. Скажи-и!

— О-ох-те... мне-е!..

Маланьин крик берёт за сердце Федьку... Жмётся он к порогу и целится на нары в темноту на сильный голос старика и скулит, как ущемлённый:

— Не мучь... Не мучь её... Не му-учь!..

Палец его дрожит, вот-вот нажмёт собачку. Мучительно ему отнять руку от винтовки и нельзя отнять: у Парфёна под рукой топор... И нельзя нажать: против дула, рядом с головой Парфёна — материна грудь, а может — голова... А голова эта нужна: в ней — золото, в ней — ключ от жизни, ключ от сердца Дарки...

Страшно Федьке выйти из избы: убьёт Маланью каторжный... И страшно броситься на выручку: силён острожник, с топором лежит...

И ещё другое, незнакомое, из Федькиной души сочилось, отливало в боль и вырывалось жалкими словами:

— Не мучь... Не мучь её... Не му-учь!..

И крик Маланьи ещё больше терзает Федьку.

Упали, видно, в её душу Федькины слова, огнём пылают, кровью облились. Кричит она, и больно, нестерпимо ухватил этот крик душу Федьки... Не удержал он непослушный палец: нажал собачку, ничего не думая, зажмуривши глаза...

Охнула, подпрыгнула от выстрела избушка и захлебнулась дымом едучего пороха.

Пока дым таял, была слышна возня и хрип на нарах... А дым исчез — затихло всё. Федька сел на корточки и не смел подняться на ноги...

И сидел так до рассвета.

Пришёл рассвет, и провалилась в нём тропинка к сердцу Дарки, песенницы круглогрудой.

Увидал Федька двух покойников, и почему-то вспомнил про чёрные от дёгтя ямы...

Много накурили в жизнь свою Маланья и Парфён смолы... Будет в чём кипеть Федьке в аду крошечном...

* * *

Летом в том же году смола и дёготь сильно вздорожали. Все смолокуры ещё с весны как взбеленились — побросали свои ямы и на полсотни вёрст вокруг Маланьиного стана изрыли тайгу железными лопатами: золотой Максимов прииск отыскать хотели. Да так и не нашли. Только лето потеряли зря.

Один Федька не искал: весну и лето просидел в тюрьме, а осенью ушёл на каторгу.

А как ушёл Федька на каторгу, многие из дегтярей ещё глубже запрятали в себе неотвязную думку: «Как придёт весна, непременно надо поискать».

Едет, бывало, смолокур деревней с бочкой дёгтя, чёрный, грязный, пропахший дымом и смолою, и кричит, с кровью отдирая от нутра надсадное, как стон:

— Дёх-тю! Дёх-тю! Дёх-тю-у!

А в глазах блестят золотые искорки лукавой надежды:

— Счастье — как солнышко... И дегтяря может согреть, побаловать.

И смекает про себя:

— Много в тайге из-за этого греха доспеется...

И, чтобы не выронить, не выдать тайной думки, дегтярь стегает свою клячу и снова стонет:

— Дёх-тю... Дёх-тю-у!..

КЫЗЫЛ-ТАС

Г. Н. Потанину, с глубокою любовью

I

Издалека, за десятки вёрст и более, виден Кызыл-Тас.

На холмистом и безлесном плоскогорье возвышается эта гора, как синий храм с высокою и острой башней на вершине.

Русские зовут её Колокольня, а киргизы — Кызыл-Тас, что значит «красный камень».

Острый конус Кызыл-Таса, как вековечный степной царь на троне, на сотню вёрст вокруг видит плоские равнины. И всё здесь ему подвластно; над неоглядными просторами командует он. Даже тучи, куда бы ни бежали над степью, всегда завернут к Кызыл-Тасу и, плавно спустившись, прикоснутся к нему, как для поцелуя.

Многие тысячелетия записаны на гранитных стенах Кызыл-Таса, а ветры и дожди навели на них искусную шлифовку. И оттого никто не смог взгромоздиться на вершину Кызыл-Таса, кроме орла, сильнокрылого любимца степных охотников — беркута.

Там-то, на вершине Кызыл-Таса, под карнизами из красного гранита, издавна, быть может, тысячи годов, ютились орлиные гнёзда, и под беспокойный спор камня с бурями выводились беркуты.

Каждой ранней осенью высоко в лазури парили молодые беркуты, делая над степью широкие круги и посылая вниз обрывки клёкота.

А немного позже, когда заканчивался листопад, молодой киргиз Чеке, сын Болекея, уже скакал на своём Буланом в белых ковылях, с беркутом на крепкой рукавице. И вокруг все степняки дивились, откуда и когда Чеке достал себе беркута, от которого уж не уйдёт ни красная лисица, ни серый волк, ни стая крепкопёрых гусей, отлетающих на юг.

Так было много лет, пока охотнику Чеке один из беркутов не выключнул глаз.

Худой это был признак. Чеке долго хворал, потом раздумывал всю весну: доставать ли нового орлёнка или не доставать?

Что глаз выключил ему беркут — это ещё ничего. А вот пятнадцать лет назад, когда Чеке был маленьким, отец его Болекей совсем погиб из-за охоты. И хоть бы по-хорошему, а то погиб без всякой славы, стыдно вспомнить.

Полез на Кызыл-Тас к беркутиным гнёздам, достал орлёнка, положил в шапку, и захотел на радостях понюхать табаку: тридцатого на своём веку достал. Примостился на карниз, заложил в обе ноздри по хорошей порции.

Это очень хорошо — понюхать табаку. Славно закружится голова, вся степь вокруг горы пойдёт. А ещё лучше — от всей души чихнуть...

Чихнул — и полетел с утёса в каменную пропасть...

От Болекея всего и наследства осталось Чеке, что завещанный ему единственному секрет, как лезть к орлиным гнёздам.

Хорош был охотник Болекей, — а погиб за понюшку табаку!

И Чеке охотник неплохой, — а беркут глаз выключил! Стыд и срам... А главное — худые это признаки, вещие...

Не успел ещё Чеке решить: лезть ему с одним глазом на Кызыл-Тас за новым орлёнком или не лезть, как в степь приехали издалека первые русские и поселились почти у самого подножия горы. А за ними ещё и ещё, целая сотня семей в одно лето.

— Мало тебе, что беркут один глаз выключил!.. — ругал себя Чеке. — Надо было, чтобы оба глаза выключил: всю жизнь следил, глядел за зверьём, а чужих людей проглядел. Вот они и пришли, и сразу же взялись распахивать всю степь... Зачем теперь доставать и обучать беркута, зачем лелеять буланого бегунца? Всё равно: все звери убегут дальше в Джунгарские степи, к дунганам, а для пастьбы Буланого чужие пришельцы не оставят больше серебристых ковылей... Вот они — предзнаменования — сбылись!

И Чеке повёл жестокую борьбу с чужими. Он подбил товарищей устроить баранту и угнать у русских весь табун их рослых вислозадых лошадей. Тут-то русские и вышибли Чеке последний глаз.

Теперь слепой Чеке уже много лет бродит у подножья Кызыл-Таса, вблизи родного разорившегося аула, и рад, что не видит, как вся степь изрыта плугом и истерзана новыми дорогами, в которых то и дело звенят большие, крепкие брочки тавричан, кубанцев и екатеринославских хлеборобов.

Только за враждебным стуком колёс и звуками надвигающейся в степь чужой и сильной жизни Чеке каждую осень всё

же слышит клёкот беркутов и, с грустью вспоминая прошлое, злорадствует, что никто не знает про секрет, как надо лезть на Кызыл-Тас к гнёздам сильных птиц.

— Пусть беркуты плодятся и таскают у русских ягнят и куриц!..

II

Однажды ранним летом, когда по склонам Кызыл-Таса цвели медунки и ветерок чуть-чуть шелестел молодыми ковылями, Чеке, нащупывая таволожным костылём свой путь, поднялся к самому подножию красной скалы. Нашарив обычное своё место на камнях, он долго сидел, прислушиваясь к шорохам и вздохам ветра и принимаясь к запахам камней и трав.

Изредка нос его улавливал запах дыма, который доносился снизу от аула. До слуха его долетали обрывки звуков: то пастух гайкнет вдалеке, то ребёнок закричит в ауле, то собаки загавкают в соседнем новом засёлке русских. Этот собачий лай почти всегда на чёрном лоснящемся лице Чеке вызывал сердитую гримасу. Он напоминал ему о русских, о выбитом глазе и о том, как всякий раз, когда он попадает в засёлок, русские парнишки натравливают на него собак.

Чеке схватился было за костыль и хотел отмахиваться им, как будто и сейчас собаки хватили его за ноги, как ветерок ударил его по носу каким-то новым не то сладким, не то пьяным запахом.

Он насторожился и прислушался.

Снизу тихими, усталыми шагами приближалась тоненькая молодая девушка в светло-голубом платье. С одной руки её свисал тёплый плед, в другой она держала пучок свежих полевых цветов.

Лицо её было бледно, вокруг глаз лежали тёмные круги, но тёмно-красные губы кривились в улыбку, когда она оставалась и смотрела вниз на раскинувшуюся, розовеющую от заката степь.

Это Ког-кыз — «голубая девушка», прозванная так киргизами за цвет её платья, в котором она всегда гуляла по степи.

Она приехала ещё до весны, жила в засёлке в маленькой лачуге и часто приходила в аул за кумысом.

Чеке слышал о том, что Ког-кыз приехала в степь лечиться и что, должно быть, и зимою дома хочет лечиться цветами и травами, которые она каждый день собирала и засушивала.

И теперь, почуяв незнакомый приятный запах, Чеке догадался, что такой запах должен исходить только от Ког-гыз.

Шаги же, лёгкие и чёткие, подтверждали его догадку, и вот он неподвижно замер в ожидании.

Девушка, передохнувши, снова стала подниматься и, увидевши на камне чёрное лицо с слепыми глазами, вскрикнула и остановилась.

— Эй, Ког-гыз, што ты!.. — вдруг позвал Чеке, делая свой голос мягким и приветливым.

Девушка бодрей шагнула к слепцу.

— Ты чего же тут сидишь? — прерывисто спросила она, робко приближаясь к нему.

На слепом лице Чеке появилось что-то похожее на улыбку. Он вместо смеха по-козлячи заблеял и весело ответил:

— Так сидю... Карашо!..

Этот смех и эти простодушные слова ободрили девушку. Испуг её сменился чувством тихой жалости к слепому, одинокому среди серых и холодных камней.

— Акпайка-то ругается, да вот сюды йду псегды... — прибавил Чеке, продолжая жутко, слепо улыбаться.

— Кто это, Акпайка? — спросила девушка и, разостлавши плед на камень, устало опустила возле киргиза.

— Не знаю как: однако он тётка будет мне...

— Тётка?.. Мужчина тёткой не бывает.

— Ну, сват, однако... Ты, говорит, пропади... Слепой не надо кормить, говорит...

— А как же ты один сюда приходишь?

— Да как же, я тут опсё знаем... Тут опсё кругом ходил, охотничал... Буланка-то был конь, шибко ездил тут, беркут-то зверя имал.

— Беркут... Что это — беркут?

— Птица, который зверь имаает.

— Значит, ты раньше видел?

— Да как же, опсё кругом я видел... Вот опсё чичас тебе сказать могу...

И Чеке, показывая чёрным пальцем, стал рассказывать, где солнце всходит, где река Иртыш течёт, где идёт дорога в город...

Так они подружились. Больная девушка часто, бродя по склону горы, встречала старого слепца и подолгу разговаривала с ним, выслушивая его жалобы, воспоминания о его охотах, легенды о богатырях и старинные предания о былых привольях степи.

Девушка стала чаще приходиться к подножию утёса. Ей это стоило больших усилий: она совсем задыхалась и часто падала от сильного головокружения, но она не могла отказаться

от высоты над плоской степью и от простых, едва внятных сказаний Чеке.

Уже и сам он в далёком прошлом представлялся ей богатырём, несущимся по вольной степи на лихом коне с могучим беркутом на рукавице. И этот каменный утёс из красного гранита оживал в её воображении, как уснувший здесь когда-то славный богатырь.

Большая девушка по временам оживлялась и восторженно рассказывала старику о том чудесном и красивом, о чём она знала сама, и когда рассказывала, даже не заботилась, слушает ли, понимает ли её слепой киргиз.

Иногда она горячо перебивала ровный и певучий, как струны домры, рассказ Чеке и восторженно, с одышкой говорила как бы для самой себя:

— Может быть, когда-то, очень давно, у этого утёса сидел какой-нибудь царь скифов или половцев и любовался этим вот закатом и простором степи, а там, внизу, раскинута были бесчисленные палатки или юрты его кочевых народов...

Чеке, обождав, пока она устанет говорить, снова журчал, рассказывая о своём, о том, что понял в жизни своей простой, обиженной душою.

Оба они были страшно разные, и в то же время что-то общее сближало их и часто приводило под утёс перед закатом.

III

В конце лета в степи случилась гроза, такая сильная, что у подножия Кызыл-Таса убило несколько киргизских лошадей, а в засёлке две избушки рухнули: плохонькие были, из сырцового кирпича.

Должно быть, и вершина Кызыл-Таса поколебалась от грозы. Быть может, треснули гранитные столбы или плотнее сдвинулись тяжёлые карнизы. Словом, вскоре же после грозы у подножья скал мужики, искавшие лошадей, нашли несколько плохо летавших молодых орлят, сброшенных какой-то силой вниз. Вначале мужики начали их убивать.

— Больно крылья хороши, в хозяйстве бабам — прямо угодьё, пол подметать, — говорили они, со смехом убивая птиц.

Когда убили пять, последнего, шестого решили взять живым: самый матёрый был, хохлатый.

— Пусть робята позабавятся... — решили мужики.

Но когда стали брать, орлёнок вырвал клочок мяса из руки одного ловца.

— Ишь, дьявол, как сурьёзно! — спохватились мужики. — Нет, робятёнкам ён носы поотклюёт..

И каждый из мужиков ожесточённо пнул ногой орлёнка, кто в крепкий крючковатый клюв, кто в грудь, кто в крылья.

Но птица не сбавляла злобы. Когда её, почти разбитую, с растянутыми крыльями, волокли по грязной дороге в засёлок, она цеплялась острыми когтями за землю и камни и изловчалась кого-либо схватить то за руку, то за штаны.

Озлобленные мужики бросали её наземь, она лежала на земле, опрокинувшись на крылья и щёлкая клювом, снова скрючивала хищные когти, угрожая терзать ими беспёрые, бесшёрстные и потому казавшиеся птице жутко омерзительными лица мужиков.

Огромные и круглые глаза орлёнка из-под нависших бровей смотрели с ненавистью и не моргая прямо в глаза людей и вызывали суеверную робость.

— Ишь ты!.. — передёрнув плечами, как от озноба, сказал один из мужиков. — Глядит, што твой полковник — командёр..

После этого сравнения у них уже не хватало мужества пинать орлёнка. Какое-то рабское чувство покорности перед неумолимой строгостью пернатого хищника вселилось в души мужиков.

А орлёнок, не моргая, смотрел всё так же пристально и строго прямо в зрачки своих врагов.

— Занятная животина... — сказал один, отводя свой взгляд от орлёнка.

— Бросить его тут? — предложил другой.

— Жалко! — неожиданно признался третий. — Надо унять — можно обучить его уток на озере имать.

— Гляди, как бы ён кур твоих сперва не переборчил!

— И то...

Но всё-таки они опять взялись за птицу и несли её в деревню, как раскалённое железо, то и дело крикая, как от ожогов, и ругаясь.

В засёлке праздновали Первый Спас, и диковинную птицу окружила целая толпа. Все удивлялись над большущей птицей, каждому хотелось растянуть её крылья и чем-либо досадить невольнику: пнуть ногою, дёрнуть за выпачканный в грязи хвост, выщипнуть перо из огромного крыла. Как будто неморгающий орлиный взгляд заражал всех злобою и вызывал у каждого желание выйти с ним на поединок.

Орлёнок неподвижно лежал на одном крыле, пронзительно, со свистом, стрекотал, когда причиняли ему боль, и всё так же зорко, с ненавистью, глядел в зрачки всем и каждому.

В то же время взгляд его, казалось, был устремлён в высоту, в безоблачное небо.

— Ну, будя вам диковать! — сказал мужик, поймавший орлёнка, и, с трудом облапив птицу, потащил её в свой двор, в пустой овечий хлев из плетня.

Но и здесь орлёнка не оставили в покое.

Толпа подростков окружила хлев и долго заглядывала в щели плетня на неподвижно лежавшую в сыром навозе птицу.

Многим казалось, что птица мертва, но те, кто видел её большие немигающие глаза, устремлённые и через щели хлева к небу, суеверным шёпотом удостоверяли:

— Не-е, ён толька притулился... Ишь, глазами-те, как шилом, колить... У-ух, деймон!..

IV

Большая девушка проходила мимо, когда один из мальчуганов, просунув через плетень длинную палку, ткнул ею орлёнка. Орлёнок издал крик, который девушку остановил на месте.

Она поспешно подошла к хлевку и через головы подростков заглянула в щель плетня.

С распушенными крыльями стоял орлёнок в углу хлева во весь свой рост и издавал свистящую пронзительную трель. Огромные глаза его смотрели через плетень в синюю глубь неба и выражали проклятие всему, что было около и отягчало его крылья.

— Подите прочь! — взволнованно вскричала девушка, и ребята градом откатили от плетня.

В груди больной от необычного крика как будто что-то порвалось, но она забыла о себе, захваченная сильным чувством...

— «Освободить?» — обожгла её мозг первая мысль. Она не могла оторвать взгляда от злых повелевающих глаз хищной птицы, пока позади её не раздался густой, смешливый голос мужика:

— На рестанта дивуешься? А!..

— Это ты поймал? — спросила девушка. — Продажный?

— Дыть дело пойдёт — можно и продать. Сколько дашь?

— Я не знаю, сколько ты хочешь, — застенчиво отозвалась больная.

— А рупь не жалко, дак возьми! — помог ей хозяин птицы.

Девушка достала рубль и подала.

— Только куды ты с им? Ён те переборит, ишь зверь какой!..

— Ничего... я его в плед...

И девушка быстро обошла хлевок, смело наклонилась в маленькую дверку и набросила на птицу плед.

Тонкими руками, как ребёнка, завернула она птицу с головою в плед и взяла на руки.

— Ишь как ты его упеленала... — удивился мужик, сжимая в потной руке рублёвик. — А мне ён даве ажно все руки издолбил...

Девушка направилась с орлёнком чистой степью к горе.

Поодаль от неё гурьбой бежали ребятишки, и каждый держал по камню в руке.

Степь круче поднималась в гору, а до каменных утёсов было ещё далеко.

Больная то и дело садилась отдыхать. Шустрые ребята не отставали, и девушка не смела отпустить невольника под их камень. Солнце между тем клонилось к вечеру.

Как никогда ей ненавистны стали эти маленькие люди, вооружённые камнями и молча ожидавшие поодаль.

— Что вы увязались? — спросила она их, с усилием смягчая кипевшее в ней раздражение. — Опять хотите его мучить?..

— Ён ягнят таскает, — сердито отозвался мальчуган в солдатском картузе и поднял с земли для запаса другой камень.

Девушка была удивлена настойчивостью мстительных мальчишек. Посидев ещё, она поспешно встала и, как бы боясь, что ребятишки нападут на неё и отнимут орлёнка, пошла обратно в засёлок.

Парнишки рассеянно смотрели ей вслед и, не двигаясь с места, побросали камни.

V

С небывалой силой нахлынуло на девушку раздумье, и, несмотря на поздний час, она не могла уснуть. А тут ещё молодой рожок луны заглядывал в маленькие окна лачуги и окрашивал раздумье девушки в голубую сказочную дымку...

В этой дымке, в тишине предосенней ночи, звенела тихими струнами неземная музыка, и то, что на земле и над землёю, что в далёком прошлом и что в будущем — всё как бы слилось в одно чудесное, сладостно баюкающее созвучие и наполняло душу девушки желанием припасть к ногам кого-либо большого, сильного и мужественного... Припасть, и пла-

кать, и шептать: «Любить хочу, мучительно хочу любить тебя и всех людей, зверей и птиц, леса и горы, всю землю и безграничный мир!..».

Отдавшись грёзам, девушка, полураздетая, сидела у окна, когда раздался странный шум и резкий свист. Девушка перепугалась, но, вспомнив о своём пернатом госте, облегчённо улыбнулась и подошла к нему...

Орёл сидел в углу с вяло опущенными крыльями и, щёлкая клювом, топорщил свой хохол.

Должно быть, он вздремнул и в полудремоте почувствовал себя бросающимся с облаков за ягнёнком или зайцем. И теперь сконфуженный сидел в своём углу и шевелил хохлом.

Девушка приблизилась к нему и осторожно прикоснулась к острому огниву правого крыла. Орёл не двигался и не грозил, как бы не слышал прикосновения или чувствовал, что здесь не враг, а друг его.

Девушка ещё смелее погладила его. Орёл попятился и слегка взмахнул крылом. На девушку пахло запахом орлиного крыла, пропитанного ароматом туч и ветров, и это как-то благоговейно настроило её.

Она по-детски села перед ним на корточки и любовалась его гордой, царственно посаженной головой, мощными крыльями, твёрдыми могучими когтями и восторженно шептала:

— О цари!.. О гордый властелин!.. Ты ли не достоин каменных вершин твоего трона? Ты ли не властен над мелкой и убогой тварью?.. Я завтра рано унесу тебя к горам, я выбьюсь из последних сил, но подниму тебя на высоту, и оттуда ты опять взлетишь под облака, спасённый мною цари!..

Было что-то дикое, мистическое в этой сцене... Казалось, большая бредила и хищную птицу претворяла в божество.

— Если не я, то душа моя с тобой взовьётся в облака над плоскою равниною, утучненною слезами и болезнями, над этими убогими людьми, над их мелкими заботами и злобой!

И пусть, пусть я умру, но ты, спасённый мною, будешь жить и высоко парить над маленьким холмиком моей могилы!..

Девушка задыхалась от переполнившего её грудь нового, большего чувства: вся сила девственной души, весь огонь сердца и все краски её помыслов направились на высоту вместе с орлом и как бы уже носились там, на лёгких волнах эфира...

...Заря окрасила окошки, когда девушка, усталая и бледная от бессонной ночи, поёживаясь от свежей утренней прохлады, околицей посёлка торопливо шла с тяжёлой ношей к горе.

VI

На этот раз девушка шла на гору, не останавливаясь для отдыха.

Ей хотелось, чтобы никто её не видел, пока она поднимется на высоту. Но в груди её шумело, как прорванном мехе, голова кружилась, и подкашивались ноги.

До подножия гранитного утёса было далеко, а орёл становился тяжелее и неудобно было держать его.

От усталости и от бессонной ночи, от безотчётного волнения по временам она почти теряла сознание, и свет восходящего солнца казался ей жёлто-зелёным... Неотвязно стоял перед нею один вопрос, мучая её своей неумолимостью:

— Ужели скоро всё там, в груди, порвётся?.. Ужели скоро, сейчас?!

Обессилен, она присела на камень и, отдышавшись, оглянулась назад.

Плавными серо-зелёными волнами уходила степь в три стороны и, точно гряда свалившихся с горы камней, виднелись отсюда засёлок и аул, разделённые небольшим отрогом.

И опять что-то звенело в тишине, как дивная баюкающая музыка, слетающая с золотых струн, протянутых от солнца до земли...

«Как хороша она — эта полная музыкальных зовов жизнь! Как милы эти голубые дали, эти кочующие по небу облака... Всё, всё... Даже люди!.. Как хорошо они умеют мыслить и любить, какие красочные создают обманы!..»

Орёл рванулся в пледе и напомнил о себе, о высоте над Кызыл-Тасом, об орлиной свободе в облаках.

Девушка поспешно снова стала взбираться выше. Красный утёс, как легендарный богатырь, встающий из-под земли навстречу солнцу, был окрашен яркими лучами солнца и властно звал её к своим ногам.

Обласканный ветрами вечности, он молчаливо требовал поклонения перед своей мощной непоколебимостью, и слабая больная девушка тянулась к нему с дикой птицею, как с даром от лица распростёршейся внизу степи.

Но силы оставляли её. Она уже едва переставляла ноги и шаталась. Руки её ослабели, плед, которым была обёрнута птица, растрепался, и скоро девушка почувствовала мучительную боль в плече. Остановившись, она повернула своё лицо к плечу и у самых глаз своих увидела огромные и злые, неморгающие орлиные глаза. А крючковатый клюв впился в её прозрачное плечо и с дерзкой силою терзал его.

Девушка рванулась в сторону и, выпустивши птицу, повалилась на камни, теряя сознание...

В обычное время перед закатом Чеке, с непокрытой головой и с таволожным костылём, шёл на гору и, останавливаясь, поднимал лицо к небу. Он чутко прислушивался к тому необычному, что происходило сегодня в небе с самого утра.

Клёкот беркутов был слишком густ сегодня и тревожен, и главная волна его, как показалось Чеке, держалась над утёсом.

Бывает такой переполох в небе, когда молодой беркут неудачно вцепится в хребет большого волка, и между ними начинается смертельная борьба. Тогда с земли несётся тревожный сигнал в небо, и там вспыхивает шумный вихрь: беркуты винтом спускаются с высоты и, разрезая воздух крыльями, оглашают его звонким клёкотом.

Не это ли случилось и теперь?

В Чеке проснулся и заговорил охотник. Он, ускоряя шаг, спотыкаясь и прислушиваясь, шёл всё выше на шумный клёкот беркутов.

Как и в былые годы, он не думал об опасности и не заботился о том, что ничего не видит, а шёл всё дальше на гору, всё прямее на резкий зов попавшего в какое-то несчастье беркута.

Он долго шёл, ощупывая дорогу костылём, пока крик беркута не послышался у самых его ног.

Растопырив руки, Чеке одним прыжком бросился к воображаемому волку, но запнулся и упал, обняв большой холодный камень. Обнял и опять прислушался уже к чему-то новому, вбирая носом знакомый сладкий запах.

И пополз кругом, ощупывая камни, тощую траву меж ними и кустарник мелкой таволги, пока не схватил рукою холодную и тонкую чужую ногу в лёгкой ткани.

— Ког-кыз!? Эй, Ког-кыз!.. — позвал он, как бы стараясь разбудить уснувшую, но ответа не дождался и осторожно выпустил из рук негнушующую ногу. Испуганно притихнув, он медленно отполз подальше, где вновь услышал пронзительный, повелевающий клёкот беркута. Чеке взял камень, размахнулся и с ожесточением бросил в ту сторону, где кричал орёл.

Камень упал в кустарник, и беркут угрожающе защёлкал клювом дальше под утёсом.

Чеке опять приблизился к Ког-кыз и снова осторожно прикоснулся к ней...

— Ой-бой!.. Ког-кыз... — он не договорил и сморщил жалкое лицо.

Слепые глаза его были устремлены на голубое пятно неподвижно лежавшей меж камней девушки и не видели ярко-

алой крови на плече её, ни на устах, уже запечатанных молчанием вечности.

Вверху орлы метались всё тревожнее и оглашали алеющее от заката небо вещим клёкотом... Многие из них садились на вершину красного утёса, величаво охранявшего извечный покой степной равнины...

Колдунья

Анна, девка румяная, пшенично-пышная, с широкой мужской талией, была «единоверка», а Федот, кряжистый и лениво-рыхлый парень, — «спасовец».

Но любовь веры не спрашивает!..

На вечерах и посиделках, на полянках и на улицах их обоих так друг к другу и толкало. Улыбнутся, оскалив крепкие зубы, слово какое-либо незначительное друг другу скажут и станут рядом.

Всё дальше и больше, а потом он на полянке полой сермяги своей прикрывать её стал, а на вечерках в тёмном уголке взапуск целовать начал.

Пришло дело к женитьбе.

— Кого сватать будем? — спрашивают Федота родители.

— Анку!..

— Да што ты, оглашенный, ведь она церковница!..

— Анку!.. — упёрся он. — А ежели не так, я и в Бухтарму головой, да и с Игренькой своим вместе!..

Подумали-подумали родители: что делать? Сын единственный, балованный, долго ли до греха?..

Пошли свататься за Анку, а родители её и слышать не хотят.

Мать Федота — баба с амбицией, ясашная, шашмурой затрясла, затопала на сына:

— Не будь я Мавра Тарасовна, если я к твоей Анке вдругорядь на поклон пойду!..

Отец, мужик смиренный, не вяжется к сыну, но против жены в спор нейдёт.

— Ишь, вера у них, сынок, не нашенская!..

— А вот вам и не нашенская!.. — проворчал Федот упрямо, мало что рыхлый парень был, — я вот возьму да в их веру и уйду, коли так!..

Мавра испугалась, синими глазами захлупала, и, ударив себя руками по ляжкам, крикнула:

— А, тряси вас лихоманка!.. Делайте как знаете!

— Дык как, сынок, а?.. — спрашивает отец, подняв большую, как труба, чёрную бороду.

— Как?! — передразнил сын, навалившись брюхом на кровать у порога. — Как мамку добывал?.. Так и мне добывай Анку!

— Воровски-то?.. Дык ишь, сынок, ноне времена-то не прежние, да и веры-то она не нашенской... Знаешь, люди судить да позорить нас станут!..

Федот, энергично пнув дверь, вышел во двор. Отец пошёл к куму Митрию.

Судили-рядили и вырешили:

— Надо воровать девку!.. Как больше-то?..

Позвали Федота. Просиял и обещал пособить.

— Я Аринке шепну, она её выведет али позовёт к себе, а вы и цапните!.. — сказал он, сдвинув шапку на затылок.

Все подтянулись, почередили лошадей и сами стали проворнее. Пива наладили, деньжонок для свата, если будет мириться, запасли. Только Мавра губы стянула в морщинистый узелок и помалкивала.

Снегу лежало в горах и долинах уйма. На каждой крыше — по белой пуховой перине, на каждом столбе — по пышной шапке.

Кум Митрий, мужик с хитрой улыбочкой и жидкой бородой, в зипуне с красным воротом, посадив в сани сдобную девку, старательно закутал её в Федотов тулуп и посоветовал:

— Н-ну-ка, мила дочь, держись крепче!.. Выбрала молодца — не пеняй на мать, отца! Гей, соколики!..

Мелькнула Аринкина изба с косой шатровой крышей...

Дедушки Герасима ворота решётчатые... Ананьев двор с омётом сена на повети...

Месяц сквозь тонкий слой туч светит мягко, не ослепляет глаз, и пара рыжих маленьких лошадок несётся по мягкой дороге, как свора борзых.

Анка дрожит. Не от холода!.. В новую жизнь мчат её рыжки... Да скоро-то, девоньки мои, родимые подруженьки!.. Как скоро!.. Отплясала теперича, и самоё без песен и причетов повезли!..

Что-то заныло под сердцем, под расшитым нарукавником... А дрожь всё колотит и колотит — Федот скоро обхватит её сильными руками... Вон какой волк, штоб его падуча забила!..

И боязно Анке, и весело.

— Ты чего хохочешь, халда? — обёртывается к ней Митрий.

— Так, дядюшка Митрий, чудно мне-ка, что сани-то при-скакивают!..

На заимок Ивойлы Антропыча уж вся новая родня съехала.

Дьяк Данила Авдеич молитвы прочитал скоро, свечи из жёлтого воска и на вершок сгореть не успели перед старинными образами, — вот и всё тут браченье.

Свели Анку с Федотом — и в холодный амбар на часок заперли.

Федоту ничего не доспелось, он зверь-зверем и горяч, как банная каменка, а Анка, хоть и дородная девка, а съёжилась комочком и в руках нарукавник сжала крепко-накрепко, даже ладоням больно.

Темно, мышами пахнет.. Холодно!..

А он ровно озлился даже, схватил и смял её под собою, как волк ярочку..

Через неделю родители приехали.

Куда деваться? Помирились, отгуляли и Анку оставили, простили.

Стали жить.

Только свекровка Мавра ко всему придирается. Всё ей не ладно, всё не баско да не по-людски.

Анна терпит, но обряды новые никак не даются ей. В чём-либо да не сходятся. На молитве перед обедом надо руки сперва под мышки положить, а потом уж креститься и кланяться, но Анна забывает об этом, и Мавра кричит ей:

— Еретичка!..

И ложится Анна рано, и встаёт-то поздно, и делать-то она ничего не умеет!..

Поедом съела свою сноху Мавра.

Анна слушает и молчит, терпит, и к мужу ласкается как умеет.

Смотрит: и муж стал к ней холоднее, по ночам щиплет, толкает кулаком в бок, изгаляется непристойно всячески.

Знает Анна, что это свекровь расстроила, а всё-таки молчит и терпит. Во всём покорно спрашивается у свекрови, на всякое дело благословения просит, утром и вечером в ноги по обычаю кланяется.

Но косо смотрит на неё Мавра и будто таит что-то в сердце, будто знает что-то худое о снохе, да говорить только не хочет.

Пришли святки.

Накануне Федот гулял, а когда он пьян, то добрее к Анке. Она ночью потешала его, по волосам гладила и ласковые слова, как умела, говорила ему.. Он долго не спал, нежился, спину велел почесать ему да песни петь потихоньку.

Старуха из другой избы слышала, что сноха ночью в темноте поёт, но смолчала.. Виду не подала.

Анна провозилась с мужем, как с малым ребёнком, да и проспала поутру. Проснулась — уже рассветало..

Вскочила, заторопилась. Наспех умылась и Богу помолилась: «начал» положила.

Посмотрела — квашня перетронулась.

Она — скорее на чердак, трубу открывать побежала.

Побежала, да там у трубы уже и вспомнила:

— Ведь я у батюшки да у матушки не поблагословились сегодня!..

Испугалась. Да чтобы как-нибудь сгладить вину, взяла да и в трубу-то крикнула для сокращения времени:

— Батюшка и матушка, благословите!..

Мавра всплыла на ноги, подняла крик, выбежала к сыну:

— Ты слышал, а?.. Это что такое?! Это разве не дьявол! Да она колдунья. Теперь на всём нашем доме проклятье ляжет! Чур меня, чур!..

Анна, с растерянным и испачканным в саже лицом, уже спускалась с лестницы в сенях.

Мавра кричала, отплёвывалась, лепетала молитвы. Старик спросонья почёсывался и охал с похмелья.

Федот, как был в одной рубашке и штанах, так и выскочил в сени.

Схватил за длинные толстые косы Анну и бросил её на холодный пол.

С ухватом выбежала Мавра и стала бить сноху, приговаривая:

— Не тебя я бью, а окаянного! Окаянного! Окаянного!..

Федот озверел, увидав обнажённое тело жены, и стал терзать его и топтать.

Старик сидел в избе и слушал вопль и шум в сенях и боялся тронуться с места... Только шептал:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!..

Потом Мавра побежала к родителям Анны и там затопала на них, закричала:

— Вы антихристы, еретики! Вы кого нам отдали?.. Дьявола, колдунью!.. Идите и возьмите её назад, не надо её!.. Она в трубу стала вызывать нас!.. Возьмите, уберите её скорее, антихристы!..

Анну увезли домой, еле живую и искалеченную...

Она не умерла, но стала хромой и безрукой... Она теперь никому не нужна, и кум Митрий не приедет на лихой паре воровать её в лунную зимнюю ночь...

Федот женился «на свод» на другой, пшеничной девке спасова согласия, и живёт преславно...

А Анну все в деревне зовут колдуньей и говорят, что её сушит бес...

Царь Максимилиан

I

Давно заброшенный казённый рудник, мало-помалу превратившийся в захудалую деревушку, представлял из себя горстку одряхлевших кривых изб, совокупно свалившихся на дно крутого оврага и толкающих друг друга в кривую и загрязнённую речушку.

Мелкосопочные, незаселённые на десятки вёрст пространства, как белое волнуемое море, уходили далеко во все четыре стороны вплоть до голубых краёв небесного зонта и наводили тупое, нудное уныние. Это уныние было так велико, что когда по узкой, унавоженной за зиму дороге с соседних пашен спускались к селению воза с сеном или соломой, то это вносило какое-то праздничное оживление в окрестности, хотя воза эти издали и казались косматыми, отрубленными и тихо сползающими вниз головами сказочных разбойников.

Немного раньше на горе, возле разноцветных рудных отвалов, вблизи шахты стояли большие казённые здания: казармы, лазарет, контора и дом пристава, но в последние годы всё это как-то быстро исчезло. Лазарет сгорел, и сгорел как-то странно: никто в нём не жил, и он стоял особняком, заваленный разным казённым имуществом, и вдруг в одну из тёмных ночей вспыхнул и сгорел. И никто не спасал его, никто не жалел...

Казармы тоже сгорели, но уже в печках мирных жителей селения. Осталась одна контора, общипанная со всех сторон, с провалившейся крышей, и медленно догнивала, покорно ожидая, пока и её потащат в обывательские печки.

Да под горою, возле входа обвалившейся штольни, стояли огромные весы с железными цепями и крепко окованными досками, на которых в праздничные дни качались и шалили ребятишки.

Улиц в селении не было ни одной, а кривые переулки как-то бестолково извивались между избами и то суживались в тесные щели, то расплывались в бесформенные площадки, заваленные сугробами снега и кучами застывшего навоза.

Подслеповатые окошки покосившихся изб как-то безразлично смотрели на всё: и на кучи навоза, и на спины старых амбаров, и на плетни дворов, и просто на соседние заборы.

Если в избах было тепло, то стёкла окошек чернели и плакали, если холодно, то, покрытые толстым слоем инея, они казались какими-то сплошными бельмами, и веяло от них тоской и злобой, как и от самих обитателей.

Привыкшие к каторжной горной работе в шахтах и на разборах, они неохотно брались за пашню, потому что не имели ни плугов, ни лошадей для этого, и, всё ожидая откуда-то «манifestа» о возобновлении горных работ, они часто сидели без хлеба, без дров и без огня.

О своей одежде сами они говорили так:

— Ни постлать, ни одеться!

Время от времени, когда ожидание открытия рудника тянулось слишком долго, они собирались у старосты и долго и горячо толковали, тут же преувеличивая или искажая какие-либо слухи, надежды или просто собственные сочинения об открытии рудника.

Вдруг кто-нибудь высоким фальцетом выкрикивал:

— Дыть осенясь я возил в Змиево... тово... как ево? Подлесничаго... Дак он мне прямо сказал, што прибегал сам особый чиновник!.. Ну и будто што... это...

— Чё особый чиновник?.. — прерывал другой. — Вот ведь недавно Игнахина тётка ездила в город... Ну и тоже... будто што...

А что именно — никто не договаривал... И знали, может быть, что и «особый чиновник», и «тётка Игнахина» — только их собственная фантазия, а всё-таки хотели верить, что откроется рудник, закипит работа, и хотя и будет их же первых беспощадно давить своим ярмом, но зато будет и «матушка суббота» с верным расчётом, и сердитое, но нарядное начальство с разными весёлыми затеями и забавным самодурством, да, наконец, будет и собственный кабачишко, а стало быть, и песни, и пляска...

И возбужденье доходило до такой степени, что, забыв всё настоящее, обыватели начинали рассчитывать по пальцам, сколько и какие рабочие будут теперь получать, какой будет провиант, сколько на отчёт каждому рабочему будут выдавать свечей, почём будет пшеничная мука...

Совсем не думали о том, сколько часов и как будут они работать, не думали даже о том, что, может быть, опять будут так же бить и драть розгами, как били тогда, в далёкое прошлое...

Это казалось неважным. Важнее всего казалось то, что оживило бы их унынье, отбросило бы давно поселившуюся у них тоску и нужду и всколыхнуло бы застывшую мысль...

Некоторые из стариков, что помнят ещё, как их драли и проводили через строй, тут же кому-либо в одиночку шамкали:

— А хоша и били, дак зато без хлеба-то не доводилось сидеть... Бывало, покойничек Никифор Иванович, уставщик-то наш, как рывкнет на материального:

— «У меня штобы и лошади, и люди сыты были!..».

Потому, говорит, голодный и камня не поднимет, не токмо што...

И старик, припоминая доблести Никифора Иваныча, пролезится даже.

— Однова пристав велел дать мне сорок палок, а я в то время хворал.

— Ну чё, говорит, Федотыч, сейчас ляжешь али после разо-чтёшься?..

— Лягу, мол, ваше благородие!

— Да ведь задеру, говорит.

— Дери, мол, ваше благородие, потому от тебя и розга сладка...

— А драть он был лютой! — продолжал старик. — Бывало, если видит, што плохо дерут, вырвет розгу, да сам и начнёт... Да ижно губы себе в кровь искусают... Ну вот, значит, и лёг я, а он и говорит:

— Встань!

— Я встал.

— Ступай, говорит, в лазарет, а то теперь не вынесешь... Злой я сегодня!

— Да уж потом, через месяц, и вспомнил, что за мной сорок-то.

— Ложись-ка, говорит.

— Лёг я... Он меня и начал... и начал... Прошёл он двадцать, да и спрашивает:

— Отдохнёшь, говорит, али все сразу?

— Сыпь, говорю, ваше благородие, все!

— Ну те, говорит, язве! Я, говорит, и сам устал, — да и про-стил мне остальные-то... Хороший был человек!..

И закалённый побоями и работой старик начинает считать себе годы и считает их особенно, по-своему, ссылаясь на разные события, и в конце концов досчитывается, что он живёт уже с четвертым поколеньем, с правнуками, а всё ещё, кажется, готов пойти и в шахту, и под розги, лишь бы открыли рудник, лишь бы зашевелилась их унылая жизнь...

И в этих оживлённых толках мужики забывались настолько, что выходили из сборни и направлялись к полуразрушенной конторе и, широко размахивая руками, начинали определять, где и как должна выстроиться новая контора, и лазарет, и приставский дом...

И все как-то поддаются этому увлечению, все уже не сомневаются, что это случится... Даже ребятишки, видя это оживление и разинув рты, перестают барахтаться, и бабы выходят из мрачных изб, и общие разговоры принимают ещё более оживлённый и уверенный тон.

Но спускаются сумерки, и разговор мало-помалу начинает стихать, затем вдруг оборвётся, и мужики, как бы стыдясь внезапно нахлынувшего увлечения, умолкают и, не глядя друг на друга, медленно бредут в свои холодные, неприветливые избы, где в потёмках, на голодный желудок, мгновенный проблеск весёлого настроения быстро сменяется тупой и жуткой злобой надолго...

И снова одинаково скучные дни идут один за другим длинной вереницей, и столпившееся в крутом овраге селение позабытого всеми рудника кажется кучкой старых, засыпанных снегом могильных холмиков... Жилой казалась только изба торговца Авдеева, да и та терялась среди мёртвого селения.

И волнистый, широкий простор степи, и глубокое небо, и светлое солнце кажутся такими чужими и равнодушными к жалкому селению, будто и нет его совсем, будто и не бьются там живые сердца, будто и нет в нём ни единой души!..

II

Накануне Евлан так устал, что даже ругаться с бабой не хотелось, хоть и голодный приехал домой.

Приехал поздно. Одонок стога так закутало снегом, а снег так зачерствел, что, откапывая его, пришлось скинуть шубу и работать в одной рубахе. Рубаха на спине подёрнулась куржаком от пота и, когда он отдыхал, леденела и пристывала к коже. Передёргивал плечами и снова огребал приплюснутый одонок.

Затем долго накладывал сено, бил Карьку, который всё лез к стогу. Карька пугливо бросался в сторону, сваливал с дровней неприбаstrыченный воз, а Евлан, стоя на одонке, махал рукою с обидным отчаяньем и длительно и певуче ругался, сочиня ругательные слова покрепче и позамысловатее... А потом, когда были наложены оба воза, он долго маялся, вывозя их от одонка на торную дорогу. Снег проваливался, лошади падали в оглоблях и подолгу лежали в сугробе, вздрагивая под свистящим бичом.

Наконец Евлан выпряг обеих лошадей и, сев верхом на Карьку, ездил на них до торной дороги взад и вперёд, пока не получилась разрыхлённая глубокая борозда.

Запряг лошадей — воза стали застревать в борозде. Маялся, маялся, выпряг лошадей, свалил воза, вытащил сани на твёрдый снег и на себе свозил всё сено по частям к дороге.

Когда снова запряг лошадей и поехал — стемнело. Велик ли зимний день? После изнурительной работы славно было сидеть на возу, но дыроватый тулуп плохо защищал промокшую от пота рубаху, и она стала коченеть. Пришлось всю дорогу идти пешком подле воза. Дома надо было тотчас же сено сметать на поветь — иначе чужие коровы за ночь всё бы съели: заплоты двора плохие, вросли в сугробы — всякий телёнок проскочит.

Отмётывая сено, пыхтел под тяжёлыми навильниками и, со злости на неудалую бабу, которая стояла с граблями на повети, старался подавать их так, чтобы они заваливали её и придавливали к омету. Но баба увёртывалась и, не смея сердить мужа жалобами, то и дело отплёвывалась от попавшей в рот трухи.

Словом, так умаялся, что, кое-как поужинав, упал, не разуваясь, на печь и проспал на одном боку до солнышка.

Проснувшись и свесив с печи ноги, долго не мог вспомнить, где у него кисет с махоркой и серянками.

В кути на шестке трещала сковородка, и приятно пахло жжёным маслом. Вспомнил, что масленица, и что баба скопила-таки от одной коровы на лепёшки. У подола бабы вертелся Митька, пятилетний сынишка, а на кровати, суча голыми ногами и по-перепелиному наигрывая в пустой рожок, лежала пелёночная Фенька.

Отыскал кисет и свернул сигарку.

В это время в избу вошёл, улыбаясь во всю румяную бородатую рожу, Яков Ганюшкин.

Он шагнул на середину избы и, махая рукою у груди, весело буркнул:

— Какого чёрта на печи-то сидишь?.. Гулять надо!

Евлан вместо ответа сплюнул под порог и, сморщившись, стал закуривать, держа зажжённую спичку в пригоршне.

Яков сел на лавку и обратился к Митьке:

— У тебя чё сегодня ночью мать-то ревела?..

Митька тоже не ответил, кутаясь в материн подол и потихоньку пища:

— Мама, лепё-ошечки-и!..

Евлан слез с печи и, разминая отёкший бок, крепко и негромко выругался.

— Просто вчера я, как собака, умыкался!..

Яков опять широко улыбнулся и несмело спросил, как бы в шутку:

— Ну чё, нынче Максимильяна разделявать пойдём?

Евлан взбурил на него суровым взглядом и опять выругался, мрачно и нехотя добавив:

— Нечего делать-то тебе — дак ты выдумываешь!..

Яков, осмелев, громко рассмеялся и выкрикнул уже без шутки:

— На вот, дак што!.. Праздник!.. Хоть мало-дело пошумаркаем опять!.. Народишко подурачим! А?

Евлан опять не ответил и, уставившись злыми глазами на бабу, крикнул:

— Смотри, у те ребёнок-то в мокре!..

— Ну дак ведь ты видишь — у меня руки в тесте!..

Евлан подошёл к Феньке, неумело взял её на руки и криво улыбнулся.

— Эх ты, мокрохвостая!..

Яков воспользовался моментом и от имени Феньки ядовито подпустил:

— Посмотрю, мол, я, у те-то хвост будет в прощёный день!..

Евлан обернулся к Якову и, потряхивая на руке Феньку, спросил:

— Ты и взаболь, што ли?..

— Насчёт Максимильяна-то?

— Ну...

— Ну дак я чё язык-то понапрасну мозолить буду!.. Я с ребятами уговорился уж... Дело за тобой только, а ты чё-то всю свадьбу испортить нам хошь... Без тебя мы куда, без главного-то?..

Евлан обратился к бабе:

— Кустюмы-то эти разные целы у нас?..

— На неделе вот на подызбице видела... В плетенушке валялись... — и в глазах у неё, ещё не старых, но выцветших, вдруг сверкнули живые огоньки. — Достать, што ли-ча?..

А Яков ещё прибавил искушенья:

— Мы уж и «город» Серёге Авдееву запродали... Пять целковых даёт да полведра на артель водки...

— Больше даст!.. — уверенно роняет Евлан.

— Как, поди, не даст, ежели всё как следно представим!..

Евлан положил Феньку на кровать, сунул ей в рот соску, и, поспешно сплюнув, весело крикнул жене:

— А ну-ка принеси кустюмы-то!.. Подновлять, поди, ещё доведётся... Золотой гумаги куплять...

Баба пошла на подызбицу, а Яков взялся за шапку.

— Ну дак я пойду ребят позову. Надо насчёт всего хорошень посоветовать да «город» строить начать. Завтра у нас ведь четверг уж... Эдак, видно?..

— Да, видно, эдак!.. — подтвердил Евлан, и, дурашливо улыбнувшись друг другу, они расстались.

III

Жалкое, убогое селение в прощённый день вдруг ожило и загудело. Закишел народ в сугробистых и узких переулках, как рой в черёмухе. Верхами на лошадях — озорные подростки и кряжистый холостяжник, на пошевнях и в кошёвках — разряженные девки и надменные молодухи, на плохих дровнях или пешком, в сермягах и лохмотьях — беднота; пурхающая в рыхлом снегу, но пронырливая и любознательная детвора — все с растянутыми и искривлёнными улыбкой любопытства и восторга лицами стараются пробиться в центр большой движущейся по улице толпы... Оттуда несутся какие-то выкрики, разгульный рёв и смех толпы, там пиликает гармошка, мяучит скрипка, балабонит бандурка...

Там царь Максимилиан со свитой и шутами ходит!..

Вот из зажиточной избы на крыльцо сам Авдеев выходит, в халате и с почтенной бородой, добродушно-весело смеётся и делает рукою пригласительный знак:

— Ну-ка, покажись поближе-то, Евлаха!.. — и косится на Серёгу, молодого сына.

Толпа расступается, и, сопровождаемый генералами и принцами, к избе подходит царь Максимилиан в украшенном жестяными регалиями унтер-офицерском мундире с блестящими эполетами, в белых коленкорových штанах с выпуском поверх пимов, в замысловатой со звёздами треуголке из синей сахарной бумаги и с петушьим гребнем наверху... Через плечо у него красная кумачовая лента, через другое — синяя... В руках посеребрённое трепало. Грудь и живот выпячены вперёд — подушка подложена. Он выступает гордо и величаво, глаза блестят, небольшая рыжая бородка вперёд торчит, трепало — на отлёте, а зычный голос запальчиво выкрикивает:

— Да, да, да, да, да!..

Я Максимилян, царь заморской,
Принц немецкой, король турецкой...
Одно моё слово приказа
Исполнить должны вы три раза:
Казнить басурманов нерусских,
Азиатов французских...
Которы похитили, скрали
Мою благоверную кралю!

И главный принц, одетый поскромнее царя, но с таким же гребнем, быстро выступает вперёд и, подняв своё трепало кверху, оборачивается к подданным и подхватывает:

— Да, да, да, да, да!..

Эй, верные евнухи-слуги,
От вас я желаю услуги,
Доставьте сюда мне немедля
Фельдмаршулов, всех афисэров!..

Выдвигается целый ряд фельдмаршалов и офицеров самых различных родов оружия, и каждый по-своему исполняет своё назначение, в то время как царь Максимилиан начинает тосковать по похищенной супруге и требует его распотешить.

Появляются в вывороченных шубах двое шутов. Один из них, у которого побольше борода, одет бабой, в шаль и юбку. В руке у него тряпичный ребёнок, в другой — банный веник, он хлещет ребёнка веником и сам же кричит за него:

— Уа! Уа!.. У-а...

Другой шут подходит и утешает.

Между ними происходит забавная сцена с поцелуями и смешными объяснениями. Царю это нравится, он начинает милостиво улыбаться, а музыка заводит плясовую.

И все, во главе с Максимилианом, пускаются в бурный пляс.

Толпа хохочет, гикает, пляшет сама и выкрикивает:

— Вот так царь Макся-Амельян!..

— Ай-да ну-у!..

— Сыпь, наяривай!..

— Ха, ха-ха-а!..

Максимилиан что-то опять вычитывает, тычет в воздух трепалом и ходит гоголем, шуты хохочут и кричат, кувыркаясь по снегу, музыка смешивается с восторженными криками толпы, а хозяин дома выносит из избы водки и угощенья... И шумная толпа движется дальше, увлекаемая весёлой процессией. Люди толкают, топчут друг друга, утопают в сугробах и жадно смеющимися и осовелыми глазами вглядываются в величавого и нарядного царя Максимилиана...

За толпою на Карьке, запряжённом в простые розвальни, едет Евланова баба. За пазухой у неё Фенька, а рядом, на охапке сена, с разинутым ртом и расширенными удивлёнными глазами, Митька. Он зорко всматривается в «царя» и жадно ловит непонятные выкрики:

— Я принц немецкой... Турецкой. Басурманов... Французских...

Он не понимает их значения, но чувствует, что всё это должно быть очень страшно и красиво, как можно над этим смеяться?!.. А все смеются, дураки!..

IV

Солнышко уже склоняется к вечеру, и толпа прошла всё селение. Царь Максимилиан и вся свита порядком охмелели, но представление ещё не кончилось.

Толпа валом валит за околицу, к старым казённым весам, где на ровной площади красуется белый «город»... Вдоль площади прокопана в глубоком снегу широкая канава: это улица «города», а посередине её — снежные столбы, по краям на них — широкая плаха, а на плахе — разные истуканы из снега... По краям канавы — тоже всё белые истуканы, у которых вместо глаз шарики овечьего помёта, носы из сена, во рту трубки из палок... Это всё «басурманы нерусские да азиаты французские»...

Царь Максимилиан — собственник этого города. Он покори́л его и теперь ждёт такого «храброго лыцаря», который смог бы взять его силой и молодечеством...

Бурно окружает «город» привалившая толпа...

Царь Максимилиан взбирается на плаху, становится над воротами «города» и ждёт смельчаков...

Его свита и подданные становятся рядами на стены города, готовые самоотверженно защищать ворота «города» от неприятеля...

Выезжают на добрых конях богатыри-охотники и, разогнав во всю прыть лошадей, скачут по улице-рытвине к воротам.

Но Максимилианово войско обрушивает на отважного охотника глыбы снега, бьёт прутьями, сдёргивает с лошади и загребает в снег... Так расправляется оно с десятками всадников...

Толпа напряжена. Она придвинулась к воротам.

Окружила санями и лошадьми весь «город». И уж не вслушивается в то, что выкрикивает стоящий на воротах царь Максимилиан, не смеётся над дурашливыми шутами в шубах навыворот. Она ищет глазами настоящего богатыря, который возьмёт-таки «город» своей храбростью...

И вот выезжает на ретивом коне, в седле под серебром, сын торговца Серёга Авдеев, парень ростом невеликий, годами млад...

— Неужели осмелится?..

— Стопчут они его, похоронят в снегу, как котёнка!..

Но он смело бросается по «улице» «города», и Максимилианово войско только для виду нападает на него... Он прорывается сквозь цепь и, обсыпанный снегом, при оглушительном крике толпы и войска проскакивает в ворота...

— Взял город!.. Ай да Серёга, молодец!..

И в ту же минуту рушатся ворота города, и те же придворные в полон берут царя Максимилиана и, понурого, печального, ведут его под руки перед лицо победителя...

А победитель выдаёт ему семь с полтиной наличными и выставляет три четверти водки на всю артель... Евланова баба подъезжает к пленённому царю и, к удивлению Митьки, кричит ему:

— Да ты дай мне хоть два-то рубля... Ведь всё равно — пропьёшь!..

Царь Максимилиан подходит к розвальням и, пошатываясь, кричит Митьке:

— Ну чё, сынок, замёрз?..

Селение обволакивают синие сумерки, толпа сваливает в переулки и тает в них... Царь Максимилиан в обнимку с принцами и генералами уходит с громкою песней распивать водку... Митька смотрит им вслед, и не хочется ему, чтобы царь Максимилиан был его тяткой, который завтра поедет за сеном, будет курить вонючий табак и бить и ругать мамку...

Обидно Митьке, и становится ещё обиднее, когда, проезжая по убогому селенью, он видит перед каждою избою зажжённые костры соломы: это горит масленица — с лепёшками, молоком и всем скоромным...

И губёнки его складываются сковородником...

Рассказ охотника

Однажды в поезде между Иркутском и станцией Черемхово я разговорился с одним охотником. Ещё не старый, словоохотливый, весёлый, подвижный, как все сибирские охотники, он рассказал мне много любопытного. И вот что нахожу я ныне в своих записках об этой встрече.

— Не хваставшись скажу: десятка два медведей взял, — рассказывал охотник. — С отцом, когда мне было лет семнадцать, тигра живым на Амуре взяли для Верещагина... Небойсь слышали — такой разъезжал по Сибири, для музеев живых зверей скупал. А тигра взять живым! — Это же анахтемское дело... Не дай Господь забояться хоть на волосок. Как лишь страх почуял, так уж ты и виноват, и всякий зверь тебя к смертной казни осудит. Небойсь сами испытали — примерно, собака: боязливого человека терпеть не может, а к бесстрашному сразу ластится. А к чему это говорю я? А вот к чему. Однава, года четыре назад, я такого труса отпраздновал, теперь стыдно вспомнить. И, может быть, погиб бы, если бы не зверь... У вас алтайские реки весной, небойсь, дурят не хуже наших; вам нечего рассказывать, сколько случаев несчастных в ледоход бывает. Ну вот и меня нечистый угораздил через Енисей переходить, когда забереги открылись. А пошёл я на медведя. В это время он только из берлоги выходит, ещё сонный, брать его способно, и шкура ещё не линяет. Правда, отец-покойничек, дай Бог свято почивать, наказывал: «Не губи дичину. Всякая тварь весной хвалит Господа». Ну сами вы охотник, понимаете, как тут не обзариться! Тетерева ли там, перелётные ли криквы, зверь ли красный, где тут утерпеть?

Иду я по льду, местами уже полыньи чернеют, извертели лёд, бурлят. Ширина в том месте более версты, Енисей — река сурьёзная. Впереди, пониже, остров тот самый, на котором мой приятель Мишка зимовал. Винтовка у меня двуствольная, на медведя никогда не фальшивила. Иду без страха, лишь бы встретить — мой будет. И вдруг, родной ты мой, как из пушки где-то тарарахнет! Даже не хватило сдогаду — откуда что?..

А потом, гляжу, чегой-то у меня голова закружилась — берега пошли куда-то не в те стороны. Вижу, подо мною закачалось, задрожало всё, — лёд горою выпучило подо мной, и как ахнет прямо в небеса: вода ли, лёд ли, снег ли, пена ли, ничего не помню, помню только — обдало меня, как будто кипятком ожгло — глаза ослепило, это, должно, лёд разломанный сверкнул на солнце...

Упал я с ног, лежу, без шапки, рукавичку одну где-то вырвало... Держу только винтовку, будто в ней в одной и якорь. И началась же, брат ты мой, пальба! Фонталами вода и лёд... Ну ежели ад есть, то хуже быть не может... И понесло, и закрутило меня в этой лихорадке так, что свет померк и разума я вовсе лишился. Погиб и погиб — кончено. Даже про молитвы и про Бога вспомнить не успел. Ну прямо покорился сразу и о спасении даже думать не вдумок. Всё загудело, зазвенело, закипело вокруг меня, солнце стало маленьким, холодным, как лягушка. И сам я себе стал ненужным — прямо, прости Господи, козявка запропащая... Вдруг выпихнуло мою льдину на другую, на огромную, а впереди меня чернеет чтой-то... Человек не человек, но чтой-то такое, брат ты мой, родимое, роднее человека... Тут я вдруг опомнился. Медведь плывёт со мной на одной льдине... И плывёт так это просто, по соседски, будто мы с ним сговорились на это дело... Крутит нас туда, сюда — я позабыл о всяком страхе, и кольнуло меня в сердце любопытство... Помнится, так как-то оно вышло: прямо из ямы моей гибели вынесло и напороло меня, как на штык, на это самое: смешно мне стало прямо, брателко, до слёз. Ведь это же тот самый мишка, на которого я шёл с винтовкой!.. Гляжу — и никакой винтовки у меня уже нет, да и охота вдруг пропала стрелять аль заступиться за себя... Одно бередит душу — смех и любопытство: куда мы с ним теперича попали? А мишка мой, гляжу, никакого на меня внимания, ни злобы у него ко мне, ни даже любопытства. А только всё поглядывает на соседние льдины и похаживает взад-вперёд по краю. Потом, гляжу, кувырк на самую ближайшую, а по ней стал прицеливаться на другую...

Я не будь дурак — за ним. И всё это смешно мне... Ну прямо, братец, так смешно, как дурачок доспелся — хохочу голосом, да и никаких... А мой приятель всё так же не спеша и не оглядываясь на меня, будто не замечая, со льдины на льдину всё ближе к берегу, всё ближе... А я стараюсь не отстать. Ну веришь ли, как за братом, за спасителем иду, и никакого у меня страха. И у него ко мне никакой злобы. Только что я хохочу и прыгаю, неловко шатаюсь, падаю и весь мокрый... А он как бы играючи — прыгнет, отряхнётся да и опять посматривает на другую льдину, выбирает со смекалкой...

Так, брат, и вывел меня медведь из гибели... С тех пор, друг мой, не поднимается моя рука ни на какого зверя... Ну просто не могу забыть этого случая, как зверь навроде брата для меня доспелся...

...Так, через звериную простоту, пришло человеческое бесстрашие, а через бесстрашие проглянул лик истинного понимания даже между зверем и врагом его — охотником. Какой поучительный пример враждующим между собою людям!

Полынь-трава

I

Широка Тарабинская степь. Ни лесу нет на ней, ни реки хорошей. Равнина из конца в конец, неоглядная на все четыре стороны. Небо кажется здесь плоским, низким и почти всегда тускловатым, а когда ползут по небу тучи, то степь и вовсе нагоняет скуку, как пустыня.

Даже солнце мало радует, когда куда-то разбредутся тучи: слишком оно ярко освещает скучную равнину, и на какую колокольню ни взберись, не увидеть ничего отрадного: ни речки синей, ни зелёного холма, ни кучерявого лесочка. Только кое-где маячат беленькие церковки, как заблудившиеся белицы-богомолки, да возле серых, сплюснутых нуждою деревенок чернеют остроконечные пирамиды из кизяков — дров из навоза.

Как только кончится пахота, весь деревенский люд сгребает в кучки накопившийся за зиму навоз, поливает его водою и топчет лошадыми и собственными ногами, а потом кладёт лопатами в станки и стряпает поленья-кирпичи. Зимой возле них тепло, и «сладок дым отечества»...

После отпашки на земле цветы цветут, травы и молодые всходы зеленеют, иволги и трясогузки расппевают, а по деревням молодёжь в навозе пачкается до самого сенокоса.

Топчут парни навоз, а девки мастерят из него кизяки, и те и другие крикливо, но без всякой страсти, перекликаются частушками:

— «В Тарабе — да парни босы...» — поют девки, а парни им отвечают: «Девки любят папиросы...»

— «Парни — бравы босяки...»

— «А девки — робят кизяки-и...».

Велика степь Тарабинская, разбрелись по ней деревни, как стадо без пастуха — кто куда, и земли на Тарабае так много, что мужики отвыкли любить землю, разучились хорошо её распахивать, и почти каждый год сеют на новой, а старую запускают, и от этого на ней всё больше да больше растут бурьян, колючий молочай и горькая трава полынь.

Уж с Петрова дня в деревне Неслыхаевке только два запаха: навозом да полынью, а к Первому Спасу полынная пыль носится по воздуху, как дым. Осенью же буйные ветры развевают, рассеивают её по полям, по дорогам и по околицам. Год от году полынь растёт всё шире, всё живучее, и душит целину, вытесняет с неё хлеб, цветы и дикие медунки. А дальше — отравляет сено, горчит хлеб и даже молоко, так что дети не хотят его пить, капризно толкают от себя любимую еду.

Должно быть, оттого и люди на Тарабае хмурые и злые, как будто полынь попала в их кровь и распалила злобою сердца их.

Одна на всю Неслыхаевку старуха Финогеевна, безродная вдова-шептунья, пеклась о грешных людях и скорбела, сетовала на мужицкое житьё-бытьё, сравнивала судьбу его со своей покойною свекровкой.

Сидит, бывало, у тусклого единственного окошечка своей избушки, качает головой и думает, и вспоминает:

— Даёт теперь, поди, Богу ответ, покойная головушка...

Бывало: молодича бита, молодича ругана, молодиче скресу не было, а ходи весело, чтобы все люди думали, что молодиче мёд, а не житьё...

Финогеевна вздыхала и вспоминала дальше, уже своё, незабываемое:

— А как только молодича через число при людях взвеселилась, посмеялась, — свекровушка того пуще зашипит:

— Иш-шь обзарились: рада-радёшенька на мужиков-то рыло пялить.

— Ох, как сердце молодое закипит тогда. И горечью, и злобой захлебнётся до смерти...

Лучшее, душевное-то — к Богу с жалобой:

— Ты видишь, Господи! Всё видишь, Батюшка! Владычица Матушка, заступись, оборони!

А тайное, земное-то иного требует:

— Батюшка Илья Пророк! Разряди её громом, попади молоньей!

И старуха Финогеевна связывает в узелок оборванную думку:

— Вот так и злоба наша засеваётся, укореняется, разрастается... Ведь уже давно прибрал Господь, а не могу простить, не могу забыть, што загубила, отравила всю молодую вдовью жизнь... Состарилась раньше времени.

Полынь, как есть полынь-трава...

И переносит думки свои Финогеевна на мир честной:

— Ох, тяжко, ох нету конца-края пустошам, полынью засорённым... Нету силушки повыдергать её, повыполоть...

И подкрепляет думы свои стариною:

— Сказы-ы-вали старики, сказы-ывали, что будут поедать друг друга люди, а последний — сам себя сгрызёт...

Знала старая всю злобу, все грехи своей деревни. Шли к ней все, и стар и мал, несли свои печали и болезни, потому что на слыху была старуха Финогеевна, «славутной» называлась: и повитуха, и лекарка, и советчица. С бедным — погорюет, со старым — молодость помянет, скорбящему — о Боге надоумит, ребёнка сказкою забавит...

Вот она какая, Финогеевна.

Думала старуха, сидя под окошком, качала поседевшей головой, пеклась о грешном мире, а не знала, что к ней подкралась злоба, и её отравя горькая подкараулила...

II

Случись же такое самое: Финогеевну попутал грех на старости — польстилась на безделицу: посадила на своё гнездо чужую курицу...

Слепа, что ли, Бог знает, как это случилось, а только всё-таки поймала курицу возле своей избушки и посадила под шесток на двадцать одно яйцо... Пожадничала, Бог-то и нашёл.

Соседка Чукулаиха, баба мозглявая, крикливая, всегда с кем-нибудь ссорится, только с Финогеевной ладила... Давно уже поклепала она курицею всех соседок, а на Финогеевну и не подумала, только однажды пришла к ней, ненароком заглянула под шесток, а курица ей оттуда в руку клюнула, аж до крови. Хотела Чукулаиха шлёпнуть курицу по носу, смотрит — а курица-то её собственная, Тараторочка...

И с хохолком, а в хохолке-то беленькое пёрышко — на весь околоток курица приметная. Ни у кого такой нет. Увидела Чукулаиха Тараторочку, и от радости сперва даже не обозлилась, только и сказала:

— Ой, баба, а ведь курица у тебя моя сидит.

А Финогеевна так-то свысока ей:

— Да ты с ума-то, девка, не сходи... Я сроду... За иголку за чужую не запнулась... В свидетелях не бывала...

— А хохолок-то, погляди-ка! — взревела Чукулаиха, и побежала с криком на всю улицу:

— Воровка ты, воровка!.. Да я тебя, собачью дочь, на общество выведу да принародно докажу.

И побежала к сотскому, а потом к старосте.

Финогеевна схватила курицу с гнезда, приблизила к глазам — и правда: в хохолке-то белое пёрышко...

— Ну, не бывать тому, — упёрлась сгоряча старуха. — Не отдам курицу. Шутка ли — двадцать одно яйцо запарено.

И, чтобы доказать, что курица не Чукулаихи, взяла и ножницами ей и остригла хохолок-то. Понятное дело: не привыкла плутовать. Себе же хуже сделала.

Пришли староста и понятые, и бабы целой кучей, да и уличили Финогеевну. Видать ведь сразу, что хохолок-то только что обрезан.

А уж тут принародно Чукулаиха и начала срамить Финогеевну.. Боже мой! Наговорила и того, о чём и слыхом не слыхала Финогеевна. А люди слушают да верят. Даже не слушали, что говорила Финогеевна, не внимали слёзной мольбе её.

— Заступитесь, люди добрые... Сроду за иголку за чужую не запнулась... Поверьте совести.

А уж какая там совесть, когда всем ясно: курицу украла.

Протаскали курицу по соседям да на сходку, яйца-то и застудили. Все до одного погибли. Ни цыплят, ни яиц. Был бы староста, как Соломон, не велел бы курицу из гнезда снимать — всё-таки выгоднее было бы для всех, и двадцать одна птица Божия свет бы увидала... А у старосты только и слов:

— Нехорошо ты, Финогеевна, доспела... В каталажку бы тебя... Да ладно уж... На первый раз пожалеем.

Но Чукулаихе этого мало, ей надо было сжить со света Финогеевну, вот как она обозлилась на неё.

Дело понятное — тут неслыхаевская честь была замешана, и многие склонялись на сторону Чукулаихи. Забыли все заслуги Финогеевны, забыли все собственные грехи и ошибки. Гадили, обрадовались случаю пролить свою злобу, травили Финогеевну, как приبلудную собаку...

Староста едва утихомирил.

III

С ранней весны до Первого Спаса у Чукулаихи и Финогеевны каждый день был грех.

Выйдет из избушки Финогеевна, покличет свою тёлку, чтобы пошла дать, — Чукулаиха и тут привяжется:

— И телушка-то заморыш, а тоже слава: скотину водить надо...

— А тебе уж и телёнок-то мой помешал? — заскрипит сквозь слёзы Финогеевна.

— И-гы-гы-гы!.. Занюнила!.. — беспощадно дразнит Чукулаиха.

— Бессовестная ты... Ни бога у тебя, ни совести! — повысит голос Финогеевна.

А тут уж Чукулаиха кричит на всю деревню:

— Это ты-то да о совести? Это ты-то да о Боге?! Да ведь всем известно, што ты, старая колдовка, с нечистым знаешься!..

Финогеевна не могла этого вынести, срывалась с места и с чем попало бросалась на Чукулаиху. А той только этого и надо. Она растрёпывала волосы, срывала с себя подшалок, разрывала кофточку и истошным голосом вопила:

— Убила!.. Батюшки, спасите! Караул!

Этот крик, как нож по сердцу, поражал, уничтожал старуху. У неё опускались руки, подкашивались ноги, замирали на губах слова, и вся она сбежавшемуся народу казалась виноватой, только что хотевшей убить человека. Финогеевна хотела только одного теперь: уйти в свою избушку и там наедине с собой наплакаться, пожаловаться Богу.

Все соседи и соседки набрасывались на неё, кричали вслед ей, улюлюкали, готовы были разорвать.

— Ишь потянулась, как змея жалючая...

— Колдовка!..

— Вешшица!..

А Чукулаиха не унималась, бежала к старосте и взбешённо вопила:

— Убьёт-от она меня!.. Убьёт!.. Ты лучше убери её... С конбоём отошли её в острог...

Старосте наскучили эти скандалы, да и молва людская была против Финогеевны. Он накануне Спаса в жаркий день взял да и призвал её на сходку.

— Вот что, мать честная, — начал он, пощипывая жиденькую бородёнку, — сказывают люди, будто ты грозишься Чукулаихину избу поджечь...

— Да што ты, што ты, батюшка!.. — испуганно взмолилась Финогеевна. — Да што вы, мир честной!.. — слёзно поклонилась она мужикам и бабам.

Но мужики и бабы уже бушевали:

— А от Чукулаихи вся деревня выгорит!..

— Вот какая сушь стоит...

— Она нас с кошелём по миру пустит.

— Ишь, будто и знать ничего не знает.

А кто-то зычно, коротко и возле самого уха Финогеевны потребовал:

— Пришить её!

— Да родимые!.. — попятилась и присела пришибленная старуха. — Да што вы?.. Я ли не служила вам, я ли не угождала? И старому, и малому...

Но слов её уже опять никто не слышал. Все махали руками, метали злые взгляды в сторону сухой и сгорбленной, в добином сером сарафане, Финогеевны и хором требовали от старосты:

— Отпорный приговор!.. Отпорный!..

Как услышала это слово Финогеевна, так и притихла опять, остановилось у неё сердце, помутилось зрение. Без слов, без голоса, а только думкою одною кричала:

— Да неужто это правда? Да где же Бог-то? Где же грозный Илья Пророк?

А староста подходит близко и объявляет Финогеевне:

— Ну вот... Всё общество... Сама слыхала... Доводится отпорный на тебя. Доводится...

Молча поглядела на злые лица мужикам и бабам Финогеевна, молча поклонилась всему обществу, повернулась и пошла к своей избушке на непослушных, шаркающих по земле ногам...

IV

Было Воздвижение Креста Господня.

Только что загорелось яркое, безросное утро, когда с мешком-котомкой за плечами и с новым самодельным костылём вышла Финогеевна из своей землянки. Окошко она ещё вчера заколотила, а убогую утварь отдала безродному Васютке-пастуху.

Тёлка лежала на нагретом за ночь месте посреди пустынной улицы, и Финогеевна толкнула её костылём, подняла и погнала впереди себя из деревни.

В деревне многие ещё спали, но над избами уже курился дым и, склоняясь к северо-востоку, расстилался там в седых полынных зарослях. Навстречу Финогеевне с юго-запада подувал ветерок.

Никто не провожал старуху. Лишь проходя последнюю избушку, она услышала откуда-то слёзное и бабье:

— Да родимая ты моя бабушка...

Это Фёкла, которой совсем недавно Финогеевна помогла родить. Жаль ей старуху, а может быть, себя саму. Не к кому теперь пойти, поплакаться на бабью жизнь...

Да за околицей погнались два мальчугана, помогли заворотить телушку... Какая-то собака долго лаяла на Финогеевну и на телушку, а потом и она отстала, завиляв хвостом.

Финогеевна пошла по жёлтой, усыпанной соломой пашенной дороге, и босые ноги её зябли от нерастаявшего инея.

Шла она, ни о чём не думая и не оглядываясь. Чувяла, что понесла в себе тяжёлый камень, и чем дальше уходила, тем тяжелее становилась ноша, теснила сердце, сгибалась к костылю и не хотела отпускать с родной земли.

Долго и упрямо шла старуха, пока не заметила, что куда-то отвернула с дороги и где-то отстала телушка.

Хватилась телушки, оглянулась — и увидела едва маячившие крыши покинутой деревни. Увидела, остановилась, и почувяла, что нет сил дальше идти. Забыла про телушку, опять помутился свет в её глазах, опять подскрились ноги и перехватило дыхание.

Передохнула, промигала слёзы, вытерла их жилистой рукой и сипло произнесла:

— Суди их Бог. Суди их Бог!

Навстречу ей дул ветер всё крепче и порывистей и, стряхивая зеленоватую пыль с полыни, бросал в полуоткрытый рот старухи, в глаза и в ноздри, и колыхал необозримые сухие травы на непаханых полосах.

Солнце поднялось высоко, слизнуло иней, но не прогрело огрубевшей старой кожи Финогеевны. Только пересох у неё язык, и, ворочая им во рту, она почувяла горечь полыни, терпкую и ядовитую, как банный дым.

Как мутные волны, колыхались под ветром седые полосы, лишь кое-где озолочённые сухим жнитвом и свежую соломою копён, скирдов и гумен.

Но в море полыни терялись суслоны немолоченного хлеба, сидели, как обезглавленные вороны, стога сена, и лежала толстыми медными подковами прошлогодня солома на гумнах.

Старуха оглядела степь, пожевала пересохший язык и, угрожаясь подняв костыль, прохрипела волнующимся полям, как заклинание:

— Всё засорила!.. Всё отравила, проклятая полынь-трава!

И вдруг лицо у Финогеевны исказилось, глаза расширились и побелели, не видя солнца; чёрные съеденные зубы оскалились, губы стали тоненькими и тёмными, а подбородок высунулся вперёд, загибаясь к обвисшему и дряблему носу..

Долго так стояла она в оцепенении, как будто увидела перед собою что-то жуткое, жестокое, но крючковатая рука, держащая костыль, всё так же угрожала и тряслась.

Наконец медленно, по-воровски, она присела на землю, спряталась в сухой траве и, не спеша, таинственно пошарила в котомке. Достала что-то и замерла, припав к земле, как затаившаяся волчица.

И вдруг возле неё расцвёл и взбух, и стал расти и осыпать большие красные лепестки жаркий цветок.

А Финогеевна вскочила на ноги, погрозила костылём и, посылая от себя весёлое, хохочущее пламя, зловеще и злорадно проклинала:

— Сгинь, сгори огнём неутешимым!.. Сгинь, полынь-трава ядучая, сгинь зло людское кипучее. Сгинь вовеки!.. Аминь!..

Под ногами у неё лежала и росла чёрная овчина и дымилась, седела пеплом; старуха часто переступала с ноги на ногу на горячей саже, как будто плясала на чёрном, всё растущем гумне, обожжённом ярко-красною бегущою и вширь, и вдаль соломою.

Нет, это не солома, это медь... Не медь, а золото, целые горы золота!.. Нет, это табунами побежали по степи златогривые кони... Ах, нет, это змей огненный, присланный Богом, покарал за зло людей... Ой, нет же, нет, это упавший с колесницы Ильи Пророка огонь, упавший, чтобы сжечь полынь-траву, отраву горькую людскую.

Всё шире, всё быстрее бежали по сухой полыни огненные кони, всё больше выростало вытоптанное ими чёрное гумно. Вот они прыгнули на стог, вот заиграли на суслонах ячменя, вот помчались к соломе на гумно. И всё бегут, бегут с победоносным ржанием вглубь Тарабы, увлекая за собой танцующую на горящем пепле безумную и страшную старуху..

В тот же день прибежал огонь в Неслыхаевку, а тёмным вечером обложенная высохшими кизяками деревня ярко освещала ему путь в соседние поселения.

Через неделю Тараба лежала чёрною пустыней.

Многие из обитателей её ушли в далёкую тайгу, чтобы там ранее других посбирать Христовым именем «на погорело».

Но большинство осталось возле пепелищ и копошилось, складывая из обуглившихся брёвен новые жилища.

А огонь ушёл далеко в степь и по ночам маячил из-за горизонта ярко-красными знамёнами, пробиваясь смело и настойчиво к тайге, лежащей где-то далеко за краем степи...

Любава

I

Любава засиделась в девках. Не потому, что женихов не находилось или собой была непригожа, а потому, что жила на заимке, редко выезжала в село — за сорок вёрст, а к ним в таёжные места даже и дороги тележной не было. Летом попадали в село верхами на лошадях, а зимой на лыжах, да и то редко.

Однажды зимой мужики, Любавины братья, стали на лыжи и ушли белковать, а потом возвращались через село и принесли оттуда новость:

— Аринка Троеглазова, Любавина подружка, замуж вышла!

Любава мыла пол в избе, и громко, завистливо сказала:

— Ну, изжаби меня, не родилась же я мужиком: не сидела бы тут, как медведиха в яме...

Федотовна взъелась на Любаву:

— А што тебе: пить-есть нечего у нас, али нужда какая обуяла? Небось вон жиру-то сколько накопила... Рыло-то, как спелая малина, налилось...

Любава, выжимая тряпку, злобно покосилась на старуху:

— А на каку жабу он мне сдался, жир-от, ежели другой раз с тоски-то хоть в петлю полезай?..

И, звякнув бисерами, Любава выпрямилась, с сердцем перекинула через плечо сползавшую на грудь тяжёлую льняную косу и укоряюще поглядела на Федотовну огромными светло-синими глазами.

В просторном красном сарафане, босая, с белыми и толстыми голяшками, Любава, казалось, сейчас топнет и провалит пол...

— Да ты сдурела, девка! Ты перекрестись! — испуганно заговорила мать и попятилась от девки в куть. — Вот дикошарая-то! Дурману ты обожралась, чего ли: этак-то на мать кричать!..

— Опостылело мне в девках жить! — сверкнув глазами на братьев, крикнула Любава. — Да што я — уродина какая, али стыд свой потеряла? Двадцать восьмой год сижусь... Аринка-то, вон, на пять лет моложе...

— А вот я те как возьму за косу да почну молоть! — проговорил большак Никита и угрожающе погладил спутанную большую бороду. — Ты, девка, не дури!.. Али што родной отец в гробу, дак, думаешь, тебя поучить некому... Да ежели сказать добрым людям, ведь засмеют тебя и нас... Ишь, захотела, мотри, мужика... Бесстыжая!..

Любава наклонилась к полу, и видно было, как её лоснящиеся щёки запылали, будто кумачом покрылись...

Вдруг она выпрямилась, бросила в лохань ветошку, так что брызги полетели по избе, и закричала:

— Ну изжаби вас в сердце в самое! Да я покуда на вас чертомелить-то буду?.. И за што, за какие-такие услады?..

— Любашка!.. — наступая, стиснул кулаки Никита.

Все в избе насторожились и притихли.

Но Любава закричала пуще прежнего:

— Ну вдарь!.. Не привыкать мне в синяках-то от тебя ходить!.. — И подбородок её запрыгал, глаза часто заморгали и заблестели крупными слезами... — Не стану я больше жить у вас... Уйду! За Тырлыкнку да уйду, вот возьму да...

Любава не договорила. Никита схватил её за косу и как метлой мотнул вокруг себя по влажному, не вымытому ещё полу.

Федотовна с ухватом бросилась к Никите, чтобы заступиться за Любаву, а Никитова баба, сухопарая Ульяна, схватила двух малых ребятишек на руки и прижала их к груди, чтобы они не видели осатаневшего отца.

Но Никита, пнув Любаву, не стал больше бить её и, не взглянув ни на кого, быстро вышел из избы.

Любава поднялась, оправилась и, всхлипывая, стала домыывать в избе.

Потом, когда вошёл Никита, уселись все за стол обедать.

Любава подавала щи, крошила мясо, и даже что-то говорила с меньшим братом Трошкой. Скоро все забыли о «грехе» и словах Любавы об уходе из семьи.

Но вечером, подоив коров, Любава принесла в избу подойник и сказала матери:

— Ты процеди молоко-то, а я пойду телушку загоню... Вырвалась сейчас да убежала, ревёт где-то за пригонами...

А сама надела новый овечий тулупчик, рукавички тёплые, в сенях украдкой сунула за пазуху калачик и какой-то красный узелок.

Возле крыльца стояли две пары лыж, на которых белковали братья. Любава выбрала какие полегче, взяла шомпаки и, обогнув пригоны, стала на лыжи и скользнула в озарённый полумесяцем еловый лес... Долго без передышки бежала, как воровка, торопясь и путаясь в лесу, и вдруг перепугалась и

остановилась: из-за чёрного ствола внезапно вынырнуло что-то живое и побежало рядом, кувыркаясь в пушистом, искристом снегу...

— Барбо-оска!.. У-у, изжаби те, как испугал! — обрадованно выругалась Любава и начала сильнее толкаться и скользить по снегу, густо устланному тёмно-синими тенями леса.

Там, где приходилось скатываться с косогора, она приседала на плотно сомкнутые лыжи и катилась на них, как на салазках. От быстроты бега подол сарафана раздувался, а к телу прикасался и холодно щекотал снег. Любава взвизгивала коротким смехом и, слетая с лыж, катилась кубарем... Тогда Барбоска бросался к ней и начинал тормозить её и лаять, не то от радости, не то от беспокойства...

И чем дальше убегала в глубь черни Любава, тем больше торопилась, и то и дело вздрагивала от холодных мурашей, внезапно пробегавших по её спине, когда Барбоска настораживался и испуганно повизгивал...

Но всё-таки шла вперёд, а назад даже не оглядывалась. Только в одном месте, на просторной белой поляне, присела на пень передохнуть и, тяжело дыша, задумалась. Барбоска сел на хвост у пня и, лизнув Любаву в нос острой серой мордой с редкими заиндевевшими усами, пытливо озирался по сторонам.

В лесу было тихо, и Любава смотрела на синие бесчисленные огоньки снежинок и боялась посмотреть в мёртвое и молчаливое лицо полумесяца.

— Да хучь бы уж было к кому бежать, изжаби его в сердце!.. — вдруг сказала она громко и, испугавшись собственного голоса, впервые оглянулась назад. — А им хучь до старости работай, чертомель, всё равно не дождёшься ясного денёчка...

Любава опять стала на лыжи и ещё быстрее побежала дальше, как будто боялась, как бы кто не стал догонять её...

Острые, загнутые кверху носки лыж быстро обгоняли друг друга, распахивая верхний слой пушистого и чуть-чуть позванивающего снега, под которым самые лыжи прятались, как под серебряным песком.

Любава по-мужицки раскачивалась на ногах, сильно подпираясь шомпаками, и Барбоска едва поспевал за ней, кувыркаясь в снежных ямах подле кустарников и пней.

Быстрей погнался за Любавой месяц, как будто следопыт.

II

Тырлыкан, калмык ойротовой кости, жил в своём ауле, в дневном перебеге на лыжах от займки Захара, Любавина отца. Тырлыкан, старый таныш, — знакомец Захара, и Захар всегда был Тырлыкану должен, но выходило всегда, будто должен Тырлыкан. А Тырлыкан богач. На всю окрестную чернь славится. Много русских берут у него и скот, и скотские шкуры, и деньги, и не отдают ему долга. Тырлыкан и не просит, а если его ласково примут да угостят разбавленным спиртом, он и ещё даст. Лошадей у него много, и баранов много, и много зверья добывает. Со знакомым купцом каждый год по несколько вьюков на Ирбитскую ярмарку отправляет.

Захар, покойник, в дружеской беседе болтал ему, бывало:

— Таныш, твой купец на Ирбитской-то, поди, продаст на тысячу, а тебе скажет — на пятьсот..

При этом в глазах Захара вместе с усмешкой сверкала зависть.

Но Тырлыкан Захару не хотел верить.

Тырлыкан весь год ездит к купцу, берёт товар, как у себя дома... Купец никогда слова не скажет — даёт. «Бери. После Ирбитской рассчитаемся...» — скажет, и ведёт чай пить в горницу..

— Худой человек так не сделает... — тоненьким, сильным голоском говорит Тырлыкан Захару, доставая и закуривая трубку.

Но Захар терпеть не мог табачников, и постоянно говорил:

— Ну, с этим, друг, на улицу ступай!..

И выводил хихикавшего Тырлыкана из избы.

Тырлыкан никогда не обижался и продолжал беседу на улице.

— Всё ладно: кони много, бараны много, деньги водятся, — говорил Тырлыкан. — Одно худо: бабы нет, хозяйки нет..

— Мало их, калмычек-то, разве?! — советовал Захар, усмехаясь в бороду. — Взял бы да и женился!

— Какой чёрт! — всхлипывая, пищал калмык. — Калмычки у меня не ведутся. Три бабы было — все умерли... Ни одного ребятишка не оставили..

— Сам больно барахлявый, вот и ребятишек нет, — резонно замечал Захар. — Гляди, ты весь-то аршин с шапкой. Какие от тебя будут ребятишки? Другое дело — старичонко уж..

— Какой старик?! Пятьдесят годов — разве много? Отец сто лет прожил, — возражал Тырлыкан и, присев на корточки, долго выколачивал о носок обутка трубку.

Однажды, так же выколачивая трубку, Тырлыкан вдруг визгливо захихикал и сказал:

— Ты вот чего, Захар... я твою девку Любку замуж отберу!..

Захар выругал его по-русски крепким словом и ответил:
— Ты шутки-то, друг, не шути... Где же это слыхано, чтобы за некрещёного татарина русских девок выдавали?!

— Пошто некрещёный?.. — завопил, вставая на ноги, калмык. — Давно крещёный!.. Лет теперь, поди, двадцать будет. Мисанер был, сам крестил... Бумагу дал. Русское имя «Степан Василич» дал... Как некрещёный?..

— Давно крещёный, а тряпичной Катеринке молишь-ся... — добродушно усмехнулся Захар. — Брось не дело-то болтать, пойдём-ка чай пить...

Такой разговор при жизни Захара повторялся много раз. Раза два уже затевал его Тырлыкан и после смерти Захара, при Никите и при Федотовне. А прошлой осенью проездом от родственника, у которого было камланье, Тырлыкан заехал на Захарову заимку и заговорил с самой Любовью. Никита и Федотовна были на ярмарке.

— Да ты сдурел, татарская башка, изжаби те! — с хохотом ответила ему Любава. — Как я почну тебя охаживать ухватом за такие речи-то!..

— У-у-уй, сама сдурел, девка!.. — пищал, смеясь, Тырлыкан, и слезливо шурил и без того узкие и впалые глаза, между которыми лежала широкая и плоская переносица. — Ты думаешь, я старик... Нет, приходи, сама узнаешь, я не старик ещё, — простодушно уверял он, теребя и без того выдерганную реденькую, полуседую бородёнку.

На нём в то время был белый бархатный халат с лисьим воротником и широкой каймой по подолу из рыжей лошадиной шкуры шерстью вверх, на ногах были новые «кисы» из шкурок маральих ног, а на голове высокая барашковая шапка.

Тырлыкан молодцевато сел на окованное серебром седло и, уезжая с заимки, подбоченясь, курил свою трубку и пел из любимой песни о Канзе-богатыре.

Эта тюрьма, что построена русским, —
Тюрьма, в которой Канза умер.
А эти слова, что русский говорит,
Больно скребут меня под рёбрами.

И долго, постоянно скребли у Тырлыкана под рёбрами русские слова, только всегда терпел он.

И в ту ночь, когда Любава ушла из дома, скребли под рёбрами у него слова только что уехавшего из его аула русского волостного писаря Михайлы Васильевича.

— И когда ты сдохнешь, Тырлыканка? — без злобы кричал писарь. — Из-за тебя вот коня чуть не решил... Повестку тебе

привёз, на суд вызывают... Почему за подножное не платил? Вот сколько: двести семнадцать рублей недоимки накопил...

— Уй, Михалша Василич!.. Какой непоимки?.. Какой подножный? — обиженно пищал Тырлыкан, и всё-таки смеялся узкими глазами. — Вся кругом наша земля, у калмыков у всех своя земля... Даже русских пускаем жить. Вон Захаркина заимка живёт, вон Иванкина заимка живёт, много живёт... Какой такой двести семнадцать?..

— Ты о земле и рта не разевай, а то я живо протокол аграрный на тебя...

— У-уй, Михалша Василич! Пошто бротокол? — испугавшись, ещё униженнее захихикал Тарлыкан и повёл писаря в свою шестиугольную юрту угощать аракой и чаем с затасканным пряником от знакомого купца.

Потом подарил ему козых шкур на доху, узду под серебром и перемётные сумы, в которых писарь уже сам под добродушное хихиканье Тырлыкана поймал и посадил двух живых ягнят.

— Трудов, друг, много попадать к тебе! — садясь в седло, сетовал Михайла Васильевич, как бы недовольный подарками и как будто он привёз не повестку о взыскании с Тырлыкана двухсот семнадцати рублей, а всю эту сумму от какого-нибудь недобросовестного должника.

Тырлыкан в своём большом шестиугольном срубе, крытом берестой, изредка подкладывал дрова в еле тлеющий костёр и, кашляя от дыму, не мог сообразить: какие такие двести семнадцать рублей?..

В это время в ауле поднялся свирепый лай собак.

Тырлыкан насторожился. Потом толкнул ногой спящего возле костра племянника Сапыргая.

— Ступай, погляди: кто там?

Сапыргай поднялся, почесал тёмную, никогда не мытую и не застёгивавшуюся грудь, просунул в рукава старого кожана руки и без шапки вышел из юрты...

А там уже вышли из своих юрт два пастуха и натравливали злых собак на человека, который стоял поодаль от аула у комолой, толстой лиственницы и что-то кричал бабьим голосом...

III

Зимой в ауле Тырлыкана Любава не бывала и потому, кое-как пробравшись к нему, не узнала местности и думала, что заблудилась.

Бесконечно долгими показались ей и ночь, и дорога к Тырлыкани, и чем дальше уходила она от дома, тем страшнее ей казалось идти и вперёд, и назад...

— Да не окаянный ли меня погнал? — удивлялась сама себе Любава. — Да не сдурела ли ты, бесстыжая ты харя?! — стыдила она сама себя, но всё дальше и скорее убегала от родной заимки.

Когда же внезапно очутилась возле самого аула, скатившись к нему с крутой горы, то вдруг решила уходить обратно на заимку или повернуть в деревню, которая, по её расчётам, была теперь отсюда не менее как в двухдневном перебеге. Но набросились собаки, а испуганные пастухи могли ещё выстрелить. Любава знала, как метко попадают пулей калмыки.

И она закричала:

— Эй вы, окаянные!.. Гаркните собак-то, а то они разорвут меня-а!

Но собаки уже принялись терзать Барбоску, и Любава скользнула к юртам, оставив позади себя живой, отчаянно лаявший и визжавший клубок грызшихся собак...

— Ну, изжаби тебя!.. — выругала она выбежавшего из юрты, оторопевшего Тырлыкани. — Да ты за что меня чуть не скормил собакам-то?!

— Ты, Любава, чего ли? — суеверно попятился от неё Тырлыкани. — Ты пошто ночью попал сюда?..

— Попал!.. — сердито передразнила Любава. — По то и попала: пошла в деревню да и заблудилась.

— Уй-уй!.. — пищал старик. — Деревня совсем на другой сторона!.. Однако чё-нибудь с тобой не ладно... Айда, пойдём в юрту, грейся!.. Ишь, замёрзла...

Очаг в юрте горел плохо и сильно дымил. Любава сразу же задохнулась дымом и пригнулась к полу.

Тырлыкани склонился к дровам и стал губами раздувать огонь. Сапыргай внёс в юрту охапку сухих еловых веток.

Когда ветки вспыхнули ярким огнём, а дым ушёл в верхнее отверстие юрты, Любава оглянулась, — из переднего угла юрты на неё глянули два медных блестящих глаза деревянного идольчика.

И уже потом ей показалось и грязным, и вонючим, и убогим жилище Тырлыкани.

— А я думала, ты и правду богатый! — презрительно сказала она Тырлыкани и стала греть озябшие руки над огнём.

— Пошто не богатый? — поспешно возразил хозяин. — Вон, гляди: четырнадцать пар сум разного добра... — Он указал на свою постель, намощённую из звериных шкур на множестве кожаных, толсто набитых чем-то сум. — Вот

шкура много, вот серебро много... Лошадей, однако, триста будет, баранов, поди, две тысячи будет... Пошто не богатый?..

— Ну, богатый, так покорми чем-нибудь!.. Проголодалась, как собака.

— Пошто собака!.. — заступился за неё Тырлыкан. — Собака не надо!..

И он суетливо начал рыться в берестяных коробах, доставая баранину, медвежье сало, тёмно-серый, как куски земли, копчёный сыр и сухие городские пряники.

Впервые Любава ела из калмыцких рук. Ела, морщилась и говорила:

— Лучше бы сама я мясо-то изжарила... А то, того гляди, стошнит.

Тырлыкан рассыпался мелким, тоненьким смешком:

— Айда, ступай за меня замуж, — всё сама будешь делать... Избу новую по-русски сделаем... Айда!.. Хе-хе-хе...

И Любава не ответила. Любава промолчала и перестала есть, задумалась, глядя на огонь. А Тырлыкан, как бы почуяв что-то, уже не усмехался и говорил не умолкая:

— Вот: Тырлыканом звать меня не надо! Звать Степан Василич надо... Коней много, баранов много, коров много... Деньги есть... Вот: хозяйка будешь!.. Иноходый конь отдам хороший, чегэдэк сошью богатый... Избу сделаем по-русски, новую... Вот — живи... Айда!? — и спрашивал, и приказывал Тырлыкан Любаве.

Но Любава всё ещё молчала, задумчиво глядя в огонь. Уставшее и промёрзшее тело разомлело возле огня и просило отдыха... Но в душе было беспокойство, и вспыхивали короткие вопросы-мысли: «А как утром по следам найдут?.. Придут сюда да бить начнут... За косы поволокут... А где Барбоска?..».

— Где моя собака? — спросила Любава у молчаливого Сапыргая.

— Ступай, найди! — приказал Тырлыкан племяннику. Сапыргай вышел, а Любава снова оглядела грязное, прокопчённое в дыму и такое чужое, дикое жилище. А усталая мысль подсказала: «Если найдут да увезут домой — теперь уж совсем житья не будет».

А следом за этой другая шептала: «Зато первая богачка будешь... Сядешь на лихого коня — всем бабам тошно станет... И муж — курёнок... Что захочешь, то и сделаешь...».

И третья появилась мысль: «Ну уж тогда в деревню не показывайся... Засмеют, осрамят и стар, и млад...».

А Тырлыкан всё наговаривал:

— Вот завтра лошадей оседлаем, писарь сегодня уехал — дорожка есть, в село поедем, обновы купим... Потом знако-

мый поп найдём... Той-свадьбу сделаем... Гу-у-ля-ай! — весело прикрикнул и захихикал Тырлыкан.

Вошёл Сапыргай.

— Собака тут! — ткнул он за дверь юрты и бросил туда кусок баранины.

Любава встала. Пошла в передний угол, присела на постель, потрогала медвежью шкуру, разостланную на сумах, и передёрнула плечами — не то от озноба, не то от брезгливости.

— Вот избу русскую построим, — снова начал искушать Тырлыкан, — сама стряпать будешь, всё чисто убирать будешь. Чего? Завтра знакомый поп найдём...

— Не надо попа! — вдруг резко выговорила Любава. — Так, по-татарски, буду жить... Твоему идолу молиться буду, — крикнула она сквозь слёзы и толкнула кулаком в раскрытый сальный рот деревянного божка с медными солдатскими пуговками вместо глаз.

— Уй-уй!.. Нашто дерёшься? — с суеверным страхом зашептал калмык. — Этот бог скотину пасёт...

Но Любава не слушала его и, навалившись грудью на медвежью шкуру, дала волю накопившимся слезам.

Сапыргай, не понимавший ничего, сидел возле огня, подбрасывая в него сухие ветки, недоумевающе косился в сторону плакавшей русской девки...

А Тырлыкан, забыв об обиженном идоле, утешал Любаву:

— Пошто плакать? Вот: хозяйка будешь, домой в гости сама поедешь... Иноходного коня Сапыргайка оседлает, Савра-сого!..

Но Любава плакала навзрыд.

За юртой, у дверей, жалостно повизгивал искусанный собаками Барбоска.

IV

Ночь провела Любава плохо, всё дрожала, как от озноба, и рано утром, наскоро похватав свежей горячей баранины, которую Сапыргай сварил до света, стала торопить Тырлыкана:

— Ну, седлай скорее, што ли!..

— Айда! — коротко и громко приказал тот Сапыргаю.

И Сапыргай без слов понял, что надо делать. Он суетливо выбрал два лучших седла под серебром и, выйдя с ними из юрты, загомонил, залопотал с пастухами.

Не успела Любава надеть тёплую шубу покойной Тырлыкановой жены, как Сапыргай шагнул в юрту, и Любава увидела возле двери две весёлые лошадиные морды.

С задорной усмешкой прыгнула Любава на богатое седло, и Тырлыкан, державший за повод жирного иноходца, впервые показался ей не таким, каким она привыкла его видеть. В расфранчённой фигуре его, в заботливой поспешности и в робкой усмешке, с которой он заглядывал вверх на цветущую Любаву, почуялось ей что-то своё, будто Тырлыкан был для неё далёкий младший родственник.

Пока Тырлыкан, подсаживаемый Сапыргаем, садился на седло и оправлял полы шубы, Любава лихо пробежалась мимо юрты, пробуя ход иноходца, у ног которого виновато юлил Барбоска. Крикнула Сапыргаю по-калмыцки:

— Если кто придёт меня искать, говори, что ничего не знаешь, не видал!

Крикнула и, увидев покорную улыбку молодого калмыка, ещё раз улыбнулась и подумала: «Слушается калмычонок... Ровно настоящую хозяйку!».

И, позвав Барбоску, поехала по плохо утоптанной тропе, не ожидая Тырлыкана.

На высоких горных маковках уже лежали золотые колпаки восхода, всё ниже опускаясь и нахлобучиваясь на горы, всё больше бледнея и сливаясь с белизной снега, и, наконец, белый иней на пихтах и берёзах засверкал бесчисленными огоньками. Тырлыкан взглянул навстречу солнышку, поморщился и спросил:

— Н-но... Какой поп сперва пойдём?..

Любава отвернулась и мешкала с ответом. Затем насмешливо взглянула на него и прокричала:

— А может, я ни к кому не поеду! Вот проводишь до деревни — и ступай назад!..

— Пошто шутки делаешь? — вдруг сердито взвизгнул Тырлыкан, и обиженно и вопросительно глядел в глаза Любаве.

Любава снова отвернулась и промолчала. Потом, когда переметнулись через закутанную в снежные сугробы реку, покосилась на третью, несёдланную лошадь, которую Тырлыкан вёл на поводу, и ей показалось невозможным и почему-то даже обидным, что ей теперь действительно нельзя шутить.

С деловитой строгостью она сказала Тырлыкану:

— Зачем такого доброго коня попу ведёшь?.. Можно было взять похуже!

— Три не жалко! — азартно вскрикнул Тырлыкан. — Пусть только дело делает скорее!..

И он, обогнав Любаву, рысью побежал по крутой гористой тропке.

«Теперь уж, видно, наготово запросваталась!» — с горькой усмешкой подумала Любава, почуяв, как хорошо несёт-покачивает разгорячённый иноходец.

Вечером в попутной деревеньке, отогреваясь в тёплой избе обрусевшего крещёного таныша, Любава говорила Тырлыкани:

— Ну, женишок, коли хочешь, шtbody не убежала от тебя, в первую голову избу мне тёплую строй!.. Не буду я в юрте твоей мёрзнуть!

А назавтра, когда по торной тропе они подъезжали к селу, и когда Любава ещё издали на фоне красной, угасающей зари увидела церковку, она совсем смирилась с мыслью, что будет женой Тырлыкани. Но когда остановились на ночлег в опрятном домике купца, Любава вспомнила, что ночью Тырлыкан может к ней прийти — такой дряблый, прокопчённый и просаленный, со слезящимися глазами и плоским переносьем...

Она невольно съёжилась и украдкой сплонула под стол, за которым надменная купчиха нехотя угощала их чаем.

Но ночью Тырлыкан к Любаве не пришёл, а утром она снова заспешила и сама взялась за хлопоты о венчанье.

Разнаряженные, на богатых сёдлах поехали они к священнику и в поводу повели красивого Рыжку.

— Н-но, здорово, батюшка-поп! — ещё у окон поповского дома закричал Тырлыкан, требуя этим, чтобы батюшка вышел на крыльцо.

Но батюшка был во дворе и показался в открытых воротах.

— На-ка, возьми! — улыбаясь и протягивая повод Рыжки, начал Тырлыкан.

Батюшка не понимал и, нерешительно беря повод, улыбался.

— Ну, потом что?.. Слезай с лошади-то! Заходи!

Любава стояла поодаль и, забывши поздороваться со священником, не знала, что ей делать.

— Ну подарка эта тебе! — объявил Тырлыкан и ждал.

— Подарок?! — протянул священник. — Да за что же?

Любава подстегнула иноходца и чуть было не смяла батюшку.

— Мы, батюшка, до вашей милости...

— Венчай! — строго приказал Тырлыкан.

Священник пристально поглядел на девку и на калмыка и недоверчиво опять протянул:

— Венчать?! Да как это так — венчать? Ты чья такая?

— С заимки я... Признаться тебе, сказать, убёгом я хочу...

— Убёгом?! За старика-то?.. Да он крещёный ли?

— Но, крещёный! — сердито завопил Тырлыкан и тут же мелким смехом засмеялся.

Улыбнулся священник, поглядел на Рыжку, ещё раз улыбнулся, покачал головой и пригласил:

— Ну так слезайте с коней-то да заходите в избу!.. Потолкуем!

И собственноручно ввёл во двор заиндевевшего Рыжку.

Выслушал священник Тырлыкана и Любаву, посмотрел какие-то бумаги, которые калмык достал из кожаного кисета, походил по избе, подумал, на минутку вышел из избы — должно быть, с матушкой посоветоваться, а может быть, ещё раз Рыжку поглядеть, — вернулся, и сказал Любаве:

— Попостовать ему надо, в церковь хоть недельку походить... Молитвы кое-какие выучить... А то какой же он христианин?!

От батюшки поехали к купцу. Любава сама выбрала для жёниха серебряный крестик на шёлковом гайтане, купила русский поясик и множество обнов, и в тот же вечер, сидя в купеческой горнице возле стола с шитьём, начала учить его молитвам.

И для того, чтобы он был послушным и понятливым, а также для того, чтобы хозяева не перестали относиться к ним с почтением, она уж больше не звала своего будущего мужа Тырлыканом, а величала его:

— Степан Васильевич!

Тырлыкан хихикал от удовольствия, покорно повторял за ней слова коротеньких молитв, которые и сама Любава кое-как помнила, и коверкал имена святых, за что Любава кричала на него и даже потихоньку шлёпала, как малого бестолкового ребёнка, одними пальцами по голове.

И каждый день водила его к батюшке, который уже ездил на калмыцком Рыжке, был очень им доволен, и однажды в воскресенье пригласил их в горницу, где сидел таныш Тырлыкана, писарь.

— А-а! Михалша Василич! — обрадованно запищал Тырлыкан и, поздоровавшись за руку, сел возле него на корточки и достал трубку, чтобы закурить и поменяться ею со знакомым по обычаю.

V

Любава, отойдя к сторонке, полушёпотом рассказывала матушке, какой смешной да непонятливый её жених, и прятала свой смех в рукав не снятого алтайского тулупа.

Тырлыкан сидел на корточках и безучастно курил трубку, но, когда услышал жалобу Любавы, поднялся и начал упрекать её:

— Как не знаю?.. Шибко знаю!.. Вот: Осподи Сус Кресте, помилуй наш...

И старательно, но неправильно перекрестился.

Священник долго поправлял изуродованную молитву и, увидев на голове Тырлыкана жёсткую, как конский хвост, полуседую косу, обратился к Любаве, как бы советуясь с ней:

— Слышь? Косу-то отрезать надо!..

— Но!.. — вдруг испугался Тырлыкан. — Пошто отрезать?.. Мой Бог — Яик-хан — скотину пасти не хочет тогда... Нет, косу резать не дам!.. Твой Бог мне не мешает, мой Бог пусть тебе не мешает... Вот!..

— Ну што же я с ним буду делать? — беспомощно хлопнув себя по бёдрам, обратилась к матушке Любава.

И матушка помогла:

— Да пусть уж он с косой будет!.. — попросила она батюшку.

— Ну Бог с ним!.. Только уж ты, мила дочь, — строго наказал Любаве батюшка, — подучи его потом молитвам-то!.. А завтра я уж повенчаю вас... Вот и отца вам посажёного пригласил, — указал он на писаря, который встал со стула, подошёл к Тырлыкани и сильно хлопнул его по плечу:

— Только, брат, когда приеду, чтобы и мне был конь этакий же, как у батюшки!

Он обернулся к Любаве:

— Без меня венчать не стали бы: у тебя ведь никаких документов! А я вот батюшку заверил, что ты девка, и в книгах в церкви распишусь...

Любава и Тырлыкан с минуту глядели на сытое, усатое лицо писаря, а батюшка сказал ему:

— Ну, ты, поди, и сбавишь? Коня-то много...

— Прибавить надо, батюшка, а не сбавлять, — заговорил писарь. — У него есть из чего дать-то...

Но он взглянул в глаза Любаве, усмехнулся и мягко сказал ей:

— Ничего, там сторгуемся... Удостоверяю...

Любаве показалось, что писарь как-то по-особому, сощуренно, поглядел в глаза, и ещё раз повторил:

— Сторгуемся... Чего там!

Назавтра батюшка их повенчал, и у писаря отпраздновали свадебное пиршество, на котором были и батюшка с попадъёй, купец, учительница, старшина, молчаливый и степенный пожилой мужик, а на крыльце и возле окон толпились любопытные.

Писарша, сморщенная, высохшая от болезни женщина, усадила молодых в передний угол и простосердечно величала их по имени и отчеству, а писарь Тырлыкани подливал вина и, подвыпивши, пытался даже целоваться с ним.

Но Любава отставляла вино от Тырлыкани и не давала ему много пить. Тырлыкан хихикал и с видимым трудом удержи-

вал себя от выпивки, но слушался, часто вылезал из-за стола и садился под порогом с трубкой в зубах.

Законной женой Тырлыкана, новобрачной, поехала в аул Любава. Приехала, вошла в шестиугольный, грязный, закопчённый сруб, заваленный шкурами, сбруей и другим добром калмыцким, и опустила руки.

— Господи!.. Пречистая Богородица, да это што же я наде- лала!..

И задохнулась, заревела, толкая от себя совсем потерянного, маленького, отвратительного старика.

Наревелась, наплакалась вдосталь, и с озлоблением приня- лась наводить порядок и чистоту в новом своём жилище... Всё прибрала, перевернула по-своему, вычистила, подмела, изжа- рила баранины, а есть не стала... Села на свою постель, да опять в слёзы...

И так прошло с неделю, пока в аул не заявили братья.

Никита шагнул в юрту со свирепым взглядом, и по его дви- жению Любава поняла, что он хочет снова схватить её за косы.

Он уже шагнул к ней и процедил сквозь зубы:

— Да к ты так-то нас срамишь?!

Но Любава схватила со стены Тырлыканов нож и, пряча его за спиной, закричала:

— Только тронь меня!.. Уж ежели я за татарина пошла, — мне всё равно теперь!..

И Никита отступил.

— А дьявол тебя бей, коли так!.. — вдруг обмякнув, провор- чал он и посторонился при виде входившего в юрту Тырлыка- на.

— Н-но, здравствуй-проходи! — захихикал Тырлыкан и сбросил на пол для сиденья Никите одно из сёдел. — Садись, сват-брат..

Никита смерил глазами Тырлыкана, скопился на Любаву и спросил:

— Да у вас и взаболь, што ли, всё излажено?

— На вот!.. На этой неделе поп венчал! — строго объявил хо- зяин.

— А-а, будьте вы прокляты! — выругался Никита и мирно сел на седло.

Вскоре Сапыргай внёс дрова, а Любава принялась готовить ужин.

Только Любава ни слова не сказала братьям, а с Тырлыка- ном вдруг стала ласковее и веселее глядела на него.

Тырлыкан, посмеиваясь, жаловался новой родне:

— Вот: баба есть, поп привязал, а со мной не спит.. Я но- чью говорю: «Иди со мной лежать — теплее будет». Она не хочет... Ишь, свою постель сооронила...

И, обращаясь уже к молодой жене, он строго спрашивал её:

— Пошто ты сердишься чего ли?..

— Вот погоди ужо: состроишь избу русскую, может быть, приобвыкну... — уклончиво ответила Любава и потупилась.

На другой день Никита с Трошкой ушли домой весёлые, и унесли с собой подарки Тырлыкана: две волчьи шкуры, пару сухих маралых рогов да узду под серебром.

Федотовна, узнав подробности, долго позаочь ругала и кричала на Любаву, грозила снять с неё своё родительское по гроб жизни нерушимое благословение...

Но когда через четыре дня Любава в сопровождении Тырлыкана подбежала на лыжах прямо к окнам избы, Федотовна вдруг радостно запричитала и в одной юбочке выбежала навстречу дочери.

Непривычно было для Федотовны называть Тырлыкана Степаном Васильевичем. Она глядела на него и не знала, о чём теперь говорить с Любавой... А Любава, выполняя обещание, данное священнику, перед едой и после еды кричала Тырлыкану, как глухому:

— Богу-то молиться позабыл!.. Ну, крестись... Читай за мной...

Тырлыкан визгливо и тихонько хохотал, но слушался, и повторял непонятные слова молитв.

Вскоре по всем окрестным деревням и сёлам стали рассказывать о Любаве разные были и небылицы.

А она, со скуки ли, или с отчаяния, или оттого, что от природы работящая была, крепко взялась за Тырлыканово хозяйство, и напрасно братья и писарь, приехав в гости, выпрашивали у Тырлыкана взаймы денег, шкур и лошадей.

Любава вмешивалась в разговоры, отстраняя Тырлыкана:

— Он старых-то долгов собрать не может, а не токмо вновь давать... Да и како-такое у нас богатство: избы доброй нету!

Тырлыкан посмеивался на Любаву, но ревностно оберегал от неё деревянного Яик-хана с пуговками вместо глаз и жаловался писарю:

— Всем баба ладно, одним худой: каждый день сердится...

И он усердно хлопотал с постройкой новой русской избы, которой надеялся умягчить бабье сердце.

VI

Пришёл апрель.

Все горы облысели и днём курились белым паром, а по утрам седели, покрываясь пушистым синеватым инеем.

Твёрдый, заледенелый снег в оврагах и ущельях держал копыта лошади лишь с полночи и до восхода солнца, а когда солнце выйдет из-за гор на небо — под толщей снега залопочут звонкие ручьи и снег рыхлеет и садится: точат его прелые весенние ручьи.

Чуть забрезжит заря — лес в горах наполнится страстным говором тетеревов, а когда взойдёт солнце — все горы загудят от шорохов и звуков, среди которых ярко вспыхивают и внезапно тают песни пастухов, пробирающихся со стадами по крутым южным склонам без тропы, по оттаявшим россыпям и перелескам на лысые вершушки сопок.

Туда же, вслед за пастухами, на вершину ближнего холма часто тянет и молодого Сапыргая, Тырлыканова племянника.

Там ближе к солнцу, оттуда дальше видны синие курящиеся горы, там можно громче и свободней петь.

Серым спутанным узлом оттуда кажется аул, в котором только и приятного для глаз Сапыргая, что из острых юрт постоянно вьётся голубой дымок, напоминающий о вкусной баранине, о копчёном сыре, о весёлой тёплой араке...

И тотчас же отворачивается от аула Сапыргай, когда среди седых пригонов или возле жёлтого воскового сруба строящейся избы покажется живое ярко-красное пятно Любавы. Но и отвернувшись, Сапыргай невольно слушает её звонкий, сочный голос, и про себя бормочет:

— Чужая плотников опять ругает...

Ни вражды к Любаве, ни страха перед ней Сапыргай в себе не имел. Она просто для него была посторонняя, чужая здесь, в старом гнезде полудикого и полусонного народа.

Сапыргай никак не мог привыкнуть к Любаве, и возле неё ему было неловко. И ещё более неловко сделалось с тех пор, как Любава стала пристально глядеть на него, смеяться и даже изредка потихоньку шлёпать его по голове и по плечам, которые почти всегда у Сапыргая были голые.

— Ишь, оборвался как. Рубаху-то как сшили, так, видно, и не снял ни разу. От грязи и разлезлась.

Она сшила ему новую, хорошую рубаху на русский лад, но Сапыргай поносил её дня два и, незаметно для Любавы, снял и сунул в уголок за сумы, а сам на бронзовое тело надел одну овчинную просаленную шубу, да так и не снимал её.

— Ты пошто рубаху-то не носишь? — строго закричала на него Любава и хотела шлёпнуть его по обнажённой груди, но

он увернулся от неё, засмеялся, как от щекотки, запахнул шубёнку и подпоясался.

— Мало горя, вши-то вот съедят тебя! — сердилась Любава и надолго умолкала, задумавшись возле горящего костра, на котором почти всегда из молока выпаривалось свежее вино.

Тут же в полудремоте от постоянной пробы араки, с трубкой в зубах сидел и тихо что-то напевал Тырлыккан.

Сапыргай видел, как злобно иногда Любава взглядывала на старика.

— У-у... Статуй!.. — выдыхала она сквозь зубы и поспешно поднималась с места, шла из юрты, и тогда в ауле поднимался её крик на пастухов, на баб, на ребятишек, на собак, которые всё ещё косились на неё и рычали, и на Сапыргая, который ничего-то не умеет сделать, как ей надобно.

Калмыки плохо понимали русский язык, но знали, что раз Чужая заговорила по-русски, значит, ругается и, значит, сегодня всё будет делать сама: и коров доить, и телят поить, ягнятам сено постилать, от юрты снег отгрести, от сруба в юрту щепы таскать.

Но Сапыргаю больше всех доставалось от Любавы, и всё-таки он не сердился на неё, потому что нравилось ему, как она, обозлившись, вырвет у него работу и сделает сама.

— Черти вы, изжаби вас в сердце самое!.. Живёте, как свиныхёшки... За три версты от вас воняет... Окаянный меня связал с вами!.. — ругается Любава, а у самой в руках всё так и кипит, так и кипит.

Нароботается, накричится досыта, потом придёт в юрту, приготовит на костре обед и, проворно наевшись, снова утихнет, даже пойдёт. Сядет шить и долго о чём-то неполным голосом по-русски распевает.

Сапыргай слушал Чужую и начинал её жалеть, потому что песни её казались ему плачем.

И если не было в юрте Тырлыккана, он тихо говорил ей:

— Ступай домой!..

При этом скалил зубы и махал рукой по направлению к русским деревням.

— Домо-ой?! — удивлялась Любава. — Да я тебе тут чем мешаю?

— Тут худо тебе... Там худо не будет. Ступай! — гнал её Сапыргай и пугливо озирался, как бы боясь, что его кто-нибудь подслушает.

— Ишь ты!.. — лукаво прищурилась Любава и почему-то долго разглядывала Сапыргая.

А потом, приблизившись, внезапно шлёпала его по бронзовой груди и, смеясь, начинала щекотать.

Долго визгливо хохочет от щекотки Сапыргай, но в чёрных узких глазах его светятся слёзы и недоумение, и, когда Любава бросит щекотать его, он сразу же заплачет и уйдёт из юрты.

Сидел на вершине холма Сапыргай, вспоминал всё про Чужую, и всё-таки не мог рассердиться на неё, потому что солнце так ласково трогало его грудь и обнажённую голову тёплым своим золотым дыханием. Он смотрел вокруг себя на розовые стебли пробивающейся свежей травки, на набухшие почки соседнего маральника, на криволапые и тёмные громады редких лиственниц, уходящих всё выше и выше на гору, а за горой — небо, синее, как вода в горном озере, а по небу над горой облака плывут, пышные и белые, как после бури пена на реке.

Меж деревьев по склону горы разбрелись коровы, а меж ними, как старый пень, стоит Карамес-пастух, и поёт что-то жиденьким, с детства раздавленным горами голосом.

Сапыргаю тоже хочется запеть, потому что надо ему что-то вспомнить или пожалеть о чём-то. Без песни он не может вспомнить. И он запел, а как запел — вспомнил, потому что запел о том, о чём надо было пожалеть:

Был у Сапыргая конь буланой масти, —
Как камень, брошенный богатырской рукой,
Умел он носиться по горам.
Приехал кам Байбадак,
Отправил буланого на небо к Ульгеню.
После ездил Сапыргай на саврасом иноходце,
Пришла в аул Чужая — взяла коня себе...
Обучил Сапыргай ещё коня гнедого,
Приехал писарь сердитый, с усами,
Как лошадиный хвост,
Увидел коня, отнял, сел, уехал,
Тырлыкан только посмеялся...

И вдруг Сапыргай оборвал песню, вспомнил, что Чужая, пожалуй, и лошадь хорошую не даст ему: всем распоряжаться стала, Тырлыкану даже не даёт распоряжаться.

Вскочил Сапыргай с места, схватил камень и с силой швырнул его с горы, в пустое пространство...

Потом пошёл к пастуху Карамесу пожаловаться на Чужую.

Карамес, держа во рту трубку, сонно глядел красными больными глазами вниз, на посиневшую кривую реку, ещё покрытую льдом, сквозь который кое-где уже бурлила живая, чёрная вода.

Сапыргай сам взял у него изо рта трубку, обтёр рукавом с мундштука Карамесову слюну и потянул в себя крепкий дым.

Карамес, не переставая глядеть вниз, молча показал туда рукой, как будто ему было лень сказать хоть одно слово.

Сапыргай взглянул вниз и увидел, что там, на берегу реки, по кривой дорожке, проваливаясь в снегу и ведя в поводу осёдланных лошадей, идут два человека.

Лошади то и дело прыгали, проваливаясь то задом, то передом, то останавливались на каком-либо удобном месте и не хотели сходить с него, то снова проваливались и лежали в снегу.

Сапыргай поглядел, заморгал глазами, передал трубку обратно Карамесу и, сплюнув, сердито отрубил:

— Бисар!..

Потом ещё раз сплюнул, шагнул вперёд и, не то радуясь, не то дразня приезжих, закричал:

— Эй, би-са-ар! Михалка Васили-иш!

Снизу, от дорожки в ответ чуть слышно доносились голоса приехавших, и потому, что передний поднимал руку и потрясал ею над головой, Сапыргай понял, что писарь сердится.

Он быстро побежал с холма к аулу сказать Тырлыканы, что едет русский гость.

VII

В ауле всполошились все собаки и с остервенением лаяли, окружив приблизившихся к юртам писаря и старшину.

— Эй ты!.. Старый пёс! Какого чёрта смотришь! Они загрызут совсем!.. — ревел писарь вышедшему из юрты и недоумевающе глазевшему Тырлыканы.

Любава, краснея в оконном пролёте нового сруба, со щепами в переднике, стояла как-то неподвижно и растерянно. Ребятишки выползли из пастушьих юрт, чёрные, оборванные, с испуганными узкими глазами; грязные калмычки выглядывали из дверей юрт, — все точно оторопели и, застыв на месте, молча глядели на приехавших. Только собаки надрывались, лаяли по какому-то собачьему закону, и всю свою злобу обратили на Барбоску, в которого попала писарская палка.

И только когда старшина привязал обеих лошадей к городьбе и, расправляя длинную бороду, с улыбкой направился к Любаве, она вспомнила, что по русскому обычаю надо приветствовать гостей.

Она выбросила из подола щепки, раздёргала подтыканную юбку и оскалила белые частые зубы навстречу старшине:

— Здорово ты живёшь, Иван Филатыч! Ая, гляди-ка, как оба-сурманилась, и поздороваться — из ума вон... Здравствуйте-

ка, Михайла Василич!.. — подошла она и к писарю. — Цыц! Будьте вы со свету прокляты! — притопнула она в сторону собак... — Сапыргайка, чего же ты стоишь?.. Отвязывай сумы-то от сёдел... Ишь, лошади-то как умаялись!..

— Лошадей-то жаль, а человека так собакам стравить готовы! — зло сказал ей писарь и стал отворачивать голенища, чтобы стряхнуть с коленок насыпавшийся мокрый снег.

— Пошто же нам травить?.. Ведь рот им не заткнёшь... А без собак нам тоже нельзя... — говорила с улыбкой Любава и, оттолкнув с дороги Тырлыкана, всё ещё стоящего на одном месте, открыла дверь в юрту и стала возле неё.

— Проходите-ка давайте, грейтесь... Сапыргайка, щепок носи скорее!..

— Ну-ко, поглядим, как ты тут живёшь-можешь? — сказал старшина, шагая первым в юрту.

— А видишь, как командует! — смягчаясь, сказал писарь, и сейчас же, не снимая полушубка, повалился на опрятную Любавину постель. — У-ух, язви те в дорожку... Ну и даёт она баню!..

Любава покосилась на грязные ноги писаря, положенные на клетчатое ситцевое одеяло, и сказала:

— Какая уж неволя вас и гонит в экое разгалье-то?.. Вот скоро ведь и реки задурят... Доведётся тогда вам где ни на есть дарма сидеть...

— А доведётся, дак и ты не выгонишь!.. Из-за вас же и ездить-то доводится. Вот уже третью неделю по орде шатаемся...

Но Любава не дослушала, хлопотливо уходя из юрты.

Молча вошёл Тырлыкан, и как-то нехотя сел возле потухшего костра.

И ни писарь, ни старшина всё ещё не поздоровались с ним, как будто не заметили его. Он закурил трубку и, попыхивая дымом, поглядывал то на того, то на другого гостя, не удастаявая их ни одним словом.

— Н-ну, Тырлыканка!.. Как поживаешь? — дружелюбно улыбнулся ему старшина.

— Пошто Тырлыкан?! — обиженно взвизгнул хозяин. — Степан Василич надо!.. Пошто Тырлыкан?..

Писарь совсем подобрел, полежав на кровати. Скинув ноги на пол, он проворно сел и громко рассмеялся.

— Ха-ха-ха!.. Ещё и Степан Василич!.. А ты, Иван Филатыч, погляди: крест есть у него на шее?..

— Пошто, погляди! — совсем обиделся хозяин и, запахивая шубой обнажённую грудь, торопливо отполз от старшины.

— Ха-ха-ха!.. Потеха, да и только!..

И писарь снова развалился на постели. Тырлыкан, сплюнув горькую табачную слюну, отвернулся и снова замолчал.

— Выгонять — не выгоню, понятное дело, — начала вошедшая с бараньей лыткой Любава, — а только што самим-то вам у нас не поглянется... Ишь, как живём... А изба совсем тихо подаётся... Опять же через какую-нибудь неделю Пасха подойдёт... Не вовсе весело у нас вам будет праздник-то встречать... Я и сама на праздник-то к своим хотела, да не знаю: надо быть, не пустят речки...

— Не заживёмся, не заживёмся, не бойся! — недружелюбно отозвался писарь. — Вот передохнём, дело сделаем и дальше тронемся...

— А дело-то какое у вас тут? — спросила Любава и вытянула шею.

— Дело-то? — ехидно усмехнулся писарь. — Дело для вас не совсем весёлое: описать за долг велят! Двести семнадцать рублей долгу хозяин твой не уплатил.

Тырлыкан, не вставая с места, вдруг всем корпусом круто повернулся к писарю и громко, возмущённо прозвенел:

— А-а?!

Любава встала, выпрямилась и спросила:

— Ты пошто, Михайла Василич, эдак-то шутишь?..

— Шутишь?! — сердито крикнул писарь.

— Какие тут шутки! — тихо, но глубоко вздохнул старшина, и стал помогать Любаве подкладывать в костёр щепки.

Тырлыкан часто заморгал глазами и, круто поворачиваясь на одном месте то к писарю лицом, то к Любаве, всё сердитее взвизгивал:

— А-а?!

Любава вдруг набросилась на него:

— А да а!.. Только ты и смыслишь!.. Намотал там, наплёл чего-то, да теперь акаешь, дурак!.. Молчи уж лучше!

И Тырлыкан замолк с оттопыренной трясущейся нижней губой, с моргающими красными, без ресниц, глазами.

А Любава урезонивала писаря:

— Да нет уж, ты, Михайла Василич... И ты, Иван Филатыч... Уж вы повремените!.. Я сама всё хорошень узнаю. Што он тут смыслит?.. Это кто-нибудь его просто обсуюзил!.. — и она вдруг угрожающе повысила голос:

— Я сама всё разберу!.. Я и к становому, и к самому крестьянскому поеду!.. Тут подвох какой-то, верьте Богу, подвох!

— Ну, об этом мы потом поговорим... Давай-ка, покорми скорее нас! — вдруг оборвал её писарь, и Любава, встретив его насмешливый и хитрый взгляд, завешенный рыжими бровями, опять подумала, что писарь пошутил, и с облегчённым сердцем стала суетиться возле пылавшего костра.

VIII

Всё горячей и веселей смотрело с неба солнце, всё гомонливее неслись ручьи, и меньше оставалось снежных пятен на горах. Распутица крепко посадила старшину и писаря в ауле.

Рано, чуть заря, пробуждался и выходил из юрты Иван Филатыч. Не спалось ему в бодрое и свежее, зовущее к хозяйственным заботам утро. Всё ярче и настойчивее вспоминалась пашня, прилепившаяся в отлогих увалах близ села.

Чуть заря — он быстро встаёт, вспомнит, что весна идёт, что на дворе свежее, чище воздух, а возле сруба пахнет свежей лиственной смолой, и, быстро натянув зипун, идёт к постройке. Долго смотрит на тяжёлые и гладкие брёвна, щупает пазы — хозяйственно ли сделано, — поглядит на склоны гор, на далёкую румяную зарю, и позавидует.

«Эка благодать тут скотине-то ходить! Летом большетравие, в лесу прохлада, а на белках и вовсе, поди, ни комара, ни мухи. Только соли надо здесь скотине припасать. А то трава пресная, пить с неё не позывает...»

Думает так старшина, и потихоньку бродит возле сруба, косясь на всё ещё непримиримых, злых собак.

Потом пойдёт на берег реки, которая уже шумит, проламывая большие тёмно-синие окошки во льду.

— Куда тут сунешься!? — говорит с собой старшина и мысленно сетует на свою старшинскую обязанность.

Но то, что праздник не придётся встретить дома, беспокоило его, толкало к размышлениям, как бы поскорее выбраться отсюда; а рядом с этим беспокойством вспоминалось детство, когда после длительных и постных семи недель вместе с первыми подснежными цветками приходили вкусная говядина, и шаньги, и яички, для которых сами же они, малые ребятки, бегали на сопки рвать синенькие ветреницы: хорошо ими яички красить.

И не говядина, не шаньги, не яички, а эти самые цветки тогда особенно всех веселили. Местами можно было уж и босиком бегать, местами можно было уже накопать и кандыку, а главное — под солнышком да и на пригретом сухом увале хорошо было побегать босиком, в одних рубахах.

— У-ух-ты! Смех, да и только! — бормочет старшина, и в длинную, большую бороду с лица его сбегает, прячется широкая усмешка.

Долго бродит он по берегу реки, пока позади его, в ауле, не раздастся весёлый, глухой стук топоров. Оглянувшись, старшина видит над аулами столб кудрявого дыма и идёт покалякать с плотниками.

Сядет на бревно и смотрит, как ловко плотник гонит длинную и ровную щепу; слушает, как сильно и отрывисто он крикает при этом, точно воздух из себя выбрасывает комьями.

Любавин голос уже звенит то тут, то там, и мокрое старческое покашливание Тырлыкана слышится из юрты, и короткие, приглушённые тяжестью гор нотки пастушьих окриков, и мычание коров, удаляющихся от аула. И уж потом заметит старшина, что из-за горы светлым и горячим глазом в ущелье заглядывает солнышко.

На третье утро, после восхода, он поспешно прошёл в юрту и с ласковым упрёком протянул:

— Ну-ко, Михайла Василич, поднимайся... Будем новый день без дела коротать... А-ах ты, хлопота! Застряли мы тут с тобой, а весна к воротам пришла, ждать не будет. Недаром говорится, што в день весной упустишь, то годом не воротишь...

Писарь потянулся под овечьей шкурой, перевернулся на спину и, позёвывая, сказал:

— Ну и стужа, язви их тут... Как они спят?! А тут ещё какие-то животные по телу ползают...

Он сел, накинул шубу на плечи, как бы не замечая Тырлыкана, посмотрел на пышную фигуру Любавы, возившуюся с тестом возле сковородки, и сказал:

— Хотел я ночес к тебе, Захаровна, под одеяло лезть, погреться. Не дай Бог, как околел!

Любава обернулась, и светлые большие глаза её встретились со степенным взглядом старшины.

— Я, мотри, с ножом сплю! — оскалив зубы, пригрозила она и испытующе взглянула на Тырлыкана, кряхтевшего возле костра.

— С ножо-ом? — недоверчиво протянул Иван Филатыч. — Пошто с ножом-то?..

— Для всякого случаю... — назидательно ответила Любава.

— Хо-хо!.. Нож у неё для Тырлыкана припасён, — сказал писарь и, вставляя в зубы сигарку, хитро прищурился на Тырлыкана, который как будто и не слышал слов писаря. — Эко добро зря пропадает! — кивнул писарь в сторону Любавы. — Гляди, хоть на картину срисовывай.

— Не подъезжай-ка! — огрызнулась Любава, но глаза её с каким-то острым любопытством задержались на усатом, коренастом писаре. — Давай-ка умывайся, да чаевать начнём: сейчас лепёшку испеку. Иван Филатыч-то давно, поди, проголодался.

Иван Филатыч ещё раз пристально взглянул на Любаву и сказал:

— И правда што: не завидна же твоя судьба, Захаровна.

— Пошто это? — почти обиделась Любава.

— Али ничего, привыкла? — спохватился старшина.

Тырлыкан лениво потянулся к араке.

На сковороде шипело и распространяло дразнящий запах коровье масло под лепёшкой.

Любава спрятала улыбку и украдкой поглядела на писаря, который, подсаживаясь к низкому столу, будто невзначай оперся на её колено.

И вдруг Тырлыкан сердито закричал на писаря:

— Пошто домой не уезжаешь?.. Пошто долго в гостях живёшь?

Писарь презрительно взглянул на Тырлыкана, усмехнулся и, принимая от Любавы чашку, спокойно заявил:

— Погоди, сперва дай дело сделать!..

— Какое дело?!

Писарь вдруг рассвирепел:

— Чего прикидываешься дураком-то? Шутя я тебе зимой повестку привозил?! Почему не уплатил вовремя?.. Сейчас захочу — и опишу весь скот, продам вот старшине за две сотни!.. Ну?!

Тырлыкан не выдержал пристального, злого взгляда писаря и отвернулся.

— Ну будет вам шуметь-то!.. — умиротворяюще заговорила Любава. — Пей с лепёшкой-то, Михайла Василич! В маслице-то вот макай... Иван Филатыч, а тебя не знаю чем и потчевать, не обессудь уж Бога ради!.. Вот, Бог велит, весной избу новую отстроим, всё будет у меня, как следно быть... Теперь вот только бы промаяться...

Потом она повысила голос и обратилась к Тырлыкану, как к глухому:

— Никакого у тебя обхожденья нет с людьми!..

Она помолчала, глотнула с блюдечка чаю и снова громко закричала:

— А вот возьмусь сама за дело — и никакого взыску не будет. Поеду вот налицо к самому крестьянскому... К исправнику заявлюсь...

Но Любава видела, как ядовито усмехался писарь, ошупывая острыми синими глазами обветрившееся, но свежее лицо Любавы и всю её крупитчатую, полную фигуру.

И, как бы что-то сообразив, писарь мягче, чем всегда, говорил:

— Если сама поедешь хлопотать, пожалуй, дело выгорит.

А описать мы всё-таки обязаны... Не зря же мы сюда заехали, — добавил он, и под нависшими бровями его снова замелькали огоньки лукавства.

Любава вдруг переменяла тон:

— Ну уж не ломайся, Михайло Василич!.. Без подарку, понятное дело, тебя не отпустим...

— А это будет видно... — загадочно улыбнулся писарь. — А поехать тебе надо. Вот теперь же с нами и поедем.

Тырлыкан круто повернулся на своём месте:

— Я тоже буду поехать! — вдруг заверещал он, как бы учуяв что-то неладное в совете писаря.

Любава глянула на него долгим волчьим взглядом.

— И-их, кикимора!.. — бросила она сквозь зубы и громко прибавила:

— Так вот там тебя и послушают!

— Тебя пошто послушают? — затряс головой Тырлыкан.

— А вот и послушают!.. — твёрдо сказала Любава и шумно опрокинула на блюдце чашку.

— Я буду ехать! — упрямо повторил Тырлыкан.

— А мне горя мало, поезжай! — ответила Любава вялым голосом и, увидев в дверях Сапыргая, сердито закричала на него, как бы срывая на нём всю досаду:

— Чего свет-то загородил? Иди зови плотников чай пить!..

IX

Всю ночь под праздник старшина не мог уснуть, и под шумный говор реки ворочался и раздумывал разное, никогда раньше не приходившее в голову.

То ему хотелось угадать, куда пойдёт душа Тырлыкана, когда он умрёт. «Неужели в рай пустят? Да и в ад будто не за что. Он никого не обижает, а его всякий может избидеть».

Потом он мысленно сердился на писаря за то, что тот завёз его в распутицу в такое место, откуда к празднику домой нельзя было попасть. «А сам день и ночь лежит в юрте, с бабой перемигивается, прости Господи!..»

То вспоминал вдруг своё давнишнее, когда был женихом теперь поблекшей Аграфены. «Тоже девка была мягкая», — тайно улыбнулся сам себе Иван Филатыч, и тут же спохватился:

«В этакую ночь да такие помыслы!..».

— О Господи, прости!.. — кряхтел он и не мог уснуть.

В юрту доносился отдалённый шум всё прибывавшей реки, а возле близко слышалось сонное посвистывание свернувшегося под порогом Сапыргая и тяжёлое храпение Тырлыкана, который нет-нет и отрыгнёт во сне. Писарь ворочается: должно быть, беспокоят блохи... Любавы не слышать.

— Захаровна, ты спишь?

— Нет, Иван Филатыч... А чего тебе?

Старшина помолчал и ответил:

— Теперь, поди, в селе-то к заутрене давно ударили.

Любава повернулась на лежанке, вслух зевнула и сказала:

— Я вставать же скоро буду. Не знаю, што бы для праздничка состряпать... Ведь горе: ни посудинки, ни удобьница... Лежу вот да и думаю: кабы вас с Михайлой Василичем не было, завьлась бы я завтра!.. Так волком и провьла бы весь день. Всю жисть вот так! Дома тоже свету не видала. Праздник-то сидишь, бывало, на заимке да воешь...

— Воем не пособишь! — сказал Иван Филатыч. — Сама свою судьбу нашла...

— Спите вы, пожалуйста! — рявкнул писарь, а от этого проснулся и закашлял Тырлыкан.

Старшина затих и загляделся в верх юрты, где сквозь дымовое отверстие виднелась яркая, далёкая звезда. Что-то далёкое и непонятное метнулось в думах старшины и исчезло вместе с глубоким вздохом смутного недоумения.

Опять какой-то отрывочек из детства промелькнул в воспоминаниях: когда-то маленький лежал на гумне и этак же глядел на звёзды и недоумевал: «Какой такой есть Бог?..»

Потом звезда стала бледнеть и угасать, а сквозь щель двери просачивалась полоска от зари.

Иван Филатыч закрылся с головой зипуном и крепко захрапел.

А когда проснулся, был яркий и тёплый день, такой же скучный и бездельный, как и все дни, прожитые здесь нехотя и подневольно.

Перед завтраком Иван Филатыч хотел было похристосоваться с писарем и с Любовой, но, вспомнив, что и Тырлыкан крещёный, как-то застыдился своего желанья и нахмурился... А писарь зло вышучивал Любаву:

— Хоть ты и сердисься на Сапыргайку, а, вижу я, тебе без него не прожить... Хорошо ему тут живётся, я гляжу...

— А тебе завидно — дак ты поступай на его должность!.. — лукаво засмеялась Любава. — Будешь мне воду носить да спать под порогом.

Писарь прикусил усы, сверкнул глазами и промолчал.

Любава вдруг обмякла, будто испугалась, что неласково ответила.

— А ты, я вижу, уж и рассердился!.. И пошутить нельзя... Кушай с оладушками-то!.. Не обесудь — какие есть...

Тоскливо почему-то стало вдруг Ивану Филатычу. Он встал из-за столика, перекрестился на восток и вышел из юрты.

Потом поднялся на ближайший холм, глянул вдаль, на пегие, горбатые горы и синие, глубокие овраги, и долго так

стоял в раздумье. Потом, увидев Тырлыкановых коров, начал было их считать, но не досчитал и бросил.

Забота о семье, о доме, о надвигающейся пахоте перебила его счёт, и он, бродя по сопкам, не знал, как скоротать длинный, ничем не напоминающий о Пасхе день.

Спустился на берег бушующей реки, которая большими, зыбкими, мутно-зелёными волнами заплёскивала каменные берега, рвала прибрежные деревья, в мелкое серебро дробила остатки бирюзовых льдин. И неслась вперёд, могучая и властная, раскованная от холодных льдов зимы и безрассудно мчавшаяся в слепое и неведомое далёко.

«Н-да... Всякому до себя... — трудили думы голову Ивана Филатыча. — И у меня вон тоже девка не пристроена... Бог знает, какая судьба ей на роду написана... Жисть... она не милует... Как тут судить других, когда свой грех, быть может, у порога».

И только тут понял Иван Филатыч, почему не сидится ему в юрте: чует он, что лишний там, как лишний и старый Тырлыкан. Оба они мешают писарю с Любовью. Видать, что между ними завязалось что-то такое, от чего другим надо бежать...

Он решил сейчас же уезжать отсюда.

«Ежели домой не попаду, где-нибудь на заимках поживу... Всё не на одном месте дураком сидеть...»

И поспешной походкой направился к аулу. Но, приближаясь, издали услышал смешанный бранчливый крик, в котором непрерывной нотой звенел озлобленный голос Любовы.

Возле юрты Тырлыкана толпились пастушьи бабы и ребята, и лица их были испуганны и хмуры...

Иван Филатыч распахнул дверь юрты.

Тырлыкан, пошатываясь и часто моргая заспанными глазами, стоял с винтовкой в руках против Любовы и сипел:

— Айда домой!.. Ступай!.. Ты мне не надо, ступай!..

— Не боюсь я тебя! Стреляй!.. Убей!.. Стреляй! — звенела Любава и толкалась грудью в дуло винтовки, которую Тырлыкан отдёргивал в сторону.

У порога юрты стоял испуганный и бледный Сапыргай, а писарь сидел на корточках поодаль от Любовы и спокойно ухмылялся про себя.

Но Тырлыкан, увидев старшину, сам отдал ему ружьё и плаксивым, тонким голосом залепетал:

— Айда, бери меня каталажка!.. Хозяйка-то я стрелять хотел.

— Чего тут у вас? — хмуро спросил старшина у писаря.

Но ему ответил Тырлыкан:

— Я напил араку да спал... Проснулся да гляжу: она ему месте лежит...

— Врёт он всё!.. — неожиданно заплакала Любава. — Как перед Господом, перед тобой, Иван Филатыч: как была девка, девка и сейчас... А только што действительно, ежели захочу собой распорядиться, нет ему дела до того!.. Надоело мне младеном быть.

Но Иван Филатыч не хотел слушать Любаву, и снова обратился к писарю:

— Ты пошто это, Михайла Василич, эдак-то неладно поступаешь? Как-никак ведь он дому хозяин... А ты тут грех заводишь... Просто, скажем, даже стыд!..

Писарь встал с места и злобно поглядел на старшину.

— Не лезь-ка ты, Иван Филатыч, не в своё дело!

А потом расхохотался и шагнул из юрты.

Иван Филатыч вышел вслед за ним и, вызвав за собой Сапыргая, потихоньку приказал ему: — Иди-ко, поскорее оседлай мне мою лошадь, — и поглядел на высоко поднявшееся солнышко.

Увидев, что Иван Филатыч собирается, Любава быстро нарядилась в новый сарафан, надела плисовый, недавно сшитый халат, подпоясала его по-мужицки зелёной опояской, голову покрыла красной шалью и, взяв в руки узду и плеть, строго сказала, ни к кому не обращаясь:

— Ну вот, я готова! — И велела Сапыргаю оседлать ей иноходца.

Тырлыкан волчком закрутился на одном месте, зашпешил, вытащил из юрты тяжёлое, кованное в серебро седло, заковылял во двор, где стояли лошади, и визгливо стал кричать там на Сапыргая, чтобы тот седлал коня сперва ему, а не Любаве.

Писарь смотрел на суетливые сборы и беготню Любавы, и сердито спросил у неё:

— Ты совсем, што ли, отсюда?..

Любава вдруг остановилась, мешкая с ответом и как бы спрашивая об этом у самой себя.

Потом досадливо ответила:

— А дьявол меня знает!.. Может, и совсем!

Она отбежала к лошади и оттуда громко и насмешливо спросила писаря:

— А ты описывать, што ли, останешься?..

Но писарь не ответил ей и молча, с ехидной усмешкой собственноручно седлал себе коня.

Х

Солнце повернуло с полудня, когда все четверо отправились по узенькой и скользкой тропке, по крутому косогору над рекой.

Впереди всех ехала Любава, за ней писарь, потом Иван Филатыч, и последним — Тырлыканыч.

Отъезжая от аула и оглядываясь, Любава долго видела провожавшего их Сапыргая. Он шёл за ними следом и на смуглом и сухом лице его так и осталось недоумение.

«Поди, глазам своим не верит, что я уезжаю», — подумала Любава и впереди себя увидела Барбоску.

Потряхивая большими лохмами ещё не вылинявшей грязной шерсти, Барбоска был забавен, и Любава усмехнулась: «Ишь, приданое-то моё не отстаёт!» — и вспомнила, что, если бросит Тырлыканыча, у неё кроме этой привязавшейся собаки никого и ничего не будет.

Тоской и злобой забились в неё душа.

«Докуда же я мыкаться-то буду без пути, без талану?!» — подавленно заныла она и тоскливо оглянулась вокруг.

Сырые, большие горы, кой-где подёрнутые свежей зеленью, и зыбкая, бурливая река внизу, и тёмный лес в оврагах по ту сторону реки, и даже светлое и голубое небо с ярким красным солнцем посредине показались ей постылыми... Будто это они во всём виноваты, будто они загородили ей пути-дороги из этих тесных, сумрачных ущелий и не пускают, не дают ей воли пожить, как хочется.

Впервые в жизни стукнулось ей в голову:

«У других баб хоть и горе там али маета какая, дак хоть в ребятах есть утеха... У зверя, и у того дитёнок есть и муж наибольший... А тут живёшь: ни богу свечка, ни чёрту кочерга... Ишь вон, пёс-то старый увязался», — оглянулась она на Тырлыканыча, но взгляд её встретился с хитрыми глазами писаря, и Любава, отвернувшись, сильно дёрнула поводья иноходца.

— Ну, изжаби те, запинаясь!.. — выругала она ни в чём не повинного коня и, больно ударив его нагайкой, быстро понеслась по крутому, жуткому карнизу над обрывом.

«Всё равно!.. — мелькнуло у неё в сознании. — Чёрт бросит в реку, туда и дорога!..»

И что-то дикое овладело ею, когда саврасый иноходец стрелой перебрасывался через мелкие овраги, камни и трухлявые колодины.

Полы синего халата и подол красного сарафана бойко развевались над седлом, тугие икры плотно прижимались к тёплым бокам саврасого, а упругие ноги стояли твёрдо и уверенно в посеребрённых стременах.

— Нет, врѣшь! — с кем-то спорила Любава. — Ещё не Бог весть какой я перестарок!.. Врѣшь!..

Саврасый часто перебирал ногами, осыпал в пропасть мелкие камни и кое-где скользил копытами по обнажённым корням лиственниц.

По временам Любава оборачивалась в седле и видела, что писарь тоже гонит свою лошадь, но заметно отстаёт, когда тропа идёт в опасном месте...

Иноходец нёс лихим, баюкающим ходом, хотя Любаве и казалось, что он обленился, зажирел.

Настѣгивая его нагайкой, Любава звонко кричала:

— Ну-у-ка, бо-оро-ов!

Скоро узкая тропинка сорвалась с утѣса на лужайку, а на лужайке раздвоилась: одна тропа пошла по берегу, другая же нырнула в реку и чёрной, узенькой змейкой выползла на другой берег.

Любава осадилла лошадь и оправила растрѣпанные волосы.

Река, через которую здесь летом перебродят овцы, теперь взыграла, и ревмя ревела на всё глубокое ущелье.

— Кабы хоть лодка! — думает Любава. — Берега тут отлогие, с кустами, хоть и снесёт, — пойматься есть за што...

И так ей захотелось перебраться через реку, попасть в село, поговорить с подружками, побыть на народе, русский обиход увидеть...

— Неужто всплывёт лошадь? — бормочет она, помышляя об отважной переправе. — Ежели всплывёт — вымокну, простыну...

Сзади послышался топот лошади, и писарь ещё издали кричал:

— Ты не вздумай здесь брести!..

— А пошто и не брести? — задорно отозвалась Любава.

— Попробуй!..

— И попробую!..

— Теперь, смотри, она по дну-то камни гонит. Измелет за милую душу...

— А давай вместе побредём! — с каким-то озорством потребовала вдруг Любава.

Писарь пытливо поглядел в её большие, смехом и лукавством засверкавшие глаза.

— Слышишь? — настаивала Любава и, высвобождая ноги из стремян, невзначай обнажила розовое колено.

Писарь молча и нерешительно глядел в её зардевшееся круглое лицо и не знал, что ответить.

— Смотри, вон едут! — ткнула она плетью в сторону отставших. — Ну?..

И тронулась к реке.

— Любава! — вдруг позвал писарь каким-то прыгающим голосом.

Но Любаву обуяло дикое, непреодолимое упрямство.

— Ну, писарь, пропаду — молись за упокой!.. Господи, благослови!

И зауросившего на берегу коня Любава со всего плеча ударила нагайкой.

Иноходец прыгнул в воду, и веер брызг обдал Любаву с ног до головы. Волны хлестнули в грудь коня, и он остановился, порываясь назад, но Любава вновь ударила его нагайкой и громко закричала, поднимая ноги от воды.

— Эй, писарь!.. Кланяйся домашним!..

Но писарь бросился за ней вслед.

Заревела, закипела вода у самых сёдел, и обе лошади, настигая одна другую, зафыркали и всё глубже и глубже погружались в ледяную воду, плавно закачались на волнах.

— У-у!.. Сту-дёно-о!.. — хватаясь за гриву и растягиваясь возле лошади, взвизгнула Любава.

И берег перед ней быстро-быстро побежал назад, мелькая серыми камнями и кустарником. Но вскоре же копыто иноходца чётко стукнулось о камень, и Любава повисла на гриве у крутого берега.

И, вместо того, чтобы выбираться на берег, Любава стояла по колено в воде и громко хохотала.

— Да это... не жаба ли... меня погнала!.. Да гляди-ка ты, какая я лягушка стала!.. Господи-и!.. А ты-то, глянь-ка на себя!..

Но писарь злобно прикусил усы, схватил её за опояску и поволок на берег.

С них струями текла вода, лошади дрожали и, тяжело дыша, отряхивались, а Любава, вымокшая до груди, стояла на камнях и не могла передохнуть от смеха.

Но вот за шумом реки она услышала знакомый крик и оглянулась.

На том берегу, размахивая руками, кричал Тырлыкан, а рядом с ним, в чём-то убеждая его, неодобрительно качал головой старшина.

Но Тырлыкан ещё сильнее замахал руками и начал бить коня, посылая его в воду вслед за переплывшими...

Любава замерла на месте и, перестав смеяться, лепетала:

— Матушки!.. Богородица!.. Да не сдурел ли он?.. Эй!.. Глубоко! Не броди-и!.. — закричала она Тырлыкану.

Но Тырлыкан уже побрёл.

И только он добрёл до глубины, лошадь его запнулась, упала, но, поднимаясь, бешено взвилась на дыбы и всем корпусом винтообразно повернулась назад, к берегу. И в пене мутных волн Любава не заметила, куда девался Тырлыкан.

Она только увидела, как лошадь его выпрыгнула на берег и, встряхиваясь на бегу и наступая на повод, лихо помчалась обратно по тропе.

А старшина Иван Филатыч побежал было вдоль берега вниз по течению, что-то крича и беспомощно размахивая руками...

Любава затряслась от охватившего её озноба и, выжимая перемокшую одежду, вспрыгнула на лошадь и без дороги кинулась вниз по реке. Но писарь догнал её, схватил за повод иноходца и закричал:

— Ну перестань блажить-то!.. Теперь уж поздно, не спасёшь!..

И долго ещё стояли они у реки, не произнося больше ни слова и напряжённо прислушиваясь к неизменному и несмолкаемому шуму равнодушной ко всему реки.

О чём-то им кричал Иван Филатыч, но они не расслышали, и он, махнув рукой, свернул на ту дорожку, которая идёт вдоль берега к русским заимкам.

— Ну не околевать же и нам тут! — наконец строго сказал писарь. — Надо погонять: на езде скорей согреемся...

Любава впереди себя опять увидела Барбоску с мокрой, приглаженной шерстью, отчего он показался тощим и костистым.

Солнце склонялось к западу, когда вдали Любава разглядела дымок в знакомой одинокой пасеке.

Писарь настёгивал отощавшего коня, чтобы скорее добраться до жилья.

XI

Шустрый, суетливый старичок, хозяин пасеки, Онисим Миневич, в новых насмолённых броднях, с ножиком в больших ножнах на поясе, в длинном белом балахоне и кошмоной шапке пирожком, стоял возле открытого омшаника, когда у городьбы остановились писарь и Любава.

Он пытливо и долго глядел на приехавших, как бы не веря, что кто-то мог приехать к нему в эту глушь и в это время, но, узнав писаря, поспешно отворил жердяные скрипучие ворота и скороговоркой залепетал:

— Здорово ты живёшь, Михайла Василич!.. Здорово... Давайте-ка слезайте да бегите в избушку... Там печка топится... Это где-то вас Господь-от выкупал! Давай-ка, мила дочь, лошадь-то мне, я расседлаю... Беги, беги, сушись скорейча!.. Да ты, никак, Захарова дочка?.. Не ты ли за Тырлыкнку-то ушла... Ишь, Господь-от попустил какую участь для тебя...

Любава одеревенелыми ногами, в облипшей и связавшей всю её одежду, кое-как зашла в избушку, и сразу стала всё снимать с себя и развешивать возле огня.

Писарь снял бешмет и тужурку, и сел к огню плечом в плечо с Любовой.

Как бы не замечая писаря и молча хмурясь, Любава сидела в одной рубахе из домашнего сурового холста и слегка дрожала, лязгая зубами.

Онисим Миневич был уже в избушке и, звеня чёрным котелком, болтал:

— Вот так, вот так, мила дочь!.. Какой тут стыд? Здоровье-то дороже... А я вот сейчас для вас и ужин сгоношу. Мясо у меня есть. Мяса привёз... И праздничек пришлось не дома встретить... Дня три уж как приехал. Забота, пчёлки заботят, ровно детки малые... Выставлять-то ещё рано, а забота не даёт покою... Господь их знает, как перезимовали. Сегодня вот, благословясь для праздничка Господня, открыл подвал, вошёл — теплынь, спаси их Бог! За зиму-то надышали. Ну, слава Богу, думаю, живы. Приложил ухо к той, к другой колодке — гудут... Только в двух колодочках мёртво...

Старик печально сморщил лоб и жалостливо повторил:

— Мёртво... Послушал — молчат, и колодочка студёная. Умерли. И, видать, давно умерли, — должно быть, с осени, потому — ульи тяжёлые, запас в них должен быть... И что за причина — Бог их знает!.. Кабы от холода, дак все бы умерли. Ужо вот погляжу, открою: что за причина? А вы тут доглядите за варевом-то, чтобы жирок не сплыл. Пойду, заботят меня пчёлки...

И, уходя от печки, Онисим Миневич игриво шлёпнул по обнажённому плечу Любаву и с мелким смешком проговорил:

— Ишь, какая гладкая досталась калмыку, да ещё старому, суди его Господь!.. Хе-хе... Ну согревайтесь, согревайтесь!.. Да доглядите за мясцом-то... А я пока за солнышко ещё обслужаю с десяточек...

Старик старательно захлопнул за собой дверь, и в маленькой избушке стало вдруг темно, как ночью. Только свет от огня в печи играл на розовых плечах Любовы и тянул к себе обильный пар с её подсыхавшей рубашки.

Любава для того, чтобы рубашка высохла скорее, то и дело поворачивалась к печке то спиной, то грудью, то боками.

Писарь оглядывал Любаву жадными глазами, и и всё больше свирепел от её упорного молчания. В то же время его тянуло к ней, но не хватало смелости приблизиться, как будто он боялся, что Любава плюнет ему в лицо или ударит по щеке и скажет: «Уйди, я ведь ещё девка!».

Но какой-то зверь крепко обнял писаря, сдвинул его в горячих когтях, вытеснил рассудок и с силой толкнул к Любаве.

— Ты злишься на меня? — глухо спросил он, обхватывая влажное тело Любавы крепкими руками.

Любава, обернувшись, поглядела на него в упор и, отстраняя от груди его руку, зло проговорила:

— На себя я злюсь!.. Загубила человека ни за что — и горя мало!..

Но писарь перебил её, злорадно засмеявшись:

— А-а!.. Чёрт его погнал куда не надо!..

И, медленно слабея в руках писаря, Любава пристально глядела в его помутневшие глаза и спрашивала полушёпотом:

— А как ежели да нас с тобой завинят?

— Никто не завинит... Сам напишу начальству... Да и старшина свидетель...

Писарь говорил поспешно и прерывисто, и всё крепче прижимал к себе Любаву, пока она не выдохнула с бессильной горечью сквозь слёзы:

— А-а, пропади я пропадом!! Туда мне и дорога!

Когда же в задымлённой печке стали догорать дрова и когда вошедший Онисим Минеич начал корить гостей за то, что они сплывили весь жир похлёбки, Любава, надевая высушенное платье, виновато усмехалась и совсем по-новому без умолку болтала, как бы желая болтовнёй заглушить в себе не то боязнь, не то вину, не то, быть может, новый, незнакомый раньше и какой-то пьяный стыд...

Онисим Минеич понял всё по-своему:

— Ишь, язык-то оттаял — заработал... А я вот медку, смотрите-ка, нарезал... — говорил старик, выкладывая из решета старые, потемневшие соты. — Да ведь какая оказия случилась! — оживился он, сокрушённо раскачивая головой. — Открыл я улей и долго дивился: колодка полна мёду, а пчёлы мёртвые. Глядел я, глядел — и стал вырезать осотины. Только дошёл до пяти, и вижу, братец ты мой: там, на низу, весь ход завалили мертвяки, здоровым-то и некуда податься. Кабы лето — они бы выбросили их в очко, и только. А зимой-то некуда, они тут же и здоровые-то замаялись... А пчеле, ей тоже ходу надо, больше она поест, пройдёт вокруг, а вместо себя другую пустит...

А без ходу-то они, слышь, так вокруг, кольцом всю осотину облепили да и умерли... Ведь вот, скажи на милость, какая оказия случилась!.. Ну, давайте похлебаем, что Господь послал, да медком закусим, пчёлок помянем... Чаю у меня не водится, не посудите...

Дед засветил восковой огарок и достал краюшку хлеба.

Но Любаве не пилося, не елось.

Она опять уже сидела молча и исподлобья глядела на писаря, когда тот, обмакивая длинные усы в похлёбку, жадно ел и с деловитой строгостью рассказывал хозяину о только что случившемся несчастье.

— Да кто же это вас погнал в такое время через реку?! — стонал старик. — Как же не утонуть?.. Ах-ах-ах, сердечная головушка, Тырлыканушка! Крещёный ведь он был, царство ему небесное...

— Так ты уж, Онисим Минеич, в случае тебя кто спросит, — наставлял писарь хозяина, — так сказывай, что, дескать, приехали на пасеку чуть живы, мокрые...

— А што видел, то и покажу, Михайла Василич... То и покажу... Ах ты, грех какой, а! — сокрушался дед, и, вдруг повеселев, сказал Любаве:

— Ну а ты теперь молодого женишь на себе!.. Богатая, любовью позарится... Хе-хе...

Любава не ответила... Она услышала, что за дверью повизгивает голодный, передрогший Барбоска, и, собрав косточки, вышла из избушки.

Звёздная ночь висела над горами. Как бы приблизившись вплотную к пасеке, горы глухо шумели, разговаривая с ветром на вершинах и с весенними потоками в ущельях.

Без дум и желаний враждебно оглянувшись Любава вокруг на высокие тёмные стены гор, кинула короткий взгляд на небо, усеянное непонятными блёстками света и, наклоняясь к собаке, почему-то обозлилась на неё:

— На ты, жри-и!.. — и бросила ей кости, а потом, выпрямившись, долго стояла, всматриваясь во тьму ночи, вслушиваясь в её глухие шорохи.

Но, ничего не поняв и не услышав, вспомнила, что где-то бурная река несёт теперь и треплет, бьёт о каменные берега беспомощное тело Тырлыкана... Вспомнила, вздрогнула и вошла в избушку, где сытый и обсохший писарь укладывался спать на нарах.

Любава постояла у порога, помолчала, потом взяла халат и, разостлав его на нарах, улеглась вблизи писаря.

И дедушке Минеичу, когда он погасил огарок, послышалась беспечная усмешка Любавы, когда в темноте она сказала:

— Согреться бы скорее да уснуть!.. Намаюсь, намёрзлась...

ХII

Назавтра, в полдень, когда снова засияло солнце и горы отступили на свои места, а отдохнувший иноходец плавно нёс Любаву по зеленеющим увалам в русское село, писарь еле поспевал за ней на своём Гнедке.

Что-то новое, влекущее увидел он теперь в Любаве, и его чёрствая и хитрая душа обмякла, потеплела, как твёрдая дорожная земля после весеннего дождя.

Стараясь не отставать от неё, он негромко говорил ей, хотя здесь никто не мог услышать:

— Любава!.. Слушай-ка. Ты, язви те, меня приковала, что ли! Прямо силища какая-то — не оторваться мне теперь...

— Растабаривай! — насмешливо протянула Любава. — Приедешь вот домой да за другой увяжешься... Другую девку бабой сделаешь... Бесстыжий!.. И о бабе своей позабыл.

И во взгляде её крупных синих глаз рядом с усмешкой горели укор и стыдливое раскаяние.

— Как я теперь бабе-то твоей в глаза буду глядеть?..

Но писарь продолжал своё:

— Приеду, дела, какие накопились, подгоню — да опять к тебе уеду в гости... Ладно, что ли?

— Опять, поди, описывать за долг приедешь? — подозрительно взглянула на него Любава.

Писарь прищурился и наставительно сказал:

— Ты смотри, как бы Сапыргайка не ввязался в дело да достояние-то у те не отобрал...

— Сапыргайка-а... — вдруг нахмурилась Любава, и в глазах её блеснула хищность.

Она выпрямилась на седле, откинулась назад, высоко подтянув голову иноходца кверху, крепко зажала в руке плетъ и, скосив глаза на писаря, долгим, строгим взглядом посмотрела на него, угадывая, что он ещё хочет...

Писарь так же долг глядел на неё и наконец сказал:

— Ты ссориться со мной, видно, собралась... Не рано ли?..

— А ты, видно, командовать мной захотел? — спросила в свою очередь Любава и, отвернувшись, не стала ждать ответа и пустила иноходца полным ходом.

«Мало ему, что самое взял, дак ещё и к достоянию подбирается... Ишь ты, присосался, дьявол!» — думала она, чувствуя, что лошадь писаря не поспевает за саврасым.

Дорога пошла равниной, та самая, по которой ехала зимой Любава с Тырлыканою, но почему-то в её сердце не было теперь к нему ни жалости, ни злобы; напротив, где-то глубоко в душе неясно копошилось хищное злорадство, как у зверолова, который только что осилил добрую добычу.

Впереди бежал Барбоска, старательно помахивая искривлённым калачом хвоста, на котором смешно тряслись длинные лохмотья скатавшейся и грязной шерсти.

Увидев эту неотвязную и верную, неведомо за что привязавшуюся к ней собаку, Любава снова вспомнила гнавшегося за ней писаря, который мчится за ней, как волк, и где-нибудь настигнет и без стыда, без жалости поймают, изведёт, задавит...

— Господи... Неужто мне и не пожить по-человечьи!.. — простонала она сквозь слёзы. И, как бы в ответ на этот стон, услышала отдалённый трезвон колоколов, неровный, с переборами, но ласковый, как бы скликающий к себе всё затерявшееся где-то далеко, в ущельях, напоминающий о Боге, о грехах людских, об их невысыхающих слезах.

Всё ниже пригибалась в седле Любава, как бы ожидая, что её кто-то вот сейчас ударит, всё сильнее погоняла лошадь. А когда вбежала в грязное, пахучее весеннее село, на неё залаяли собаки, окружили, стали грызть Барбоску, но Любава, ничего не замечая, гнала коня прямо к поповскому двору, а как приехала — упала на луку седла и заголосила, не слезая с лошади.

Сперва выбежал трапезник, потом матушка, а потом и батюшка.

— Что такое?.. Что случилось?..

Любава голосила громко, с непонятными причетами...

Когда же досыта наплакалась и слезла с лошади, вошла, пошатываясь, в горницу, по-мужски помолилась на иконы и, вытерев руками загорелое лицо, хотела было всё по порядку рассказать, но опять заплакала, опять запричитала, долго не умея овладеть собой.

В горницу за ней вскоре же вошёл весь в брызгах грязи писарь. Лицо у него было бледное, в глазах стояла злоба и растерянность.

— Слышали?.. Штука-то какая с нами произошла! — пожимая руку батюшке, говорил он. — Тырлыкан-то утонул ведь...

И, точно боясь, что Любава расскажет что-нибудь не так, он торопливо стал всё по порядку сам рассказывать.

Когда же он кончил, Любава упала в ноги батюшке и снова стала причитать:

— Научи ты меня, батюшка, што же мне-ка теперича делать-то! Штоб имущество-то не отняли... — Там у него племянник Сапыргайка остался, дак... Уж я, батюшка, тебе пару коровушек пригоню... Только не оставь ты меня, не брось...

Долго и испытующе глядел священник на Любаву и на писаря...

Подозрение батюшки передалось трапезнику, а от трапезника в тот же вечер разлилось по селу, как будто в вечернем звоне колоколов он разослал его во все четыре стороны... А на другой день из села пошла худая молва и по другим селениям, донеслась и до родни Любавы... И Любава вскоре же была оплетена косыми, подозрительными взглядами, ехидными усмешками и недомолвками. Все от неё отшатнулись, всем стала она чужая — басурманка незнакомая, разбойница.

Почуяла это Любава, огрызаться стала, пробовала плакать и божиться, но худые вести всё росли и ширились, и делали Любаву одинокой и беспомощной.

А через неделю, последний раз покричав без толку в волости, где важно заседали писарь и Иван Филатыч, распрощалась с ними, с матушкой, оседлала иноходца, позвала Барбоску и отправилась обратно в горы.

Ехала, глядела на лохматого, прихрамывающего Барбоску и ругалась:

— Все, изжаби их в сердце, отвернулись... Всем чужая стала!.. А обирать — дак ни у кого рука не дрогнет!.. И тому отдай лошадь, и тому корову подари... Нет, врёте вы!.. Без вас я справлюсь!.. Знаю я, што сделать, знаю!..

Но о том, что размышляла сделать, вслух даже сама с собой не говорила, а крепко затаила в мыслях: «Добьюсь же я того: оболваню, окрещу я этого Сапыргайку и повенчаюсь с ним... Ничего, што языка не знает, — выучу!».

И, тайно усмехаясь над забавным и покорным молодым алтайцем, который вовсе не похож на старого и дряблого Тырлыкана с красными глазами, Любава снова вспомнила о писаре, снова заругалась вслух:

— А этот-то, изжаби его в сердце, ведь повадится!.. Придёт ведь опять!.. И сама по нём стоскуюсь! Вот дьявол-то связал меня!..

И не то от смеха, не то от злой обиды у неё кривился рот, а рука против воли сильно хлестала иноходца, который чёрнобурой лисой нёсся к тёмным и глухим ущельям, где затерялся серенький аул.

В больших прищуренных глазах Любавы сверкало лезвие какой-то новой, ядовитой хищности, как жало на конце стрелы, пущенной самой судьбой.

Волчья сказка

I

Спокойная и сытая, полная семейного и всяческого лада жизнь в степном имении Барсукова была нарушена незначительным на первый взгляд событием.

Вовка, девятимесячный волчонок, играючи придушил трёх взрослых гусаков и поранил сеттера Ирландца. Краснозолотистый, всегда весёлый и самодовольный хозяйский любимец, поджав своё «перо», два дня кряду не мог выйти без хозяина из комнаты. Это случилось под вечер, а на завтра утром одиннадцатилетний Петя с розовыми от крепкого мороза щеками впопыхах вбежал в дом и впервые в жизни посмотрел в лицо отца недетскими сердитыми глазами.

— Папа, привяжи же своего любимчика. Он сию минуту на Наташу бросился.

— А зачем ты его дразнил? — вразумительно спросил отец, только что следивший за детьми из окна своей рабочей комнаты.

— Я его не дразнил. Я играл с ним... — у Пети даже чуть перекошились тёмно-коричневые глаза от изумления. — Мы же с ним всегда играем. Даже запрягали. А теперь я с ним боюсь даже барахтаться.

А ещё через день рано утром прямо в спальню, когда ещё не были открыты ставни и хозяева не были одеты, вломилась Степанида, пожилая, всегда скромная и молчаливая стряпка, и необычным голосом потребовала:

— Нет! Уж вы меня рассчитайте, Елизавета Алексеевна! Либо уберите его куда хотите... Прямо зверь, как есть зверюга.

Выкормила ворога...

Иннокентий Викторович, надевая сапоги, исподлобья посмотрел на Степаниду, затем на жену, и в эту минуту сравнил фигуру жены с той, которую он видел в фактории Колдобинных. Кажется, Клавдия по имени. У той груди как-то даже вверх и в стороны, точно у девственницы... А у этой всё обвисло, и при всей своей крупищатой красоте как-то скоро она отцвела и опустила...

— Кена! Что же ты молчишь? — спросила между тем Елизавета Алексеевна, обращаясь к мужу с робким укором на глазах. — Иди по крайней мере привяжи его и посмотри, не взбесился ли он? Может натворить Бог знает каких бед!

Барсуков продолжал молчать. С усилием натягивая на тепло обёрнутую ногу голенище сапога, он нахмуренно сопел, и наконец чужими, новыми глазами уколол жену.

— Сейчас! — громко пробасил он и сильно топнул каблучком, чтобы помочь ступне влезть в сапог.

Степанида испугалась этого крика и стука и попятилась из спальни. А Елизавета Алексеевна, надев фланелевую утреннюю кофточку, изумлённо подняла красивые соболями брови.

— Что с тобой, Кена?

В голосе её звучала тихая робость и покорная любовь.

— Да ничего! И неужели нет у тебя лучшей кофты?.. В этой ты похожа на какую-то почтенных лет экономку.

Елизавета Алексеевна вспыхнула.

— А кто тут меня видит?..

— Я вижу! — совсем загрохотал он, быстро уходя в одной рубашке на заднее крыльцо, где он по утрам умывался снегом.

Он наклонился к перилам, на которых ровной пышной полоской лежал снег, набрал в пригоршни лёгкого, рассыпчатого пуха, ловко вытер им руки до локтей, спустился с крыльца, взял снегу прямо из сугроба и, крикнув, начал натирать лицо и шею. Когда покраснело тело и кожу защипал мороз, он пальцем левой руки стал выбирать снег из густой чёрной бороды. Но странное дело: выбирал и всё сердитее смотрел на бороду: приставший снег блеснул слишком подозрительно длинными кристаллами, похожими на паутину. Лучи солнца в глазах преломились, что ли?

— Неужели это... — вдруг остановил он взгляд на кончике загнутой бороды. И сразу целая прядь. — Вот тебе и раз! Седина в бороду...

Он передёрнул от холода плечами, и засыпанные снегом ступени крыльца застонали под его тяжёлыми шагами. Наскоро оделся и поспешил в тёплую, отдельно стоявшую во дворе кухню — для объяснений со Степанидой.

— Ну, что такое он тут сделал?

— А вы поглядите, батюшка, Актентий Викторыч... Поглядите в бельма-то ему: то есть — ни стыда, ни страха у него. Собака — дак та хоть палки боится... А этот всё молчком, и не токмо словом, топором его не устыдишь.

— Да что он сделал?

— Мясо утащил у меня, целую лытку... На пельмени я положила вчера оттаять. Я было кинулась отнять. Дак он на ме-

ня и взбурил остекленные шары свои. Мясо положил, а пасть разинул... Во-о, какая прорва! Прямо ноги отнялись у меня. Так и утащил.

— Куда утащил?

— А уж куда — не знаю. И искать боюсь... Рассчитайте, батюшка, Ацентий Викторыч.

Барсуков лишь улыбнулся ухватке молодого волка и, успокоив Степаниду, пошёл в дом. Ирландец встретил его виноватым поклоном, лениво помахал бахромою рыжего хвоста и лёг под письменный стол. Хозяин удивился, что ирландец не ходил даже на утреннюю прогулку, потрогал нос собаки. Нос был сухой и горячий. Нехорошо. Но во всяком случае в декабре ни волки, ни собаки не бесятся. Всё это бабьи страхи.

— Пустяки, собака! Просто он намял тебе бока и задал жару. Стыдись, — щенку поддалась!

Затем, расчёсывая короткие, но густые вьющиеся волосы, Иннокентий Викторович по привычке с детства встал на молитву, но на иконы не глядел, а глядел в окно через оградку двора на белую, бескрайнюю и бездорожную равнину-степь... Читал «Отче наш», а думал о молодой гостье старого приятеля, и так как не могли прийти в порядок его мысли, он небрежно начал креститься.

— Чёрт принёс её сюда не вовремя! — вслух пробормотал он, прекратив моление.

Потом быстро подошёл к зеркалу, что почти никогда не делал. Долго и внимательно расчёсывал бороду, перебирая и рассматривая волосы и всё лицо, и отошёл от зеркала нахмуренный. Он был высок, могуч, румян и кучеряв, но всё широкое с острою монгольской скулой лицо, короткая окладистая борода, упрямый угловатый лоб, тонкий ястребиный нос и, наконец, весёлые серо-зелёные глаза, — всё это было такой смесью рас, племён и сословий, что стало стыдно за своих предков — кто они такие были: попы, цыгане, ссыльно-каторжные деньгоделы, разбойники с большой дороги или смесь благочестивых староверов с изнасилованными монголками?

— Но седина, оказывается, факт! — сказал он, снова всматриваясь в зеркало.

Действительно, седина оказалась не только в бороде и висках, но и в самой шевелюре. И лицо чуть оспой тронуло. Раньше это было невдомёк.

Опять взглянул через окно в белую широкую волну степи, прищурился и высчитал: да, сорок стукнуло... Вот, чёрт возьми, так тут, в степи, и старость незаметно явится. Нет, дудки-с! надобно спешить.

Вбежавшая из столовой хорошенькая девочка перебила его мысли:

— Папочка! Иди чай пить!..

Иннокентий Викторович посмотрел на девочку особым, строго-пристальным взглядом, и вспомнил юную хорошенькую Лизу. Лет пятнадцать назад на той самой фактории, где на днях увидел эту молодую, не дающую ему покоя женщину, он впервые встретил свою невесту.

Будучи двадцатипятилетним степным полудикарём, он вдруг набрался храбрости и в один день не только объяснился ей в любви, но и влюбил её в себя. А предложение сделал в тот самый момент, когда, усадив её в сани, чтобы прокатить, завязывал у иноходца хвост. И вот пятнадцать лет степной, по-своему красивой, но по-своему и безобразно нудной жизни среди табунов скота и пастухов на вольной, но дикой и пустой равнине...

— Сейчас, Наташенька, иду... — сказал он наконец девочке, чтобы она ушла и дала ему додумать думу до конца.

Пятнадцать лет он был беспечным семьянином. Никаких историй, никаких кутежей не позволял себе, когда случалось бывать в ближайших городах (до больших, далёких не пришлось ещё доехать). Ни на одну бабу, ни на девку не менял он своей жены. А вот теперь в голову лезут глупые, мальчишеские бредни... Но неужели поздно, неужели не к лицу, если по-настоящему влюбился?

Он тяжело прошёлся по полу, хотел опять взглянуть на себя в зеркало, но удержался. Передёрнул плечами, крикнул:

— Неужели поздно?

В это время из двора со стороны кухни донёсся в дом пронзительный крик Степаниды.

Барсуков быстро вышел на большой двор широко застроенной усадьбы и, увидев, что волчонок яростно терзает Степаниду, бросился на зверя прямо с судорожно стиснутыми голыми кулаками.

II

В долгие зимние ночи, когда над неоглядной степной ширью стояла тёмно-голубая мгла мороза, и когда тусклый полумесяц как-то неуверенно нырял в волнах посеребрённых облаков, суровое молчание прятало в себе то грозное и вместе с тем неведомо-таинственное и неумолимое величие, которое на людском наречии зовётся «смерть». Она смотрела со всех степных ширей, давила необъятностью небесной пусто-

ты, сжимала мертвящим холодом всякую живую клеточку и превращала в лёд, останавливала движение воды.

В такие ночи Иннокентий Викторович любил бродить по дворам своей усадьбы, слушать шумное дыхание многочисленных коров и лошадей, шутя пугал задремавших на своих постах дежурных пастухов, прислушивался к глухому гулу тысячеголовых табунов овец, которые от одного громкого кашля все вдруг вскакивали с тёплых мест и широкою, пахучей волной переливались из конца в конец большого тёплого сарая.

В особенности он любил следить за поведением собак. Только ночью можно было изучать их доблесть и отвагу, трусость и подхалимство.

В усадьбе их было много, и все смешанных, безымянных пород. Тут были верные подвижницы из овчарок, чернорабочие дворняги из некогда высокоплеменных волкодавов, выродившиеся борзые, смешанные с гончими полуводолазы, с повисшими ушами полулайки, злые и упрямые якуты, помесь пойнтера с чёрным гордоном — одним словом, тут был всякий вырожденный сброд, и чистокровными из них были лишь двое: красный сеттер Ирландец и Вовка — чисто волчий сын. Самым почётным из любимцев был, конечно, Ирландец, но он не пользовался никакими поблажками, строго содержался по всем правилам охотничье-собачьей дисциплины, ел по особому рецепту, гулял под наблюдением хозяев, спал в комнате и знал, в какие часы надобно совать голову в ошейник с тоненькой цепочкой. Это был культурнейший и благороднейший аристократ, выдержанный, терпеливый, чистоплотный, преданный и нежный.

Вовка был баловень в самом худшем смысле. Ему позволялось и прощалось многое, и считалось бесполезным, даже вредным какое-либо наказание. Для его веселья были разысканы и куплены ровесники-щенки, похожие на волчат, и для всех троих была построена особая конура — красивый домик, который никогда не затворялся, кроме случаев, когда со щенками играли дети.

Когда же выросли щенята и установился санный путь, Барсуков для своих ночных прогулок брал с собой Вовку и Ирландца, и манил всех тех, кто понимал и чувствовал в нём настоящего хозяина. А чувствовали это почти все собаки. Только те не шли за ним, которые в действительности почитали за хозяев пастухов, либо те из прилипших босяков, которые жили при усадьбе в виде бесполезных приживальщиков.

Окружённый этой пёстрою лохматой компанией, Барсуков с восторгом наблюдал, как вся она в эти минуты приходила в

яростное возбуждение: собаки усиленно друг друга обнюхивали, скребли четырьмя лапами снег или землю, часто-часто деловито поднимали ноги на одних и тех же пунктах, одни строгою октавой разговаривали, другие визгливо лаяли, некоторые же обидно и трусливо подвывали... И почти у всех, кроме Ирландца, нарастало острое желание кого-то из товарищей выкинуть из круга, а может быть, и растерзать... Кого — никто по совести не заявлял и не указывал, так как сам хозяин явно был на стороне врага. Враг, конечно, был тут, рядом, среди всей честной компании, на полных собачьих правах, рос и креп, и даже со многими вёл настоящую собачью дружбу.

Может быть, поэтому-то все собаки, точно сговорившись, разбежались на свои посты или в свои конуры тотчас, как только хозяин с Вовкой и Ирландцем уходил от усадьбы далее определённой грани, то есть за огромные оёты сена и соломы, стоявшие в полуверсте от дворов. Иннокентий Викторович так и понимал их: доказав ему свою преданность вплоть до совместного осмотра оётов сена, они предпочитали вернуться, чтобы охранять хозяйское имущество, скот, его людей и семью, но не рисковали продолжать легкомысленное путешествие вглубь ночной и морозной белой пустыни в компании с крайне ненадёжными друзьями.

Барсуков действительно уходил далеко в степь, иногда версты за три, без дороги, по твёрдому, слежавшемуся снегу.

И наблюдал, как самоотверженно сопровождал его Ирландец и как охотно поглощал пространство что-то почуявший своё и вольное волчонок. Он не только убегал вперёд, но явно за собою манил Ирландца и хозяина. Когда же надо было возвращаться, хозяину с трудом удавалось поймать его, чтобы взять на цепочку.

Возвращаясь в усадьбу, Вовка отставал, тянулся на цепочке или рвался в сторону, широко раскрытой пастью хватал снег, приседал на хвост, сверкая в темноте светло-зелёными зрачками глаз. Во всех случаях жизни молчаливый, здесь, в степной глуши, он начинал издавать многозначительные звуки, точно подавал кому-то, притаившемуся в темноте или в снегу, условные зловещие знаки. Барсуков, выросший в степях Монголии и считавший предрассудком всякий страх, тем не менее испытывал особое, коробящее чувство, дразнящее его самого и саму судьбу, иногда слепую, но никогда не случайную.

Незадолго до встречи с той юною степной красавицей, уйдя так же в степь без оружия, он нарвался на целую стаю волков. Они не набросились на него, даже не приблизились, но обложили его с трёх сторон и медленно, но осторожно и

упорно повели на него наступление. Это было тяжкое испытание воли, разума и власти человеческой над зверем. И что же поддержало его веру в жизнь, в Бога? Право мыслить, что ли? Только глубокая и рыцарская преданность Ирландца. Домашний зверь со всей яростью восстал против своих степных собратьев. Он самоотверженно метался в стороны, с редчайшим хладнокровием один бросался в атаку на волков и находил ещё секунды для изъяснения перед хозяином нежных чувств нервным, но красноречивым помахиванием своего «пера»... Его защита была по меньшей степени наивна, даже вредна и вызывающа. Он мог только раздражить волков и послужить для них закуской. Но в его защите была истинно аристократическая красота. Это был жест культурного джентльмена, это было обнажение тонкой шпаги целомудренного пажо одинокой королевы перед рядами взбунтовавшихся вооружённых воинов.

Волков было штук пять, а может быть, и семь. В их спокойном продвижении, в приседаниях на «колена», в правильности окружения и в медленном сокращении круга была некая уверенность и издевательская мучительность. Даже Вовка растерялся и не знал, какую ему принять сторону. Там были явно свои, родные, может быть, отцы и деды, но жуть их окружения передалась ему с такой силой, что он присел на зад и завыл медленным, глубоким воем.

И вот тут-то произошло чудо или пробуждение. Все волки в один миг исчезли в глубине туманной белизны. Барсуков так и не мог понять: было это или не было? Не было ли это наваждением, жутким сном? И только теперь столь неожиданно им обнаруженная седина свидетельствовала, что он в действительности, хотя и пытался объяснить её, когда она пришла, простыми доводами разума: волки были сыты — во-первых, и любопытны — во-вторых, а может быть, содружество волчонка с человеком сбило их с толку, и они как-нибудь по-своему пережили суеверный страх: что за чародей ведёт живого волка?

По-иному, по-своему это событие воспринял Вовка. В глухие, молчаливые ночи, когда собаки с воем и ожесточением лаяли на тишину степи, он чувствовал и грезил совсем по-новому. Там, в глухом морозе ночи, в тишине туманов есть какая-то своя, тайная и могучая жизнь. И надо быть за гранью человеческой и собачьей жизни, по ту сторону испуга, самому пугать — вот о чём шептала ему тишина морозной ночи, и вот от чего всё в этой, здешней, усадебной жизни стало раздражать его и даже казаться страшным и враждебным. Шутки с гусаками, пробная борьба с Ирландцем и дерзкий вызов Степаниде, самой ласковой его кормилице — это толь-

ко проба, только озорная дерзость. За эту самую предательскую ласку недостаточно разорвать платье хитрой и могучей человечихе, недостаточно вырвать и унести у неё кусок мяса. Нет! Вот бы хорошо самого хозяина схватить за горло, чтобы неповадно было всепокоряющими ласками и разными подачками низводить вольного степного князя-зверя до рабского собачьего сословия.

Нужно ли было ждать или искать такого случая, когда ему, по положению друга, были предоставлены такие полномочия, свобода и доверие?

И чьи это мысли? Волчьи или человечьи? Может быть, так и думал Вовка, но теперь за Вовку думал Иннокентий Викторович. Освободив окровавленную Степаниду от скинувшего собачью маску волка, Барсуков держал его за горло и раздумывал: убить или пощадить? Попробовать ещё победную власть человека над зверем или самому стать на минуту зверем для победы?

Ничего нельзя было прочесть в стеклянных, сузившихся и остановившихся на лице хозяина глазах молодого зверя, но сам Барсуков смотрел в волчьи глаза с тем свойственным лишь человеку любопытством, которое граничит с безумием и с высокой степенью великодушия. Наконец мысль его мгновенно раскололась надвое: если та молодая женщина полюбит — волк послушается и повинится, как собака, а если нет — пускай грызёт. И Иннокентий Викторович, ударив волка со всего размаху о землю, выпустил его из рук.

Волк крикнул, зашатался и сразу превратился в жалкого и виноватого Вовку. Даже пополз на брюхе, чего с ним раньше не бывало никогда. Только хвост не выражал покорности и изгибался как-то по-змеиному, а не по-собачьи.

— Ну! Чего вы все тут зазевались? — закричал хозяин на собравшихся вокруг приказчиков и пастухов.

— «Полюбит!» — кричала в нём какая-то своя, большая волчья радость.

Она росла в нём так чудовищно, что он был даже благодарен Вовке за такое испытание, а главное, за то, что искусанную Степаниду надо сейчас же везти в город, а по пути — та самая фактория, где живёт его прекрасная и молодая женщина, ещё чужая, малознакомая, но уже такая близкая. — «Только бы увидеть!»

— «Врёшь — полюбит!» — кричало в нём всё до последней клеточки.

Он теперь не допускал и мысли, что та самая или другая, хоть самая заморская принцесса могла посметь не полюбить его, коль скоро он сам хочет этого. Волки, тигры, сами львы — все силы земные должны покориться силе его чувств и же-

лания — так оно властно и велико. Как же сможет устоять против него такое хрупкое и юное, и неотвратимо влекущее к себе создание — женщина?..

Только надобно спешить к ней, надобно скорей лететь на неё жадным соколиным лётом!..

III

...Кто может сказать, даже из скептиков или благоразумных, что он никогда не был пьян от пьянейшего из вин — любви? Ибо кто из людей может пройти мимо чистого прохладного источника в полуденной зной в пустыне?

И не пустынна ли вся жизнь, когда в ней нет страстей, хотя бы низведённых в степень маленьких и будничных привязанностей к жизни?

Не мудрствуйте же, возводя житейскую мораль в закон, а страсти человеческие — в преступление. Но, осуждая, спросите у безумствующего: отчего он сделался безумным? Не от жажды ли ещё неведомой нам красоты и истины?

...Десятки лет в глухой степи рос, мужал, работал, накапливал богатства Барсуков. Жадно, мимоездом полюбил, второпях женился, был счастливым, нежным мужем и отцом, кое-что прочёл о Божьем мире, о культуре и науке. Кое-куда ездил, кое-кого видел из больших людей, проездом на Восток или с Востока бывших в его доме; кое-что хотел создать в степи своё, особенное, барсуковское. Но во что-нибудь поверить, но на что-то опереться непреложное ещё не мог, и было некогда, и не было уменья. Ан, глядь — жизнь пришла на перевал, и с его высокого хребта вдруг озарилась вся её красота, вся даль, весь неоглядный простор... Но жизнь не ждёт и требует спускаться под гору, снимать доспехи молодости, слагать оружие бойца, когда ещё и сил в бою попробовать не доводилось.

Ну нет! Уж коли так, то ещё раз, хоть наспех, хоть в полубреду, но пережить и повторить былое, а ещё лучше: ждать, выпить чару нового вина! Даже неважно, будут ли его любить. Ему необходимо было только, чтобы ему позволили любить.

А не позволят — он полюбит сам, без позволения.

И чем труднее, чем запутанней были пути к тому, что в мыслях называл он вздором, — тем решительнее были его действия для достижения этого вздора.

Не умел в словах лукавить, не хотел скрывать поступков — сразу, как вошёл в дом своего соседа, как заговорил, как по-

глядел в её глаза — так и выложил всё со всюю широтой своей степной души.

Твёрдо понял, что Клавдия только называется племянницей Колдобина, что сам Колдобин стар и слаб, и жениться на молоденькой ему не к лицу: у самого взрослая дочь в Петербурге учится. Да и сама Клавдия не захотела бы называться ни женою, ни любовницей старика. И поэтому Иннокентий Викторович повёл беседу прямо, будто верил, что она и в самом деле Колдобину племянница; что в степи тоскливо, особенно такой прекрасной девушке, да ещё в зимнее время, когда хочется согреться около какого-нибудь разудалого богатыря.

Чем больше говорил, тем больше молодая женщина краснела, тем больше нервничал Колдобин, тем слаще и взволнованнее переливалась кровь и нарастали сила и желание в двух сердцах.

А хозяйское гостеприимство, угощенье, ласка и заботы шли своим порядком, как полагается у всех людей, давно не видевших чужого человека. Клавдия пеняла гостю, почему в передний путь, когда вёз в город Степаниду, даже не разделся, не остался пообедать? Не сказал ей, но поняла по взгляду, что он заехал лишь для того, чтобы крикнуть для неё, стоявшей на крыльце в собольей шубке — в той самой, которой соблазнил её старик, — наскоро накинутой на плечи:

— На обратном пути отгощу как следует!

И вот отгащивал. Расположился. Кучеру велел лошадей выставить до утра, а утром накормить досыта и лишь потом перековать передние ноги у всей тройки.

До дома сто тридцать вёрст, и дома не был более недели, а сам не торопился. Поняла девица-женщина. Испуг и радость жгли и холодили щёки. То сожмётся вся, то примолкнет, побледнеет, то расцветёт, распушит лепестки и слов, и думок,

и улыбок — тёмно-серые глаза станут глубокими, в них вспыхнут смелость и безумие. Действительно, не жалко жизнь отдать за эти её вспышки-перемены, за эту ласковую или наглую её улыбку, за упругий голос, который, как бичом, стегнёт по Колдобину и, как стрелою жгучей, сладко взглядом ранит Барсукова.

Низкой нотой непокорной степной пленницы она промолвила:

— А вот весны подожду — может быть, крылья вырастут, — вздымусь и улечу отсюда.

Кто она такая и откуда появилась на границе Монголии?

В двух-трёх словах всю её жизнь прочёл Барсуков.

С донских степей приехала в Сибирь судьбу пытаться. На Томские высшие курсы поступила, а потом вдруг снялась, в

Монголию направилась. На земской квартире познакомилась с Колдобиним, по сподручности подъехала с ним на хорошем возке. Захотелось дальше ехать... На край света — витязя искать.

— Вот и поехала...

— А раз поехала — поедем дальше! С пересадкой! — не спросил, а приказал Иннокентий Викторович.

Он чувствовал, как вырастала в нём и власть над ней, и сила, и как он становился с каждой минутой и моложе, и красивее.

Зубы же её засверкали синим лунным снегом из-под розовых припухлых губ, а вокруг губ и носа разлилась вдруг нежно-матовая бледность. Тёмными стали глаза, и засверкали в них огонь и слёзы, и решимость — полёт острой стали.

Без объяснений друг друга поняли, и оба осмелели в шутках и во взглядах, и в словах. А Колдобин растерялся, поглупел, посмеивался, растерял слова и грыз подстриженные желтоватые усы. Лишь изредка украдкой сверлил глазами Клавдию, но не осмеливался прямо смотреть на Барсукова.

А тот внезапно решил ехать домой на ночь глядя. Колдобин с радости стал уговаривать его остаться, так как на степи поднималась метель.

Но Барсуков был непреклонен. Вскоре кучер подал ему лошадей. Клавдия оделась потеплее: енотовые ботинки, а сверх соболей фланелевую шаль одела, и со странной весёлостью пошла с Колдобиним проводить гостя.

— Хотите посмотреть, как у меня новый иноходец ходит в тройке? — спросил Барсуков, просто обращаясь к Колдобину.

— Я хочу! — ответила Клавдия. И первая скользнула под медвежью полость. Колдобин стоял на крыльце и растерянно смеялся.

А Барсуков сел с Клавдией и плотно, накрепко притиснул её в угол кошевы. И уже не захотелось выпускать её ни за какие блага.

Отъехали из виду, Барсуков остановил лошадей и спросил у Клавдии неровным, прыгающим голосом:

— Ну как? Довольно или дальше?

— И дальше, и скорее! — сказала Клавдия чуть слышно и, закрыв глаза, глубоко вздохнула, покорно улыбнулась и откинулась на спинку кошевы.

Барсуков в кошеве стал на ноги, взял вожжи из рук кучера и гикнул на коней. Монгол-кучер покачнулся на облучке и, упав в кошеву, визгливо засмеялся. Иноходец, разгребая рыхлый снег мохнатыми короткими ногами, полетел под взмахи пристяжных, как на крыльях, и снежная метель засвистела в

уши женщины какую-то свою, не то печальную, не то радостную песню.

Иннокентий Викторович сунул в руки кучеру вожжи, упал на дно кошевы, закрылся полостью и, обхватив Клавдию огромными, закутанными в волчью доху руками, впился губами в её пылающий рот и захлебнулся новым, неизведанным, таким бездонным, таким прекрасно-совершенным счастьем, какое ведомо только неистово влюблённым людям или какое длится только миг, но незабвенно и неповторяемо.

Сколько они ехали, обласканные белоснежной вьюгой? Всего лишь один миг, а может быть, целую вечность. Горяч был белый снег, светла и тепла была зимняя ночь. И ничем не оскорблена была их упоённая молчанием любовь — ни одной мыслью об опасности или стыде, ни одним словом о расплате.

Безумными и пьяными в своей любви, забывшими о том, кто они и где находятся, и куда едут, привёз их кучер в знакомый монгольский аул. Вышел из кошевы Барсуков, и вышла молодая женщина. Давно уже был белый день, ослепительно солнечный и морозный. Взглянули друг другу в лицо и протрезвились.

— Куда мы теперь? — спросила она робко, и в этой робости увидел он её лицо, по-новому прекрасное в покорности и ласковой доверчивости, и снова впал в безумие.

— Ко мне в усадьбу! Навсегда! Навек!

Её глаза очерчены были нежной синевою, побледнели щёки и губы, и чуть вздрогнули красные ноздри, когда она сказала:

— Я тебя совсем не знаю! Но ты можешь мною распоряжаться, как захочешь...

И полупьяными, полубезумными, уставшими от безмерно много выпитого счастья подъехали они к усадьбе, укутанной глубокой тишиной и пышным инеем следующей ночи.

Кучер постучал в ворота, а Иннокентий Викторович встал из кошевы и, как в бреду, спросил:

— Как твоё отчество?

Она не успела ответить, так как со стороны степи, из-за тёмных и горбатых ометов сена вывернулся волк или огромная собака и неуклюжим быстрым махом побежал прямо к кошеве.

— Вовка! — радостно позвал хозяин и даже открыл на встречу волку благословляющие весь мир объятия.

Вовка прыгнул ему на грудь.

И странные произошли объятия человека со зверем, судорожные и неразрывные, со стоном и хрипом человека и с

подавленным рычанием зверя, который качал голову из стороны в сторону.

Не отрываясь друг от друга, они прыгали по снегу в танце. Сжимая зверя сильными руками, человек держал его за шею, а зверь, вонзивши зубы в горло человека, не мог разжать их, пока не повалились оба у пышно заснеженного входа в главный дом.

Между тем дремавший где-то внутри сторож медленно и сонно отворил широкие, засугробленные снегом ворота.

Кучер ввёз повозку в тёплый двор и, стуча зубами, хрипло закричал, указывая бичом в сторону свалившегося у крыльца хозяина.

Вскоре заскрипели многочисленные двери в избах и дворах, и сбежавшиеся люди, окружив хозяина, не смели к нему прикоснуться. Держа в заочневших руках шею волка, он что-то кричал, но из горла вместо слов летели брызги тёплой густой крови. А из дома уже нёсся крик Елизаветы Алексеевны и перепуганных детей.

Нехотя и скупо розовел рассвет.

Приехавшую с хозяином девицу или женщину никто не замечал до полудня. Бледная и обессиленная пережитым, закутанная в тёплую соболью шубку и закрытая медвежьей полостью, она неподвижно лежала на дне кошевы и, не желая открывать глаза, пыталась убедить себя, что она спит и видит сон, прекрасный, нескончаемый, но с жутким мимолётным приключением, который надо поскорее забыть, заспать... И надо только спать, спать и никогда не просыпаться.

Но сон скоро прошёл...

Его вспугнул знакомый, старчески дрожащий голос, в котором слышалась тревога и испуг, и только людям свойственная злая радость.

— Да, да, Господь нашёл его!.. Господь!

Только теперь забились в лихорадке Клавдия. Колдобин прискакал вослед в сопровождении вооружённых своих служащих. Но что теперь для неё угрозы, кары и мольбы? Немая и холодная, вяло и покорно пересела она в кошеву своего седого повелителя.

...Здесь степная волчья сказка обрывается, потому что продолжится обычная степная быль.

Сильный телом Барсуков оправился. Волк был всё-таки молод и неопытен, а крепкие хозяйские руки помешали ему перегрызть горло.

И весной, выздоровевши, Иннокентий Викторович с азартом занялся приведением в порядок расстроенного его болезнью хозяйства. Степанида давно вернулась из города и не могла не радоваться тому, что всё пошло по-старому.

Сторожким и молчаливым волчонком стал вести себя краснощёкий Петя.

Елизавета Алексеевна продолжала полнеть в довольстве и в спокойной тишине, потому что занесённая к ним в степь зимнею метелью бездомная, неведомая птица раннею весною покинула Колдобина и с попутным караваном тайно унеслась куда-то в глубь Монголии, не то в Тибет, а, может быть, в Индию.

Сам Барсуков ни одним словом никогда не вспоминал о ней, как будто встреча та была лишь бредом или наваждением.

Заскрёбышек

I

У Маркела Селезнёва, если не считать умерших, было пять сынов: Аким, Василий, Степан, Данила, Гурьян, да ещё было три дочери...

Маркел — мужик почтенный, исконнешный пахарь, резонный человек. Слова на ветер не бросает и худому детей своих учить не станет. Всех вырастил, взлелеял, наделил, каким умел, талантом. Двух дочерей замуж выдал. Одну похоронил на возрасте. Четырёх сынов женил, из них два оттрубили царю службу. Акима, Василия и Данилу выделил — живут своими домами. Степан живет при нём, отца-мать кормит. Только один Гурьян, любимый сын, меньшак, заскрёбышком зовёт его Маркел, — ходит холостым. Да Манечка, приёмная девчонка двенадцати годков, не пристроена...

Но никто так не сушил, не заботил так стариков, как Гурьян-заскрёбышек, рождённый после Данилы через десять лет...

— Случилось как-то, прости Бог! — говорил Маркел. — Старухе-то бы надо уж давно на сухарях да на воде молитвой жить, а она на шестом десятке сына принесла... Ну, да меня-то, старого пса, нечего хвалить...

И Гурьяна — первого дитя — Маркел отдал грамоте учить. Никто в семье грамоте не знал... И не до грамоты было — все с малых лет в работу пошли. Пашню вёл Маркел большую, а наёмного труда терпеть не мог... Ну, да раньше и школы не было в селе. А тут и школа появилась, и из-за старших братьев да из-за достатка — меньшаку поблажки больше. На неге парень стал расти, а когда бывало принесёт из школы книжку да начнёт учить урок — Маркел присядет рядом и таково-то радостно слушает разные стишки да побасёнки — просто другой раз никому дыхнуть не даст, пока Гурьян «учится»...

— Ни один из нас не видел таких гостинцев и поблажек, как любимец Гуринька! — говорит теперь Степан и прибавляет с укоризной: — Вот и выгладил сыночка... Робить дак ребенок, а пить дак мужичок...

Маркел, недавно похоронивший старуху, редко говорил теперь. Всё больше молился да вздыхал. Но за любимого сына заступался:

— Да кто молодой-то не такой был?.. — мирно урезонивал он Степана. — Все шалят, пока в ум не вступят.. Женится — остепенится...

— Нет, ты не знаешь, што про него люди говорят... Мы — все братья — уж и рукой махнули... Молчим — тебя на грех наводить не хотим... А люди-то небось молчать не станут...

— А-а, мало ли што люди-то наболтают!.. — возражал старик, теребя длинную седую бороду...

II

Прошло лето.

Холостёжь по вечерам собиралась на задворках у купца Колова, у захватанных дверей обширного бревенчатого маслодельного завода, к которому сходилось много девок с молоком. Девки шли на молоканку, как к обедне, — разряженные, с празднично-смеющимися лицами, потому что у молоканки всегда веселье: пляска, песни, граммофон, гармошка.

Гурьян являлся туда почти всегда верхом на гриваче Савраске. В суконном пиджаке, сшитом отставным солдатом, в триковых пёстрых брюках, в чёрной шляпе, нахлобученной на оттопыренные уши — Гурьян глядел франтом в сравнении с прочими ребятами. При этом у него из-под пиджака всегда выглядывали пышные кисти гарусной покрочки, отданной ему в «задаток» белолицей Катериной.

Подбежав к заводу рысью, Гурьян ещё издали отыскивал глазами зелёный полушалок Катерины и налетал на неё вместе с лошадьё, пытаясь опрокинуть вёдра с молоком или с пахтой... Катерине это нравилось, пока она не разглядела парня, пока не познакомилась с его ухваткой. Но потом она покаялась, что отдала ему покрочку. А однажды, когда он набежал на девку с лошадьё, и Савраска наступил копытом на её башмак, Катерина рассердилась:

— Да ты што дуришь-то? Дикошарый!..

— Катька! — пригрозил Гурьян, морща красное, скуластое, безусое лицо. — Ты у меня смотри!.. И он громко выругал её худыми словами.

— Да ты што поганишь рот-то!.. Кто тебя боится?.. Убирайся к чёрту от меня... Вот тебе последний сказ!..

Гурьян ещё раз выругался, но к девке не полез ни в этот вечер, ни завтра. Только через два дня у её отца Никиты Полунова в новом доме кто-то выбил три окошка.

Никита отодрал бичом Катерину, но она Христом-Богом поклялась, что ни в чём не виновата. О Гурьяне не сказала, побоялась.

На другой день возле молоканки Гурьянка появился пешком, пьяный. Он хриплым голосом грозил, размахивая Катериной покромкой:

— Нет, ты ещё поклонись мне в ноги!.. Я те заставлю чихать сквозь слёзы!..

Катерина увидала парня, услышала его речи, схватила ведро пахты и бух — окатила его с головы до ног.

— Вот тебе, хвастуша толстогубый!..

Гурьян, мокрый и ослизлый, неподвижно стоял среди хохочущей толпы ребят и девок, протирал залитые липкой жидкостью глаза и что-то невнятно бормотал...

А Катерина воспользовалась этим, вырвала у него свою покромку и начала хлестать его покромкой по лицу:

— Это тебе за окошки!.. Это тебе за хвастню!.. За обиды мои!.. За обиды, за обиды!..

Рассвирепел Гурьян, бросился с кулаками к Катерине, но ребята схватили его за руки и не дали ударить девку. Тогда Гурьян вырвал руку и ударил ближнего парня по лицу... Парень ударил его... За Гурьяна кто-то вступился — и пошла потасовка...

Мокрый, грязный, окровавленный, с оторванными руками пиджака, явился Гурьян домой. И не пошёл в избу, а залез на сеновал и хныкал там, придушенно ругая всех и всё на свете... А Маркел, услышавший о драке, задыхаясь бегал старческой походкой по селу, искал Гурьянку и грозил кому-то мировым судьёй, острогом и Господним наказанием.

И никак не мог назавтра уговорить любимого сына не ездить в город, в который тот упорно собирался.

— Не надо мне вашего куска! Проживу без вас! — кричал Гурьян Степану, сурово молчавшему возле порога. — Не пропаду. А может, и почище вашего заживу...

Это он на грамоту свою надеялся.

И, напившись допьяна, с попутными уехал в город, крикнув на прощанье родному селу:

— Гори ты двенадцатью огнями! И вместе с братцами моими!..

III

Маркел всё поджидал Гурьяна. Остепенится-де, хлебнёт горького-то в чужих людях, да и воротится. Дома-то — как сыр в масле катался...

Но Гурьян не возвращался. И слуху о нём никакого не было. Не вытерпел старик, и месяца через четыре по зимнему пути нашёл заделье в город: плицу новую надо было купить да самовар отдать в полуду. Запряг в хорошие санки Савраску и поехал в город за сто вёрст.

Долго в городе искал он сына. Всё на постоянных спрашивал сперва, потом на базаре, потом у знакомого слесаря и в лавках. А потом и у каждого встречного и поперечного:

— Парень у меня тут у кого-то служит... Гурьяном звать. Селезнёв по прозвищу... Не слышали ли?

Никто, понятно, не слышал.

Три дня искал Маркел Гурьяна, и решил ехать домой...

— Парень грамотный; должно, нашёл вакансию — и горя мало о родителе... Теперь, поди, и встретишь — не узнаешь...

Маркел представлял Гурьяна одетым уже по-господски и втайне радовался, что его любимец этакий самостоятельный: нигде не пропадёт...

И вдруг на выезде из города, из-за угла, навстречу — трое жуликов.

Маркел так и подумал: жулики. По всему видать, что люди бесприютные, как будто под крыльцом у кабака ночевали. Руки в рукава засунули, бегут, покрякивают от мороза, щёки синие, на головах летние покрышки. И вот один из них, посмотрев на Савраску, бросился к Маркелу:

— Тятя, да это ты, чё ли?

Маркел оторопел, сдержал коня и сидел в санках, не веря глазам и не умея что-либо ответить сыну.

Товарищи Гурьяна, оба молодые, сухопарые, в коротких курточках, остались поодаль и, посмеиваясь, потихонечку перешёптывались.

— Ты, видно, не признал меня? — ещё спросил Гурьян и наклонился к старику.

Маркел почуял запах перегорелой водки и тогда только пришёл в себя. Он покосился на товарищей Гурьяна и сказал:

— Ладно ты, сынок, скипировался!..

Гурьян отвёл глаза в сторону Савраски и сердито буркнул:

— Видно, талан мне такой даден...

— Кто же гнал из дома-то тебя, сынок! Да и теперь не выгонят, поди... Айда-ка ты домой, поедем!..

— Не поеду я туда... Всё равно теперь житья мне там не будет... — Гурьян вдруг поднёс грязно-синюю руку к глазам и засипел сквозь слёзы. — Я лучше с голоду пропаду тут...

Отцовское сердце вдруг кровью облилось, но на словах он всё-таки корил Гурьяна:

— Есть нечего, так, видно, жить весело, сынок!.. С каких это радостей ты пьёшь-то?..

Гурьян дрожал на морозе, и у старика не хватило духу стегнуть по лошади и уехать от него... И он, повернув назад коня, сказал:

— Садись, поедем, што ли... Где живёшь-то?..

— Да я вот у товарищей... — повеселев, ответил Гурьян и, взяв у отца вожжи, крикнул им:

— Давай, ставай, ребята, на запятки...

IV

Маркелу не хотелось заходить в старую, полупогребённую сугробами избушку на окраине города. У избушки не было ни двора, ни кола. Не за что было привязать Савраску. Но старик видел, что Гурьян дрожит, и надо было на путь ставить парня, поговорить с ним по-отечески.

... По избе забегала, прибираясь, старая, сухая баба, а на печи лежал и пьяно бормотал с собою бритобородый пожилой мужик.

Маркел даже и шапки не снял и не помолился, так худо сделалось у него на сердце...

Но Гурьян, пожимаясь, лепетал:

— Проходи, садись на лавку... Сейчас самовар поставят... — он заискивающе взглянул на бабу и тотчас же круто обернулся к старику:

— Да вот чего, тятя. Дай-ка мне с полтинник денег... Я в лавочку сбегая, сахару да кренделей куплю к чаю...

— Да ты не хлопочи! — сказал Маркел. — А сядь вот да потолкуем лучше...

— Дак вот уж за чайком и потолкуем... Ты што — уж, видно, брезгуешь — и чай пить у меня не хочешь!..

Маркел как-то безвольно потянулся к себе за пазуху, достал привязанный к шее кошелёк и отсчитал полтинник медяками:

— На-ко, держи, нето...

Гурьян быстро выбежал на улицу, но тут же всунул голову в приотворенную дверь и крикнул:

— Тятя! Я на Савраске съезжу... Поскорее будет...

Товарищи Гурьяна — один сын хозяйки, другой её племянник — о чём-то потихоньку разговаривали возле печки, а старуха наставляла самовар.

Маркел спросил у бабы:

— Давно он поселился-то у вас?..

— А вот шеста неделя... Деньжонок-то нету же... Никак не может всё найти местишка-то себе... Поступил же на пивной завод, так чижало, говорит, шибко... Родители, говорит, у меня люди достаточные, ну и верим — кормим... Жалко тоже...

Поговорили. Помолчали...

Маркел опять вышел на улицу, а Гурьян всё ещё не возвращался...

Маркел опять вернулся в избу. Посидел, поговорил...

— Да он не навовсе ли уехал! — вдруг заворочала белками баба.

Парни выбежали из избы, потом вернулись...

— Нету! — беспокойно в один голос сказали они.

Маркел ещё раз вышел из избушки. Постоял с захолонувшим сердцем... Гурьян не возвращался... Из избушки в одном платьишке вышла и стала подле него баба.

— А што ему! Дескать — отец, в полицию заявлять на сына не станет, и уехал... Теперь догони-ка его...

Маркел заметался, хотел было бежать вслед за Гурьяном, но баба, поджав под мышки кисти рук, вдруг закричала:

— Эй, дедушка! Да ты хучь заплати на харчи-то!.. Ведь шесть недель кормили мы его...

Маркел хотел было ускорить шаг, но Гурьяновы товарищи схватили его с двух сторон за рукава, и старику глаза их показались большими и белыми, как ложки с простоквашей.

Он подошёл к избушке, вынул из-за пазухи кошелёк и глухо спросил:

— Сколько?

— Да хучь четыре с полтиной насчитай... — кричала баба, готовая как будто вырвать кошелёк у старика.

Маркел поспешно трясущейся рукою отдал деньги и быстро и неверно зашагал по начинавшей темнеть городской окраине.

...Он не пошёл в полицию и не искал Гурьяна. Он вернулся на постоялый двор, провёл там ночь без сна, а назавтра стал искать попутчика домой.

А дома удивлённому Степану объяснил, что Савраску с санками отдал Гурьяну.

— Пусть это будет ему мой надел!.. — сказал старик, и не глядел в глаза Степану...

Пришельцы

I

Началось это давно, назад тому лет двадцать с пятком.

Иван был большого роста, чернявый, с длинным костистым носом и густой ленивой речью.

Дети, которых у него было пятеро обоего пола и младшего возраста, звали его:

— Ба-ать!..

А жена, здоровая, неповоротливая и неопрятная Мария, кликала его басистым и всегда недовольным голосом врястяжку:

— Ванька-я!..

Если же нужно было сказать более нежно, что случалось очень редко, то называла:

— Ванюх! — или — Ва-ань!

Когда жили на родине, он был очень услужлив перед женою и большую долю бабьей работы нёс на себе.

Да и делать больше было нечего. Земли у него было всего — с реденьким чахлым леском — полторы десятины, да и та за отсутствием скота, а стало быть, и навоза, обрабатывалась не вся и была разбросана на десятки узеньких ленточек.

Сеял он не больше полдесятины и возился всё лето, таскаясь от полоски к полоске пешком с двумя старшими сынишками.

И жили не сыты, не голодны, работать не торопились, и обленились до того, что по неделям не выметали сора из избы, в которой всегда дурно пахло.

Печать этой лености и неопрятности лежала на всей ивановской семье.

Даже дети, играя где-нибудь в уголке, лениво и как бы нехотя обменивались своими тягучими словами и совсем не умели смеяться и резво бегать.

Так же лениво все и мыслили, и вся их жизнь походила на какой-то тяжёлый, нежеланный и болезненный полусон.

Ни к чему не стремились, ничего не знали, ни впереди, ни позади не было ничего яркого, и так тянулось много лет, пока, наконец, увеличившиеся рты не потребовали хлеба столько, сколько не могла давать истощённая полудесятина.

Волей-неволей пришлось шевелить мозгами, а они ничего хорошего не могли ответить, кроме оскорбительного и холодного, откуда-то случайно услышанного слова:

— Сибирь!..

Стали наводить справки, писать письма, которые ходили к давно переселившемуся отдалённому родственнику, куму Симашкину, по три, по четыре месяца и называли крайне неопределённые и краткие ответы.

О том, что волновало Ивана, говорилось два, три слова, утопавшие в бесчисленном перечне имён с длинным прибавлением после каждого:

— ...Нижайший поклон и от Господа Бога доброго здоровья и в делах рук ваших скорого и счастливого успеха...

Ивану письма писал его сват, запасной унтер, а также заполнял их поклонами, но уже отдельно от каждого, поименованного в письме из Сибири.

В третьем письме под личную диктовку Ивана было категорически написано:

— Житьё наше не приведи Господь! Пропишите вы, Бога ради, как там у вас?

Когда унтер написал, Иван попросил его прочесть и, глядя в пол, послушал.

— Так! — сказал он утвердительно и положил письмо на почту собственноручно.

Месяца через четыре получился ответ.

Стрепетом сердечным вслушивался Иван в чтение, но кроме нудного перечня имён и длинных поклонов ничего не мог уловить. Он уже приготовился было отчаянно развести руками, как чтец, оканчивая письмо, бесстрастно промямлил:

— А у нас житьё — слава Господу Богу!

Этих слов было достаточно для окончательного решения Ивана двинуться в Сибирь.

Начались переговоры, сборы, ликвидация имущества... Нашлись две-три семьи охотников поехать вместе с Иваном, и в следующее же лето группа в двенадцать душ, из которых взрослых было только восемь, под начальством Ивана, тронулась в далёкий и неведомый путь.

Пока ехали Россией, все думали, что так прямо к куму Симашкину приедут, но чем ближе стали подъезжать к Сибири, тем сомнительнее стала эта возможность.

Стали спрашивать, где в Сибири село Панкратово?

Вопрошаемые смотрели в ответ удивлёнными глазами и только могли сказать:

— Да ведь Сибирь-то не в сто вёрст длины, чтобы все сёла наперечёт знать!..

— Там и почта есть! — поясняли вопрошающие. — Письма-то ведь ходят. Мы так и писали: «В Панкратово, Томской губернии».

— Ну и Томская губерния в три царства немецких!.. Не знаем!..

Так и потеряли они Панкратово и кума Симашкина, а поехали прямо в Томскую губернию.

Железная дорога в Сибири только-только строилась. Доехав до одной из больших рек, путники, через неделю ожидания на берегу, сели на тяжёлую баржу и поплыли вверх.

Пароходишко был маленький и скрёбся против течения по сильной реке больше месяца, а Томской губернии всё ещё не было...

II

Было уже серо и слякотно, когда Иван с детьми и пожитками высадились на мокрый и пустынный берег реки против застрявшего на мели маленького буксирного парохода.

Товарищи его, истощивши терпение и средства, остались в попутном степном городе искать заработков и ждать вестей от Ивана.

Прикрывши ребятишек и старые сундуки холщовым рядом, иззябший Иван уныло стоял на берегу и смотрел на проходящую мимо грязную дорогу.

Жутко ему было в этой чужой пустынной стороне, где на десятки вёрст вокруг не видно было ни одного жилья.

Мимо ехали из города мужики-старожилы.

Их небольшие мокрые лошади, едва тащившие простые, с обмёрзшими колёсами телеги, шли медленно, поворотив головы от резкого со снежной крупью ветра, и то и дело спотыкались от нарастающих под копытами мёрзлых комков грязи.

Мужики — их было четверо — шли возле телег и, не пряча от ветра лиц и рук, громко покрикивали на лошадей. А один из них, что пониже всех, то от него отчётливо донеслось:

— Заседатель как-то велел ему рябчиков зажарить... А он отвернулся куда-то — рябчиков-то у него собаки съели... Што делать... Запрет до смерти! Заседателишка не приведи Бог какой злой был!.. Тогда Митька не будь плох — взял ружьё, вышел на задворки — хлоп трёх сорок, да и зажарил... Х-ха! А тот ест да хвалит!..

Мужики дружно захохотали и в голос крикнули на лошадей:

— Но-но-о!.. Пошагивай!..

Иван пошёл к ним навстречу...

Он мало хорошего слышал о Сибири и боялся её обитателей, но, услышав весёлый разговор в такую погоду, когда, кажется, и земля, и небо дрожат от холода, он подошёл к ним вплотную и, шевельнув свою шапку, произнёс:

— Бог в помощь!

Рассказчик прервал свою речь, круто повернулся к нему и спросил, задерживая переднюю лошадь:

— Чё ты говоришь?!

Иван струсил и попятился.

Мужики захохотали, а один из них шутя крикнул:

— Держи его!

Иван, немного отбежав, остановился и недоумевающе смотрел на сибиряков, как-то странно улыбаясь.

Зотей, рассказывающий про заседателя, крикнул ему:

— Ты чё боишься-то нас? Мы не кусаемся ведь!.. Х-ха, чудак!

— Дыть, хто-ё знать!.. — неловко промямлил Иван и подошёл ближе.

— А это там кто сидит?

— Дыть, ребятишки... С Россеи мы пришедши... Вот куда ни на есть в тепло б надо, ребятишки озябли...

— Ну так давай сади их в телегу! — перебил его Зотей и, обратившись к товарищам, прибавил: — Ребята, давайте ребятишек довезём! — а Ивану бросил: — А сами-то и пешком дойдёте, ишь, тяжело...

— Дыть чаво?.. Вестимо!.. — растянул Иван и медленно направился к своим, но потом вернулся и спросил:

— А сколько за провоз-то?..

— Да ты только пошевеливайся! — крикнул ему Зотей. — Экий, братец, ты непроворный!

И Зотей бегом бросился помогать укладывать пожитки и усаживать ребят, наговаривая:

— Сколько да сколько... Да с тебя и взять-то, поди, нечего! Довезут — корм-то у нас некупленный, слава Богу!..

Тронулись.

Ивана мужики окружили, расспрашивая, откуда он и как попал сюда, а Марья, тяжело дыша, шла поодаль.

— Садись, тётка! — крикнул ей Зотей. — Садись! — повторил и остановил своего Рыжку.

Марья села, а Иван медленно рассказывал, точно выдавливая каждое слово.

— Семья — семь ртов, а хлебушка всего полдесятинки... Лошадка да коровка — навозу нетути, земляца не родить, а подать берут, как со справного... У помещика узять на оброк — двадцать пять рублёв за десятину за лето отдать надоть... А иде их узять?

Всё это слушали сибиряки и не понимали.

Ни отношения навоза к хлебушке, ни самого слова «оброк» они не понимали, и только знали, что полдесятины земли для семьи в семь ртов мало, а сумма двадцать пять рублей аренды за десятину — что-то прямо невероятное.

Любопытство росло. Все вперебивку спрашивали Ивана и мало-помалу усвоили, что от такой жизни на Сахалин поедешь, не только в Томскую губернию.

Бойкий и простодушный Зотей, бывший горнорабочий, принял в судьбе Ивана самое близкое участие и начал быстро посвящать его во все подробности.

— Да тебе тут десятину-то всякий мужик вспашет; в долг, али в отработку... Вспашет и даже посеет своими семенами, а ты летом с бабой в два-три дня отработаешь... А земли-то у нас — слава Тебе Господи, её вовеки веков не вспашешь!.. Потом избёночку сгношишь, коровёночку купишь... Только не ленись. Знай, тут, брат, не слыхивали, чтобы с голоду-то помирали. Ну, уж разве какая ни есть Божия планида, али там засуха, и то Бог миловал от голода-то...

— Вот, того... Приписаться бы где? — несмело вымолвил Иван, но Зотей и тут не дал ему договорить.

— Да а што тут мудрёного-то? Только ведро водки поставь, чтобы крикунам глотки заткнуть, а прочие мужики и слова не скажут — примут!..

А один из мужиков прояснил:

— Ишь, крикуны эти — народ беспутный, сами не пашут и скота не имеют, а на сходке кричат больше всех, потому общественники, дескать...

А Зотей продолжал:

— А пока што просто даже и у меня поживёшь... Изба у меня есть лишняя... С Богом, брат, когда ни на есть сочтёмся... Все, брат, под Богом ходим... — и от избытка добрых чувств он весело крикнул на всех:

— Ну, ребята, садись, под горку пошло!.. Эй вы, пошагивай! — обратился он к лошадам и вспрыгнул в телегу.

Иван, садясь на телегу, не верил, что всё это правда и что в Сибири могут быть такие добрые люди.

Но, когда ночью приехали в деревню, всё это оказалось правдой настолько, что Зотей поднял всю свою семью на ноги, заставил освободить отдельную от дома избу, напоил всю семью иван-чаем с мягкими белыми шаньгами, каких Ивану и видать не приходилось.

Словом, Зотей отнёсся к Ивану до такой степени гостеприимно, что у Ивана составилось о нём не совсем лестное мнение:

— Хлопочет, ровно сва-ат какой! — с усмешкой сказал он Марье, располагаясь на ночлег в тёплой и чистой избе.

III

У Зотей была одна взрослая дочь и три подростка-мальчика. Жена его, работящая, сухопарая и смуглая Анна, то и дело бегала по избе или по двору в высоко подтыканном сарафане, с закатанными рукавами, и строжилась либо над дочерью, либо над сыновьями, лишь только замечала что-либо неприбранным, невымытым или невыметенным.

Анне не нравилась нечистоплотность Марьи и ещё то, что трое младших детей Ивана, два мальчика и девочка, с утра до вечера ходили каждый день по селу и собирали Христа ради куски.

Сельчане, не привыкшие видеть нищими детей, да ещё девочек, кроме как в качестве вожатых слепых стариков, относились к маленьким нищим жалостливо, и детишки к вечеру едва тащили свои мешки.

Анна даже как-то не утерпела и сказала Марье:

— Зачем же посылать христарадничать? Ведь голодом не сидите! Да и сами здоровы, слава Богу! Робить могли бы!

— Дыть, а што им зря-т баловать? — ответила та своим быстрым недовольным голосом и добавила с растяжкой:

— Нехай, ноги не отвалятся!

Анна смолчала и поторопилась уйти из загрязнённой и дурно пахнувшей избы, в которой в течение месяца Марья ни разу не мыла.

Анна сказала мужу:

— Вот увидишь, что они изгонят пол: хуже свиней живут...

— Ай, да брось ты, старуха! — отшучивался тот. — Изгонят — другой настелем, чего толковать-то?

Между тем Иван как-то спросил у Зотей:

— Дядя Зотей! Мы живём у тебя, а цены за квартиру не знаем... Надо-ба значить... узнать, а можа, не под силу нам будя.

Зотей даже обиделся:

— Да я што, из барышей, што ли, пустил тебя? На што она мне, твоя цена? Никакой цены мне не надо: я, слава Богу, сыт, одет... Скотинку имею... Што ты?

— Спасибо! — флегматично проямлил тот и отошёл. Он, собственно, знал, что Зотей бескорыстно впустил, да так, для очистки совести спросил...

К весне Иван и выписанные им оставшиеся в городе его товарищи приписались к обществу и по соседству с пашней Зотей наймом посеяли хлеба. К осени же на окраине села из сырцового кирпича сделали себе избы и плетнёвые сараи, покрыли их соломой, а под усадьбу захватили земли десятины по две, окопав их канавами...

IV

Иван и его товарищи работали не спеша, но беспрестанно и всё как-то не так, как сибиряки.

Снопы и самые сулоны на полосе были точно нарисованы, на жнивье не потеряно ни одного колоска. Лошади их рослые, жирные, коровы многомолочные.

Ездят потихоньку, а при пахоте или бороновании лошадей в поводу водят. Едят же простой хлеб с водой; накрошат сухарей, посолят, нальют воды, бросят в котёл кусок свиного сала, сварят и хлебают.

И все в холсте ходят.

Весной весь берег сельской речки, как снегом покрыт — устлан белыми холстами... А бабы сибирским цветкам не радуются: дома таких никогда не видали.

Не прошло и трёх лет — у Ивана завелось две пары быков, да три пары у его товарищей. Выехали пахать двухлемешным плугом. Едут по целине с полверсты, и только потом завернут обратно, почему и полосы их зачернели отменно от всех коротеньких полос сибиряков.

Зотей посмотрел, и даже сердце у него захолонуло: к Петрову дню близ его пашни десятин пятнадцать поднято залога...

— Ну, эти сумеют суло хлебасть! — говорил он односельчанам и неодобрительно покачивал головой.

На работе российские составляли всегда как бы одну дружную семью, причём главою всех был всё тот же лениво ворочающийся и неразговорчивый Иван.

И всегда они как бы сторонились сибиряков. Их жёлтые короткие шубы с борами в талии редко смешивались с сибирской сермягой.

Затем завели целые табуны свиней, овец, и всё залог пашут на быках, всё пашут.

По две, по три десятины стали подсолнухов сеять, да по столько же картошки и арбузов.

Смотрят на них сибиряки и удивляются: куда столько? А зимой сами же идут к ним покупать и подсолнечное масло, и картошку, и арбузы солёные, и свиной тук.

Смотрят сибиряки: Иван всю зиму навоз за двором в кучу складывает.

— Зачем это?

— Дрова будут! — растягивает тот.

И правда. Весною всей семьёй пачкаются в навозе, кирпичи делают... И горят хорошо, жарко...

— Вот и возьми их, христарадников-то, — говорит Зотей, — нам у них поучиться придётся, не токмо што.

Подь они к чёрту, срамцы, — отвечают ему соседи, — посмотри, как они живут, ровно свиньи... Вонь в избах, не приведи Господь!

— Вонь не вонь, — говорит кто-либо, — а новых-то принимать не надо бы, а то, гляди, они всю «Расею» выпишут к нам...

— Эк, сердечный, мало тебе земли-то! — недовольно перебьёт какой-либо охотник до общественной водки.

— Смотрите, ребята! — предостерегающе говорил Зотей на сходке, когда принимали новых новосёлов. — Водку-то пить — шутка не хитрая, а как-то наши дети жить будут?..

— Но-о! Жадничай!.. Хватит тебе, а нам и вовсе! — вспыхивали на него крикуны, и глаза их наливались кровью, потому что вся их мораль сводилась к одному:

— Всё равно землёй нам не пользоваться, так хоть даровой водки вдосталь попить.

— Пейте, ребята, — говорил Зотей, — да себя не пропейте. — И уходил со сходки, не прикасаясь к наполненному водкой ведру...

Крикуны пили и дрались из-за остатков, степенные отходили от греха, а другие даже на сходку не приходили.

Полупьяный писарь писал по заученному шаблону приговор, переписывая всех неграмотных и заставляя подписываться малограмотных, не знающих, что они подписывают.

Староста мусолил и коптил над свечкой железную печать, прикладывая её к бумаге на подставленной коленке...

А новосёлы, ухмыляясь в бороду, ехали в поле облюбовывать самолучшие места и не мешкали запускать в девственную целину двухлемешные и трёхлемешные плуги, запряжённые сильными волами. И так целый ряд годов...

Все вновь прибывшие новосёлы селились рядом с Иваном, и чувствовалось, как он окружён был всеобщим почётом.

Даже Зотей проникся к нему каким-то невольным уважением, а Иван помалкивал, подсолнушки пощёлкивал, охотно в церковь похаживал, с батюшкой дружбу завёл.

Новые глиняные, крытые соломой избы росли, растягивая улицу, и пополнялись такими же глиняными амбарами и сараями, а на окрестных полях, ещё недавно седевших ковылями, накладывались всё новые и новые заплаты пашен.

Отец Афанасий сшил себе новую суконную рясу и подолгу стал служить обедню. Повеселел, стал румянее, и даже одного из шести сыновей в духовное училище отправил. Из российских составил хор на клиросе, и они же покрасили за свой счёт деревянную церковную ограду.

Сибиряки же безучастно посматривают и по-прежнему не замечают, что меняется всё с неимоверной быстротой. Толь-

ко Зотей, внутренне раскаиваясь в том, что когда-то привёз первого новосёла, Ивана, приписывал все эти перемены своей вине, и иногда сам у себя спрашивал:

— Што-то будет? Што-то будет?

Но и он, ожидая этого «што-то», не замечал, как оно уже наступило и с каждым годом вырастает всё больше да больше...

V

А годы шли быстро.

По пыльным большим дорогам длинными вереницами ползли всё новые и ещё более жалкие и бедные люди, и часть их завёртывала просёлком в село, где жил Иван.

Наслышавшись ещё в соседнем селе про «рассейского» Ивана, переселенцы останавливались против его избы и нередко просились на ночлег.

Иван выходил, оглядывал пришельцев и, пережёвывая кусок жареной поросятины, лениво выговаривал:

— Дыть где ж? У меня, чать, у самого семейство, а всех вас, чать, немало.

Тогда разочарованный переселенец, почесав в затылке и заискивающе улыбаясь, просил:

— Одолжи, дядинька, хучь хлебушка шматочек ребятишкам!..

Иван, как бы не слыша просьбы, продолжал своё:

— Вить теперь, чать, и на поле ночевать можно... Тепло... Далече ль поехали?..

Мужик, смутившись, молчал, а Иван продолжал своё:

— Не спросимши, знать-то, едете... Едете, а не знаете, ладно ль... Тута кругом во-он как заселимши... Подавайтесь дальше. Вот так, туда прямо, а потом направо будя дорога, а там село, вот там за селом и поспрошайте...

И Иван старательно показывал дорогу из села.

Он не лгал, говоря, что кругом «заселимши», потому что прошло уже более пятнадцати зим, как он приехал, и за это время он сумел достаточно освоиться для того, чтобы считать себя старожилом, имеющим основание показать ближнему на ворота из своего села.

За эти годы всё изменилось так, будто перевернулось вверх дном.

Там, где ещё недавно нежились заросшие ковылём степи, запестрели пашни, скирды, стога, табуны, займки и новые деревни. Там, где синели щетинистые леса, стоят чахлые кустарники и догнивающие пни, а там, где рыскали лисицы и

волки, прячась в пышных травяных покровах, теперь пасутся бесчисленные коровы.

А новые волны далёких пришельцев, одна другую нагоняя, всё ещё двигаются по обширному простору Сибири, и их немолчный гомон перешёл в оглушительный гул из стонов отчаяния, ропота, нищеты, болезней и смерти.

Уже море выходит из берегов, и многие волны перекатываются через край, не находя себе места. Многие, ударившись о холодные скалы безысходности, медленно, разбитыми струйками, ползут обратно.

У подростков выросли бороды, завелись жёны и кучи детей. Беззаботные девчата превратились в больных, неуклюжих и заботливых матерей... Дяди и тётки стали хилыми стариками и старухами, а дедушки и бабушки с безропотной покорностью сошли в могилы.

Уже минуло семь лет, как Зотей, поехав зимой в лес и простудившись там, заболел горячкой и умер.

Андрей, сын его, давно женился и обсыпался детьми. Дочь Зотея ещё при отце вышла замуж. Средний сын, научившись грамоте, давно куда-то скрылся и не возвращался домой, ставши где-то, по слухам, не то писарем, не то учителем... А младший сын Зотея, уйдя на военную службу, попал в какое-то несчастье, и вот уже четвёртый год сидит в остроге... За что он сидит — никто не знает, кроме того лишь, что сидит он будто бы в той самой тюрьме, возле которой стоит церковь с гробами царей.

Дом Зотея покосился, врос в землю и почернел.

Анна от слёз о муже и сыне потеряла зрение и месяцами сидела на кровати, качая ногой люльку с маленьким внучоном и держа в руках другого, постарше.

Печальным голосом она беспрестанно кричит в пространство избы, где двое старших, не видимых ею внучат стучат и бегают, готовые опрокинуть в избе всё вверх дном.

И чувствует она, что всё в избе стало грязно и не прибрано, и плачет, что не видит она света белого...

Андрей с женой с утра до вечера — на пашне. Работа как-то не спорится, хлеб в последние годы родиться стал плохо, потому что старая земля повыдержалась, а новой поднять сил не хватает, да и целины доброй уже не осталось почти.

— Всю повыпахала Расея вонючая, — злобно говорил Андрей, чувствуя приближение тяжёлой нужды и не зная, как с нею справиться.

Привыкший работать под руководством распорядительного и сметливого отца, после смерти его Андрей вдруг как-то растерялся и советовался то с матерью, то с тестем, то делал по своему разумению, но всегда выходило не так, как надо.

Парень он был хоть и работающий, но до крайности робкий и уступчивый.

Случилось, например, что к нему в овёс пастух запустил целый табун коров и начисто стравил всю полосу.

Андрей кинулся было к старосте, но вслед за жалобой своей тотчас же сказал:

— Только я боюсь взыскивать с него...

— А почему же?

— Я взыщу с него, а ну как он лошадей у меня последних угонит?!

И, глотая обиду, махнул рукой, да так и не стал взыскивать.

Вообще был он безответный и к тому же жалостливый; жалел он младшего брата, где-то томящегося в неволе, отца, так рано умершего, вечно плачущую мать и молодую, но уже надломленную жену, которая почти всех четверых детей родила либо под снопами, либо возле копны.

У Ивана же, напротив, всё шло как нельзя лучше.

Ребятишки, что по приезде сюда ходили собирать Христа ради куски, а позже пасли поросят, стали рослыми, сытыми мужиками и бабами.

На месте глиняной избы выстроен большой дом из пихтового леса с тесовой крышей, а в широкой ограде яркими цветами пестреют: самоброска, веялка, грабли, железные плуги и даже молотилка.

И всюду бегают, играют, дерутся, плачут и хохочут многочисленные внучата Ивана и Марьи...

Уже третий год как церковным старостой выбран «российский». «Российского» же метили и в сельские старосты. Словом, старожилы-сибиряки как-то потонули среди новых и чужих им людей, уйдя в свои личные заботы и труды, ясно понимали, что на них надвигается то, чего они никак не могли ожидать ещё каких-нибудь десять лет назад.

— Н-да! — вздыхал какой-либо старик, сидя в праздничный день на завалинке, — должно, и мы скоро назём копить будем...

— Правду говорил покойничек Зотей: «Пропьёте, говорит, вы сами себя!». Вот и пропили! — поддакивает другой.

Этим и ограничилось сетование на приближающееся малоземелье.

А отец Афанасий в проповеди красиво говорил о том, что российский народ богобоязливый, трудолюбивый, и что щедрая рука не только не оскудевает, но и воздаётся ей сторицею.

В большие праздники с крестом отец Афанасий ехал сначала в российский хутор, начиная с дома Ивана, а затем уже к

сибирякам, и то не ко всем, потому что однажды в Новый год один из крикунов, побывавших на японской войне, не только не принял его, а даже оскорбил:

— Ты, батюшка, святость-то за деньги продаёшь, а у меня их нет!..

VI

Пашни Ивана находились смежно с пашнями Андрея, потому что большая доля земли была Ивану за бесценок уступлена в пользование всё тем же Зотеем ещё поначалу.

У Ивана каждый год оставались большие клады намолоченного хлеба, потому что хотя у него и было выстроено уже три больших амбара, но весь хлеб всё-таки поместиться не мог. С каждым годом он накапливался, а в городе цены на зерно стали ниже, да и нужды торопиться с продажей у Ивана не было.

А так как семья у него выросла теперь большая: три сына с жёнами, две взрослые девки, а к третьей взял ещё в дом зятя, то и в рабочих руках недостатка не было.

Весною на пашню выезжает целый табор.

Там пашут на быках в два плуга, сеют и боронят, а здесь на гумне молотят, чтобы из дома не возить семена, их берут с гумна, отсюда же направляют в город и на мельницу, а дома, в амбарах, хлеб годами так и лежит нетронутый. И всюду по пашне Ивана белеют рубахи и пестреют бабьи плахты.

Только Марья, раздобревшая под старость на сибирских хлебах, как наседка, безвыездно сидит дома, окружённая домашней птицей, коровами, свиньями и кучей внучат.

Кроме того, она занимается торговлей: продаёт подсолнухи, постное масло, свиное сало, молоко и печёный хлеб беспрестанно едущим мимо переселенцам.

Иван же, отрастивший длинную, посеребрённую сединою бороду, часто ездил — то домой, то на пашню. Он нигде не верил чужому глазу и распорядок вёл всегда сам.

И вёл он хозяйство толково. Никогда ни на кого не сердился, а все его боялись, и в огромной семье никто не смел друга друга чем-нибудь огорчить.

Говорил Иван всё так же лениво, врасстяжку, но приобрёл привычку часто по-хозяйски почёсываться, что как будто помогало ему лучше соображать.

Когда он говорил, то смотрел либо в пол, либо в сторону и на вопросы отвечал очень медленно и всегда начинал с каких-нибудь экивоков или справок из прошлого.

На гумне у него была избушка, а в ней всегда жил кто-нибудь из членов его семьи, а в страдную пору рядом находились и все тяглые силы.

Одинокий же Андрей не имел возможности жить на пашне, и очень часто, уезжая домой, приходил на гумно и робко просил кого-либо из мужиков:

— Ребятюшки, тут может скот в хлеб зайдёт, так уж, пожалуйста, доглядите!

Все обещали и, правда, доглядывали, и вообще жили по соседски.

Впрочем, доглядывали они, конечно, в своих интересах: пашни Андрея были огорожены их пашнями, значит, доглядывая хлеб Андрея, они берегли и свой.

Но только однажды поутру во время жатвы, подъезжая к своей пашне, Андрей ещё издали увидел, что там, где у него были сжатые и несжатые жёлтые полосы хлеба, всё сплошь распаханно и слилось с прилегающим с двух сторон залогом Ивана.

Он протёр глаза, чтобы прийти в себя от чудесного наваждения, но сплошная чернота не была наваждением.

И с захолонувшим сердцем он погнал лошадей во весь опор.

Подбегая к полосам, он всё ещё не мог понять, в чём дело, и лишь когда запах оставшейся гари ударил его по носу, он догадался, что весь его хлеб сгорел, и вяло, как мешок, свалился под ноги лошади, которая, как бы понимая несчастного хозяина, стала перед ним как вкопанная и, прижав уши, уныло смотрела на обуглившееся пространство.

Когда он встал и, шатаясь, пошёл к соседям, то увидел, что огонь пришёл от них.

Придя на гумно Ивана, Андрей сел возле избушки и еле выговорил:

— Пошто же это... вы... так-то? — и завыл, как только мог он завывать, чувствуя полное своё разоренье...

— Дыть рази это мы? — не своим голосом кричал один из сыновей Ивана. — Мы што ж?.. Мы глядели... Это кой-то ночью... Мы сами-т едва спаслись... Это не мы-ы! Пра-а!..

Знал Андрей, что неумышленно сожгли, но всё-таки «они», да и некому больше, так как пожар шёл прямо от огнища, где они всегда варили обед, но он ничего не мог сказать и только вытер грязной, рабочей рукою вдруг потускневшие глаза, но слёзы не слушались и снова застилали их...

Вскоре приехал и сам Иван, поглядел на пожарище, помолчал и, почёсываясь, лениво произнёс:

— Ишь ты, Господне наказанье!.. Што ж теперь ты будешь делать-то? А? Ах ты, головушка горькая...

Он хорошо понимал, что пожар пустили его ребята, но не хотел подавать виду не потому, что боялся суда: в суде у него есть «рука», да у Андрея и смелости не хватит без свидетелей судиться, а потому, что чуял на сердце не то вину, не то долг за собою перед Андреем. И, чтобы очистить совесть и задобрить Бога, он стал утешать его:

— Ну что ж? Не убивайся, Бог даст — не умрёшь с голодухи... От нашей руки на погорелое, так и быть, двадцать пудов пожертвую... Не плачь! Ишь ты, Господне наказание!..

Но, вспомнив Бога, он поперхнулся, ибо почувствовал, что клеветает на него, и закричал на сыновей:

— А вы што ж, нешто дрыхли, не тушили?!.

Но старший сын громко запротестовал:

— Дыть, ба-ать, мы свои клади стерегли... Нечто было бросить их?!

Не обида, а горькое и в то же время бессильное презрение закипело в душе Андрея, который всё ещё сидел и не мог остановить помимо его воли катившихся слёз.

Все несчастья встали перед ним теперь во весь свой рост и загородили ему все дороги...

Он не знал, что будет завтра, куда идти, что делать? Как сказать матери?.. Чем, без работы над нивой, заполнить накатившееся отчаянье?..

А Иван продолжал утешать:

— Ну што ж теперь делать? Не убивайся! Коли трудно будет, приходи, подсобим... А вот што, слышь ты?.. Андрюха! Парень ты смирный, работающий... Коли што, я и тово... В работники тебя возьму!.. Хотя у меня и так быдто много их, а для тебя, што ж, уважу... Ведь и Господь велит помогать! Да-а! Не убивайся!..

Андрей встал... Посмотрел на чёрную гарь, на молчаливо застывших поодаль сыновей Ивана и, беспомощно разведя руками, еле выговорил:

— Только и осталось, что в работники!..

И, захлёбываясь рыданиями, медленно побрёл к своей всё ещё неподвижно стоящей на обгорелой полосе лошади.

А Иван, ворча на неосторожных сыновей, шёпотом учил их, как надо говорить на селе, чтобы худой славы не было...

И косился в сторону Андрея, который вёл в поводу лошадь по чёрному полю, мимо испепелившихся суслонов, и останавливался над ними с поникшей головою, как над родными могилами.

А вдаль по извилистой пыльной дороге серою змеёю ползёт обоз новых пришельцев из тяжёлого далека.

Егоркина жизнь

Повесть

I

Что первое увидели глаза

Не надо мудрствовать и придумывать особенные качества в характере и в поведении Егорки для объяснения причин, побудивших написать биографию его детства, отрочества и отчасти юности. Посмотрим на него как на одного из миллионов Егорок, Мишек, Гришек и прочих ничем не замечательных парнишек, как и Машек и Палашек, пренебрежительные имена которым надавала и увековечила сама наша русская история с древних времён. Пришедшие в жизнь непрошеными и не всегда желанными и ушедшие из неё никому не ведомыми, они, однако, были и всё ещё являются объектом беспокойства для избранных и более счастливых и даже — за последние столетия — причиной споров и забот так называемых освободителей народа и с ними народных бедствий и волнений.

О самом раннем младенчестве Егорки можно было бы и не говорить, тем более что в эту пелёночную пору он Егоркой ещё и не был. Молодая его мать, наверное, называла его Егорушкой, а может быть, и никак не называла. Просто милый да хороший, да ни у кого такого нет. Родился он не первенцем, а третьим из детей. У матери не было досуга отдавать ему ласки и заботы, а всё же, кормя его грудью, не могла она хоть изредка не улыбнуться ему и не ждать, когда и он впервые улыбнётся влажными от молока губами. Дождалась и первых зубов, почуяла их той же грудью, когда уже пора было от груди отсаживать. Кому из матерей не жаль было отвыкать от тяжёленькой теплоты ребёнка, когда он тянется к груди и плачет, и когда, суя ему в рот соску, мать спешит утешить и успокоить его колыбельной песенкой? А когда заснёт, обманутый и убаюканный, смотрит мать не насмотрится на него, а если есть кому её слушать, расскажет, какой это особенный, не по возрасту догадливый ребёнок. Поэтому, должно быть,

и имя ему выбрала геройское — имя Егория Храброго. Да оно так и было, на Юрьев день родился. Не раз рассказывала и о том, как произошло его рождение.

— Встала я в то утро чуть свет-заря, пока умылась, помолилась, вышла корову подоить... В ту пору у нас уже своя Беянка доилась. Подоила, солнышко уж показалось из-за сопки. Погнала я её в коровье стадо, к пастухам, только выгнала из двора, в переулок завернула, соседка, бабушка Колотушкина, своих коров выгоняет. Ой, говорит, девонька, на тебе лица нету!.. А я и вправду солнышка-то уже не вижу... Тут она бросила своих коров и повела меня назад, в нашу избу. А я-то не могу. — В этом месте рассказа лицо Елены выражало страх, который, по мере описания родов, переходил в радостное торжество жизни над смертью. — Ну вот, схватило меня мукой смертною и не отпускает. Померк мой свет. А бабушка, хоть и не была повитухой, а рука у неё лёгкая... Уложила меня тут же возле стенки, на полынь-траву. Как сейчас помню запах... И вот родился, часу не мучилась. Бабушка забрала его в подол и довела меня в мою избу. Старшенькие-то и проснуться ещё не успели, как этого им принесли. Ревёт-базланит, разбудил обоих. Миколу-то уже четыре было, а Оничке два годика.

Любила Елена рассказывать и про то, что было после. Приятно было вспомнить, как лежала она три дня в постели и как бабушка Колотушкина и соседки, и даже из дальнего конца села добрые женщины пришли навеститься, нанесли ей пирогов и всякой всячины. И уберут в избе, и детей накормят. Митрий за девять вёрст пришёл пешком с работы — шахтёр он был тогда. На другой же день услышал о рождении второго сына — пришлось самому всё доедать. Такого в доме никогда не водилось — столько нанесли.

— А на четвёртый день поднялась. Перепоясала живот полотенцем потуже да и за работу. Взясась за работу, потому что трое их у меня стало, да и не городская барыня. Это в городе, сказывают, как чуть что приключилось, тут тебе няньки и мамки. А в нашем быту и хуже моего бывает. Другой женщине на поле либо на покосе приключится, а мужик посадит роженицу в телегу, растрясёт по дороге, и рожай как хочешь. А мне как Бог послал бабушку Колотушкину, дай ей Бог здоровья!

А бабушка-соседка и впрямь показала своё доброе сердце не только тем, что приняла новорождённого, но и тем, что нет-нет и забежит к Елене, совет подаст, малого понянчит и старшеньких постережёт, когда Елене надо отлучиться из избы. Бывало, что и днями у себя Егорку нянчила, когда Елена у кого-либо на жатве в поле либо платье шьёт псаломщице. Шить научилась ещё в девичестве от матери, вдовы-казачки.

Егорка так часто оставался с бабушкой Колотушкиной, что она к нему привыкла и расставаться жалко было, когда мать приходила с работы или с поля и уносила Егорку домой.

Не родная была бабушка, а заботилась как о родном. Потому-то он и выжил, а то без матери да без догляда рос бы как сиротка. Но вот и год исполнился, Егорка ползает — живёт. И радоваться нечему, а он смеётся. А перед тем, как подошёл второй Егорьев день в Егоркиной жизни, случился ещё грех. Поскользнулась Елена на льду, на проруби, в Великий пост, чуть не утонула: был март, всё уже таяло, прорубь-то и обвалилась. Еле пришла домой, и родила недоноска, мёртвенького. А Егорка и вторую зиму, студёную, и весеннее половодье перенёс, когда и взрослых-то болезни косят, как траву, а малюток? То и дело видишь: опять на могилку чей-то отец несёт под пазухой игрушечный гробик. А Егорка выжил, переборол самую хилую пору младенчества. Встал на ножки, ходит-колобродит. А сколько раз был на краю могилки. Как-то вечером схватил свечку прямо рукой, обжётся, выронил, упала свечка на пол, подожгла ему подол рубашки. Да на счастье рубашонка оказалась мокрая — не загорелась, только зауглилась, успели погасить. А то сгорел бы и избу сжёг.

Много было с ним беды, всего не перескажешь. Однажды зимой Елена посадила его на печку, наказала сидеть смирно и даже дала ему кусочек пирога — рот заткнуть. Самой нужно было спуститься в подполье за картошкой. Только открыла западню, стала спускаться, а он бух — прямо ей на спину. Тем и спасся, что не на пол слетел, а как-то ухитрился «костыгнуть» в подполье без опасности. А тут ещё и старшенькие меж собой подрались, кричали, унять не могла.

Но не всё же были беды и тревоги, были и хорошие с ним случаи, которые мать и сам Егорка запомнили на всю жизнь.

Складки и морщинки, наложенные рассказами об ужасных случаях, на лице Елены разглаживаются, оно молодеет, проясняется улыбка, и сквозь матовую бледность на щеках пробивается румянец.

Не раз рассказывала она про то особенное утро, когда она в Егорьев день впервые понесла Егорку в церковь для причастия.

— Ходить он как следует сам ещё не мог, да и как его по сырой земле босого поведёшь, а уж двух лет, тяжёленький. На руках несла. Сшила ему новую рубашечку, поясочек из ленточки, головку вымыла да причесала, кудрявенькую, белокурую. Обхватил меня за шею ручонками, крутит головёнкой во все стороны, видно, что впервые видит Божью благодать и радуется вместе со мной одною радостью.

Кажется, Егорка и сам помнит и никогда не забудет всё, что впервые увидели его глаза в то утро. Прошло это как сон, а не бесследно, и этот сон уж не могли затмить никакие затемнения позднейших дней и лет, ни голод, ни обиды, ни слёзы детские. Нет-нет и выплывет опять большим, большим, широким светом неба и земли. А иногда только мелькнёт далёкой, синей-синей, еле уловимой небылицей.

Да, это был яркий, радующий, почему-то как бы стыдящий свет тихого весеннего утра, тот самый свет, который для одних — первое прозрение, а для других — погибельное ослепление. Погибельное потому, что некому помочь открыть глаза, некому так рассказать о свете, как умела рассказать Елена.

Не память, но Егоркины глаза запомнили, что голову и плечи матери покрывала большая, светлая, в ярких цветах новая шаль. От этих цветов пахло свежим воском и ещё чем-то пряным — не обонянием он принял аромат материнской шали, а тоже как будто глазами. Глаза были так жадно и широко раскрыты на всё, что озаряло солнце.

Какая даль, даль, даль сейчас же за плечами матери. И радость полная и острая, щекочущая зрение, потому что она была первая, неведомая, неосмысленная радость... Так радуется всё, что ничего не знает. Так радуется первый жёлтый цветок-одуванчик, когда он впервые раскрывает свой венчик перед солнцем. Во всей его круглой рожнице тогда раскрывается огненная, неугасимая улыбка. Так он с улыбкой и живёт всю жизнь, пока не облетят все лепестки и пока вместо них не появится круглый пуховой шарик-одуванчик. Но вот дунет ветер, и отдельные пушинки, крошечные воздушные парусинки полетят, полетят кто куда, высоко, далеко... Так уносятся от одуванчика окрылённые семена, чтобы зачать новую жизнь где-либо в пыли при дороге или на притоптанных скотом лужайках. Имеются ли у этих пушинок глаза? Нет! А сколько радости, сколько красоты даже в слепом полёте к новому воплощению семени!

А если безглазое и неразумное радуется и веселится и несётся в пространстве и во времени, так как же широка и просторна жизнь для зрячей, для окрылённой мечтою души человеческой! Когда она отцветает на земле и, невидимая, переносится через великие пространства в новые миры, в верхние и нижние, смотря по прежним заслугам, как много она может увидеть необъятной, безграничной радости!

А разве этот земной мир можно обозреть даже в течение целой долгой жизни? Разве можно всё изведать, всё увидеть, всё понять?

Ничего не понял и Егорка, он только видел. И увидел он впервые небо, но не наверху, а внизу, под ногами матери.

Мать с младенцем шла как будто между синими небесами, ни к одному не прикасаясь. Небеса эти были очень далеки одно от другого: верхнее — высоко-высоко, нижнее — глубоко-глубоко. Ребёнок не понимал, что мать его переходила по доскам и камешкам через весеннюю лужу. Он не знал, что небо всею синевой отражалось в весенней луже, сделавши и лужу такую же лазурною, такую же бездонною, как небо.

Запомнили глаза Егорки, что мать тогда пошатнулась на шаткой доске через весеннюю лужу и вскрикнула:

— Ой, ой! — И увидели Егоркины глаза, как всё нижнее голубое небо сморщилось и обнажило на дне лужи песок и грязь.

И хотя в голосе матери вместо испуга была шуточная молодая бодрость, всё-таки ребёнок ещё крепче обхватил ручонками шею матери и близко-близко заглянул в её повеселевшие глаза... Как хорошо, что это так случилось! Как хорошо, что она вскрикнула и что он заглянул в её глаза. Он увидел и навсегда запомнил, что в глазах матери была твердыня безопасности и одна ласка, одна незыблемая любовь... Могла провалиться или уйти из-под ног земля, могло упасть небо, но в улыбке материнских глаз — полная сохранность, и руки матери, прижавшие к груди ребёнка, не могут его выронить... Значит, вот тогда впервые и на всю жизнь в улыбке матери запомнилась и утвердилась вера в вечность жизни, как в бессмертие.

Несла Егорку молодая мать куда-то к приближавшемуся колокольному звону. И звон тоже запомнился не слухом, но глазами: он был голубой, как небо, золотой, как солнце, радостный, как улыбка матери, и весёлый, как зелёная молодая травка.

Нельзя всё описать и перечислить, что увидели в тот первый день глаза. Но всё это было раз и навсегда собрано в одно большое, радостное слово — Весна...

Егорке пошёл третий год. Год длился долго. Всё проходило мимо памяти. Глаза искали только то, что питало его тело и к чему тянулись руки с жадностью всегда голодного и часто плачущего ребёнка. Но вот новою весной впервые сытому пасхальным изобилием Егорке, опять вымытому и причёсанному, ласковый голос матери позволяет:

— Ну теперь беги, побегай по травке.

Егорка никогда ещё не бегал по зелёной травке. Босые его ножки щекочет мурава своей прохладой, как нежной щёткой. От быстрого разбега в эту радость Егорка падает. Со смехом, с визгливым детским хохотом он пытается подняться, но снова падает, и нос его, уткнувшись в траву, втягивает в себя

тот самый запах родной земли, от которого пьянели сказочные богатыри. Так сладко, весело и опьяняюще пахла земля, что ему не хотелось вставать. И тут перед самыми глазами мелькнуло нечто светлое, как звёздочка, далёкая, вся в многоцветной радуге, такое разноцветное окошечко раскрылось сквозь всю толщу земли. Медленно, как к волшебному перу жар-птицы, Егорка протягивает ручонку, чтобы схватить это сокровище, но голос матери испуганно предупреждает:

— Не трогай, ручки порежешь... Это стекло!

Отдёрнул руку, оторвался он от очарования иным, невиданным миром, сотканным из радуги и лазури.

— Это солнышко в нём отсвечивает, дурачок! — поднимая осколок стекла, объясняет мать и помогает Егорке встать на ноги.

Только теперь он поднял голову и, увидевши настоящее слепящее солнце весеннего полудня, зажмурил глаза и с неохотой согласился.

— Солнышко?

Лишь много лет спустя в путях жизни он сравнит подлинное небо, отражённое в луже, и настоящее солнце, отражённое в обломке стекла. Потому что память будет оживать, а неопытное, пробуждающееся сознание будет искать ответов на всякое движение полевой былинки. А пока протекало лишь начало детства, беспечного, богатого невероятной нищетой.

Всё шире раскрывались глаза навстречу каждому дню. Длинны и скучны приключениями были те дни. Долго тянулась весна, ещё дольше жаркое лето, ещё дольше дождливая, непогожая осень, и целой вечностью была сибирская зима.

Бесконечно длится зимний день, когда не в чем выйти посмотреть на снег. Бесконечно длится целая неделя, когда отец ушёл в шахту в воскресенье к ночи, а в субботу ночью обещал принести сладкий калач от белого зайчика, а заяц калачик сам съел и обещал прислать в другую субботу... Кто поймёт эту тоску и ожидание долгими часами, когда светлый день где-то за замёрзшими окошками идёт, идёт, идёт? И наконец проходит мимо и опять уносит не только белый заячий калач, но и чёрствую корку...

Многие ли знают и кто может понять, какое острое любопытство останется на всю жизнь у ненасытных глаз к белому рису с изюмом?.. Егорка ещё не пробовал, а только видел, как богатая соседка в Родительский день, после Пасхи, разносила в чашечке кутью с изюмом и давала старикам и старушкам по ложечке за упокой души её сродников... Ах, Боже! Почему малютка не родился стариком?.. И почему в его доме не было

ни бабушки, ни дедушки?.. У них как-нибудь бы капельку попросил бы и попробовал.

Зачем даны глаза ребёнку, у которого никогда в детстве не было ни шапки, ни сапог, ни синих бархатных штанцов?.. Для того ли даны ему глаза, чтобы всю жизнь с завистливой улыбкой молча любоваться, как другие дети, как цветики полевые, украшают улицу села на празднике?.. Для того ли?

Нет, не для того, никак не для зависти даже к детям Кирилы Касьянова, что живут напротив, через улицу. Дом у них — полная чаша, все одеты и обуты, и не знают, что такое быть голодным и дрожать в нетопленной избе. Никогда и после никому Егорка не завидовал. Не было этого в обиходе бедноты, быть может, потому, что на селе были люди даже беднее Митрия. У соседки, вдовы Анны Маркеловны, трое сирот, мал мала меньше, и ходят с холщовой сумой через плечо, собираются Христовым именем. Елена никогда не отпускает их без ломточка хлеба, а от других, даже богатеньких, домов нищие уходят после оклика: «Поди-подите: Бог подаст!..».

Да и мал был ещё Егорка, чтобы кому-то позавидовать. Привык к тому, что было, и на ум не приходило, что могло быть лучше. Вот и четвёртый год миновал, и опять прошло жаркое и дождливое и долгое лето, и опять ненастное, низкое небо осени засыпает деревню жёлтым листопадом; а у Егорки — «цыпки» на ногах: набегал их по дождливым лужам да по суховеяной улице. В потрескавшиеся босые ноги въелась пыль, и вся кожа превратилась в сплошную чёрную коросту. Не дают спать по ночам, плачет он, другим спать не даёт. Намажут ему коросты подгорелым салом, утешают:

— Не плачь, до свадьбы заживут.

И к первым снегам зажили. Зимой сидит он на большой печи, зароев ноги в подсыхающую там для мельницы пшеницу. Молчит и ждёт, когда дадут поесть. Отец всегда где-то работает, мать вечно занята, одна на всех. Пождёт-пождёт и заноев-заревёт. Голоден. И поиграть нечем. Первые игрушки, «бакулочки» — ровенькие отрезки дерева, подобранные на постройке нового амбара у Касьяновых, принёс ему старший брат Микола. Хорошие, пахнут обновами, так бы и нюхал их всё время, но сыт ими не будешь. Складывает он их так и эдак, сопит всегда мокрым носом, что-то говорит с самим собою. Как и где он научился говорить, никто не спрашивал, не удивлялся. Говорил и даже не картавил, все слова по слуху повторял за старшими, точь-в-точь.

В Филиппов пост, перед Рождеством, в ковровой кошёвке на паре лошадей приехали и ворвались в их бедную избушку три краснощёкие с мороза девочки, племянницы Елены, дочки старшей сестры Лизаветы из Таловского рудника: Ольга,

Саша и Лиза Жеребцовы. Все были одеты тепло, и пахло от них меховыми шубками и согретыми под мехами новенькими платьями. Приятно было, когда поочерёдно обнимали тётку Елену и трогали по волосам Егорку. Ольга, старше всех, почти невеста, показывала картинки в красках. Там была «Под вечер осенью ненастной в пустынных дева шла лесах...». Там был «Полкан Богатырь» — могучий человек с лошадиными ногами, и ещё какие-то. Купили в лавке у Зырянова, привезли похвастаться. И вот тут-то Ольга поднесла к самому носу Егорки картинку «Ступени жизни человеческой» и поднесла её тем самым уголком, в котором позади человека стоит скелет смерти, с дырками вместо носа и глаз, с косою над голым черепом и весь в белом саване, и поднесла не просто показать, а напугать, и при этом вместо слов произнесла:

— У-у!..

Отшатнулся и упал на спину Егорка. Так закричал, что все в избе переполошились, и больше всего мать Егорки. Никогда такого не было с парнёнком. До смерти перепугался. Ольга даже сама испугалась и заплакала. Этого никак не забудешь.

Егорка всех этих двоюродных сестриц любил, и любил, когда они приезжали — такие все они хорошие, весёлые, красивые, но почему Ольга так недружелюбно ткнула ему смертью в нос? Тогда он этого не понимал, но мать поняла: не было у неё для него времени — помыть, причесать, надеть чистую рубашку. И рубашки не было, а что-то от старшенькой сестрицы — вроде старой кофточки, с грязными на животе заплатами. Как-то поневоле вышло так, что Ольга ткнула в нос Егорки смертью с явным пренебрежением к неопрятности. Дескать: «Вытри ты свой грязный нос, видеть я этого не могу!». В тот же вечер Елена вымыла Егорку, хотя и очень ему было больно — нос распух от насморка. А потом при коптилке сального жировика — свечка стояла три копейки — села она починять Егорке рубашку и стала петь такие грустные, такие горестные песни. Сидела, пришивала заплатки, пела и потихоньку плакала. Капали крупные слезинки и расплывались пятнами по синему полю, среди жёлтеньких цветиков старого ситца.

Может быть, поэтому забываемым стал и другой случай, когда уже весною, пятой или шестой в его жизни, бегал он по улице среди других детей, такой же опять грязный, в испачканной на животе рубашонке — не умел он ещё есть как взрослые, проливал из ложки щи и молоко. И тот же грязный нос с хроническим для бедных детей насморком, который длился и зимой и летом, — играл и засмотрелся на проходивших мимо двух девушек. Такие они обе были чистые, нарядные — глаз не оторвёшь... Смотрел, а нос вытереть не дога-

дался, и слышит: одна из них, что пониже ростом, скривила лицо, отвернулась и говорит той, что повыше:

— Ой, какой грязный парнишка!

А та, что была повыше, подошла, взяла конец разорванной Егоркиной рубашки, вытерла ему нос и говорит своей подружке:

— Ничего! Хлеб выкормит, вода вымоет! — И когда вытерла Егорке нос, ещё прибавила: — А может, этот сопливый будет и нас с тобой счастливее.

Только позже узнал Егорка имя девушки. Это была Аринушка, дочка местного лавочника, Григория Евстафьевича Зырянова.

Да, Егоркино детство богато было не только нищетою, но и тем многообразием простонародья, которое не может уместиться в книгу и картину — такое это необъятное, непревзойдённое искусство: жить деревней, целой волостью, уездом, всей губернией! Всей массою народной! Даже тот маленький мирок, всего лишь в несколько домов, окружавших избу Митрия, перед прохожими и странными людьми не раскрывается. А если бы раскрыть всё до конца да нарисовать картины, можно ими целый городской музей заполнить. Да кому это нужно, и какая в этом для народа польза? На смех людей выставлять! А в Николаевском руднике сто сорок дворов. Каждый человек, с глазами, всё видящими зорко и открыто или с прищуркою и молчаливой хитрецою, а слова у всех скупые, осторожные. Чего вам, странным людям, нужно? Пришли на горести наши поглядеть-позабавиться али богатствами своими похвалиться? Тут каждый по-своему умён, а если и дурак, так пойдя да посмотри на Анемподиста — есть у них такой, но другого такого дурака во всём свете не сыщешь.

А послушать хочешь — есть в селе и стрекотуха, бабушка Аксинья, слепая. Кого угодно так отчитает, что и с умом не соберёшься. Так её все и зовут: Евангелистка. Да и говорят здесь всяк по-своему: один скороговоркой, другой — с растяжкою на «о», третий, самый крупный ростом, — с женским провизгом, а четвёртая, баба с колокольню ростом, скажет мало, басом, да как в конце присвистнет — прямо Соловей-разбойник. Хоть высока, а два зуба малорослый муж всё-таки вприскокку умудрился ей выбить. Тут подумаешь: отнеси, Господи, с такой связаться! А дойди-ка до сердца, растрогай душу, если умудрён таким талантом, — раскроется такое и в словах, и в жестах, что никакой актёр не смог бы передразнить. И это только вот тут, в соседстве от Митриевой избы, а возьми-ка всех их! Уж не будем говорить об окрестных деревнях и сёлах, где что ни наречие, то и ненаписанная этнография. Да где же это всё по-настоящему представить — в драме,

в картине ли, в песенном ли мастерстве? Как подвыпьют два-три мужика, как сомкнут вместе бородатые головы, как быки бодаются, да как запоёт один, да как вольтуются в его голос другие — камень зарыдаёт. А когда кое-какие господишки из города заедут — все мужики и бабы как воды в рот наберут, каждый дураком притворяется.

Мораль из вышесказанного вот такая: избрали мы Егоркину жизнь не потому, что он сын бедняка и что жизнь его полна будет обидами и нищетой, а потому, что, как и предрекала Аринушка Зырянова, хлеб его выкормит, вода вымоет, а что из него выйдет — гадать не будем. А главное, потому, что повезло Егорке родиться в той среде, в которой он рос, как в бурьяне, пропахший горькою травой-полынью, а полынь, как известно, даже и коровы не едят, а блохи от полыни скачут во все стороны.

II Отец берёт Егорку на пашню

Малолетство Егорки протекало перед концом двадцатого века. Разберёмся в обстановке и взглянемся в два корня, ветки от которых, случайно ли или по предназначению, соединились и дали плод, сам по себе незначительный, но всё же плод жизни — Егоркину жизнь.

Ещё современник Петра Великого Акинфий Демидов разведаль, что алтайский хребет, отгораживающий сибирские равнины от монгольских, богат золотом и серебром, медью и углем и всякими иными богатствами, а мы сами знаем про красоты диких высот Алтая и его бесчисленных, почти что сказочных, молочных рек с кисельными берегами. Не столько золото и серебро привлекало на Алтай насельников из центральной России, сколько эти молочные, всегда пенящиеся от быстроты реки и пустынные их долины, где могли найти убежище и беглые от наказания грешники, и взыскующие скитского уединения праведники старой веры, насельники таинственного Беловодья. А когда позже стали разрабатываться рудники, пришли туда вольные и подневольные шахтёры, старые и молодые, больше всего мужское население. Русских девушек-невест был недостаток. Местная, калмыцкая или киргизская, женщина дичилась, сторонилась русских. Нелегко было её обучить языку и христианской вере, а таких случаев не было, чтобы русский человек из-за женщины переменил бы веру и обасурманился. А старообрядцы не сме-

шивались не только с местными инородцами, но и с русскими не ихней веры. Потому их род сохранился и размножился на Алтае в чистоте и крепости допетровской Руси. Но горняки-шахтёры в поисках семейного начала иногда женились на инородках. Или брали в зятя инородцев, но в этом случае невеста ли, жених ли должны были креститься и совершенно обрусеть. От такого смешения и поныне лица некоторых русских в Сибири отличаются высокою скулой, тёмным цветом кожи, узкими глазами и коротким носом.

Правда, тип дедушки Луки Спиридоныча, Митриева отца, был особенный. Не то что на калмыка, а скорее на старого индуса был похож, зато уж бабушка, Соломея Игнатъевна, по всем чертам лица и по речи, и по привычкам была русская из самых русских.

О происхождении дедушки и о его предках по отцовской линии сам он не рассказывал, но о том, что дедушкин дед был калмыком, в народе были слухи. Тут уже вина, а может быть, и заслуга казаков, то есть той самой линии, из которой происходит мать Егорки, Елена Петровна. Тут опять надо вернуться не на сто, а может быть, на полтора-два столетия назад, когда для охраны русских владений в Сибири от набегов непокорных кочевых племён Азии надо было протянуть линию казачьих застав, называвшихся форпостами, по всему правому берегу реки Иртыша и дальше, на северо-восток, по предгорьям Алтая. Тут-то и понадобились казаки с Тихого Дона, люди, как и староверы, крепкой славянской кости и православной веры. Сели они прочно на больших земельных наделах, с местным населением не смешивались и не враждовали. Везде белела и поблёскивала крестом церковка; грамотность была обязательной для каждого молодого казака, а от него, если не в школе, то дома, научалась читать и молодая казачка. Казачьи сотни обучались и формировались в полку, в большом городе, но подготовка казака, его коня и седла были обязательны в станицах. Значит, позади казачьих станиц и за спиною казака спокойнее было крестьянам и всякому рабочему люду. Так мирное завоевание длилось более столетия. Греха таить не надо, приходилось казакам делать набег и на мирных инородцев. Дело это тёмное, точно не проверенное, но будто бы прапрадед Митрия был богатым калмыцким ханом, владевшим сотнями лошадей и тысячами баранов, когда казаки захватили его стада во время своего набега в горы. Добычу поделили меж собой, а молодого ханского сына, Тарлыкана, не то Тарухана, бывшего среди пастухов, взяли в плен, окрестили его, выучили грамоте и женили, но не на казачке, а на засидевшейся в девках до тридцати годов дочери русского шахтёра. Шутили казаки: от этой не сбежит. И не сбежал, стал

сам шахтёром. Жена у него крепкого сложенья, народила ему кучу ребят. Один из сыновей и был отцом Луки, по имени Спиридон.

Но не по этой легендарной причине в четвёртом поколении сошлись две линии для брака Митрия и Елены. Причины были натуральные, и обе далеки от любовной завязки.

В те времена судьбу жениха и невесты решали их родители, а в этом случае — нужда. Соломея Игнатъевна была второй женой дедушки, а Митрий и ещё двое — сестра Катерина и брат Василий — родились от первой, значит, росли под мачехой, а мачеха, когда пошли дети, пасынков не только досыта не накормит, а и побьёт. Однажды девятилетним ушёл Митрий из дома и поступил разборщиком руды на шахты. Тогда они жили в Николаевском руднике. Шахты ещё не были закрыты. Дедушка был занят службой, в домашний распорядок не вникал, а когда хватился большака и узнал, что он работает на шахтах, неловко ему стало, упросил начальство поместить его в казённую школу с пансионом. Своего жалованья не хватало. Но в пансионе были дети старших чиновников, среди которых Митрий отставал во всех науках. И одет был хуже всех, и всех дичился. Ушёл опять на разборку руды. И ел, и спал в казармах, домой приходил только на праздники.

Когда подрос, стал и для дома помогать, и пашню для родителей поддерживать, но шахта и шахтёрская среда оставались его домом и семьёю. Так подошла и воинская повинность. Как старшего сына в семье от солдатчины его освободили. Родители решили: надо бы женить, да на ком? По положению родителей можно бы найти девицу из купечества, и даже из «благородных», да кто за него пойдёт? Ни грамоте как следует не знает, ни обхождению с людьми не научился. Молчун, одет бедно, руки в мозолях. Крестьянку взять в дом — Соломея Игнатъевна сарафанов терпеть не могла: как-де крестьянку ни одень, всё равно крестьянкою останется. Так прошло три долгих года. Но вот услышали: Степан Жеребцов, уставщик Таловского рудника, женил своего сына Виктора на казачке. Говорят — боец-девица, красавица собою, и всё умеет — шить и мыть, и стряпать, и на поле жница, и в хороводе лучшая певица. Разведали, откуда, чья... Снарядили сватов: самим сватать не принято. Приехали сваты обратно, рассказали: у вдовы-казачки в Убинском форпосте, на Иртыше, ещё их шесть дочерей осталось. Лизавета, что выдана за Виктора Жеребцова, — первая, а за ней идёт вторая, девятнадцати лет, Елена. Краля! Белая, румянец во всю щёку, грамотная, поведенья тихого, люди не нахвалятся. Вдова будет радёшенька выдать её; у неё ещё пять подрастает, и ни одного сына-работника в доме. Семь дочерей оставил после себя казак по

имени Пётр, а по отчеству — даже не поверили — Исусович. Столяровы по прозвищу. (Имя Исус, с одним И, имеется только в старообрядческом календаре. Возможно, что Исус Столяров, казак с Дона, и был старообрядцем.)

На этот раз повезли сваты и Митрия. Одели его почти во всё отцовское, как настоящего из «благородных». Как увидел девку, спорить и слов не нашлось. Молчал, посмеивался, тёмную, козлиную, как у отца, бородку пощипывал. Парню двадцать четыре года, чего ещё ждать? А Елена даже и разглядеть жениха как следует не решалась. Потупивши свои карие глаза, играла кончиком тяжёлой золотисто-русой косы. И смеяться не решалась. При чужих людях даже улыбаться неприлично. Казачки даже танцевали со строгими лицами, чтобы люди не подумали, что у девиц ветер в голове. Мать её, Александра Фёдоровна, молча выслушала сватов. И дочь не спросила, согласилась. И потом чётко, коротко и ясно, за дочь и за себя, жениху задачу задала:

— А ежели чему я её не научила, то сам ты будь умным — научи!

Увезли сваты жениха к свадьбе готовиться.

...Уже одиннадцать лет прошло с тех пор, как привезли в Николаевский рудник на отдельной подводе приданое Елены, в двух сундуках, каждый затворялся со звоном. Это для того, чтобы, если, не дай Бог, вор попробует полезть в сундук, замок зазвенит на всю избу. Сундуки теперь уже оба опустели, так что когда Елена их открывает, звон делается ещё громче, в пустоте гудит. Беличью шубку с длинной пелериной до пояса — а беличьи хвосты свисали ниже пояса — ребятишки, укрываясь по ночам, так истрепали, что в люди стыдно надевать. В зимнюю стужу дети спят вповалку на полу, чем их укроешь? Тянут друг на друга, рвут. А их уже пятеро.

Пока Егоркины годы тянулись медленно, как вечность, для Елены и Митрия они летели, как недели. За одиннадцать лет — пятеро, а если бы все выжили и не рожала бы мёртвеньких, их было бы всех восемь. Как справлялась, как Митрий ухитрялся всех прокормить, запастись муки, дров на зиму, сена для скотины? Бог один ведаёт. Всё так же — с горем пополам, как и другие шахтёры. А многие и в шахте не могут выдержать. Купоросная вода сводит ноги, калечит молодых. До старости в шахте редко кто дотянет. Избавиться от шахты — вот о чём всё чаще Митрий стал подумывать.

В крестьянском сословии Митрий не состоял. По паспорту он пишется: обыватель рудника Николаевского. Но многие обыватели уже давно обзавелись плугами, засевают по десяти десятин и живут как настоящие крестьяне. Взять, к

примеру, Касьяновых, Будкеевых, Вершининых, Поротниковых. А Михаил Васильевич Вялков, тот в шахту никогда и не спускался, а самый справный на селе. Вот и у Митрия уже три лошади да стригунок, весной будет два года, третьяком станет. Один из бедняков-соседей собирался тоже уходить из шахтёров, но этот в город собирается. Безлошадному ему там легче найти работу. Продаёт кобылу. Кормить нечем. Да заморил так, что до весны и не откормишь, а у Митрия у самого, дай Бог, до Великого поста своих прокормить.

Хуже всего, что с тех пор, как закрылись шахты в Николаевске, на работу каждое воскресенье под вечер надо пешком ходить в рудник Сугатовский, девять вёрст. Летом ещё ничего, дни длинные. А зимой!.. Иной раз буран, едва добредёшь, и посушиться не успеешь — уже утро. Надо в шахту. А то мороз такой ударит, что хоть всю дорогу пляши. Попробовал на Гнедчике верхом ездить, даже своё немудрёное седлишко справил. Да там, при шахтах, шесть дней негде лошадь содержать. Взял как-то посадил позади седла девятилетнего Миколку, чтобы обратно лошадь с ним прислать; отправил домой одного — парнёнка чуть не погубил: такая поднялась завируха, снежная метель, да на морозе! Одет Миколка кое-как, сапожонки в дырах. Шапчонка — для сорочьего гнезда годится. Хорошо, что смышлёный парнишка: дорогу не потерял, и то и дело слезал с лошади.

Пробежит с нею рядом, держится за стремя, согреется, да опять в седло. Другой закоченел бы до смерти.

Шагает Митрий, думает, а у самого ноги и горят, и стынют, хоть отруби. Меж пальцами на них от колчедана и купоросной сырости всё время сукровица выделяется. Не заживают. В шахте ещё больше промокают, а на ночлеге, в казарме, нет домашней печки, чтобы онучи просушить.

Нелегко и без заработка оставаться, а калекой станешь — ещё хуже будет.

Вот так больные ноги, что не давали ему спать, решили судьбу Митрия: оставить шахты перед Пасхой и в складчину с таким же бедняком, у кого есть две лошади, посеять не одну, а три десятины хлеба. Земли у него много, устала ждать пахаря, проросла, что твоя целина. От отца двенадцать десятин, да и брат Василий — однолошадник, свою тоже не пашет. Можно выбрать и для пшеницы, и для овса, и для ячменя — свои «толстые» щи ребятишкам будут.

Ободрённый таким решением, Митрий на Рождество сторговал Булануху. И вышло ловко: мужик согласился взять лишь третью часть наличными, вторую часть — полудесятиною пшеницы, а последнюю треть — деньгами после сбора урожая. Сговорились, и при свидетелях-соседах Митрий при-

нял от продавца из полы в полу повод Буланухиной узды. Двадцать четыре целковых за кобылу — цена немалая, кобыла захудалая да ещё и жеребая — значит, приплод... Ещё одна лошадь, Бог даст, подрастать будет. А когда будет шестёрка — можно и одному, без складчины, пахать и боронить. А там и ребяташки подрастут — своей семьёй, как Вялков, и урожай снимать можно.

Елена усиленно ухаживала за мужем: всю Страстную неделю и всю Пасхальную меняла повязки на его ногах, мужик повеселел. К пахоте он твёрдо станет на ноги и по своей земле пойдёт за собственной кривой однолемешной, на деревянной основе, сошкой.

Волнения всей семьи начались ещё до Пасхи. Все повеселели, стали говорить и двигаться быстрее и смелее. Приготовленья шли по всем правилам заправских пахарей. Митрий не один. Миколке в Вешнего Миколу будет десять лет. Он всё время неотступно при отце и с лошадьми. Строг и важен с остальными членами семьи. Егорка с завистью смотрит, как Миколка, схвативши Гнедчика или Булануху за гриву одной левой рукой, другою размахнётся вместе с босою пяткою правой ноги и — он на спине лошади. Миколка ещё потому сердит и строг со всеми, что обидела его судьба: года два тому назад играл с другими ребяташками на улице. Из самодельных самострелов стрелы острые пускали в небо. Хвалились и гордились, у кого сильнее и выше улетит стрела. Один пустил свою стрелу в небо, высоко улетела стрела; поднявши лицо кверху, завидно засмотрелся на неё Миколка, а она уже летит на землю — и прямо ему в глаз. С той поры он окривел. На левом глазу бельмо, но правым зорко видит всё, и особенно Егоркин мокрый нос.

Егорке шесть лет. Отец решил и его взять на пашню. Не помогать, а чтобы дома было легче матери, а на пашне и ему лишняя ложка настоящей каши перепадёт. И вот тут-то Миколка не давал пощады Егорке. То и дело рычал на него басом:

— Вытри нос-то!..

Недолюбивал он брата с малых лет за то, что мать и отец всегда всё, что послаще — Егорке первому. И вот берёт отец Егорку на пашню. Для чего? Какая от него помощь? Да никакой, только людей смешить. А Николай будет настоящим пахарем. Он уже знает, что значит озимое и яровое, что значит залежи и пустыри, и что такое залог. Это целина земли, а не заклад, об который несогнутыми ладонями мужики друг друга по рукам хлопают, когда о чём-либо спорят и божатся. А Егорка не знает ещё, что такое гуж и что постромка. Куда и зачем его ни пошли — притащит что-нибудь другое. А Ми-

колка знает, как седлать и запрягать, и сам уже правил всей пятёркой лошадей, когда прокладывали первую борозду на залежи. Ни разу не скривил борозды. Вот тебе и одноглазый.

Миколка-Николай знает уже все дороги и речки и названия ближних деревень вокруг села. Каждый поворот дороги знает, знает, где какой ухаб объехать. А ухабы есть такие, что всё колесо может увязнуть. Старики об одном ухабе рассказывают: малышами были, а ухаб всё тот же, никто его не засыпал, не поправил. Трава возле него растёт густая и высокая, его и не увидишь издали. Этот ухаб такой глубокий, можно всякий воз опрокинуть.

Это когда уже проедешь от Николаевского рудника около двух вёрст, переедешь речку Таловку и повернёшь налево — будут узкие, глубокие колеи колёсного пути.

Эти дороги с длинными грядками из сплошного дёрна — такая незабвенная летопись для каждого в родном поле.

Куда ни поедешь — только из села выехал, только кончились «назумы» — кучи вывезенного из дворов навоза, — как сейчас же пойдут виться эти ровные дернистые грядки, нанизанные на поля, будто гарусная пряжа. Тележные колёса ровнёхонько их понарезали, вычесали длинную траву на грядках меж колеи и слегка подчернили деготьком от густо смазанных осей. Так вот как только проедешь мельницу Шмаковых — тут этот ухаб и есть. Он такой глубокий и всегда наполнен жидкой грязью, тут тебя обязательно сильно тряхнёт, и берегись грязи. Если девки или бабы ноги с телеги свесили, — надо быстренько их приподнять, иначе все юбки окатит грязью. Понятно, тут и смех, и грех — в крестьянском быту юбки задирать не полагается. А иной мужик или парень в этом месте обязательно стегнёт по лошадям, ну вот он тут, ухаб, и веселит людей, запоминается.

А если Миколка знал всякий поворот дороги и названия земляных мостков через ручьи, то как же не запомнить тот самый Крутой лог, длинный и глубокий крутояр, на краю которого стояла пашенная землянка, избушка, выстроенная силою Михайлы Василича Вялкова, пашни которого лежали вдоль этого Крутого лога? В избушке этой Вялков приютил и Митрия, и других соседей по пашне. Бывало, набьются в непогожий день, так, что негде и хозяину сесть. Но как-то всем хватало места для ночлега. Так оно и было: в тесноте да не в обиде.

Запомнились все лица, голоса, улыбки, шутки, армяки, сермяги, закопчённые на дымных костерках чугунные смешные чайники и черномазые котелки с помятыми боками.

Мужики тут были всякие. Вот двое молодых, но безлошадных, в работниках у Вялкова. Один, что повыше, Алёха, с чёр-

ными кучерявыми волосами, был весельчак, певун, охотник, хотя ружья у него не было. Ружьё он брал у Вялкова. Вялков был стрелок без промаха. Бывало, никто не углядит, когда и где настреляет косачей или селезней, — уток весной он не стрелял и другим давал советы не стрелять; принесёт их, бросит прямо в круг, значит, для всех. Так же было и с рыбой. Наловит, принесёт и сам же уху для всех сварит: ешьте! Алёха, когда вечером все соберутся у костра, наврёт с три короба про то, как он застрелил сохатого в тайге да как обманул медведя: подбросил перед его мордою свою войлочную шляпу, тот встал на дыбы, а Алёха пырк его ножом в брюхо... Никто ему не верил, но все смеялись, и сам Алёха смеялся громче всех. Но Вялков знал, чем это враньё кончится. Алёха уставится на Вялкова широко открытыми чёрными глазами и то одним, то другим глазом подмигивает. Не выдержит этого Вялков и согласится дать Алёхе своё шомпольное ружьё на следующее воскресенье.

— Ружья мне не жалко, да ты мне весь порох, всю дробь расстреляешь, сам я чем буду стрелять?

Но Алёха всю неделю будет работать, как лошадь, всё он готов сделать, только бы ещё в субботу вечером обвеситься припасами, сунуть в сеточную сумку краюху хлеба и уйти в знакомые, излюбленные им скрадки. Там он будет ждать, курить, осмотрит и ощупает большой бычачий рог с порохом и круглый кожаный мешочек с дробью. Всё сделано «по форме», как делали столетия назад; всё прилажено к ремню: и мерка для дробин, и пыжи, и огниво-кремень с трупом, чтобы во всякую погоду огонь добыть. Но заряжает он ружьё не меркой, а на глаз, горстью. Бьёт его ружьё прикладом в правое плечо, но плечо у него молодецкое, всякий синяк стерпит.

Были на стану и старики, с седыми, длинными, лопатой, бородами. Один из них, не перекрестившись, ни ложки не возьмёт, ни первой борозды пахать не зачнёт. И слова зря не бросит.

А другой, с чёрною подстриженной бородой, старый шахтёр, что ни слово, то и закорючка с крепкой шуткой, но до самого низа слов не допускал: Вялкова стеснялся и щадил малых ребят. Среднего возраста пахари, те степеннее, больше молчали, а если скажут что — оглянутся, проверят: слышали ли их и что из этого выходит?

Избушка была частью выкопана в земле, частью выложена из дёрна и дёрном покрыта. Вялков сам серпом срезал траву на крыше, чтобы гуще прорастала и дождь бы скатывался без задержки. Некоторым мужикам, кто это видел, было неловко, они бросались помогать, да дело было уже сделано, не успевали догадаться вовремя.

Всё это было так ново для Миколки и Егорки, что и их собственный отец казался здесь другим. Да и самая земля вокруг была для них уж не землёю, чёрной или серой, в которую хоронят мёртвых, а такой большой, подпёршей небеса, такую неоглядной и холмистой, что и было зелёной и весёлой пашней.

Как будто только здесь, на пашне, и лицо отца помолодело. Небольшая, клинышком, борода на солнце порыжелела, но тёмные волосы были намаслены и всегда гладко причёсаны. На голове дешёвенький картуз, выцветший и с переломленным блестящим козырьком. Этот козырёк был особенно незабываем. Все вялковские ребятишки к Пасхе выражались в картузы с такими вот, но целыми, ярко блестящими козырьками, хотя на пашню приехали в стареньких зимних шапках. Митрий купил этот картуз для Миколки, но тот на праздниках где-то сломал козырёк, и дня три не смел показываться на глаза отцу. Для него это была горькая, большая беда. Картуз был велик, его легко сносил с головы ветер, и потому он пострадал так скоро. Отец отнял у Миколки картуз. Но для отца картуз был слишком мал, сидел смешно на голове, над самым лбом и набекрень. Но блеск на солнышке лакированного козырька придавал всему наряду Митрия весёлый, молодецкий вид. Только две складочки на шее, пониже ушей, изгибались, как два узенькие чёрные шнурочка. Это въевшийся за зиму в шахте колчедан.

Но Митрию сидеть и слушать разговоры у костра или в избушке было некогда. Ходил он быстро, быстро ел и того быстрее бросался на работу. Забота пахаря ложилась на него монашеским молчаньем.

Пяти лошадей даже для простой сохи недостаточно. Сибирская земля крепка и тяжела, к тому же давно не пахана. У мужика, с которым он пахал в складчину, пара лошадей была слабее его тройки, но на пяти лошадях Митрий уже был пахарь и хозяин. И хотя снасть была на деревяшках да на верёвках, всё ломалось и рвалось, а всё же начали пахать, чуть свет вставали, чтобы не отстать от опытных хозяев. Один день на пятёрке пахут, другой на двух, попеременно, боронят. Впервые Митрий ходил с мерою зерна по свежей, чёрной, пахучей пахоте, как настоящий сеятель.

Какая терпеливая мать-земля! Какой она заботливый и нежный друг! Для всех она весною раскрывает свои объятия: иди ко мне, приму и накормлю, и убаюкаю раздольной трудовой песней.

Не все поют, не до песен и Митрию, но через него проходят песней эти ранние холодные утра на пашне, с инеем на молодой траве, с румяными восходами из-за далёких синих гор, с первой и такой заливистою песней жаворонка... Ведь только

пенье этих жаворонков, их медленные, певучие взлёты, их утопание в синеве небес, когда их песня всё ещё доносится на землю, может напитать всякое сердце радостью до смерти. Но какая драма для Миколки, когда однажды под чёрным пластом пахоты он увидел, как промелькнуло и опрокинулось в борозду крохотное гнёздышко с тремя яичками. Осталось принести ещё только одно — и птичка села бы на них и наслаждалась бы материнством.

Но и птичка пахарю это простит. Она совет другое гнёздышко, и тогда опять муженёк её будет ей петь и вздыматься, петь и спускаться. И вдруг замолкнет. Значит, сел, принёс ей червячка. Вот диво! Дивное диво — земля!

Не всё ещё видел, не всё ещё понимал Егорка. По траве и по кустам босому ему бегать страшно. Уже два раза сам змею видал. А до пахоты надо идти через заросли и обрывы Крутого лога. С собой его Миколка редко берёт на пахоту. «Мешаешь», — говорит. Егорка сидит один в избушке или возле, на стану... Вот тут он и увидел, один на один, Михайлу Вялкова, настоящего богатыря, величественного пахаря. Пришёл Вялков на стан обед варить. Его большие голубые глаза остановились на Егорке с мягкой улыбкой. Ни слова не сказал, только дал ему кусочек вяленого мяса. Длинная прямая борода, спускавшаяся к поясу, легко погнулась под ветерком и легла на плечо.

Забыть такого невозможно. Чем позже в жизни, тем сильнее и красивее выростал он в памяти Егорки.

Голос его был тих и мягок, с высокими нотками. Он не был очень высок, но так широк в плечах, что между ними уместятся двое таких мужиков, как отец Егорки. Движения его были осторожны и медленны. Так должны двигаться богатыри среди множества хрупких и громоздких вещей — как бы чего не задеть, не уронить, не разбить. Вялкова никто не помнит злым. Он сам говорил:

— Не приведи Бог, ежели доведётся ударить кого. Рука моя тяжёлая.

Да никто и не сердил его — причины не было. Никому не должен, никого словом не обидит. Жена, как голубица мирная, худая, от ветра упадёт, а над детьми, как курица-наседка над цыплятами, — их и под крылышко, им и всякое зёрнышко. Хорошо, всего в досталь, а детей всего четверо: дочка Клабочка двенадцати лет да три мальчика: Матвею — семь, а он уже в седле, по ловкости равен десятилетнему Миколке, да два четырёхлетних близнеца: Иван да Николай. Михайло так и зовёт их, как больших, а не Ванькой и Колькой. И оба они такие шустрые, во всём шустрой Егорки. И все три с отцом на пашне.

Когда Михайло сварил обед, он встал на обрыв Крутого лога, и через гулкую и обрывистую глубину и долину оврага раздался его зычный голос:

— Выпряга-ай-те-е!

Вдали за крутояром поля его чернели сплошь, работники пахали там в два плуга, а Матвей боронил на трёх лошадях. Как врос в седло сызмалетства, чернявый, в мать, семилетний парнишка.

Всё это Егорка видел и как-то молча, по-своему, старался всё понять: даже маленькие Вялковы все в сапогах, зипунчики, а зимой шубки — всё по росту, новое, и всего у них хоть отбавляй. Мясо варят четыре раза в неделю, только в постные дни варят чай да кашу, зато чай пьют с мёдом — своя пасека. Отец им мажет мёд на большие ломти хлеба, не жалеет. Иногда и Егорке даёт. Но Миколка этого терпеть не может и раз Егорку даже дёрнул за вихры:

— Стыда у тебя нету! — Сам Миколка даже не смотрит, когда другие люди едят.

Но в этот день Егорка был в избушке один, когда Вялков дал ему вкусный кусочек вяленого мяса. У них тоже есть вяленое мясо, но немного. Отец бережёт на праздники. Егорка знает, как вялилось солёное мясо весь Великий пост под карнизом крыши их избы. Чтобы вороны не склевали, завешано мясо было старым неводом.

Но вот когда собрались на стан пахари для обеда и для перемены лошадей, произошла тревога, суматоха, крик. Миколка на двух чужих лошадях боронил, а Митрий сеял. Оба запоздали с едой. А все три собственные лошади паслись на зелёном склоне оврага. Булануху приманила зелёная травка к самому ручью, что пробежал по дну Крутого лога от ещё не растаявшего снега. И потянулась она к воде попить, а тут как раз глинистый ярк, вода промыла яму. Лошадь была спутана.

Пока пила, спутанные передние ноги ушли в засасывающую тину. Чем больше она пыталась вытащить ноги, тем они глубже уходили в трясину, и наконец она всем крупом завалила ручей, и вода образовала перед нею пруд. Лошадь уже захлёбывалась, когда Миколка увидел её и закричал отцу. Митрий бросил кашу в котелке на костре, сбежал вниз. Кобыла громко фыркала и задыхалась. Пока сбежали вниз другие мужики, он руками и ногами рылся в глине, чтобы отвести воду, но вода и грязь всё глубже засасывали кобылицу. А кобылица жеребая, «на сносях». Сама погибнет, и жеребёнок в ней...

Полдюжины мужиков взялись за гриву и за хвост, напрягли все силы, затанули даже трудовую — только сильней забилась, только ещё глубже влипла в тину обессиленная лошадь.

Но в эту самую минуту, не спеша, на широко расставленных ногах, не сошёл, а скатился, как на лыжах, под косогор сам Вялков. В больших глазах его блеснули выпуклые белки, затем как будто даже налились в них кровавые прожилки. Этими глазами он быстро смерил всех людей, ручей и берег и размеры всего несчастья. Сгибая спину, взмахнул руками, как крыльями, по направлению к возившимся около тяжело стонавшей кобылицы мужикам и негромко произнёс:

— Ну-те-ка, уйдите!

Как в сказке Егор Святогор, нашедший суму с золотом, хотел её поднять, упёрся да и ушёл по пояс в землю, так и Михайло Вялков, замотавши на правую руку чёрный хвост лошади и откинув левую, упёрся так, что сразу же выше колен погряз в глинистую трясины. Но время было дорого, он упёрся ещё сильнее и погряз до пояса. Но зато теперь он стоял довольно прочно. Теперь он дал работу и левой руке, схвативши ею гриву лошади, и обеими руками сперва раскачал её на мутной воде и сразу, как огромную суму, поволок её слева направо, вокруг своего тела, на берег. Лошадь, мокрая и грязная, дрожа всем телом, встала на ноги. Скопившаяся кучка мужиков завывала от восторга, а Вялков, смотря из-под войлочной, пирогом, шляпы, протягивал к ним руки и тем же негромким голосом ругался:

— Какого чёрта — тяните меня!.. Тут студёно стоять. Вода-то снеговая...

Но не так легко было вытянуть его из глины. Долго возились мужики, пока им удалось помочь богатырю.

Остаток дня прошёл в рассказах тем, кто этого не видел. Люди не верили своим глазам, как один человек мог вытащить жеребую кобылу из такой трясины, в которой сам увяз до пояса. Вялкову даже надоело слушать удивлённые вопросы, и он просто огрызнулся:

— Да не сила тут нужна, а смекалка. Под кобылой же полно было воды. Надо было только приподнять её. Вода подплавилась её, я и вытащил. И то ошибку сделал. Надо было налево тащить, за гриву, головой вперёд, а я за хвост... Так уж второпях вышло.

Тут уж все, и Митрий радостнее всех, захохотали. Митрий готов был помириться с тем, что кобыла помяла жеребёнка, непременно выкинет мёртвого. А всё же ночь не спал, мыл, чистил, кормил кобылу.

Все спали вповалку, прямо на земляном полу избушки.

Немного соломы, войлок, сверху кое-какая одежонка, а главное, тепло от тесноты тел. Егорке между отцом и братом даже было жарко. Он помнит этот запах старой соломы, подсыхшей земли и дыма от костра. Дым этот особенно впитыв-

вался в одежду, когда одежда вымочена дождём и сушится над костром.

Утром отец Егорку обычно не будил — для помощи ему на пахоте он ещё мал — и оставлял его спящим в избушке.

Но Егорка не хотел оставаться один в пустой избушке, потому что ему страшно одному в чёрной, закопчённой землянке. Иногда, в ненастную погоду, разводили здесь костёр, сушились, жарили картошку — закоптили. А снаружи и того страшнее.

Вдруг волк придёт или покойники, о которых по вечерам взрослые болтали. По утрам он просыпался, хотел быть мужиком, как все, но отец не брал его с собою, и всё кончалось опять рёвом.

Но в это утро отец разбудил Миколку и Егорку даже раньше всех, лишь чуть зажглась заря. Голос отца был особенно ласков и тих, а лицо смеялось. Дома, в избе, он почти всегда был грубым. А тут, на поле, он смеялся...

Когда Егорка встал и выскочил вслед за отцом и Миколкой из землянки, отец повёл их в сторону Крутого лога. Егорка ничего не видел там, кроме огромного, немного почерневшего с краёв, слежавшегося снега, притулившегося к северному склону оврага. Но потом, когда протёр глаза, увидел чудо.

Там, на зелёной лужайке только что распустился черёмуховый куст, весь белый, как будто его покрыли крупные хлопья снега. А под черёмуховым кустом стояла Булануха, и теперь её чёрный хвост и грива и весь буланный (цвета сливочного масла) круп особенно выделялись. Точно от неё и куст черёмухи стал ещё белее.

Но самое чудесное — под брюхом Буланухи стояла маленькая, в блестящей гладкой шёрстке мышинного цвета, с коротеньким кудрявым хвостиком, лошадка. Ножки её были такие тоненькие и высокие, что было удивительно, как на них может стоять эта лошадка. А лошадка не только стоит, но даже ходит и всё время лезет мордочкой под брюхо кобылицы-мамы.

А Булануха, изогнувши шею, всё время нюхала эту лошадку и тихо-тихо ржала, явно говорила о чём-то, и ласкала маленькое, еле державшееся на ногах своё дитя.

Микола первым бросился к ней ближе. Булануха сердито храпнула и повела лошадку прочь от черёмухового куста. Но Митрий смело к ней приблизился и, потрепав по шее, что-то говорил ей на особом, не на человеческом языке. Он как-то хохотал, тпрукал, посвистывал и как будто даже ржал полошадиному, стараясь передать Буланухе всю свою радость: и сама жива, и даже благополучно разрешилась жеребёнком.

И как же глубоко и крепко вошла в сердце Егорки эта утренняя заря! Из-за горы она вставала как золотой кокошник всей земли. Стреловидные лучи и её румянец распространились на лёгкие крылья снегоподобных облаков. Неопишуемая заря!

Так родился Карчик, лошадь, вместе с которой суждено было Миколке и Егорке вырасти и принять купель крестьянского труда.

Через неделю поля, увалы и отлогие склоны холмов вблизи и вдаль покрылись чёрными, пока что узкими и длинными полосами пахоты, но упорно расширялись и росли. И не надо было этому придумывать какие-то слова. Потому что это было счастьем Егорки и Миколки, их отца и всего белого света. Отовсюду слышались высокие ноты голосов, понуждающих лошадей, чтобы легче было им тянуть плуги и бороны и телеги с семенами. Переключки взрослых и подростков, ржание кобылиц, запряжённых в сохи и плуги и обеспокоенных о жеребятках, смешивались с непрерывным щебетаньем жаворонков и карканьем воронья. А позади запряжек кое-где ходили маленькие жеребятки и при всяком роздыхе вспотевших матерей лезли им под брюхо пососать и подкрепиться...

Для маленького Карчика Митрий намеренно подольше задерживал остановки лошадей. Овса у него не было, но он купил три мешка отрубей, рубил топориком на мелкие частицы сено, а иногда и солому, мешал эту «сечку» с водой и отрубями и тем поддерживал тяглую силу лошадей. Но пахота их истощала, рёбра у Буланухи хоть пересчитай, а жеребёнок её тянет, ему тоже нужна сила — ходить и ходить следом за сохой или рядом с матерью. Иногда на стоянке насосётся, отойдёт на травку, ляжет, раскинет хвост и гривку, вытянет тоненькие ножки и заснёт. Но когда вся запряжка тронется и уйдёт на другой конец пахоты, а Булануха беспокойно и длительно заржёт, жеребёнок вспрыгнет на ноги и несётся к ней напрямик, через рыхлую полосу земли. Тоже и этот малыш трудится.

Больней всего видеть это для Миколки. Но он молчит и утешается тем, что Карчик растёт не по дням, а по часам, и иногда, как бы дразня мать, вдруг поднимет трубой короткий хвостик и понесётся кругом по полю, но сейчас же сам испугается, заржёт звонко и протяжно и вернётся к матери. И мать заржёт, как будто захочет от радости, и нет ничего слаще для Миколки, как видеть, что после ячменя и пшеницы отец засеял целую полудесятину овса. Уж выкормит и вырастит он себе коня!

Но тяжела земля, хоть и щедра и добра, как мать. Потрескались у Миколки под солнцем губы, поседели от пыли у отца борода и брови. До крови набились плечи у двух лошадей. Плохие хомуты. У Игреньки распухла и гноится спина под седлом, в котором ездит с утра до вечера и правит лошадьми Миколка. И нет времени залечить рану. На неё опять кладут потник и подседельник, и опять давит и трёт седло. Гнедой мерин не выносит подпруг седла, лягается. Он ходит первым в борозде, вожаком. Седлать Булануху было бы жестоко.

И болью лошади страдает пахарь, а остановить пашню нельзя. Правду говорят: весенний день — год кормит.

Щедро сыплет пахарь в землю семена, но всё теперь — от неба. Вот две недели нет дождя, чернота полос посерела. Суховеи поднимают её пылью... Поглядывает пахарь на юго-запад — не покажется ли тучка. Как раз бы покропила всходы. Но в небе нет ни облачка... Ну ничего. Бог не без милости. И пахарь ходит по свежевспаханной земле, щедро бросает семена — на волю Божию. А ветер разрастается, хватает на лету брошенную часть семян, уносит в сторону... Меняет направление — не приноровишься, как бросать зерно. Не будет ровности в посеве: там, где нет зерна, — сорная трава задавит колосок, там, где густо бросилось, — колосья будут мелкими, зерно осыплется до жатвы.

Богатырём духа и терпенья должен быть пахарь. Мудрецом опыта должен быть сеятель.

— О Господи! Пошли дождя!

И неожиданно на крыльях ветра вырывается из-за горизонта туча. Но не дождь несёт она, а бурю. Поднимает буря весь верхний, сухой слой земли и вместе с семенами расшвыривает на нераспаханные пустыри, на склоны сопок, в долины речек, в пыль дорог.

А уже потом, когда натешится и унесётся ввысь или провалится сквозь землю и затихнет, в тишине утра или на закате дня покажутся из-за края земли долгожданные небесные корабли с парусами светло-серыми, иногда тёмными, среди которых сперва беззвучно, а потом с чуть слышной воркотнёю грома зазмеятся молнии.

И это будет дождь, иногда ливень, который смоем и унесёт с грязью не пустившее ещё ростка зерно; но всё равно — это дождь, отрада земли. Сама жизнь!

III

Один из светлых дней

Есть ли в другой какой-либо стране, в Европе или Азии, такое название летней поры, которая в России называется стра-дой? И где ещё на свете земледелец назывался бы «крестьянин»? Что за приставка к слову «крест» — это самое «янин»? Мы знаем, что «изъян» есть недостаток, нечто согнутое, третьесортное, плохое. Не за этот ли крест, сгибающий его всю жизнь, крестьянин получил в награду слово «мужик» и даже совсем уничижительное — «смерд»? И почему «страда» распространяется только на лето, а и не на дождливую, грязную, мучительную осень или на длительную, мертвящую пору зимы? А самая весна не является ли для мужика только началом страды-страдания?

И всё-таки... И всё-таки как могуч и терпелив, как вынослив и непобедим мужик-крестьянин, когда он твёрдо станет на родную землю. С какую славой он несёт свой крест, этот истинный хлебодавец и кормилец всего сидящего на его могучих плечах мира избранных и более счастливых.

Егорка подрастал на стыке двух столетий, не зная и не умея помышлять о том, что несёт ему и всему его народу цивилизованный двадцатый век. Он не знал, что тысячи безземельных и безлошадных молодых парней из России и Сибири уйдут в Америку. Отрываясь от родной почвы, они будут копать там уголь для задымленья великих городов и дляковки стальных машин-гигантов, которые внесут свой грохот и скрежет и на мирные русские пашни. И не случится ли, что и из вольного сибирского пахаря машины сделают опять раба и смерда?

Но жизнь великого народа — великая и многоводная река. Она заковывается льдами в зимние морозы, вздымает и ломает их весною, пополняет воды ливнями лета и осени и высыхает только в песках пустыни или на болотистых равнинах. Но коль скоро и в песках, и на болотах появится китайский ли кули или египетский феллах, он и в просмолённом холстяном ведре наносит влаги на свою полосу или выроет колодезь и примитивным, древним способом, при помощи осла или вола, накачает воду, чтобы и в пустыне вырастить его насущный хлеб и накормить детей и утвердить звенья непрерывного крестьянства. Вот почему крестьянство, даже бедное, не вооружённое великой техникою современности, переживёт века и будет вечною основой жизни и надеждой всего стоящего на краю погибели человечества. Но неописуемо многообразие всех бед, нужды, борьбы, болезней, душев-

ных мук и безысходности народа русского! Панорама всей народной тяготы просто необъятна ни в пространстве, ни во времени. Приходится брать капельки из того же океана жизни и вглядываться в них как в малую крупицу всего целого. Но как ограниченно воображение и как ничтожны его восприятия в сравнении с живой, клокочущей страданиями народной стихией!

А впрочем, сказанное выше сказано лишь для того, чтобы напомнить о кресте, распятии и воскресении. И что жизнь народная не так скучна и монотонна, что и у мужика есть свои радости.

С грехом пополам и с горем попеременно отпахались мужики, кто за неделю, а кто и раньше, перед Троицей. Была ли тяглая сила, не было ли силы, всходы яровых посевов ждать не будут. Всем им своё время, и они должны созреть в таком порядке, чтобы первым жать ячмень, а перед тем не упустить покоса. Но и траве надо дать время вырасти, да ещё разделить общественные луга каждое лето равномерно, по числу душ, так, чтобы кому в прошлом году достался плохой сенокос, нынче он мог бы получить по жребью получше и на новом месте. А и опаздывать нельзя, особенно с уборкой ржи. Поспевает она почти что вместе с ячменём, а чуть-чуть перезрела — дунет ветер, и зерно осыплется. Значит, взялся за пахарский гуж, так выдюживай да поспевай.

С сохой и с опрокинутыми боровами, с колодой для корма, с мерой для зерна, с логушкой для дёгтя, со всем накопленным за шесть недель на пашне скарбом на двух телегах, на пяти лошадях — две из них чужие, — со стригунком без повода и с резвым жеребёночком у брюха кобылицы-матери, с обеими собаками, Цыганом и Булькой, с Егоркой на первом возу, с Миколкой на другом, — тронулся Митрий со своих первых распаханных, частью уже позеленевших полос пашни домой, в село.

Никогда ещё родное село не казалось для него таким приятным на вид, когда, поднявшись из долины речки Таловки, он увидел его перед собою. Слева первыми краснели и желтели холмы отвалов брошенной руды над огороженными шахтами (чтобы корова или лошадь не упала в залитые водой глубокие, бездонные провалы). А дальше налево блеснул позолоченный крест церковки, вместительной, но невысокой, потому что колокольня стоит в углу ограды на столбах. Митрий истово, сняв картуз, перекрестился. Есть за что благодарить Бога: больше трёх десятин для себя, полторы десятины для шахтёра, доверившего пару лошадей, и полдесятины — долг за Булануху, значит, шесть с лишним десятин за шесть

недель, дай Бог всякому вспахать и заборонить. Правда, Ивану хлеб посеял на его земле и его семенами, но старался Митрий для него усерднее, чем для себя. Земля не соврёт: если мелко вспахать и плохо заборонить, вместо хлеба вырастет бурьян, — что люди скажут?

По обе стороны села, с севера и с юга, стояли высокими серебристыми щитами тополёвые рощи. Приятно было и на них смотреть. Когда и разрослись так высоко? От лютой бури с обоих концов защищают всё село и Митриеву избу.

А за рощами вправо и влево зеленеют сопки. Между ними текут ручьи, извиваются знакомые тропинки. Вон потихоньку с одной из сопок спускается стадо коров. Там есть две дойных да тёлка, да двухлетний бычок самого Митрия. Слава Тебе, Господи!

Устал Митрий, осунулся. Лицо и шея потемнели от загара, борода и волосы в пыли, но он весел и доволен. Поправил картуз, с усмешкой взглянул на Егорку, потихоньку затянул песенку без слов тоненьким, бабьим голосом. Так изредка поёт Елена.

Елена встретила пахарей с вёдрами на коромысле, в подтыканной юбке, босая. Только что пришла из огорода и попутно принесла с ключа воды, а в воде плавали стебельки зелёного лука и жёлтые огуречные цветочки. Как знала — как раз будет окрошка, потому что есть и свежий квас на льду в погребе. Этот квас и этот лёд не у всех в погребе бывает, даже у зажиточных, а Митрий умудрился навозить лёду в Великий пост перед самой Пасхой, когда лёд на реке Убе — три версты от села — только что тронулся, и разлив воды вытолкнул льдины на берег. Немногие успели наколоть и навозить его, как он уже растаял. Ну, богатенькие лёд возят ещё зимой. Да и не всяк бедняк имеет время и деньги нанимать мастеров этого дела. Голыми руками лёду не наколешь, простым топором за целый день и воза не накрошишь. Но Митрий ухватил денёк, украл у недосуга.

С пашни Митрий приезжал много раз за провиантом, а Миколка и Егорка были дома только один раз, на праздник. Показалось Елене, что оба мальчика так выросли и загорели, как цыгане. Егорке было новостью видеть двух наседок, которые без него за это время вывели цыплят. Цыплята так шустро рылись в навозе около квочек, что их трудно было сосчитать. Они лезли под крыло матери, вылезали из-под него, быстро склёвывали то, что она им находила, и снова смешивались в кучу с цыплятами другой наседки, которая уже сама не знала, которые её, которые чужие. Петух ходил тут же. Не обращая никакого внимания на молодое поколение, он строжил над полудюжиною взрослых разноцветных куриц и, увидев при-

ближение Егорки, а за ним обеих собак, сердито покосился на них огненным глазом, с достоинством отошёл в сторону и строго выкрикнул:

— Кто-о тут? — Потом ещё дальше отбежал от собак, захлопал крыльями и заорал: — Карау-ул!

Вблизи избы успела вырасти полынь. Одно прясло зимнего пригона упало, и видно было, что для коров не надо открывать по вечерам ворота. Они входили и выходили сами через упавшие жерди. И не только надо было поправить это прясло. Много дел ждало Митрия. Первым делом в сенцах (амбара у Митрия не было) он заглянул в большой деревянный ящик: муки осталось на донышке. Придётся опять идти с поклоном к тому же Кириле Касьянову. Придётся сказать: во время страды оба с Еленой на поле отработают. Даст, не откажет. Иногда молодой Кирила — косая сажень ростом — запивает. Старик отец — плотник, золотые руки. Спрячет пилы, топоры и сапоги Кирилы, чтобы сын не заложил, не пропил. А проспится Кирила — нет более старательного, более благо-разумного хозяина и отца семьи.

Пока распряглись, разложились, подсохли лошади, в избе стоял дым коромыслом. Елена готовила «мужикам» ужин, это значит, мужу и двум сынам. Егорка горячо рассказывал Оничке про невероятные события на пашне, обо всём сразу, не поймёшь, врёт он или всё видел во сне. Оничка не очень слушала братишку, у неё были для Миколки, а не для Егорки, свои такие новости, о которых рассказать без мамы невозможно. Но когда пришли все в избу и отец помолился на иконы и все сели за стол, Елена взяла на руки годовалого Андрюшку, чтобы попутно и его покормить кашей, спокойно и торжественно сказала:

— А у нас вчера Грушенька с мужем были. В Змеёво за товаром поехали.

Митрий ловко, чтобы не уронить крошечки, нарезал и разложил перед каждым ломти хлеба, не очень пропечённого и с отрубями, внимательно взглянул на жену и молча ждал. Как же, это, должно быть, важное событие.

Грунюшка, четвёртая дочь Александры Фёдоровны, вышла замуж семь лет тому назад. (Третью дочь, Ирину, она выдала за казака ещё раньше.) Елена тогда выплакала у Митрия его согласие, чтобы он повёз её на свадьбу Грушеньки. Богатый человек, Павел Иванович Минаев, молодой купец из деревни в низовьях реки Убы, а в Убинском форпосте, где Уба впадает в Иртыш, оставались ещё три младшие сестры Елены. Повёз он её, занимал и сбрую для Игреньки, и сапоги для себя, и денег у Вялкова. Детей — Егорка тогда ещё не был на свете — оставили у Митриевой сестры, Катерины. Отгуляли

свадьбу знатно. С тех пор не раз Елена с попутчиками ездила к ним в гости. Однажды увезла с собой и там оставила простуженную Оничку. Оничка была там почти всю зиму, поправилась. От Грушеньки Елена привезла всякой всячины и для детей, и для себя.

Уж ежели Елена так тихо говорит и улыбается, наверное, и теперь богатые родственники не с пустыми руками приехали. И вот после ужина Елена открыла один из сундуков, и замок его, в самом деле, не гудел так громко, как он гудел при пустоте. Чего только там не было! Прежде всего — Митрию новая рубашка, синяя с цветочками, и почти что новые штаны с Павла Иваныча. Штаны с большого роста, надо поубавить, но к Троице Елена это успеет сделать. Оничке два новых платъица, одно на рост, когда подрастёт, другое как раз в пору. И башмачки, и самой Елене башмаки, правда, не новые, и юбку с кофточкой. А Миколке и Егорке по рубахе да на штаны две пёстрые холстины. И платочки разные, и всякого белья — не новое, но всё чистое, поглаженное. Дай им Бог здоровья! Тут Елена не выдержала и заплакала... Потом вытерла слёзы и прибавила:

— Сказали, что Сашеньку за Василия Быкова просватали. Сашенька у них, у Минаевых, всю зиму жила, вроде приказчицы.

Митрий знал Василия. Сызмалетства в приказчиках у Минаевых. Высокий, мастер на все руки, только что уж очень смуглый, наверное, из киргиз. А Сашеньке теперь уже за двадцать, маленькая и, как все сёстры, белокурая, весёлая. На Грушенькиной свадьбе две сестры были ещё девочками: Сашенька да Марья, обе были в белых платьях, шаферицами сестры. За Марьей идёт ещё Варвара, тоже подрастает. Обе красавицы, и эти долго не засидятся.

— Ну вот, — сказал Митрий, довольный всеми обновлениями, — не плачь! Бог даст, поправимся, на всех свадьбах отгуляем.

Елена из этого могла понять, что и на свадьбу Сашеньки удастся его уговорить поехать. Знала сама, что это им не по карману. Нельзя же бедностью трясти на чужих людях, Митрий и сам не любил побираться, а всё-таки обидно, если Елена родную сестру не проводит к венцу.

Солнце закатилось, Митрий зашпешил к подсохшим лошадям. Шахтёр Иван на работе. Надо и о его лошадях позаботиться. Миколка уже знал, что лошадей вести в табун — его обязанность. Но в какой стороне табун? Если на Берёзовке, то обратно на ночь глядя придётся ему идти пешком четыре версты. Да ещё все пять узд на себе тащить. Но всё равно, не отца же заставлять возиться с лошадьми. При выезде из села Миколка спросил у встречного парня:

— Не знаешь, где табун сегодня?

— На Половинном, — ответил незнакомый парень и зорко оглядел костистых лошадей Миколки.

Это значит — четыре с половиною версты. Гнать лошадей нельзя, вспотеют. Надо ехать шагом. Долго ехал, долго искал табун в сумерках. Только по ржанью лошадей услышал, что табун (это общественный табун, до трёхсот коней, под пастухами) разбрёлся по равнине на северо-восток между гор. Надо было знать, чтобы не заблудиться: берёзовские выпасы остались за горой, на юге, а пашни на юго-западе от села. В глубокой темноте, без дороги, по росистой траве шёл Миколка домой. Дырявые его сапожонки промокли от росы, онучи вылезли и тащились, он наступал на них и падал. Пальцы ног то и дело натыкались на острые колючки. Узды за спиной позвякивали удилами. Это хорошо: волки боятся железа. А если нападут?.. Он ускорил шаг и не останавливался даже дух перевести.

Ах, как всё это рассказать, когда не знаешь, что рассказывать сначала, что потом? Всё как будто мелочи и пустяки для тех, кого это не касается, а вжиться в эту жизнь да стать между этими людьми — всё будет важно, всё самое главное. Уж и так жизнь нелегка и скрашивается редко добрыми людьми. Понятно, что подарки Грушеньки Минаевой, ставшей доброй потому, что выросла в сиротстве, а тут пришло счастье и достаток; муж, Павел Иваныч, такой большой и добрый и так любит Грушеньку — рада она сделать хоть немножко счастливее и её сестру с пятью детьми и в бедности. Вот на Троицу и будут все с праздником. А в бане вымыться опять же надо проситься к Касьяновым. И в канун Троицы все семеро, маленького Андрюшку, стало быть, с собою взяли, пошли и вымылись в бане. Натопили жарко, накалили каменку добела. Как набросали раскалённых камней в кадку с водой, вода закипела. Пар в бане, никого не видно. Вымылись, напарились. Напарился Митрий докрасна, всю тяжесть заботы и усталости как будто сразу сняло с его плеч, и тут же в бане решил: завтра всей семьёю в церковь — Богу свечку поставить. Встали рано, коров Елена подоила — гони, Миколушка, коров в коровье стадо за селом! Митрий деготьком подчернил старые свои сапоги. Штаны от Павла Иваныча были длинные — не успела Елена укоротить. Заправил их в голенища — славнецкие штаны и без поправки. Рубаха и своя была для праздника. Занялся сыновьями. Микола в церковь не пойдёт. Не потому, что сапоги плохие, а потому, что с вечера сговорился с двумя одногодками пойти на реку Убу, рыбу удить. Он засучил уже гачи стареньких штанов выше ко-

лен — рыбакам сапог не надо. С удочкой они забродят в воду. Ближе к рыбе. Удилища вырубил и высушил ещё на пашне. Тонкие и длинные, из тальника, три привёз, чтобы каждому по одному, а у товарищей есть лески и крючки. И червей накопал с вечера, тут же, близ дома, в навозе. Только хлеба нужно да немного соли: рыбу будут на костре на палке жарить. Не могли его отговорить от рыбалки ни мать, ни отец. Микола-Николай задолго до звона в церковь с удочками на плече пошёл. Но тут начался рёв Егорки. Он тоже хочет на рыбалку, но Миколка не берёт. Погнался, разревелся до кашля, с отчаяния стал плясать. Миколка вернулся, схватил его за волосы и бросил в пыль: «Сказал, не пойдёшь — и не пойдёшь!». Пришлось Елене уговаривать Егорку и в церковь босоногого вести. Но в церковь снарядились вовремя. Егорку взяла за руку Оничка. Она, как ягодка, вся розовая, в розовом платъице, с красной ленточкой в косичке, в новых башмаках со скрипом — от тётки Грушеньки все обновы, даже маленький платочек в руке. Митрий и Елена шли с нагрузкой. У Митрия на руках трёхлетняя Фенька, а у Елены годовалый Андрюшка. Идти надо на горку, далеко. Туда идут и Касьяновы, и Колотушкины, и соседи Поротниковы, и Трусовы с дальнего конца села. Трусова жена одета как купчиха, а здороваается как равная и называет Митрия и Елену по имени и отчеству. А там и другие, старые и малые идут, девушки цветы несут и зелень, обгоняют всех, спешат украсить вход в ограду церкви. Троица, солнышко ликует. У Егорки высохли слёзы на глазах, крутит головой по сторонам, вырывает руку у сестры, хочет идти сам, один. От синей рубашки лицо его отликает синькой, но он смотрит не намотрится на свою рубашку и на штанишки трубочками, с бахромой до пяток. Не успела мать подшить штанишки, но успела их хоть ему одному сшить. Но видит он, что все мальчишки в сапожках, и даже самые малые, что на руках у матерей, — в башмачках, а он босой. Он оглядывается на мать и на отца. Если они первыми войдут в церковь, можно убежать домой. Но перед входом в ограду они берут за руку Егорку и даже Оничку, чтобы не потерять в толпе. Как раз на ступенях паперти стоит ряд нищих, и среди них Анемподист, дурачок. Высокий, борода щетиной. Народу накопилось много, все сразу даже и в церковь не вместятся. Народ привалил с заимок, с окрестных деревень, где нет ни церкви, ни священника. Вот тётка Лизавета из Таловска, с сыновьями Сашей и Ильёй и с тремя дочками, подъехала на паре лошадей. Сам Виктор остался дома, хозяйство всем нельзя оставить. Егорка узнал Ольгу, она уже совсем большая, старшая из дочерей. А Лизавета, крёстная Онички, увидела её, подошла, расцеловала, похвалила платъице. Лицо Елены разгорелось от ходь-

бы и тяжести и от радости, что встретила родных. Но самое главное, что занимало Егорку от самого дома, — это звон колокола. Он напомнил ему что-то, что было давно-давно. Но то было как сон, а теперь всё это ярче виделось и громче слышалось. Звон нарастал по мере приближенья к церкви. И вот он видит при входе в ограду Матичку Плохорукого, трапезника. Тот, стоя, негнущейся крючковатою рукою дёргает верёвку, протянутую на колокольню и привязанную к языку большого колокола. Значит, это он звонит. Звонит и при каждом ударе колокола успеваешь кланяться входящим прихожанам. Одним, что получше одеты, — пониже, другим не очень низко, а малышам совсем не кланяется. Не поклонился и Егорке, но отцу и матери поклонился низко, так же, как Зырянову. За это и за что-то ещё полюбил Егорка Матичку. Ах, вспомнил, за что ещё. За то, что на Пасхе он звонил во все колокола все семь дней недели, и так хорошо, что детвора на полянках плясала под его музыку. Много ребятишек собиралось возле колокольни, и Матичка некоторым даже позволял залезть на колокольню и учил их звонить. И Миколка пробовал, но это трудно. Сам Матичка опутывал себя верёвками, а их восемь от восьми малых колоколов, а от большого верёвка привязана к доске, и Матичка давил её ногой, но так легонько, что когда его плечи и пальцы рук ходили и подёргивались, звон большого колокола не заглушал малые звоны. И выводил он разные мотивы, и даже когда молодые парни принесли и подали ему водочки, он сыграл им «Сени мои, сени...». А когда это услышала матушка-попадья и разбудила отдохавшего батюшку, тот весело махнул рукой на звон и пропел:

— «Скакаше, играя — людие весели-итесь!» — Он сам был чуточку навеселе и пошёл проспаться. Матушка потом сама об этом рассказала в лавке Зырянова, а оттуда, от тех, кто там был, слух об этом прошёл по всему селу, и люди веселились, и многие узнали, что Матичка не так прост, как кажется. Вот за это полюбил Матичку Егорка, и очень захотелось ему, когда подрастёт, научиться звонить в колокола не хуже Матички.

Жил Матичка тут же, в маленькой сторожке, в ограде церкви. Зимой верёвку удлинял и просовывал в отдушину, чтобы звонить из тепла, а не стоять на морозе. А звонить не только зимой, а и летом приходилось долго. Уже и время для обедни придёт, а в церковь никто не идёт. Приплетутся две-три старушки да какой-нибудь мужик с требами, а батюшка должен служить вдвоём с псаломщиком и третий — Матичка: он и кадило раздувает, и свечи продаёт, и дрова в чугунную печку подкладывает. Вот только на Рождество, на Пасху да на Троицу людей полно, да когда свадьбу либо похороны справляют люди. На похороны любят приходиться, потому что даже бед-

няки устраивают поминки и просят прийти всех крещёных и помянуть покойника чем Бог послал. Вот и сегодня народу полно, и Матичка доволен за батюшку. Вот уж три года, как отец Пётр приехал, молодой ещё, и голос у него хорош, а проповедует в пустой церкви. Теперь ходит он по домам, учит баб церковному пенью. Нашёл с голосом Овдотью Будкееву. Та приводит других баб, и вот приучается сам народ петь в церкви. Горняки тут все в кабак с утра стучатся, а в церковь не идут.

Подождали, пока Елена перецеловала всех племянниц и обняла сестру.

Митрий протолкался в церковь и прочистил дорогу для Елены с детьми. Спустил на пол Феньку и отдал её под надзор Онички. Егорка держался за юбку матери. Митрий протолкался дальше, к свечному столику. Купил две свечи и не передал их к иконостасу по плечам других, а сам прошёл к правому клиросу, постоял, помолился, низко поклонился иконе Спасителя. Елена зорко наблюдала из толпы за его движениями. Когда он крестился, и она крестилась, а за нею крестились Оничка и Егорка, и даже Фенька, узкоглазая, курносенькая, белокуренькая непоседа.

Крестилась она невпопад, по-католически, и весело смеялась. Андрюшка на руках матери казался херувимчиком: такой розовый, белокурый, в голубой рубашечке. Все на него засматривались, а он всем улыбался и всё откидывал голову и смотрел вверх: там горело многими свечами паникадило. Он даже взвизгнул, одобряя это висячее солнышко. Иконостас был украшен полевыми цветами и зеленью. Царские врата были ещё закрыты, и против них, у самого амвона, стояли два высоких и прямых прихожанина. Они тут всегда стоят во время службы. Это лавочник Зырянов, сухощавый, в чёрном длинном, прямого покроя летнем пальто. Прямые, строгие черты лица его с благообразной чёрной бородой были неподвижны, когда он, скрестивши руки на груди и заложивши кисти их под мышки, ждал выхода священника и не молился. А когда при чтении часов псаломщиком произносилось: «Слава Отцу и Сыну», он крестился полным, точным, большим крестом и кланялся низко, в пояс. Он был примером в церкви для всех, старых и малых, и был он истинно благочестивой жизни человек, хоть и лавочник. А рядом с ним, не глядя в сторону, Елена узнала Ивана Никифоровича Горкунова, важного, с достойною осанкой, высокого старика в седых бачках, похожего на Царя Освободителя, — горного лекаря в отставке, жившего в казённом доме на горе у речки. Не глядя в мужскую сторону, направо, Елена также знала по движению толпы, что Митрий, поставивши свечку у левого клироса, ото-

шёл назад и стал в толпе, скромно спрятался за спины многих. Пододвинулась и она с детьми подальше влево, на женскую половину. Женщины дали им дорогу и место, а сестра Лизавета даже приняла Андрюшку из рук Елены — поняла, что трудно всё время держать на руках ребёнка. Егорка посмотрел на склонившееся к нему лицо матери, оно было розовым и улыбалось, должно быть, потому, что подошла вовремя добрая сестра и взялась подержать Андрюшку. Елена шепнула Егорке:

— Иди к отцу. — Она была довольна, что нос Егорки был чист.

Пробираясь между ног взрослых людей, Егорка пошёл искать отца. Подняв голову, он не видел лиц, но видел много золотых звёздочек на синем круглом потолке и слышал, как с клироса всё ещё несётся непонятное чтение псаломщика, который, читая часы, так спешил, что многократное «Господи помилуй» выходило у него: «Помилос-помилос!». Но тут кто-то из больших людей так больно наступил Егорке на босую ногу, что он присел и заревел. Кто-то взял его за руку и вывел на паперть. Так он до отца и не дошёл, зато с паперти увидел Матичку, и боль в ноге его сразу утихла. Он сбежал со ступеней и пошёл к Плохорукому, всё ещё плача. Матичка загрёб его рукой, как коромыслом, прижал к столбу, у которого всё ещё стоял, хотя уже и не звонил, и полушёпотом сказал:

— А ты не плачь! Чего заплакал? Слышь, служба Бога начинается!

Да, Егорка услышал отчётливый, певучий голос батюшки:

— Благословенно Царство...

— Отца и Сына и Святаго Духа, — зачастил Матичка и помотал около своей запавшей груди колесообразною рукой, потом взял этой же рукою руку Егорки и с трудом, но точно помог ему перекреститься так, как полагается и как крестится Зырянов: на лоб, живот и плечи.

В церкви открылись Царские Врата, и началась обедня, без хора, так что сам священник, отец Пётр, начинал и помогал тем из стоящих в церкви, кто мог петь. И видела Елена, как вышла вперёд с женской половины совсем неграмотная Овдотья Степановна Будкеева и первая стала петь «Аминь», и «Господи помилуй», и «Тебе Господи», и «Поддай Господи». Хорошо знала службу Елена и знала все молитвы, а так хорошо, смело и звонко петь бы не решилась. Но и она стала подпевать... И запели другие, стал подтягивать Зырянов. Только горный лекарь Горкунов не пел, а когда крестился, то делал на своей груди чуть заметный малый знак креста. Отец Пётр то и дело после каждого своего возгласа присоединялся к пению молящихся, и это ещё больше подбадривало Овдотью

Степановну, Елену и других. С «Херувимской» хорошо не вышло: отец Пётр помочь не мог, он совершал в алтаре Таинство, но псаломщик дотянул своим скрипучим, погубившим всю его духовную карьеру голосом. Это у него жена — первая в селе модница, которой Елена помогала шить платья по картинкам.

Но под конец опять все пели вместе, и пенье это прорвалось через раскрытые двери и окна в ограду, а с паперти спустился в стихарьке рыженький Ваня, гостивший у отца Петра племянник. Он держал погасшее кадило и искал глазами Матичку. Матичка сам подбежал, выхватил кадило, чтобы в сторожке разжечь его и подсыпать ладану. В церкви в это время с чашей и диском из северных врат вышел отец Пётр и только произнёс: «Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго», как услышал набат. Нет, это не был набат, а похоже было на то, как колокола беспорядочно звенят во время землетрясения. Многие из церкви бросились в ограду. Священник не прервал, лишь начал снова свой возглас за царя и царицу и прочих благоверных.

Народ валил обратно в церковь. Многие крестились, некоторые сдерживали смех. Елена и Митрий и не догадались, что и набат, и землетрясение произвёл Егорка. Митрий думал, что он с матерью, а мать — что он с отцом.

Улучив минутку, когда Матичка-трапезник вошёл в сторожку разжечь кадило, Егорка залез на колокольню и нечаянно встал на доску с верёвкой от большого колокола, а когда колокол ударил, он так испугался, что присел и раз, и два качнулся на доске, а потом увидел, как он высоко, — ещё больше испугался и схватился за верёвки от других колоколов. Когда же высыпал народ и он понял, что наделал звону, он заревел, а слезать не решился: слезать было страшнее, нежели залезть по узким перекладинам лестницы. Матичка всё понял, залез и помог Егорке слезть и теми же, похожими на коромысло, руками обхватил его и уговаривал не плакать, а набежавшим людям и смеявшимся мальчикам резонно полусёпотом выговаривал:

— Ну что теперь? Ну лезьте сами, вы теперь звоните, ежели завидно...

И отпустил Егорку. Убежал Егорка домой, всё ещё плача и запинаясь за бахрому новых, дудочками, до пят, штанишек. Дома он спрятался под крышу на избе. Больше некуда было спрятаться, как только в подполье да в погреб. Но он знал, что и в подполье очень темно, и в погребе очень холодно, да туда мать спустится за молоком либо за сметаной и найдёт его. Но под крышу лестницы не было, надо было забираться по столбу на поветь, а с повети по стрехе на потолок избы.

Один лоб крыши всё ещё зиял дырой на север, закрыть этот лоб крыши Митрию так и не удалось.

Боялся ли Егорка, или было ему стыдно, но он решил остаться голодным, а без боя никому не сдать. Над избой под крышей лежало сырое тряпьё. Он сел на него, притянул к самому носу ногу, на которую ему наступили в церкви. Ноготь большого пальца был синим, но к боли он привык. Не первый раз сбивать ноготь.

Потом он осмотрелся вокруг. Под крышей было птичье гнёздышко, пустое. Значит, птички вывелись и уже улетели. Вспомнил жаворонков над пашнею. Взглянул в проём непокрытого лба крыши: по небу плыли белые облака. Засмотрелся на них, потом на рощу за домами, а дальше не видно. А от рощи посреди села ручей течёт, и вдоль ручья всё огороды, огороды.

А ихний огород не видно. Он на дальнем ключе, у сопок. Хотелось ему есть. До обедни никто в доме не ел, и он не ел. Феньку и Андрюшку накормили, а ему не дали. Большой. В это время раздался благовест во все колокола. Понял: обедня кончилась, и это Матичка звонит, как на Пасхе. Вскоре на улицах показались люди. Послышались голоса возле избы. Хлопают дверью, входят и выходят, его ищут. Он припал на тряпки и затих. Долго так лежал, боялся даже шевелиться, и вдруг забыл, что ему нужно делать. Заснул. А когда проснулся, перед ним на корточках сидела Оничка и соломинкой щекотала ему щёки.

— Иди в избу! — приказала она строго. — Из-за тебя все голодом сидят. Тятенька в кустах тебя по огородам ищет.

Оничка была горда, что догадалась, где он прячется, и, когда спустилась с крыши на поветь, она же закричала матери:

— Вот он где! Только вы его не бейте, дурака, а то он убежит куда-нибудь.

Никто его не тронул. Отец обрадовался, что он нашёлся, но всё же снял с себя ремень и пригрозил:

— Вот я те покажу, как в колокола звонить! — Однако, увидевши, как Егорка скривил губы для рёва, он снова подпоясался и строго приказал Елене: — Ну, давайте собирайте на стол. Будет уж, помолились, прости Господи!

Все ели молча, а когда насытились, повеселели. Вышли из-за стола, все вместе, стоя, помолились на иконы. Отец сказал:

— Ну-ка иди сюда, звонарь, волосы-то как отросли. Подстричь надо. Мать, — обратился он к Елене, — где у тебя ножницы?

Егорка подошёл к отцу и, склонивши голову к его коленям, слышал запах его новых штанов и чистой рубашки. И любил он в этот Троицын день своего отца даже больше, чем

Матичку Плохорукого. Но Митрий не достриг Егорку. В окно он увидел, что подъехала Лизавета Петровна с нарядными детьми на паре саврасых, кони — львы. Та побывала у матушки попадьи, привезла мёду, а вот и для Елениных ребят оставила две осотины.

Как бы не доверяя родителям, что посядут дать детям, Лизавета отрезала по кусочку для троих, и Егорке достался самый большой. Мёд был такой сладкий и так много, что, когда его Егорка съел без хлеба, ему даже язык защипало. Никогда он этого не забудет. И полюбил он тогда тётку Лизавету и всех её дочерей и сыновей, и лошадей, как никогда ещё никого не любил. И как будто никто и не заметил, что голова его так и осталась недостриженной. Гости спешили домой, Митрий спешил на пашню, посмотреть, нет ли сорной травы в молодых всходах.

Елена завесила окошки тёмными тряпками, отворила дверь избы, выгнала своим фартуком всех мух, уложила Андрюшку в его зыбку, чтобы в темноте мухи не будили его; наказала Оничке присмотреть за Фенькой, а Егорке не шуметь, и, взявши с полочки рядом с иконами из стопочки тонких книжек одну, с большим крестом на обложке и с двумя ангелами по сторонам креста, стоявшими на коленях, ушла на крылечко почитать. К ней подойдут и присядут соседки посплетничать или пожаловаться на мужей или соседей, и читать ей не дадут. Но она, слушая их терпеливо, будет отвечать из Писания, пока те не умилятся и не попросят почитать вслух. Не поймут всего, но будут покачивать головами и утирать украдкой слёзы.

Но Оничка! (Ударение, пожалуйста, на «о».) Вот давайте-ка посмотрим, что будет делать Оничка?

Прежде всего она покачает Андрюшку в зыбке, попоёт ему одним баюкающим звуком: о-о-о! Налъёт ему в коровий сделанный отцом рожок немного тёплого молочка из печки. Андрюшка высосет молоко, рожок опустеет, и в нём появятся трубные звуки, похожие на кваканье лягушки. Оничка поймёт, что он уснул, и займётся Фенькой и Егоркой, которые терпеливо ждут представления. Она возьмёт их за руки, проведёт в передний угол, под иконы, и усадит по обе стороны возле себя, отодвинет тяжёлый отцовский ящичек, наполненный всякой его рабочей «стремелюдией»: молоток, долото, разные шила, гвозди, ремешки, новые подмётки для сапог и всё, что ему пригодится в хозяйстве, — и откроет перед зрителями своё царство. Там у неё куклы.

Все они сидели рядышком, по треугольнику, прислонясь к стенке. И так как в избе полутемно и Андрюшка спит, то говорить надо полужёпотом. Оничка начинает длинную бе-

седу с куклами и говорит за каждую из них. Некоторые ещё не закончены, волосы к головам не пришиты, есть даже голенькие, но это не стесняет тех, которые одеты как барыни и сидят чинно-благородно и молчат.

И хотя они не все барыни, Оничка разговаривает с ними не попросту, а на «вы»:

— Да вы проходите, садитесь, кумушка. Гостьей будете!..

Это одна из барынь, из одной руки Онички, приветствует вторую, во второй руке. Но та ей отвечает:

— Ах, некогда мне, родимая моя, сидеть-то... Мой-то собирается в шахты. Сапоги починяет сидит. А квашня у меня никак не поднимается, дрожжи-то испортились. Не дашь ли ты мне булку хлеба до завтра?

— Ах, уж не знаю, кумушка, что тебе и сказать. У нас у самих-то мука вышла... — Обе кумушки кланяются одна другой и садятся на свои места. Ясное дело, сказать им больше нечего. Но зато другая пара говорит о другом.

— Ах, какая у вас, Марья Васильевна, кофточка красивая.

Почём же ситец покупали?

— Да мой-то хозяин ездил в город с углём... Продал два воза и накупил мне вся-акого ситцу... Теперь опять собирается в леса, уголь выжигать...

До недавнего времени у Онички ни одного «хозяина» среди «барынь» не было. Это Егорка ей помог. Как-то стало скучно слушать всё одно и то же — бабий разговор, он и спросил сестру:

— А когда хозяин домой придёт?

Оничка не сразу поняла.

— Какой тебе хозяин?

— Ну «мой-то». Мужик!

Оничка задумалась. Правда, что «моего-то» нету. Потом, не сдаваясь и своему внезапному недоумению, сказала:

— Мужику нельзя сапоги из тряпочек шить.

— А я сошью ему из кожи, — похвалился Егорка.

Но он так и не собрался шить кукольному мужу сапоги, зато хоть долго шил, но сшил барина, всего из чёрной тряпочки, штаны и курточку из одного куска, с пояском из синей тесёмочки, но блондина, со льном на голове. Только барин всё ещё стоит, сидеть он не может, штаны твёрдые, негибаются, и он босой.

Но, управляя действиями кукол, исполняя все их роли и монологи, Оничка сама всё время действует. Она всегда что-либо шьёт для кукол или делает новые. На этот раз, коль скоро есть уже муж и хозяин, надумала она сделать и дитёнка. Но для этого всё-таки обратилась за согласием ко всему кукольному обществу:

— Хотите, я вам сошью ребёночка?

И, так как куклы молчат, она их ещё раз спрашивает:

— А вам какого, мальчика либо девочку? — И тут же, уже не дожидаясь ответа, но угадывая общее желание всех кукол, она решает за них: — Хорошо, я сошью вам сперва девочку.

И пока она налаживала из белой тряпочки основу для куклки, Фенька в обнимку со своей до черноты зацелованною куклой лежала тут же на полу и сопела ещё с зимы простуженным носиком. Егорка же набрался храбрости, открыл отцовский сундучок и стал в нём рыться. Оничка предупредила:

— Не трогай, тятенька заругается!

Но Егорка показал маленький жёлтенький кусочек кожи... Очень маленький, ничего из него нельзя сделать. Оничка молчанием дала согласие, тем более что поняла: Егорка будет шить сапоги для барина. И уже сама достала из того же ящичка шило и строго сказала:

— Только не сломай.

Егорка нашёл дратву и толстую иголку, и острый ножик с обломанным концом. Он работал напряжённо и отвернувшись от сестры. Оничка увидела, что он проколол себе шилом руку. Но молчал, терпел и тут же, чтобы кровь не пропала даром, покрасил ею жёлтый кусочек кожи в красный цвет. Зато сапожок будет красный, для барина же, а не для простого мужика. Но кончить сапожка ему не удалось. В избу вошла мать, и Егорка спрятал и сапожок, и окровавленную руку под себя.

Оничка его не выдала. Заговор был общий.

Мать сняла с окон тёмные тряпки. В окошко смотрело красное, перед закатом, солнце. Троицын день ещё смеялся во всю ширину улицы и горел в окнах большого дома напротив, на крыльце которого бабушка Касьяниха сидела с внуками и что-то им бубнила грубым, мужским голосом.

Оничка задвинула свой кукольный мирок тяжёлым сундучком, чтобы никто, а тем более бестолковая Фенька, не разбудил его и не потревожил.

Уже было темно, когда Миколка, грязный и голодный, вернулся с рыбалки. Поймал трёх чебаков да маленького окуня. Рыбки пойманы ещё днем, почти что высохли. Требовали немедленной чистки и просились на сковородку. Елена их поджарила без масла, на сметане, а Миколка настоял, что это для отца и матери, а сам он предпочёл яичницу на молоке и чай с ватрушками, остатки от праздничного обеда. Он жадно ел и подробно, горячо рассказывал о том, как у него с удочки «сорвался» матёрый краснопёрый язь.

— Ну прямо с пол-аршина!.. Удилище согнул в дугу, вот-вот сломается. Потом как шлёпнется в воду.. Вот те Христос, не вру!

— Ну ладно! — оборвала его Елена. — В пол-аршина язей, поди, и Христовы рыбаки не ловили.

Миколка надулся и замолчал. Не верите — не надо. Он и сам себе не верил. Обидно: целый день голодом, поймал три чебака... Если правду сказать, и тех не он поймал: он поймал только окуня, а чебаков — его товарищи, но отдали ему, чтобы на следующий раз Миколку отец опять отпустил с ними рыбачить. Язей, и окуней, и щук в реке Убе сколько угодно. Когда-нибудь и язя поймает.

IV Чеснок и рудовозы

Ни дня, ни часа не посидит Митрий. До Петрова дня (29 июня старого стиля) ещё две-три недели, можно бы в шахтах поработать, да затопило шахты. Не взяли на работу. Пришлось взять Булануху из табуна, поправилась, и жеребёнок налился, немножко одичал, подрес. Два мерина, Игренька и Гнедой, за неделю на хорошей траве выровнялись, но зимняя шерсть от худобы ещё не вся вылиняла; пусть ещё походят в табуне. На Буланухе потихоньку, каждый день по возу, привозил хвороста из-за сопок. И не хворост это, а большие корни тальника, которые потолще, — высохнут, зимой дадут больше тепла и жара — хлебы печь. Егорку всюду брал с собой, а Николай помогал матери огород полоть и по хозяйству.

Уезжал рано, выкорчёвывал корни из ручьёв, очищал топором от веток, оставляя вдоль ручья кучками. Егорка таскал их к телеге. Делил с отцом краюху хлеба, запивая из ручья же горсточкой. Трава местами была уже высока, но ягоды ещё не поспели; Митрий отмечал и запоминал, где гуще цветёт клубника. Находил и угощал Егорку «пучками» и «саранками», и ревенем, а дикий лук служил им для прикуски с хлебом и водою. Вкусно и питательно. Иногда Митрий нарубит длинных ровных прутьев из комельков, которые потолще, наделает черешков для граблей, а из вершинок сплетёт корзинку, и Егорка радуется: будет в чём огурцы или картошку из огорода приносить. Головки для граблей и зубья Митрий делал дома, под вечер. Бородкой топора даже рисунок на них сделал и наделал граблей на всю семью, по возрастам. Егорке — самые малые. Охотнее на покос поедет. Нарубили дровишек, наложили в поленницу у стен избы, проходят люди, одобрительно качают головой. Мужик пробойный, запас дров, до Рождества хватит.

Поправил прясло, подпёр покосившуюся воротину, иначе трудно запирать, волочить по земле. Привёз старой соломы на лёд в погреб. Спаси Христос Анемподиста, дурачка, это он выкопал погреб в прошлом году. Ничего не взял, только Елена кормила и поила его да наряжала во всё своё, женское. За женские наряды он уже не один погреб, а и колодцы выкопал в селе. Босой и бородатый, с волосами дыбом, в бабьей юбке, в кофточке, а если ещё фартук белый или цветной на него наденут, он становится самым счастливым человеком на селе. Ходит по сопкам, распевает песни и всем при встрече кланяется в пояс, а иногда и до земли. Выкопал Митрию погреб, три дня копал без передышки, откуда и сила берётся. А копать — дело грязное, сам он обливался потом, а юбку и кофточку ничуть не испачкал. Только фартук изгрядзил. Елена наскоро сшила для него второй, для перемены.

И вот этот самый Анемподист, греческим именем которого восхищался сам отец Пётр, не понимая, как такое имя могло достаться дураку, подошёл к Митрию и бросил к его ногам охапку свежего зелёного чеснока. Дурак он был безвредный, мирный, и сильный работник, за что и брат его, кузнец, держал в доме, сажал вместе с собой за общий семейный стол и никогда не жаловался на это бремя.

Митрий первый поздоровался с ним, как с равным:

— Здорово, Ампанис Лександрыч! Откуда столько чеснока?

— А из-за Убы, хо-хо! Там его мно-ого, хо-хо!

— А разве вода в Убе сбывла? На лодке переплыл, что ли?

— Не-ет, хо-хо. Броди-ил... Только до пояса-а, хо-хо! А я с па-алкой, хо-хо!

Оставил чеснок и ушёл широкими, враскачку, шагами дальше по улице.

Покачал головой Митрий, подобрал чеснок, попробовал: хороший, ещё не перерос. А утром запряг Булануху, взял лопату и топор, армяк и хлеб, посадил с собой Егорку и поехал на Убу. Ехать всё под горку — три версты. Солнце только поднималось из-за гор.

Вода в том широком месте, где был брод, ещё глубокая и быстрая. Дно здесь вымощено гладкой разноцветной галькой, тысячами лет полированной быстрой горной речкой, через которую на всём протяжении, быть может, всего два-три разлива, где можно перебродить на лошадях, опасно пешком, а выше и ниже река идёт в «трубе» и так глубока, что переправа может быть только в лодке или на пароме. У Егорки замерло сердечко перед грозным шумом реки. Ширина её здесь в четыре таких улицы, как между ними и Касьяновыми, а может быть, и шире. Митрий стал уже подвязывать передок

телеги к оси, чтобы не сплыл кузов, как жеребёнок подошёл к кобыле и через оглоблю потянулся ей под брюхо пососать. Егорка робко спросил отца:

— А жеребёночек как же?

Митрий посмотрел на Егорку, потом на жеребёнка, подумал и сказал:

— Верно, сынок! На жеребёнке ты поедешь впереди, а я на Буланухе за тобой.

Егорка понял шутку и радостно захохотал. Митрий повернул телегу вдоль реки вниз, к устью речки Таловки. Там, он помнит, тоже есть заливные луга.

В устье речка Таловка не разливалась вширь, значит, мелка. Перебрали, не замочивши кузова телеги.

Заливные луга на левой стороне Убы начинаются вдоль крутого обрыва и всё расширяются. Вода весной их заливает до этого обрыва, а по правую сторону реки луга ещё шире, до ряда скалистых гор, всё понижающихся вниз по течению и повышающихся вверх, почти до Шемонаихи. Трава на лугу была ещё не высока, как раз вровень с гнёздами чеснока, который сразу же бросился в глаза Митрию знакомым синезелёным оперением. Не надо и за Убу бродить. И тут много чесноку, особенно поближе к тихой, заросшей кустами и камышами протоке. Из протоки образовалось нечто вроде озера, извилистого, синего, с отлогим берегом и твёрдым дном из гладких галек. Тут на бережку и распряглись, и начал Митрий копать чеснок широкою железною лопатой, а Егорка стал в подоле рубашонки таскать его к телеге. Давно так вольно и охотно не трудился Митрий. Не работа, а отдых. Вытрет пот с лица, поглядит на реку, на луга, на горы вдали за Шемонаихой, и опять копает. И не заметил, как солнышко на полдень поднялось. Ушёл по берегу заливчика подальше от телеги. Копает и копает, но вдруг вспомнил, что накопал уже много куч, а Егорка не берёт. Егорка не идёт. Воткнул лопату, сам понёс чеснок. Смотрит: в траве виднеется Егоркина рубашка. Уснул? Нет, не уснул. Егорка бледен, как мертвец. Он угорел от чесноку, вот беда!

Митрий приподнял его — голова Егорки висит, и ручонки, как плети. Умирает, Господи спаси-помилуй! Егорку вырвало, и в жидкости показались кусочки плохо пережёванного чесноку. Острая жалость заохлодила сердце Митрия. Что делать? Он покачал на руках сынишку, и того ещё раз вырвало. Ну, оживёт теперь. Лицо покраснело. Митрий заспешил. Положил Егорку на траву, смочил рукав своей рубахи водой из озерка, обтёр лоб и щёки сына, тот застонал, открыл глаза. Тогда Митрий быстро разделся сам, раздел Егорку и вместе с ним бросился в озеро. Вода была холодная, как из родника.

Егорка сразу захватил в себя так много воздуха, что захлебнулся и испугался, заревел.

— Ага, — сказал Митрий, радуясь, что парнишка совсем ожил, и вместе с ним ещё раз окунулся в воду и даже потащил на глубину.

— Ой, ой, тятенька, не бу-уду...

— Не будешь, а? А ну-ка, плыви сам! — и он бросил мальчишка на глубину и тут же, громко смеясь и радуясь, что тот впервые ухватился за отца и борется за жизнь, подхватил, вынес его из воды и, надевши на него рубашку, стал корить:

— Дурачок ты! Кто же ест чеснок без хлеба?

Выкупавшись в холодной воде и чувствуя, что он и сам голоден, Митрий пошёл к телеге за хлебом. Он отломил Егорке кусок краюхи и сам стал жадно есть его вприкуску с чесноком и запивая водой из пригоршни, но Егорка на чеснок даже смотреть не мог, и хлеба съел немного. Несмотря на жаркое солнышко, Егорка задрожал, и голова его повалилась на колени Митрия. Митрий прикоснулся к его лбу рукою и почувал, что голова Егорки горячая.

Он принёс из телеги свой армяк, нарвал камыша, постлал на землю и, завернувши сынишку в армяк, сказал:

— Лежи, согреешься, уснёшь. — А сам поднялся и пошёл копать чеснок. Копал и беспокоился о Егорке. Бросил копать, собрал и уложил в телегу весь чеснок. Получилось что-то много. Подумал: не нарубить ли дровишек? Нет, надо ехать. Запряг Булануху.

Егорка встал, сам дошёл и сел в телегу. И попросил:

— Я водички хочу.

Никакой посуды не было. Тащить Егорку к воде не хотел. Митрий снял картуз, пошёл к озеру и зачерпнул картузом воду. Вода процеживалась через материю, но в картузе её было ещё так много, что, напоивши Егорку, Митрий смочил ему голову и побрызгал в лицо.

Егорка совсем ожил.

И когда они сели и поехали, Егорка опять робко попросил:

— А хлебца не осталось?

Митрий повеселел и даже пошутил:

— А чесноку не хочешь?

Егорка слабо засмеялся. Митрий подстегнул кобылу. Ожил парнишка. Надо поспешить. Дома мать лапшой накормит.

И теперь же, по дороге к дому, надумал Митрий прокатиться с чесноком в Змеёво — семьдесят вёрст. Там у него тётка, дядя, с ними повидаться. Но надо накопать ещё. Этот очистится, увяжется в пучки, маловато будет.

Дома за ужином посоветовался с Еленой, высчитали дни и недели до разгара страды. Съездили с Еленой вдвоём на пол-

дня, накопили вдвое больше. Обрезали, очистили, связали нитками в пучки. Потратили ещё полдня, наготовили товару полтелеги.

Ещё через день отослали Булануху с жеребёнком в табун, привели из табуна Игреньку с Гнедчиком. Хотел даже взять с собой Елену. Да где там! Она корчаги для суслу в печь поставила, да стирка ждёт. А главное — гусята. Все эти недели Елена прятала гусиху с гнездом в углу двора, в особой загородке. Только что семь гусят, позднышков, вывелись. Она теперь каждое утро в сите носит их на огород, гусиха идёт следом. Там у воды, на травке стережёт сама, никому не доверяет, чтобы, не дай Бог, коршун гусёнка не унёс или какой глупыш лапкой за кусты не зацепился. Если бы был гусак, ему бы доверила пасти, а дети зазеваются, не доглядят. Решил Митрий взять с собой Егорку для веселья.

Миколка открыто выразил протест:

— Опять Егорку?

Отец мягко, но решительно сказал:

— А кто вместо хозяина тут будет?

Миколку это сразу успокоило. Даже польстило. Да, его не балуют, зато он всё умеет. И на рыбалку без отца можно отлучиться. Уж этого язя, живым или мёртвым, он добудет.

А не добудет язя, так щуку или окуня во весь котёл...

— Ух! Осетра бы. Да нет, осетры в Убу из Иртыша, говорят, не заплывают...

Напекла Елена подорожников-лепёшек, сорвала и уложила первые огурчики. Наварила крутых яиц — в дороге Бог простит и взрослому яичко съесть. Приоделся, причесался Митрий, снарядили и Егорку, благо, легко снаряжать. Ни сапог, ни шапки; новую синюю рубашку да тесёмку подпоясаться, да бахрому на штанах подшила — вот и готов. На случай ветра и дождя взяли старый домотканый полог, а у Митрия ещё со свадебной поры было пальто, «талмой» называли, чёрное, редко надевал его, по праздникам, сберёг. Взяли подушку — Егорке по дороге спать в телеге. Начистили лошадей, хвосты подвязали узлами, чтобы подорожная грязь не тяжелила конский волос. Подправили и телегу, разогретыми прутьями увили обочины, чтобы чеснок не растерять, подвязали к задку логушку с дёгтем для смазки деревянных осей. Раненько утром сел Митрий молодчиком на облучок, одна нога согнута, другая — наотлёт, взял в руки вожжи, задержался ещё раз, повторил Елене и Миколке наказ о распорядке в доме, надвинул на лоб картуз покрепче, чтобы ветер не смахнул. Весело затарахтела деревянная телега по селу. Два-три раза притронулся к козырьку по-солдатски — встречным отдал честь привета. Митрия все знают, удалец в работе по найму,

подсобит и без денег, и хоть изба уж восемь лет на одну треть непокрытая, а в окошках на зиму выбитые стёкла тряпками завешиваются, а всё-таки семья — пять человек детей — под своей крышей, как-то с хлеба на квас перебиваются.

Вот теперь поехал Митрий чесноком торговать, все уж об этом знают, но никто не осудил. Дай Бог — дети малые, а нужда велика.

День был субботний. Бабы мели и мыли полы в избах. Выхлопывали с крылечек половики. Все ребятишки на улице.

Большими глазами провожают Егорку.

Лето для бедноты — благодать. Вот ребятишки бегают босые, даже и впроголодь играют. И для взрослых ни валенок, ни шапок, ни тёплых шуб не надо. Благодать!

Но вот зима придёт... Как их одеть, обуть, обогреть, накормить? Вот забота, вот беда для бедняка!

Митрий пытается не думать о зиме, но этот тёплый летний день, досужий час его выезда на отдых, уж очень резко не похож на то, что ждёт его семью зимой. Встаёт во всех подробностях одна ночь в Филиппов пост в прошлую зиму.

Пришёл он из шахты домой уже ночью, голодный, пальцы ног обморожены. Так устал и замёрз, что есть не захотел, разделся и полез на печку.

Пока согрелся, Елена приготовила ему поесть, напоила чаем, он и решил купить Булануху, и подумал вот о таком, как сегодня, тёплом дне на пашне. Но спать не мог. Вдруг слышит: приближается и нарастает шум. В него врываются как бы стоны и посвисты. Ночь стоит морозная, с туманом, и в глухоте её занесённая снегом его изба спит без огней. Миколка и Егорка спят на полу, укрытые старой, вытертой овчиной шубою.

Холодные струи идут не только от обледенелой в притворе двери, но и из-под переднего, с иконами Николы и Егория, угла, где под лавкою от сырости и от мороза белеет иней. От шума, необычного в вечной тишине села, Егорка тоже просыпается и слушает, как с печки падает одно слово, похожее на стон:

— Рудовозы! — В этом слове Митрия звучит зависть, покрываемая тяжёлым вздохом: — Эх-ма-а!..

А рудовозы идут уже мимо заиндевелых окошек, и скрип полозьев под тяжёлыми корытами с золотоносною рудою переходит в нескончаемую и многоголосую музыку. Слышно, как в ухабах по глубокому снегу повторяется одинаковый глухой удар дровней и как одинаковым усилием скользят копыта лошадей и потрескивает упряжь в напряжении вытаскать тяжёлый воз из этих ухабов.

Вздых Митрия проникнут горем, потому что рудовозы — справные крестьяне из больших алтайских деревень, и каждый из них может запрягать от десяти до тридцати коней, имеет крепкую сбрую, надёжные дровни и корыто, и имеет свой овёс, тепло одет в шубу с зипуном и валенки. И шапка из барашка «своего приплода», и меховые мохнатые рукавицы шерстью вверх из шкуры собственной собаки. За лето и осень сеновалы и амбары у крестьян полны. В долгую зиму для зажиточного мужика прискучит лежать на боку, и вот он ждёт, когда установится санная дорога. В другой деревне хозяев тридцать выставят две-три сотни подвод, и пойдут бесконечной вереницей до города Устькаменна или до рудника Зыряновска — за рудой. Смешно сказать, но это правда: почти что двести вёрст до змеёвского плавильного завода горный камень доставлялся гужом. Это не та «золотая головка», что доставлялась из Риддерска в Змеиногорск и что содержала в своём песке часть отмытого золота; нет, это самый простой рудоносный камень, правда, очень богатый золотом и серебром, и медью, но тяжёлый, и за доставку его платили до трёх копеек с пуда. Пожива была небольшая, но мужики, имевшие коней и упряжь, всё-таки считали, что, кроме прокорма лошадей, «зашибут по десятке с подводы» чистого, а то и больше. И вот они идут через село, другой раз час и два. Долго во тьме ночи шум скрипучего обоза нарушает глухую белоснежную тишину, и сотнями подводы уходят в холмистые поля, к реке Убе.

Рудовозы ходили по подножию Алтая главным образом в «Филипповки», то есть в тот самый зимний пост, который после четырнадцатого ноября (старого стиля) тянется до Рождества ровно шесть недель. В это время реки встанут, за переправы платить не надо, не надо мучиться на паромах с тяжёлыми возами, а снега ещё не так глубоки, и, главное, для ладного крестьянского люда всякий пост должен быть соблюден в труде и в воздержании. С Рождеством приходят Святки, сытый мясоед и свадебная развесёлая пора. Если в семье не женят парня или не выдают девицу, то кто-нибудь обязан погулять на свадьбе у родных или знакомых. Словом, во время мясоеда люди должны быть дома, семьи в сборе, и каждое воскресенье не только молодые, но и старые частенько выезжают покататься в самодельных саночках с расписной дугою на лошадях, в сбруе с медным, а иногда и серебряным набором. Да, понятен был вздох Митрия, который в прошлую зиму не мог запрячь и трёх лошадей.

Всё это встало в памяти Митрия, как в снах бывает, сразу, и всё в лицах. Это тогда Фенька спросонья чего-то испугалась,

закричала. Отец берёт её к себе и меняет голос-стон на ласковый и мягкий полушёпот:

— А ты чего? Андрюшку разбудишь. Спи! Вот скоро Рождество придёт, я Маньку заколю, всех жи-ирными щами накормим. А мать сырчиков наделает.

Вот это тоже услышал Егорка, и из-под отцовской шубы с пола передразнил отца: «Маньку заколю!..». Это овечку молодую, ягнёнком привезённую от тётки Жеребцовой из Таловска. С нею рос почти что год, играл... Такая попрыгунья, бегала за ним, вместе бегали по травке. Рога не выросли, а как боднёт — повалишься, и норовит всё сзади, чтобы не видел.

И начал ныть, даже захлебнулся, повторял Егорка:

— «Маньку заколю!.. Маньку заколю!..» А сам говорил — она может двух маленьких нам принести...

И помнит Митрий, как заступился за себя перед Егоркой:

— Ну а как же? Без праздничка оставить всех вас, что ли?

Не смел спорить с отцом Егорка, а пожалел Маньку. Только он один и пожалел её. Но не помогло это.

Пришлось Маньку заколоть. Выбежал Егорка по нужде во двор. Тёплая знакомая Манькина шкура лежала на поленнице дров, а по льду, около загородки, где жила Манька, разлилась и застыла Манькина кровь. Жаль было Митрию Егорку. Побежал тот в избу с рёвом, как будто его самого резали...

Да, тяжела зима для бедного люда. А сколько бедноты, наряду со справными, и не в одном ведь Николаевском руднике? Не один Митрий горе мыкает.

Как бы там ни было, вот в это светлое утро Митрий впервые в жизни почувствовал себя хозяином, и даже решил использовать досужую неделю просто на прогулку в город Змеиногорск.

Повеселел мужик в дороге после мрачного полусна-воспоминанья. Ухмыльнулся спутнику, вытер ему нос, ещё потуже натянул на голову картуз и присвистнул на лошадак. Бегут, ёлки зелёные, как заправские бегунцы.

Открылось поле. Зелёное, широкое, слева синееет река Уба, а направо — горы. Запел Митрий Лукич. Запел без слов, сперва тоненьким, как бы бабьим голосом, а потом во всю силушку:

Эх, ты воспой-воспой-ой, жавороноче-ек,
Эх, на проталинке-е да на завалинке-е.

И уже не своими глазами видел поле и реку, и горы Егорка, а голосом отца, этим вольным, сильным голосом отца. Никогда он ещё не видывал таким весёлым, не слыхивал таким голосистым своего отца.

Но вот, когда переплыли на пароме реку и проехали большое крестьянское село Шемонаиху, отец остановил коней на распутье двух дорог. Одна широкая, прямая — на север, другая, узкая — на восток.

Тут, если бы заглянуть в Митриеву душу, можно угадать и нечаянное его сомнение. Ведь по прямому, широкому тракту в Шемонаиху из Змеёва как раз теперь должен возвращаться на паре своих лошадей с товарами богатый шурин, Павел Иванович Минаев, с молодой женой Грушенькой. Стыдно будет Митрию показать свой воз с чесноком и свою бедную сбрую и простую телегу с деревянными осями. И повернул направо, на узкую дорогу, в объезд! Это будет чуть не вдвое дальше до Змеёва, но зато же и другая песня туда манит:

По горам да по долам,
Нынче здесь, а завтра там...
Всё разделим пополам —
Выйди, милый, к воротам.

День ли солнечный, весенний, поманил его туда, в песне ли он передумал все свои планы, но только не по пыльному большому тракту повёз он свой чеснок и Егорку, а объездной, извилистой, местами грязной и каменистой дорогой, по предгорьям, по цветистым и лесистым, по крутым подъёмам и спускам. Даже несмышлёныш Егорка угадал, что это всё он для веселья, для прогулочного отдыха надумал.

Глядел по сторонам Егорка, всё впитывал в себя, ни спать, ни есть не хотелось, всё бы смотрел и смотрел, чтобы запомнить и маме рассказать. Маму вспомнил, с какой-то новой сладкой болью вспомнил маму и пожалел её, пожалел, что нет её с ними, а то бы она сама всё это увидала и стала бы другим рассказывать.

Нет, это не был сон или сказка матери в тепле, на печке или на полатах их избы. Это была правда-быль, всю по порядку и не вспомнишь.

Егорка просунул ноги сквозь свежие прутья, переплетавшие обочину телеги, так что верхушки высокой травы с цветками на грядках дороги щекотали пятки приятно и смешно. На траве и лепестках дёготь от телег, но это не беда. Ноги и так не отмоешь, грязные, в «цыпках». Но прохладная трава на грядках дороги густая и щекочет ноги, и ногам, и глазам весело. Её заденешь ногой, а она позади телеги кланяется, дескать, здравствуй и прощай. А там, по обе стороны, всё опять трава и разные цветы, высокие и низкие, и на лужках, и в кособоре. И все идут кругом, справа вся земля кружится в одну сторону, а слева в другую, и даже голова Егорки кру-

жится, не успевает он крутить и так, и эдак, не успевает всё сразу увидеть. И только когда остановил отец лошадей, слез поправить шлею и седёлку на кореннике, всё остановилось, большое, зелёное, в цветах и в кустиках, всё отгорожено от неба неровною стеною сопок, а дальше — гор, синих, потому что далёких. А как опять поехали, опять всё пошло кругом в обе стороны. Устал смотреть, закрыл глаза, повалился на закрытый пологом чеснок и сразу уснул.

Проснулся от остановки лошадей. Солнце на закате. Лес, горная речка шумит по камням. Под большой елью избушка. Старичок в белой длинной рубаше говорит Митрию:

— А ночуй, ночуй со Христом! Лошадей не надо путать, у нас лужок поскотиной обгорожен. Своих коней пускаем. Никуда не уйдут твои кони.

Тут уже всё — сон. Дедушка, избушка, ёлки, горы, речка быстрая, и на лесной полянке много, много колодок с пчёлами. Тут они провели вечер и ночь. Дедушка их угостил рыбками, называл их «хайрузами». В быстрых речках водятся. Спал Егорка крепко в избушке с отцом на полу, на мягкой постели из сухого мха. Утром отец разбудил его, когда солнце уже взошло, но было ещё за горой.

Дедушка согрел им чай, дал мёду и белый, мягкий хлеб.

Такого Егорка ещё не видывал. Даже Касьяновы такой пшеничной муки им не давали. И опять ехали долго, по горам и по долам, по берегу быстрой речки.

Должно быть, Митрий вспомнил мать Егоркину, жену свою Елену, когда нет-нет и запоёт всё то же:

Выйду я на реченьку, выйду я на быструю...

Унеси ты, быстра реченька, люто горяшко с собой.

Но отец был весел, ехал не спеша. Молчит, потом заговорит, не обращаясь к Егорке, а оглядывая крутые склоны гор:

— Вот где дров-то можно запасти! Гляди — валежника сколько! А сухостой! Можно сруб рубить...

Хорошо кругом, так хорошо, что глаза смотреть устали. Опять уснул Егорка. Укачало на ухабах.

Долго ли, коротко ли он спал — когда проснулся, к телеге подбегали и лаяли собаки. Лают, злые, бросаются к телеге, к мордам лошадей. Смотрит: едут они по длинной улице деревни. Высокие дома, таких он и не видывал. Окна крашенные, а ворота и ещё красивее. Высокие, с причудливой резьбой и в светлых звёздочках из жести. Есть и малые и серые избы, а больше высокие, богатые дома, и возле них на завалинках сидят люди, старики, старухи, в ярких сарафанах бабы, семечки грызут. Митрий едет шагом, чтобы не злить собак, и любит-

ся по сторонам с приятною усмешкой. И сам с собою говорит, а может быть, и для того, чтобы Егорка слышал:

— Вот как живут люди! Вот как праздник празднуют!

А в это время от самых красивых ворот слышится голос.

С длинной бородой старик, высокий и плотного сложения, машет Митрию рукой и кричит:

— Заезжай попитаться, странничек! Парнёнка-то, поди, голодный?

Не сразу, как бы неохотно, остановился Митрий. Не то бедности своей стеснялся, не то время было ещё раннее, а когда остановился, не сразу сошёл с телеги, будто раздумывал, принять ли такое неожиданное приглашение. Не то он думал, что за постой с него возьмут деньги.

— А ты не стесняйся, — уже близко к нагруженной чесноком телеге подошёл и с любопытством посмотрел на путников старик. — Заезжай, добро-пожалуй! Откуда Бог несёт?

Митрий не ответил, слов не нашёл. Молча повернул лошадей к дому, а молодая баба, должно быть, сноха старого хозяина, открыла ворота.

Как в целое царство, въехал в просторную ограду Митрий, и первое, что ему бросилось в глаза: между длинными постройками амбаров и завозни, под навесом, друг на друге высокими горками лежали ящики из досок, похожие на гробы. А дальше, просто возле стен, без крыши, были такие же нагромождения — множества дровней, без отводин. Вот оно где, оборудование рудовозов, отдыхает до зимы. Небось подвод до тридцати отправляет за рудой — в глубь гор, до рудника Риддерского, а оттуда на Змеёво с «золотой головкой».

Когда Митрий слез с телеги, молодая баба в широком цветном переднике с рукавами поверх сарафана подошла к Егорке, взяла его под мышки и с ласковой шуткой высадила из телеги:

— Ой, да и нос-то — пуговка! А сапоги-то где ты потерял?

Приятно было это мягкое прикосновение пальцев к его носу ласковой нарядной молодницы, но было стыдно за босые, грязные ноги.

Расширились ли ещё больше глаза и уши Егорки, или позже отец всё подробно рассказал домашним, только из этого богатого крестьянского двора вынес он и на всю жизнь запомнил столько, что и в один вечер не расскажешь. Прежде всего — пшённая каша, жёлтая, густая, поданная в одной для всех чашке в простой, отдельной от дома, стряпчей избе. Круглой деревянной ложкою сама хозяйка выдавила посредине каши ямочку и налила в неё подсолнечного масла, так что каждая ложка каши поневоле выкупается в масле прежде, чем попадёт в рот. А к каше для запивки дала сула целый

кувшин. Сама нальёт в малую деревянную чашку, да опять подольёт, и всё уговаривают оба, и старик, и молодлица:

— Да ешьте-поедайте! Питайтесь досыта!

Сперва Егорка ел несмело, будто не верил, что есть на свете такой дом и такая каша, и столько сладкого сула — пей сколько хочешь. А потом набросился так, что Митрию стало неловко. Сам он хоть и голоден был, а стеснялся. Ещё в отцовском доме, под мачехой, приучен не хватать, не жадничать. Хозяева не расспрашивали, откуда и куда, блюли обычай: сперва накормить да напоить, а потом вести спрашивать. Радовались на Егорку: проворно ест, проворным будет на работе. А Егорка вдруг как закричит, даже захлебнулся сулом.

— Што, што доспелось? — испугалась молодлица. Даже подумала: не попала ли в суло, не дай Бог, какая ягодная косточка?

Но Митрий понял: объелся парнишка с голодухи. Уж очень всё было и сытно и обильно. Так оно и было. Егорка схватился за живот и еле выкрикнул:

— Брюшко боли-ит!

Пришлось выводить его из-за стола. Неладно это вышло, но и тут хозяева всё поняли и всё устроили, благо, что другая, постарше, молодлица вышла из большого дома на крик и увела куда надо кричавшего Егорку. И только тут у оставшегося за столом Митрия старик спросил:

— Это один сынок?

— Да нет, — ответил Митрий и потупился, неловко ему было правду говорить. — У меня их пятеро: три сына да две дочки.

— А сколько старшему?

— С Вешнего Николы одиннадцатый пошёл.

— Ну ничего, — сказал старик со вздохом. — Со все Господь! — Но больше ни о чём не спрашивал. Только когда встал и пошёл к выходу, прибавил: — А ты не торопись с отъездом. Лошадей распряги, ночуешь у нас.

И прозвучало это как приказ, которого нельзя не выполнить, а в то же время давила Митрия какая-то неловкость. И понял, и не понял, почему и каждого ли проезжего старик зазывает попитаться, а его вот оставляет даже на ночлег? Он поспешил помолиться на иконы, поклонился молчаливой молодлице, вышел.

Пока выстаивались его лошади, он ещё раз пристальнее осмотрел амбары, задние дворы, а за дворами сразу поле, обнесённое жердяною городьбой. Посчитал лениво пасшихся там телят. Одних телят насчитал четырнадцать. Значит, не меньше и дойных коров. Солнце было ещё высоко. Егорка вы-

бежал с не просохшими ещё глазами, но уже весёлый. Митрий понял, почему и что случилось. Дело житейское. Егорка даже показал пальцем, куда его водили. Может быть, и отцу понадобится. Смышлёный. Митрий увидал в углу грабли, а в ограде, около амбаров, клочья разбросанного сена. Взял грабли, быстренько, умело всё заскрёб, почистил. Хотел и подмести, да не нашёл метлы, и усомнился: хозяину может это не понравиться — чужой человек порядок наводит, но хозяин из открытых ворот увидел, поманил к себе. Митрий высморкался, вытер усы ладонью, вышел за ворота. Старик сел на большое, толстое бревно, короткое и старое — слегка потрескалось. Лежало оно вдоль стены, поодаль от ворот.

— Садись, отдыхай. Сегодня воскресенье, работать-то грешно.

— Да я ведь так, — сказал Митрий. — Привычка не сидеть без дела.

— Это дельно, дельно, — похвалил старик.

Но Митрий не садился. Он всё ещё не чувял себя равным, чтобы сесть рядом с таким почтенным стариком. Он отошёл слегка в сторону и полюбовался крашеными воротами. Знатные ворота! Такие построить да покрасить стоит дороже всего Митриева хозяйства. Старикуну понравилось, что он не проглядел ворота, а видимо залюбовался.

— Садись, садись, — сказал опять старик.

Митрий сел. Егорка стал возле него. Егорку старик больше как бы не видел. Повернул всё светлое, в седине и с глубокими складками над переносицей лицо и прямо заглянул в глаза Митрию. Из-под густых бровей глаза шутливо улыбнулись:

— Ты што же это в Тулу с самоваром поехал?

Митрий не понял. Он сам над собою тоже ухмыльнулся и ответил своё:

— Да, признаться, я впервые в этих краях. Можно было и прямо на Змеёво проехать. Тут, понятно, много дальше.

— Значит, ты в Змеёво? А я думал, ты в горы чеснок везёшь. А у нас его тут весной-то столько, что всего и не выкопать. Пропасть!

Митрий помолчал. Может, и в Змеёво столько навезли, что никому и не продашь. Помолчал и старик, потом хихикнул и признался:

— Везде его тут пропасть, а вот никто вовремя не накопает. У меня старуха всю весну на пасеке, рой сторожит, а бабы с холстами не управятся. А через неделю он перерастёт — не угрызёшь.

Напротив, возле такого же большого дома, сидели двое стариков и старушка. Ворота там не были так велики и даже совсем не крашены — признак того, что не так богаты, а мо-

жет быть, и не успели. Дом ещё не поседел от времени, значит, новый.

Старик-хозяин крикнул через улицу:

— Данила, а ну-тко поди сюда!

С завалинки поднялся рослый, сухой и чернобородый, с проседью, мужик и не спеша перешёл улицу. Он зорко оглядел лесину, на которой сидел хозяин, и повысил голос:

— Ты што же, Силантий Иваныч, домовину-то себе потолще не запас? Ведь в эту ты не влезешь. Смотри, как растолстел.

— Да эту я не для себя берегу, а для старухи. Для себя я вырубил тополёвую, полегче. В пасеке лежит.

— А потрескалась, гляди, какая щель. Что ж ты, в дырявую её положишь?

Силантий Иваныч даже на ноги поднялся, наклонился, пальцем показал на щель.

— И то правда. Сколько лет на бревне сижу, а не заметил. — Затем он сел, прищурился на соседа и произнёс: — А кто ей виноват, старухе? Лет семь тому назад совсем умирала, да не умерла, а только время провела. Тут камень треснет, не то что дерево.

Старики вместе дружно засмеялись, и Силантий Иваныч сказал:

— Садись, посидим, — и совсем неожиданно для Митрия спросил соседа: — Чеснок у тебя в доме есть?

— Чеснок? — Чёрная борода у соседа изогнулась, а глаза уставились на Силантия. — А тебе какой: сушёный аль солёный? Надо у старухи спросить... Да нет, — решительно тряхнул он бородою. — На Пасху тут у нас Апросинья захворала, вроде как холерой, дак старуха сама по соседям ходила, чесноку искала...

— И не нашла! — подсказал Силантий. — Вот я и говорю, чесноку кругом хоть засыпья, а пойди по деревне — для большого человека не достанешь. А вот мужик полвоза чесноку с Убы привёз... Хочешь, продам? — Силантий подмигнул Митрию...

Митрий не знал, что сказать, а когда хозяин повёл соседа к его возу, он покорно пошёл за ними.

До заката солнца весь чеснок мужики и бабы разнесли пучками по деревне. А для тех, кому не хватило, Силантий Иваныч придумал один и тот же ответ:

— Всё расхватали, мне самому попробовать головки не оставили.

А люди приходили с другого конца деревни, как и узнать успели, что Силантий всем, кто хочет, чеснок даром раздаёт. Но помногу не давал. Два, много — три пучка на человека.

Только первому, соседу Даниле, дал четыре, хотя тот готов был купить десятка два. Не продал, сказал: хорошенького по-немногу.

Митрий так и не мог понять — в уме старик или посмеяться над бедным мужиком решил? Распорядился, телега опустела. Народ на Митрия даже не смотрит, шумят, толкаются, тут же пробуют чеснок, жуют, всю ограду завоняли. Но острее и больнее Митрия принял эту шутку богача Силантия Егорка, потихоньку хныкал и таскался по пятам отца.

А тут ещё в самые сумерки в ограду въехала телега, полная нарядных девок и парней, и среди них сухая, невысокая старушка в тёмном сарафане. Это семья Силантия, да не вся, а только внуки. Сыны и снохи работали на «помочи» (добровольная работа в поле или на постройке всех, кто может и желает провести весело праздник с пользой для соседа или для родственников, а то и просто для бедняка или своего удовольствия). В это воскресенье около сотни молодых баб и мужиков пахали, возили и укладывали в пруд дерно для мельника, у которого ещё весной большой водой смыло плотину.

Так что когда наехало столько народу в дом и Силантий с двумя снохами — а у него четыре женатых сына и четыре снохи — затерялись в этой большой и шумной семье, Митрию даже кусок хлеба в рот не шёл, и они с Егоркой тоже затерялись, и только поздно вечером Силантий вспомнил о них, да, это верно, — не забыл, и показал, где хозяйки отвели им место для спанья. При этом он погладил белокурые неровно стриженные волосы Егорки и ласково сказал:

— А ты не будь бычком. Вырастешь, ероем будешь. Как тебя звать-то?

Егорка не посмел поднять на большого старика глаза, но сам поднял к носу край подола своей рубашки и стал сморкаться. Ответил за него отец:

— Егором звать.

Он хотел было спросить хозяина насчёт чесноку, но тоже не посмел. И подумал теми же словами, которые хозяин произнёс, когда узнал, что у Митрия пятеро детей: — «Со все Господь!». — И стало сразу легче.

Спал Митрий крепко, и даже проспал. Когда вышел на ограду, уже всходило солнце и лошадей возле его телеги не было. Наложённое с вечера прошлогоднее сено лошади не съели. Пройдя на задний двор, он увидел обоих меринов у колоды. Они даже прижали на хозяина уши: дескать, не вздумай отобрать. Овса насыпал нам не ты, а чужой, но добрый человек.

Ограда, дворы, пригоны, стряпчая изба и сам дом оживали будничной рабочей суетой. Все были одеты уже больше

в холст и в кожу, на мужиках войлочные, пирожком, шапки. Видно было, что все работники уже сыты и веселы. Мужики собирались в лес, бабы выносили на телегу свёртки домотканого холста; поедут с ним на берег реки мочить и расстилать, сушить и опять мочить и расстилать. Для Митрия это было не ново, но Егорка, продирая глаза, на всё смотрел с испугом. Непривычно для него, что все — старые и молодые — веселы, говорят громко, но смеются, а не ругаются. Бабушка распорядилась девками, старик-хозяин мужиками. Митрию не захотелось даже на глаза показываться — не посмел. И подумал теми же словами, которые хозяин произнёс:

— Будь что будет. «Со все Господь!» Но ясно, в Змеёво путь его окончен — торговать ему там нечем...

Но не забыл о нём Силантий. После всей домашней суматохи, когда ограда почти что опустела от разъехавшихся на работы мужиков и баб, и девок, и парней, а осталась только мелкота да старуха, старик сам разыскал Митрия, усердно чистившего свежий навоз за амбаром от своих и хозяйских лошадей. Егорку бабушка поймала ещё раньше, строго увела его в баню, вымыла и надела на него новенькую красную рубашку и даже какие-то, от выросшего внука, но не по росту длинные для Егорки штаны. Отец Егорку не узнал, когда тот, придерживая руками гачи штанов, чтобы не запнуться, прибежал похвастаться обновками. Синюю свою рубашку и холщовые штаны он положил в телегу.

Старик повёл обоих в стряпчую избу завтракать. А тут уже и не расскажешь, как и чем угощали Митрия и Егорку и как старик подсказывал старухе, что положить в телегу Митрия перед тем, как он отправится домой. Щедрый и обильный были эти дары от праведных трудов неведомых, чужих странно-приимных людей алтайского предгорья. Весело возвращались домой торговцы чесноком. Митрий не нудил лошадей бежать быстрее, не трогал их самодельным бичом, а только поднимал его в воздух и покрикивал:

— Эй, милы-ии!

Время от времени возьмёт и запоёт тонким голосом, побабьи:

— Иусе Сыне Божий... Сыне Божий, помилуй нас...

Пели это всем народом, когда ходили в засуху по полям молить у Бога дождичка и пели вперемешку, тяжело вдыхая поднятую пыль бездождия и смотря слезившимися глазами на знойное небо, засушившее всё живое.

— Пресвятая Богородица, спаси-и на-ас, — затянул он полным голосом, но вдруг повернулся всем корпусом к сидевшему позади его Егорке и заговорил с ним, как со взрослым:

— Вот, сынок, какие бывают рудовозы. Я согрешил-подумал: смеётся надо мной старик. А он мне надавал всего понемногу. Муки одной, пожалуй, с пуд, да полмешка пшеницы, да проса на кашу — на целый год всем нам хватит...

— Да мёду туюсок, — вразяжку прибавил Егорка, слышавший и видевший, как бабушка в берестяном туюсочке принесла мёд и наказывала, чтобы крышка по дороге не раскрылась...

— Прямо Господь надоумил меня поехать объездной дорогой, — уже про себя сказал Митрий, смотря вперёд и вниз с крутой горы, откуда открывалась даль равнин с богатыми коврами весенней зелени. И опять запел всё то же:

— Иусе, Сыне Божий... Сыне Бо-о-жий, поми-илуй нас...

Запомнил всё это Егорка на всю жизнь. Запомнил он особенно, как отец менял голос: Богородицу пел полным, мужским голосом, а Иисуса — тонким, бабьим. Оба голоса запомнит и заучит, чтобы повторять точь-в-точь, как пел отец.

V Страда

Итак, у Митрия была передышка.

Ехали Митрий и Егорка обратно из гор налегке, всё под гору, попутно с течением речек, не спешили. Уж очень неожиданно и быстро распродав Митрий свой чеснок, и до Змеёва доехать не удалось, а сделали в горы путь более длинный, нежели до города Змеёва. Жаль, не удалось повидать дядю и тётку стареньких, не видел их уж года три. А не вернуться ли, не поискать ли спрямления на Змеёво? Да нет уж, нечего людей смешить, с пустым возом на базар...

Не привык Митрий думать по порядку. Скачут думы с места на место, как блохи. А хочется забыть домашние заботы, погулять на воле. Смолоду не удалось повеселиться. С девяти лет по шахтам и забоям, по штольням и в купоросной воде... Хорошо, если унёс ноги здоровыми, не искалечил кости, а поломало их за двадцать лет... Да, выходит, почти тридцать лет шахтёром, а самому нет ещё и сорока.

Но тут ясно встала перед ним невысокая, прямая, строгая фигурка дяди Петра Спиридоныча, когда он видел его в последний раз. Тётка, сестра Петра, худая, некрасивая старушка об одном глазе, хлопотала с завтраком, а Пётр Спиридоныч собирался в церковь натошак. Он надел на себя кафтан, пожалованный ему за пятьдесят лет беспорочной службы царю-

отечеству в горном деле, с полинявшими, когда-то золотыми позументами по борту и подолу и с медалью на груди. Причёсанный, чистенький, румянёвкий, он ходил прямо и видел зорко.

— А ты спроси его, — сказала тётка, — сколько ему лет.

И Митрий спросил.

Старик ушёл к себе в комнату, и оттуда вынес и подал Митрию пожелтевший от времени указ с печатью. Спросил у Митрия:

— Читать по-писаному можешь?

Митрий мог читать и по-печатному, и по-писаному, но не смел читать вслух, а прочитавши про себя, понял, что это и есть указ о чистой отставке с пенсией и почётным кафтаном за пятьдесят лет беспорочной службы. Там же было сказано: вести себя благопристойно, усов и бороды не брить, милостыни не просить...

— Вот и считай. В молодости я проштрафился. В последний раз меня наказали, когда мне было двадцать семь, а с тех пор — пятьдесят лет ни разу не били, ни разу не проштрафился. Вот за это и указ. Значит, семидесяти семи — указ и чистая, а пенсию я имею честь получать четырнадцать лет. Значит, и считай сам...

Да, выходило, что ему было уже за девяносто.

Вспомнивши дядю, которому теперь девяносто пятый, Митрий невольно вспомнил и о своём отце. Сколько же Луке Спиридоновичу? Он моложе тётки, значит, далеко позади дяди Петра Спиридоныча, а всё-таки ему тоже под семьдесят, а смотрите: последние дети от Соломеи Игнатьевны ещё малыши. Самому младшему, Косте, не больше семи, почти что ровесник Егорки. И отсюда Митрий сделал вывод:

— Вот кряжи люди в моём роде! — Тут он вспомнил и свои годы — ещё нет и сорока, значит, рано щупать свои кости. Ещё ни одной не сломано. Сколько Господь продлит веку — даже и кукушка может обсчитаться, а всё же, слава Богу, силами и здоровьем его Бог не обидел. Пусть кто-нибудь другой в его сапогах так спляшет, как ему приходится.

Думка прыгнула прямо в его сегодняшний день. Хорош денёк, и есть ещё в запасе два-три таких денёчка. Погостить бы у кого-нибудь, больше таких дней не выпадет. Страда вот-вот настанет, горячая, такой ещё в жизни его не бывало. Одному с бабой да с Миколкой убрать три с половиной десятины вовремя да сена накосить, сгрести, сметать в стога — ой, Митрий, кость у тебя должна быть стальная!

Да, Митрий почуял себя в соку и в самых сильных днях и месяцах трудоспособности, а погулять бы два-три дня не мешало.

Заехал к дедушке-пасечнику. Не распрягая, спустил с седёлки, чтобы коренник мог наклониться к траве: дал лошадям поесть травы, благо, тут же росла она густо. Поговорил с дедушкой, рассказал ему о том, что с ним вышло у Силантия.

Пасечник как раз был сватом Силантия: как же, как же, люди они могучные, хлебосольные. Вышло так, что и сам дед-пасечник пошёл в свою избушку, взял сетку и дымокур, нарезал Митрию гостинцев, опять же сотового мёду — на радость и счастье Егорки. И ночевать приглашал старик, — да нет, надо потихоньку ехать дальше. Но перед тем, как подтянуть чересседельник, Митрий расспросил дедушку о том, знает ли он, как и где будет свороток на казачью станицу Талицу. Это совсем не по дороге в Николаевский рудник, но не так и далеко. Вёрст семь от пасеки, спросить дорогу на Кабаниху, а там, не доезжая до спуска на долины, повернуть налево и там, на заимках, скажут.

Вместо того, чтобы ехать домой, Митрий опять поехал по новым местам, и опять у Егорки закружилась голова от новых спусков и подъёмов, от быстрых речек и зелёных-зелёных пашен и лугов, где всё кругом цветы и травы... Стой!.. Клубника! Так и есть, на южном склоне у дороги клубника краснела гроздьями, да крупная! Остановили лошадей, свели в сторонку, опять спустили с седёлки — пусть похваляют, трава тут сочная, хватают во весь рот. Скинул Митрий свой картуз, быстро наполнил, отнёс в телегу, ссыпал в угол старого полога, пошёл опять брать. И Егорка рвёт клубнику, горстями, пополам с травой. Ничего, мать очистит, зато ещё ей привезут гостинцев. Вот Бог надоумил поехать этой дорогой! Митрий, как ребёнок, радуется, и сам уже наелся клубники, и Егорку уговаривает: «Не объешься, сынок!» — а сам ест какие похуже, а те, что самые отборные, — в картуз. Смотрит: чем дальше по косогору, тем больше и крупнее ягода. Пошёл к телеге, распряг лошадей, пустил их на траву, выкатались они всласть, с перевёртом на оба бока, пошли на свободе в самую вязиль-траву, что цветёт голубыми крошечными цветиками — лошади её любят больше всех других трав на свете. Уже и картуза таскать клубнику стало мало. Пришлось оторвать уголок старого полога. Набрал клубники не меньше трёх вёдер, солнце покатилося к закату. Попоили лошадей в ручейке через дорогу, запрягли; Митрий прищёлкнул бичом, покатыл полной рысью, чтобы до Талицы доехать засветло.

Талица — не настоящая станица, станичное управление, Чарышское далеко; но казаки везде живут иначе, нежели крестьяне: и посёлок Талица в садах; дома, как игрушки, во всём чистота и порядок. Митрий был здесь ещё в молодости,

и не знал, как велика семья Воробьёвых, но самого Воробьёва знал, вместе гуляли на свадьбе Павла Ивановича Минаева, когда выходила за него Грушенька.

Спросили у первого прохожего. Тот охотно указал:

— Вон, видишь, новый большой дом с палисадником? Это и будут Воробьёвы.

Опять пришлось пригладить волосы, вытряхнуть из картуза застрявший там мусор от клубники, осмотреть, в порядке ли Егоркин нос. Хозяина дома не оказалось, но хозяйка, разбитная, полная казачка, она же и работница за всех и глава дома, просто и приветливо приняла гостей, а через полчаса приехал на коне и сам Воробьёв, высокий и усатый, с лёгкой сединою, статный казак. Узнал и крикнул через двор молодому, стройному сыну:

— Никитушка, распряги лошадей! Милости просим, милости просим, Митрий Лукич! Да как же не помнить? Когда мы ездим в Семипалатинск, мы всегда гостим у Павла Ивановича. Дружки закадычные.

Митрий никогда не пил ничего похмельного, кроме случаев, когда уж неловко отказаться. Так и тут, угостили его крепким домашним пивом, не казачьего изделия — хвалиться Воробьёв не хотел, — а пиво было медовое, староверческое.

На слово Воробьёв был остёр, и все в доме понимали его с полуслова. Как по щучьему веленью, и ужин подан, и соседности набрались, и молодёжь, не знаешь, кто и чьи. Выпил Митрий и развеселился. А когда он весел, он любил рассказывать причуды своего отца, когда тот выпьет и куражится.

— С горя мой отец никогда не выпивал, — рассказывал Митрий, — а как какая-нибудь радость, обязательно выпьет. Ну вот, приехал к нам большой горный начальник, ревизию производить. А отец мой знал, что у инженера нашего не всё в порядке. А кто будет в ответе? Он же, мой отец, потому что он был уставщик и все конторщики были под его началом. И удалось ему наговорить начальнику какие-то там турысы на колёсах, всё прошло, начальник был совсем голоусик, молодой. Мало смыслил в деле. Отец получил от нашего горного инженера десять рублей награды. И вот он выпил, ходит по руднику, кричит:

— Ничего не боюсь, никого не страшусь! Народы, каналья возьми! Народы!

Понравился этот рассказ и хозяевам, и гостям, а Митрий с места сойти не может. Голова работает и язык ворочается, а ноги не несут.

— Ну, это ничего, — говорит Митрий, и лицо его стало розовым: он силится поднять руку к узкой тёмной своей бороде и с трудом нащупывает её, а Воробьёв утешает:

— Да ты не бойся — борода твоя на месте. А ты расскажи нам ещё что-нибудь.

Митрий отыскал глазами Егорку и грозит ему пальцем:

— А ты не знаешь, что надо делать? Ты видишь, что я не могу с места сойти? Ты сын Митрия Лукича, ты внук Луки Спиридоныча, ты внук Петра Исусыча. Помни это. Иди сюда, я нос тебе вытру.

Когда Егорка, испуганный тем, что никогда отца в этом состоянии не видывал, подошёл к отцу, Митрий вытер ему нос, хотя нос его был в порядке, и, наклонившись к нему, сказал:

— Попроси у хозяйюшки корзинку либо ведро и принеси из телеги по-олное ведро клубники. Для всех хозяев и гостей. Свежая, по дороге набрали...

И пока его отговаривали, пока Егорка искал корзинку, а сама хозяйка пошла и принесла полведра ягод, в комнате стоял шум, и смех, и веселье. Митрий поднял указательный палец правой руки, и вышло так, что стих весь шум и гам, а клубника в ведре оставалась нетронутой, а он в тишине левой рукой поманил Никитушку и подмигнул ему так, что тот замер от смущения.

— Ты бравый будешь казак, воин царя-отечества! Я тебе хорошую невесту сосватаю...

Наступила некоторая заминка. Никита посмотрел на отца, потом на мать, а мать его придвинулась к Митрию:

— Да твоими бы, Митрий Лукич, устами мёд пить! Мы ведь только что объехали все станицы, и не нашёл Никитушка по сердцу. А ну-тко, скажи, кто она такая?

— А вот я знаю — как увидит, так возьмёт! Не оторвётся!

Племянница жены моей Елены Петровны, Ольга Жеребцова, рудника Таловского, Шемонаевской волости, Змеёвского уезда... Кушайте на здоровье клубнику! — Он сделал над собой усилие, поднялся на ноги и нетвёрдою походкой пошёл к ведру, взял его и понёс круговую угощать всех клубникой: каждому — полная горсть, нечищенная, с усиками, но спелая и сладкая, как мёд.

Клубника ли наворожила, пиво ли крепкое, но покори́л Митрий всю семью, и запало его слово об Ольге Жеребцовой на сердце Никитушки. Не будет он ждать, пока родители соберутся посылать сватов, а сам оседлает своего коня, уже одобренного станичниками для отряда, поедет как бы случайным, спрашивающим дорогу всадником, и сам увидит, какая такая Ольга гуляет на свободе по горам Таловского рудника. И так и будет, и при первых же снегах загремит колокольцами многих расписных саней и пошевной свадьба. Егорка впервые увидит свадьбу и красавицу невесту в подвенечном платье, ту самую Ольгу, которая два года тому назад

толкнула его в нос скелетом смерти. Но до зимы ещё далеко. Впереди поездка домой с такими новостями, которых он маме даже рассказывать подробно не посмеет: тятенька был пьян и просватал Ольгу.

Шум у Воробьёвых продолжался долго. Егорка затаился в уголок в другой комнате и уснул. И не знает, кто и когда перенёс его на хорошую постель в горницу, где он проснулся под усмешку отца, который был весел, как и вечером. Угощали их опять сытно и обильно, и выехали они уже когда солнце было высоко на небе. Оказалось, что дорога идёт через Кабаниху, а оттуда до Шемонаихи всё под гору, телега сама катится, лошади не успевают ноги переставлять.

Был будний день, улица, по которой Митрий весело подкапывал к своему дому, была безлюдна. Солнце клонилось к закату. Ещё не доезжая до своей избы, Митрий увидал, что с его крылечка сошёл и направился вверх по улице ему навстречу не кто иной, как сам Иван Никифорович, важный, осанистый, в белом кителе и в фуражке с кокардой, горный лекарь. Он не узнал Митрия, прошёл, ответив на поклон лёгким мановением руки. В руках его был саквояжик, тот самый, с которым он посещает больных. Митрий знает, что лазарет давно закрыт, стоит пустой, а лекарь в отставке и давно по больным никуда не ходит и не ездит. Сердце Митрия заглодело. Опять что-то случилось, с Еленой, что ли? Он даже сдержал лошадей и подъехал к дому шагом.

Навстречу выбежала Елена. Лицо её было без улыбки приветствия. Глаза заплаканы. Она ни в чём не виновата. Наоборот. Если бы, пользуясь отсутствием Митрия, она отпустила Миколку на рыбалку, с ним не случилось бы этого несчастья. Вместо рыбалки в это воскресенье он сам вызвался поехать с другими ребятами на помочь. Плотину на мельнице Шмаковых на речке Таловке ещё весной размыло, и Шмаковы устроили помочь: за хороший обед и угощение все, кто могут пахать, возить и укладывать дерно, собрались на мельницу. Миколка был ездовым на чужой лошади. Ехал с возом дерна, попала вожжа под хвост лошади, он наклонился выпростать вожжу, лошадь понесла, ударила его копытом прямо в... последний глаз.

Разве можно об этом что-либо сказать? Но и молчать нет сил. Повела мужа в избу, как на эшафот. Миколка лежал с обвязанной головой, стонал, и неизвестно, что сделал лекарь, но мать видела: залитая кровью голова Николая была сплошной раной, и правого, здорового глаза не было видно. Одна белая кость над глазом, вся бровь сдвинута на лоб. Да разве можно у матери спрашивать, как это было и что будет? Митрий и не

спрашивал. Но и плакать не было слёз. Одно её удерживает на ногах: Иван Никифорович после первой перевязки — сегодня уже третий раз — сказал, что кость не раздроблена и что глаз не вытек... А сегодня он ничего не сказал, только улыбнулся ей и ушёл. Елена бросилась на колени перед иконами и, причитая, умоляла Богородицу спасти и помиловать несчастного мальчика... Самый же он старший, и работник, как большой. Господи, Господи! Слова молитвы не выходили, они проглатывались вместе со слезами отчаяния...

Митрий неохотно распрягал лошадей, без радости выгружал подарки, но Оничка и Егорка вместе дружно помогали отцу и матери, и оба молча плакали и не могли остановиться: вытирают ручонками слёзы, а они всё катятся. Не высыхают.

Митрий вошёл опять в избу, несмело подошёл к постели, потрогал рукою худенькую руку Николая, тот застонал, потом с трудом трясущимися припухшими губами вымолвил:

— Я уж ничего... Только как ты без меня со страдой упрaviшься?..

Митрий, крепкий человек, никогда не плакавший, не мог выдавить из себя ни одного слова. В горле его стал комок, слова застряли. Наконец он, пересилив себя, ответил:

— Ничего, сынок, лишь бы тебя Господь поднял...

Дело одинокое.

У всякого человека есть свой способ утешаться. Микола в памяти и может говорить, слава Богу, изувечен не до смерти. А когда ещё через неделю лекарь с трудом раскрыл всё ещё закрытый опухолью глаз Миколы, тот даже взвизгнул:

— Я тебя вижу, вижу!

Это он крикнул стоявшей в темноте матери, которая ни разу не осмелилась спросить Ивана Никифоровича, может ли Микола видеть. Боялась, что ответит: нет.

Митрий с Оничкой и Егоркой был на покосе. Нынче сенокосный надел ему достался по жребию за Убой. Река ещё больше убыла, и бродить было неопасно, но в глазах Егорки и Онички всегда смешивались страх и смех от щекотки быстрых, заливавшихся в телегу, весело бурливших струй воды. Митрия это тоже отвлекало от его сразу навалившихся на одинокие плечи забот и самой острой тревоги за Миколку: ослепнет парень или Бог милостив? И когда в конце недели он вернулся со своими босоногими помощниками домой и услышал добрую новость, что Микола видит, радость его сразу вытеснила все заботы и влила в кровь и мускулы ещё силу и ловкость поспевать везде, на удивление соседям. Он даже выгадал два дня, чтобы вместе с Еленой поехать на покос Касьяновых.

Встать надо было до зари, разбудить детей, накормить больного, наказать Оничке весь распорядок дня, ещё дома от-

бить и наточить косы, поспеть на завтрак в дом Касьяновых, у которых работали другие мужики и бабы, не засидеться за едой, но и не остаться голодными. Косьба — дело мужицкое; бабам потому и платят половину подённой платы, но и бабы не хотят отставать от мужиков. На две телеги садятся в ряд, с одной и с другой стороны телеги по четыре человека, косы между колен, черешками вниз, стальными частями вверх и в стороны, так, чтобы блеск кос веселил глаз каждого. И с песней, умеешь, не умеешь петь — подтягивай.

Запряжки несутся местами рысью, а местами и вскачь, чтобы на покосе быть как раз когда роса на траве чуть подберётся. Все косари приодеты, и не пристало даже бабе быть босою. Елена надела праздничные свои башмаки; веселье, смех и шутки тоже надо разделять умеючи. А когда хозяин стал первым в ряду косарей, выпрямился, поставил перед собою косу и зазвенел оселком, — музыка всех кос разносится по лугу как зарядка силы и соревнования.

Кирила не пойдёт быстрее других, он только пошире расставит длинные ноги, и прокос его будет широк и чист; под прокосом всякая былинка должна упасть, чтобы потом, когда будут грести сено, грабли не цеплялись бы за нескошенную траву. Пример этот для всех — безмолвный приказ всем косарям, и особенно же бабам. Не жалуйся, что коса у тебя тупая — должна быть острой; на половине прокоса останавливаться тоже не годится: весь караван затормозишь.

В этом ряду из шестнадцати косарей шестую идёт Елена. Она знает, что есть среди баб такие, которые и мужикам не уважают, знает и то, что она со всеми устоять не сможет, но и не имеет права показать свою слабость. Прокос её гораздо уже мужского, но захват на косу должен быть таким, чтобы шаг не уменьшался: следом за нею идут десять косарей. Хорошо, что следующим идёт Митрий. Его размах косы не уже Кирилова, потому что он идёт в поясном поклоне и бережёт свои и Еленины силы.

Впереди ещё десять часов косьбы, с часом на обед, с коротким перерывом на паужину. Но этот час в обеде Митрий сократит, чтобы успеть отбить и наточить косы, главным образом для Елены. Свою он и так протянет до вечера, но Елену он не то что жалеет, а спасает от насмешек баб-сплетниц. Но Кирила зорек и со смыслом. Он знает, что баб нельзя равнять с мужиками, но нельзя их и отделять в особый бабий ряд: обидятся не только бабы, но и их мужья. Все хотят быть равными и не ударить в грязь лицом. Один, второй, третий ряд прошли — лугу убыло полдесятины.

— Стой, мужики! Покурим! — кричит Кирила.

Не все курят, но остановка даёт передышку бабам. Кирила знает: если всех их сразу надсадишь, за целый день не вы-

жмешь из них того пота, который нужен для хозяина. У него гурт скота, и лошадей до сорока голов, да полсотни овец. За два дня с шестнадцатью косарями надо рассчитывать, что можно осилить. Но и кулаком Касьянова никто не назовёт. Выжмет пот, но не до крови. Тем и слывёт — никому в нужде не отказывал. Митрий и Елена это знают, и стараются на совесть и до предела сил. Но не хватает сил у Елены. Не то что она старше прочих баб, а то, что дети высосали кровь смолу, не раз и так рожала преждевременно и мёртвеньких, а надо силу дать, надо не показать не только слабости, но и усталости на загорелом, влажном от пота лице.

И кричит ей Митрий, идущий за нею следом:

— А ну-тко, Елена, заводи песню!..

Во взмахи косы, в тяжёлую одышку от усилия махать и не отставать тонкою, дрожащей болью вонзается одинокий женский запев весёлого мотива.

Эх, во-о лузьях, эх, во-о лузьях...

И все впереди и назади Елены подхватывают знакомую хоровую песню:

Во лузьях, лузьях, в зелёных во лузьях,
Вырастала трава шёлковая,
Расцвели цветы лазоревые.

В этот плясовой мотив не сразу укладываются взмахи кос, но скоро их одномерный блеск на солнце вливает силы в руки косарей, и, кажется, каждой уставшей бабе легче дойти до конца прокоса и остановиться для точки кос и для перемены песни на другую, более протяжную, когда грудь свободнее наберёт воздуху и поможет начать новый ряд. Но ряд косарей так длинен, что, когда заходят для начала нового прокоса, косари отставшие ещё не кончили, но и им нельзя не петь, нельзя показать, что невесел их труд и что душа уже рассталась с телом.

Долго тянется время до обеда, долго катится солнышко к закату, пока все косари, опять с песнями, теперь уже без одышки, едут домой и поют на обеих телегах разные протяжные, помогающие отдыху песни.

Так оба дня выдержала Елена, самая многодетная и самая несвычная к мужской работе, но дома она сваливается и зовёт бабушку Колотушкину, всё ещё бойкую и хлопотливую старушку, живот поправить.

С молитвой намыливает руки бабушка и правит живот Елене обеими ладонями всё вверх и к середине, мягко и долго массирует и воркует, воркует так успокоительно, пока Елена заснёт, а бабушка выгонит всех ребятишек из избы, а если

Андрюшка куражится — возьмёт и унесёт его к себе. Дал Бог такую бабушку-соседку, чтобы через день-другой поднять больную женщину на ноги и поставить в ряд жниц или гребцов сена.

А как Елена справляется с хозяйством, как успеваешь поправить всё ещё больного сына-большака, напоить, накормить остальных, починить для всех и выстирать, испечь хлебы, — об этом без слов расскажут тяжкие вздохи, стоны и невыплаканные слёзы страдной летней поры.

Бывало, идёт с косою становиться в ряд с другими, видит на прокосе спелую клубнику — и нет минуты наклониться и сорвать и прохладить пересохший язык. Что скажут люди, которые проходят так же мимо сладкого соблазна, чтобы ничем не проявить слабости. И тогда эти крупные, спелые ягодки кажутся каплями запёкшейся крови. А может быть, это только кажется Елене, потому что пот заливают глаза и по временам темнеет зелёная трава. Нет, это значит, опять Бог за грехи наказывает, значит, опять «понеслась»...

Всё чаще болеет Елена, всё реже вывозит её Митрий на пашню. А страда входит в самую горячую пору. Пospel ячмень и подсохло скошенное за Убою сено. Не дай Бог — пойдёт дождь, сгниёт сено в рядах, надо поспевать сгрести его хотя бы в копны, но как без Елены метать стога? Микола только что кое-как взбрёл на ноги, рана у него всё ещё не зажила, хотя он из-под повязки уже видит и всё время силится повязку сдвинуть выше на лоб, поэтому и не заживает рана. Он рвётся на покос и на пашню, но нельзя ещё: там сено попадёт в рану или в глаз.

— Нельзя, сынок, лекарь сказал: не будет лечить, если раньше времени начнёшь работать. Сами как-нибудь справимся.

Это значит, Оничка и Егорка, двое, заменяют Николая, но где им заменить Миколку? Он уже в прошлом году работал на подёнщине у других вместе с матерью. Но Егорка неотлучно ездит с отцом всюду, даже Оничка так не умеет лошадь спутать, напоить, принести воды в котелке, топтать копну сена, а недавно даже стал и копны возить. А вы знаете, как в Сибири возят копны?

На лошадь надевается хомут со шлейей, к одному гужу привязывают верёвку — так, что она тянется во всю длину позади лошади. Егорка сидит верхом без седла, едет вокруг копны, верёвка тянется за ним вокруг той же копны. Оничка — ох, она на всё дотошная! — привяжет конец верёвки петлёй, чтобы легче развязать, ко второму гужу, а сама идёт и склоняется позади копны, что-то там с верёвкой колдует и кричит:

— Ступай! — И копна тащится за лошадь, ни клочка не потеряется. Так отец её научил, только раз показал, как надо чуточку верёвку потянуть и ослабить, намотать на неё немного сена, и копна поедет сама.

Но метать стог сена — вот это для Митрия мука. Всё надо самому: копны делать можно короткими вилами, а стог метать нужны подлиннее, полустоговые, а потом и самые длинные, стоговые вилы. Такие вилы он нынче сам сделал, почти что две сажени длиною. Когда сдвинуты в треугольник три копны вместе, между ними сено укладывается копёнными, короткими вилами, но когда стог вырастает выше головы самого высокого человека, тогда нужно орудовать стоговыми вилами. Не мудрено взять из копны пласт сена, мудрено его поднять и бросить наверх.

Тут нужна смекалка, как поднять тяжёлый пласт и не сломать вил. Вилы гнутся, сено из рожков вил вываливается, нужно ловко воткнуть нижний конец вил в землю и опереть одним коленом в рукоятку вил так, чтобы пласт приподнять вверх, потом перехватить руками выше и побежать вперёд так быстро, чтобы пласт сена взлетел на воздух, и уже только тогда можно нести его куда угодно, сохраняя равновесие. Но ведь на стогу кто-то должен подхватить пласт граблями, удержать, уложить плашмя на нужное место, и всё время утаптывать середину стога, чтобы, не дай Бог, не оказалось впадины, в которую пролёт дождём всю середину стога.

Вот это всё, без Миколки и Елены, Митрий должен делать сам. Как ни делай стог высоким, он всё равно к осени сядет наполовину, а потом, к зиме, совсем будет лепёшкой. Занесёт снегом так, что его зимой и не найдёшь. Значит, чем выше стог, тем сохраннее, да и людей смешить не хочется. Вот Митрий и ухитряется: поставит лошадь в хомуте с верёвкой у гужа на другую сторону стога, перекинет верёвку через стог, и по ней с противоположной стороны влезет на стог, уложит, утопчет, начнёт скат крыши так, чтобы вода сбегала, как с соломенной крыши, и опять спускается вниз, сам вздымает тяжёлые пласты наверх, а потом опять лезет на стог. Но самую верхушку надо сделать острой, не сходя со стога, а кто подаст сено для завершения острой верхушки?

Бросает конец верёвки вниз, учит Оничку, как наложить на верёвку сена, как завязать снопом, но у неё нет опыта, сено рассыпается, пока его дотащит Митрий наверх. А день уже на закате. На западе тучка показалась. Лопается всякое терпение, вырываются недобрые слова, поганят воздух. Оничка плачет, Егорка плачет. Жаль их Митрию, но укротить себя не может. Сползает со стога, навязывает на верёвку сена больше, нежели хороший сноп, тянет наверх, а верёвка с сеном

сворачивает на сторону то, что он уже завершил. Опять всё надо снова начинать.

А солнце уже закатилось, и дождик стал накрапывать. Это уже несчастье. Если помочит хоть немного незавершённый стог, всё сено в нём пропадёт, сгниёт, весь труд, и золотое время, и спокойствие души — всё погибнет понапрасну. И вот лезет Митрий снова на стог, наскоро снимает с краёв его что можно, утаптывает середину, вершит, как может. В первый же солнечный день придётся часть сена сбросить, накосить, высушить и привезти две-три копны нового сена, завершить как следует и укрепить «вицами».

Это значит: положить на верхушку стога несколько длинных веток тальнику, комлями вниз, связать вершинками на самой верхушке, и это сохранит верхушку стога от сброса ветра, от загиба «юбки»... Первый же дождь примочит верхний слой сена, огладит скаты крыши и удержит стойкость стога против бури и дождей и снежной вьюги. Зимой нужно только приезжать с лопатой и железными вилами, чтобы откопать от снега стог и разломать его верхнюю, обледенелую часть крыши. Сено будет зелёным и пахучим, и каждая в нём ягодка, подвяленная и сладкая, порадует хозяина.

Будь лишний, даже не взрослый человек, а только хоть Миколка, стог сена смётывать — одно веселье. Хорошо на нём стоять и глядеть с высоты вокруг, как на том же лугу другие люди гребут сухие ряды сена, подгоняют его впереди себя граблями, помогая пинками ног, как катышки. Любо посмотреть, как весело кругом движется народ, вырастают стога, перекликаются мужики и бабы, а тут, как на грех, оба помощника вышли из строя.

Что взять с малых детей, Онички и Егорки? Таких в городе ещё и в школу не посылают, а тут отец их мучает, да ещё терзает их маленькие душонки ругательством. Всё это сам Митрий знает, жаль ему детей, а дети его жалеют. И больше всего жалеют они мамыньку. Лежит опять больная — молча оба они думают, и ужасаются. Вот приедут домой, а у крыльца их избы стоит большой деревянный крест... А мамынька уже в гробу лежит. И правда, с таким страхом все они, и Митрий тоже, подъезжали к дому после трёх-четырёх дней страды на поле или на покосе.

Но, слава Богу, мамынька опять на ногах, хотя и подвязан живот полотенцем и бледно её милое лицо. Зато и Фенька заменяет Оничку. Это ей поручен Андрюшка, который уже бегаёт и лезет всюду, где опаснее всего. Вот они роются в земле, Фенька успела перенять у соседской девочки любимую игру: копать в земле могилки, хоронить в них щепочки, зарыть, воткнуть в одном конце крестик из палочек и причитать:

— Да родимая ты моя мамынька, да на кого ты меня спокинула?

Оничка уже перестала играть в эту игру, но подружки её, что поменьше, всё ещё играют. Приходят к Феньке, поправляют, как нужно делать всё это печальнее, и сами присоединяются и плачут настоящими слезами, заранее отводят душу будущих несчастных жён и матерей, и дочерей, с детства приучаются к неизбежному страданию.

Но петухи поют и курицы кудахчут на селе, кое-где старики сидят на завалинках — это уж немощные либо больные, но бабушки пасут своих внучат, ворчат на них. Слепая Аксинья опять кричит на всю улицу:

— Варька-а! Куда тебя опять нелёгкая-то унесла?

Но Варька тут же, только заигралась с собачонкой, отбежала за избу. Выбегает, даёт бабушке костыль. Она уже знает: бабушка куда-нибудь пойдёт. Не сидится ей дома, когда не с кем говорить. Она протягивает в воздух руку. Варька — ей восемь лет, как Оничке, — подбегает под эту протянутую руку и ведёт старуху вниз по улице.

День яркий и жаркий, а улица пустая и заросла травой-полынью, цветов возле домов ни у кого нет, только в палисаднике Зыряновых, да кое у кого ещё в низу деревни. Но фуксии и беленькие занавесочки кое-где весело улыбаются из низеньких окошек. Даже все добрые собаки на полях и на покосах. Только старые да ленивые лежат в тени и соблазняют мух закрытыми глазами. Всё взрослое, здоровое население в поле.

VI Жатва

Проходят дни страды, как годы, а кто торопится — как скоротечные часы. Здоровье Елены часто зависит от того, весел или груб Митрий. А он чаще груб, нежели весел. Но есть добрые люди на земле. Поднял на ноги Миколку Иван Никифорович, выходил, ни копейки не посчитал, свои лекарства тратил. Шрам над глазом, на брови, глубокий, наискось и красный, но глаз остался невредим. За три недели, лёжа в постели, вытянулся Николай, стал тонкий и высокий. Отец рад и счастлив пошутить:

— В кого ты такой верзила уродился?

Рада и счастлива мать ответить шуткой:

— Ежели не в мать и не в отца, стало быть, в прохожего молодца.

Но счастливее всех сам Миколка. Откуда и прыть? Чуть не подрался с отцом из-за серпа. У отца серп аглицкий, самый острый, Микола не желает жать пшеницу старым, заржавленным серпом. Пришлось купить ему серп: отец привык к своему, никакой другой в руке не держится с такой удачей для постати. Горит поstattь (ширина полосы, которую охватывает жнец) у Митрия, завидно было Николаю, потому что и он не желает отставать от отца. Но за Митрием в жатве никто не угонится. Вот как он жнёт: склонившись над пшеницей, он идёт с серпом справа налево. Он не захватывает в горсть левой руки больше, нежели могут обнять два пальца — большой и указательный, но он и не рвёт серпа рывком, не теребит пшеницы с корнем, как это выходит у неопытных жнецов. Он просто нажимает всей ладонью на остриё серпа, и пшеница сама срезается, без дёрганья правою рукой.

Но этого мало. Когда его левая горсть наполнена, он всё ещё продолжает идти справа налево и набирает пшеницу между указательным и средним пальцем, потом между средним и безымянным и, наконец, между безымянным и мизинцем, и когда у него в руке уже целый большой веер золотых колосьев, он взмахивает им вверх и опускает вниз так, что колосья выравниваются почти в полснопа. Вот почему и поstattь его широка и ни колоска не потеряно, жнива подрезана низко, сноп получается высоким, и позади его поstattи ряды снопов обильнее и чаще. Елена едва успевает один сноп поставить, и тот жиденский, завязанный по бабьи слабо, а у Митрия снопы стоят пузатыми купцами, подпоясаны широким кушаком туго, и колосья от тесноты не торчат свиной щетиной, а стоят чёрно-бурою лисицей, густо, плотно, колос к колосу. Так же Митрий и косит. Как он ни распластывается в поклоне и размахе косы, ему всё кажется узко на прокосах, и потому скошенный ряд его травы набит травой плотнее. Он не только скосит и подкосит каждую былинку под скошенной травой, он подтолкнёт её назад, чтобы было видно, что коса Митрия всё бреет начисто, без лысин и без хохолков.

Вот почему Микола завидует отцовскому серпу даже и после того, как тот купил ему новый, острый и лёгкий, как пух. Он думал, что в серпе всё дело, но когда взял серп отца, попробовал — нет, по-отцовски не выходит. Тут нужна не только ловкость и сноровка, тут нужно что-то ещё, чего у Николая быть не может. Нужен удар молотом шахтёра, зарабатывающего свой забой сдельно, нужна экономия времени отца, который должен накормить и содержать семью сам-семь. Нужно что-то ещё, чего Микола, быть может, никогда не узнает: нужен собственный путь жизни Митрия, идущего

по постати своей жизни не одиноко, а в компании с особенной женщиной-подругой, Еленой, от которой хоть и изредка, хоть и неохотно, он слышит странные слова, иногда в песне, иногда в пословице, а чаще просто вот в такой знойный день, когда спина её устанет до изнеможенья, и, выпрямляя её, она посмотрит далеко за пределы пашен, вытрет пот со лба и с шеи и, как с собою, скажет:

— А всё-таки Господь есть повсюду и во всём. И со цветка пчела берёт пылинку, и дождь ласкает каждую былинку... Не помню, где это я читала? — И вдруг, наклонившись к жатве, запоёт своим тонким, тонким голосом одну из тех многих песен, которые она вывезла из казачьей станицы и которые певала вместе с сёстрами и подружками на родных лугах и на снопах за Иртышом.

Я вечер в лужках гуля-ала,
Гру-усть хотела разогнать...
Цветик аленький искала,
Чтобы милому послать.

Сладко это слушать всем, сладко Митрию, и Миколу, и Оничку — они тут все теперь на полосе, и Фенька с Андрюшкой под телегой на краю полосы, всем слышать это радостно, но сладость эта щиплет в горле Егорки. Каким-то ему неведомым, далёким, недетским чутьём он жалел свою мать. Он тоже жнёт тупым серпом, нарочно выбранным, чтобы не порезал руку, — и жнёт он рядом с матерью, потому что сам снопов вязать ещё не может и кладёт нажатые горсточку в её кучку для снопа. И вот он бросает серп, садится на землю и вытирает слёзы пыльными ручонками.

— Что ты? — подходит и склоняется над ним Елена. — Ну что ты плачешь? Ну-ка покажи: ручку порезал?

— Не-ет, — едва выдавливая из себя Егорка. — Мне тебя жа-алко-о, — уже не говорит, а шепчет он в склонённое над ним лицо матери.

Никогда и никому об этом Елена не расскажет. Уж очень глубоко это проникло в её сердце, но тут же невольно простирается её рука над мальчиком, и смутно, благотворной лаской, как дождь на пыльную, засохшую ниву, падает на эту белокурую головку материнское благословение. Именно здесь, на полосе пшеницы, у недовязанного, недожатого снопа, решает она: этого сына вымолить у строгого отца и отдать в ученье, в школу. Микола уже останется неграмотным, и Оничку учить не доведётся. Такова же будет судьба и остальных детей, но этого, в котором шевельнулась жалость к матери, этого она отдаст в ученье.

Но, как и всё, в усталости и в недосуге нельзя всерьёз принять и обдумать, когда все под Богом ходим. Дожить бы только до того, когда он подрастёт, чтобы, если надо будет плакать, выплакать его из этой доли. Дожить бы!..

Теперь уже всякий раз, когда Елена носит во чреве новый плод, она готовится к смерти. Сколько уже раз Господь терпел и миловал, не бесконечно же Его долготерпенье. Митрий и сам знает — не до прироста им семьи, куда ещё детей иметь, а вот опять не упаслись. Уж и грудь-то высохла от худобы. Андрюшку почти год кормила, досуха высосал всё, до последней капли, оттого и выжил, а для нового и крови не хватит, не только молока. Но да будет воля Божия! Грешно и на нерождённый плод роптать.

Солнце поднялось как раз на середину неба. Пора обед варить. Это самый радостный для всей семьи час отдыха, особенно когда, после Петрова дня, можно есть мясо или хотя бы саломат. Саломат — это, должно быть, древнее и самое простое, но самое вкусное изобретенье для стола. Ржаную муку, а ещё лучше белую, замешивают на кипящем сале, а ещё лучше на коровьем масле, и прожарят. Ох, и сытно, и быстро приготовить, и всем нравится. Но Митрий нынче изредка покупает свежее мясо. В погребе ещё есть лёд, наколют его мелкими кусками ещё дома, засыпят мясо в котелке, чтобы до варки не испортилось. Уже и лук там, и крупы немного, и яичко для заправки. Сварят — и семья сыта, и силы для работы у всех прибавится. Бутылка с молоком в ручье, на верёвочке, чтобы струёй не унесло. Это для Андрюшки, а для всех остальных молоко варёное, с пенкой, из-за которой спорят двое: Оничка и Егорка, а достаётся она Феньке, потому что та кричит до кашля. Но молока не пьют на пашне. На пашне чай — не питьё, а еда, с молоком и хлебом, и никогда с сахаром, кроме больших праздников, когда в избе случаются чужие люди и когда от них для хозяев останутся обкуски. Но для Андрюшки берегут кусочек. Нельзя кормить его всё время молоком: желудок зажигает. Кормят раз в день крошками, размоченными в сахарной воде.

За обедом, хотя и все торопятся, но при виде жирных, наваристых щей всем делается весело. Оничка грозит Егорке пальчиком, но ничего не говорит. Тот знает, что она только грозит, но не пожалуется. Родители не слушаются их жалоб друг на друга. Такой у них обычай, пока дело не серьёзное. Но это дело серьёзное. Оничка ходила на ручей за молоком и видела, как Булануха у Егорки вырвала повод и ушла в овёс и покаталась с «перевёртом». Значит, сделала «вальбище», а овёс чужой. Кто будет отвечать? Отвечать будет тятенька. Ага?

Егорка это уже слышал от Онички, только думал, что это ничего, овёс сам поднимется. Ночью будет роса, а после росы вся трава поднимается. Но Оничка погрозила пальцем при отце и матери, значит, дело серьёзное. Оничка не будет скандалить, надо, чтобы он сам сказал. Егорка решил сперва наесться, а потом сказать. А то начнут ругать и поесть не дадут.

Но когда наелись, отец и мать на минуточку легли под тень телеги подремать, Егорка понял, что нельзя им говорить, когда они отдыхают. Оба отошли в сторонку — как бы собрать немножко клубники. Оничка ему баском говорит:

— Если не скажешь, я сама скажу. Овёс надо поставить. Ты сам поставишь?

Егорка уже забыл, что только перед обедом ему было жалко матери, а теперь, выходит, ему совсем не жалко отца. Ведь сосед придёт, начнётся грех.

Оничка так и требует опять:

— А за потраву ты заплатишь? Тятеньку платить заставят.

Борясь с собою, вернее, не желая сдаваться Оничке, Егорка отстаивает свои права. Он грозит Оничке:

— А я им про простоквашу расскажу.

— Ну и расскажи, это нисколько не страшно.

Егорка косит глазёнки мимо Онички. Он думает. Впервые думает серьёзно: не о том, что случилось, а о том, как это вышло. Булануха виновата. И он рассказывает Оничке, захлёбываясь от спешки, и Оничка придумала:

— Побежим. Коленьке скажем!

— Он меня отлупит, — грустно отвечает Егорка.

— Зато тятеньке не надо говорить, — уверяет хитрая Оничка. — Коленька с нами пойдёт, и мы все овёс поднимем.

Они спешат к Миколе. Тот сразу понял, но Егорка хочет повторить, как это вышло:

— Я путал Булануху, а она мотнула головой от мух да как хлестнёт меня по башке головищей своей. Я упал и повод выпустил, она и ушла в овёс. Я не успел её согнать, она стала валяться, и жеребёнок...

Но Оничка не дала ему досказывать, поторопила:

— Коленька, побежим все вместе овёс поднимем, пока тятенька спит.

И побежали, и поднимали, ещё больше вытоптали чужой овёс. Миколка выгнал их из овса и решил за всех:

— Беспременно надо тятеньке сказать. Овёс-то Вялковых. Нет, погодите. Я сейчас... — Он побежал к телеге, отец уже встал, и мать взялась за серп. Микола взял узду, сбежал к ручью, поймал Булануху, сел на неё и погнал на стан Вялковых. Там он рассказал всё, как было. Вялков выслушал, посмотрел

на Миколку, подошёл поближе, потрогал его шрам над глазом и спросил:

— Не больно?

— Нет, слава Богу, зажило.

— До свадьбы заживёт, и в солдаты тебя не возьмут. — Потом прибавил: — Поезжай с Богом. Спасибо, что сказал, а то я бы на кого другого подумал. А Егорку увижу — уши ему отъём...

Прискакал Микола к своим, а там Егорка сам всё рассказал, расплакался. Микола привёз поклон от Вялкова. Митрий похвалил Миколу:

— Вот это правильно, сынок! Большого сердца человек Вялков. Пошлём Егора к нему на выучку. В работники сдадим.

Так всё обошлось мирно и благородно. И о простокваше не пришлось рассказывать, а следовало бы. Это забавно.

Случилось это вот как: когда Митрий и Елена косили у Касьяновых, Елена строго наказала Оничке, как и чем кормить больного Миколку, что дать Феньке и Андрюшке, а Оничке и Егорке оставила в погребке кринку простокваши, покрывши её краюшкой хлеба на один раз на двоих.

Оничка всё выполнила так, как было наказано, но когда пришло время обеда, она достала кринку простокваши, поставила её на стол, разделила поровну хлеб, а поперёк кринки сверху положила Егоркину ложку и сказала ему:

— Вот я разделила пополам простоквашу. Видишь: это моя половина, а та твоя. Я старше тебя и буду есть сперва, а потом ты.

И стала есть. Егорка покорно ждал и смотрел: в кринке его половина казалась ему всё такой же целой половиной. Но когда он взял свою ложку и начал есть, то простокваши ему не хватило, даже хлеб доест не успел, а хлебать было нечего. Тогда он понял, что обманут, и заревел. Больной Микола вмешался:

— Чего вы опять там делите?

— Она всю простоквашу съела одна-а! — Егорка, как никогда ещё, кричал, не от голода, а от обиды. — Она только на доньшке мне оставила. Всё одна слопала.

Миколка поднялся на постели, но из-под повязки на глазах не видел ни Егорки, ни Онички, и сам чуть не плача крикнул на обоих:

— Убирайтесь из избы! Андрюшку разбудили. Мне самому надоело целый день слушать этот рёв.

Оничка вытолкнула Егорку из избы, вынула из зыбки Андрюшку, вывела за руку Феньку, и уже на крылечке попыталась замять свою вину:

— Ну не реви. Я тебе яичко испеку. — И побежала в те знакомые места во дворе, где были куриные гнёзда; достала одно яичко (а там их было четыре — мамынька не узнает), вбежала в избу, сунула яичко в горячую золу в загниёт печи и, пользуясь тем, что Николай не видит, стряхнула золу с пальчиков, выбежала к детям. Фенька видела и, хотя она уже получила своё испечённое яичко, смотрела на Оничку голодными, ожидающими глазами. Когда яичко испеклось, пришлось ей дать половинку, но Егорка и тут не успокоился.

— Опять ей? — он оттолкнул свою половину и ещё обиднее заревел.

А в это время заревел и Андрюшка, тоже тянется к яичку. Фенька, управившись со своей половиной, не зевала, и когда вторая половина яичка оказалась на полу, она схватила её и сразу заложила в рот.

— Подавишься, ты, дура! — кричит Оничка, а Егорка уже угрожает:

— Вот я мамыньке скажу!

Оничка знает, что твёрдым печёным яйцом Фенька уже однажды давилась, и это будет раскрытием всех её секретов не только перед мамой, но и Николай услышит и будет допрашивать, она сама заплакала и с негодованием ответила Егорке:

— Ну и сказывай!..

Теперь ревели уже трое: Егорка, Оничка и Андрюшка, а Фенька не могла даже реветь, потому что подавилась и закашлялась. Оничка поколотила её по спине, яичко вывалилось из рта Феньки. Цыган был тут, и всё начисто слизал с немой ступеньки крылечка... Теперь присоединилась к общему рёву и спасённая от удушенья Фенька. Микола, опираясь о косяк двери, вышел ощупью из избы и заревел на всех:

— Да замолчите вы, опасна боль вас задави!.. Хоть беги из дома!.. И побежал бы, кабы видели глаза. — И он, такой крепкий и легко переносивший всякую боль, тоже сел на ступеньки и заплакал, слёзы накопились под повязкой и щекочут глаза, смачивают марлю и разъедают незажившую рану.

Оничке и Егорке стало жаль Миколу, они смолкли, вытерли слёзы и, как сговорились, взяли за руки: Егорка — Феньку, а Оничка — Андрюшку, и пошли через улицу, на крыльцо Касьяновых, на котором они обычно ждали родителей с покоса или с пашни. Но было ещё рано, бабушка Касьяниха, мать Кирилы, с внучатами была ещё на огороде, а старика Касьянова они боялись. Он всегда был на дворе, всегда с топором или пилой, и не любил ребят. Тогда они пошли за дом Касьяновых, там есть переулок, покрытый зелёной муравой, и в тени забора было хорошо укрыться от солнышка и поиграть. Только

тут нельзя шуметь, а то дедушка Касьянов услышит, придёт и прогонит. Микола остался один, ушёл в избу, лёг на кровать и долго ещё боролся с непокорными слезами, разъедавшими его рану над глазом.

Цыган всегда сопровождает детей, в огород или по улице куда-либо к соседям, а Булька всегда оставался дома караулить хозяйство. Ленив он на подъём потому, что живот его всегда пуст и тощ. Если дети ссорятся из-за последнего кусочка хлеба или из-за яичка, то кто и чем накормит собак? Поэтому они так охотно бегут за хозяевами на пашню. Там всегда хоть косточку им бросят, а то и сами выследят и умудрятся поймать неловкого зайчишку, долго будут рыть и ждать крота. Но никогда даже голодная собака не тронет запаренные птичьи яйца или маленьких, неоперившихся птенцов. Есть такой закон у животного мира: не трогать малое, беспомощное дитя, даже зверёныша.

И тут, в тени чужого забора, Цыган растянулся на травке и отдался весь в распоряжение заплаканных детей. Чует пёс своим особым, людям недоступным чутьём всякое человеческое горе, и если надо, то и жизнью пожертвует во имя верности и дружбы к человеку, прощая ему все его грубости и разделяя с ним голод и холод, и всякие невзгоды. Терпел и Цыган, когда Фенька ездила на нём, лежачем, позволял и Андриюшкину игру с его ушами, даже приучился приносить брошенную Егоркой палочку. Вот так и занял и развлёк Цыган всех четверых под чужим забором, пока вернулась из огорода бабушка Касьяниха с целым выводком своих внуков и внучек. А когда она их накормила и вывела на высокое крылечко посидеть, на то же крылечко собрались и дети всех тех рабочих, которые были на покосе у Касьяновых.

На этот раз их было тут не менее десяти посторонних, но никто не ждал своих родителей с таким нетерпением, как дети Митрия и Елены. Потому что только с приездом родителей можно что-либо поесть. Вот если бы были арбузы. Арбузы сеют и выращивают только казаки на прииртышских степях. Иногда оттуда появляется на улице села целый воз. Но арбузы продаются по две копейки, а большие — и по три. Арбузы даром не дают, а в горах их никто не сеет. Но когда родители купят и оставят детям арбуз — вот это дело! Один арбуз с хлебом на всех — на целый летний день хватает. Только надо с хлебом есть и все корочки хорошо обгладывать.

Ждут-пождут родителей, всматриваются в каждую телегу, показывающуюся вдаль на дороге с пашен. Нет, не наши. Солнце уже клонится к закату, а закат пылает в красно-жёлтых тучах. Оничка видит, что коровы пришли из стада. Она бежит, загоняет их в пригон, выносит подойник и садится под Бе-

лянку доить. Белянка даётся доиться мирно и не лягается, а Бурёнка иногда так ударит задней ногой, что опрокинет поддойник и разольёт молоко. А молока и обе-то коровы дают всего четыре кринки, полподойника. Оничка делает так, как мама: подоивши Белянку, она идёт в избу, разливает в кринки молоко, а потом идёт доить Бурёнку. Если улягнёт, то не всё молоко прольётся.

Феньку и Андрюшку она оставила на крыльце Касьяновых с Егоркой. Егорка хотел бы побежать играть с другими мальчиками, да нельзя. Он держит Андрюшку, чтобы не полетел с крыльца. Иногда он сажает Андрюшку вместе с Фенькой, и та горда, что ей поручают Андрюшку, но она долго усидеть на месте не может и рвётся к Оничке. Та всегда ей даст немножко молока. На этот раз она наказала Егорке не пускать Феньку. Она пугает Бурёнку. И вот сидит Егорка на крыльце и невольно слушает сухую, с тёмным лицом, бабушку Касьяниху. Вростяжку, басом она рассказывает своим внукам то, что видит в тучах, красных от закатывающегося солнца.

— Это война-а идёт, — говорит она. — Видите, как там полыхает пламя! — она указывает крючковатым пальцем на закат и разъясняет: — Та жёлтая туча головастая, как кошка. Это Китай идёт!.. Китай тыщу лет не воевал, у него людей народилось столько, как на целой шубе волосков. А у белых царей всего только как волосков на одном рукаве шубы. И всё-таки белые цари пошли с заката солнца на восток и разбудили Китай, и Китай поднялся. Во-он он, желтоносый, идёт войной на закат солнца, и быть всемирной войне. А как настанет всемирная война, то и всему свету конец. — Бабушка Касьяниха рассказывала это так твёрдо, и знающим пальцем тыкала на жёлтую тучу и на красную, и угрожала, что они вот-вот сойдутся и начнут всемирную войну. И правда, из туч погромывали угрожающие громы и вспыхивали молнии. Война, значит, началась. Куда же от неё теперь прятаться?

Но ни войны, ни даже дождя в тот вечер до села не дошло. Дождь прошёл куда-то мимо, а пламя на закате скоро погасло и сменилось сумерками, однако рассказ бабушки Касьянихи Егорка никогда не забудет. И не забудет он тех дней и вечеров, и знойных полудней на пашне той памятной страды, первой в жизни всей Митриевой семьи, потому что первая у него была настоящая запашка, первая горячая жатва и косьба, и молотба снопов ранней осенью. Не забудет он этого лета ещё и потому, что в тот же день, когда потрава овса Буланухой сошла без всякого наказания, случилось много незабываемого. Оничка победила его обходным способом, не жалобой, а заботой об овсе через брата Коленьку — это раз. Егорка решил не доносить на неё матери об украденном из гнезда для него

же яичке и о том, как она обманула его с простоквашей, — это два. А третье было вот что: набравшись храбрости, он сам стащил отцовский острый серп, пока отец пошёл на стан попить воды, захватил серпом первую же горсть пшеницы, взял её левою рукой, прижал к серпу, и даже не заметил, как пшеница была срезана... Но что это? На лезвие серпа прилипли два маленьких ногтя... Целиком с телом!.. Чьи же это? И не сам он, а стоявшая с ним рядом на постати мать увидела, как кровь из его руки льётся струйкою на жниво. И только тогда, когда мать закричала и всё поняла, а он увидел свою левую ручонку без двух ногтей и в крови, он и сам закричал, сперва от испуга, а потом уже от боли...

Крик и переполох был общий. Егорка вышел из строя жнецов на целых две недели. Но пальцы его заживут, и ногти вырастут, только кривые и горбатые на всю жизнь, чтобы не забыть первого урока жатвы настоящим, острым аглицким серпом.

Но это только малая частица всего, что случилось и случается на пашне, на покосе и во время молотьбы, когда выглаженное, вытопанное и политое водой, укатанное до твёрдости гумно на краю полосы будет окружено золотой стеною из снопов, и когда все четыре лошади, и вместе с ними даже жеребёнок, бегают кругом по сплошной, до последнего плевела растоптанной мякине, под которой уже видно, как краснеет крупное, богатое зерно урожая.

Всего не описать, всего не рассказать. Это надо видеть, этим надо жить, принять это усталостью с одышкой, окропить это потом и капельками крови — тогда это запомнится до скончания жизни.

VII

Дары земли

Тополёвые рощи по обеим сторонам села из серебряных превратились в золотые. Тополя долго держат на себе эту золотую броню. С половины августа, значит, с Успенья, тополя, ещё не осыпая листьев, желтеют сплошь, во всём объёме высоты и дугообразной ширины. И только к концу сентября будут сыпать листья, устилая землю и укутывая свои корни мягким ковром. На всю округу, может быть, на весь Змеёвский уезд, нет такого красивого села, как Николаевский рудник. Весною эти рощи зеленели, потом левая сторона листвы под ветром переливалась серебром, и так зелёно-серебристыми

щитами могучие рощи защищали всё село от бурь и зноя с двух концов. А к осени эти золотые широкоплечие богатыри выпирают к небу ещё более величественно. И даже к Покрову, когда вся листва с них упадёт, они будут стоять опять серебряные, потому что и тополя-стволы их тоже белые. А что будет зимой, когда они всей густотой ветвей всосут в себя покровы снега? Опять же с двух сторон два белоснежных великана будут охранять село от вьюг, и задерживать, и собирать у своего подножия самые высокие сугробы.

Громадное здание давно пустого лазарета в отдалении от села, на пригорке, перед закатом особенно ярко блещет множеством огней в окнах. Не сияют только те окна, которые разбиты или заставлены изнутри больничным хламом. Железные кровати, соломенные тюфяки, кучи серых суконных одеял хранят запах карболки, смолкшие стоны страдавших и умиравших на них рудокопов. Лазарет теперь сер и сир снаружи. Лишь когда в нём появляется сторож или заезжее начальство, шаги и голоса раздаются гулким эхом по большим, высоким палатам и пугают залетевших в разбитые окна ласточек, свивших здесь свои гнёзда и выводивших поколения ласточек из года в год. Но осенью и ласточек в нём нет. Ни паука, ни мухи. Всё тихо и мертво. Закрыты шахты, ушли болезнь и смерть. Село живёт землёй. Село поздоровело. Даже один лекарь и тот в отставке.

И кто сказал, что жизнь мужицкая темна и безрадостна? Какими глазами и под каким углом смотрели на деревню господ-писатели из дворян и разночинцев, ходивших в народ якобы для просвещения? Какой принесли в деревню свет, чему научили? Чьё ухо припадало к самой сырой земле, которую пашет один мужик с сошкой, чтобы накормить семерых господ с ложкой? И что это ухо услышало?

Вот на виду у этого громадного пустого лазарета лежит маленькое село в сто сорок дворов, и не всё крестьянских, а на одну треть безлошадных шахтёров — одна миллионная частица всей народной русской тяглой силы, — а посмотрите перед осенью на их поля, покосы, гумна и амбары.

Там, где с весны были зелёные ровные луга, всё усыпано копнами и уже стогами сена. Кто и когда успел их накосить, сгрести, сметать, частью свезти уже на сеновалы или сметать в скирды поодаль от своих дворов?

А те, вокруг, на зыбкости холмов и склонов, окованные в сплошное золото квадраты пашен? Многие уже пусты, и золотится только жниво. Но много и ржаных суслонов и стопок из пшеничных и овсяных снопов. На гумнах золотая пыль вздымается столбами: из ворохов мякины лёгкими деревянными лопатами бросается навстречу ветру, отделяется от плевел и

падает на чистый, укатанный, гладкий и твёрдый пол земли розовое тяжёлое зерно пшеницы, серебристого овса, золотого ячменя. Сметаются концом метлы из берёзовых прутьиков мякина, плевелы, лёгкий мусор травяных семян, случайный сухой жучок — и отделяется охвостье на корм скоту. А от охвостья отделяется головка урожая, сгребается в пудовку (деревянная мера весом около пуда), сыпается в мешки или в разостланный на телеге чистый холщовый полог. Когда воз полон, зерно закрывается концами полога, концы стягиваются, сшиваются таволожными (степной кустарник, ветки которого так крепки и тяжелы, что тонут в воде) длинными иглами — и воз готов. Целые обозы с разных дорог скрипят тяжестью даров земли к селу. И нет усталости у хозяина ни днём, ни ночью выгружать их с воза в амбары.

Скрип нагруженных урожаем телег слышен от Преображенья Господня (6/19 августа) и до Воздвиженья Животворящего Креста (14/27 сентября). Но в том случае, если хозяин одинок или не уловил погожую неделю, чтобы вовремя отмолотиться, или жатва его так обильна, что не вмещается в амбары, снопы складываются в скирды вокруг гумна и оставляются на зиму, чтобы на будущую весну тут же, на пашне, молотить и под руками иметь зерно на семена. Бывает и недород, но чаще всего у сибирского крестьянина не хватает места в амбарах. Так щедр Господь за труды людей. Запомним же одно: мы говорим о времени, когда не было машин и всюду труд мужицкий был вручную.

Весело идёт пора молотбы. Нет веселее времени для пахаря. Тут все возбуждены, все спешат, всем радостно собирать, сыпать, укладывать и запасать не только хлебное зерно, но и овощи и ягоды, соленье и варенье, и лён, и коноплю.

Не все колосья собраны — много остаётся и для птицы перелётной. Рано на заре по холодку, или в сумерках после заката, а в лунную ночь и ещё смелее на пустынные поля спускаются большие стада гусей. Высоко-высоко в синей глубине небес белыми дугами и стрелами и какими-то ещё неведомыми знаками, как египетские письмена, пролетают на юг с севера новые выводки журавлей и лебедей. Крики их падают на золотые поля мало кому понятной музыкой. Но Елене слышатся в них грусть и жалоба, и зов в неведомую заморскую даль. Елена из своего огорода, запрокинув голову, долго изпод руки всматривается в синие высоты. Вот оттуда, с высоты, лучше всего гусям и лебедям видно, как богата золотая пашня во время осени, ещё не вся убранная, но кипящая трудом, звенящая голосами, песенными и надсадными, жалобными и весёлыми. Оттуда лебединые жемчужные нити падают на синие озёра, а с них в урочный час украдкой пробираются в

покинутое поле и наскоро, досыта хватают растерянный колос, лопнувшую от перезрелости дыню или арбузное семя и так же сторожко, умеючи взлетают на высоту и продолжают свой путь в далёкие тёплые страны...

Елена молитвенно повторяет слышанное в церкви:

— «Всяк дар совершен свыше. Всякое дыхание да хвалит Господа».

Кто видел настоящее лицо деревни близко и один на один, а не со стороны, не сверху вниз, не мимоходом? И как увидеть лицо это, многоликое, многосложное? На пашне? На полях, с самой весны, оно только мужицкое, в поту и в думе над загадками земли: уродит ли? Или град погубит пашню, сломает зрелый колос буря, пожрёт степной пожар? В церкви? Но здесь оно одинаково покорно воле Божией, обращённое покаянным духом внутрь себя. На свадьбе оно полупьяное, на похоронах печальное: «Все там будем». В гостях у чужих людей оно как у всех людей, даже из высшего круга, в маске дружбы и лестной похвалы гостеприимству. Перед редко появляющимся в деревне строгим начальством оно плоское и глупое: «Знать ничего не знаю». «Мы люди тёмные». Какое у народа сердце, какова душа его? Не всякий даже самый искренне кающийся раскроет душу и сердце. Никто, нигде не разглядел во всём величии народа от земли. Никто не разгадал.

Политика? Господь с вами! Уж в чём, в чём — а в политике русский народ во всей своей массе не грешен. Это дело барское. На земле — царь далеко, в небе — Бог высоко. Это их дело. Народ и в своей деревне не хозяин. Нужда, горе, самая смерть — всё во власти Божией. Страдания? Они посылаются если не за свои, так за родительские грехи — никакого ропота. Счастье привалило — не радуйся, не хвастай. Всё проходит. Богатству в среде народной не завидуют. А и беда пришла — не тужи. Могло быть хуже. А если жалуются на беды, на болезни, на напасти, то надо же о чём-либо поговорить. Ведь у всякого что-то болит, о том он и говорит. Но в душе народа, во всём множестве его, нет ропота на Бога. Если и приходит зло, то от ближнего, а ближний сам ответит Богу. Придёт же смертный час — возрыдает душа, если в Бога верует. А не верует — и душу погубил.

Бывает грех, бывают ссоры и даже драки, больше по пьяному делу, но убийство — на всю округу, на целый уезд событие редкое, в год раз, и о нём со страхом говорят месяцами.

За много лет случилась в селе Николаевском беда. После великого дождя с громом и бурей в канаве за огородами нашли мёртвую Аргу. Но это была женщина бездомная, приبلудная, лет сорока, одинокая, и часто запивала. Тело её положили в холодильник близ кладбища, и там, во льду, оно долго ждало, пока приедут пристав и судебный следователь из уездно-

го города. Но и они не торопились, потому что, по описанию трупа, никакого преступления не было. Просто баба была пьяная, ночью заблудилась, упала в канаву, её залило ливнем, замыло даже песком. Никому она не мешала, и никому жизнь её не была нужна. Ни прошлого её, ни настоящего никто не знал и не расспрашивал — Арга да и Арга. А всё-таки жалели, крестились при упоминании её судьбы и далеко обходили холодильник, пока в нём находилось тело без покаянья погибшей Арги. Догадывались, что она была не из крестьянского сословия, в молодости в городе была в прислугах, красивая была. Какой-то барин искусил да бросил. В тоске по нём блуждала по тёмным дорогам жизни, непрощеная появилась в селе, неизвестно погибла. А об убийстве на селе и старики не упомнят. Нет, не было такого греха ни на ком из мужиков, даже и по пьяному делу. А обманы были. Один был, и недавно — помнит всё село. Была тут девушка Катенька, подруга Аннушки Касьяновой. Часто они сидели на крылечке, хорошо вдвоём распевали песни. Красавица была Катенька, так её красоткой все и звали. Обольстил один смазливый парень из солдат, а женился на другой. Отравилась девушка, но отводились — и с тех пор в селе и след её простыл.

А ещё бывало: ворота у какой-либо невинной девушки высмолят. Чем упорнее стоит за свою честь девица, тем опаснее для её чести и для чести родителей. Тут уж никто на чужой роток не накинет платок. Напраслину ничем не отмоешь. Так и пойдёт следом даже за праведным человеком.

Этим же летом и Егорка видел человеческую кровь на земле. Не свою, которую он пролил из отрезанных ногтей на поле жатвы, а чужую, мужицкую.

Был в селе такой шахтёр — Федот Ербасов. Мужик как все мужики, смирный, хороший. Семья — сам пятый. Купил он себе лошадь, справил «магарыч». Сел, пьяный, без седла на лошадь, помчался вдоль улицы полным махом — себя показать и лошадью похвастаться. На полном скаку как раз против Митриевой избы повернул так круто, что лошадь завинтилась и вздыбилась, а он не удержался и со всего размаха грохнулся спиной и головою на дорогу. Дело было в воскресный день, пока сбежались мужики, пока откачивали — лужа крови набежала. И не заметил бы её Егорка, да куры обступили, начали растягивать запекшиеся сгустки вместе с песком. Даже подрались из-за крови... На всю жизнь это останется тяжёлым вздохом и вопросом: для чего мужик бахвалился?

Тут Оничка подбежала к Егорке. Она такая умничка, всегда удёрнет его за руку, когда не следует ему глаза свои на страшное тарачить. Она была нарядненько одета. Было уже после полудня, она ему и говорит:

— Пойдём со мной коров встречать.

А это в сёлах самое весёлое — коровье стадо встречать по вечерам в праздники.

В будние дни встречать коров приходили только старушки да старики, ну и подростки тоже, а в праздники — вся молодёжь и детвора собиралась кучками и спозаранку. Тут устраивались хороводы, пляски, народ веселился, пока пастухи пригонят стадо. Кто-нибудь уже заранее знал, с какой стороны придёт стадо, и люди без ошибки собирались в том самом месте, где всё уже отоптано, засорено скорлупками семечек, где парни встречают и впервые облюбовывают будущих своих невест, где мужики присядут играть в «дурака», а бабы рады поболтать, посплетничать. Здесь праздник празднуется почти всей деревней, здесь по-настоящему разворачиваются удаль, шутка, нравы и бесхитростное сердце.

Когда коровы пасутся на Половинном, что лежит в сторону реки Убы, тогда их встречают у Крещенской Горки. Эта горка знаменита и увенчана красивым мраморным памятником. Лежит под ним в могилке восьмилетний Коля Ползунов, с полстолетия тому назад похороненный, а всё ещё Коля, мальчик восьмилетний. В могиле дети не растут. И это всем и всегда теплит сердце. В самом расцвете отрочества умер.

Иван Иваныч Ползунов, солдатский сын, в просторечье Пузанов, отец Коли, был управляющим серебряными рудниками на Алтае. Говорят, что был он инженер прекрасный, изобрёл первый паровоз, модель которого и до сих пор хранится в Барнаульском горном музее. Мальчик умер в захолустье от скарлатины, здесь, в большом барском доме, где живёт теперь лекарь. Не было врача помочь и спасти его жизнь. Лазарет тогда только ещё строился. С этой Крещенской Горки далеко видны окрестности, горы за рекой Убой, сама красавица Уба и луга за нею, и во все стороны холмы, и пашни, и извилистые просёлочные дороги. Тут есть где посидеть старикам, вспомнить старину, тут громче и разлистее поются песни молодёжью. Сюда любит приходиться дурачок Анемподист, безвредный, терпеливый. Как бы ни потешались над ним глупые мальчишки, он не обижается, а отвечает всё тем же беззаботным смехом, как и взрослым людям.

Если стадо пасётся в долине речки Берёзовки, что в сторону рудника Таловского, тогда толпа для встречи его собирается под тополёвой рощей, за огородами. Здесь тополя богато усыпают золотой листвой лужайку, мягко и удобно посидеть старым и порезвиться молодым. Гармонист придёт, скрипач и плясуны. Из них Алёша Колюшкин самый чародей. Голова у него вытянута над затылком, как будто для лишнего мозга прибавлено и головы. Картуз его надет на это дополнение

так, что голова кажется совсем сапогом. Но он умник, франт, песенник, плясун на диво. И сапоги же у него, как ни у кого в деревне: все лаковые, гармошкой голенища, а пляшет он так, что старые и малые склоняют головы к земле, чтобы лучше разглядеть, как это он выделяет выкрутасы и успеваешь прищёлкивать по голенищам пальцами? А то волчком пойдёт вприсядку вокруг своей соплясуни — любо глядеть. Это такой плясун и музыкант, без которого не обойдётся ни одна богатая свадьба. Он и скрипач, и гармонист, и может сплясать под собственную музыку. Спляшет и со скрипкою в руках, а с гармошкою — и вовсе очень просто.

Но чаще всего пастухи пригоняют стадо туда, где каждое утро они его собирают, — возле хлебозапасных амбаров. О да, позвольте это утвердить. Почти по всей Сибири издавна это закон: возле каждого села стоят амбары, куда осенью каждый пахарь должен привезти и сдать под расписку старосты полагающееся с него зерно, а также и муку, по числу душ в семье. Эти запасы хранятся, проветриваются, иначе мука слёживается, как камень; иногда и зерно прорастает и выбрасывается свиньям, а то и сжигается, но пополняется опять новым урожаем. Да, да! До нынешних времён Сибирь не знала голода. Митрий помнит только один год, когда слезавшуюся, затхлую муку рубили топорами и выдавали приезжавшим из деревни Кабанихи мужикам. Там хлебозапасный амбар сгорел, и людям неоткуда было получить муку в голодный год, а в Николаевском руднике всё же голода не знали. Шахтёров тогда снабжала казна, а те, кто сами пахали и сеяли, обошлись своими запасами.

Тут, возле этих двух больших, высоких амбаров, стоявших для пожарной безопасности особняком, собирались для встречи коров даже и те, у кого и коров не было. Собирались вскоре после полудня, народу тут всегда было много, и больше было всяких забав, потех и случаев. Веселье, шум, от плясок пыль столбом, от песен — гул на всю окрестность, и эхо их откликалось в близлежащих пустых шахтах. Эту гулкую, переливчатую загадку недр земли приходили слушать и малые, и старые.

Вот сюда и привела Егорку Оничка. Ей тут тоже всё уже знакомо. Шум и гам, и пестрота забавляли, увлекали. Поэтому как только привела, и сама затерялась в толпе, Егорка тоже зазевался на других и остался один среди чужих. Вдруг перед ним, как из земли, вырос Матя Вялков, черноглазый, с белыми, в приветливой улыбке зубами, сын того самого богатыря, которого ещё на пашне у Крутого лога Егорка навсегда запомнил. Тот самый Матя. Смеётся, а сам ткнул Егорку левым кулаком в бок. Егорка не успел опомниться, как

Матя правой рукой ещё сильнее ударил его в левый бок. Потом ловко подставил левую ногу под правую Егоркину и толкнул — тот повалился на спину. Матя перевернул его лицом к земле и начал молотить твёрдыми вялковскими кулаками по спине и по шее. Егорка захлебнулся рёвом, но никто не выручил, никто не заступился. Окружили старые и малые, не вмешиваются, смотрят, потешаются. Вдруг из толпы на крик Егорки выбежала Оничка, прорвала кольцо окружавших драку людей; синяя её юбочка развеялась зонтиком вокруг её круто развернувшейся фигурки; косичка с розовой ленточкой стала дыбом на затылке, а ручки вцепились в плечи Мати и, стащив его с поваленного в прах Егорки, начали тузить в бока, в плечи, в спину, куда попало. Восторг толпы от удовольствия возрос до гула одобренья. Матя вырвался, встал на ноги, взмахнул обеими руками, но остановился, разжал кулаки и начал отступать. А Оничка наступала на него и требовала ответа:

— За что ты его? За что? Чем он тебе помешал тут? Ага! Пятишься?

Избалованный, всегда сытый и хорошо одетый мальчуган, побивавший безнаказанно всех своих сверстников, был побит — и кем же? Девочкой, которая только на год старше его. Но потому, что она была девочка, Матя не решился её ударить. Что-то от отца-богатыря, всеми уважаемого Михаила Васильевича Вялкова, шевельнулось в маленьком сердце, и он благородно отступил. И не плакал, а всё так же скалил зубы и не мог оторвать своих чёрных азиатских глаз от дерзкой защитницы Егорки. Когда же Оничка увидела, что Матя не посмел её ударить, она набросилась на побитого Егорку, схватила его за руку, кричала:

— А ты чего ревёшь? Ишь, нюни распустил! Зачем ему подаёшься? — Отвела его в сторону, приподняла подол своей юбочки и вытерла смешанную со слезами пыль с его лица. — Не реви, будет. Я маме не скажу, и ты не сказывай...

А Егорке всё наука. Ни сам он, ни кто-то из его ближних не могли предвидеть, что к чему. И только мать его, Елена Петровна, изредка, когда была минутка помечтать в уединении и под тихие напевы старых песен, в которых всё укладывалось в надземные, надбудничные виденья, понимала, что в Егорке что-то дано ей в утеху.

Но вид Егорки был заправду постоянно жалкий. И рубашка у него всегда разорвана на животе, запачкана потёками от арбуза или дыни, так что мухи постоянно его одолевали. И ноги его в цыпках, грязные и в ссадинах; то ноготь сорван, то колено распухло от ушиба, то где-нибудь сидит на его теле мучительный чирей.

«Ой, Боже-Господи, не надо бы об этом вспоминать, да как утерпишь? Правда не всегда чиста, и часто неприятна», — думает Елена и вспоминает совсем недавнее. Живёт у них в селе старый нищий, Сёмочка Уродкин. А почему такое прозвище? Потому что есть у него единственная дочка — уродик... Жена Сёмочки умерла молоденькой, замучилась родами, и родилась дочка-уродик, теперь уже старая девка. Лицо при родах изуродовано, не дай Бог и смотреть. Так Сёмочку и знают: отец уродика — Уродкин. Так он и состарился Уродкиным. Под старость стал добывать пропитание себе и дочке Христовым именем. Никогда не собирал даже кусочков в своём селе, а сберёг старую лошадку, сохранил и старую, много раз починенную телегу, и ездил собирать подаяние по окрестным деревням. Одевался во всё своё, домотканое, полотняное, чистое, но заплатка на заплате. Так и кормит свою затворницу дочку, а она ему всё чинит, моет. Избушка наполовину в земле, как раз в полугоре, когда идёте в церковь; чистенькая, выбеленная снаружи, а из окошек выглядывают летом и зимой горшки с цветочками. Вот этот Сёмочка... (Опять заметьте: что ни бедняк либо уродик, тому и самое нежное, ласкательное имя: Сёмочка Уродкин, Матичка Плохорукий, Анемподист-Дурачок...)

Вот этот Сёмочка после Пасхи насобирав по деревням целый воз кусочков хлеба, и всё больше сдобного: кусочки от пасхальных пирогов, кипячёные в масле калачики, шанежки, даже в некоторых домах подали зачерствелые остатки куличей. Привёз целый воз, запасов на полгода... Но так нельзя хранить — зацветут, испортятся. Вывез за село, разостлал белый, много раз чинённый холщовый полог, и выложил все свои кусочки для просушки на солнышко. Ребятишки даже из сытых, зажиточных домов подбегут, смотрят. Слюнки у них текут... Сухарики блестят на солнце, розовые, даже самый их вид притягивает. Кто бедно одет, тому и даст сухарик. Егорка долго упирался, не хотел брать. Отец и мать учили никогда не приbedняться: не нищие, стыдно. Но тут не удержался. Уж очень вкусные сухарики. И дал ему Сёмочка которые послаще, да и говорит:

— Отнеси Еленушке! Не съешь по дороге. Донеси!..

Было это как-то в будний день. Егорка принёс ей сладкие сухарики. И вот сидит Елена, смотрит на сухарики, смотрит на Егорку — да как заплачет навзрыд. Егорка даже испугался. Потом она вытерла слёзы, откусила от одного сухарика — да опять в слёзы. Растрогал её нищий Сёмочка, потряс всё её мечтательное существо до основания. А этот посредник между нею и нищим, Егорка, показался ей таким несчастным, таким жалким. И личико его курносое шелушится: кожа на лице много раз обгорела ещё на пашне, слезает перхотью и застревает

в белом пушке на щеках, а нос опять мокрый, и рваная рубашка — починить не успела — испачкалась. Ни Миколка, ни Оничка, ни даже маленькая Фенька никогда не бывают такими жалкими, как этот. А вот принёс от нищего, поделился с матерью подаванием... Упала лицом в подставленные ладони и плакала, плакала, плакала... Егорка не выдержал и тоже заревел...

Вот тогда, в слезах, самой себе призналась Елена, что хорошо предаваться мечтам. Это всё в книжках начиталась о какой-то другой, не похожей на всю эту, жизни. Не читала бы — и не страдала, а жила бы, как все бабы живут во всех сёлах, во всех местах по свету. Не мечтают — и соблазна нет... А всё-таки почему бы не случиться чуду?.. Ведь летят же птицы — на лето из тёплых стран на север, а на зиму опять же на тёплые моря далёкие... Ведь не всё же сказки, и не всё из книжек вычитала... Был же ведь и Михайла Василич Ломоносов из бедняков... Это у Елены уже зарождается мечта о будущей судьбе Егорки.

Егорка ещё мал и глуп, с ним рано делиться такими думами, а вот есть в селе Пётр Иванович Вяткин. К нему надо пойти, поговорить. А пока что вытерла насухо слёзы и, чтобы Егорку успокоить, запела одну из старых и любимых песен:

По Дону гуляет казак молодой,
А девушка плачет над тихой рекой.

Песня успокаивает, а слёз не осушает. Слезам надо вылиться, омыть сердце.

Однако вот уже и лето прошло, а к Петру Ивановичу не удалось сходить. Страда взяла всё время, все силы и все помыслы.

Только в Воздвиженье Креста Господня, после обедни, приделась и пошла к Петру Ивановичу.

Жил он как раз наискосок от Катерины, сестры Митрия, ещё недавно служившей в казённом доме, что возле верхней рощи. Сперва зашла к ней, потому что давно не навещала. Там и сказала, что нужен ей календарь. Катерина ей ответила, что календарь, наверное, имеется у Вяткина. А календарь был только задельем. Правда, календарь у Елены был, но старый, может быть, уже трёхлетний, да и тот истрепался из-за оракула. Оракул — листок для гаданья, приклеенный в календаре. На листике — всесильный богатырь. Он тащит на себе весь шар земной, а по кругу шара линии. Они идут от центра к краям земли, и внизу по ободку — цифры. Надо бросить пшеничное зерно — куда упадёт, под той цифрой и читать судьбу. Неграмотные бабы часто приходили к Елене гадать свою судьбу, и так истрепали календарь, что ничего

нельзя прочесть. Вот за календарём как будто и зашла Елена к Петру Ивановичу. А он ей говорит:

— Календари каждый год покупать — дорого. И в календари я не верю, а верю только в Святцы.

Но годовые праздники, и табельные дни, и дни особенно почитаемых святых Елена и сама наизусть знала. Ей нужен календарь. Поговорили о том, о сём, она и призналась:

— Совета пришла к тебе попросить, Пётр Иванович.

А Пётр Иванович сперва не расслышал, и говорит ей:

— У меня и Библия имеется, только всю Библию и сам не читаю целиком, и тебе читать всю не советую. Уж это точно: коль скоро человек прочтёт всю Библию сплошь, непременно в ней вычитает, что Бога нету. Читать надо, и только по одной главке в день, Святое Евангелие.

— Ну уж где нам читать каждый день? — признаётся ему Елена. — Хоть бы по праздникам удавалось, да и то не всегда.

Благочестивой жизни был старичок Вяткин, не кичился своим знанием, но говорил тихо и скупой, больше выдержками из прочитанных книг. И любил слушать других со вниманием. Признак истинной мудрости. С ним одним Елена говорит как на духу.

— Мечтаю я часто, прости меня Господи, — исповедуется Елена. — А в мечтах такие выпадают мне соблазны, что я просто заблуждаюсь в них. — Так и сказала: — Заблуждаюсь в соблазнах.

— А какие же это соблазны, мила дочь, поведай? — Пётр Иванович склоняет седую голову и закрывает глаза, чтобы лучше слышать и понять.

Елена не сразу ответила:

— Ах, да разве все мои мечты можно рассказать словами? — справедливо отвечает она вопросом. И старается пояснить: — Вот будто бы постригаюсь я в монахини... Да разве мне возможно, у меня пять человек детей, да трёх похоронила... — Голос её понижается до шёпота и дрожит: — Не к смерти ли этот постриг вижу я в мечтах своих?

— Ну а ещё какие заблужденья?

Елена мнётся и не сразу решается признаться в том, за чем пришла.

— Три у меня сына, — начинает издалека Елена. — И две дочки. Во чреве я опять ношу плод грешной моей плоти. — При этих словах Елена, как настоящая девственница, потупляет глаза так, что не смеет ими взглянуть даже на свет Божий. — Замужем я четырнадцатый год, мне уже тридцать три, а грехов-то... Ведь двух похоронила крошечными, а одного выкинула. Не грех ли это? Я батюшке на исповеди всё это

рассказала, но у него было так много исповедников, где ему со мной совет держать? А у тебя, Пётр Иванович, я прошу, как у родного отца, совета... — Тут она опять запнулась и сама себя прервала: — Глупости всё это. Гордыня одна... Просто я боюсь, что этого, который во мне, не донесу. Этим летом на страде я надсадилась, и вот боюсь: либо он родится уродиком, либо я сама до смерти им замучаюсь...

— Так в чём же я могу совет подать? — спросил Пётр Иванович и открыл свои добрые, пытливые глаза. Показалась ему эта женщина необычайной, не простой, не малограмотной, а очень сильной мудростью, и мудрость её в простоте и в этой чистой, покаянной кротости.

— Нет, ты уж прости меня, Христа ради, Пётр Иванович. Понапрасну я тебя обеспокоила. Но вот выговорилась, и мне легче стало.

На том и кончила. Стала прощаться.

— Ну и то слава Богу, мила дочь, — сказал старец Вяткин и, не настаивая на подробностях, перекрестил её, как отец родной, и проводил в молчаньи, с миром.

Елена не сказала ему главного. О Егорке она приходила по-советоваться. Наметила она его Богу посвятить, а как — не знает. Боится, что при следующих родах умрёт, а до этой воли Божией хотелось ей свою волю как-то закрепить. Но когда шла домой, воля Божья сама постучалась в её раскрытое сердце просто и тепло: «Подрастёт — отдам его в ученье, поручу его воле Божией». Кто же это так просто и твёрдо сказал в ней? Или над ней? Даже и мечтой угадывать не посмела.

Митрий с обеда был на сходке. Около дома сельского писаря Филиппа Антоныча Лапшина была толпа и рёв. Многие размахивали руками, горячились.

Возвращаясь от Петра Ивановича, Елена не решилась задерживаться и прислушиваться. Не бабье это дело. Знакомым и незнакомым мужикам почтительно поклонилась, обошла кругом, через переулок, потому что вся улица была запружена народом. Кричали все сразу и в отдельности, всякий о своём, а в чём было дело, никто толком не знал. Знали, что начальство лучше смекает, что ему надо. Писарь, с длинной желтоватой бородой, с гладко причёсанными на одну сторону полуседыми волосами, вынесет бумагу, староста помусолит печать, приложит и скажет:

— Расходитесь! — И все мирно разойдутся.

Митрий тоже не вникал в суть дела. Он поглядывал на небо и ждал ветерка. На гумне лежит ворох обмолоченной пшеницы, а ветра вот уже три дня не было. Так, хлопит, ни то ни сё. Бросит лопату смешанного с мякиною зерна — и мякина, и плевелы падают на гумно вместе с зерном. Так и лежит весь ворох не-

провеянным. Но сходка затянулась до сумерек, Митрий запытал даже на ужин. (Вдолге после сходки оказалось: две недели надо отсидеть в волости под арестом несколькими мужикам, в том числе Митрию. Решили на сходке не чинить «казённый» тракт за Шемонаихой — пускай одни шемонаевцы чинят. Беду себе накричали, а тракт всё-таки всем селом чинили.)

Просветлённой как никогда пришла Елена домой. Входя на крылечко, видит: Егорка вышел из переуллка, грязный, в изорванной на животе рубашонке. Полынные веточки запутались в склокоченных волосах.

— Где ты был — измазался?

— Я петушка хотел поймать. Ты сказала, завтра с тятенькой на молотьбу поедем.

— И не поймал?

— Я отпустил его. — Он швыркает вздёрнутым носом.

Мать хватает его за нос концом фартука, и опять ей неприятно, что этот противный насморк так, кажется, на всю жизнь и останется в его носу.

— Ну-ка высморкайся. Седьмой год тебе, а нос сам высморкать не умеешь.

Но Егорке не до носа. Он провёл всё время с полудня в полыни, даже с Оничкой и с Фенькой на огород не пошёл. Те и Андрюшку увели с собой. Коров пошёл встречать Микола. У Миколки новые сапоги. Не стыдно показаться на народе.

Егорка же провёл время в полыни, как в лесу. Полынь эта выросла высокая, как раз там, где более шести лет тому назад он родился.

Росла она вдоль забора их двора, в переулочке, по которому никто не ездит, но протоптана тропинка к Колотушкиным.

В полыни дети прячутся, когда играют в прятки. Летом в жаркие дни туда забирался хитрый Цыган, потому что блохи от острого запаха полыни сами выпрыгивали из его лохматой шкуры. И подросших цыплят туда уводили квочки. Одна из них всё ещё воображала, что цыплята без неё обойтись не могут, вырывала там для себя ямку в пухлой земле, ложилась, назидательно квохтала и показывала молодняку, как надо отдыхать.

Там же, у корней полыни, Егорка иногда находил яички, радовался находке. Сегодня тоже начал своё ползанье в поисках яичек, помня, как уже раз по порученью матери он подкрадывался к рывшимся в земле петушкам, хватал их и, чувствуя острую теплоту их тельца под перьями, торжественно вручал матери. Только всегда убегал, когда она несла петушка к чурке, чтобы отрубить головку. Этого он никак не мог перенести, и видел, что отрубленную головку даже Цыган не брал. А Миколка, тот уже давно сам рубил головы не только петушкам, но и

старым курицам. Нельзя и Егорке быть трусом, надо научиться быть мужиком. Но когда поймал петушка, длиннолапого, с красивым гребешком и с хохолочком, и когда тот заорал в его руках, Егорке стало страшно. Этот забияка всегда первый прибежит на зов, первый схватит брошенную крошку хлеба, отбежит, проглотит и опять бежит, чтобы отнять у тех, кто зазевался. Держал петушка в руках и трепетал от страха. Это было первое пробуждение страха перед убийством живого существа. И он отпустил цыплёнка с непонятным ещё чувством радости от помилования. Но, отпустивши петушка, Егорка вылез из полыни, увидел мать, а за матерью, позади её, пока она вытирала ему нос, приблизились пришедшие с Дальнего Ключа гуси. Гусята уже тоже выросли, и хотя носы их ещё не покраснели, а были ещё серо-зелёными, они всё же всякий раз грозили Егоркиным босым ногам, а однажды один из них сильно ущипнул как раз в самое больное место. Тут уже не только страх, а чувство самозащиты подсказало Егорке смелые слова:

— Мама, а ежели заместо петушка гусёнка заколоть?

— Ишь ты, какой лакомый! — прищурилась на него Елена. — Гусят никто не режет до заморозков. Тогда они большими гусями будут. — Она с гордостью окинула и пересчитала первое её гусяное стадо. Пять, семь... Девять с матерью. Из этих она выберет ещё гусиху и своего гусака.

Егорка выслушал и, видимо, одобрил расчёт матери.

Поднимаясь на крылечко, она всё же настояла:

— Иди поймай, который без хохолка. Того, с хохолком, мы на племя оставим. А то, когда на седало усядутся, в темноте туда к ним не доползёшь.

— Вот я, с хохолком который, и отпустил! — обрадовался Егорка и опять полез в полынь на охоту. Но цыплята были уже напуганы и не давались. Распугал, выгнал и остальных из полыни. Так и не поймал. Пусть Миколка ловит вечером на седале.

Через улицу, вслед за гусями, переходили трое. Оничка сгибалась под коромыслом. В одном ведре полно лука, в другом вода, но видно, что вода тяжелее лука и ведро всё время перетягивает лук. Она неловко поворачивает белокурую головку так, чтобы не поворачивать весь груз на коромысле, оглядывается назад и кричит Феньке, которая тащит за руку отставшего Андрюшку и тормозит весь караван.

— Ну идите же скорее, тут гуси!..

Это значит — Оничка и гусей прогнала, и коромысло несёт, и детей ведёт, и от гусей их охраняет.

Фенька в свободной от буксирования Андрюшки руке тоже несёт дар огорода — большой пучок морковки и две большие репки. Видно, что и она еле волочит ноги: огород далеко, на

Дальнем Ключе, у нижней рощи. Мать выбегает им навстречу, отгоняет гусей, хватает на руки Андрюшку. Носик у него чистый. Этот, слава Богу, растёт здоровенький. На его долю выпала более благополучная пора семьи. Раннее детство перенёс даже без кори. Мать целует ребёнка, берёт у Феньки морковь и любит плоды рук своих.

Оничка поставила вёдра на землю у крылечка. Плечики её от коромысла ломит. Она их поочерёдно почёсывает сквозь кофточку красными пальчиками и хвалится:

— Мама! Это ещё не весь лук. Там ещё мно-ого осталось...

— Ну и слава Богу, — весело отзывается Елена и спешит в избу, чтобы покормить чем-нибудь своих «работников» и уложить Андрюшку.

Егорка схватил одну из морковок и крепкими зубами хрястнул, сразу половину откусил.

— Ой, сладкая, как мёд! — И он про запас выхватывает из рук Феньки ещё одну. Но Оничка ворчит на него:

— Не хватай! Я это на морковник нарвала. (Морковник — пирог с варёной морковью.)

— Да пусть он ест, не жалко, — заступилась Елена. — Моркови у нас там целая гряда... Тоже надо время выкопать. И картошки у нас нынче будет на всю зиму. Слава Тебе, Господи!

Она уже забыла, сколько гнула спину в огороде, копала, поливала, полола. На себе навоз для удобрения огурцов в корзинке таскала.

Но не забыла, что на гумне лежит целый ворох с целого «посада» непровеянной пшеницы. Не забыла потому, что нет у них амбара. Уже все ящики зерном у них заполнены. Все сени мешками загромождены. Шила мешки из старых полотенец, из половиков. Митрий выпросил у Зырянова небольшие короба из-под кирпичного чая. Даже один давно опустевший от приданого сундук Елены внесли в сени и до краёв насыпали ячменём. А на гумне ещё лежит ворох непровеянного дара Божия. Впервые на бедность Митрия и за труды семьи уродил Господь. Слава Тебе Господи! Слава!

VII

Праздник изобилия. У Митрия гусь на столе

Во многих местах Сибири день Покрова Пресвятой Богородицы совпадает с покрытием земли снегом. Если не все долины и степи ещё покрыты снегом, то высоты гор уже белеют,

и пролетающие над ними ветра охлаждаются и усиливают стужу даже в бесснежных равнинах.

День Покрова по старому календарному стилю падает на первое октября, по новому — на четырнадцатое; значит, до Филиппова поста ещё полтора месяца, а Филиппов пост начинается по старому стилю четырнадцатого ноября, когда твёрдо устанавливаются санные пути, замерзают все реки и озёра, и дороги спрямляются и облегчаются прочными натуральными мостами. Но с Покрова и до «рекостава», то есть до замерзания рек, стоит ещё осень, самая распутица, когда, что называется, нельзя ездить ни на санях, ни на телеге. Всё же Покров считается уже началом зимы, он резко разделяет как самую погоду, так и поле от деревни. К Покрову все полевые работы должны быть закончены, хлеб на гумнах смолочен и провеян, а если остаются снопы, они складываются в «клады», или скирды, похожие на избы с крышами. Труд пахаря перемещается в деревню: поправляются дворы, заплетаются новые плетни, иногда — для утепления — двойные, чтобы между ними можно было заложить и утоптать солому. Для этого хозяева рубят где только можно однолетнюю гибкую поросль тальника — чашу, возами возят её в деревню, укладывают поверх ряда жердей на повети, сверху покрывают соломой или сеном. Потом привозят «загодя», ещё на телегах, запасы сена, смётывают его на сеновалы и повети, и во дворах становится темно. И не страшны теперь снежные метели.

В Сибири зима не только «через прясло глядит» во дворы крестьянина, она врывается внезапно и заметает, заваливает двор высокими сугробами, по которым свободно могут забежать на поветь собаки или с салазками ребятишки, чтобы прямо с крыши избы устроить свои весёлые катанья.

Но снежные метели на морозе придут ещё в Филипповки, а на Покров день не всегда и снег коснётся серых, опустелых полей и лугов.

Митрий в эту его первую осень с запасами урожая готов был не только встретить зиму, но и самый праздник Покрова — как день благодарения Богу за то, что он не отстал от более справных хозяев ни в молотьбе, ни в покрытии повети, ни в запасах для семьи. Если не всю зиму, то до Великого поста пробьются без нужды.

За два дня до Покрова Микола взял Егорку с собой и поехал за последним возом чащи в долину речки Таловки. День был тёплый, босой Егорка не нуждался ни в курточке, ни в шапке. Микола и сам, как настоящий лесоруб, был в одной рубашке: на работе, с топором, тепло до пота. Егорка помогал таскать чашу к телеге и отложил для себя и для своего дружка-приятеля Ваньки Агафонова две самые прямые, ров-

ные чашинки: это для того, чтобы сделать из них по коню. А сделать из чашинки коня он сам умеет. Надо на нижнем, толстеньком, конце талового прута сделать надрез, согнуть коленцем. Из коротенькой, тоже таловой, палочки сделать другое коленце, вставить его в надрез под главным коленцем, ниточкой перевязать палочку, получатся уши вместе с головой коня, а самую голову коня пригнуть вниз, крест-накрест через коротенькую палочку. Но для того, чтобы конь бежал ретиво, на тонком конце прута нужно оставить один листик тальника — и тогда садись на коня, понесёт, что твой Конёк-Горбунок. И ржёт, и скачет, и даже лягается. Оба с Ванькой они покажут всей соседской ребятне, как надо ездить на «бегунцах».

Когда приехали домой, Митрий с Оничкой заканчивали завалинку вокруг избы. Низенький плетень из чащи шёл вокруг наружных стен, значит, с восточной и южной стороны, — северная и западная стены выходили в тёплый двор, а узкое пространство между плетнём и стенами заваливалось сырым навозом. Сырым — оно будет теплее, потому что навоз даже под снегом будет «гореть» всю зиму, и это сбережёт немало дров.

К вечеру и завалинка была готова. Сена на повети ещё не было навожено, это можно будет сделать после Покрова. Соломы было настлано довольно, во дворе было тепло и чисто. Даже в уголку плетнём отгорожен закуток для гусей. До холодов решили их кормить, благо, есть своё охвостье, но к Покрову одного заколют. Три овечки, два телёнка — оба почти что годовалые — приятная надежда на грядущие годы; обе тёлочки будут жить вместе в другом закутке. Куры врываються в сени, проклевывали один мешок с пшеницей. С курицами в морозы будет плохо. Придётся опять их всех под печкой, в избе, держать. А после Рождества ожидается новый телёнок от Бурёнки. Придётся и его держать под кроватью. Жуют они, негодные, одеяла, покрывала — всё, что в рот им попадёт. Но Бог даёт прибавление скотинки — нельзя не потесниться. Растёт хозяйство, и заботы растут. Всё слава Богу!

Остановился Митрий для передышки. Отпустил Оничку: иди помогай матери. Присел на новую завалинку. Сыровато, надо досточку подкладывать. Иначе кто посторонний сядет — штаны запачкает. Надо и об этом позаботиться. А главное — подсчитать, какие платежи без денег «обмануть». Сборщика податей никак не обманешь, остаётся ему четыре целковых. Хорошо, что Микола ещё «душой» не считается. Ну а войдёт в «возраст» — этот сам за себя постоит. Четыре целковых до Нового года хоть плачь, а подай, а то последний самовар потащат из избы. Этого никак допустить нельзя. Четырёх гусей

продать — так по целковому здесь не дадут, а в город везти — себе дорожке будет стоить. Где-то втайне у Митрия гнездится думка о пшенице. Но как же можно — из первого урожая себе на лето не оставить и на семена не отделить? Опасно продавать, и опять же Зырянов по тридцати копеек за пуд не даст, а в город поехать — с одним возом?.. И не утерпел, прикинул, что это выйдет, если продать, скажем, двадцать пудов. По тридцать пять копеек — меньше никак не отдаст. И тут же ловит себя: а что же, её обратно домой везти? Да уж лучше домой, — решает он, и чувствует, что двадцать пудов останутся дома: запас. Твердыня! Нет, уж лучше пусть Елена опять зиму без новых обуви пробьётся. Старые валенки ей подшил кожей, и то ладно. Сам себе будет чинить, и по морозу можно поплясать, — шуткой заканчивает Митрий свои денежные сметы. Ведь вот он, хлеб, — оба пастуха рассчитаны без денег. Один взял полпудовки ячменю, другой — мешок овса, и пастушное уплачено. Нет, пшеничка, дар Божий, пусть лежит. Встал Митрий с сырой завалинки, выпрямился, твёрдою походкой пошёл к крылечку. Егорка с Ванькой на таловых «конниках» гарцуют один другого фигуристей: у Ваньки конь танцует, встал на дыбы, «уросит». Ванька хлещет его прутиком, конь прыгает прямо на Егорку, а Егоркин конь всё пятится, уж и не знает, как перемудрить Ванькиного коня. Ни отца, никого не видит, только видит, что листик-хвостик у коня отпал. Оттого у него и ходу вперёд нету, только назад, бесхвостый, непослушный, «уросливый», непокорный конь.

Митрий с неподдельным удовольствием смотрел на мальчуганов, и, постоявши на крылечке, пока ребятки на всём скаку атаковали старую полынню трущобу, он вошёл в избу. В избе никого не было, кроме Феньки и Андрюшки. Он перекрестился коротким крестом перед божницей и потянулся левою рукой за иконную спину Николы Милостивого, его родительского благословения во время свадьбы, и на ощупь сосчитал там восемь медных пятаков. Значит, есть и у него ещё наличная казна.

Никола Милостивый уже много лет служит казначеем для Митриевой семьи, и за спиною у него всегда есть несколько копеек — больше всего на случай «странного человека», для гостя дорогого — сахару на пятачок купить, а то и за шкаликом водки послать, отогреть гостя с мороза, а лучше всего на свечку Богу.

Из этих медных денег в Покров день утром и взял Митрий пятачок, решил поставить три свечки: две двухкопеечные — Спасителю и Богородице — и копеечную — Дмитрию Солунскому, имя которого выпадает на будний день в конце октября, но приведётся ли быть дома в самую распутицу, — лучше

теперь же, спозаранку, почтить свечкой святого, имя которого носит Митрий.

В церковь Митрий пошёл один. Елена жарила гуся. В церкви Митрий встретил и позвал на гуся сестру Катерину с дочкой её Любушкой. Но при выходе из церкви он увидел Акулину, жену брата Василия Лукича. Она вела за ручку по крутым ступеням паперти полуторагодовалого Яшку, худая и чернявая, похожая на цыганку. Чёрные глаза её редко улыбаются. Всегда и на всех сердита. Митрий, поджидая на паперти Катерину, подхватил Яшку на руки и вместо приветствия спросил Акулину:

— А кум Василий в церкви?

— Да нет. Он не богомольный. — И в свою очередь Акулина спросила Митрия: — А кума Елена не в церкви? Она ведь богомольная.

Митрий знал ядовитый язычок Акулины. Из-за неё и с братом у них дружба охладела. И сестру Катерину настраивала против Елены, но Катерина скупа на слово и умом тверда. Ту не собьёшь. «Богомольная» — пронеслось в его голове уколom, но после всеобщего благодарственного молебствия в церкви он незлобливо сказал Акулине:

— Елена сегодня гуся жарит. Вот и приходите с кумом к нам обедать! — И, чтобы приглашение было передано брату, он прибавил: — А мы и не слышали, что вы приехали из города. Когда приехали?

— Вчера приехали, — коротко отозвалась Акулина и, заметив, что Яшка вырывается из рук незнакомого дяди, сказала мягче: — Да ты пусти его на землю. Большой, пусть сам ходит. Я уж тоже не могу его таскать. Тяжёлый.

Яшка, хорошенький, чистенько одетый ребёнок, сам побегал к матери. Митрий домогался прочного мира с братом и, не слыша ни да, ни нет на своё приглашение, подошёл к спесивой бабе окольным путём. Он спросил:

— А Игреньюху ещё не продали?

Акулина откликнулась поспешно и с досадой:

— Да не хочет он расставаться с лошастью. Всё ещё о пашне думает. Слышал, что у тебя нынче хлеб уродился хорошо, и решил жеребёнка от кобылы ждать. А в городе и без лошади то, с собакой, квартиры не найдёшь. — И пошла, затараторила про город, про трудности городской жизни: — С ребёнком тоже не во всякий дом пускают. А с лошастью? Ведь её за рубль в месяц не прокормишь.

Катерина, рано овдовевшая, была и по природе молчалива. Не здороваясь, молча слушала. Крупная, в чёрном салопе с плеча барыни-приставши, у которой много лет была швейей и прачкой, она большими строгими глазами наблюдала за обо-

ими и, убедившись, что они не ссорятся, наклонилась к Яшке и, поднявши его выше себя, мягко улыбунулась и басовитым голосом сказала:

— А это чей такой золотой мальчишка?

Акулина обернулась и расцвела улыбкой, которая преобразила её лицо и сделала почти красавицей. Митрий вставил в это время несколько коротких слов, сперва Катерине:

— У нас гусь сегодня. Приходи сейчас же вместе с Любушкой. — Это прозвучало как приказ, на который не потребовалось ответа, и Катерина молча приняла его. А потом Митрий приказал и Акулине — как старший во всём роде: — Ну вот придёте, всё обсудим. Может, я и Игреньюху на зиму возьму прокормить. Сена у меня нынче, слава Богу, хватит. И овсеца Бог дал. Не заморим. Значит, приходите без всяких. Дома ничего не ешьте. Гусёнок огромный, на всех хватит.

Митрий надел на себя потрёпанный картуз. На нём была всё та же полинявшая от времени, но ещё целая отцовская «тальма» из чёрного сукна, в которой он когда-то венчался, а под нею — чистая рубашка, заплатки на которой никто не видит, как и хорошо починенные штаны были скрыты под длинной «тальмой». Заплатки же на сапогах он ловко подчёркивал деготьком и, в общем, с виду выглядел довольным, справным хозяином, который ждёт гостей на собственного гуся в день большого праздника Покрова.

Покров в Сибири, а может быть, и во многих частях центральной России в те времена, о которых здесь идёт речь, был не только церковным праздником, но и праздником урожая. Как и всюду на Руси, не весь народ валил в церковь, а большинство его и вне церкви праздновало, но по-земному, пиром и весельем, а кое-кто, радуясь праздничку, был уже и накануне пьян.

Вероятно, и сам Микула Селянинович вина настаивал, пива наваривал именно к Покрову, празднику обильных даров осени, когда и закрома полны, и погреб полны, и страдный труд позади, а суровая зима с настоящими метелями ещё не ворвалась во всякую щель, морозами и гололедицей не заковала все дороги. В Западной Сибири до половины октября — это ещё бабье лето, но бывают и дожди, и перепадают снега, грязь на дорогах вдруг застынет и образует так называемые «шипы» со льдинками в копытных ямках, с катушками вместо луж. Бывает, что и с начала октября выпадает распутица, поэтому в Покров народ гуляет большей частью пешим порядком, а гулять — это значит всенародно и группами, и семейно пировать и веселиться во хмелю. Но в Покров не разбегутся ни на телеге, ни в седле. Брызги грязи не способствуют веселью ни

проходим, ни ездокам. Выпивают в меру, а не до безобразия, потому что принято «гулять» и старому, и малому, значит, надо соблюсти и благонравие — пример молодняку — и не обидеть пьяным словом ближнего. В трезвом виде на другой же день придётся встретиться, жить вместе. А в меру погулять и взрослым, и детям на Покров день даже полагается.

И вот вы видите: по улице идут широким рядом женщины и мужчины, старушки и почтенные седобородые хозяева, в обнимку, медленно, идут и все поют. Поют и заунывно, поют и весело, с припляской, вроде всем известной песенки:

И пить будем, и гулять будем,
А смерть придёт — умирать будем.

Да, да, в Покров день разрешается открыто гулять даже детям. Подростки-девочки, подражая матерям, заранее делают из ягодных соков бесхмельное пиво-квас, пекут маленькие, но настоящие пироги и коржики, угощаются и, сторонясь мальчишек-шалунов, так же широким рядом и в обнимку идут по улице и поют. Шум этих песен гудит во всех концах села.

Мальчишки тоже составляют свои отдельные компании. Только эти больше подражают пьяным мужикам, особенно когда навстречу им приближается ряд девочек, — они шатаются, идут зигзагами, притворяются дико пьяными и, как бы чувствуя на своих лбах настоящие рога, стараются боднуть тех из девочек, которые им больше нравятся. Это потешает девочек, разыгрываются сцены, иногда почти что драки, но чаще всё кончается комедией, смехом, визгом и весельем.

Подружки из дома Касьяновых приглашали в свою компанию и Оничку. Но дома мама жарила гуся, тятенька решил позвать тётку Катерину с Любушкой, а Любушка постарше Онички, почти ровесница. А раз будут гости, на Оничке всегда забота о Феньке и Андрюшке, да и в погреб сбегать, и в подполье спуститься, пол подмести, посуду вымыть. Оничка не может «погулять», а так бы ей хотелось. Но Любушка не пришла. Её пригласили «гулять» в рудник Таловский, в семью Жеребцовых. А туда, слышно, приехал Никитушка Воробьёв. Точь-в-точь как отец наворожил: Никитушка в Покров решил посватать Ольгу, сам, без сватов и родителей. Вот там будет веселье. Виктор Степаныч, отец Оленьки, не одного гуся, а целого барана сам зажарит. Они богатые, и Оничкина крёстная, Лизавета Петровна, за своим мужем, говорят, как за каменной стеной. Он сам жарит, варит, сам пиво делает из мёда.

Зато, к удивлению Онички, в избе у них появились новые гости: Егоркин крёстный Василий Лукич, Акулина Ильинич-

на и сын их, маленький Яша. Нежненький такой, совсем как девочка. За много лет у Митрия собрались брат и сестра от одной матери. Павел Лукич, младший брат, находится в солдатах. Тот от мачехи.

Недаром Елена не пошла в церковь. Так хорошо зажарила гуся, так всё приготовила, что не совестно принять самых капризных гостей. Как знала, что будут и неожиданные гости: всех детей накормила до их прихода. Уж очень торопился на охоту с Вялковым Микола. Заверил мать, что новые сапоги трепать по кустам и грязи не будет. Вялков обещал ему дать старые, в которых жена Вялкова, Марья Фёдоровна, работает на поле. Митрий успокоился, и даже сказал:

— Вялков худу не научит. — А когда увидел на столе бутылку настойки, совсем повеселел: — Лизавета заезжала? — догадался он. — То-то я их в ограде церкви не видал.

— Лизанька как знала, что у нас будут гости, — подсказала Елена и прибавила: — Это она мне на случай болезни, а я уж решила подать к гуся.

— Ну, — сказал Митрий, стоя перед застольем гостей с бутылкою в одной руке и стаканчиком в другой, — гусь, сказывают, тоже плавал. Первая рюмочка сестре моей Катерине Лукиничне. — Он был в приподнятом, весёлом настроении, хотя ещё не выпил ни одной. Но Катерина упорно отказывалась, пока он первый не выпьет. — Ты, Елена, сиди с гостями, — командовал Митрий. — Видишь, Оничка тебя заменяет. — Он уступил сестре и первую рюмку выпил, как горький пьяница, поморщился и крикнул от ожога в горле. — Видите, — не унимался Митрий, — и Фенька знает своё дело — Андрюшку нянчит, и Егорка Яшу на себе повёз. У меня, брат Вася, тут порядок! Миколка мой одиннадцати лет, а робит, как мужик, и сапоги я ему нынче справил настоящие... А ну-ка, кумушка Акулина Ильинична, пей — не пролей!

Но и Акулина отказалась пить.

— Нет, куманёк, ты уж сам сперва...

— Не-ет, кумушка, это когда все по второй пойдём, тогда; а так, просим милости, не обессудь: чем богаты, тем и рады. — Уговорил Акулину, выпила та полрюмочки. Пospорили из-за второй половины, но Митрий переспорил. Выпила.

Митрий знал, что если он сегодня развяжет язык, то только для того, чтобы переговорить Акулину, а ещё лучше, если и вовсе не даст ей говорить. Боялся он её ядовитых слов, боялся именно сегодня, когда впервые и сам ни на кого злобы не питал, и гостям был от всего сердца рад. Видели гости, проходя через заваленные мешками сени, что есть Митрию за что Бога благодарить, а гусь на столе есть первый собственного выводка гусь. Елена как-то, не спросясь, не советуясь, весною

посадила гусиху, дар кумы и сестры Лизаветы. И добром помянул старшую Еленину сестру:

— Другие богачи бедную родню и на порог не пускают, а эти сами заедут, не гнушаются. Виктор Степаныч иной раз пустит острое словечко, а тут же его чем-нибудь пригладит. Дом у Жеребцовых — полная чаша, а и ребят же полон дом. А ну-ка, Елена, подсажи, кто у них после кого? Бываю у них редко, и сосчитать не успеваю, а всё девки, девки.

Елена церемонно взяла от мужа стаканчик. Церемонно, как в гостях, всем улыбнулась, назвала по имени и отчеству всех четырёх: мужа, деверя, сноху и золовку и, ещё не выпивши, опустила глаза и перечислила детей сестры Лизаветы:

— Ну, Ольга первая. Ей теперь уже девятнадцать. Потом погодок Александр, за ним будет Илья, а потом Яя, это, значит, Шурку они так зовут. Так она сама себя звала, когда была маленькая, так её и теперь все зовут: Яя да Яя. Ну а потом Лизавета, этой тоже восемь лет, ровесница нашей Онички...

— Да ты выпей, потом пересчитаешь, — перебил её Василий Лукич.

— Выпей, выпей, — присоединилась Катерина, — а то Василию Лукичу пора и по второй подносить.

Елена подчинилась, поднесла к губам стаканчик, как-то несмело пригубила и сразу же закашлялась.

— Ну нет, уж всю до дна! — скомандовал Василий. И опять немного покуражилась Елена, так уж полагалось для приличия, и выпила смелее и с явным удовольствием. И пока Василий, уже принявшийся после закусок за гуся, заранее разрезанного на куски разных размеров от разных частей, на вкус и цвет каждого, спорил с Митрием, чья теперь очередь — а очередь оказалась за Митрием, — Елена досказала имена остальных детей Лизаветы:

— После Лизаньки, это, значит, дочки, названной отцом в честь матери, идёт Сонечка, по шестому году, а за ней опять Аполинария, Поленька, по четвёртому... Ну а последней, Маничке, всего только годик.

— Дак сколько же это у них девок? — громко воскликнул Василий. — И сколько же надо им приданого готовить, чтобы женихов настоящих приманить?

— И все одеты, как куколки, — вставила Катерина. — Вот Любушка моя к ним приехала на праздник, а там их будет ещё больше, от других соседей понаедут.

— И всех учат грамоте, — с гордостью прибавила Елена. — Сестра Лиза сама хорошо грамотна, а Виктор Степаныч — тот уж прямо писарь. Ну и бабушка у них, мать Виктора, старушка благородная. Старший-то брат Виктора где-то почтовым начальником служит. Показывала она мне письмо: бисер, прямо

жемчужный бисер, а не письмо. А ты не забывай! — сказала она Митрию: — Кум Василий Лукич вторую ждёт.

— Ну не-ет, кумушка, теперь мы с этого конца начнём, значит, твоя очередь.

И опять приятный спор и повышение градусов. Митрий после второй так ещё и не успел ничего закусить, а веселье поднимало его всё время на ноги, так что и бутылку он не выпускал из рук, и садиться не хотел. Хотелось ему говорить, и он уже знал, что сказать и как сказать. Когда он весел — а для этого ему надо не больше двух стаканчиков — он преобращался, и узенькая рыжеватая его бородка поднималась кверху щёткой, а сквозь пушистые бачки пробивался румянец на щеках.

Гости ели гуся с увлечением. Рот Акулины был занят.

Маленькие ручки Онички то и дело ловко мелькали возле тарелок перед лицами гостей и матери. Что требуется, она сама поставит, взмахнёт ручонками вверх, сложит их ладошками у сердца — подумает, не забыла ли чего, и снова её синяя юбочка раскруживается зонтиком вокруг её фигурки. Митрий молча искоса ей ухмыляется, а она ещё старательнее, ещё сдержаннее размеряет свои движения, чтобы чего не пролить, не уронить. Радует сердце Елены. В глазах гостей похвала и даже зависть — откуда у девочки такой опыт, и всего-то ей девятый год.

Митрий не спешит с повторением выпивки. Для того и спор о каждой рюмочке, для аппетита и смех, и шутки. После третьей выпитой Василием Митрий от своей третьей решительно отказывается. На ногах он твёрд, но всё более словоохотлив, до безумолку.

— А Алёха Кучерявый так и не хотел жениться. Мужичу уже под тридцать, а и нрав хороший, парень хоть куда, а вот не женится. Как-то на пашне мужики в шутку спрашивают его: «Кто тебе, Алёха, кудри твои так ловко завивает?». А он им отвечает: «А этого, говорит, и звёздочка ночью не увидит».

Смотрит Елена на Митрия. Четырнадцатый год женаты, а таких разговоров от него не слыхивала. Всё было не до того, всё некогда, не до шуток. А вот поди же, неужто Акулинины цыганские глаза его так разогрели? А Митрий не унимался:

— А вот у Кайгородова, Ивана Кузьмича, работник был, тоже вроде Алёхи, здоровый детина, и тоже под тридцать, а жениться не хотел. А у Ивана Кузьмича дочь на возрасте, не то что переросток, а того гляди и завекует в девках. Полная да пригожая, а женихов не находилось. Тут уж сама виновата: тот мал ростом, тот на обличье неказист, а этот опять больно долговязый. Иван же Кузьмич рано овдовел, дочка в доме сама себе барыня, и жаль ему выпускать её из дома. Одна дочка,

сыном Бог не благословил. Вот и говорит дочке: «Игнат, говорят, парень подходящий, а что бедняк, так, если ты согласна за него выйти замуж, я с тобой ему всё хозяйство отпишу». Как заплачет девка. Не хочет, говорит, он на мне жениться. «Да откуда ты это знаешь?» — спрашивает её отец. А она ему: «Да ты сам-то слепой, что ли?».

Тут Митрий ловко обошёл прямое слово, а для того, чтобы дети, и особенно Оничка, не поняли намёка, закончил шёпотом над ухом Катерины: «Я же тебе, говорит, внучка скоро принесу».

Акулина услышала шёпот без усилия, а Василий и так всё понял. Елена только покачала головой и видела, как Оничка была увлечена раскладыванием сладкого пирога на блюдечки и как она должна была отстреливаться глазками от неотступных глаз Егорки и Феньки, которые этого пирога ещё не пробовали.

— Дай им по кусочку. И Яше отрежь! — сказала Елена, всё понявшая из выразительной перестрелки безмолвных детских взглядов на пироги и на Оничкины волшебные ручки.

Митрий чуял, что наевшиеся гости слушали его более внимательно, даже Василий после третьей рюмки понимал как будто больше, нежели до третьей. Но наедался он на долгий срок: в городе так угощать никто не будет. Он даже спросил у брата от всего сытого и весёлого сердца:

— А откуда ты, кум, всё это знаешь?

— А слыхом земля полнится. Ведь теперь внучонку Кайгородова уже три годика, а про отца его никто не знает.

— А закон же где? — строго спросила Митрия сестра Катерина. — Обманул ведь?

— Ах, сестрица! Кайгородов — скала-человек, решил дочку не срамить. Да и что с него, забуддыги, взять? С тех пор и побелел как лунь Иван Кузьмич. Да и девка свыклась. Сидит дома затворницей... А вот Алёха Кучерявый, вижу, стал похаживать к ним в дом. Видно по всему, надоело парню холостым шататься. Дай Бог, сговорятся, грех прикроют законом, и хозяйство Кайгородова будет в крепких руках. В нашем быту — все на виду. Греха ни от кого не спрячешь. А кто не грешен перед Богом? — спросил Митрий в упор Василия Лукича. — Кушай, куманёк, клади медку-то побольше: это мы с Егоркой на чеснок мёду наменяли. Вот где живут люди! Прямо сказать: по колено в грязи, зато по локоть в масле. Крестьяне первородные, а зимою руду из Устькаменна в Змеёво возят. Живут короли-князья, как у Христа за пазухой.

— Митенька! — прервала его Катерина. — Да ты бы сам-то хоть немного поел. А то ты, поди, и до обедни ничего не ел? Заговорился.

Митрий посмотрел на остатки вина в бутылке, подмигнул Елене:

— Тут тебе на чёрный день ещё останется. А ну, ещё по одной! Василий Лукич?

На этот раз все шумно заспорили: довольно, и Митрий должен поесть гуся. А то гусь уже остыл, гости уже и сладкий чай с пирожками из сушёной полевой клубники отпили. Должен Митрий и языку дать отдых.

Молча принял все советы Митрий. Елена уже давно наложила для него в тарелку и гуся, и всё, что полагается, — заморить червячка. Отставил он бутылку, взял из рук Елены тарелку, а вилку отложил. Руками выбрал гусиную ногу, за просто, по-охотничьи, отхватил хорошими, без единой ущербинки, зубами полный рот мяса, ещё раз подмигнул Елене — дескать, гусятинка хороша; пережёвывая, проглотил, ещё раз откусил, и на этот раз, ещё с недожёванной едой во рту, Митрий Лукич не дал даже минутки отдыха ни себе, ни другим, чтобы, не дай Бог, кто не перебил бы его и не помешал сказать того, что он намерен был сказать, в уме держал.

— А это, говорится, не любо — не слушай, а врать не мешай. А к чему что? А к тому, что на себе я испытал шахтёрскую участь, и вижу, кто есть среди нас живой человек. А живой человек — это первородный мужик, значит, пахарь на земле.

А почему зять мой и куманёк Виктор Степаныч Жеребцов давно без должности, а дом — полная чаша? Потому, что вовремя пашней занялся и скотинку развёл. Вокруг наших рудников все первородные крестьянские люди поселились. Выдриха — сплошь первородная деревня. Шемонаиха — богатецкая во всей округе крестьянская жизнь. Я видел, как они на пашню или на покосы едут. Как на праздник: все мужики и бабы в своём домотканом холсте. Выйдут с косами на луг, как стадо лебедей, да с песнями! А ниже по реке Убе — деревня Вавилонка, а ещё ниже, при впадении реки в Иртыш, — деревня Убинская, там другой мой зятьёк, Павел Иваныч Минаев, в купцах сидит. А почему в купцы вышел? Потому что отец и деды — тоже первородные мужики-пахаря были. А вот в горах, туда, за деревней Кабанихой, там, ты вовсе не поверишь, куманёк, люди живут прямо боярами. Сердце радуется на их дома, на их ворота с резьбой, а как дома внутри раскрашены! А бабы, Василий Лукич, — это просто кровь не то что с молоком, а со сливками, да ещё и на меду.

— А ты попробовал? — громко перебил его Василий.

— Ты не шути! — Митрий приподнял указательный палец правой руки в сторону Василия и слегка погрозил им поучительно. — Я это всё для тебя говорю, куманёк. Вот ты хоть

и в городе, а, слышу, Игреньюху продавать не хочешь. Хвалю! У тебя тут восемь десятин наделу лежит. И сын растёт. — Тут Митрий ещё выше поднял указательный палец. — И у меня три мужика подрастают, и Микола мой — это уж без ошибки будет первородный пахарь. А земля наша тут вокруг! Да это же готовое ржаное тесто, бери голыми руками и прямо в печку, пеки пироги.

— Ну вот и паши мою землю! — опять перебил его Василий.

— Подожди, подожди! — Митрий пошатал свой палец из стороны в сторону, запрещая брату перебивать его недосказанную речь. — Земли тут ещё для всех нас хватит. Вот зиму перебьюсь, весной с Миколкой в лес пойду. На амбар хочу лесу из гор по реке Убе приплавить. Больше пока загадывать грешно, а амбарчик на будущую осень — это уж как пить дать срубим. — И тут, как в капкан, поймал Василия простым и неожиданным вопросом: — Игреньюху ты, значит, мне оставишь на прокорм?

— А не заморишь? — весело спросил Василий.

— Овёс у меня есть. Но работать она у меня за свои харчи должна будет наравне с моими. Верно?

— Верно! — строго ответил Василий. — Вижу, ты крепко стоишь на ногах, Митрий!

Это прибавило Митрию веселья, и голос его зазвучал ещё крепче, и все стали его слушать, как будто впервые поняли в его речах самое значительное и самое важное. Акулина подпёрла рукою острый подбородок, и глаза её горели недоверчивой усмешкой. Но лучше всех слушал и запоминал слова отца Егорка. Не то что он всё понял и всё точно запоминал, но он смотрел на отца сбоку — и запомнил, как шевелится его рыжеватый ус, и как вздымается и вздрагивает его густая бровь, и поднимается и опускается узенькая бородка. Очень нравился ему отец в этот день покровского обеда. А Митрий, как будто чуял и Егоркин неопытный взгляд, и говорил, и заставлял всех его слушать непрерывно.

— Ну а что бы мы тут делали, шахтёры? Рудники один за другим закрываются. Вот и Сугатовский без малого закрыт. Таловский давно закрыт, а наш Николаевский и вовсе никогда из-под воды живым не встанет. А вот живёт село, потому что и здесь нашлись первородные мужики. Ну Кайгородов уже стар и одинок; а Будкеевы, а Трусовы, а Бочкарёвы, а сосед мой, дай Бог здоровья, Кирила Касьянов? Ну а Вялков — это же человек всем на поглядку. А сам даже неграмотный. Вялкова я так уважаю, что, ежели бы помоложе был, пошёл бы к нему в работники на выучку. Ну и работники же всякие бывают. Вот опять же Алёха разболтал про одного, который

до Алёхи был у Вялкова. Это уж не то что скала, а прямо утётвердыня первородная — Вялков Михайла Василич! Сам он хвастаться не будет, и про случай с этим работником это Марья Фёдоровна, жена Вялкова, секрет раскрыла, и то лишь потому, чтобы новому работнику не вздумалось хозяина в грех вводить.

Лицо Елены порозовело, помолодело, все морщинки разгладились. Было и ей кое о чём вспомнить и кое о чём помечтать. Настоящей любви между нею и Митрием никогда не было.

Говорится в этих случаях, когда женятся или замуж выйдут не по своей, а по родительской воле, что, дескать, стерпится, слюбится. И об этом не было у них времени подумать. Непрерывная борьба с нуждой, непрерывный недосуг. А вот слушает она сегодня Митрия — и забывает все его обиды и грубости, и кажется он ей и умным, и даже привлекательным. Митрий как будто и это чуял, и нравилось ему сегодня говорить не только для гостей, но и для Елены, которую он тоже как будто впервые увидел по-настоящему, нежной и тихой, и всегда покорной, так что жаль её, хоть плачь от жалости.

— Ну так вот, про Вялкова! — продолжал Митрий. — Работников он нанимал всегда одного на круглый год, а другого прихватывал на лето, с весны до Покрова. А держит их и год, и два, и больше. Даже ленивых не рассчитывал — только бы не вор. Платил он им всем подходяще, кормил до отвалу, рабочую одежду, сапоги, валенки, рукавицы — всё им готово от хозяина. Вот взял он одного из приبلудных, не спрашивал ни роду, ни племени, на вид здоровый, только жаловался, что у него грыжа и тяжести поднимать ему вредно. «А пудовку с семенами по пахоте нести можешь?» — спрашивает Вялков. — «Ну, когда надо, и до пяти пудов мешок могу на спине унести». — Взял его Вялков осенью, как раз когда амбары были полны хлебом. Только в Мясоед, перед Масленицей, заглянул в сусеки (закрома), видит: пшеницы наполовину убыло. Что за оказия? На мельницу он отвозил из другого сусека, а эта отборная, на семена отдельно отсыпана. Задумался хозяин. Без причины ни на кого грешить не хотел. Только вскоре после этого видит: почти все курицы с утра прямо с седала под амбар бегут, а оттуда еле выходят — зобы полны пшеницей. Что такое? Неужто мыши пол прогрызли, пшеницы насыпалась гора? Подполз он под пол амбара — так и есть. Куры разгребли гору, другая опять сыплется. Пощупал пол — нет, не мыши, а напарием три дыры просверлено. А со стороны заднего двора свет просвечивается от снега. Значит, ход туда. Проверил, понял — дело рук домашнего человека. И не то ударило его в сердце, что таскал вор пшеницу мешками, а то обидно, что

выпустил больше половины самой отборной, зерно к зерну, пшеницы, и на семена придётся прикупать! Никому ничего не сказал Вялков. Выждал время, когда работник уехал за соломой, выгреб оставшуюся пшеницу в мешки, выломал две половицы в полу сусека, сказал Марье Фёдоровне, что уйдёт на ночь волков высиживать. Взял ружьё, оделся потеплее, вошёл в амбар и просидел всю ночь. Никто не приходил. Просидел и вторую ночь, и так пять ночей подряд сидел и ждал. Но ружья даже не заряжал, а держит в руках верёвку, дремлет и ждёт. Вот, наконец, послышался под полом шорох. Полез вор, только подставил он пустой мешок, приподнял руку, Вялков накинул на неё петлю из верёвки, поволок. Ну, сила Вялкова всему селу известна, тут ни стоны, ни крики, ни поклоны в ноги не помогут. Скрутил он его верёвкой намертво, а чтобы не заморозить, скинул свою шубу, накинул на вора, и оставил его спать до утра в амбаре. А сам пошёл отсыпаться. Пять бессонных ночей провёл на охоте за этим зверем. Работник, свой человек, — вот кто оказался вором.

Митрий перевёл дух. Зная, что теперь уж никто не перебьёт его и подождут, пока он выпьет чаю и закусит пирогом, уселся у стола и жадно съел и выпил, что хотелось. Василий не стерпел:

— Ну и что же сделал он с вором? Кража со взломом — значит, каторга?

— А ты подожди. Тут надо знать Вялкова. Ни бить он не будет, ни под суд не отдаст. А когда сам выспался, сердце у него отошло. Пошёл он в амбар, видит: вор дрожит, зуб на зуб не попадает, но под хозяйской шубой не замёрз, а дрожит от страха. Вялков сам боится своей силы. Развязал он своего работника, привёл в дом, да не в стряпчую избу, а в горницу.

Велел посидеть немного, отогреться, а сам пошёл в подвал, принёс бутылку водки, подал вору, сам выпил, а потом и говорит:

— А ну, снимай штаны, показывай мне грыжу!

Мужик бросился ему в ноги. Никакой грыжи у него нет. Он всё это соврал, чтобы тяжёлой работой не надорваться.

— Стало быть, полными мешками таскал пшеницу? — спрашивает его Вялков.

— Не полными, — говорит тот без утайки, — а так, пуда по три уносил.

— Сколько мешков унёс? — спрашивает хозяин.

— Мешков пять унёс, врать не стану.

— Пять унёс, а десять выпустил на разоренье курам?

Молчит мужик, вор пойманный, сказатъ тут нечего. А Вялков и сам ещё не знает, что с ним делать. Отдать под суд — человека погубить, но и прикрывать вора не дело. Что соседи

скажут? А оставить на свободе и не переломить хребет — после этого случая никакой вор не успокоится, красного петуха пустит, погубит всё хозяйство, разорит. Вот и смотрит Вялков в самые воровские глаза, да так, что уж не соврёшь и промолчать не посмеешь. Спрашивает эдак через зубы, вроде как шёпотом:

— Кому продавал?

Опустил мужик глаза, смотрит в пол, на хозяина не смеет поглядеть. А хозяин неотступно пытается:

— Ежели бы, — говорит он, — не было бы скупщиков краденого, и воров бы не было. Говори, кто тут подговорил тебя пшеницу воровать?

— Христом Богом клянусь, — говорит вор, — никто меня на это не подбивал и никто у меня пшеницу не покупал.

Тут Вялков совсем даже понять не мог такое дело.

— Ежели, — говорит, — никто не покупал и ты никому не продавал, зачем же ты воровал пшеницу? В подарок, что ли, кому таскал её?

— Так точно, — говорит вор, — в подарок таскал.

— А кому? Не скажешь?

— Нет, — говорит, — не скажу, хоть убей меня.

Догадался Вялков. Была у нас тогда тут на селе вдовуха, тоже из приبلудных, а слухи о ней ходили недобрые. От баб наших ничего не скроешь. Тогда Вялков ещё спрашивает:

— Стало быть, баба тут замешана?

— Так точно, — говорит мужик, — есть такой грех, а только я ей говорил, что пшеница моя, заработана.

— Ну это ладно, что бабу покрываешь, — говорит хозяин. — Сапоги, — говорит, — и всё, что на тебе, оставь себе, деньги, что тебе полагаются, тоже получишь, а только вот что ты для меня сделаешь — и это уже для отвода глаз, чтобы никто ничего не знал и никаких в нашем селе сплеток не было. Теперь, — говорит, — ты сам возьмёшь мешок... муки, а не пшеницы, и отнесёшь своей бабе, а потом чтобы обоих вас у нас тут и духу не было. Дам тебе на это три дня сроку.

Тут опять вор Вялкову в ноги:

— Избавь, — говорит, — люди увидят, не поверят, что несу некраденое. Не надо, — говорит, — мне никаких от тебя денег, ни сапог, ни зипуна, а только отпусти грешного человека, не подавай в суд.

Долго сидел Вялков, смотрел в пол и думал. Трудно было ему отпустить без наказания вора, а бабье дело сбило его с толку. Потом мне сама Марья Фёдоровна призналась: не по доброте хотел Вялков, чтобы мужик отнёс бабе мешок муки, а хотел он испытать — поднимет вор мешок в пять пудов или хребет себе сломает? Очень был ожесточён он сердцем и хотел,

чтобы вор сам себе хребет сломал, а потом жалко ему стало и мужика, и бабу. Сбил его мужик тем, что не хотел позорить бабу, а баба и сама, может, не по своей вине с пути свернула.

Митрий, видимо, и сам был озабочен положением Вялкова и, может быть, смолк потому, что сам у себя спрашивал, как бы сам он поступил тогда с этим вором. Эта Митриева задержка конца к рассказу вынудила Василия опять переспросить:

— Да как же всё это дело кончилось?

— Чем кончилось? — как бы спросонья сам себя спросил Митрий. — Вот в том-то и дело, что кончилось это дело так, что и в книжках так не пишут. Как раз тогда нанял Вялков Алёху Кучерявого. Поглянул ему этот парень, да и правда — сокол. Пошептался он с ним. Велел запрячь пару рыжих в добрую телегу, наложил всего на дорогу, посадил рядом с Алёхой мужика и говорит ему:

— Забирай свою бабу. Алёха отвезёт тебя куда скажешь, только дальше тридцати-сорока вёрст лошадей гонять не дам.

— Ну тут уж ни баба, ни мужик позора не боялись, уехали как муж и жена, а Алёха после сказывал, взаправду как-то поженились, только уехали подальше от наших мест. С тех пор Вялков спит спокойно и красного петуха отпугнул так, что не прилетит обратно, да и за что такого хозяина поджигать?

Митрий под конец сам громко расхохотался и прибавил:

— С тех пор у нас на пашне либо на покосе пошло присловье. Ежели кто пожалуется на грыжу либо на другие слабости, ему советуют: иди, говорят, к Вялкову, он от всех болезней может вылечить...

Как никогда ещё дружно и весело прошёл Покров в избе у Митрия. Но гусём и рассказами Митрия день не кончился. Василий Лукич получил и принёс с собой письмо от отца, значит, от дедушки, Луки Спиридоныча. Но это уже начало нового для Егорки приключения, и надо рассказать о нём подробнее.

VIII

В гостях у бабушки

Всё дело началось к концу обеда у Митрия в день Покрова, когда Егоркин крёстный, Василий Лукич, уже перед закатом солнца вынул из кармана и положил на стол письмо. Он вынул письмо из конверта, разгладил его на столе, подвинул в сторону Елены. Та по-писаному хорошо читать не умела, и подала письмо Митрию, который мог читать и по-печатному, и

по-писаному, как говорилось, читает, «как рекой бредёт». Митрий нахмурил над письмом густые брови и сказал:

— Уж больно мелко пишет папенька. — Но вышло у него не «папенька», а «паенька». Это насторожило Егорку. Почему не «тятя» и не «тятенька», а «паенька»? Значит, особый у них дедушка, не как все старики-дедушки, каких он видит на селе.

Василий Лукич встал из-за стола, размялся на ногах, слегка покачался из стороны в сторону и подошёл к брату. Только теперь по-настоящему Егорка рассмотрел своего крёстного. Немного выше отца, с усами и с такими же пышными бачками на щеках, но без бороды, он мало походил на Митрия, а скорее на Катерину, большеглазую и чернобровую. Нос у обоих ровный и прямой. Тут же Егорка смерил глазами носик Яши — совсем не курносый, как у Феньки, а хорошенький, прямой, чистенький носик. Понравился Егорке крёстный, который в это время пытался помочь Митрию прочесть в письме то, что сам он не разобрал, просил прочесть Елену. Егорка украдкой подлез под ноги отца и снизу вверх увидел письмо. Письмо — это значит: на тонком белом листике бумаги наведены тоненькие строчки, очень мелкие крючочки, кругляшки, чёрточки, словом, — чудо, которое отец и мать, и крёстный могут понимать, и не поняли только несколько линеек, называемых строчками.

Тут Елена тоже встала из-за стола. Не хотелось ей признаться при Акулине и Катерине, что она не может читать по-писаному. Вспыхнув до ушей румянцем, может быть, от выпитой наливки, может, оттого, что страшно, если не прочтёт письма, она вытерла фартуком руки, осторожно взяла из рук Митрия письмо и сразу прочитала:

— «Милостивый Государь... Василий Лукич!..»

— Ну, это всё я и сам прочитал, — сказал Василий, — а вот дальше: «Уведомляю вас...»

— «Уведомляю вас, — продолжала Елена, — я на...зна...чен на пос...тоянную, а не на временную должность в рудник...»

— И это всё я прочитал, — горячился Василий, — а вот это — какой такой рудник?

Дальше этих слов, написанных бисерно-красиво, буквы были связаны так искусно между собою, что никак не разобрать, где кончается «е» и начинается «с», но Елена разобрала: — «Рид...дер...ский».

— Верно, — подхватил Митрий, — есть такой в горах, под Белками. (Район белоснежных гор Алтая, во главе с ледниками Белухи.)

— Спроси Митрия, — читает открывшая секрет рукописания Елена; и тут Митрий, хоть и может читать дальше, не мешает Елене показать себя, а только подмигивает Катерине. —

Не может ли... он... справиться... три подводы... и перевезти мою семью из рудника Чудака... в рудник Риддерский?» — Елена читает голосом твёрдым, хоть и по складам, но уверенно, а Митрий её перебивает:

— Понятное дело, могу! Вот и Игреньюху припрягу к Игреньюху. Пара будет знатная. А ежели по первопутку, то и четверо дровней могу наладить. У Вялкова одолжить можно кошеву, обитую войлоком, очень даже приятно! — Митрий был особенно доволен, что старик отец даёт ему такое важное поручение: всю семью, значит, мачеху Соломею Игнатъевну и четырёх её детей как бы поручает его попеченью.

— Вот это новость так новость! — восклицает Василий. — Это, значит, из Чудака старика нашего переводят во-он куда. Стало быть, придётся тебе перевозить всю ту же домашность, которую мы — помнишь? — лет тому десять — укладывали, увязывали отсюда и перевезли в Чудак. Вот какое дело! А нука, Митрий, тут вот ещё приписано внизу, не разобрал я.

Митрий снова хмурит брови, но притворяется, что разобрать не может, и протягивает письмо Елене. Так уж он решил возвысить её сегодня перед всем честным застольем.

Елена снова краснеет, на этот раз от удовольствия, и разбирает так же медленно, но верно:

— Пашеньку, — читает она, но Василий Лукич её перебивает:

— Вот я тоже читаю: «Пашеньку перевели...». Какая у них пашенка, давно всю землю здесь забросили?

— Пашеньку... — опять читает Елена, — перевели в учебную команду... во Владивосток...».

— Ну, так, значит, Павла, меньшака, в учебную команду, — подхватил Василий Лукич. — Ну это другое дело! Парень грамотный, раз в учебную команду, значит, в унтер-офицеры выйдет... Но, батюшки, куда же его угнали? Митрий, ты знаешь, где это — Владивосток?

Митрий посмотрел на Елену. Та подняла голову — подумав, вспомнить.

— Это где-то под Китаем, — мечтательно пыталась угадать Елена. — Это где-то за Амуром-рекой.

— Ну я же и говорю, вон куда законопатили Пашеньку, — с уверенностью знатока опять выкрикнул Василий. И округлил на Елену большие серые глаза свои. — И откуда ты, кума, всё это знаешь? Я знал, что где-то далеко, а что за Амуром-рекой, этого не знал.

Елена на этот раз поглядела на Митрия. Тот тоже должен знать, потому что сам рассказывал, как он, когда был подростком, припрягал тройку лошадей из заводской конюшни, а из другого рудника была другая тройка. На шестёрке из ста-

ницы Убинской Митрий вёз до Шемонаихи походную кухню в обозе великого князя Владимира Александровича.

— Владимир ведь и заложил город на Дальнем Востоке.

Потому и называется он Влади-восток, — уверенно прибавила Елена.

— Помнишь, — спросила Митрия Елена, — как великий князь Владимир проезжал?

— Ну а к чему это помнить? — спросил он в свою очередь, не поняв намёка.

— Ну к тому, откуда мы знаем про Владивосток.

— Я же туда не доехал, — Митрий всё ещё не понимал и пожал плечами.

— Ты не доехал, да Владимир Александрович, брат государя, доехал. На перекладных шесть тысяч вёрст проехал, чтобы новый город заложить, и потом туда железную дорогу стали строить. Вот откуда я и знаю, потому что книжечка об этом была написана, у сестры Лизаветы и сейчас она есть.

Только теперь Митрий понял, как умна и понятлива его Елена. Ухмыльнулся и пошутил:

— Ну ты же у меня всё знаешь. Недаром «паенька» тебя мудрёной называл.

Солнце закатилось, когда все весёлые, сытые и довольные друг другом и собою гости распрощались и разошлись по домам.

Митрий только теперь почуял, что он голоден, собрал вокруг себя ребят, и они все вместе закончили день Покрова хорошим, обильным ужином, тем более что и малые дети к вечеру опять проголодались. Подавала и угощала Елена. Оничка была вроде почётной гостью. Розовая и счастливая, что она так хорошо всё делала и всем угодила, она молча улыбалась и ела с небывалым удовольствием.

Николай пришёл от Вялковых уже в потёмках. Через плечо на нём висели два зайца, связанные за задние лапки верёвочкой. Шкурки их были серые, что не предвещало в скором времени настоящего снегопада. Вялков застрелил только четырёх, двух отдал Николаю, двух взял себе — на мясо собакам. Сами Вялковы заячьего мяса не ели. Но Николай-Микола уверял отца и мать: заячье мясо даже лучше гусятины. Он ел зайца, приготовленного Алёхой Кучерявым. И рассказал матери, как надо его жарить, и лучше есть холодным, а не горячим. А из шкурок он сделает тёплую шапку для себя — из одной — и тёплые чулочки для мамы — из другой. Елене сразу стало теплее в теле и на сердце. Микола лаской к матери не отличался, и эта забота о её не раз простуженных ногах растрогала. Она спросила его:

— Поди, голоден? Я тебе гуся оставила.

— Какой там — голоден! Там такой был ужин — три дня есть не захочу.

Митрий из-за темноты в избе даже наклонился к сапогам Миколы.

— Не продырявил?

— Да нет! — весело ответил Николай. — Смотри, даже без царапинки. Мне тётка Вялчиха свои даёт, хорошие, с онучами как раз мне впору.

Значит, всё в порядке, и добро, что Вялковы приласкали Миколу. У Митрия явилась опять охота даже Вялкову помочь в горячее время, и даже без всякой платы. Для дружбы с хорошими людьми.

Огня в избе не зажигали. На печке сушились подсолнечные семечки. Митрий любил в потёмках погрызть и поплеваться. Слышался ловкий, поспешный щёлк и сухие поплёвыванья в руку лёгкой кожурой. Елене было некогда. И так до темноты запоздала с дойкой коров. Обе коровы почти что на издое, а надо всё-таки выдаивать. Егорку в Филиппов пост с молока снимут, наравне со старшими, а Фенька и Андрюшка без молока зимой не проживут. Так и Митрий норовит: лучше коров подкармливать, болтушкой с отрубями поить, а молоко выдаивать, пока уже вовсе вымя не обмякнет. Да, зима идёт, забот немало. А об Игреньюхе Василия Лукича Митрий поделился новостью даже с Миколой:

— Вот, сынок, у нас будет и ещё лошадка. Кум Василий приехал из Семипалатинска, кобылу свою на зиму нам оставляет.

Микола поднял кверху прямой, красивый носик. Носик этот отпечатался на стекле окошка, в которое ещё виднелся свет угасавшей зари. Строгий, молчаливый носик повернут был в сторону отца, и Егорка хорошо запомнил, что Микола не шевельнулся, не раскрыл рта для вопроса, а ждал, что ещё сам отец скажет.

— Бог даст, зимой мы с тобой четырёх запрягать сможем, а потом на поводу Стригунка можно будет приучать тащить лёгкие дровни.

— Нет, — сказал Микола твёрдо, зная, что он говорит, — Стригунка до весны я бы даже в пристяжку запрягать не пробовал.

Митрий промолчал. Молчанье длилось долго, видно было, что Митрий думал: прав Микола или нет? Наконец он нашёл подходящий ответ сыну:

— Дал бы нам всем всем здоровья, а там видно будет.

Микола был доволен. И спорить не надо. Он осмелел:

— А Игреньюху мы попробуем. У Вялковых я видел в завозне старую кошеву. На Рождестве я попрошу у них, мы запря-

жём кобылу. Она молода ещё, должна на вожжах ходить не хуже Гнедчика.

Митрий глухо рассмеялся и перестал щёлкать семечки:

— Вот как раз я про эту кошеву вспомнил. По первопутку нам придётся бабушку из Чудака с домашностью перевозить.

Дедушку назначили на новую должность... — Он повернулся в сторону жены: — Куда это, Елена?

— В рудник Риддерский, — отчеканила Елена и прибавила: — А ты бы сперва всё как следует разузнал. Ведь и Чудако не так уж далеко. Может быть, лучше бы тебе навестить Соломею Игнатьевну ещё до зимы, пока снегу нету?

Наступило новое молчанье, после которого Митрий встал с лавки и бросил на печку остатки недощёлканных семечек.

— А ведь ты дело говоришь, Елена. Лет десять я не видел стариков, а живём не за морями! — Видно было, как заволновался Митрий, зашепел в словах и движениях. Потом скомандовал:

— А ну-ка, давайте спать ложиться! Утро вечера, сказано, мудренее. Посмотрим, какую погоду Бог даст завтра. Зайцы-то ещё серые. Вялков знает: снег нынче выпадет не скоро.

Подожгла Елена неугомонную душу Митрия. Не привык он лежмя лежать. Много в нём дремлет придавленной бедностью силы. Почти не спал всю ночь. Дело не простое — поехать навестить мачеху, и братьев, и сестёр от одного отца, а всё-таки не так всё просто.

Встал утром Митрий на рассвете. Вышел во двор, поплекал в лицо из висячего рукомыльника, даже волосы смочил, причесался, вошёл в избу, наскоро покрестился на иконы. Надел на себя старый короткий зипунишко, подпоясался, как на работу, и пошёл без завтрака и чая к куму Василию.

— Ну, куманёк, давай дело решим. Могу тебя с семьёй на своих отвезти до города. — Василий долго и молча смотрел на брата большими строгими глазами.

— Значит, ты и взаболь Игреньюху берёшь на попеченье? Это дело. Акулина, ставь самовар!

— Нет, куманёк, чаи мне распивать некогда. Надо ещё соломы на поветь навозить, поветь не вся ещё закрыта. Ты решай и время назначай. Избу твою и без тебя заколочу, чтобы ветер окошки не выдул. А я отвезу тебя да поеду опять же в дорогу.

В Чудак хочу съездить, всё дознать, как там и что. Старик заехал теперь так далеко от нас, что мы его теперь, может, и совсем не увидим.

— Опять же дело говоришь, — одобрил Василий. — Сборы у нас лёгкие. Вот два узла да кое-какая мелочь, Акулина хочет взять для хозяйства. На одну подводу всё уложится.

Через два дня на паре — Гнедчик и Игренька — Митрий запылел-поехал по дороге на Убинскую деревню. Кстати, Павла Иваныча и Грушеньку повидать. А дальше и к матери Елены, Александре Фёдоровне, в Убинский форпост заехали. Старенькая стала, голова трясётся, а голос звучит всё так же, приказом. Порадовалась урожаю Митрия, одобрила и детский урожай. Трёх последних внучат ещё не довелось повидать. Ну пусть растут и без бабушки. Ездить ей по гостям не удаётся. Ещё две девки на руках, Марья да Варвара.

— На свадьбу обеих, хоть плачь, а привези Елену, — наказала она Митрию. — Лошади свои, можешь и с детьми приехать!

Остальной путь до города Митрий одолел ровно в сутки. Гнал, морщилась Акулина от тряски, но доехали. Квартирёшка далеко за городом, вернее, в казачьей части, но лучшей и искать не будут, пока Василий не найдёт должность. Насчёт денег? Денег Василий занял у Трусова. Поверил до второй полочки. Из первой Василий никому не обещал. Обманывать не надо, а из второй — Акулина сама голодать будет, заставит заплатить. О плате Митрию за провоз вопроса и не поднималось. Игреньюха пускай будет за всё в ответе. А всё-таки Василий пошептался с Акулиной, вынес Митрию пятьдесят копеек серебром. Митрий замахал руками. У него есть свой овёс коням, краюха хлеба не тронута, а на полдороге до дому, в посёлке Шульбинском, казаки — родня Елены — накормят самого и лошадей, и на дорогу кое-что в запас положат. Лишь бы Бог лошадам да самому дал здоровья.

А вышло ещё лучше. Наутро, ещё не успел Василий вернуться с базара, как Митрий уже откормил и запряг лошадей. Василий решил проводить его до постоянного двора Анны Андреевны Пальшиной, как раз при выезде на тракт. Остановились, Василий говорит:

— Ты подожди, я кое-что узнаю. — Убежал во двор, народу на постоялом было мало, движенье в город начнётся, когда установится зимняя дорога. Вдруг выходит Василий с каким-то человеком. — Вот, куманёк, тебе пассажир имеется. Не совсем по пути, а может быть, и сторгуется. Мне же пора бежать. Хочу сегодня же до начальника пожарной команды достучаться. — Расцеловались по-братски и расстались.

Перед Митрием стоит человек — вроде как солдат, не то чиновник. Разговорились — с парохода человек, из Омска, только что с пристани. И надо ему в село Бородулиху. Митрий понял, что это будет крюк, а всё-таки из Бородулихи, через деревню Перерыв, можно спрямить и в Николаевский рудник. В Шульбинский посёлок не попадёт..

— А сколько дадите? — спросил Митрий вежливо, на вы.

— Не знаю, сколько возьмёшь? — спросил человек совсем попросту, видать, что из простых, хоть и одет опрятно, погородскому. Наполовину солдат, да он и вышел из солдатской службы, только что сверх солдатского мундира новое пальто надел.

— А у вас что, в Бородулихе есть родня? — спросил Митрий.

— И дом, и жена, и родители, — ответил человек. И предложил: — Пятёрку заплачу. Больше до дому и занять не у кого.

Митрий даже испугался. Пять рублей! Да он в шахте за семь рублей шесть дней работал. Но для того, чтобы не упустить пассажира, для отвода глаз, сказал и о себе:

— А у меня пять человек детей. Жена дома ждать будет. Это ведь мне два дня лишних ехать.

— Ну, дома, когда приедем, что-нибудь прибавлю, — сказал человек.

— А много у вас вещей? — спросил ещё Митрий.

— Да какие у меня вещи? Сундучок солдатский — весь мой и багаж.

Вынес человек с постоялого свой сундучок, а на руке шинель. Надел шинель, а пальто снял и уложил отдельно, завернул в рубашку. Новое пальто, вчера купил. Сел, и поехали.

Провёл Митрий в дороге два лишних дня, и то для того, чтобы не гнать, не перепортить лошадей. Привёз пять целковых целиком да всякого добра и сена, и овса ему солдатская семья на радостях на дорогу надавала, а ещё и ребятишкам на гостинцы сам отец-хозяин, человек вроде Кайгородова, такой же молчаливый и собой могучий, вынес рубль-целковый серебром. На этот рубль-целковый и разорился Митрий, накупил в деревне Перерыв всякой всячины Елене и ребятам, всё больше сладости, и всем по маленькой обновке. Елене частый гребешок. Давно просила. Жёлтый, роговой, зубья с двух концов. После такого уже нельзя на вошку в голове пожаловаться. До последней вычесет. Оничке купил медный крестик. Жаловалась, что купалась и утопила свой. Егорке купил плетёный пояс с кисточками. Феньке — шёлковую ленточку, первую в её жизни, розовую, узенькую, но можно и бантик сделать. Андрюшке и Миколке ничего из гостинцев не купил, зато довольно для всех витых конфет и карамелек, но для Миколы из рубля оставил всю сдачу — ровно четырнадцать копеек. Пусть сам себе, что желает, купит. Этим и угодил большаку больше всего. В первый раз в жизни у Миколы появились собственные деньги. В праздники он будет носить их в кармане штанов, так, чтобы изредка брякнули. В этом есть особый знак благополучия.

Да, скоро сказка говорится, да дело мешкотно творится. Сборы на поездку в Чудак начались в день Покрова, а вышло,

что пришлось поехать в город, вдвое дальше, а оттуда опять сделал крюк и потерял два с лишним дня, а до Чудака-то и всего каких-нибудь сорок вёрст, только совсем в другую сторону, в сторону города Усть-Каменогорска. Вернувшись же из Бородулихи с пятью рублями, как с неба упавшими, разменял пятёрку у Зырянова, отнёс половину подати сборщику, вручил оставшиеся три рубля Елене, наказал:

— Спрячь подальше! — Это значило — даже не за спину Николая Угодника, а в сундук, на дно, чтобы и самим было трудно найти.

Погода стояла ещё ясная, решил с Миколой соломы навозить на поветь, не для настила и покрытия повети, а на запас, для корма скотине. Сена из-за Убы-реки до рекостава привезти не удастся. Вода уже поднялась в реке, а паром с Покрова снят. Коровы из табуна были уже распущены, лошади шатались без пастухов, на отавах, а всё-таки иногда уйдут на чужое гумно, где есть немолоченые снопы, разобьют скирды, потравят чужой хлеб — греха не оберёшься. Коров можно было уже пускать на опустевшие огороды, а за лошадьми нужен догляд. Поручил Миколу одну лошадь держать дома, кормить её охвостьем с гумна, но изредка выезжать на пашню — попасть других коней и жеребёнка с Буланухой. Вырос долгоногий Карька, шерсть к осени стала длинной и мохнатой. Микола рад быть с лошадьми. Только жаль, не накопили несколько копёшек сена вокруг пашен. Хорошей травы много зря пропало.

Дождей ещё нет, а вода в реке поднялась, потому что в лесах, в верховьях реки Убы, снег выпал глубокий — как солнышко пригреет, так и реки прибудет. А вихри на полях вздымают пыль, старое сено, вырывают даже жниву с корнем и сворачивают всё в винтообразные столбы, носятся по склонам. Это опять-таки из ущелий и из гор дикие ветрогоны набегают на поля; попадут в долинку, негде разгуляться, они сталкиваются друг с другом, сдвигают, учетверяют силу и озоруют. Иногда и стог сена либо скирду хлеба опрокинут, а иногда и крышу с избы сорвут.

Вот этот вихрь, что пробежал чёрным крутовеем по селу, через огороды и через улицы, через поветь Касьяновых, спасибо, не ударил в полураскрытый лоб Митриевой крыши, но заставил Митрия ещё на один день задержать поездку в рудник Чудак. Всей семьёй чинили дыру, всё равно и от снегу каждую зиму надо защищать потолок избы. Все старые доски, две жёрдочки от прясла, остатки чащи — всё использовал Митрий, а сама Елена сделала замазку из глины с конским свежим помётом, Митрий подкинул даже охапку мякисны, замазали — пусть сохнет, пока сухо. Ветер даже поможет. Чтобы дождём не размыло, Митрий поверх замазки наложил

соломы так, как переселенцы кроют свои крыши: ряд соломки, слой замазки, и опять. Только бы успело до первого дождя подсохнуть, потом никакой дождь не размочит. Всё будет скатываться.

Для всей семьи эта починка крыши была вроде праздника. Все поняли — будет теплее, суше, и с потолка не потечёт. Закончили работу рано, ужинать сели засветло. Только чай почему-то показался Митрию горьким. Попробовал молоко — так и есть: молоко с полынью. Оничка уже два дня молока в рот не брала, а Андрюшка как возьмёт в рот, так и орать. Оничка только стрельнула по Егорке глазками. Ни слова. Егорка пил чай с молоком и с хлебом, ему всё нипочём. Миколы дома не было. Увёл лошадей пасти на пашню. Назавтра утром приведёт пару игреней. Игреньюха Василия пойдёт в пристяжках. Но опять сборы, то да сё, до обеда затянулись. День короче. После обеда Митрий привёл с водопоя лошадей, вводит их в ограду и видит: Егорка только что наложил под морду Бурёнки свежей полыни, вроде зелёной травки. Понял Митрий, почему молоко горькое, как был с поводом в руках, так концом повода и взмахнул и через плечо стегнул Егорку, который только что повернулся к отцу с улыбкой хозяина, который подкармливает коров, когда на повети нет ещё запаса сена.

Егорка заорал не столько от ожога ремённым поводом, сколько от невыразимой, самой страшной обиды — за что? Он же подкармливает коровушек. Ползает на брюхе меж корней уже засохшей старой полыни, чтобы раздобыть зелёную травку, какая посвежее, а его так больно бьют, и кто же? Родной тятенька, который никогда ещё его пальцем не тронул, стегнул его так больно и даже второй раз поднял конец повода, да остановился, потому что понял — не надо было бить.

Всё это произошло так неожиданно и быстро даже и для самого Митрия, что, пока Егорка приплясывал от боли и отчаянья, защемило сердце Митрия, жаль ему стало парнишку.

Видно, что по детской глупости, а не со злым умыслом он это сделал. Пока давали лошадям овса, решил утешить Егорку.

Подошёл к нему уже в избе, потрогал по всклокоченным, давно не стриженным белокурым волосам и говорит:

— Ну не плачь, я тебя к бабушке в гости возьму с собой.

Егорка как стоял перед отцом с открытым для продолжения плача ртом, так, с полными слёз глазами, и спросил, еле выговорил всхлипывающими губами:

— Это правда?

— Правда, сынок. Глупый ты, зачем же полынью коров кормить? Молока-то в рот нельзя взять.

Егорка сразу же простил отцу, не только потому, что он возьмёт его в поездку к бабушке, а потому что стегнул он его в первый и, наверное, в последний раз. Мать Егорку шлёпала «по башке», и не раз, по разным случаям. То сметану как-то ложкой начал хватать из запаса для масла, то за то, что Оничку дразнил и грозил поцарапать, то с Фенькой из-за пирожка подрался... Микола бил его уже не раз, и ещё будет бить, потому что Егорка от кого-то научился дразнить брата «кривым султаном» за то, что тот, по несчастью, потерял один глаз. Оничка гонялась за ним с прутиком. Но ни разу не могла догнать. Всегда ловко удирал, а чаще успевал залезть в полынную трущобу, куда даже куры не всегда могли пролезть, а Оничка и подавно. Но отец никогда его не бил, а с собою часто брал — «для веселья» и для великой радости Егорки — в поездки, которые Миколке и Оничке даже не снились. Вот почему не только простил Егорка отца, но проникся к нему особой нежностью. Конечно, в тех редких случаях, когда отец был груб с матерью, Егорка всегда был на стороне матери. Но об этом тяжело и даже не хотелось вспоминать. Главное же понял Егорка из этого случая с полыньёю, которой он кормил Бурёнку, что он сам виноват. Он виноват уже тем, что Оничка это заметила и грозила, что скажет маме, а он не послушался, а Оничка знала и маме не сказала, — это он понял; понял, что отец мог стегнуть его два, а то и три раза, а он стегнул только один раз. Вот этого Егорка никогда не забудет. Хотел стегнуть второй раз и уже поднял руку, размахнулся и... не стегнул, потому что Егорка перед этим глупо радовался, как бы хвастался перед отцом, что делает добро, а на самом деле делал зло: молоко было горьким после этого ещё несколько дней.

А теперь ещё и награда: отец берёт его с собой в рудник Чудак, к бабушке. Если бы не побил, наверное, не взял бы. Это самое главное, что радовало Егорку. Но мама? Мама на этот раз чуть всё дело не испортила. Она спрашивает Митрия:

— Куда ты его возьмёшь разутого, раздетого? Людей смешить?

Но упёрся отец, вот уж по-настоящему добрый, любящий отец. Он твёрдо приказал Елене:

— Иди к Катерине. Я знаю, у неё давно хранится пальтецо, как раз теперь на рост Егорке.

Слыхала об этом пальтеце Елена. Историческое пальтецо. Осталось оно от Коленьки Ползунова, того самого семилетнего Коленьки, который давно уже спит под белым мраморным памятником на Крещенской Горке, пальтецо досталось Катерине, когда она, ещё девушкой, была в услуженье в доме уже другого горного пристава. Сама она овдовела, не до-

ждавшись сына. Так пальтецо и лежит у неё в сундуке, обложенное для сохранности от моли «богородской» духовитой травкой.

Пошла Елена к Катерине. Та вынула из сундука пальтецо — хорошо, что напомнили, надо проветрить да почистить. Развернула, положила поверх покрывала на кровати: пальтецо как сейчас от портного, да такое красивое, мягкое, светло-серого сукна и на шёлковой подкладке. Отвороты бархатные, карманчики из мягкой фланели с застёжками на клапанчиках. Пальтецо — просто загляденье, картинка для показа.

— Вот и суди сама, — говорит Елене Катерина. — Как же такое пальтецо наденет Егорка? Перво-наперво, оно ему будет велико. — И ещё раз рассказала, откуда пальтецо. Да, сшито оно было для Коли Ползунова... Для того самого, который спит теперь под белым памятником на Крещенской Горке. Ползуновых Бог не благословил другим сыном. А Коленьке сшили его к Пасхе, только раз он его и надел, на Страстной неделе, к причастию. Вскоре заболел да и умер. Больше никто и никогда не надевал его...

— Мне бы не жалко, да ведь смешно, по полу тащиться будет, а потом нельзя же босоногому такое пальтецо в дорогу. Такое надо надевать с лаковыми сапожками, да рубашку шёлковую либо атласную.

Даже и без этих возражений Елена сама бы не решилась брать такое пальтецо. Ничего не стоит испортить, да и очень уж оно барского вида. Княжичу такое надевать. И не огорчилась отказом Катерины. Поняла. Понял и Митрий. Вместо красивого пальтеца с барича пришлось Егорку одевать в Оничкину фланелевую кофточку, а Микола великодушно уступил ему свои сапоги. Сапоги для Егорки были так велики, что пришлось наматывать на ноги несколько тряпок, и тащил Егорка эти сапоги как гири. Микола отдал Егорке даже свой картуз. А для защиты от ветра Елена дала в руки Егорки свою шаль и наказала Митрию:

— Не простуди ты его. А то и картуз ветром сдует — не уследишь.

Когда уселись в телегу с запасами овса и кое-каких гостинцев бабушке: жареной курицей, десятком яиц, мешочком подсолнечных семечек, сдобными калачиками на всю семью, — Микола подошёл к телеге, впервые обнял Егорку вроде как по-братски и, смеясь одним здоровым глазом из-под изуродованной шрамом брови, сказал:

— Ну и чучело же ты гороховое!

Отец приподнял кнут на пару лошадей. В корню был Игренька, в пристяжках Игреньюху Василия Лукича. Микола придержал Цыгана и Бульку, чтобы не погнались собаки сле-

дом. Затарактела телега по улице вниз, к мосту под тополёвой рощей, а оттуда влево по просёлку, в далёкое синевшее ущелье, куда Митрий и сам давным-давно не ездил. Не приходилось бывать в Чудаке больше десяти лет, с тех пор, как перевозили туда отца и мачеху из рудника Николаевского. Игренька попросил бича, зато Игреньюха горячилась, пришлось её сдерживать. Изогнула шею колесом. Хорошая, молодая кобыла. Не мешало бы весной «огулять» её, пусть и у Василия будет приплод. Пылил просёлок позади телеги. Солнце поднялось высоко.

Дорога вьётся по извилистой долине речки, карабкается на увал — горбатое взгорье, теряется среди опустошённых осенних пашен и непаханных пустырей, заросших высоким бурьяном. Вот опять круто вправо, опять почти что назад — влево. По дороге ни заимочки, ни деревеньки. Игренья — значит светло-рыжая масть лошадей — стала тёмно-бурой от пота, под шлеями — белая пена. Это хорошо — значит, лошади под кожей имеют жирок. Ну пусть пройдут немного шагом. Можно и остановиться, пусть отдохнут, подумают, как жизнь пройти.

Расстояния до Чудака никто не мерил. Меряют его по времени, по качеству дороги, по погоде. Старики недаром говорят: «Не лошадь везёт, а погодье». А и от коня зависит: на хорошей лошади тут и тридцати не будет, а на плохой да в грязь и целый день проплачешь.

Митрию думается в одиночестве скачками. Егорка же не собеседник, а всё же для Егорки он прикрикнул на лошадок:

— Ну, ретивые, златогривые! — и косится на Егорку.

Под большим картузом ни Егоркиной рожицы, ни глаз его, ни носика не видно.

— Ну как? Не замёрз?

Егорка поднимает мордочку, счастливая улыбка кривит её в забавную гримасу, и голосок пищит с усилием:

— Не-ет. Нисколечко!

— Ну вот и молодец, — подбадривает отец. — Только нос в гостях почаще вытирай. — Митрий поправил на Егорке картуз, подтыкал шаль, чтобы прикрыть всего поплотнее, и мирно, наставительно прибавил: — А ежели за стол посадят с взрослыми, с малыми ли, ничего без спросу со стола сам не хватай. Смотри, как другие делают. Бабушка Соломея Игнатьевна строгая, порядок любит. Чистотка.

Давно не видел Митрий мачехи, да и вышел из возраста, когда её побаивался, а всё же сохранилось нечто вроде боязни, в данном случае за Егорку — уж очень Егорка смешно одет.

В пути есть время кое-что вспомнить, и вспомнил многое, старое и обидное. Но постарался всё заглушить песенкой. Запел негромко, тонким голосом, по-бабьи. Слова приходили не сразу и не по порядку. Один мотивчик уносил его в одно забытое, другой — в другое. Тут и далёкое, тут и близкое, почти вчерашнее, а поля и косогоры перед глазами — всё же вот они, их ни забыть, ни похоронить в печали нельзя. Всего и не объять, и не вспомнить, и не понять. Жисть — она история мудрёная.

Песенка без слов из бабьего голоса переходит в тенористый мужской и находит слова:

Уж ты, гуленька, мой голубочек,
Ах, златокрылый ты воркуночек.
Ты зачем-пошто в гости не летаешь,
Разве горюшка моего не знаешь?

Не его это песня, а Еленина, и это правда, у неё горя побольше, болезни да роды детей, да обиды, им наносимые. Эта её песенка и помогает пожалеть Елену. А Егорка слушает и, может быть, когда-то вспомнит по-иному, чем сейчас слышит и понимает. Ему жаль и мать, и отца, обоих. Стегнул его по спине поводом, а всё-таки жаль отца. Не по бедности, нет, бедности Егорка не знает, богатства не понимает, и не думает о том, что другие дети живут сытнее и одеты лучше. Это для него нипочём.

Вот так, через голос отца с далёких белых вершин и через ропот колёс телеги по колеям травянистой просёлочной дороги, стрелой вонзается в Егоркино сердечко родительская грусть-тоска. И если жизнь его продлится, тоска эта пойдёт за ним следом до гробовой доски.

На закате солнца, с последнего спуска в широкую долину, зажглось вдали, на противоположном склоне, много-много окон, и все они горели вдоль одного длинного двухэтажного здания. А внизу, в самой долине, как и в Николаевском руднике, много домиков — разные, пёстрые, больше серые, но и в них то тут, то там пламенели окошки, большие и малые. Только здесь потеснее, все дома прижались друг к другу, как будто и улиц между ними не было. Новых тесовых крыш совсем не видно, но есть зелёные, крашенные, значит, железные крыши. Значит, и здесь есть Зыряновы и Кайгородовы, богатенькие люди.

Вот почти что сразу и подъехали, остановились у серого низкого дома. Ворота в ограду не закрыты: одна воротина висит косо, на одной петле, точно так, как весной висела и во дворе Митрия, только эти ворота посолиднее, тесовые. В ограде мусор, много листьев, опавших с больших деревьев

возле дома. Митрий сошёл с телеги, открыл вторую воротину, ввёл лошадей в поводу внутрь просторной ограды. Никто не вышел им навстречу. Старая рабочая телега стоит под навесом, где должны были стоять выездные дрожки на железном ходу. Их нет. Нет и лошадей в конюшне. Но выездные саночки, что были ещё там, в новом каретнике Луки Спиридоныча в Николаевском руднике, стоят на возвышении целые и даже не очень постаревшие, покрыты рогожей, видно, что берегутся. Любит старик лошадок, и хороший экипаж умеет беречь. Значит, на лошадаках и на дрожках он и укатил в Риддерский рудник, за двести вёрст. А хозяйство запущено: сына Павла уже два года дома нет, в солдатах, далеко.

Всё это быстро окинул взглядом Митрий, пока вводил в ограду лошадей. Оставил Егорку в телеге, вошёл на заднее крылечко, вытер ноги о старый коврик, помнит и его когда-то новым. Висморкался, утёр усы рукою, постучался в дверь. Не сразу за дверью послышались возня и детские голоса. Большие карие глаза, точь-в-точь как у мачехи, на смуглом личике девочки удивлённо встретили его в приоткрытой двери. Позади девочки толпились двое мальчиков, один поменьше Егорки — вылитый Лука Спиридоныч, другой — побольше, похож на Павла, значит, на Соломею Игнатьевну. Он знал их имена. Раису знал трёх лет в Николаевске, мальчики родились в Чудаке, он их впервые видит. Раисе тринадцать лет. Она узнала Митрия по обличию, а может, просто догадалась. Сразу бросилась к нему на шею, крикнула братцам:

— Да это же наш Митенька! Смотрите, как папенька на портрете!

Оба мальчика не поздоровались, пустились по двору — посмотреть на лошадей, а там в телеге сидит Егорка, смешной в своём наряде. С шумом, с криком помогли ему вылезти из своего гнезда, а у него в этом гнезде остался один сапог вместе с тряпками-онучами. Раиса подбежала, помогла надеть сапог, прибавила веселья. Повели все трое Егорку в дом под руки, потому что не мог он двигаться, ноги стали как деревянные, отсидел. Митрий задержался в доме: всё то же, как было когда-то, ещё в детстве был тот же «тавалет» — родной его матери приданое, большое, в рост человека, зеркало. Увидел в нём себя. С юности себя во весь рост нигде не видел — правда, что, как капля, похож на родителя, только родитель-то, вон он, — на «списанном» портрете на стене, одет в сюртук и в белой манишке на груди и галстук чёрный, бантом. Куда ему до родителя? А возраст пожалуй что тот же, под сорок было отцу, когда «списали» с него этот портрет.

Шум отвлёк Митрия от портрета, он оглянулся: в гостиную комнату вводили Егорку. Тотчас бросился к нему, вытер нос.

Егоркина рожица расплылась в улыбке от небывалой ласки незнакомых детей.

— Ну, здоровайся с дядьями! — кричит Егорке Раиса.

Егорка только теперь понял, что надо поздороваться со всеми. Двинулся по направлению большого зеркала и там, рядом с двумя мальчиками, увидел третьего. Да, там они самые — Костя и Ваня, а кто же третий? Чудно! Кофточка на нём Оничкина, и сапоги тащатся по полу, точь-в-точь как сапоги, которые Егорке дал Микола. Не здороваясь с «дядьями», Егорка движется всё ближе и ближе к этому третьему, а тот движется прямо на него. А из-за спины того, что движется, смотрят на него большие смеющиеся глаза Раисы, и даже язык высунула, дразнит.

Все вокруг него стояли молча, потешались. Даже Митрий понял, что Егорка околдован зеркалом и не понимает, что это он сам себя видит. Затих, остановился — и тот, в зеркале, остановился. Егорка испугался и заревел — и тот, в зеркале, скривил лицо, и видно, что ревет, такой смешной, курносый, некрасивый, даже противный парнишка. Когда от этого наваждения он ещё громче заревел и зажмурил глаза, в комнату неожиданно с парадного крыльца вбежала полненькая, круглолицая девушка в чёрном жакетике и в белой шапочке — это Серафима, ей уже шестнадцать лет. Не здороваясь с Митрием и видя, что гость-племянник плачет, она бросилась к нему, склонясь даже на колени, вытерла ему слёзы и набросилась на Раису:

— Ну это уж ты его расквилила! Тебе во всём потеха!.. Не плачь, не плачь! — Быстрый взгляд серых, чуть раскосых глаз стрельнул на Митрия, прищурился в приветливой улыбке, но Егорку Серафима не бросила. Усадила на пол, стала снимать с него тяжёлые сапоги и говорит: — Беги-ка босиком побегай, лучше будет... — Сняла с него и кофточку, утешала.

Засмеялся Егорка, только теперь понял, что в этом стекле, которое его так напугало, все они ненастоящие, другие, но всё-таки как они там, в стекле, все ходят и помещаются? Только теперь Серафима бросилась к брату Митрию, обняла нежно и поцеловала трижды, по одному разу в волосатые щёки и раз в усы. Всё в доме ожило. Серафима сама разделась, осталась в пёстром платье, бросилась на кухню самовар ставить; шалунья Раиса бегала за ней следом и рассказывала с ужимками, какой он, Егорка, смешной и глупый.

— Но ты посмотри, он весь в тебя — такой же курносый и глаза щёлками!

А Серафима от этого ещё ласковее приголубила Егорку: подбежит к нему, поворкует, да опять на кухню.

Всё быстро наладилось, ожило в доме. Егорка согрелся, смотрит вокруг себя с удивлением на этих родных людей, и на

вещи, и на мебель, какой он никогда не видывал. Повеселел и Митрий. Понравились ему его младшие сестрицы и братцы от одного отца, только от разных матерей, а смотри, какие ласковые, просто даже удивительно. Особенно понравилась Сара — Серафимой в доме её никто не называет, как и Раису зовут Раей. А мать их Соломея — тоже удивительно, как будто все имена Еленой из Евангелия вычитаны. Да и её собственный дед, казак донской, — Исус, потому что отца её, значит, Митриева тестя, хоть в живых он и не застал, а всё время слышал, как его величали — Пётр Исусович. Удивительно...

Сара и Рая увлекли Митрия на кухню, оставив мальчиков играть в гостиной, и там наперебой всё ему рассказывали, а сами готовили ужин.

— Маменька пошла по делу к Улагину, торговцу нашему. — Серафима говорила так быстро, что Раиса сразу же должна была переводить для Митрия её скороговорку на более медленный лад. — Стараются она найти покупателя на наш дом. А папенька ещё перед Успеньем уехал в горы на своих вороненьких. Знаешь, он ведь без лошадки шагу не шагнёт. Писал нам, что Чудак должны закрыть, и он вернётся дом продать. А теперь его там должность задержала, нам самим придётся дом продавать и всю домашность на возах перевозить. Я говорю маменьке: «Продай ты весь этот старый хлам, там новое всё купим». А она мне: «Потому никто и не купит, что хлам, а на новое где денег взять?».

— Мы все радёшеньки переселиться, — подхватывает Рая, — тут такая скука. Нынче даже учитель ещё не приехал. А я в Риддерске скоро всё закончу — там, наверное, школа не нашей чета.

— Папенька пишет, — перебивает Сара, — там школа громадная и церковь каменная, и много господ живут при горном деле. Там у них «головку» золотую из руды вырабатывают... А какая это «головка», я чего-то не пойму. Маму спрашивала, она говорит: «Это секрет». Митенька, ты знаешь, почему это секрет?

— Это не секрет. Это особыми гранитными колёсами дробят и в муку мелют руду, а вода подбегает под колёса и простой песок уносит, а золотоносный остаётся на листах. Вот это и есть головка. Наши рудовозы возят её в Змеёво плавить, в Риддерске плавильного завода нет, а есть только «бегуны» — это камни, вроде жерновов, только они не лёжа ходят, а стоя катаются по два в ряд. А там ремни длинные, широкие — к осям идут, а оси ворочает вода, шум такой, что ничего не слышно, когда «бегуны» бегают.

Слушали Митрия внимательно и жадно, и Рая даже похвалила:

— Ты, Митенька, даже секреты можешь толковать. Вот я теперь маменьке всё растолкую. А она у нас у-умница. Как что не знает, сейчас же у неё — секрет.

— Ну ты тоже не болтай, — прервала её Сара, — маменька у нас над папенькой глава. Она ему, бывало, наказывает: «Ты не гордись, что жалованье получаешь. Получить не мудрость, а вот мудрость тратить — это великий секрет».

— Ну и что же — маменька умеет тратить? — спрашивает Митрий.

— Да ещё как. У неё ни один грош даром не пройдёт. Папенька её за это очень уважает. А иначе как бы мы прожили, такая семья, на одно папенькино жалованье? А ему же ещё и лошадки стоят денег, и людей угостить любит.

— А папенька выпивает? — понизил голос Митрий.

Девочки переглянулись. Помолчали, потом решили ответить каждая по-своему, но одним духом, обе вместе:

— Изредка и понемножку, — осторожно призналась Сара.

— Они это делают оба вместе, — оправдательно сказала Рая. — Это их секрет...

Все вместе рассмеялись.

В это время в кухню вбежали все три мальчика. Ваня кричит, показывая на чёрные, в цыпках, Егоркины ноги:

— А я думал, это у него чулки на ногах!

— Раиса! — голос Серафимы строг. — Веди его сейчас же в баню. Вымой ему ноги. — И побежали в баню, через двор, все четверо.

Митрий пошёл следом. Лошади стояли всё ещё запряжёнными. Распряг их, поставил под навес выстаиваться и начал наводить порядок во дворе. Серафима выбежала, звала чай пить, пока обед будет готов. Ответил ей:

— Лучше маменьку подождём! — Продолжал мести, скрести, переставлять в порядок разбросанные по ограде хозяйственные вещи. Уже и Егорку, вымытого, привели в дом, уже и сумерки нахмурились над домом, когда Митрий услышал позади себя знакомый, звучный, строгий голос:

— Это кто тут у меня без спросу распоряжается?

Митрий даже испугался, но когда Соломея его обняла, назвала Митенькой, оба расплакались от радости.

— Сара говорит, что ты и есть без меня не стал. Пойдём-ка в дом, бросай метлу. Я тебе рада-радешенька.

Когда сели за стол, Соломея сама спустилась в подполье, принесла пузатый кувшинчик.

— У старика там, по секрету, ещё три таких хранится, а я секреты его знаю. Жду его со дня на день, а для гостя дорогого один распочнём. Серафима, рюмочки принеси из столовой! Мы тут и по праздникам столуемся. Стара я стала топтаться

взад да вперёд. Ну и кухня у нас, видишь, поместительная. Зимой мы тут все греемся. Сарочка, накорми сперва ребят, да пусть отсюда уходят. — Уронила взгляд на Егорку, кивнула ему головой — как бы отдельно, наособицу ещё раз поздоровалась — и спросила у Митрия: — Это что же у тебя, самый младший?

— Нет, — ответил Митрий, — под ним есть ещё дочка, Фенька, по четвёртому годочку, да ещё сынок, Андреем звать. Тому только второй пошёл.

Соломея Игнатьевна зорко, насквозь пронзила Митрия взглядом и с укором спросила:

— И ещё будут? — И когда Митрий виновато опустил глаза и не ответил, Соломея продолжала: — Вот то-то, плодovито ваше племя. Видал моих-то, вон они: мал мала меньше, а старику-то ведь под семьдесят. Ешь, да выпьем на здоровье! — Налила только себе да Митрию. Перекрестясь, молча и торжественно выпили. И молча продолжали есть. Когда же дети наелись, Соломея и Серафиму услала из кухни. Велела не убирать со стола только кувшинчик да рюмочки. Наливка была крепкая, и после двух она расплакалась. Пашеньку, сыночка любимого, вспомнила.

— Угнали его куда-то аж на Сахалин царю служить.

Обернулась ещё раз в сторону столовой, где Серафима звенела посудой, наказала:

— Пусть те там не шумят. Пусть Рая им сказки почитает. Чтобы тихо было в доме. Да на ночь чтобы не ленились чистые рубашки снять. Сама им вслух молитвы прочитаешь. Я тут посидеть хочу, с гостем побеседовать.

Всё это было то же, что не нравилось Митрию в раннем детстве. Строгость, чистота, порядок и молитвы. Тогда она была совсем юна, а молиться так же строго всем пасынкам наказывала, и сама читала вслух. Луку Спиридоныча, и того за столом осадит: — «Лоб-то бы перекрестил перед даром Божьим!» — Вот она была какая, и такую же теперь видел перед собою Митрий и проникался к ней новым страхом. Нет, это не страх. Это тоже что-то хорошее.

А Соломея продолжала говорить. Чужалось, что давно ни с кем не говорила она по сердцу. Налила ещё по рюмочке, сказала: по последней — и отставила кувшинчик подальше от себя.

— Ну, ты ещё в соку, если и ещё будут ребята, вырастишь, выкормишь, только вот Елене-то не так легко их рожать да хоронить, а растить и того горше, когда нужда да болезни. Сколько ей уже? Тридцать три, а мне-то, дуре, ведь пятьдесят второй, а видишь, Косте-то всего пять лет. Разве это не грех?

— И ещё будут! — сказал повеселевший Митрий. — Здоровье у тебя — дай Бог всякому.

Понравилась эта шутка Соломея, но она замахала руками: — Окстись, мужик, не смейся!

Вспомнили о старом, только о хорошем, плохого как будто и не было. Говорила одна Соломея, Митрий молчал, дивился мачехе — постарела, но не очень, пополнела, а в волосах ни сединки, и лицо без морщинок. Всё-таки почти что барыня. Работы тяжёлой никогда не знала. Не то что Елена — заматана, всегда суха-худа, и чем питается? Всегда на сухаре да на чаю без сахара. А тут весь дом нужды не знает, а старику и вправду, должно быть, нелегко на старости всю семью содержать. И выходило, что Митрий всё-таки герой: и нужды больше, и семья больше, и изба убогая, а вот есть силы — даже отцу мог бы как-нибудь помочь.

Уже и голоса в доме затихли. Егорку Рая уложила вместе с Костей. Костя повернулся к нему спиной и сразу уснул, а Егорке не давали спать «цыпки». Вымыли ему ноги в бане с мылом, вот и жжёт, и саднит, а плакать не смеет. Терпит, только спать не может.

Допоздна засиделись в кухне Соломея с Митрием, наговорились за все годы.

Вспомнил Митрий, что лошади всё ещё не спущены к сену, пошёл, пощупал их сухие шкуры, погладил по шеям, привязал к телеге с сеном, опять вернулся в дом. Соломея Игнатьевна всё ещё сидела на кухне, ждала. Показала на кувшин и спросила:

— А ещё по одной?

— Ну нет, много довольны! — решительно сказал Митрий.

Она не настаивала, а Митрий всё-таки присел, хотел спросить о том, хватает ли им родительских заработков, но подумал, что это неудобно, и спросил про другое:

— Значит, дом этот продавать будете?

— Да кто купит? — оживилась Соломея. — Рудник закрывается, чиновники и мастеровые свои дома имеют, да и те наполовину разъедутся — работу искать в других местах. Ходила я сегодня к нашему богатею. Болтали люди, что он по дешёвке полсела скупил. Всё враки. Он сам жалуется — никто долгов не платит. В Усть-Каменогорск решил переезжать. Ой, ты не знаешь, как я бьюсь! Девочек надо учить. Серафима уже два года ходит работу ищет, хоть бы горничной. Раиса ещё и школу не кончила, а эти двое вот-вот опять из рубашек и из всего вырастут, их тоже надо одевать, учить... А старика, того гляди, в отставку уволят. А пенсия ему будет девять рублей в месяц!..

Тут Митрий решил вроде как помочь:

— В Риддерск я вас всех на своих лошадях без копейки перевезу.

Соломея Игнатьевна громко рассмеялась и отчаянно махнула на него рукой:

— Ой, Митенька, родной! Да куда я на зиму в чужое место из своего угла с четырьмя детьми поеду? Вот он сам приедет, пусть распоряжается как знает, а на квартиру в Риддере я не пойду. Ежели продаст здесь дом хоть за полцены да купит там, тогда поеду.

Тут она решительно встала и повела Митрия в гостиную, оттуда провела к спальне мальчиков, потом к двери отдельной спальни девочек, а позади, в глубине коридора, и её спальня, большая, с горой подушек на большой кровати.

Потом обратно, рядом с гостиной, в кабинет Луки Спиридоныча.

— Он тут всегда спит — видишь, девочки для тебя постель на диване приготовили. — Она пощупала — мягко ли, достаточно ли тёплых одеял.

— Вот тут ты и спи, отдыхай со Христом! — перекрестила его издали, повернулась уходить и ещё прибавила: — А ты не обессудь меня. Это я лишнего выпила, жалуюсь. Ты-то сам с Еленой да с пятернёй в одной избе живёшь да ещё хвалишься: без копейки нас перевезёшь этакую даль...

— Ну, наше положение другое. Мне нынче Господь пшенички уродил, и скотинки прибавилось. Четырёх коней по первопутку могу запрячь...

— Ну и слава Тебе Господи, что не жалуешься, а мне и подавно грех роптать... Спи на здоровье! — Плотная, невысокая её фигура ещё раз развеяла широкими юбками, когда она круто, молодо повернулась и ушла к себе по коридорчику.

Митрий как стоял посреди отцовского небольшого кабинета, так и остался стоять в недоумении — один впервые среди вещей и мебели отца, почти что барина. Перед письменным столом узнал старое фигурное кресло, на которое никогда раньше, в юности, не посмел бы сесть. И теперь не решался.

Посмотрел на письменный стол, на нём в порядке папки с бумагами, какие-то книги, чернильница и песочница одной формы, из тёмной меди, тут же маленькие счёты с костяными чётками. Всё опрятно, всё в порядке. Неудобно тронуть. И верилось, и не верилось, что всё это отцовское, его родного отца, который стал как бы чужим с тех пор, как ввёл в дом молодую женщину, неродную мать. А она теперь и родной роднее.

Подошёл к этажерке в углу. Разные там книги, безделушки, должно быть, дары от начальства или от заводских мастеров.

вых. В красном углу одна большая икона — Спасителя, а поодаль от неё в раме портрет Царя-Освободителя. Узнал сразу: у Елены есть, поменьше и без рамки. А на другой стене — вот он, сам Лука Спиридоныч, «срисованный» на портрет. В большой раме, под стеклом. Да, срисован как живой, такой точно, каким помнит его Митрий в юности, лет двадцать пять тому назад. И в тёмном сюртуке, в том самом, в котором венчался с Соломеей. И обличье «благородное» — и борода, как у Митрия, узенькая, козлик, и бачки пушистые, а руки белые, совсем барские. Да, похож Митрий на отца, но где же ему равняться? Вот и рубашка с отложным накрахмаленным воротничком, и галстук бантом. То да не то, а похож, недаром Раиса сразу узнала.

И приятно, а не смел раздеваться Митрий, чтобы лечь в отцовскую постель. Уж очень всё чисто да мягко, и пахнет душисто. Вспомнил, что отец никогда не курил, потому и Митрий никогда не пробовал курить. Устремился на икону, постоял, пока прочёл в уме молитвы, какие вспомнил; сегодня особенно захотелось постоять перед божницей: мачеха его перекрестила. С усмешкой на губах разделся, погасил лампу, лёг в постель, как в рай погрузился. Лучше быть не может. Особенных дум не приходило, а заснуть не мог. Волнительно было — лежать в постели родного отца. Уж очень трудна была жизнь шахтёра, а и пахаря не легче. А мачеха права — грешно роптать. На этой думке и заснул, да спал так крепко, без просыпу, что, когда утром проснулся, — в окна льётся солнечный свет, из кухни слышны голоса, а Митрий озирается и понять не может, где он и что это такое вокруг, всё незнакомое и будто как во сне. Встал на ноги, увидел на стене портрет отца — всё вспомнил.

Не было у Митрия никогда такой охоты, как в этот день: всё в ограде, и в конюшне, и под навесом, и в палисаднике — всё вверх дном перевернуть, всё вычистить, прибрать, поправить. Прежде всего ворота исправил, попробовал — запираются без труда и не скрипят. Мачеха и Серафима едва его принудили войти в дом покушать. Лошадей почистил, телегу смазал, всё сделал, и делать больше нечего. Зато вечером пир был горой, ужин в столовой, без малых ребят, только Серафима за столом. Даже Раиса кушала заранее с мальчиками. Соломея Игнатъевна, в светлой кашемировой шали на плечах, сидела королевой и рассказывала, и спрашивала, смеялась и плакала. Была довольна, как никогда, своим пасынком, и не знала и не думала, что он такой удалец и на все руки молодец.

Кувшинчик они в этот вечер dokonчили вдвоём, но после четвёртой Митрий опять упёрся, не уприсишь. И это понра-

вилось Соломее. Но не понравилось ей, что Митрий больше погостить не захотел. Завтра решил ехать. Того гляди, снег повалит, дома хлопот тоже непочатый край. Ещё одну ночь проспал в родительской постели, на пружинном, мягком диване, а утром собирался долго. На споры ушло много времени. Пришлось оспаривать мачеху, которая надавала всяких добротных вещей, из которых выросли и девочки, и мальчики, а Митриевым ребятишкам всё пригодится. И Елене кое-что с себя, и Митрию от бабушки. Что нужно починить — Елена мастерица, починит. Неловко было брать, а уговорила. Каждому в семье подарок, а Елене, наособицу, кашемировую шаль со своих плеч.

Пришлось спорить с Серафимой, с Раей, Ваней и даже с Костей — все уговаривали остаться у них ещё хоть на денёк. Тут Митрия переспорить не могли. Решил ехать.

Соломея Игнатъевна вспомнила, что у Егорки, кроме фланелевой кофточки с плеч сестрицы Онички, ничего нет, а на дворе подул холодный ветер. Пошла на чердак, долго там рылась в разном тряпье. Хотела ещё кое-что отобрать для ребят Митрия, да всё не мыто и помято, не решилась, но попался ей старый сюртук Луки Спиридоныча, тоже помятый, позеленевший от времени, но суконный, крепкий. Тот самый, в котором он когда-то был «срисован» на портрете и в котором он венчался с Соломеей. Отряхнула с него пыль, и в него перед самым отъездом закутала Егорку. Митрий узнал сюртук и не то от жалости к себе и к отцу, не то от радости, что бабушка укутывает внука в такую дорогую для семейства вещь, украдкою смахнул со щёк слезинки.

Распощавшись и расставшись с домом бабушки, выехали на извилистый просёлок между залитых солнцем ущелий.

Ветер дул навстречу острый и холодный. Митрий обратился к закутанному в тёплый дедушкин сюртук Егорке:

— Ну что, сынок, поглянулась тебе твоя бабушка?

Егорка только расплылся в довольной улыбке и даже не знал, надо ли и как на это ответить. А отец потрогал рукой добротность сукна и подкладки под сюртуком, прибавил:

— А сюртук-то дедушкин. В нём он на патрете срисован. Видел, на стене под стеклом висит? Да, вот какой это сюртук. Память дорогая!

Егорка не видел себя в своём наряде: большой Миколкин картуз надвинут был на него по уши, а сюртук поверх Оничкиной кофточки торчал углами, и весь Егоркин вид был точь-в-точь как чучело, какое на огородах пугать ворон ставят. Этого и Митрий не заметил.

Навстречу вместе с ветром надвигалась серо-белая туча. Вскоре из неё повалил первый вихристый, крупными хло-

пьями снег. В колеях дороги он смешивался с пылью, превращался в вязкую грязь и наматывал на колёса липкую тяжесть. Надо было ехать тише, а и задерживаться опасно. И остановиться по дороге негде: ни заимочки, ни деревеньки на пути. Ну ничего — лошадки отдохнули, довезут. А земля давно ждала белоснежного Покрова Пресвятой Богородицы. Ехали медленно, и Митрий пел молитву Богородице тонким, бабьим голосом, а думал о Елене: не захворала бы опять. Непогодь настаёт...

«Пресвята-ая Богородица, спаси-и на-ас!..»

IX Дедушка приехал!

На редкость сухая и ветреная осень стояла до начала ноября. Озимые всходы ржи, что яркими зелёными квадратами радовали глаз среди осенней серости полей, покрылись пылью, некоторые пожелтели и, видимо, тосковали о белом, тёплом покрове из влажного снега, чтобы выжить и прозябнуть, а весной снова возродиться с ещё большей яркостью. Но не было дождей, не было и снега. Скот бродил по сопкам и притоптанным полям, прятался от ветра в безлистные кустарники, а чаще возвращался к дворам и жался в подветренную сторону, стараясь убить время в дремотном ожидании подачи хоть бы клочка соломы. Река Уба ещё не застыла, сено из-за реки не вывозилось, и только наиболее опытные хозяева на случай осенней бескормицы имели запасы сена вокруг своих пашен. Но таких было немного. Большинство должно было кормить и лошадей, и коров соломой, в лучшем случае мякиной, но мякину нужно было смачивать водой, а вода застывала. Хорошие хозяева кладут во дворах или пригонах куски соли, синие, как мрамор, по полпуда весом, и, если много скота, не один кусок, а несколько, чтобы корова или лошадь могла свободно подойти,лизать и с большею охотой пойти на водопой, а потом не столько от голода, сколько от скуки и для тепла скотина будет жевать хотя бы и плохую солому.

Но вот затихли ветры, на небе сгустились тёмные тучи, пошёл тихий, ровный, большими хлопьями, снег. Шёл и тут же на земле таял. Шёл весь день и шёл всю ночь, из пыльных улиц и дорог сделал густую, вязкую грязь. Загнали всех коров, телят, овечек и лошадей, а их у Митрия с жеребёнком и Стригунком уже целый табунок, шесть голов, загнали всех

во двор, под крышу, но крыша — плоская повесть — протекает. Господи, пошли морозца! Снег не будет таять, ляжет плотным слоем на повети и не будет мочить обросшие тёплой шерстью шкуры животных. Только там и не каплет, где на повети смётан скирдок запасной соломы. Во дворе сразу стало тепло и весело. Митрий пересчитал всех: две больших коровы, тёлка-двухлетка да такой же бычок. Придётся к Рождеству заколоть, на весь Мясоед будет своё мясо. А лучше бы пробиться да обойтись овечкой, но и овечку жалко. Может, и двойню родит. В общем, с тремя овечками да годовалым телёнком уже четырнадцать голов скота... Сердце радуется. Движенья ускоряются. Снег ли, дождь ли — надо ехать за соломой да накосить хоть ржавой осоки в ручье. Веселей им будет дрожать под капелью.

Запрягли Игреноху — ею теперь пользовались в самых спешных случаях: молодая, выдержит, и другим передышка. Некованные копыта скользят на скатах, телега вязнет в грязи, но Митрий и Микола, где нужно, соскочат с воза, подопрут плечом, подтолкнут воз — к потёмкам привезли воз мокрой, только очень ржавой осоки. Солону не решились распочинать, чтобы скирд не промочило. Привезли осоку, частью сметали на повесть, поверх мокрого настлали соломы. Смотрят: пар пошёл с повети вниз, во двор. Значит, мокрое к мокрому прибавило тепла, а в воздухе настывает. Слава Богу, морозец всё подсушит.

Пужинали при огарке свечки: купил Митрий три свечки у Зырянова, истратил шесть копеек из запаса казны на божнице, всё-таки и это показывает благополучие семьи, есть чем осветиться. Конечно, жиры от гусей и кур особо берегаются — поджарить яичко, блин испечь, и на «выжарках» иногда можно простой фитилёк поддерживать. Так Елена и делает, когда надо подольше посидеть за починкой или квашню ночью подмешать. А свечка — это уже вовсе слава Богу.

Пужинали, приказал Митрий потушить свечку, посидели, пощёлкали семечек, легли пораньше спать. Долго ли, коротко ли спали — загудело в трубе. Завыло. Послышались постукиванья кончиком соломы о стекло окошка. Зашуршало, словно кто-то стал бросать крупные зёрна пшеницы в стены избы. Где-то засвистело, где-то грохнуло: это ведро с плетня свалилось, сохло после мытья пола в избе. Помойное ведро, оно же и для стирки, бельё парить в печке, обеспокоило Елену: ветром унесёт, укатит, снегом занесёт и не найдёшь, а ей как раз оно нужно. Стирка предстоит, в чём, как не в ведре, можно растаять снег, иначе воды с ключа не наносишься. Встала со своей кровати, где она спит с Оничкой и Фенькой, хотела выбежать догнать ведро, вышла в сени,

толкнула дверь на крылечко — не отворяется. Снегу навалило на крыльце — целый сумёт. Босая не решилась выбежать на снег, вернулась в избу, крикнула Митрию на полати, где он спит с Миколой и Егоркой — Егорка в серединке, чтобы не упал с полатей:

— Ой, муженёк, кажется, похоронит нас тут, не выгребемся!

— Снег идёт? — радостно спросил Митрий спросонья. — Вот, Бог даст, и реки станут. Можно будет сеном запастись. Не вдомёк мне, не запас сенца вовремя. — И тоже вспомнил — дровни лежат в пригоне. Занесёт до утра, не выгребешь. Не удалось убрать под крышу. Ну, весь скот в тепле, под крышей, и то слава Богу.

Егорка проснулся от этого тревожного разговора отца и матери и спросил с полатей:

— А Цыган с Булькой не замёрзнут?

Митрий зевнул в ответ и протянул:

— У них шубы тёплые, сынок. Не замёрзнут. — Повернулся на другой бок и про себя прибавил: — Тоже хозяин: о своей скотине заботится.

Микола перелез с полатей на печку, вынул твёрдый клубок из старых тряпок из круглой дырки, которая служила отдушиной на поветь, просунул руку в отдушину и с горстью снега в руке вернулся на полати. Послышался визг Егорки, а потом и Митрий крикнул и захохотал, как от щекотки. Андрюшка в люльке заплакал. Фенька тоже испугалась.

— Он меня снегом!.. Прямо в брюшко насыпал! — кричал Егорка.

Переполох был весёлый, для мрачного Миколы это было редко — всех развеселить. Но он был горд рассказать:

— Почти под самый карниз крыши на поветь навалило! Всё бело!.. Вот Михайло Василич сегодня погонит лисиц. Он говорил: «Как снег выпадет, дома меня не ищи!»

И вот тут случилось нечто, чего Егорка никогда, никогда не забудет. Не забудет потому, что всё это было точно так, как он услышал, как это прозвучало в голосе его матери и как всё тут же и произошло наяву.

— Буря мглою небо кроет, — слышалось снизу, сначала даже неизвестно, чей это был голос. Был он по-мужски басовит, был он напевен и медленно, торжественно произносил никогда не слыханные в этой избе слова:

— Вихри снежные крутя. То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя.

Всё это точно-точнёхонько так и было, и так навсегда и запомнилось.

— То по кровле обветшало́й вдруг соломой зашуршит, то, как путник запозда́лый, к нам в окошко застучит.

Все слушали в избе. Даже Андрюшка успокоился, и слышно было, как тоненькой дудой подпева́ет матери его пустой рожок. Оничка не спала и слушала. Фенька широко раскрытыми глазами смотрела в тёмный потолок. Митрий тяжело вздыхал от своих дум.

— Наша ветхая лачужка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Спой мне песню, как синица тихо за морем жила, спой мне песню, как девица за водой поутру шла!

Елена не сказала, кто это постучался в их убогую избу в ту ночь. Но постучался кто-то столь родной и близкий и столь великий, столь всё понимающий и знающий все подробности их жизни, что он никогда-никогда их не оставит, а Егорку поведёт через все тернистые пути его будущей жизни и поможет, поможет перенести, всё вытерпеть. И никогда-никогда не забудется эта буранливая ночь в тёмной избе — как ночь великая, благословенная, когда во всём величии возросла до небес душа Егоркиной матери, простой малограмотной казачьей дочери Елены. И будет само её святое имя, рядом с именами самых великих людей, вести и озарять Егоркин путь через великие препятствия и унижения, и через непредвиденные страшные извилины и соблазны, и многократные угрозы смерти...

Пока же ночь пройдёт, настанет утро белое, завалит окна и двери сугробами снега, трудное, но новое и полное напряжённых сил в борьбе за жизнь, настанет утро настоящей зимы, с морозом, со льдом вокруг озёрных берегов и с заберегами вдоль речных потоков. Но оживёт село, выгребется из-под снега, задымит всеми избяными трубами, закурит новая жизнь.

Ещё неделя-другая — санный путь установился, разгладились под полозьями саней дороги. Стали реки. Появилось сено на поветях, запылали лучшие, прибережённые с весны сухие поленца дров в печи. Запахло свежими пшеничными калачиками. Из трёх зарезанных и замороженных гусей один пошёл на заговорный обед перед преддверьем Филипповского поста. И настал Филиппов пост, трескучий, многоснежный, такой морозный, что если на улице плюнешь, то слюна падает на дорогу льдинкой.

Случилось опять так, что Митрий нашёл себе пассажиров, нанялся отвезти из села учителя с его молодой женой. И всего-то учитель побыл только с Покрова. Начал школу в одной угловой комнате громадного здания казённого лазарета, и не понравились ему ни школа, ни люди, ни ученики. Ска-

зывают, строжился над всеми, кричал на сторожа — не умеет печек как следует вытопить, все печки дымят. Списался с каким-то дальним селом в горах, оставил школу без учителя и стал искать подводу. Зырянов указал на Митрия, дескать, есть пара подходящих лошадей. Справил Митрий дровни с отводинами, вроде кошевы, запряг Игреньку с Гнедчиком, поехал укладывать багаж учителя. Микола поехал с ним до лазарета помогать увязывать воз. Поверх зипунчика и тощего стёганого своего халатика надел Миколка на себя дедушкин старый сюртук, вбежал в тёплую комнату учителя: жена его вышла с папироской во рту, Микола долго рассматривал её одним глазом, а она долго смеялась над его нарядом. Понёс Микола из комнаты узлы и кожаный сундучок, чемоданом называл его учитель. Всё вынесли из комнаты, осталась только икона, почему-то завешенная цветной тряпкой вроде полушалка. Вошёл и Митрий, когда учитель с женой в тёплых шубах уже сидели в кошеве, обложенные узлами и подушками, оглядел всё кругом, взял с подоконника две коробки из-под табаку, красивые коробочки, жалко было бросить. Сунул их в руку Миколке и сказал:

— Унеси домой. Одну дай Оничке, другую Егорке. — И ещё повторил наказ по хозяйству: — В большой мороз скот гоняй на водопой только один раз, перед вечером. Если нет бурана, днём держи их в пригоне. Разбрасывай соломки, а на ночь во дворе давай всем сена вдоволь.

Одет был Митрий в новую овчинную шубу, дешёвенькую, но белую, как мука, и как будто мукой белёную, купил её у киргиз, отдал два мешка пшеницы. Поверх шубы была натянута сермяга, на ногах старые валенки с кожаными подошвами. На голове шапка из того самого зайца, которого как-то привёз с охоты с Вялковым Микола. На Миколке была шапка из другого зайца. Рукавицы на обоих одинаковые: варежки из своей овечьей шерсти, Елена сама вечерами успела связать, а поверх варежек — желтоватой лосины рукавицы, мягкие, крепкие, купил Митрий у Зырянова. Учителя нанялся везти за двенадцать рублей в ту самую деревню рудовозов, где летом были с Егоркой у богатых староверов. Задатком получил три рубля на срочные расходы, а девять получит на месте. У Митрия была большая опять победа: двенадцать целковых в лежачее зимнее время — да это почти что лошадь можно купить, а потом же увидит он опять своих дружков по дороге. Лошадки на овсе подправлены так, что, когда он покатил от здания лазарета, Миколка видел, как лошадки бойко заиграли в запряжке. Пар из ноздрей и снежная пыль позади кошевы смешались в одну дымку, которая крутилась и медленно таяла вдали мимо Крещенской Горки.

Миколка получше рассмотрел коробочки из-под табаку, сунул их за пазуху, вбежал ещё раз в опустевшую школу, в которую вошёл сторож и стал сдвигать ученические скамьи и учительский стол в один угол. Микола побежал домой, благо, с горки, мороз подгонял, хотелось на бегу согреться. Дедушкин сюртук висел на нём чёрно-зелёным мешком. Он знал, что жена учителя над его одежей посмеялась. Зато и он невзлюбил ни учителя, ни его жену. Никогда бы не пошёл к ним в школу учиться. Пусть других дураков найдут учиться в этой школе. «Тоже учительша — курит, а Бога тряпкой завесила!» Прогонят их староверы.

Солнце слепило глаза: так ослепляюще бел был снег кругом. А мороз пронизывал через сукно сюртука и тонкий халатик под ним. Но новые сапоги, войлочные чулки, заячья шапка и тёплые рукавицы делали Миколу мужиком, а мужик на морозе никогда не должен замёрзнуть, лишь бы не стоял и не сидел на месте. А стоять нет времени. Первое дело из наказа отца — надо закончить перевозку сена из-за Убы. Вместе с отцом распочали стог, оставлять его нельзя: пойдёт новый снег, завалит, не найдёшь, и надо опять разгрести, да и дорогу к стогу протаптывать. А на одной лошади, без отца, — это только наплачешься.

Забежал в избу. Видит: мать выставляет из печки корчаги. Вдоль печки на скамье лежит уже желобок, вчера Микола ходил за ним к Касьяновым. У тех всё есть, всё можно взять на время, а всё-таки неловко было Миколе ждать, пока Мавра Спиридоновна думала, дать или не дать. Но как не дашь? Какие ни на есть — соседи. Елена ещё с вечера поставила в печку шесть корчаг для сула. Теперь она их выставляла, горячие, пахнувшие солодом, замазанные сверху ржаным тестом. Поставила в ряд на желобок. Под один конец желоба, который был немножко ниже другого конца, подставила начисто вымытую деревянную квашню. Егорка с печки свесил голову в нетерпеливом ожидании. Оничка ждала знака матери начать вынимать деревянные затычки из дырочек, проделанных в нижней части корчаг. Деревянные затычки были обёрнуты куделей и замазаны тестом, немножко обгорели. Фенька и Андрюшка сидели на кровати, укутанные одеялом, смотрели широко открытыми глазами на мать, на Оничку, на ряд чёрных пузатых корчаг. Микола бросил Егорке на печь одну из коробочек из школы, другою повёл перед носом Онички:

— Это тебе от тятеньки гостинчик, — сказал он, но не сводил глаз с матери.

Оничка и Егорка так напряжённо ждали, когда вынуты затычки из корчаг, и верили и не верили, что по желобку по-

бежит в квашню сусло. Никогда мать своего сусла не делала, но Егорка знает его сладость. Как мёд. Он ел его у рудовозов, в прошлый Петропавловский пост. Но вот Елена перекрестилась, улыбнулась и сказала Оничке:

— Ну, вынимай! Одну сперва, из дальней корчаги.

С трудом вынулась затычка. Крепко сидела, и кончик трудно было захватить: он обгорел почти до кудельки. Густая, душистая, горячая влага побежала струйкой. Докатилась до конца жёлоба, тоненьким коричневым шнурочком ударилась в дно квашни. Лицо Елены расцвело, когда она взяла на палец капельку сусла и лизнула языком.

— Открывай другую! — скомандовала она Оничке.

Оничка уже была готова вынуть вторую, крепко, без ошибки уцепилась пальчиками в затычку, а когда вынула, облизала кончик затычки, обмотанный куделькой, и тоже расцвела в улыбке.

— Сладкое! — воскликнула она.

Струйка увеличилась и уже загудела в пустоте квашни ласковым журчаньем.

— Третью! — весело звучал голос Елены. — Слава Тебе, Господи, сусло удалось, а я-то боялась. Солод-то у меня в сенях отсырел. Впервые сама солод делала.

Микола бросился было к кухонному шкапчику. (Кухни в избе не было, но место, где хозяйка стряпает, называется куть.) Схватил чашку, поставил под струю, но мать решительно отстранила его руку.

— Нельзя! Чутьочку попробуй, а пить нельзя. С горячего сусла понос может случиться. Открой, Оничка, остальные! Миколушка, неси дров. Надо воду кипятить!

Сусло загудело в квашне потоком. Оничка подхватывала его из ручейка на пальчик и лизала, облизывалась и опять пальчиком в рот. Потом она увидела в свободной руке сунутую ей коробочку, всмотрелась в неё, открыла, понюхала внутри. Егорка вспомнил и о своей коробочке. Отвёл глаза от сусла, тоже открыл коробочку, понюхал, как это сделала Оничка, сел поплотнее на печке и засмотрелся на узоры на бумажной крышечке. Там был рисунок: красивые высокие ворота, в которые входят верблюды, много верблюдов, на них едут какие-то люди в золотых одеждах, а позади них, на верблюдах, ящики, такие точно, как вся эта коробочка, и что-то написано внизу во всю длину коробочки. Он догадался: надо спросить у мамы. Подал коробочку матери.

— Мама, прочитай. Что тут написано?

Матери было некогда, и руки у неё в сусле. Она потянулась к коробочке, удивилась, откуда коробка. Микола как раз вошёл с дровами. Она спросила его:

— Это ты дал ему коробочку?

— Ему и Оничке, — поправил Микола. — Тятенька из школы, от учителя прислал.

Елена даже руки вытерла о фартук, чтобы взять и лучше рассмотреть чудесную коробочку. Прочла на крышке:

— «Высший сорт. Богдыхан».

Открыла, увидела остатки рыжих волокон табаку. И тоже понюхала. Сказала:

— Ароматный. Ну вот, — сказала она Егорке, — береги коробочку, не запачкай.

Оничка отнесла свою коробочку в кукольный уголок, сразу спрятала, и стала наливать из ведра воду в большой чугунок. Елена подожгла дрова, подхватила ухватом чугунок, подвинула ближе к огню и увидела, что квашня почти наполнилась суслом. Достала с верхней полки на шкапу гончарную миску, отлила в неё часть сусла из квашни, но сусло быстро снова набегало. Другой большой посуды не было. Надо было наполнять горшки и крынки. А сусло всё ещё идёт, такое же густое, сладкое, не ждала Елена, что столько набегит. Ведь в корчаги она наложила ржаное месиво с солодом — ну не больше как на два ведра. Ведь каждая корчага выложена изнутри жгутами из соломы, больше половины места взяла эта соломенная обкладка корчажных стенок.

Откуда же берётся сусло? Это значит, запечатанный сверху ржаным тестом пар не испарялся, а уходил обратно в корчаги и там превращался в сусло. Знали древние славяне, как использовать дар Божий! От них и сусло, от них пришёл и саломат. Вот вытечет всё сусло, Елена наполнит кипятком корчаги, постоят немного с затычками, откроет, и потечёт теперь уже густой квас. А после густого кваса так же она наполнит кипятком корчаги, и побегит обыкновенный квас, тот самый, который делается, если хмелем заправить, крепким, хмельным пивом. Но пиво может одурманить человека, как одурманивает и табак, хоть и высшего сорта, «Богдыхан», — слава Богу, в доме нет табашников, — а сусло и густой квас — это даже не напитки, это благородное кушанье, сладкое, питательное, не стыдно и гостям на празднике подать. А если сварить его с ягодами, да разных сортов — боярская еда. Радовалась Елена: на весь пост будет у них и квас двух сортов, и сусло, ребятам в празднички побаловаться.

— Нет, за сеном сегодня не поедешь, — сказала Николаю мать. — За сеном поедешь завтра, пораньше. А сегодня помоги нам с Оничкой с этим делом справиться. Беги к тётке Касьянихе. Скажи, мама в ножки кланяется, просит ещё кадку, квас густой некуда из корчаг выцедить. Простой-то квас и в корчаги выцедим, одна после другой освободятся. Часть

суслица остудим, скипячу с сушёною клубникой — на обед с хлебом будет всем на здоровье.

Разогрелась печка. Кипела работа в избе, но и на дворе надо скотину не забывать. Выгнал Миколка из двора лошадей и коров, из-под копыт их мимо окошек послышался хруст и скрип с визгом. Настывает день. Окошки заволокло инеем, ничего не видно. К вечеру распорядилась Елена переловить куриц.

Некоторые из них пытались взлететь на седло под повестью, а не могли. Падают на землю, как подстреленные. Ловили трое: мать, Микола и Оничка. Таскали и сажали под печку, заранее Митрием загороженную доской с дырками, чтобы было куда курам просовывать головы. У нескольких кур помёт к хвостам примёрз. А ночью учуяла спросонья Елена: овечка как-то необычно мемекает. Вышла — так и есть. Двойничков родила. Хорошенькие, кучерявые и ещё мокрые. Слава Богу, вовремя вышла! И овечку с ягнятами ввели в избу. Нанесли свежего сена. Утром, при солнышке, оба ягнёнка уже прыгали возле матери. Господи, как всё премудро устроил еси!

Опять начался день, требующий движений быстрых и положенных на всякий час, на всякую минуту. Микола наскоро напился горячего чая, без молока, без сахара, но с хлебом, а на хлебец посыпал соли и наложил солёного чесноку. Вкусно и сытно. Вчера наелись сусла досыта. Жаловаться нечего. Запряг Булануху. Жеребёнка оставил во дворе. Нечего за матерью всё время гоняться. И далеко за Убу за сеном ехать. Уложил на дровни малые копённые вилы, взял железную лопату — может быть, где надо будет снег откапывать. Привязал верёвкой вместе с вилами и лопатой «бастрык» — гладкую, крепкую жёрдочку, в длину дровней, чтобы побольше сена на дровни наложить и сверху придавить и притянуть «бастрыком». К передку дровней привязывается петля, в неё всовывается один конец «бастрыка», а сзади к одному копылу — верёвкой через «бастрык», к другому копылу — тяжестью тела, подпоясавшись, надавишь вниз, всё туже и туже — воз не растрясётся, не повалится. Всё это от отца узнал Микола, и есть над чем подумать, есть на чём согреться. А замёрз — слезай с воза, прячься от ветра или бурана за воз: Булануха сама дорогу домой знает.

Это вам не русская сиротская зима. Это сибирская зима, где вырастают тысячи Микул-героев, закалённых с детства северо-восточных, крепких россиян.

Вот так жили, так каждый день — борьба, проворные движения, каждому порученье что-то сделать. Оничка носит воду с дальнего ключа на коромысле. Гнёт её ветер, румянит щёки, щиплет носик. Валенки с материнских ног для всех од-

ни: для матери, для Егорки — выбежать по нужде во двор, и даже для Феньки. Большая уже — для нужды в избе садиться. Протоптали кони всего села торную дорожку к колодцу, что для всех зимою служит водопоем, вблизи одной из рощ. Ходит на журавле большое общественное ведро, выливается вода в большое корыто, выдолбленное из большого тополя. Так поят коров и лошадей.

Три дня прошло с отъезда Митрия. На четвёртую ночь опять разразилась снежная буря, замела, запечатала дворы. Бились мужики и бабы, выгребаясь из своих жилищ. Хорошо, что есть запас сена и муки в доме. Хорошо, что в самый трескучий мороз можно скот не гонять на водопой: могут похватать и снега. Но в избах душно. Тут и куры, и ягнята, а у многих и маленькие телята живут. И у Митрия будут. Куда их, как не под кровать? На пятый день сердце Елены наполнилось тревогой. Если весной до деревни рудовозов съездил в четыре дня да ещё гостил у Воробьёвых, то почему теперь, когда и торговать нечем, и на санях путь легче — почему вот уже пять суток, а Митрия нет как нет?

И долго с жировиком сидит ночью жена и мать, шьёт и думает, и вдруг начнёт утешать себя песней:

Отчего же, мама, ты опять не спишь?
И вечер всё пряла, и теперь сидишь?

В глазах зарябит-зарябит, и голос дрогнет. Мысли беспокойные рисуют страшную картину:

Ах, мой ненаглядный, прясть-то нет уж сил.
Всё-то мне так грустно, Божий свет не мил.

Ну не пять недель, а только пять дней прошло, а всё-таки из песни слова не выкинешь, а песня ранит сердце каким-то предчувствием:

Пятая неделя уж к концу идёт,
А отец не едет, весточки не шлёт.
И Господь помилуй, если с мужиком
Грех какой случится на пути большом.
И льются слёзы помимо воли, вопреки надеждам.
Дело моё бабье, как тогда мне быть?
Кто нас, горьких, станет одевать-кормить?

— И откуда ты, мамынька, знаешь столько песен? — робко спросила Оничка и тоже вытерла пальчиками слёзы. Она это запомнит, над своими куклами будет так же петь и плакать.

Вот неделя прошла, а Митрия нету. С утра до вечера Микола борется с сугробами снега. Прокопал дорогу из двора в пригоны, навалил против избы сугроб, через который уже не видно домов через улицу. А мороз опять усилился, запасы дров поубавились. На скоте прибавилась, запушилась шерсть. На снежные маски из ноздрей струится стрелообразный отработанный пар. У Елены накопилась стирка. Наносили в избу снегу. Оничка носит воду с дальнего ключа только для питья и пищи. На мытьё и стирку они растаивают снег. Но на речку Оничка должна ходить почти что каждый день. Дорожка на дальний ключ хоть и кривая, но уже протоптана взрослыми, по ней легко тащить большие валенки с материнских ног. Легко, когда она идёт туда с пустыми вёдрами. Но когда надо идти обратно с вёдрами, наполненными водой, валенки скользят, вёдра на коромысле качаются, вода из них расплёскивается, и Оничка с трудом доносит половину воды, и та в вёдрах застывает. Воду надо экономить даже и снеговую, потому что из полного ведра снега натаивается не больше четверти ведра. Вот почему и сама стирка производится редко, грязного белья накапливается много, и когда Елена разводит стирку, в избе стоит пар, пол мокрый и скользкий. Горячей воды не хватает. А дети кричат да ссорятся. Даже между Оничкой и Миколой произошла настоящая драка из-за дедушкиного сюртука, который они называют «сертук», а не «сюртук». Оничка не может идти по воду в одной своей фланелевой кофточке, а Миколу надо ехать на пашню, на гумно, за соломой. Во дворе слишком много настыло-намёрзло конского и коровьего помёта, в мороз его невозможно вычистить. Надо всё делать с топором, подрубить каждую «глызину», чтобы застылый помёт сгрести в сторону. Поэтому нужно больше соломы, чтобы подстилать, чтобы скотина могла лечь и отдохнуть. Это важнее всякой воды и всякой стирки. Микола тоже не может ехать в мороз за три версты в одной сермяжке. Кроме того, тятенька ему отдал сюртук. Но не успела мать остановить спор, Оничка рванула из рук Миколы сюртук, а Микола с силой упёрся в скользкий пол, не хотел отдать одежины, сюртук и разорвался как раз пополам, на две части. И заплакали все, всей избою. Дети от крика и ссоры, мать от горя: ведь и в самом деле не в чем будет ни тому, ни другой даже выйти на работу. А Елена как раз наготовила мокрого белья: рубах, штанов и всякой пёстрой всячины, выжала их, как могла, для того чтобы Микола и Оничка понесли всю «стирку» на палке на пруд, в проруби прополоскать. В избе уж вовсе на это не хватит никакой воды. И вот тебе, извольте, разорвали сюртук, такую тёплую суконную одежину, такую нужную, когда и отца в доме нету.

Села Елена у печки на скамью, разрыдалась, больше от нервного напряжения, а дети ревут, все ревут хором, и никто не знает, как помочь делу.

И в это самое время перед окном мелькнула и остановилась тень, и послышался скрип полозьев и лошадиных копыт. А главное — ласковый, малиновый звон «шеркунцов».

— Тятенька приехал! — крикнул Микола, выбежал, пряча по дороге слёзы в рукавичку. Елена бросилась было к дверям, но остановилась, потом метнулась по избе. Мокро на полу, мыльная пена набрызгана на стенке печки, корыто полно помоев, бельё со скамьи свалилось кучей на пол. Ну всё равно увидит, что стирка. «Слава Богу, что вернулся наконец. Вишь — шеркунцы купил!». Опустила руки — всё равно невозможно навести порядок. Только крикнула придушенным, хриплым от раздраженья голосом:

— Замолчите вы, вытрите носы!.. Лезьте на печку, на полати. Живо!..

В это время двери отворились, в избу вместе с человеком быстро вкатился белый густой пар, не видно, кто вошёл, только по ногам — не Митрий. Очень непростые, глубокие опойковые калоши и шуба енотовая. Не успел пар в избе рассеяться и подняться, показать голову гостя, вошёл Микола. Впустил новое облако пара, пар закутал опять всего гостя. Елена быстро одёрнула высоко подтыканную рабочую юбочку. Догадка ударила её в сердце, как огнём обожгла. А вот и пар поднялся к потолку, человек рассматривает, снимает с головы жёлтый господский башлык, а башлык пристыл к енотовому воротнику шубы, к усам и к седым волосам вошедшего.

Первое, что бросилась сделать Елена, — толкнула босой ногою разорванный на две части и лежавший на полу сюртук. Пока был пар, подхватила, бросила его на полати. Потом отступила перед прошедшим вперёд человеком, а он, снявши меховую шапку, прошёл ближе, стал посредине избы и коротенько перекрестился на иконы. Елена так и захлебнулась одним только словом, в котором прозвучало всё её отчаянье и вся её нежданная, но такая несчастная радость, радость, поражённая испугом и стыдом и усилившимся страхом, — Митрия нет. Что-то с ним случилось? И всё-таки выдавила из себя, выдохнула это слово.

— Папенька! — бросилась на тёплую, в енотовой шубе, грудь Луки Спиридоныча и потом, отступивши от него, повалилась на скамейку без сил и воли, худая, в грязной, мокрой юбке, и не могла произнести больше ни слова. Только слышно было, что в горле что-то хлюпало и душило её. Такой же удушающий комок подступил к горлу нежданного гостя.

Хотя замёрз с дороги старик, он понял, что не вовремя приехал, не в урочный час вошёл в эту сырую, парную избу с запахом куриного помёта, с овечьими орешками на мокром сене. Увидел или не увидел через облако пара разорванный когда-то парадный его сюртук, в котором он венчался, подошёл к Елене, взял её за плечи, выправил из-под енотового воротника узенькую седенькую бородку, стряхнул с неё покотившиеся слезинки и сказал негромко, понимающе:

— А ты не плачь!.. Не плачь, Еленушка! Ты пока приберись, успокойся. Самоварчик поставь, старика с дороги согреть чайком. А я сейчас к Зырянову заеду, деткам твоим гостинчиков куплю. Ничего... Не плачь... Я сейчас вернусь.

И не стал ни о чём спрашивать, не рассмотрел внучат, не поднял глаза на печку, где сидел Егорка с котёнком в руках, не оглянулся даже на Елену, не видел, а может быть, и видел, да не хотел показать виду, что видел, заплаканные глаза девочек, сидевших на кровати в виноватой тишине. Просто надел шапку на вставшие дыбом на голове редкие седые волосы, откинул назад развязанный башлык и вышел. Видно было, что выходит на короткое время. Потом всё увидит, расспросит, всех внучат рассмотрит и перецелует. Молча вышел. Миколка вышел следом. Дедушка сел в саночки, взял в руки вожжи, взглянул на Миколу, сказал ему:

— Ну, я сейчас вернусь! Скажи матери, пусть не спешит с самоваром, я только к Зырянову заеду, куплю вам всем гостинчиков.

Пара вороных, в пене под инеем, закрипела копытами по снегу. Шеркунцы далёкой сказочкой зазвенели, и растаял их звук за снежным скрипом фигуристых саночек.

Егорка слез с печи, подбежал к окошку, пролизал на стекле дырку в инее, что залепил окошко, и узнал сани: это те самые, что стояли в каретнике под рогожей в Чудаке. Значит, это и есть сам дедушка.

В избе началась суета. Все спешили всё прибрать, почистить. Даже самовар был нечищеным, позеленел от сырости. Почистили и самовар золой из печки.

— Миколушка! — сказала мать. — Бери всё это мокрое бельё. Неси на улицу, развешивай на прясло в пригоне. Полоскать уж некогда. Мороз и так подбелит. Оничка, выставь корыто в сени. Овечку выведите во двор. Пусть там побудет. Ягнятки без неё пусть поживут в избе. Потом, когда проголодаются, впустим её. Да сена свежего на пол принеси, Микола. Оничка, надень на Феньку чистенькое платьице. И Егорке достань свежую рубашку. Там есть ещё одна, от рудовозов. И все сидите смиренно. Когда дедушка приедет, чтобы никто не пик-

нул. Принеси, Оничка, снегу, пусть снегом мордочки помоют. Воды-то на самовар, дай Бог, хватило бы!

Егорка уже сам достал через отдушину с повети горсточку снегу и тёр себе под носом и опять доставал одной рукой, чтобы сделать пригоршни и мыть лицо двумя руками. Это он умел. Даже может снегом вместо воды напиться.

Всё было готово. Время проходило уже не так быстро, а дедушка не возвращается. Уже и самовар устал шуметь на столе. Стол был накрыт чистой скатертью, чашки и блюда, и сахарница, покрытая опрокинутой стеклянной крышечкой так, чтобы несколько кусочков сахара, последнее, что было в доме, показывали, что сахарница полная, — всё стояло на столе.

И мёду баночка, и отдельно, в кути на лавке, приготовлено сусло, если дедушка пожелает. А если не постничает, то и яички есть в опилках. Есть и пяточки на божнице, надо бы послать Миколу купить шкалик, да за шкаликом для такого дорогого гостя посылать стыдно. А хорошей наливки не осталось. Сама Елена прибралась, надела чистое тёмное платье и синий фартук. Волосы заправила под косыночку, оставила височки. Всё было готово для гостя дорогого. Но не ехал дедушка.

Оничка выбежала, смотрела в сторону дома Зыряновых — ничего из-за сугробов не видно. Потом Егорка выбежал бо-сой, поплясал на жгучем снегу на ступеньках. Нету дедушки.

Солнце покраснело на закате. В доме все проголодались.

Сунула малым горячего молока. Большим налила по чашке сусла, дала по куску ржаного хлеба. Заморили червячка. Темно уже. А дедушки нету.

И вечером не приехал. Не показался и наутро. Уж даже и дети ждали не обещанных гостинцев, а только дедушку, взглянуть бы на него как следует, услышать бы, как он говорит, увидеть бы, очень ли он стар или молодец-молодцом — в мороз, на саночках, на паре вороных, в енотовой тёплой шубе и в жёлтом красивом башлыке, прикатил, как сокол. Не приехал дедушка и днём до обеда. В обед решила Елена послать Миколку к Зыряновым: был ли у них дедушка? Не случилось ли чего?

Вошёл Микола не в дом, а в лавку. В дом могли и не пустить. Спросил Григория Евстафьевича еле слышно, чтобы стоявшие в лавке покупатели не слышали:

— У вас наш дедушка?

Зырянов сразу не признал Миколку. Заячья его шапка была новостью для памятливого торговца. Миколка скинул шапку, чтобы быть почтительнее — это уж природа от отца, всегда со всеми вести себя меньшим. Услыхал Зырянов Ми-

колку только при повторном вопросе, склонился к нему и ответил, даже с ласковой улыбочкой:

— Как же, как же, милый сын, у нас Лука Спиридоныч. Иди-тко, иди, повидайся с дедушкой! — И протолкнул внутрь дома Миколку через коридорчик. Сидел дедушка за столом, заставленным всякой всячиной. Жена Зырянова угощала его из кипящего самовара чаем. Сидел дедушка, попивал винцо и всхлипывал. И увидел он через стенное зеркало позади себя Миколку, узнал его по шапке, подозвал, обнял и стал на него проливать настоящие, солёные, с запахом вина, слёзы. Говорил же он Зырянихе Домне Ивановне:

— Вот это мой внучек! Старшенький? — спросил он у Миколки и сам же ответил: — Самый старшенький от старшего сына моего, Митеньки... А у Василия, заехал, изба заколочена... А у Митеньки!.. — Тут дедушка захлебнулся и долго всматривался в покрасневшее на морозе, а может быть, и от волнения лицо Миколы, даже пощупал шрам над глазом и ничего не сказал, только покачал головой, закрыл лицо белой тонкою рукою и стал всхлипывать.

Домна Ивановна стала его утешать:

— Да ничего худого не случилось! Ну уехал Василий в город. Слыхали, в пожарные поступил, на жалованье. А у Митрия нынче и хлеб, и сено есть, и даже вот уехал на своих лошадах, пассажиров нашёл.

Не очень был пьян дедушка, но то и дело всхлипывал и говорил:

— А я приехал, Домна Ивановна, на своих, на вороненьких, с бубенцами да в енотах, покрасоваться, богатством своим похвастаться, да прямо в этот вертеп нужды и горя! Ну не сукин ли я сын? Ну не подлец ли, старый пёс?

И прижимал к себе Миколу, не пускал его, а Миколке стало уже жаль деда, старенького, пьяненького, и хотелось поскорее вырваться и убежать домой, чтобы и там пожалели дедушку. Затих Лука Спиридоныч. Выпил он немного, а уже его расслабило. Задремал. Рука опустилась на ручку кресла, в котором сидел. Микола потихоньку отступил, надел шапку, вышел через тот же коридорчик в лавочку, а оттуда проскользнул меж покупателей и, не взглянувши на купца Зырянова, ушёл. Домой прибежал с одышкой, рассказал не по порядку, как умел, и сердито потребовал от матери:

— Дай, мама, что-нибудь поесть! Мне надо за соломой опять ехать...

Уже под вечер на второй день подкатили к Митриевой избе дедушкины воронье. Он был трезв и ласков, и спокоен. Но не выразил желанья остаться на чай, даже не разделся, посидел в шубе, с башлыком за плечами. Грустными глазами

огляделся, подозвал поочерёдно всех внучат, поговорил с каждым, погладил по голове Егорку и даже наказал Елене:

— А этого ты в школу отдай! Этот в меня, лопаносый! — И встал, невысокий, но прямой и розовый, глаза из-под густых бровей посмотрели на Елену ласково: — Ну со все Бог! — Широко улыбнулся и прибавил: — Выпиваю я, Еленушка, не часто, и больше с радости, а на этот раз у Зыряновых выпил с горя. Ну прости, Христа ради. Не гневайся. — И уехал.

Уехал он из села не сразу, а заехал к дочери своей, Катерине. Катерина пришла к Елене только на второй день после отъезда дедушки. Елена и вся её семья ещё не пришли в себя от обиды и растерянности в догадках: почему дедушка, пробывши в селе Николаевском более двух суток, не посетил их как полагалось, не остался даже чаю попить и поговорить с Еленой? Дети же Елены больше всего опечалились тем, что дедушка сам обещал купить им гостинцев, а потом либо забыл, либо решил, что малыми подарками большой нужды не поправишь.

Катерина всё разъяснила так, как и сама Елена поняла из бессвязного и поспешного рассказа Миколки.

— Да у меня же есть чистая комната! — жаловалась Катерина. — Правда, я живу с Любашкой в стряпчей избе, а горницу зимой не отапливаю, так у меня есть дрова, я в одночасье могу затопить «голландку». Уговаривала его остаться ночевать — не захотел. Расплакался, покаялся: зашёл, говорит, в лавку к Зыряновым. Те его узнали, никак не отпустили, упростили хоть бы обогреться с дороги. А к чаю подали водочки. Выпил, развезло его. Устал с дороги, задремал сразу же. Его уложили спать, он и проспал до утра. И лошадей его ввели в крытый двор, работник распряг, накормил, напоил, овса задал. А наутро спозаранку опять его угостили вином. Так и загулял. А потом, говорят, увидел Миколку, сердце заболело обо всех, и опять подвыпил. Запоем он не пьёт, а вот так выпьет и начнёт каждый день опохмеляться, другой раз целую неделю. Сказал, что приезжал со всеми попрощаться. Приехал в Чудак неделю назад, дом успел продать за бесценок и всю семью увозит в Риддерск.

— А у меня другое горе: Митрий-то вот уж вторую неделю как уехал. Я не знаю, что и подумать, — пожаловалась Елена.

— Ах, да ничего с ним не случится! — уверенно сказала Катерина. — Отвёз одних, наверное, нашёл ещё куда-нибудь новых пассажиров.

Так оно и было. Только что ушла Катерина, под потёмочки заскрипели полозья у крыльца. Только Митрий с трудом вышел из дровней-кошёвки. Со стоном, еле передвигая ноги, вошёл в избу и молча дал понять, чтобы помогли ему раздеться.

На печку его пришлось подсаживать. Несколько лет тому назад, при ходьбе в Сугатовский рудник, отморозил пальцы на ногах, которые и без того были растравлены купоросной водою в шахте. Теперь те же пальцы распухли так, что валенки с трудом и болью дал снимать. Охал и дрожал. Никто ни о чём его не смел спрашивать, и он ничем не интересовался. Только и сказал:

— Кожу из саней вынесите.

Микола уже распряг лошадей, ввёл их в тепло двора, покрыл обоих одним старым пологом. А из дровней, кроме кожи, стал выносить какие-то узлы, «полштуки» «киргизина» (коричневая ткань на штаны или на другую верхнюю одежду), в твёрдой синей бумаге полголовки сахару, деревянный ящичек с мелочами, полмешка проса, а самое важное для глаза Миколы — на самом дне, под сеном, покрытые новой рогожей, лежали две бараньих туши. Небольшие, вытянутые в струнку, без голов, но белые от застывшего жира. Не с удовольствием, а сердито выносил всё это в сени Микола. Ворчал:

— Вот навёз опять добра, а сам свалился!

Только на второй день, когда немного пришёл в себя, но всё ещё в горячке, рассказал Митрий:

— У рудовозов, дай им Бог здоровья, отсиделся в самые непролазные заносы. Опять надавали кое-чего. Потом решил проехать в Змеёво, давно дядю с тёткой не видал. Старик такой же кряж дубовый. Без него тётка просто бы замаялась. Семья у неё большая, муж давно умер, дети — кто куда, и всё несут из дома, а не в дом. Оттуда приключился случай до Колывани, на Алее, солдатку с двумя малыши детьми везти. Думаю, дома всё равно на печке пролежу. Повёз за пять рублей. Далеконько в сторону. А из Колывани опять же до Змеёва нашёл пассажира. Зять у него в Змеёво в приказчиках служит. Ну, мне почти что по дороге домой, крюк совсем небольшой. Вот и ещё трёшница. Накупил кое-чего. С праздником будете.

— А кожа, тятя? Кожа одна, поди, рублей десять стоит? — спросил Николай.

— Да, да, кожа! — согласился Митрий. — Кожа не моя. Кожу по дороге нашёл...

Все замолчали. Елена спросила:

— Кожа с печатью. Дорогая кожа.

— Знаю, что с печатью, — вздохнул Митрий. — Придётся писаря Лапшина спросить насчёт кожи. — И опять все долго молчали. И в молчании этом как бы пронёсся страх и соблазн: объявлять о находке или можно из кожи всей семье сапог нашить?

— Нет, сапожник не поверит, что такую кожу для себя купил, — сказал Митрий с новым глубоким вздохом.

А Елена в это время рассказала Митрию о приезде дедушки. Митрий выслушал и ничего не сказал. Только после долгого всеобщего молчания решил твёрдо:

— Отнеси, Елена, кожу сама к старосте. Лапшин знает, что и как поступить.

Писарь Лапшин, конечно, знал, что делать. Он написал в волостное правление, а оттуда пошла бумага по сельским старостам. Через неделю, когда Митрий всё ещё лежал на печке, у его избы слезли с добрых осёдланных коней два мужика. Оба пожилые, одетые в тёплые, хорошие шубы-барнаулки — значит, не белёные мукой и не из дешёвой козчины, а чернёные, из настоящих овечьих шкур. Вошли в избу, степенно помолились на иконы, поклонились хозяйке, нашли глазами на печке хозяина; степенно, поясным поклоном и ему поклонились; оглядели избу, детей, погладили красивые полуседые бороды. Были они похожи друг на друга, как родные братья. Не сразу заговорили, зачем пожаловали. Так иногда приезжают незнакомые люди и издали заводят разговор, чтобы разогреть сердца хозяев и начать говорить «дело» — сватовство невесты. Но у Митрия невесты были ещё малы, и такие богатые сваты к нему не придут. Понял Митрий, что приехали они от старосты. Кожа была уже приторочена к одному из сёдел, хотя Митрию этого через тусклые заснеженные окошки не было видно, а Миколка был уже на улице и увидел кожу, ту самую.

— Ну, кожу мы нашли, — дошли, наконец, до точки степенные гости. Во всём их обличье, в манере говорить, в одежде было то же, что Митрий знал по рудовозам. Не наш брат, мелкота да беднота, а люди, видать, крестьяне первородные. — И вот приехали по-Божьему с тобой поговорить, — продолжал один из них. — По судам тебя решили не таскать...

Митрий приподнялся на локте, посунулся с печки и с обидой перебил почтенного:

— Как так по судам? Я вашу кожу не воровал, я нашёл её на дороге. Да ещё из-за этой кожи ноги свои в снегу промочил. Её так занесло снегом в стороне от дороги, я сперва и не заметил. Только когда оглянулся, вижу: торчит что-то из-под снега. А лошади меня уже пронесли. Завернуть на узенькой дороге было трудно. Вернулся я пешком, лопаты нет, откапывал руками... Потому что снег со льдом... Промочил ноги, в валенки снег насыпался, а высушиться было негде. Вот и отморозил ноги. А вы: «по судам»... Побойтесь Бога!.. — Голос Митрия сорвался, как в слезах. Он повалился на спину... Лихорадка трясла его, зуб на зуб не попадал. Не столько от простуды, сколько от обиды.

Второй из почтенных гостей, видимо, постарше первого, в свою очередь, погладил свою длинную, лопатой, бороду и подал знак первому, что теперь он скажет слово:

— Не гневайся, мил-человек, мы судить тебя не собираемся. Мы видим твою нужду и хотим дело это кончить по-Божьему. А вина твоя, мил-человек, в том, что ты увёз кожу в такую далёкую местность, нам пришлось за нею ехать из-под Змеёва, а ты в Змеёво её не объявил.

Митрий, казалось, даже уже и не слушал говорившего. Выступила вперёд, на середину избы, Елена. Валенки её были так же стары и растоптанны, как и лежавшие возле печки валенки Митрия. Но голос Елены прозвучал по-мужски, низко и твёрдо:

— Кожу вашу на другой же день я сама отнесла здешнему старосте. А мой муж, сами видите, приехал простуженный, ноги отморожены. Бог видит: кожу вашу мы скрывать не хотели.

Митрий снова приподнялся на локтях. Голос его окреп:

— Кожу вашу я нашёл, может, в пятнадцати верстах от Змеёва. Должен я был возвращаться в Змеёво и искать её хозяев?

Вы сами видите, у меня все дети раздеты-разуты, а никогда за чужую щечку не запнулся. А другой на моём месте, да ежели знатьё, что вы такие люди, никому бы не сказал и не показал, а спрятал бы и обул бы своих босых детей...

— Ну мы же и не спорим, мил человек. Напротив того, — мягче заговорил первый гость. — Напротив того, мы вот приехали сказать, что кожу мы получили, а тебя прощаем... И вот даже на нужду твою, деткам к праздничку, готовы дар оставить. — Он вынул из-под полы шубы, из бокового кармана тёплой куртки, стопку пятак и положил её на стол.

В избе наступило мёртвое молчанье. Положенье было щекотливое: Елене захотелось эти пятаки швырнуть под ноги «гостям», а у Миколки загорелось любопытство, сколько они оставляют. Митрий с печки не мог видеть и не хотел. Но не хотел и спорить, он уж и так напуган — с богатым не судись. Доказывай, что не украл. А так — судить не будут, и то слава Богу. Пусть только дадут ему хоть похворать у себя без обиды.

Уехали почтенные, «первородные» крестьяне. Миколка выбежал им вслед. Красная, крепкая, не конская, а бычачья кожа, свёрнутая большою трубкой, торчала за седлом одного из всадников, как колчан богатыря, как это видел Микола на одной из картинок в материных книжках.

В избе никто до глубокой темноты не мог ни о чём говорить. Митрий тяжело дышал. Молчал и крепил сердце.

X

Свадебный пир.

Митрий Лукич — тысяцкий

Весь Филиппов пост в эту зиму был особенно многоснежным и морозным. Снега хрустели и скрипели под сапогами и копытами и под полозьями саней. Сильней всего рассвирепел мороз перед Рождеством, ломился в избы и дома с треском и стучал железным кулаком устрашающе и властно.

Митрий встал с одра болезни за неделю до Рождества, но всё же долго быть на морозе не мог, ноги его начинали ныть и гнали его в избу. Вся тяжесть по хозяйству свалилась на плечи Микулы и Онички. Елена прихварывала. Определилось, что она ещё в страду «повредилась», а после недавней возни с тяжёлыми корчагами для сусла вся её беременность сошла на нет.

На долю Егорки выпала особая обязанность — помогать матери в избе, нянчить Андрюшку, вынести помои, внести муки или крупы из сеней. На улицу он мог выбегать только по своей нужде. Босые ноги долго не могли выдержать даже на соломе во дворе, а снимать с матери и опять надевать её валенки он просто ленился и хотел быть быстрым молодцом даже и без обуви. Он же должен был следить за курами (под печкой), кормить их и наливать в длинное корытце воды, чистить из-под них помёт. Овечка сама привыкла ждать у входа в сени из двора своей очереди войти в избу и покормить ягнят. Но ягнятки были самой радостной забавой для всей семьи, в особенности Фенька с ними не могла расстаться, а Андрюшка заливался смехом с визгом от восторга, когда два чёрненьких чертёнка прыгали по сену, сражались друг с другом или начинали в один голос мелодично звать свою мать-овечку со двора. Но главная и важная обязанность Егорки тотчас после приезда отца из последнего его путешествия и незаслуженной обиды с кожей — это мазать гусиным салом отмороженные пальцы тятеньки и нежно, осторожно обматывать их чистой тряпочкой до следующей перевязки. Раньше, когда Митрий работал в шахтах в Сугатовске, эту должность — очистки ног отца от ядовитой грязи шахт и от купорося — исполнял Микола. Теперь Микола — главный в доме хозяин и управитель со скотиной. Ему редко удавалось быть в избе, и то лишь посушиться, выспаться и что-нибудь поесть. Тяжело было для всех, когда мать и отец были больными одновременно. Но не без добрых душ на свете. Бабушка Аксинья, слепая, под водительством своей внучки Варьки, приходила аккуратно каждый вечер, и если не могла ничем

помочь, то умела мягко, многословно рассказать о том, как сам Иисус Христос терпел и нам велел. Руки у неё были мягкие, и когда она «правила живот» Елене, та спокойно засыпала под её воркованье, а Аксинья гнала домой Варьку и наказывала своей снохе прислать ей в избу Митрия весь ужин для себя и для Варьки. Но на деле же подходила с миской к печке и стоя уговаривала Митрия «не брезговать» и поесть из рук старухи. Это только для здоровья, и при этом она читала про себя какие-то молитвы, и Митрий должен был слушаться и уверять, что больше он не хочет. Аксинья раздавала остатки Феньке либо Андрюшке, а когда было что, то и Егорке.

Бабушка Колотушкина давно сама болела, и зимой ей тоже не в чем было выйти. Аксинью же не держали дома ни бури, ни морозы, а все её больные и почитатели наделяли её печёным и варёным, и отдельно в дом её привозили что-нибудь потяжелее: пуд муки, замороженного молока, а иногда и целый окорок. У неё всегда было чем поделиться с беднотой, и все ей верили: она вылечит. Если не лекарствами и травами, так наговорами, а лучше — словом Божиим и молитвою.

Весь пост Егорка выдержал постную еду. Коровы стали давать совсем мало молока, но Феньке и Андрюшке много и не требовалось, однако кошке Егорка завидовал. Ей всегда плеснут в маленькую гончарную мисочку, а Егорке даже пенку — с кипячёного молока для Андрюшки — не дадут. Но вот осталось до Рождества меньше недели. Митрий сохранил-таки жизнь и бычку-двухлетке, и овечке; две купленные им бараньи туши обеспечивали почти весь праздник и часть мясоеда. А там, до Масленой недели, опять видно будет. Он прибодрился, старался не припадать на больные ноги, опять навёл порядок во дворе, в сенях, помог Миколе привезти ещё два лишних воза сена, даже у кого-то на селе выменял — на привезённое от рудовозов просо — три толстых чурки сухой сосны, напил с Миколой дров, наколот, сложил в поленицу. Для Елены это было просто праздником, так как все весенние дрова она уже сожгла, а сырые, осеннего запаса, мелкие дровишки в печи только шипели, а не варили, не пекли. И она к праздникам, после Аксиньиных «правил», почуяла себя бодрее. На детях эта перемена отразилась к лучшему, как солнышко весной на первых всходах хлеба. Было веселей ещё и от того, что будут жирные мясные щи, будут пироги-курники с начинкой и будут самые любимые для всех детей рождественские сладости — это сырчики. Егорка сам следил, как мать отваривала из накопленных крынок молока творог, как мешала его со сметаной и делала круглые большие колобки, укладывала их рядышком на длинную дощечку — десять. Он пересчитал всех в семье. Семеро, но Андрюшке же не дадут

целого сырчика. Значит, четыре в запасе. Во всяком случае, Егорке один целиком дадут. Мать вынесла все сырчики в сени, на мороз. Ох, он помнит, в прошлом году было только шесть, и маленькие, а эти большие, как шаньги, и десять!

В Сочельник, перед вечером, замела метелица. Егорка видел в окошко, как коровы, проходя мимо избы из открытого пригона в тёплый двор, мотали головами, стряхивая снег и загибая шеи вбок от бури. Оничка вышла с подойником доить. Егорка считал часы. Вот будет ночь, и в полночь зазвонят к утрени. Тятенька и Микола ещё в потёмках почистили свои сапоги, мылись над деревянной шайкой у порога. Отец поливал сперва Миколу, а потом Микола отцу. А в это время со слезами в избу вошла Оничка.

— Бурёнка не даётся. Лягнула и пролила всё молоко из подойника...

Вот тебе и на! Весь пост молока никто не пил, а теперь и с чаем не будет.

— Ну ничего, — сказал отец. — Значит, надо ей дать отдых. Телёночка скоро принесёт.

Но когда-то будет этот телёночек, после телёнка сразу всё равно всё молоко отдадут телёнку. Оно жёлтое. Егорка знает. Но и это ещё не вся беда. После ранней службы, ещё до возвращения Митрия с Миколкой из церкви, пришли двое стариков с мешками на плечах. Прошли на середину избы, помолились и спросили:

— Можно Христа прославить?

Мать сказала:

— Можно. Славьте Господа Христа. — И стали они петь, но слова выговаривали непонятно. Мама знала, а поправлять не смела. Божьи люди, нищие.

— Пресущественного рождает... А волхвы же со звездою патешествуют...

— Наш бо-ради-радиса... Отроче младо — Предвечный Бог.

«Отроче младо — Предвечный Бог» — это Егорка запомнил, и понял: маленький Христос родился давно-давно, далеко-далеко, в Святой Земле, от молоденькой непорочной еврейской девушки и в пещере, куда пастухи загоняли овец, коров и ослов в плохую погоду. Всё это ему мама рассказывала и показывала на картинке в книжке. А всё-таки на нищих-христославщиков он рассердился, потому что мама отдала им два сырчика, значит, восемь осталось. А потом пришли ещё мальчишки — тоже славить Христа, и мама отдала ещё два сырчика. Значит, осталось шесть. Но пришёл славить Христа и Семён Ефремыч, Семочка Уродкин, добрый и самый бедный нищий, тот самый, который весною сушил сладкие сухари за

селом и дал Егорке сухариков погрызть, и даже дал немножко, чтобы маме отнёс. Для Сёмочки не жалко было сырчика. Но всё-таки ещё пришли мальчишки, и осталось всего четыре. А пришли они все ещё до разговения. Когда сели за стол после обедни, на стол подали два, и те не стылыми, а растаяли в печке и разделили на малые частицы. Егорке даже вкусные мясные щи не пошли в горло. Тут ещё Микола отнял у него новую крашеную деревянную ложку — Егорка разревелся, не стал есть, и его высадили из-за стола...

А Рождество празднуется три дня. Славильщики приходят и приходят. Мать никому не отказывает, и уж сладкие пирожки и шанежки подаёт. А потом из тех пятаков, что оставили «почтенные гости», приехавшие за кожей, а они, как потом Микола сосчитал, оставили шестьдесят копеек, Митрий наменял в церкви копеек и сам давал копейки, кому не хватало пирожков и шанежек. Вот почему и Оничка когда справляла Рождество для своих кукол, то для их угощения у неё не было ничего настоящего, и вместо сырчиков она раскладывала на самодельные бумажные тарелочки снежок, который тут же, под божницей, в углу под лавкой наскребла со стены. Промёрз тут угол насквозь. Завалинка в этом месте, значит, не была хорошо завалена навозом. Но всё-таки Егорка и Фенька были у Онички гостями и ели с бумажных тарелочек кусочки снега и чмокали губами, показывая куклам, как сладко их угощение. Сапожок для куклы-барина к этому времени Егорка уже закончил, но другого сделать не успел. А пришёл поздравить с праздником Алёха Кучерявый. Крестясь на иконы, он увидел, как дети Митрия играют в куклы, увидел сапожок на «барине», наклонился, взял «барина», снял с него сапожок и громко, весело сказал:

— Отцы и матери! Да это же растёт у вас настоящий сапожник! Он же вас всех обует и оденет! — И не хотел отдать сапожок ни Егорке, ни Оничке, а взял его с собой показать Михайле, настоящему сапожнику. А Михайло по праздникам всегда в кабаке сидит. Денег у него никогда не бывает, а в кабаке нет-нет да кто-нибудь и подаст стаканчик. Алёха пошёл в кабак, выставил сапожок на полку рядом с бутылками вина и рассказал, какой у Митрия парнишка растёт. Стоял там сапожок всё Рождество, все пьяницы узнали про будущую Егоркину славу. Казёнок тогда ещё не было. Целовальником был Трусов, высокий, бородатый, справный мужик. Он угостил Алёху водкой. Стали захаживать в кабак и такие люди, которые раньше не захаживали, и, значит, увеличился у Трусова доход. Сапожок так и остался в кабаке, а потом куда-то кто-то утащил сапожок из кабака. Так Оничкин кукольный «барин» и остался босиком.

Рождество на третий день прояснилось. Батюшка с псаломщиком ездили по селу с крестом. В первый день праздника обошли только главные дома: первое дело к лекарю, Ивану Никифоровичу Горкунову. У него нельзя не посидеть. Столы полны едой и винами — глаза рябит. Потом к Зыряновым. У этих посидишь час — и трудно уже ноги выпрямить. А зимний день короток, надо уже и вечерню служить. На второй день батюшка идёт с крестом по всем домам по порядку, не разбирая ни бедных, ни богатых. А изба Митрия посередине села. К вечеру не дошли. Значит, пришёл их черёд на третий день. Вот уже пара лошадей, запряжённая в большую кошеву с Матичкой Плохоруким на козлах, остановилась у крыльца Касьяновых. В избе у Митрия суета. Сейчас батюшка к ним придёт. Матичке и подъезжать не надо, батюшка с псаломщиком в кошеву садиться не будут, время тратить, они пешком улицу перейдут, но в кошеву Касьяновы что-то кладут. Матичка оборачивается, показывает, как уложить, потому что кошева почти полна до краёв: за весь день надавали люди и печёного, и варёного, кто плицу зерна, кто кружок замороженного молока, кто кусок сала, а кто целого поросёнка. Митрий ничего такого не имеет, но у Николы Милостивого за спиной есть стопка пяточков. Четыре пяточка — благодарность щедрая, батюшка не спрашивает ничего. Казною ведаёт псаломщик; карманы его рясы широкие и глубокие, выручку сочтут дома. И быстро, ещё дверь в избу только отворяется, а псаломщик гугнит простуженным, хриплым голосом:

— Ро-ождество Твое, Христе Бо-оже на-аш...

А батюшка, развёртывая крест из епитрахили, подхватывает:

— Воссия миру свет разума...

Быстро всё кончается, два слова приветов батюшка приносит всякому, все подходят ко кресту, целуют. Егорка запоминает приятный запах батюшкиной руки, пропахшей дымком от ладана, и холодок от серебряного креста остаётся у него на губах, как прикосновение льдинки. Вместе с тем остаётся страх перед батюшкой, когда тот смотрит в лицо Егорки строго и как бы читает его мысли: «Сырчики ты нищим пожалел? Ага?». И невозможно не взглянуть в батюшкино лицо, розовое от мороза и большое, в мягкой, не очень длинной, но сливающейся с меховым воротником бороде. Запомнил навсегда: батюшка не седой, а псаломщик с сединой.

Ушли. Матичка Плохорукий делает короткий переезд через высокие сугробы снега. Вот они остановятся около писаря Лапшина. Ну, оттуда скоро не выйдут. Лапшин выйдет с кем-нибудь из своих людей стаканчик водки Матичке, чтобы согреть его, давно согнувшегося на козлах кошевы. А Митрий и

его семья ещё сегодня войдут уже в будние дни, начнут возню в сенях, во дворе, в пригоне возле скотины. Ещё будут Святки. Прибегут маскированные люди, некоторые страшными, в вывороченных шубах, и все как будто старики, а голоса молодые. Покричат, попляшут, острую шутку бросят Митрию, нанесут в избу снегу, измокрят пол. Но это так и полагается. В день Крещения, на водосвятии у выстроенной из льдин на пруду «Иордани», все очистятся. Будут и такие, которые свои страшные образины должны будут смыть купаньем в ледяной воде. Егорка этого не видывал, а Микола видел сам и в подробностях рассказывал. Раздевались тут же на льду, бросались в прорубь, окунались с головой и выплывали красные, и хоть бы кто кашлянул! Оденется на ходу и побежит домой, прямо на печку. И спасён. Хилый да больной в ледяную воду не бросится, а здоровому только на здоровье...

Вот и мясоед настал. Гульливый, с катаньями на санях и в кошевах, верхами и на тройках. Откуда и богачи в селе Николаевском находятся? Вот тройка разукрашена: дуга с позолотой вырезана, как шелками вышита. Колокольцев под нею — с полдюжины. Гривы у лошадей в лентах, вожжи гарусные, плетёные любовною рукой. Это невесты для женихов ещё до свадьбы выплетают такие разноцветные вожжи, все из чистой шерсти и из крепкой конопляной нитки. Да вот же это кто на тройке: Никитушка Воробьёв с Ольгой, Елениной племянницей, и тремя её сёстрами да братьями, Александром и Ильёй, — всего их семеро; на небольших красивых санях, сидят по краям, только Ольга и Никита посредине рядышком, а Александр стоит в санях и правит лошадьми, держит гарусные вожжи. Ясное дело — тройка Виктора Степаныча Жеребцова. Вот она и останавливается около избы. Да, семеро. Внесли в избу Митрия шум, веселье, розовую, душистую молодость. Всё ясно. Ольга просватана. Через две недели свадьба.

— Нет, дяденька Митрий Лукич, и ты, тётенька Елена Петровна, не отказывайтесь, папенька и маменька в ножки вам кланяются, просят милости на свадьбу..

Да как же тут откажешь? При всей бедности, при всех болезнях и немощах — сам Бог силы посылает. И опять же не без помощи добрых людей. Две недели срок короткий, надо успеть в город съездить, пшенички придётся мешков пять продать, ну и самим давно пора приодеться, чтобы не стыдно было в люди показаться. Да и какие люди приняли участие в этой свадьбе! Вся родня у Воробьёвых богачи. Родня по линии Жеребцовых тоже в грязь лицом не ударит. Павел Иваныч с Грушенькой из деревни Убинской, и с ними целый поезд крашенных саней — и парами, и тройками. Да из Убинского форпоста казаки — мужья младших сестёр Елены. Да

сами Зыряновы, и Трусовы, и Будкеевы. Кому захочется лишить себя чести погулять в такой компании? А Митрия к тому же наметили как старшего из зятьёв Лизаветы, Ольгиной матери, быть «тысяцким» — это вроде как распорядитель всеми торжествами и порядками.

На всю округу церковь только в Николаевском руднике. Тут и венчанье, тут и первый свадебный пир у «тысяцкого».

Откуда и взялось? И сапоги со скрипом, с высунувшимися из-за голенищ новыми, из цветного киргизского войлока, чулками. Тепло и богато. Под суконную, старого, но добротного чёрного сукна, ещё отцовскую «тальму» Митрий надел тёплую «байковую» (фланелевую) рубашу с отворотами и с пышным чёрным галстуком, как у отца на «срисованном» портрете. Брюки из-под «тальмы» и высоких голенищ не видны: сойдут старые, с заплатами. На голову шапки не требуется. Тысяцкий всюду на виду, поедет он во всём свадебном обозе впереди всех троек и подвод, при нём будут иконы для благословения. А подпоясался он новой красной гарусной опояской, а длинный такого же качества тёплый красный шарф замотан вокруг шеи, крест-накрест спускается от шеи к опояске, и концы его с кистями затыкаются с боков под ту же опояску. И голос, и слова нашлись, и прибаутки нужные вспомнились, и от себя кое-что присочинил: вышел с честью Митрий Лукич — как тысяцкий самой богатой свадьбы в сорок подвод в обозе. Когда промчались через всё село из Таловского рудника и к церкви, на гору, звон от колокольцев, от ботал и от шеркунцов вызвал на улицу всё население, и повалили люди к церкви, и заполнили весь храм, даже ограду переполнили. На жениха и невесту наглядеться невозможно: как маков цвет невеста в подвенечном платье. Матичка Плохорукий заранее всю церковь натопил так, что можно было и шубы снять, чтобы все видели белое, по последней выкройке псаломщицы сшитое кружевное платье. Принцессы и те не все так хороши, не все так нарядны, как Ольга. А и жених красавец, высокий, кучерявый, в новенькой казачьей форме. Красные лампасы на брюках, а сапоги с набором, выше колен голенища, и когда скинул казацкую шинель в церкви и стал рядом с невестой — хоть плачь от радости за всех на свете!

И кто поверит, кто поверит, что после небывалого торжественного венчанья в церкви, после шумного и громозвонного проезда всем обозом двух кругов по улицам села весь этот обоз, в сорок с лишним подвод, тройками, парами и одиночками, должен был остановиться и запрудить улицу против избы тысяцкого, Митрия Лукича?..

Ой ты гой еси, нищета неописуемая! Кто поверит, кто поверит, что Елена, сама почётная сваха, должна была принять

и первая накормить и напоить всех дорогих, всех почётных, всех самых богатых и знатных гостей у себя в убогой, маленькой избе? Потом, сытые, они поедут снова кататься, провертеться, и поедут в дом родителей невесты, за девять вёрст от Николаевска, но это только уже к вечеру, а самая-то шумная, самая первая, самая голодная орава будет пить и есть у Митрия, и наедятся все досыта, но воздержатся от выпивки, хотя и выпивки для всех здесь хватит допьяна: сами Воробьёвы привезли ведро, да Трусов полведра, да разные наливки от сестры Елены. Но как всех вместить в одну избу, как установить столы и скамьи и усадить хотя бы самых главных гостей? Новобрачных — в красный угол, под образа, а с ними рядом батюшку и матушку, а потом родителей по старшинству, потом почётных и желанных девушек — подружек Ольги. И как протолкаться с блюдами, с подносами, заставленными рюмками, с пирогами, с разными причудливыми печеньями? В новенькой наколочке, сшитой собственными руками по картинке, взятой у той же псаломщицы, в новых полусапожках с шерстяным чулочком, в новом, одолженном у сестры Лизаветы, из голубого репса, в талию, платье, Елена была розовой от волнения и сияла радостью, как будто заботы — никакой! При помощи Миколки, Онички и Егорки всё заранее наготовила. Понятно, что Жеребцовы наварили, напекли, нанесли и навезли всего, чего не могло быть у Елены, но она сумела всё это подать и разделить, и если все в одну очередь не смогли усесться за столы, то и в холодных сенях, кстати уже опустевших от запасов зерна за зиму, были расставлены столы. Мужчины и женщины не спесивились, не завидовали красному углу. Открывши дверь в избу, в которой было жарко и от печки, и от людских тел, впускали в сени довольно света и тепла, и были как бы за одним застольем. И было так, что, когда все уже наелись и согрелись выпивкой, Елена сама расчистила небольшой круг на полу избы и первая сама показала пример для пляски остальным. Пол был вымыт, чист, без сена. Куры из-под печки и ягнята куда-то ловко спрятаны без ущерба для хозяйства. Фенька и Андрюшка уведены к Касьяновым. Оничка волчком крутилась у ног всех и каждого, помогая матери, заранее всё запомнившая, всему наученная, маленькая мастерица церемонии. Она всех умиляла своей строгостью, и как будто никого и ничего не замечала, кроме своей матери, которую понимала с одного взгляда, и её розовый бантик в белокурой косичке всюду мелькал, нырял вниз, подпрыгивал вверх и возвышался над толпой. По временам она подпрыгивала на приступку печки и, стоя на одной ножке, смотрела сверху вниз, готовая на всякий зов отца или матери. Они знали, где её найти, и то и дело отдавали новые распоряженья.

Микола был почётным кучером тысяцкого, значит, это он сам выпросил у Вялкова, который был, понятно, одним из гостей на свадьбе вместе с Марьей Фёдоровной и старшим тестем и сестрой, ту самую кошёвку, которая стояла без нужды в завозне. Подновил её обивку, запряг в неё Гнедчика в корень, а Стригунка в пристяжки. Начистил сбрую, украсил её мелким, дешёвым, но блестящим, под серебро, набором. Выпросил у Касьяновых крашеную дугу. Сам где-то достал несколько колокольчиков. Заплёл лошадам гривы, подвязал бантами хвосты, украсил заплетённые гривы своих любимчиков, ретивых лошадей, разноцветными ленточками и подал пару Митрию, как раз когда тот хотел уже просить, опять-таки Касьянова, выручить его и дать пару лошадей с работником. Нельзя же тысяцкому и лошадьми править, и свадебный обоз вести, и иконы нести впереди жениха и невесты в храм и из храма. И вот Микола — кучер у отца. Это самый важный в жизни всей семьи случай, когда всё село и вся окрестность могут видеть, что Митрий не последний человек в селе и что Гнедчик и Стригунчик могут быть передовою парой во всём свадебном поезде. Ничего, что разномастные, но резвые, поджарые, как бегунцы.

Один Егорка оставался не у дел. Правда, в самом начале суеты перед приездом из церкви всего этого невиданного, тепло одетого, разнообразного народу ему было приказано стоять у входа и закрывать и открывать двери, потому что многие, входя и выходя, забывали это делать и в избу из сеней валил холод. Но когда сени соединялись с избою и когда тепло было и в сенях и там полно было народу, Егорка влез на кровать, и тут же был завален и с головою похоронен шубами, меховыми и суконными, женскими кацавейками, всякими шарфами и опоясками, так что видна была лишь голова. Его никто не замечал, он жадно пожирал глазами всё, что было перед ним невиданного, неслышанного, невероятного. Он видел отца, опять чуть пьяненького, весёлого, разговорчивого, разливающего вино в разнокалиберные рюмки и стаканы. Отец ему очень понравился. В новых сапогах он казался выше ростом и моложе, и красивее. Но больше всего Егорка смотрел на мать, любовался ею издали и сравнивал её с другими женщинами: только Ольга казалась ему моложе и красивее, все остальные не привлекали его взглядов. Но когда начали петь, он не мог долго выдержать. Стал закрывать руками уши, всё немножко удалялось, но когда невольно ладошки рук уставали держать уши закрытыми, тогда звуки песен ещё больше глушили его и утомляли до тошноты в желудке. Ему хотелось зарыться во все эти мягкие, тёплые, пахучие шубы, но он не мог уснуть и мучился. Очень много лиц перед глазами, много шума, много

непонятных и, казалось ему, глупых слов и звуков, от которых не было спасенья. Но одно ему понравилось и запомнилось на всю жизнь.

Это когда после шумной пляски, потрясшей всю избу топаньем, вышел из-за стола новобрачный Никитушка, красавец писанный, и подошёл к другому красавцу писаному, Александру Жеребцову, и сказал ему:

— Ну, свояк, давай побратаемся!

В избе вдруг наступила тишина. Все на них смотрели ласково, любовно и чего-то ждали. А важнее и ещё красивее всех в эти минуты была Ольга. Из-под её кружевной, как из снега слепленной, вуали выбивались золотые волны расплетённой косы, а глаза её большие смотрели то на брата, то на молодого мужа, и это тоже унесёт Егорка в жизнь как то, чего не следует забывать. И ответил красавец Александр, точь-в-точь такой же ростом, стройный и высокий, только не в казацких брюках с красными лампасами, запущенными за голенища, а в чёрной куртке, в чёрных брюках навывпуск поверх чёрных лаковых сапог, ответил Саша Жеребцов голосом молодым, но уже басовитым:

— Давай, зятёк, побратаемся!

Митрий знал, что надо делать. Он поднёс обоим по стаканчику. Красавцы взяли стаканчики не торопясь, посмотрели во все стороны, посмотрели друг на друга, скрестили правые руки локтями, медленно, смотря друг другу прямо в глаза, выпили, оба для порядка сморщились и крикнули, поставили обратно на подносик рюмки и опять пристально посмотрели друг другу в глаза и обнялись.

Егорка во всю жизнь свою не сможет понять одной подробности. Почему после долгого братского объятия оба эти молодца-красавца вдруг заплакали? И, заплакавши, они покачивались в стороны и ни на кого не смотрели, а потом Александр начал:

Было дело под Полтавой, дело славное, друзья!

Никитушка подхватил более высоким голосом, и стройно продолжалось:

Мы дрались тогда со шведом под знамёнами Петра.

Вытянул шею Егорка из груди тёплых шуб и женских шалей. И с тех самых пор на все его короткие ли, длинные ли дни врубилась в его память вся эта песня без пропуска единого слова. Потому что вышла Елена в гущу гостей, сидевших за столом, расставленным буквой П от божницы до порога, и

стоявших с тарелками и вилками в руках, а некоторые с поднятыми стаканчиками вина, приподняла обе руки вверх и стала управлять всеми. И повторяла каждый стих снова, чтобы могли петь и те, кто песни этой не знает. А двое певцов начинали новый стих:

Наш могучий император, память вечная ему,
Сам ружьём солдатским правил, сам он пушки заряжал.

И вся картина Полтавской битвы тут же рисовалась всем и вдавливалась в сердце каждого, а в потрясённое сердчишко Егорки она входила непонятной болью до слёз:

Вдруг одна пуля-злодейка в шляпу царскую впилась.

Откуда, как, но видит глупыш Егорка всё поле битвы и царя Петра, мчащегося на коне впереди своих солдат-героев. А то, что не смутился царь, и вторая пуля ударилась в его седло, а вскоре же и третья прямо ему в грудь; и то, что висел на груди его крест православный, и звякнула пуля, завизжала и отскочила; и то, что, цел и невредим, царь-император продолжал мчаться по огненному и окровавленному полю битвы, — не то что испугало, но потрясло небывалой радостью семилетнего парнишку. И заревел Егорка, слезами сладкими заплакал, сам не зная, почему. Потому ли, что стояли Александр и Никита, каждый склонивши голову на плечо друг другу, и лица их были красными от волнения и от напряжённости в песне, или потому, что все гости до единого слушались движений рук его матери, отчего и мать, и Никитушку, и Александра, и весь этот поющий и потный и переполнивший избу народ было ему жалко? Но только не чуял себя Егорка. Не было Егорки вовсе, не было ни его рук, ни ног, ни головы, ни проголодавшегося брюшка, а была только песня, и была от неё боль, и боль эта была такая сладкая, что вот так бы всё и плакал, и слушал, и болел.

Из всех щелей, просвечивавших в сени, и из открытой отдушинки над печью, и из выбитого, заткнутого подушкой малого окошка, что в кути, валил на улицу пар. А на улице среди всех саней, и кошёвок, и дровней, и сугробов толпа-толпой народу. Ждали опять выхода невесты и молодого, и как они сядут на свою тройку, и как Митрий будет командовать, куда и каким порядком ехать. И шум, и гам, и звон колокольцев, и скрип копыт и полозьев, и красные лица женщин и мужчин, и всё-всё унесётся из избы и от избы со всеми шубами, шалями, кацавейками, с отцом и матерью, с Миколой и с теплом избы. Останется Егорка один в избе, потому что Оничка убежит

к Касьяновым, и они её домой не отпустят. Она там будет с Фенькой и Андриюшкой ночевать и пить и есть. Один Егорка должен будет догадаться, что дверь в сени надо затворить. А дверь запотела сверху донизу, и пот на ней обледенел, и не затворяется она в притворе, а мокрый пол в избе тоже покрывается льдом и холодит босые ноги... Кое-как прикрыл он дверь, прыгнул погреть ноги на тёплую печку, а оттуда в темнеющей избе увидел столы и скамьи, и повсюду остатки еды... Посуда и вилки на столах, на скамьях, на полу, и так много еды, и так тошнит от голода и от резкого винного запаха, что он не знал, можно ли слезть с печки и выбрать себе, что хочется. Ведь сказано: без спросу ничего нельзя хватать. Кружилась у него голова, и валило его на горячую печку полежать... Так он и не слез с печки, повалился, поплакал ещё потихоньку, поныл и заснул голодный.

И никогда никто не спросит и не узнает, почему Егорка так горько плакал, когда все остальные радовались и веселились. Чужало ли сердце его что-нибудь из его личной жизни в будущем? Чужало ли судьбу отца и матери, и братьев, и сестёр? Или оно уже прочло судьбу Никитушки, который в том же году, через полгода, на озере Зайсане, переправляясь на пароме через протоки Чёрного Иртыша, от испуга лишь одной необученной лошади, в ряду других испуганных коней и всадников, спрыгнет с парома в воду, и — не утонет, нет, он отлично умел плавать и лошадь обучил всем случаям в опасности, — но чужая лошадь во время провала в воду лягнёт его в голову, и свалится Никитушка в озеро с парома, и унесёт его водой, хотя и будут говорить его товарищи, что видели кровавое его лицо в воде. И не найдут его нигде и никогда, и останется Ольга, девятнадцатилетняя вдова, ждать и надеяться, долго ждать и ещё дольше мучиться тоскою о своём суженом, таком прекрасном, таком нежном, таком юном и смелом казаке. А может быть, Егорка уже тогда, во время этих первых шумных пьяных песен, которые оглушили его и заставили зажимать уши, может быть, тогда пожалел он на веки вечные всех этих людей, богатых и знатных, нарядных и весёлых. А может быть, и самого себя, того не зная, пожалел, потому что не мог же поднять головы, упал на печку голодным. В избе всё настывало, а он уснул ничем не укрытый. Долго ль простудиться? И умрёт, как много умирает детей. И похоронят, и поплачет мать его, а потом в нужде да в хлопотах забудет и она. Но это всё равно, всё равно. Кто будет о нём думать, когда в избе осталось столько всякой благодати, только бы не объелся — с раннего утра ничего не ел. Не умрёт. И скотина в одну ночь без хозяина не умрёт. Раз в жизни привелось родителям побыть в почёте и на виду у самых избранных людей.

А уж Жеребцовы дали пир воистину горой. От них и до дому мало кто ночью дорогу найдёт. Но и спать никто не будет. Гулять — так не один день терять. Кое-как подремлют, да завтра спозаранку надо в новый дом, на новый пир всем обозом ехать. И молодых замучат, не спустят их с глаз, пока не придёт время по приказу тысяцкого запереть их в холодном амбаре, чтобы свахи, и дружки, и все опытные бабы лично убедились, что честно Ольга вышла замуж, чтобы Виктору Степанычу и Лизавете Петровне при всём честном народе поднести по полному стакану в чистых, в целеньких сосудах, а не в разбитых, не в загрязнённых рюмочках, чтобы не опозорить при всём честном народе.

Чуть свет-заря вернулся Митрий на часок в свою избу. Привёз сестёр невесты, трёх сестриц: Яю, Лизу и Сонечку. Слетал за своей сестрой Катериной, та успела выспаться, поручил им прибирать и разбирать съедобное из остатков, мыть посуду, разбирать, кому что надлежит, и отнести со спасибом за одолжение. Катерина накормила и Егорку, а Оничка привела домой Феньку и Андрюшку. Всем надолго хватит всякого добра от свадебного пира. Митрий оставил дома Миколу хозяйничать, сам один поехал опять включиться в обоз свадебного шума и звона и долгих застольных пирований в разных домах. Многие дома ждут гостей, столы накрыты. На всю неделю хватит пищи и вина для всех. Распахнись, русская душа, пей, веселись и наслаждайся законом. На то и зимний мясоед. Летом женятся только бездомные.

Целую неделю шумели свадебные пиршества. Все участники свадьбы не успели у себя принять гостей, хотя в день бывало до пяти-шести застолий в разных домах, а не побывать у кого-либо, особенно кто победнее, было бы обидой: люди готовились. Но чтобы ускорить конец пиров, два-три хозяина устраивали приём в складчину; однако все были так сыты и пьяны, что только пошумят, потычут вилками в наряженного гуся или поросёнка, попробуют вкусных пирогов, разопьют вино — и опять из жарких, душных изб на улицу, к запряжённым парам и тройкам, и снова с гиком, с песнями кататься и прохладать красные, лоснящиеся от сытости лица. Все уже устали, охрипли от песен и смеха, а после катанья надо было снова подъезжать к новым хлебосольным хозяевам, к накрытым столам, загромождённым всякой снедью, бутылками и жбанами, пирогами и вареньями. А так как на селе не одна свадьба справлялась, то и собаки все охрипли, устали лаять на быстро пронесившихся людей...

Митрий никогда нигде не напивался, но как тысяцкий всё ещё следил за порядком. Больше всего теперь он жалел чу-

жих лошадей, которые стояли в запряжке по целым ночам напролёт, без сена и овса, без глотка воды. Забота о лошадях — прикрыть попоной или пологом, а нет — то и рогожей чужих коней, подсунуть клок сена, принести ведро воды и попоить — часто отвлекали его от попок и приставаний с лишней рюмкой водки. Это держало его голову в здравом уме и твёрдой памяти. По правде говоря, устал он от гулянки, а бросить нельзя — обидятся, он тысяцкий. И жаль ему было смотреть на молодых.

Молодые, Ольга и Никитушка, как самые почётные князь и княгиня в застольях, не могли, не имели ни прав, ни смелости отказаться от приёма в каждом доме. Без них и пир не в пир.

И хотя они были сыты и до головной боли угорели от вин и вынужденных поцелуев (иначе гости кричат: «вино горькое!» — надо подсластить поцелуем молодых), к концу недели так изнемогли, что на некоторых пирах Ольга падала на грудь Никитушки и тут же, за столом, засыпала, притворяясь пьяной.

Последний пир был дан Минаевыми у тех же Жеребцовых в Таловском руднике, и это был опять особый пир, совместный — Грушеньки Минаевой и Лизаветы Жеребцовой, Ольгиной матери, которая хотела выручить сестру и помочь устроить приём на славу — с гармонистами, со скрипкой и пляской Алёши Колотушкина, с хороводом всех подружек Ольги. А Виктор Степаныч устроил маскарад из дюжины мужчин. Кто волком, кто медведем, кто лошадью, они неожиданно ворвались в дом, все в вывороченных наизнанку шубах, шерстью наружу, с платками на лицах, только с дырками для глаз, и начали обнимать непременно чужих баб, стараясь каждую похитить и увлечь на улицу, выбелить в снегу — «от греха очистить».

Отсюда весь свадебный поезд растаял: половина разъехалась по домам, вторая половина, включая взрослых из семьи Жеребцовых, молодых и их родителей и кое-кого из родни тех и других, — отправилась за сорок вёрст в станицу жениха, догуливать уже на месте с казаками Воробьёвыми. Там новый поезд увеличится, и будет новый пир горой.

Там в большом и светлом доме у хозяев Воробьёвых после первого и многолюдного пиршества дали наконец свободу и покой молодым. Уже все охрипли, все без голосов, только новые, свежие гости всем распоряжались, угощали, закармливали приезжих, и скоро позабыли о молодых супругах, а те в светлой горнице, на мягких перинах, только что привезённых из Таловска на особой подводе вместе с другим приданым Ольги, под новыми мягкими одеялами отсыпались

ночь и день, даже не обнявшись. Сон их длился как вечность, а может быть, был он как одна минутка, потому что счастье всё-таки пришло наяву, трезвое и стыдливое, но и хмельное хмелем юности и удивления. Как нашли друг друга? Как это случилось, что они законченные, полноправные князь и княгиня — муж и жена?

Да, вот так приходит счастье, длится вечность либо краткую минутку и улетит бесследно и навсегда. Кто знал, кто знал, что так скоро и так страшно их разлучит страшная судьба?

Но счастьем, настоящим и обманчивым, мир держится, народ размножается, тем земля стоит. Шум и свадебный гам стоит весь мясоед не только тут, в селе или станице, не только во всём уезде или в губернии, он гудит и двигает людей, веселит и пьянит, звенит колокольцами, скрипит полозьями саней, пестрит в глазах разноцветными шальями, шубами, лентами, шарфами, крашеными дугами на всём пространстве Сибири и всего Зауралья, и Пермской, и Беломорской, и Олонечкой, и прочая, и прочая Руси Северной, закутанной в морозы и снега. И так от моря и до моря, вплоть до сыропустной недели, чтобы, очистивши животы от мяса, приготовить их к Великому посту, а в течение Великого поста, под унылый, медленный и одинокий звон колокола, замолить грехи пиров и разгулий. Тогда и грудные младенцы приучаются поститься, потому что у матерей от постной пищи усохнет молоко в сосцах груди.

Но ведь и Великий пост не вечен. Минуют посты и молитвы во имя души, придёт в блистании весенних разливов весна, и с нею Пасха. И опять будет пир на целую неделю, но за ним уже грезится пашня, свежая земля, ждущая зёрен и оплодотворения. Егорке исполнится полных семь лет. Теперь его возьмут на пашню. А там, он помнит по прошлому году, эти жаворонки всё взлетают выше, выше и поют, поют, поют свою, должно быть, очень мудрую песенку о счастье.

XI Егоркин ангел

В этот же мясоед женился Алёха Кучерявый, как раз на Анне Кайгородовой, у которой подрастал парнишка от работника Игнаха. Свадьбу сыграли скромно. Алёха не хотел вводить в убыток тестя, а сам денег не имел, но Вялковы устроили так, чтобы всё было честь-честью, без хлопот и одолжений,

и чтобы люди не показывали пальцем на молодого мужика, дескать, на чужой грех позарился, жену в придачу взял. Нет, Алёха стал жить своим домом, продолжал работать у Вялкова, пока сам тесть, Кузьма Иванович, приедет и попросит войти в его дом хозяином. Пусть это будет позже, после пахоты, летом, а пока что Алёха сам сколачивал себе своё гнездо, и даже мальчика Петруньку взял к себе.

Митрий вскоре после Ольгиной свадьбы побывал в гостях у молодых Алёхи с Анной, угостили его, пришёл он домой уже поздно, лёг на кровать. Елена ещё возилась по хозяйству, дети уже спали, только Микола чинил при жировике седло для Стригунка. Вдруг врывается в избу растрёпанная Анна, в одном платье, босая, кричит:

— Батюшки, спасите! Он меня убить грозит... Спрячьте меня, ради Христа!

Елена, недолго думая, шепчет ей:

— Лезь на кровать, ложись с Митрием рядом... — А сама шмыг под кровать.

Митрий почуял возле себя тёплое тело чужой молодой женщины, смутился, но делать нечего, обнял, как свою жену, укрыл её с головой и притворился спящим, а в это время ураганом врывается Кучерявый, кричит:

— Врёшь, я следом за тобой гнался! — И увидел на подушке прядь знакомых белокурых волос. У Елены же, он знал, волосы светло-рыжие. Сдёрнул одеяло с Митрия, замотал обе руки в косы Анны и так и стащил её с кровати. Все дети в избе переполошились, заорали; Егорка свесил голову с полатей, Микола бросил седло ещё до прихода Алёхи, стоял как вкопанный. Елена выскользнула из-под кровати, вцепилась в волосы Алёхи и кричит:

— Не смей, не смей её трогать! Меня ударь, меня бей!..

Алёха Кучерявый, большой, дикий, полупьяный, оторопел, бросил Анну и стоял над нею, не понимая, что делать. А Елена кричит:

— За что ты её? Не смей бить. Убьёшь — сам себя погубишь, в острог попадёшь...

Митрий свесил с кровати босые ноги, не мог понять, как всё это произошло и почему он принял к себе чужую бабу, а Елена металась по избе львицей, какую он никогда её не видел, и кричала:

— Сейчас же при мне помириться! Кланяйтесь друг другу в ноги! Ты сперва, орёл бескрылый! Ты виноват, ты и кланяйся ей в ноги первый! А потом она тебе...

Оба послушались, поклонились друг другу в ноги. А в это время босой Митрий сошёл с кровати, бросился в сени, там стояла под мешком оставшаяся от свадьбы полубутылка.

Принёс, разлил наспех в два стаканчика, молча поднёс первому Алёхе. Тот со стаканчиком в руках сел на лавку, смотрит, как Анна плачет и трясущимися обеими руками принимает от Митрия стаканчик, а пить первой не решается.

— Пейте, я говорю! — рассвирепел Митрий. — Чёрт вас угораздил драться, я только что заснул.

Алёха встал и подошёл к Анне.

— Ну, выпьем, что ли?

— А не будешь драться? Ну чем я виновата, его чёрт принёс в кои-то веки... Я его и не звала. На мальчонку, говорит, приехал поглядеть...

— Я так и поняла, — вступилась Елена. — Да он, подлец, не муж и не отец, а негодяй-разлучник... И раз ты, Алёшенька, взял жену с ребёнком, надо и ребёнка принять как своего... А его, подлеца, нужно в три шеи из деревни гнать!..

Всё разъяснилось. Игнаха, бывший работник и незаконный отец Петруньки, явился в село тоже нетрезвым. Пришёл в дом Кайгородова, когда там как раз была Анна. Алёха от кого-то услышал — нашлись такие кумушки, в одночасье донесли Алёхе, он побежал туда, а там Игнахи уж и след простыл. Алёха пришёл домой, разбушевался, бросился во двор искать орудие убийства. Анна и убежала в чём была, и прямо под защиту Митрия и Елены.

Ушли они от Митрия и Елены в обнимку. Елена дала Анне свою кацавейку, а Митрий сам надел на её босые ноги новые Еленины сапожки.

Егорка всё это хорошо и точно запомнил, потому что у него в тот вечер сильно от испуга разболелась голова. Он не мог уснуть, метался на полатах и видел, и не мог не видеть, как Алёха выволок за косы Анну с кровати. Он видел это и во сне, и наяву, всю ночь, до самого утра. А утром и есть не захотел.

По-настоящему Егорка захворал с первой недели Великого поста, даже с самого утра Чистого понедельника, значит, назавтра после Прощёного дня. А вечером в Прощёный день перед окнами их избушки деревенские парни торжественно сожгли всю Масленицу, сожгли остатки всего скоромного и молочного, и даже самые грехи людей. Для семилетнего парнишки это было невиданное зрелище: Масленица была наряжена в вывороченную шубу, в бабью красную шаль, с тряпичным ребёнком в одной руке и с обхлыстанным берёзовым веником в другой. Это был мужик с рыжеватой бородой, но он всё время визжал по-бабьи и парил ребёнка, приговаривая всякую смешную всячину... Егорка не всё понимал, что к чему, но мужики и бабы, и парни брались за животы и хохотали, с визгом, с восторженным ругательством, с довольной красно-

той на лицах. Перед этим около полудня за селом, возле церкви, говорят, «брали» город, нарощечный, из снежных кирпичей, и Масленица там тоже принимала какое-то участие, будто бы получила штоф вина и вместе с победителем, Царём Максимилианом, напилась, но в меру, так, чтобы смешнее валить дурака... И вот Егорка видел, как на возу соломы была торчмя поставлена старая просмолённая ось, на оси колесо, всё обвитое сеном и соломой, а на колесе сидела и с визгом плакала Масленица. На голове её был венец из соломы, соломенная шуба и соломенный в руках ребёнок... Уж не помнит Егорка, как это вышло, что тряпичного ребёнка переменили, но на колесе продолжался «бабий» визг до самого заката, когда в дыму от загоревшейся соломы всё скрылось, и Егорка не мог больше вытерпеть: ноги так закоченели, что он убежал в избушку и прыгнул сразу на печку... Он потому и за деревню, где город брали, не ходил, что у него не было сапог, а тут, возле избы, понятно, не вытерпел, выскочил, как был, в одной рубашонке и босой, и всё-таки, поджимая ноги, как гусак красные лапы, простоял в толпе довольно долго...

Потом с печки слез за общий стол: заговлялись пирогом со щучиной, запивали его густым квасом, черпая квас ложками из общей чашки, впоследствии пили чай с молоком и с хрустящим, очень сладким, проваренным в постном масле «хворостом». За столом, кроме отца и матери, был старший брат Микола, державший себя настоящим работающим мужиком, сестрёнка Оничка, хорошенькая, с разгоревшимися на улице щеками, и ещё какой-то странный дедушка, заморённый и оборванный, так что его на праздники никто в селе не принимал. И всегда таких почему-то посылали в Митриеву избу. Митрий иногда артачился, размахивая руками, кричал: ребят своих-де негде положить, ни постлать, ни одеться, а они — в это время взмах руки куда-то за угол избы — всяких Лазарей насылают...

Но старик-бобыль был уже в избе, и ясно, что у Митрия не поднималась рука вытолкнуть на мороз дрожавшего и покорно ждавшего своей участи нищего. А Елена с нахмуренно-суровым видом уже усаживала старичонку на скамейку иправляла Митрия:

— Скажешь тоже — Лазарь... Лазари-то всякие бывают. Под видом таких-то, может, ангела Господь для испытания людям посылает...

Егорка ел за столом сладкий хворост, и так как его было для всех мало, а мать давала старику в молоке, чтобы беззубый мог легче проглотить, то к ангелу возникло нечто вроде зависти, и очень не хотелось верить, что вот такие были ангелы. Егорка поджимал из-под скамейки ноги, которые всё ещё ныли от мороза и, не кончив своей чашки чаю, потому что к нему

не осталось ни молока, ни хвороста, хотел поскорее прыгнуть на печку, — как за столом было решено, что старика положить некуда, кроме как на печку, потому что хоть он, может быть, и ангел, а всё-таки отдать ему последнюю одёжину, чтобы обовшивил, даже мать не согласилась. И пришлось Егорке лечь на пол, вместе с братом и сестрёнкой, под одну материну изношенную беличью шубку. Егорка задрожал и ещё ночью начал бредить... Наутро, однако, его поднял крик матери, которая при свете разглядела старикову голову и завопила:

— Обстричь его надо скорее!.. Егорушка, беги-ка, милый сынок, к тётке Касьянихе, попроси у них ножницы...

И побежал Егорка, понятно, босиком, через улицу, по колена утопая в снегу, и принёс ножницы, но уже как в тумане видел старика и над ним всю семью в ужасе и крике. Не понравилось Егорке, что со старика срывают его последние лохмотья и почему-то мать бросает их в горящую печку. Ещё запомнил Егорка, как старичок, и без того совсем маленький, согнулся ещё более от старости и от стыдливости, закрывался волосатыми грязными руками и крутил головою, хихикал и что-то бормотал. Весь он был серый, в седой шерсти, в морщинах от худобы, но Егорке было уже всё равно, может, это страшный сон, и, как во сне, всё так же исчезло и забылось... Зазнобило его, затрясло. Он прыгнул на кровать, закрылся наваленными на ней какими-то тяжёлыми лохмотьями и был рад, что никто теперь не найдёт его и что никого и ничего он больше не помнит и не знает.

Сколько времени прошло — неизвестно, только опять увидел, будто сон, Егорка: брат Микола раздел его силой, как старика того, а мать и сестрёнка наготовили на полу кипяток в большой лоханке и ещё бросают в него горячие камни, а отец держит над лоханкой войлок и кричит:

— Сажайте скорее!

И посадили Егорку на лохань, утонули его взгляд и память в пару, которым была наполнена изба, и всё опять пропало надолго из памяти и из глаз.

Потом ещё пришёл в себя: сидит он на коленях отца под тем окошком, в которое видно было закатывающееся солнышко, а отец даёт ему несколько подсолнушных зёрен и говорит:

— Мы уже скоро отпашемся, а ты всё дома лежишь. На пашню-то когда же ты пойдёшь?

Захотелось Егорке на пашню, так сладко захотелось, что закружилась голова и заплакалось от радости. Но всё опять куда-то уплыло надолго, должно быть, на недели. И не помнит Егорка, как это так вышло, что Пасха пришла после подсолнушных зёрен. Пасха была ещё вся в ручьях и солнечных

лужах, похожих на сусло. Вынесла его мать на завалинку, усадила и дала ему красное яичко, и помнит он, что яичко было тёпленькое от его горячей ручонки. Приложил он его к щеке, а потом уронил, яичко разбилось, красные кожурки упали на чёрную землю, но есть яичко не захотелось, и всё тело запросилось тоже на землю, лежать и спать, спать под ласковым таким солнышком, впервые в жизни показавшимся красным и близким — тут же, за соседским домом Кирилы Касьянова. Может, после Пасхи отец с подсолнушными зёрнами пришёл с пашни, но Егорке так и на всю жизнь запомнилось, что сперва отпахались, а потом Пасха пришла. Это очень важно, потому что после Пасхи было опять явление: старик сидел возле кровати, тот самый старик, который теперь был чистенький, хотя и весь в заплатках, что-то мастерил, кажется, гнездо для курицы-наседки, и соблазнял Егорку небывалой в жизни историей:

— А ты, слышь, поправляйся скорей, да мы с тобой на р-реку Убу либо на Таловку р-рыбачить, едят те мухи, пойдём...

Там нар-режем пр-рутиков зелёных да мор-рдочку сплетём, р-рыбы наловим да уху славне-ецкую сваррим. Да пр-рутиков-то ещё домой пр-ринесём, да дома пестер-рушки сплетём, яички из-под кур-риц собирать.

Сидел и долго ворковал, всякое «р» растягивал, и за это был такой особенный, такой хороший дедушка. Так поманило Егорку на речные берега, а зелёные прутики впервые стали для него чем-то особенно несбыточным, далёким, дорогим. И луга пригрезились, зелёные, далёкие, с цветами и птичьим пением, и «пестер-рушки» стали ему грезиться такими милыми, как будто всё в них заключалось: счастье и сама жизнь.

Но опять исчез старик, не мог дожидаться себе спутника на берега реки, ушёл будто рыбачить, а потом весенние вольные дороги, должно быть, уманили бобыля бродить по берегам других рек. Исчез бесследно навсегда. А может, в самом деле это был ангел, поманивший в чистые дубравы, позвавший в далёкие пути — как знать? Только Егорка всё ещё лежал в постели, худой и лёгкий, как соломинка; переносила его мать с кровати на пол, с пола на крыльцо, где пахло уже летней травой, скошенной на ближней ляге и привезённой на отцовской телеге для Карьки и для Буланухи.

Хорошо было дремать на кривом непокрытом крылечке, уж так хорошо, что даже мухи, залеплявшие его личико, не мешали ему дремать, потому что вот сейчас прилетит с поля ветерок, дунет на мух и прогонит их. Такой ласковый ветерок, что даже мать не могла так приласкать.

Вот тут впервые, с этого крылечка, всмотрелся Егорка в небо. Днём голубизна его была так глубока и загадочна, а ве-

чером, когда мать запаздывала унести Егорку в избу, на небе открывалось столько светлых и таких далёких и слегка мигающих глаз... Вот где они и вот их сколько, настоящих ангелов!

Свыкся Егорка со своей беспомощностью и покинутостью всеми. Даже мать уж не скрывала своего равнодушия к судьбе Егорки и говорила о нём с приходившими к ней соседками как о покойнике:

— Рада бы была, если бы Господь прибрал его. Помучился. Уже полгода чахнет: не выздоравливает, не помирает. Не пьёт, не ест — чем жив? — удивление, да и только.

И сам Егорка слушал о себе всё это равнодушно, даже безучастно, лишь изредка закрывает глаза и слушает себя — жив он ещё или уже мёртвый? Взглянет на небо — там облака плывут, на, них, наверное, мягко будет лежать, если он умрёт. Там, с ангелами, должно быть хорошо. Все, кто умрёт, все там, и никто ещё не возвращался на землю. Значит, там лучше. И Петровна, и соседи говорят, что Богу нужны самые кроткие, самые хорошие. Хороший ли Егорка — вот главная была его тревога. Но твёрдо знал, без подсказа, и сам так думал, что если умрёт, то там, на небе, будет вечно маленьким, семилетним Егорушкой. И Васенька, и Феденька, что до него родились и умерли младенцами, тоже будут маленькими, и когда он там их встретит, то водиться с ними будет. Им будет хорошо с ним, он уже большой, а они там маленькие и одни.

И текут сами Егоркины мысли, текут по-новому, так что даже, может быть, и маменька так не может придумать. А маменька грамотная немного. Егорка раз увидел, как Петровна читала в воскресенье книжку: лицо её было спокойное, без единой сердитой морщинки, глаза совсем закрыты, будто она спит, но губы чуть-чуть шевелятся и тихо-тихо шепчут, складывая из букв слова книги. И такое далёкое лицо тогда, и в то же время такое светлое и милое — так бы и молиться на него всю жизнь... Хорошо, что он, Егорка, раньше маменьки умрёт, — он всё узнает там, всё так устроит, что, когда туда прибудет маменька, он встретит её, и уж тогда будет с ней всегда, всегда. А то тут ей некогда с ним побыть — так её замучила бедность, да и тятенька часто ругает. А там и тятенька не будет ругаться, там все будут хорошими, и день там будет вечный, ночей там не бывает... Хорошо бы поскорее улететь. Но почему-то не берёт его Господь — так и маменька скучает.

Лежит Егорка, сам себя не чувствует, лежит и стонать боится, потому что на всякий стон маменька отзывается:

— Чего тебе? Попить?

Егорке хочется ответить, но губёнки слиплись, едва их разнял, а в горле вместо голоса что-то булькнуло. И вдруг услы-

шал он материн шёпот, какого никогда ещё не слышал: шёпот и сморканье, и какое-то повизгиванье в её горле. И услышал:

— Владычица, Матушка!.. За что же так дитя безвинное страдает?.. — И перенесла его в избу, на кровать.

Понял Егорка, что мать всё-таки его жалеет, но более всего понял, что ему её ещё больше жалко. Так жалко, что, если бы мог, плакал бы день и ночь, всю бы жизнь плакал. Но не плачется — весь насквозь высох. Лица матери не видел, потому что видел стену, а на стене старая побелка потрескалась на мелкие такие, извилистые бороздочки, и глаз невольно тянется — куда они ведут?.. То кажутся эти бороздочки большими, бесконечными дорогами, путаными, сплетёнными, как невод, — по таким дорогам всякий заблудится. А вот шла, шла дорога и провалилась в щель бревна, а из щели усы таракана торчат. Ух, какой матёрый!.. Потянулся пальчиком к таракану, но пальчик зацепился за дырочку старого одеяла и не мог подняться. Ну и не надо. Смотрел на таракана, а вспомнил муравья: в прошлом году Ванька Агафонов у муравья квасу просил на палочку.. Ванька давал Егорке полизать палочку, и правда, кисло было на языке. Значит, делают муравьи квас. Умные.

Егорка поворочал во рту языком, и почему-то захотелось ему квасу. Вот целый жбан бы выпил. И проскрипел он что-то, а мать поняла, что совсем отходит. Подошла к нему, наклонилась, а он ей сердито так:

— Ква-су-у!..

Она так и бросилась со всей прытью на улицу: своего-то квасу не было, а в доме и своих корчаг не было, чтобы квас делать. Для сусла занимала у Касьяновых, а у них всегда квас бывает. Прибежала туда и, еле переводя дух, сказала:

— Спиридоновна, родимая, квасу мой-то болезный захотел. Либо это перед смертью, либо...

— Нет, уж это на поправу! — Спиридоновна тоже заспешила, даже сама пошла к Петровне в избу — будет ли пить и сколько выпьет Егорка квасу?

Припал Егорка в самом деле к квасу, и даже ручонками уцепился — едва отняли. Нельзя же сразу давать сколько хочет. Ручонки его, сухие палочки, так и трясутся от жажды, а лицо в мелких старческих морщинках. Шейку хоть перерви, как и голова на ней держится? Когда он пил, кожа на его лице ещё страшнее сморщилась. Спиридоновна молча покачала головой и про себя решила: не к поправке этот квас, а к близкой смерти. Егорка повалился на подушки и сразу задремал, и не проснулся до самого утра. И весь день потел и спал.

К вечеру приехал с пашни Митрий, услышал о квасе, подошёл к Егорке, долго сидел, не мог спать, вглядывался в спокойное лицо крепко спящего Егорки, и бронзовое, загорелое

на пашне лицо отца просияло улыбкою надежды: Егорка не только спит, но личико его в пузырьках от пота. Значит, выживет крепкая мужицкая кость. И рассказал Елене, что поспела одна, первую вспаханная, полоска пшеницы-черноуски. Как мех чёрно-бурой лисицы, в этот день волновались золотые, тяжёлые, с длинными чёрными усами колосья.

Так и рассказал — картинкой.

Узнала бабушка Аксинья про историю с квасом, незваную явилась и распорядилась: наскребли ножом редьки, нажали редечного соку, потом натолкли из сломанной хрустальной рюмки мелкого песка, просеяли через мелкое сито; смешавши, сама проследила, чтобы Егорка выпил всё до последней капли и проглотил бы последнюю песчинку.

И никакой тут выдумки нет, а сущая правда: от кислого ли квасу, от редечного ли соку с битым стеклом, но начал Егорка явно выздоравливать...

Через какую-то неделю к этой именно полоске поспевшей пшеницы привёз Митрий Егорку, к первому дню жатвы всей семьёй. Несмотря на летнюю жару, Егорка был завёрнут в материнскую, ту самую, порванную, но всё ещё дорогую беличью шубку, в которой Елена впервые приехала со всем своим приданым в дом свёкра почти пятнадцать лет тому назад. Егорка не мог ещё держаться на ногах, но мог сидеть и улыбаться сморщенным личиком древнего старца. Все, глядя на него, смеялись. Из телеги его на руках перенесла Елена, как пёрышко, а Егорке было жалко маму — как бы не надорвалась. Даже Микола жалостливо улыбался, глядя на братишку: он один всё ещё не верил, что Егорка выживет. Но Митрий был счастливее всех. Он сразу же согнул спину и поклонился зреющей ниве, ловко и быстро аглицким серпом нажал и завязал первый сноп, даже не распрягши лошадей. Пшеница приветливо пошептала с острым серпом; горсти Митрия были полны и щедры, когда он укладывал её в сноп, и, когда увязал, поставил сноп и пнул его ногою, сноп лёг на жниву. Тогда он подошёл к сидевшему на травке у края полосы Егорке, взял его на руки, перенёс и посадил на первый сноп.

— А ну-тко, сын, садись на сноп. Ах, курва-марва эта хворость, работника у меня самого золотого из артели выбила. — Егорка смотрел вокруг, глазам своим не верил, все: и Оничка, и Фенька, и Микола — смотрят на него как и впрямь на золотого, а Митрий повысил даже голос: — Вот нажнём да на мельницу отвезём, мать нам бе-елых калачей напечёт, ешь, сын, поправляйся. А пока что сиди на снопе, командуй, будь царём, едят те мухи!

Совсем похожий на девочку в беличьих мехах, Егорка морщил личико в улыбке и в ярких лучах летнего погожего утра,

которое слепило его глаза. Впервые в своей жизни увидел он полоску пшеницы, как никогда ещё её не видел: она волною чёрного золота переливалась и кланялась ему, и отцу его, и матери, и брату, и сестрёнкам, и лошадям, которых Микола только что распряг и уже путал на соседней лужайке. В этот именно короткий промежуток времени случилось то, что стало для Егорки вечностью. Так это было на всю жизнь незабываемо. Мать пошла на край полосы и там своим серпом срезала несколько высоких, сочных розовых медунок — иначе он их имени не знал — и поднесла их Егорке. От цветов пахло мёдом и прохладой невысохшей росы и ещё чем-то, что трудно объяснить, но что помнится всегда весною, когда поднимаешь к лицу ветку цветущей черёмухи. И потому ещё Егорка не забудет этот дар матери, что у него невольно, совсем не по-детски, с хрипом пересохшего в горле голоса вырвался вопрос:

— Ма-амынька! — он тут захлебнулся и с трудом закончил: — Это кто... Кто это их такие сделал?

И было к месту, когда просто и уверенно, прямо, не задумываясь, ответила ему Елена:

— Кто же больше, мой сыночек, как не Господь Бог! Только Он всё сотворил: и небо, и землю, и птиц, и животных, и цветы, и пчёлку, которые нам мёд приносят... — И, сверкнувши серпом на солнце, она склонилась к полосе и, набирая в руку срезанные колосья, запела голосом высоким и свободным, но до слёз прекрасным:

— Коль Славен Бог, Господь Сиона!.. — И даже Митрий не очень в лад стал подтягивать: — Везде Господь, везде Господь!

Да, это истинно так: в это незабываемое утро маленькой душе Егорки, едва теплящейся в его иссохшем в долгом, невинном страдании тельце, открылся Бог во всём Своем сиянии, во всей Своей беспредельности и светозарной красоте.

Не умея осмыслить своего чувства, Егорка впервые как бы в молитве поднял радостный свой взгляд наверх, поверх полоски хлеба, через соседний косогор за ручьём и увидел на голубом небе белое облако. Оно медленно проносилось, как длинная белая птица, раскинув широко свои прямые, с перьями в завитках, крылья, свободное и счастливое в своей недостижимости. Никто и никак не поймает, не удержит его — вот это смутно и безотчётно, но мягко и навсегда прикоснулось к еле бьющемуся Егоркиному сердечку и осталось в нём навсегда.

Потом глаза Егорки закрылись, слишком много было для них вместить всё, что они видели, но надо было что-то закрепить, закрыть глаза, запомнить. Когда же он их открыл,

увидел лужок, на котором паслись Гнедчик и Игренька, и около них лежали их неотлучные сторожа-спутники — Цыган и Булька, а за лужком, забежавши по белые колени, — так и показалось, что босая, только в белых длинных чулках, — стояла зелёная белоствольная берёзка, и роса на её листочках отливала многоцветными звёздочками, точно как тогда, в ночном небе, когда он видел множество открытых окошечек, в которые с неба спускались на ночь на землю все ангелы хранить детей. Где-то тарахтела далеко телега по просёлку, а ещё дальше, из-за медленно поднимавшегося вверх увала, донеслось ржание лошади. Гнедчик раздул ноздри и, высоко поднявши голову, ответил с явным приветом дружелюбия. Но глаза Гнедчика расширились, и в них блеснули, рядом с белками, тёмные огоньки с синевою. Ясно, что лошади знали, о чём перекликались, но для Егорки это было непонятной тайною. И показалось тогда Егорке, что в ответном ржании Гнедчика на далёкий зов какого-то чужого коня был весёлый смех, почти что хохот. Так всё было вокруг весело и радостно.

Внизу сверкала тихая речка возле мельницы Шмаковых, речка Таловка, и уплывающее вдаль белое облако тоже смеялось оттого, что унеслось уже так далеко: никто не догонит, не поймает. Тут Егорка прищурил глаза — подождите! Это же ангел Божий летит. Самый настоящий, с перистыми, заострёнными на концах крыльями. Точь-в-точь такой, но только ещё лучше, как он видел где-то у мамы на картинке в книжке. И вспомнил он старичка седенького, которого мать приютила в их избе на весь Великий пост. Да, мама называла его ангелом. Есть ангелы! Есть! Егорка от усталости закрыл глаза и не мог их открыть. Сон одолевал его, с непривычки упился запахами поля, свежей пшеницы и медунок, что держали его слабые, сморщенные, восковые ручонки.

ХII

Первая копейка

Так никто и не интересовался, какая у Егорки была болезнь — не умер, и этого довольно. Только к осени окреп, потому что отец всё время брал его с собой на пашню, на покос, на молотьбу — всё лишний кусок сунет ему в рот: «Ешь, поправляйся».

Но болезнь выходила из него медленно и мучительно — нарываами. Такие большие, то на животе, то на спине, поднимаются бугром, в середине жёлтая точка и вокруг опухоль.

Пока прорвёт — измучит, ни спать, ни играть не даёт. Но всё время Егорка на ногах, на улице. Набегал к осени опять чёрные «цыпки» на ногах, а сапог и к зиме, хоть бы старых, не было. Зима опять длинная, а зимой ещё нарывы, на этот раз на горле. Совсем задышался: ни дышать, ни пить, ни есть. И опять-таки хворал на ногах. Как-то побежал во двор по нужде, поскользнулся на льду, упал, заревел — голос появился, из горла хлынул гной с кровью. В избе прохаркался, мать обрадовалась: оживёт парнишка. Так и есть, ожил. Но какая там школа? Целыми днями сидит на печке, в табачную коробочку с караваном богдыхана собирает всякие хорошенькие мелочи. Бумажечки от конфеток, которые когда-либо съел, рассматриваются вновь и с новым интересом, подолгу и с прищуркой: там целые миры, в этих невиданных картиночках.

В церкви Егорка давно уже не бывал. Летом босого не пускали, а зимой и вовсе не в чем выйти. Даже Елена часто по воскресеньям сидит дома. Беличью шубу её дети, укрываясь в зимнюю стужу во время сна, совсем разорвали на части. Беличий мех трудно сшивать кусочками. Одна пелерина с длинными кистями — беличьими хвостиками — осталась целой, но в ней одной в церковь не пойдёшь. Лежит в сундуке до какого-нибудь радостного дня. По утрам в праздники Егорка вынет из отдушины над печкой тряпку, служившую затычкой, вместе со струёю свежего, холодного воздуха врывается отдалённый трезвон колоколов — обедня отошла, скоро Оничка или отец придут с просвиркой. Обедать будут. Но в трезвоне колоколов слышится Егорке всё одно и то же: «Бедная моя-то, бедная моя-то!». Это относит он к матери, всю свою жалость на неё переносит. Это о ней и колокола печально поют: «Бедная моя-то!». Нет, в школу Егорку в эту зиму не удалось отдать, да и школы не было. Учителя не прислали, а весной, как раз на Пасху, и лазарет сгорел, в котором помещалась школа, откуда прошлой зимой Митрий увёз учителя куда-то в горы.

Опять была суровая зима. Дни жизни тогда были длинные-длинные. Потом, когда годы будут спускаться, как занавеси, одна за другою, Егорка забудет их скорее, нежели те дни его первых лет жизни, когда он стал учиться грамоте. А грамоте он стал учиться у малограмотной матери, которая писать не умела, но показывала Егорке буквы в книжке и говорила:

— Видишь, вот это А, а это Бе! Ну повтори за мной: Бе-А-Ба, Ве-А-Ва.

Он подхватил, и через два-три дня, сидя на печке, босой и голодный, тарабанил во весь голос:

— Бе-А-Ба, Ве-А-Ва, Ге-А-Га! — И ему это так нравилось, что он совсем забывал вытирать нос, под которым было хронически мокро.

Все ребяташки, рождённые в нищете да в холоде, так сопляками и росли, пока окрепнут, — лет до десяти.

Но ведь многие из них не выживали: рождались всегда под осень. Летняя страда для матерей была вдвойне изнурительной: надо жать, и косить, и молотить, когда ребёнок уже на сносях. Потому рождались прежде времени, как раз к зиме. А у матерей молока мало: один ещё от груди не отсажен, а новый уже родился... Не выживали. Отцам приходится копать могилки ещё в застывшей земле, в марте — редко доживали до весны; так и Егорка вытянул, но простуда с младенчества каждую зиму выходила из него носом.

А тут ещё почти год хворал, чудом выжил.

Но, Господи Боже мой, как была счастлива мать, когда Егорка сам, забыв о сырости под носом, достал из печки тонкий уголёк и на полях висевшей на стене картинке «Под вечер осенью ненастной» напечатал очень старательно: ДОРГІ.

Пришёл как раз соседский подросток, умевший читать. Он сразу же так и прочёл: «Дорги». Но Егоркина мать его поправила: «Деоргий». Буква Д уже для неё и для Егорки была Де, зачем же ставить Е? Но соседский грамотей и её поправил: по календарю Егора звать Георгий. Егорка жадно слушал, но соседу не верил: мать его знает лучше всех. Так и писал себя по имени Егория Храброго: ДОРГІ; «и» с точкой для него было твёрдо и достаточно вместо «ий», пока не поступил в школу, год спустя, когда ему стукнуло восемь с половиной.

Но как он впервые попал в школу? Об этом стоит рассказать. Во-первых, мать его первая увидела учительницу на улице. Высокая, красивая и молодая, в безрукавом тёплом доломане и в белой шапочке, она появилась на белоснежной улице, как сновидение. Во-вторых, Елена сидела несколько вечеров, шила для Егорки сюртучок. Так точно: сюртучок из того самого дедушкиного, старого, разорванного в драке между Оничкою и Миколкой сюртука, Егорке сюртучок по росту. И утром рано сняла с себя свои старые валенки, надела на Егорку, полы сюртука доходили как раз до колен ему, а валенки тоже до колен.

В этом виде она поставила его перед иконами, сама, босая, стала позади и приказала помолиться. Сама читала молитву, Егорка повторял, потом сказала ему:

— Поклонись мне в ноги, скажи: «Маменька, благослови».

И поклонился Егорка, сказал: «Маменька, благослови», и от себя прибавил: «Христа ради!». И эти, эти прибавленные самим Егоркою слова: «Христа ради!» — вызвали у матери слёзы. Она наклонилась к нему, поцеловала и перекрестила его трижды. Надела на него Миколину старую заячью шапку, а поверх сюртучка намотала крест-накрест через грудь

праздничную шаль, подарок свекровки, Соломеи Игнатьевны, и в этом виде Егорка потащил большие валенки от избы по снегу вверх по улице. Мать, босая, стояла на крылечке, крестилась, плакала и, может быть, мечтала, что вот пошёл её Егорка в жизнь иную, новую какую-то, по мысли Елены, по молитвам её кротким, с мечтою о немногом, о возможном, по Господней милости.

А школа была в новом месте, вернее, в старом большом доме, бывшем доме управляющего рудниками Ползунова, в котором теперь занимал одну половину отставной лекарь Иван Никифорыч. Над домом этим зиму и лето шумели те самые тополя-гиганты, которые серебрились зимою, зеленели всё лето, переполненные разными птичками с оглушающим щебетом, и золотились долгую осень, как две золотые горы, по обе стороны села. Сюда и дотянулся, против ветра, Егорка. И пришёл он вовремя, до прихода учительницы. Ребятишки шумели в классе, и в соседней пустой зале, и на улице. И уже во время первой перемены они окружили Егорку и дёргали его за полы сюртучка, смеялись и выкрикивали: «Конторский! Смотрите — барин, господин!». Но Егорка выдержал. Он с первого часа в школе был захвачен невиданным зрелищем: учительница! Ой, какая она красивая! Даже красивей его матери, и даже Ольги Жеребцовой, только ещё выше и нарядная. Смотрит он на неё, а слов её не слышит, не разбирает, только голос — такого не бывает у людей, наверное, вот такой бывает у ангелов.

Простил Егорка школьникам насмешки над его сюртучком.

Но вот при выходе из школы ребятки толкнули его в снег, он и вывалился из больших материнских старых валенок. А они ещё и снегу в валенки насыпали. Босой, он замёрз, плакал, едва дошёл до дому, но и это простил. Однако рассказал матери о насмешках и о том, как его «вывалили» из валенок. Тут мать и сказала:

— Ты же им простил? Ну и забудь, молись Богу да учись. Старайся.

Ах, какое это было счастье — сидеть в тёплой, светлой огромной школьной комнате и неотрывно любоваться развешанными по стенам картинами: на одной стене были картины из Закона Божия — двенадцать годовых праздников — это особенно хорошие картины; а на другой — человек со снятой кожей, человек с открытым животом, так что все кишки видно, и потом скелет человека... Эти картины он не любил, даже боялся на них смотреть, когда оставался в классе один, а оставался он часто «без обеда», потому что сидевший с ним рядом Андрюша Зырянов, купеческий сынок, всегда

так подстраивал, что Егорка громко хохотал. Нападёт на него смех, не может остановиться, и учительница после третьего предупреждения вдруг покраснеет и закричит:

— Ну теперь ты будешь сидеть без обеда!

Правда, она потом вскоре приходила и раньше времени его отпускала, но он хотел бы оставаться дольше. Уж очень скучно, и темно, и убого, и холодно в родной избушке. Вот в один из таких-то одиноких часов в классе как-то перед Рождеством пришло ему в голову — попробовать писать «по-мелкому». Его первая тетрадка была уже исписана «по-крупному», по косым линейкам, он ещё совсем не знал грамматики. Но была у него белая бумажка: учительница выронила из шкафа листок, и он его берёт много дней. Он налиновал по нему прямые поперечные линейки и со страхом подошёл к столу учительницы, впервые взял в руки её чернильницу и её перо — ими, наверное, лучше выйдет, — и, севши на своё место, стал писать мелко-мелко. Вышло! Попробовал писать быстрее — тоже вышло!

В тот первый год в школе всё было первое и всё было радостное. Впервые он принят был в церковный хор, и, хоть голосок его был очень слаб, Егор Митрич, регент из Воронежской губернии, не исключил его, и даже звал на спевки. Это было тоже первое и радостное, потому что на спевках, по очереди происходивших в разных домах, давали чай с сахаром и с пшеничным хлебом, иной раз даже с пирогами. Егор Митрич звал его «тёзка» и первый узнал, что Егорка к Рождеству уже научился писать «по-мелкому». Об этом Егор Митрич рассказал на Слободке, где жили зажиточные переселенцы из Воронежской губернии. Сам Егор Митрич был хорошо грамотный и даже переписывал ноты, но на Слободке больше грамотных людей не было, а надо было писать письма на родину, родне наиболее состоятельных и недавно построивших большой дом переселенцев.

Первое это было Рождество, когда в снежную метель, морозной ночью, вместе с отцом и старшим братцем Егорка брёл по сугробам на гору в церковь, и, когда все люди должны были стоять в церкви тесной толпой, Егорка торжественно протолкался к клиросу и втиснулся в группу певцов как равноправный. Это был первый год, когда он вместе с хором на дровнях-розвальнях объезжал богатые дома и пел тропари и многолетия хозяевам и весёлые колядки — новость, привезённая в Сибирь Егором Митричем из Воронежской губернии.

И вот тут-то и случилось, что, когда они отпели и отпотчевались в самом большом новом доме переселенцев, бабушка, строгая глава всего семейства, спросила Егора Митрича:

— Не той ли то голубок, что писать письма может? — Голос её был басовитый и растянутый, как будто слова она не говорила, а напевала.

— Той-той самый! — сказал Егор Митрич и погладил по белокурой голове мальчонку.

— Ну, коли слободный будешь, приходи, письмо мне напишешь, я те копейку дам. — Старушка тоже прикоснулась к волосам Егорки, и пошло от этого прикосновения такое славное тепло, а от руки запахло воском: она только что зажгла свечку перед образами, чтобы христославы пели более молитвенно.

Рождество на Руси празднуют до Нового года, и потом через Святки до Крещенья. За эти две недели Егорка усиленно практиковался в писании и все свои старые тетрадки исписал между строчек, всё «по-мелкому», а в Крещенье после обедни в морозный день долго по сугробам, борясь с резким боковым ветром, плёлся на Слободку — это около версты. Когда пришёл, старые материны валенки были полны снегом — очень они для него были велики, а мать же кацавейка, сползавшая с его плеч до пола, раздражила хозяйских собак, так что они чуть его не разорвали. В слезах и страхе был он спасён хозяином, высоким, бородатым сыном старушки, отцом большого семейства. Когда вошёл в тёплый, светлый дом, тут же на полу, плача и швыряя мокрым и застывшим носом, сел и сбросил вместе со снегом растоптанные валенки с ног и собрал вокруг себя всю удивлённую его бедностью и жалким видом семью переселенцев. Молодица, жена младшего сына, что в солдатах, вытерла его ножонки, ребятки стаскивали кацавейку, а сам хозяин снял с Егорки шапку и утешил:

— Ну ничего, не до смерти. Не пла-ачь!

И стыдно стало Егорке своих слёз: пришёл же он сюда писарем, а вот расплакался. И через силу усмехнулся над собой Егорка, встал на ноги, припляснул на тёплом полу и рассмешил всё семейство. А бабушка уже распорядилась, чтобы прежде всего его накормили. И вкусен же был этот первый воронежский борщ с наваристым, янтарным жирком и мягким белым хлебом!

Всё семейство собралось вокруг стола, когда он был освобождён от чашки, ложки и крошек хлеба. Чернильница Егорки была верёвочкой привязана к лежавшей на полу кацавейке, и это развеселило всё семейство. Он отвязал непослушную нитку, с трудом, зубами, вытащил пробку из бутылочки и вынул из кармана новых праздничных штанов перо, привязанное к простой палочке, и, вооружившись этой самодельной ручкой, сел за стол, всё ещё босой, с всклокоченными волосами, розовый и от мороза, и от вкусного обеда, и от волнения.

Бабушка торжественно вышла из горницы, приложив к сердцу листок бумаги. Вот она положила листок на стол перед Егоркой и сказала:

— Гляди не спорь. Зырянов на копейку только два листка даёт.

Гладко-скользящий и приятный на ощупь был этот листок. Руки Егорки дрогнули, когда он стал обмакивать перо в бутылочку с чернилами, — как бы не пролить на бумагу и на чистый некрашенный стол. Егорка стряхнул капельку в бутылочку, как это он видел в школе — батюшка-законоучитель так делал, и, держа в руке перо, смотрел на чуть заметные линейки на бумаге и радовался, что есть линейки, — по ним он не скривит. Наступила торжественная минута всеобщего молчания. Но вот бабушка перекрестилась, поглядела на сына и на сноху, и на всех ребят, и даже на молодницу, стоявшую у печки, и сказала:

— Ну, Господи благослови. Пиши: письмо на родину от сестры вашей...

Егорка так и начал: «Ну, Господи благослови...» Он так волновался и хотел не отстать от слов бабушки, что опять забыл про нос, из которого вот-вот капнет на письмо... Но он вовремя ушвыркнул жидкость. Молодица догадалась: она поспешно ушла из стряпчей, в которой происходило всё событие, и тотчас же вернулась и положила перед Егоркою красный маленький платочек. Егорка догадался. Положил перо, впервые в жизни высморкал нос в чужой платочек и в это время понял, что слово «пиши» писать не надо, и продолжал: «Письмо на родину...»

Сразу же начались поклоны и повторения: «И ещё кланяемся...». И это помогло Егорке ускорить писание. Он так сильно скрёб пером, что хозяин встал, подошёл, нагнулся, посмотрел и сказал:

— Явственно пишет... — Это придало Егорке больше бодрости, но и намекнуло: надо писать явственно. Вскоре исписалась вся первая страница, и у Егорки, пока она подсыхала, была возможность снова высморкать нос, а пальцы его с трудом разняли скользящий листок и разгладили его во всю широту на столе. Поклоны продолжались всю вторую и всю третью страничку, и только на четвёртой было сказано: «Ну а мы все живы и здоровы, и урожай у нас был Слава Те Богу». И наступила опять минута молчания и переглядка всех со всеми.

— Чего же ещё им написать? — спросила бабушка как бы самой себя.

— Дыть чего ж ещё? — отозвался сын-большак. — Ахрамея быдто забыли. — «И ещё кланяемся Ахрамею Зиновичу

с семейством по низкому поклону и желаем от Господа Бога доброго здоровья и в делах ваших всякого поспешения».

— А Маланью ж, вдовуху? — подсказала молодица, потому что Маланья была ей родня.

— Ну и Маланье, — скомандовала бабушка, и Егорка уже сам всё написал от поклона до всякого поспешения.

Бабушка опять важно пошла в горницу за конвертиком и, когда вышла, озабоченно взглянула в окно на закатывавшееся солнце. Потом, положив конверт перед Егоркой, сказала:

— Ну, прочитай, чего там написано. А опосля адрес напишем.

Прочитал Егорка бойко, голосисто, все слушали и вспоминали, всех ли перечислили, и главное, явственно ли написано. Всё было явственно.

Адрес на письме было писать нелегко, уж очень он длинный, едва влез в конверт, но тоже всё было сказано: и губерния, и уезд, и волость, и деревня, и имя брата бабушки, даже по отчеству названного.

Платёж за писание письма производил сын бабушки. Он вынес из горницы две монетки — так это было ясно потому, что он звякнул ими, задержал в руке, должно быть, был намерен заплатить Егорке двойную цену: уж очень всё вышло гладко и складно в письме, а мальчонок, видать, бедный. Но он переглянулся с бабушкой и не посмел нарушить условия — отдал одну копейку.

Было уже почти темно, когда Егорка подходил к родной избе. Руки его страшно коченели, потому что, кроме копейки, дали ему переселенцы полную бутылку подсолнечного масла, в гостинчик для матери, а бутылка всё время холодила руки, и как он её ни старался прятать под полу, она выскользывала, а надо было её держать и донести целой, потому что она стоит куда больше копейки, может быть, даже три копейки, а скорее всего, ей и цены нет, потому что в Егоркиной избе хоть и бывает скоромное масло по праздникам, но подсолнечное он видал только в Великий Пост в прошлом году. Мать его будет просто счастлива, когда увидит, что не напрасно она вымолила у отца согласие отдать Егорку в школу.

Ноги закоченели, весь Егорка продрог от долгого пути по метелице, но торжественно, с широкою улыбкой, постучался в дверь, примёрзшую в притворе, так что сам он открыть её никак бы не смог. Открыл ему Микола. Семья была вся в сборе, к ужину. Егорку встретили как героя.

...Пройдёт много лет в жизни Егорки. Может быть, он станет сельским писарем, может быть, даже фельдшером, а может, ещё кем-либо побольше фельдшера, но эту первую свою копейку, заработанную им с таким трудом и с такой честью,

он будет беречь в памяти как самую великую награду, как ключ к тому свету, о котором смутно мечтала и молилась его мать, Елена Петровна.

XIII Егоркин грех*

Егорке только после Пасхи пойдёт двенадцатый год, а перед Великим Постом, на Масленой, он впал уже в первый грех. И вот как это случилось. Катушка была устроена как раз против дома лекаря, где помещалась сельская школа. К вечеру на неё стекалось много народу, молодые, старые и дети. Стояли они с двух сторон, а парни, садясь на свои саночки, — некоторые ярко покрашены, с крутыми выгнутыми передками, — едут потихоньку по узкой, покрытой льдом дорожке, как по коридору, и выглядывают, кого бы из приятных девок пригласить. Девушки жмутся, прячут стыдливые улыбки в рукава, ломаются, а потом садятся — знают, что в конце катушки парень получит плату за удовольствие крепким поцелуем.

Егорка выпросил салазки у Андрюшки Зырянова. Тоже молодцом катается, больше приглашает кого-либо из школьных товарищей, а тут, как на грех, увидел среди густой стены народа Маничку поповскую. Хорошенькая, на год его младше, в беленькой шапочке, с белою же муфтой на руках и в синей шубке. Барышня, да и только. Проезжает мимо, задержал салазки железными «бороздилками» как раз против Манички, и громко приглашает:

— Эй, Маничка, садись, прокачу!

Маничка даже и не колебалась. Знает, Егорка не опрокинет, да и в школе рядом на одной парте сидят. Села, подобрала подол шубки и юбочек, чтобы ветер не приподнял, и Егорка покатил как настоящий холостяга, только шум в ушах стоит. А в конце катушки возьми да и поцелуй Маничку. Она не успела даже одуматься, ничуть не сопротивлялась, а когда он поцеловал, увидела, что прохожие улыбаются, метнула на него серыми большими глазами, надула губки и крикнула:

— Бесстыдник какой! Вот я Ольге Афиногеновне нажалуюсь!..

* Эта глава является исправленным рассказом «Грешник» из первого тома рассказов автора «В просторах Сибири»

Егорка растерялся, стоял на месте и не знал, идти обратно на горку или уходить домой? Да и домой идти неохота, а на катушку — там люди засмеют.

Подкатила ещё пара, парень и девица. Девица спрашивает:

— Ты что? Ушиб Маничку — она идёт и плачет?

— Нисколько я её не ушиб! — мямлит Егорка, а сам смотрит вслед за Маничкой: она пошла не на катушку, а прямо домой, а дом как раз возле церкви, на горе.

Егорка струсил: нажалуется она не только учительнице, но и самому батюшке, отцу Петру. Вот беды наделал! И потерял Егорка покой. Ждал в тот же вечер, что батюшка пришлёт трапезника, Матичку Плохорукого, за его отцом, а отец уже и задаст ему баню. Вечером даже блины плохо ел, всякий шорох за дверью казался ему зловещим шорохом гонца от батюшки.

Но и неделя прошла, Прощальный день миновал. Гонца не было. В Чистый понедельник пришёл он в школу. На Маничку лишь изредка, украдкой, взглянет — дуется, в его сторону ни взгляда, ни улыбки. Хоть бы рассердилась ещё раз. Не желает и замечать Егорку. Даже в общих играх ни Маничка, ни Егорка не принимали участия. После перемены, он смотрит — она пересела от него подальше. Видел, как шепталась, значит, даже этим, школьникам, всё рассказала.

Достал свои книжки, раскрыл, вчитывается, а ничего не смыслит. Отупел. На весёлые расспросы товарищей не может ответить, а сам подозревает, что и они уже всё знают. Чёрной лавиной влились все в класс, затихли, шёпотом предупреждают один другого:

— Ольга Афиногеновна идёт. — Учительница во время перемены уходила в половину лекаря, там она курила; все дети это чувляли по аромату от её платья, но никто не выдавал её в селе, никто не доносил родителям, что она курит. Любили её очень, и все до единого. Егорка слышал, что на половине лекаря раздавался громкий голос и окатистый смех отца Петра. Значит, она всё знает. Вот начнёт допрос и при всех Егорку опозорит. Все тихо ждут. Ольга Афиногеновна говорит так же мягко и распевисто урок. Нет, не вызвала Егорку, даже ни о чём не спросила, даже не взглянула в его сторону. Значит, всё ещё впереди. «А может быть, ещё не нажаловалась?» — сверлит в мозг Егорки. И тут же появляется догадка: значит, после школы подойдёт и нажалуется. Но и классы прошли, Егорка трепещет.

— На молитву! — командует учительница. — Прочли молитву, учительница только и сказала: — Тише, тише!..

Разошлись, разбежались все по домам. Никто и ничего Егорке не сказал. Но грешный мозг его тревожит: «Значит,

сам батюшка в субботу придёт на Закон Божий и с тобой расправится!» Но неделя прошла, и батюшка был в классе. Пели молитвы, учились. Ничего.

Всю неделю Егорка ждал каких-нибудь последствий, и вот наконец в следующую субботу батюшка очень строго спрашивает урок, а он, Егорка, хороший школьник, всегда отвечавший без запинки, молчит и смотрит в парту, а не в глаза законоучителя. И слышит:

— Да ты что? Шары гонял, не выучил? Мало тебе было масленицы — кататься да на собаках ездить? Останешься без обеда и будешь учить вместо одного два урока.

И остался Егорка в классе. Он любил оставаться, когда дома было всё равно и голодно, и тесно. Но мучается он вопросом:

— Неужели ещё не пожаловалась? Так чего же она дуется и так и не посмотрит? Если бы хоть посмотрела, он улыбнулся бы, даже попросил бы прощенья.

Сидит Егорка один в классе, а батюшка не идёт, не отпускает его. Уже и темнеет, а он сидит. Наконец за дверьми слышатся тяжёлые шаги, но это не батюшка, это сторож. Строго на Егорку:

— Ну, ты чего сидишь? Иди домой!

— А батюшка? — робко спрашивает Егорка.

— Ну вот ещё, будет батюшка обо всех помнить! Иди, говорю, я за всё отвечу.

Виновато бредёт Егорка домой. Ведь и дома поймут, что он был оставлен без обеда. Несмело просит есть, читает свои книжки, зубрит уроки и Закон, но всё это читается, а плохо запоминается. Но выучил он хорошо, а ответить батюшке опять не мог. Всё ждал того страшного вопроса: «Как ты смел, а, как ты смел?».

Но вопросов не было, а спать Егорка стал в полубреду, во сне видит: все в классе смотрят на него и ждут ответа, уже от него ждут: «Скажешь или нет сам?».

Поблудил Егорка и учительнице отвечал плохо. И так все шесть недель Великого поста. А в конце шестой недели, накануне Вербного воскресенья, батюшка в школу не пришёл.

Ольга Афиногеновна внесла новый душистый запах вместе со своим платьем и весело всем объявила:

— Занятий в школе не будет до Фоминой недели. Но... — Она подняла тоненький, нежный пальчик правой руки (левая рука её была повреждена, прикрыта концом шали, свисавшей с её плеч). — Но всю Страстную неделю будете говеть! Значит, с завтрашнего дня будем все приходиться в церковь: к утрени, обедне и вечерне. Слышите? Так наказал мне батюшка. Да смотрите, в церкви не толкаться, не шептаться, не шалить!.. Ну идите... Да тише. Тише!..

Но не успокоился Егорка. Домой шёл нехотя, понурился, потеряв что-то и не мог найти. Отец его прорывал возле избы канавки для проворных мутных весенних ручейков. Было ещё рано, солнце растопило последние остатки снега на повети, с крыши звонким дождём сыпались капли, в соломе на повети задумчиво и деловито рылись куры и петух. Егорка невольно слышит, как одна из них точно и по складам твердит:

— Ку-у... Ку-у-пи-ка-мне-плато-чек!..

Это немного развлекает его, он задерживается, прислушиваясь к этому куриному разговору, и смотрит на петуха, который, выпятивши грудь и потряхивая красным сбочившимся на сторону гребнем, строится над болтливой женой. Как и полагается экономному супругу, он строго спрашивает курицу:

— Как-ой те-бе пла-точек? — Да, это он выговорил скороговоркой, потому что другая курица только что слетела с омета соломы, значит, там яичко снесла.

Отец взглянул на сына с теплотой весеннего, предпраздничного умиления и попросил:

— Слазь-ка, сынок, на поветь, поищи, не снесли ли куры к празднику какое лишнее яичко?

Егорка бросил сумку с книжками на крылечко и полез на поветь. Петух забеспокоился:

— Ты-кто-такой-сякой?

И когда Егорка разыскал в соломе целое гнездо яиц, уже не одна, а несколько куриц заорали:

— Ты-ку-да-а-тут? Ты-ку-да-а-тут?

Всё это было смешно и радостно, что нашёл около дюжины яиц, но отцу не мог сказать: не хватало радости, чтобы крикнуть. Сосчитал яички, уложил их бережно в шапку, сел на солому и посмотрел вдаль, мимо соседних крыш, в сторону церкви и на батюшкин дом. Вопрос сверлил его белокурую непокрытую голову: «Жаловалась она или так и не пожаловалась никому?». И тут же внезапно осенила его голову освобождающая мысль: «А что если самому... батюшке сказать? Вот же буду говеть, и покаюсь!..».

Взял шапку с яйцами в зубы и стал спускаться по шаткой лесенке с повети. Поднял с крыльца книжки, вошёл в избу и весело поднёс матери шапку с яйцами:

— Гляди-ка, мама, на повети целое гнездо нашёл.

— Ну положи их на окошко, — сказала Елена, занятая шитьём. — А чего так рано из школы сегодня пришёл?

— Да видишь, не учиться, сказано, до Фоминой недели.

— То-то ты такой весёлый!

— Да нет, видишь, постовать мы на этой неделе будем.

— Постовать? — удивилась мать. — Да какие у вас ещё грехи-то? Ежели бы такие грешили, куда бы и деваться?

Егорка не ответил. Стал разбираться с книжками, и сам задумался: а ведь он по-настоящему грешен. Оттого и мучится, оттого и без обеда оставался и покоя не может найти. Да, надо покаяться! Батюшке всё рассказать. И повторял в уме: «Покаяться, непременно покаяться!».

Ходил в церковь аккуратно, молился перед иконою Спасителя с усердием, кланялся, крестился часто, становился на колени, падал, как взрослые, в земном поклоне на пол. Молитва впервые вошла в него своим глубоким, мудрым содержанием:

— «Духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми!».

В чистом и невинном его отроческом сердце в особенности вызывали порыв раскаяния слова, которые он шептал вслед за священником:

— «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему!» — Кланялся Егорка, глазёнки с умилением и мольбой устремлены на Спасителя, и он не замечает, что Ольга Афиногеновна стоит позади, делая над собою усилие, чтобы не рассмеяться над усердием маленького исповедника. Все остальные дети даже не стоят смирно, переминаются с ноги на ногу, толкаются, даже шалют, а этот, один, ничего и никого не замечая, кланяется и... Что это? Он, кажется, плачет?..

Всю неделю им говеть не понадобилось. Батюшка распорядился, что довольно и трёх дней. В среду вечером на исповедь, а в Великий четверг — причащаться.

Мать Егорки не могла не заметить в сыне упорного молчания. Он всё сидел над книжками, но книжек не читал. Но тут необходимо рассказать о том, что произошло с Егоркой на третьей неделе Великого поста.

Умер Пётр Иваныч Вяткин. Читать псалтырь по покойнику были приглашены двое стариков-грамотей, но могли быть и добровольцы, особенно почитавшие Петра Иваныча. Просили Елену иногда, на часок, постоять у аналоя и почитать. Тяжело ей было разбирать титлы церковнославянской печати. Она и послала Егорку, а Егорка, угрызаемый всё тем же своим грехом, стал читать часами, оставался со стариками по ночам, почти не спал, заменял уставших стариков, которые не оставляли его одного и чтение своё связали с постом и молитвою и за свои грехи. И вот там, впервые в жизни видя смерть близко, вчитываясь и пытаясь понять непонятные слова псалмов, он больше не из псалтыря, а из слов стариков наслушался и о смерти, и о покаянии, особенно о том, как сам царь Давид, псалмопевец,

скорбел о своих грехах и каялся перед Богом... И вот то, что сам царь Давид каялся, поразило Егорку, и, видимо, сам он, Егорка, поразил стариков, потому что целыми ночами дежурил с ними у покойника и бесстрашно стоял у аналоя, близ покойника, даже поправлял скатывавшиеся с лица его два медных пяточка, положенные на глаза для того, чтобы веки глаз не раскрывались. И после похорон подарили Егорке маленькое Святое Евангелие, принадлежавшее покойному Петру Иванычу.

Уединённо разбираясь в своих книжках, Егорка то и дело открывал Евангелие и всматривался, читал и, видимо, не всё понимал. Мать это заметила, и удивилась и умилилась. И вот что она сделала для своего сына. Она опять пошла к Катерине, и Катерина на этот раз не отказала, а дала Егорке на день Причастия то самое, много лет хранившееся новеньким пальтецо Коленки Ползунова, того самого, который уж давным-давно лежит под мраморным памятником на Крещенской Горке. Когда Егорка, меряя пальтецо, надел его, Елена ахнула: пальтецо теперь было как раз по росту и в плечах, и в рукавах, как сшитое по мерке. Не узнать Егорку — так он в том пальтеце переменялся. И сам Егорка щупал светло-серое сукно, гладил мягкую, скользящую по рукам шёлковую подкладку, совал руки в карманы — всё так было удивительно, и даже самый запах от пальто был ароматный, как сама пасхальная весна. Но мать сказала:

— Ты в нём пойдёшь только к причастию, на исповедь в таком нельзя.

Да он и сам на исповедь в таком не пошёл бы. Мать ещё и не знает, как он грешен и как он рвётся поскорей освободиться от греха самым сердечным покаянием.

Шли первые дни апреля, но по утрам подмораживало. В копытных ямочках белели льдинки. А после обеда всё опять плыло и шумело ручьями, а к потёмкам опять подмерзало. Егорка пришёл в церковь, когда там никого, кроме нескольких старушек, не было. Было полутемно, лишь кое-где мерцали тоненькие свечки перед иконами. Время до вечерни длилось, как показалось Егорке, бесконечно. Уже и народ собрался, все школьники с шумом вошли под водительством Ольги Афиногеновны. Вот и батюшка пришёл. Тихо, беззвучно шагнул на амвон, поцеловал иконки по обе стороны Царских Врат, прошёл в алтарь и тотчас же вышел оттуда в одной чёрной епитрахили поверх рясы. Значит, уже исповедь? Да, он сел на левом клиросе возле столика с крестом и Евангелием и начал исповедь. Страшно стало Егорке, но всё равно. Он решил, и он готов на всё...

Сначала проходили к батюшке старики, старухи, молодые бабы, мужики. Потом батюшка помаячил Ольге Афиногенов-

не. Она смутилась, вспыхнула и прошла на клирос, но была там совсем недолго, а когда вернулась, то, смущённо улыбаясь, шепнула всей гурьбе школьников:

— Ну идите! Да не по одному, а все. Все идите, — повторила она. — Сразу все!

Все толпой: и мальчики, и девочки — ринулись на клирос. Даже все не вошли. Многие стояли позади первых. Все положили на аналой по свечке, заранее купленной, затихли и уставились глазёнками на батюшку. Он встал на ноги. И Маничка «поповская» тут же, розовая, на щёчках ямочки. Не хотел Егорка на неё глядеть, но не удержался, видит: уткнула носик в фартучек, смеётся, как дурочка.

— Не ленились ли Богу молиться?

— Грешны, батюшка! — отвечают все нестройным хором.

— Отца-мать не гневали ли? Не ругались ли между собою? Скоромного в пост не ели ли?

— Грешны, батюшка, грешны! — Даже не успевают отвечать, так скоро спрашивает батюшка.

Ещё что-то спросил, не разобрали. Потом велел наклонить головы под епитрахиль. Егорка стоял позади, до него епитрахиль далеко, не докоснулась даже краешком. Всех оптом батюшка перекрестил и отпустил с миром. Дети сразу же вышли из церкви и разбежались по домам, а Егорка остался и спрятался среди стариков и старух. «Какая же это исповедь?» — думает он. И взял его страх: не пойти ли одному, как это делают взрослые?

Подвигался за другими опять к клиросу, и, улучив минутку, пока одна старушка долго клала земные поклоны, перед тем как выйти на клирос, он проскользнул и, не смотря на батюшку, стоял, понунив голову.

— Ты что? Разве не успел со всеми?

— Нет... Я... Я был.

— Ну так что? А?

— Я, батюшка... Это, как его...

— Ну, ещё в чём грешен? Ну, кайся, милый сын, — умилился отец Пётр. — Кайся, говори, в чём ещё грешен?

— Да я, батюшка... С Маничкой... Это...

— Что с Маничкой? С какой Маничкой?

— Да с вашей... С поповской Маничкой... Согрешил я...

— Что такое? — передёрнуло отца Петра, он даже отодвинулся от Егорки вместе с табуреткой. — Ты, парень, врешь чего-то?

— Нет, батюшка, ей-Богу, не вру!.. — Губёнки его задрожали, он еле договорил. — На масленице, на катушке... Я скатил её на саночках да и... — Он даже не посмел произнести слова о поцелуе, но батюшка пришёл в ужас и простонал:

— О, Господи, прости-помилуй!.. — И грозно посмотрел на грешника. — Иди отсюда с глаз моих, дрянной мальчишка!..

Егорка хотел ещё что-то сказать, да уже не мог. Не слёзы только, но какой-то вой вырвался из его горла, и он, пошатываясь, как нераскаянный мытарь, вышел из церкви под тёмное, хоть и звёздное небо.

Егорка был уверен, что батюшка не даст ему причастия. Если батюшка не простил, то и Бог не простит. Значит, и ученье его пойдёт опять плохо, и дома, и на пашне — везде будет ему неудача. Ну уж как будет, пусть так и будет! Он будет терпеть, заслужил...

К причастию ему мать как раз новую рубашку сшила, а брат дал свои, хоть и старые, но без дырок, сапоги, потому что и Микола не мог позволить ему идти в церковь в таком распрекрасном пальтеце и в рваных сапогах, с его же, Миколкиной ноги. В новеньком красивом пальто Егорка, правда, казался очень нарядным, и даже ещё по дороге в церковь люди его не узнавали, некоторые оглядывались. В церкви мальчишки смотрели с завистью. Егорка же трепетал: даст батюшка причастие или оставит его непрощённым?

Вот в ряду других школьников, может быть, пятнадцатым, скрестивши на груди руки, Егор со страхом и трепетом приступает. Батюшка даже задержался, не узнал, а потом широко улыбнулся и вспомнил имя:

— Приобщается раб Божий, отрок, — и выговорил очень внятно и твёрдо: — Георгий, святых Таинств Христовых, во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Если кто-либо во всей церкви был ещё счастливее его, так это, вероятно, только сам батюшка. Ясно, что сама Маничка ему всю правду рассказала, и то лишь после того, как он сам её стал допрашивать. Значит, и Маничка простила.

И вот идёт Христова заутреня. Ещё с вечера забрался Егорка в церковь. Егор Митрич с клироса увидел его в толпе, поманил пальцем: значит, даже и почёт, опять петь в хоре, хотя на спевку он не приходил, всё из-за Манички. Боялся, что и там на него уставят глаза все певчие. На нём было то же пальтецо, хотя в церкви было уже жарко. Стоял на клиросе, чуял на себе лёгкость и мягкую приятность дорогого барского пальтеца, при каждом движении руки или ноги чуял на себе особенность наряда и взгляды людей, и видел с клироса, в толпе девочек и женщин, Маничку. Она стоит с матушкой и сёстрами как раз там, у левого клироса. Взглянет или нет? Нет, ни разу не взглянула. А свечка перед её румяным личиком горит ярко, и личико её кажется ещё румянее. Нет, ни разу не взглянула в сторону хора. А ведь хор же главный, хор поёт и «Светися-светися», и «Приидите пиво прием», и «Друг

друга обымем». И так ему хорошо, он чувствует себя уже ни в чём перед Маничкой не виноватым и решает после заутрени прямо и смело подойти и... похристоваться. «Ведь это значит — поцеловать её?» — испуганно спрашивает он себя, и вместо него кто-то внутри его отвечает: «Ну а как же, она не может отказаться. Ведь и тогда, на масленице, подходил Прощёный день. И тогда все могли кого угодно целовать!»

Егорке стало жарко. Он снял пальто, держал его на руке, пел с усердием, следил за каждым движением рук и лица регента, но изредка нет-нет и посмотрит в сторону Манички. Она вся светленькая, в белом платице. Розовая широкая лента опоясывает её и заканчивается пышным бантом позади. На белокурых волосах, на самой маковке, поперёк темени, поблёскивает гребёнка, но волосы распущены по плечам, и на щеках ямочки. Значит, даже улыбается. Значит, можно с ней христоваться.

Но вот и заутреня окончилась. Егорке нельзя сойти с клироса, а Маничка после подхода к кресту, при целовании которого отец Пётр со всеми сам христовался, ушла из церкви вместе с матушкой и сёстрами.

Ушла Маничка, не удалось с ней похристоваться. Ну ничего, на полянку соберутся все школьники, и Маничка там будет. Так Егор и сделал.

После общего семейного разговенья сырной пасхой и куличом, и яичками, в новой синей рубашке, сперва пошёл отнести тётке Катерине пальтецо, поблагодарить и, кстати, похристоваться, поздравить с праздником. К крёстному отцу, к Василию Лукичу, тоже давно не ходил. Опять он укочевал в город, и Игреньюху свою, уже старую, с собой увёл. От тётки Катерины надо было к Егору Митричу: после обеда хор пойдёт с поздравлениями к кое-кому из богатеньких, но перед тем Егорка, запыхавшись, прибежал на полянку перед церковью. Там устроена качель, и ребятишек много, и там же Маничка — как раз качается, стоит на одном конце доски, а на другом — другая девочка, а посредине ряд мальчиков. Зыбают, у-ух вправо, у-ух влево! Увидела Егорку, личико нахмурилось, остановила качель. А Егорка, ничего не подозревая, улыбается во всё своё курносое лицо и идёт к ней, снял уже картуз, готовый похристоваться, а Маничка бросается к нему:

— Ишь ты, смешно! Вруша этакий! Зачем ты папе наболтал на меня? Подумаешь, к батюшке с грехами явился, «с Маничкой поповской согрешил!». Дурак! Бесстыдник! Сам же на масленице полез со мною целоваться... Кто тебя просил? А-а, стыдно, то-то вот!.. Покраснел!.. Девочки, смотрите на него, грешник новый проявился...

Если бы могла земля под ногами Егорки провалиться, легче бы ему было. Но земля не провалилась, и ноги его не слушались, только в глазах всё зарябило, вся полянка и качель покрылись туманной пеленой. И не пошёл, а побежал Егорка под гору от зелёной полянки с качелями. Яичко, приготовленное для Манички, выпало из рук, разбилось, он и подбирать его не стал. Пусть хоть птички едят, ему ничего больше на свете не надо... И не пойдёт он с хором петь. Людей смешить!..

XIV

В лесах и на горах

Егорке, что называется, «везёт». Первые два года его ученья в школе оборвыш этот то и дело вытягивал грязную ручонку вверх: что ни спросит учительница, он первый готов с ответом.

Андрюшка Зырянов — один сынок у родителей, баловень, — завёл лихих собак, и для них заказал шорнику сбрую с набором, салазки на стальных резах — гонять всё послешкольное время, некогда ему задачи решать. Не то что он ленив или не способен, но он на ученье смотрит как на ненужную отцовскую затею. Пишет хорошо, Закон Божий отвечает кое-как, знает, что батюшка не будет строго с него взыскивать: отец его примерный прихожанин, щедро жертвует на церковь, даёт и нищим возле церкви. И сын у него один, любимец. Да и по всему видно, парень бойкий, весёлый, все его любят. Но задачи для Андрюшки решает Егорка, и дорого не берёт. Кусок сладкого пирога, а конфетку с красивой картиночкой — и того лучше, а ещё лучше — Андрей берёт с собой Егорку на собаках ездить. Завидует Егорке вся сельская детвора. Везёт ему.

Когда ему исполнилось восемь лет, весной, после отпашки, отец «пошёл» в лес, приплавил лесу на амбар. Трудно было в один год срубить сруб и накрыть крышей. А всё-таки изловчились: амбар поставили той же осенью, к молотье. Вся семья вздохнула легче, но и нужды прибавилось: шутка ли, покрыть амбар тёсом — надо было нанимать и плотников, и пильщиков, и кровельщиков. Закрома в амбаре сделали с двух сторон, как у богатых. Пустовали закрома первый год, из-за похода в лес не посеял Митрий лишнего, пару лошадей берёт для трудного похода в горы, да и от других мужиков отстать было нельзя.

С приалтайских долин в лес «ходят» большой артелью, пока весенняя вода в реках ещё не убыла. Но амбар всё же построили, и к следующей весне у Егорки под амбаром был уже свой банк. Как раз посередине под полом была выложена тумба из камней — подпорка под балки, и между камней остались пустоты-щели, только руку просунуть. Туда он и положил свои первые монетки: пятак, одну в три копейки и ещё две монетки по копейке. Это ему Андрюша Зырянов в разное время надавал, так, по дружбе. За решение задач деньгами он не давал. Но вот какое вышло дело: полез Егорка однажды достать две копейки, бабок решил купить к Пасхе. Это уже когда ему было десять лет. Сунул руку по ошибке в другую щель, а там куча пятаков. Он испугался. Что такое? Едва сообразил: это, значит, и Микола тут свой банк держит. Пришлось, не подавая виду, убрать свои деньги и прятать под углом избы. Но там проливал дождь, и пятаки и копейки позеленели. Пришлось песком чистить. По правде говоря, должно быть у Егорки гораздо больше денег. Во-первых, в прошлое Рождество церковный хор выславил довольно много, но мальчикам Егор Митрич не сказал, сколько, поделил между взрослыми, а всё-таки Егорке дал двадцать пять копеек: гривенник и пятнадцать копеек серебром, да на Пасху ходили кое к кому из богатеньких и пели хорошо, «партесное», только денег не получили, а кормили всех досыта. И всё-таки Егор Митрич опять дал пятнадцать копеек серебром. Значит, скопилось серебром сорок копеек. Эти деньги Егорка отдал матери, чтобы купила ему на рубашку. Она и купила, но сшить в течение всего лета так и не собралась, только к Покрову надел он новую рубашку, красную, с чёрными ягодками. Но когда мать два или три раза рубашку хорошо выстирала — напрасно парила в корчаге в печке, все ягодки из красного ситца вывалились. Ну, у Зырянова хорошего товара не бывает. Так и доносил на пашне с дырками. Вялков шутил: «Егор у нас хитрый: знает, как тело прохладить».

Но вот по-настоящему Егорке повезло весной на двенадцатом году. Как раз после Егорьева дня, когда Егорка справлял в церкви свои именины — вместе с царицей Александрой Фёдоровной, — отец после обедни объявил, что идёт в лес вместе с Алёхой Кучерявым, значит, на один плот вдвоём. Одному никак нельзя по реке сплавлять лес, должно быть два весла, значит, и два гребца. Хоть плачь, а товарища должен найти. Алёха вошёл в артель. Тут Митрий посмотрел на Егорку особым взглядом не то усмешки, не то гордости, и объявил:

— А коногином мы возьмём Егора. В школу, сынок, уж ты не пойдёшь.

Это было очень трудно пережить: ведь это значит, переходного экзамена Егорке держать не придётся, а он идёт на

пятёрках, кроме чистописания. Тут у него три. Не может он угнаться за учительницей: она пишет, как святая. Только один во всём классе, Ванюшка Вершинин, получает четвёрку, а у многих даже два и единица. Ну что ж, побоку экзамены, зато же в лес идти, с отцом, в артели, в верховья реки Убы, это значит, в самые дремучие леса, в которых «разбойники» живут и о которых песни поются. И ещё вдобавок с Алёхой Кучерявым. С этим не пропадёшь. Тут уж взаправду повезло Егорке. И это, кроме всего, значило: пойдут они за лесом для новой избы, отец проговорился — для пятистенной, значит, будут строить дом.

Сборы длились долго. Ещё на пашне обсуждались разные подробности, что брать, как снарядить артель. Перво-наперво кузнецу на целую неделю работы — все лошади для похода в горы должны быть подкованы. Если кое-чего нет у одного, надо, чтобы было у другого. Артель так артель — вроде одной семьи, все за одного, один за всех. Недопахал, недосеял Митрий и на эту весну, но оставил Миколу пахать «пары» на пятёрке лошадей, не плугом, а сохой; «пары» ведь пахут по мягкой земле, значит, осенью озимой ржи посеют.

Вяленным мясом Митрий запасся ещё в Великий пост. Просоленное, изрубленное так, чтобы можно было повесить на длинный шест, шест с мясом укрепить горизонтально под карниз избы, но так, чтобы и солнце пропекало, и жирок бы весь не вытопился, а от ворон и сорок шест прикрыли старым неводом. Приятно было видеть вяленое мясо в амбаре. Как бы невзначай войдёшь, оторвёшь кусочек — очень вкусно. А потом и сухарей надо было посушить для трёх человек, не меньше пяти-шести мешков. Всё это надо укрыть на двухколёсной таратайке так, чтобы и дождь не промочил. Отсыреют, зацветут — голодным насидишься; в лесах, в горах попросить не у кого, а если и есть там в скитах староверы — продавать не будут, а так просить — ни у кого смелости не хватит.

Топоры и пилы должны быть острые. Достали крепкие канаты — привязывать у берегов плоты, для лошадей сплели свили арканы из конского волоса, иначе в воде замокнут — не развяжешь. У Алёхи, понятное дело, своё ружьё. Уж он какую-нибудь дичину высмотрит. Удочки воткнули в картузы, лески в шапки спрятали. Удилища в лесу вырубить всегда можно. Собак решили не брать. Выехали и растянулись по улице. Двадцать двухколёсных таратаек, каждая запряжена одной осёдланной лошастью, а в седле мужик, да, кроме того, отдельно четыре мужика в сёдлах и восемь запасных лошадей на поводах. Когда провожали за околицу, собак пришлось держать за шиворот. Обидно им было отправлять хозяев и любимых лошадей в леса без своей охраны, но так было решено: соба-

ки и нужны в лесу, и несподручны — их надо кормить, а где набраться мяса, хлебом их не накормишь, а мяса самим в обрез. А главное — сверху по реке надо плыть на плотах, а все лошади пойдут с подростками «гоном», опять-таки собакам не угнаться. Лошади домой по горным тропам пойдут быстро, дай Бог, чтобы ребятишки не растеряли их и сами бы не заблудились. Но взяли главным коноводом и руководителем подростков киргиза Тютюбая, малого ростом, но опытного пастуха.

Улица запрудилась народом. Провожали до Крещенской Горки, бабы обняли мужей, благословляли ребяток, а ребяток набралось шестеро. Весело загудел звон от колокольцев, и шеркунцов, и ботал — в лесу каждая лошадь должна чем-либо звенеть, чтобы её легче было найти, да и зверь от звона сторожится. Вот так отправились в леса двадцать таратаек при тридцати двух лошадях. Рысью или галопом — ни Боже мой, нельзя. Всё шагом, дорога дальняя, до верховьев Убы будет вёрст около двухсот, и чем дальше в горы, тем уже тропки, а потом и вовсе опасные обрывы. Тут без артели пропадёшь, и силы лошадей и людей надо беречь. Поход медленный, упорный, полон заботы и опасностей.

После переправы паромом через реку Убу в Шемонаихе прошли до деревни Кабанихи легко: дорога ровная, широкая, кругом зелено, вольно, всходы недавно полил дождичек. Но уже за Кабанихой надо делать привал и подумать, стоит ли под вечер входить в горы. Не лучше ли дать лошадям вольно попасть в луга, самим отдохнуть: в сёдлах тридцать вёрст прошли, с непривычки тяжеловато. Хорошо размяться, помыться у ручья, сварить чайку, попить его со свежими ещё ватрушками. На первые два дня взяли и мягкого хлеба. Дальше всё равно придётся переходить на сухари. Распряглись, расположились на ночлег, развели костёр, а у костра лучше все перезнакомились. Хотя и все одной деревни, а всё как будто чужаки. А огонёк и общий чай, раздел какого-либо пирога сближают, согревают. Тютюбай — пастух надёжный, на него можно положиться. Спать не будет, лошадей другому не позволит ни путать, ни ловить. И мальчуганы с ним как цыплята около наседки. Хороший оказался, разговорчивый, со всеми ласковый коротыш Тютюбаюшка. Над ним смеются, шутят — он не обижается, сам шутит, и ломаный его русский язык смешит больше, нежели самые шутки. Около Тютюбая и остальные мужики повеселели, а в работе на первых переправах через бурные речки, на узких и крутых подъёмах, помогая друг другу, ещё больше сдружились. Вечерами у костров делились тем, чего у других нет, балагурили, пели заунывные и весёлые песни. Одним словом, не жизнь, а раздолье.

Начались лазурные, душистые, невиданные в долинах дни. Лес густел и темнел, горы раскрывали всё новые узоры, крутые ущелья, вдоль которых неслись и шумели светлые речки. Всё дышало смолами, чистым ветерком; небо где-то высоко узкой просинью опирается на лохматые, высокие сосны и ели, то вдруг откроется внизу синяя извилистая река — всё та же река Уба, и тропа висит над нею извилистым шнурочком, вот-вот сорвётся или исчезнет. Двухколёсный обоз таратаек кое-как проходит, а местами приходится срубить дерево, убрать свалившиеся с гор камни. Долго тянутся одна за другою таратайки; лошади упираются коваными копытами в скользкие косогоры при подъёмах, а при спусках должны всей тяжестью своего крупа держать на хвостах толкающие их двуколки. Другой день с утра до вечера едва одолеют десять-двенадцать вёрст. Да и вёрст тут никто не мерял, потому одна верста длиннее, чем десять вёрст по равнине. А бывает, день нахмурится, нависнет туча, туман закутает ущелье, польёт дождь, и какой-либо один крутой подъём по липкой, жидкой грязи обоз одолевает целый день. Слабые лошади не могут вытащить воза на взлобок, скользят копыта, срываются. Два-три мужика слезают с сёдел, подпирают плечами, помогают. То у кого-то сломалась оглобля, таратайка заехала одним колесом, зацепилась за дерево. Весь обоз на косогоре стал, таратайки тянут лошадей назад, раздаётся крик, крепкое слово, тревога за неопытных подростков. Егорка ловок на коне, другие мальчики ещё ловчее, но соскочить с лошади, бросить — нельзя, да и некуда податься. Сбоку, сзади подпирают другие. Надо самому ловчиться, отцы в натуге, им некогда даже оглянуться. Ещё беда: у кого-то гуж порвался, дуга повисла на шее лошади, хомут её душил. Лошадь хрипит. Тут надо и малышам найтись, спасти животное. Не хватает у Егорки сил в руках, чтобы развязать супонь (тонкий ремень, затягивающий хомут), Егорка вцепляется в конец ремня зубами. Развязал, хомут ослабел, лошадь тяжело переводит дух.

— Молодец, Егорша! — Это Алёха крикнул, пробегая к другой лошади, которая вот-вот перевернёт свою двуколку в обрыв.

— Держи-и! Сюда! О, мать честная...

А дождь льёт и льёт, холодный, мелкий, медленный, из низко нависших обложных туч. И уже темнеет. Так, на косогоре, боясь двигаться дальше, упирая таратайки в придорожные деревья и о камни, распрягают, все на ногах, все в работе до полуночи, пока кое-как, на ощупь, достали сухарей, всухомятку поели, нашли местечко пустить на траву лошадей. Тю-тубай следит за каждой, не путает ни одной, которой не хва-

тает травы, руками рвёт, подбрасывает; ребяташки дружны, товарищи между собой навек, и горды, что от Тютюбая ни на шаг. Лишь под утро улеглись, все мокрые, на один разостланный войлок, укрылись кое-как и, греясь друг возле дружки, крепко засыпают под непрерывный шёпот мелкого дождя. А утром солнце не даёт им открыть глаз, слепит.

Слышится крик Алёхи Кучерявого:

— Эй, засони, лошади-то у вас все убежали!

Ребяташки вскакивают, от них идёт пар. Продирая глаза, бросаются кто куда в поисках потерянных лошадей. Но кто-то от поднявшегося над костром дыма кричит им:

— Куда вы, как хранцюзы из Москвы?

Ребяташки озираются. Никого нигде нет, а главное, нет ни Тютюбая и таратаек, ни лошадей на том месте, где всё было вчера в беспорядке. Оказалось, что всё уже в порядке, кони запряжены, таратайки на горе, на ровном месте. Костёр догорает, только в котелке на деревянном треножнике над костром пузырьками подпрыгивает каша. Все взрослые и Тютюбай наелись, напились чаю, заканчивают на горе расчистку занесённой потоками ночного дождя дороги. Тютюбай не позволил будить ребят, которые не спали почти до утра, были на своих постах. Он ими не нахвалится, отцы послушались и расхваливают Тютюбая. Оставили ребят на попеченье кашевара.

Ребята, их шестеро, не все ещё проснулись, щурясь от яркого восхода солнца, которое как раз ударило лучами из горной расщелины с востока и блестит внизу на синей-синей воде реки. Оттуда, снизу, слышатся курлыканыя, как крики журавлей. Кашевар, снимая котелок с костра, смотрит вниз и сообщает ребяташкам:

— Это, видать, шемонаевские мужики плывут. Вишь, плотов-то сколько... По шапкам вижу: шемонаевские, шапки у них, войлочные, пирогами.

Ребята бросились к обрыву. Внизу один за другим, по всей длине видимого изгиба реки плывут жёлтые, восковые длинные плоты, и на конце каждого из них стоит мужик у длинного весла. Здесь, на повороте, все гребут, и вёсла их скрипят, как журавлиные крики. Едва доносятся голоса гребцов, и нельзя оторвать глаз от плотов: один пронесётся, за ним выносится другой, и курлыкают, курлыкают — заслушаешься.

— Ну, ребята, ешь-поедай, отцы скоро кончат там дорогу, надо двигаться, — командует Алёха. — Бог посылает добрый день... — И тут же он, опытный и бывалый в этих местах, добавляет уже только для себя: — Это что! Это тут только цветочки, ягодки нам будут впереди.

Обжигаясь горячей кашей, мальчишки поспешно едят и отказываются от чая. Одежда на них всё ещё влажная. Они

собирают свою постель, гурьбой спешат наверх, откуда вид на горы и реку ещё шире и краше. Но откуда-то из ущелий выползают белые туманы, плывут над самой рекой, перекидываются мостом через неё и скрывают удаляющиеся вниз по реке последние плоты. Вот туманы всползли на другой, гористый берег реки, разорвались, открыли опять расщелину между гор на востоке, и солнце вновь слепит глаза. Радостно на душе без видимой причины, хотя все знают, что впереди новые труды, опасности, но преодоление высот для всех становится уже опасной, но заманчивой игрой, соревнованием в выносливости, в ловкости, в поспешности первым подбежать на помощь. Как непрерывная ободряющая песня, звенят колокольцы, ботала, шеркунцы на шеях лошадей, и это всё роднит, сливает в дружную и сильную семью.

Вереница обоза медленно сползает на дно нового ущелья, а тут бурная речка перегораживает путь. Алёха едет впереди. Остановил обоз, почесал затылок, сдвинул набекрень шапку и махнул рукой назад — значит, можно рисковать. Вода в горных потоках даже после ливней никогда не бывает грязной. Тысячи лет промывалась, все гальки хоть сосчитай, но прозрачность дна обманчива: глубина и сила потока угрожают опрокинуть таратайки; лишь бы сухари не подмочило. Всё равно ждать некогда, скорее на берег, не успеет всё залить. В крайнем случае можно просушить, а медлить — не дело. Одна за другой таратайки выползают на крутой берег, и весь обоз длинным, узловатым и горбатым червяком-гусеницей растягивается по густому, тёмному лесу и вскоре вновь выходит на отвесный обрыв над рекою, где каждое неловкое движение лошади сопряжено с опасностью. Вот колесо одной из таратаек приподнимается, таратайка, того гляди, опрокинется и увлечёт с собой и седока, и лошадь в пропасть. У-у-ф-ф! Но, слава Богу — выровнялась!.. А вот и зимовье охотников, знакомое бывалым лесорубам. Зелёный луг среди чёрных стен ельника; полянка небольшая, но удобная для привала. Крытая берестой избушка с двумя неодинаковой величины окошками. Как косоглазая лесная колдунья, она хитро и подозрительно смотрит на неожиданный набег крикливых ребят и говорливых мужиков. Тут можно посушиться, починить сбрую и колёса, смазать дёгтем оси, хорошо выкормить лошадей и самим спокойно выспаться под крышей. Тесновато будет всем, но зато тепло и сухо, а от комаров есть едкий дым от костерка. И вяленого мяса можно наварить, с жирком, для всех. Сухарей и вяленого мяса хватит на весь срок стоянки на порубах. Впереди Петровский пост, но Бог простит — в пути-дороге можно и мясом согрешить.

А путь впереди ещё не кончен. Впереди ещё немало самых крутых и опасных перевалов. На последнем из них пришлось

всех лошадей распрягать и таратайки вытаскивать на верёвках всей артелью.

Только на девятые сутки наконец спустились к самой реке и целый день переправлялись на другой, отлогий, берег под горой Порожной. Переправа была нелегка, потому что надо было строить небольшой плот из брёвен, называемый «салок». Ставили на нём не более двух таратаек и заводили «салок» на верёвке выше, против течения реки, и оттуда гребли на другой берег. И хотя река тут была тихая, плёсо, а всё-таки сносило «салок» опять против обоза. Опять заводили «салок» и опять гребли на другой берег, и плотик подплывал к месту обоза. Лошадей переправить было легче. Нужно было только на одной, передней, лошади, держась за гриву, поплыть, остальных загоняли в воду, и они переплывали гурьбой. На другом берегу их ловили, путали и пускали на траву, на отдых. Теперь лошади будут отдыхать с неделю, пока заготовка леса и спуск его, скользкими брёвнами, со снятою корой, накопится в отдельных местах вдоль широкого, плоского берега реки. Немногие брёвна и в немногих пунктах добежали до самой реки. Но на этот случай несколько мужиков стояли в воде, ловили их, подгоняли к берегу и закрепляли в плоты.

А как скрепляются плоты? Это тоже древний, тысячелетний опыт, дошедший от первых новгородских славян, которые были первыми мастерами по срубам.

Делается это так: на остре подогреваются и размягчаются длинные прутья из акации. Таловые и черёмуховые не так крепки для скрепы плотов, но акация, когда она ещё в цветку, облегает бревно лучше всякого каната, и ни камень дна, ни острая скала у берега реки не порвут этих жгутов. Жгут этот свёртывается калачиком, но довольно объёмистым, чтобы сразу захватить два бревна и чтобы ещё осталось довольно пространства в кругу жгута — перегнуть его через продольную жердь, положенную поперёк брёвен плота, затем особым осиновым клином забить через жердь и между брёвен. Так, с двух концов плота, брёвна скованы между собою, и жердь их держит парами одна с другой. Так растёт и крепнет плот.

Но для подвозки брёвен для плоченья нужны «волоки», тот самый способ передвиженья, когда ещё не были китайцами изобретены колёса. Говорят, колесо изобрёл какой-то царь египетский. А может быть, простой дикарь. Но «волоки» — древнее. Две оглобли, на которых поперёк приделан обрубок бревна, а на него кладут уже то самое бревно, которое пойдёт в плот, а потом в сруб, и будет домом. Концы оглобель служат как полозья.

От смолистых пихт у всех мужиков руки стали чёрными, никаким мылом не отмоешь. Руки, щёки и волосы мальчуга-

нов тоже были в пихтовой смоле, так что не каждый комар осмелится сесть и пить их кровь, а дымом все пропахли так, что и в балаганы, наскоро сооружённые из веток и покрытые пихтовой корой, комары редко залетали.

Погода удалась хорошая. Река Уба непрерывно шумела, и воды её то прибывали, то убывали, но всегда светлые, прозрачные, дно устлано разноцветными малыми и большими гальками. Некоторые мужики, пользуясь всякой передышкой, ловили удочками рыбу.

Алёха Кучерявый всегда первым перехитрит и быстрого хайруза (форель), и краснопёрого упористого окуня, и даже где-то из-под крупных булыжин со дна реки выманит скользкого змеевидного налима. Но он напрасно таскал с собой ружьё, когда ходил в глушь косогоров на порубку леса: пернатой дичи здесь не было, да и утка или гусь были либо на гнёздах, либо ещё неоперёнными птенцами. Но изредка он натёкался на свежий след медведя и жалел, что нет собаки. Без собаки зверя не выведишь, а в одиночку, в случае схватки, не обманешь. Другое дело, когда собака схватит его за штаны, а в руках вместо ружья с зарядом дробью — хорошая рогатина. И только раз он выследил большого круторогого архара (род горного дикого барана), но тот показался ему, покрасовался на верху отвесного утёса и, как виденье, исчез из глаз. А такого можно застрелить только пулей, а не дробью. Почесал затылок, повздыхал, но даже на стану мужикам не рассказал. Всё равно не поверят. Рассказал лишь одному Егорке. Этот верил и втайне радовался, что архар ушёл.

Медленно тянулось время, сухари у многих зацвели. По воскресеньям мужики мылись и стирались прямо на берегу, на гальках. Расстилали и развешивали на прибрежные кусты свои рубахи и штаны, и онучи. Вот тут узнал Егорка о судьбе своего сюртучка, сшитого матерью из дедушкиного, когда-то парадного, наряда. Егорка давно из него вырос, а в прошлый Филиппов пост учительница выписала из Барнаула кучи старых суконных курток и штанов, не доношенных учениками горного училища, и раздала всей бедноте по паре, а кому и по две пары. Он теперь в одной из этих «казённых форм» ходит в школу и в церковь. Курточка и теперь с ним, в запасе. А сюртучок его висит на краю свежего бревна, разорванный на две равные половины. Значит, мать отдала его отцу на онучи. Ничего он не сказал, только запомнил, и нечто похожее на грусть и смутное сожаленье искривило его залипшие еловой смолой бровки.

Егорка уже знал, как искать в лесу ускользнувшие с горы в сторону брёвна. На каждом бревне пометка топором каждого лесоруба. Митрий просто вырубил сбоку букву «М». Надо

подъехать с волоками, но так, чтобы, приподнявши комель бревна, не дать ему скользнуть по мокрой траве вниз. А приподнять его можно только при помощи тоже скользкого обрубка жерди (стяжок), но так, чтобы на перекладине волоков бревно удержалось в заранее приготовленной петле из верёвки. Но нельзя везти бревно вниз — оно скользнёт, подбьёт лошадь или опрокинется. Вот это и случилось с Егоркой. Случилось то, что никогда не забудется, а если вспомнится, то по коже пройдёт озноб и волосы поднимутся на голове.

Был по тропинке вдоль обрыва над рекою пенёк, хороший, крепкий, любое бревно удержит и не даст скользнуть с тропинки. А внизу не то когда-то была выкопана землянка, не то глубокая промоина — не видно, потому что всё заросло густым кустарником. Но на краю промоины опять же растёт дерево, коряжистая низкорослая ель, сквозь ветки которой просвечивает пропасть в реку. Не раз возил тут брёвна Егорка, и его осёдланный Игрений знал, как надо вытянуть бревно чуть-чуть на горку, потом немножко в сторону, вниз, а Егорке только оглянуться и не дать Игренему недотянуть или перетянуть бревно вокруг этого пня. На этот же раз Егорка увидел, что подседельник под его седлом скатился на спине коня назад, а у коня больная спина, на потнике всегда показывается сукровица. В этом самом месте Игрений не стерпел боли под нажимом обнажённого седла и стал лягаться. Одна задняя нога его выскользнула из оглобли волоков, и бревно пошло мимо пенька, как раз в ту, опасную, сторону над обрывом. И потянуло волоки и самую лошадь вниз, в пропасть. Самое страшное, что никого вокруг не было, и только на необычный крик — ржанье лошади, которая давилась хомутом, прибежал случайно тут же неподалёку находившийся Алёха Кучерявый. На нём через плечо и грудь всегда была верёвка. Как на лыжах, он скользнул в заросшую кустарниками промоину и видит: Егорка сидит, невредимый, в седле, но седло свернулось со спины на бок лошади, а лошадь давится в хомуте. Бревно же, столкнувшись с коряжистой елью на самом краю пропасти, удерживает и коня, и волоки, и самого Егорку. Егорка, бледный и бессловесный, даже не плачет, по щекам его от царапины течёт струйка крови, а конь почти висит на пружинящих густых кустарниках и тоже невредим, только душит и хрипит в хомуте. Ловко и быстро спас Алёха Егорку и коня, и был героем на весь стан. А Егорка даже рассказывать обо всём этом случае боялся. Так было страшно это вспоминать.

Уже три недели миновало. Весь берег желтел от наваленных свежих брёвен. С утра в воскресенье Алёха взял ружьё и ушёл в горы. Не появлялся до заката солнца, а на закате спу-

стился далеко в низ реки по какой-то медвежьей тропке и принёс свежих пшеничных калачей и берестяной туес с простоквашей. Туес был наполовину пуст, и Алёха ругался, что, поскользнувшись в косогоре, уронил его, крышка выпала, и он с трудом поймал покотившийся перед ним туес и кое-как сохранил даже меньше половины. И не потому ругался, что пролил простоквашу, а потому, что обещал добрым хозяевам небольшой заимочки принести обратно туес, а это надо карабкаться по горам за перевал, вёрст семь киселя хлебать. Калачей ему дали не так много, на всех мужиков не хватило, но по кусочку каждому дал попробовать, понюхать, как дома бабой пахнет. Добрые заимочники отдали ему все калачи, какие испекли в это утро, такие хорошие старик со старухой, одни живут со скотиною в горах, а дом их далеко, где-то на одной из Громотух. Алёха нёс калачи, завернувши их в свою рубашку, связавши рукава узлом, чтобы не растерять. Донёс, всех товарищей угостил. Ну и вкусные же калачи пекут староверы в горах!

Наутро в понедельник мужики начали плотить плоты. Когда застучали топоры по клиньям и брёвнам, эхо на той стороне Убы двоилось и троилось, и прилетало назад, и ещё где-то тут, поблизости, множилось и повторялось. Работа закипела, весь берег был как в золото окован, далеко протянулась линия плотов. И вот ещё событие.

Снизу, в безлюдии и в вечном шуме быстрой реки, показалась лодка. А в лодке, стоя на ногах и упираясь о дно длинным шестом, шёл вверх по теченью высокий бородатый мужик. Одет он был в длинный лёгкий холщовый кафтан, отороченный по подолу и по воротнику и по запястьям рукавов красной вышивкой. На нём была войлочная шляпа, а на ногах сапоги бутылками, подвязанные ниже колен ремнями. Все мужики перестали стучать топорами, остановились и дивились, как он ловко и быстро продвигает лодку вверх против теченья сильных волн.

— Здорово, мужики! — крикнул он гулким, утроенным в горном эхе голосом.

Алёха первым догадался и вспомнил имя, ответил так же зычно и приветливо:

— Здорово, Викул Спиридоныч!

Это и был один из сыновей тех стариков, которые дали Алёхе калачи и простоквашу. Он запомнил имя и обрадовался гостю. Викул причалил лодку и стал выгружать дары, которые он привёз с заимки до реки верхом на коне, позади седла, в особых кожаных сумах, а лодку одолжил у пасечника, жившего в одном из ущелий, около версты от стана лесорубов. Выгрузил печёный хлеб, ведро сметаны, корзину яиц, туесок

мёду и, кроме всего, логушек медового пива. Пиво предложил сразу распить — логушек оставить не может — а туесок с мёдом может оставаться, также и старое ведро со сметаной.

Праздник был большой и весёлый. Подбодрённые не столько свежим хлебом с мёдом, сколько этим посещением доброго старовера, мужики ещё поспешнее застучали топорами.

Предстоящее отплытие вниз по реке домой было опасно, но и радостно. Опасно оно в крутых и быстрых поворотах реки, где надо много силы и ловкости направлять плоты по главному фарватеру реки, чтобы не разбить плоты о подводные камни на порогах. Тревожила и ещё одна забота: все нарушили записанные в лесорубочных билетах от лесничего размеры и количество брёвен, и уже собрали из кожаных запотелых мешочков по целковому с брата. Алёха Кучерявый будет за всех разговаривать с лесообъездчиками, которые встречают плоты в низовьях и особым топориком, с буквами Д. З. (дозволена заготовка) должны пропускать каждый плот. Алёха сумеет и заговорить, и сунуть «магарыч» за труды. Алёха знает, что когда даёт подарок целая артель, то лесообъездчик сам и не может пробивать печати на сотнях брёвен, он даёт эту работу самому же сплавщику. Алёха готов поработать, а там уж его дело, сколько он при этом сэкономит на «магарыче». Это тоже зависит от того, какой лесообъездчик. Другого ни за что не купишь.

Пока мужики плотили плоты, все лошади отдыхали и паслись на лугах. От изнурительной подвозки брёвен, без овса и сена, на одной траве, все они были худые, с торчащими изпод кожи рёбрами, хоть сосчитай; у некоторых появились раны на спинах, нарывы на плечах. Но вот прошло ещё три дня, лошади поправились настолько, что их можно было уже отправить домой. Торжественное утро этой отправки наступило. Под командой Тютюбая и собран был косяк в тридцать две лошади, семь из них под сёдлами. Позади сёдел узелки и сумки с запасами и кое-какой одеждой на дорогу, а за плечами каждого ещё по узелку. Всё тяжёлое: двуколки, сбруя, инструменты и остатки провианта — будет погружено на плоты. На плоты ещё нагрузят всяких даров леса: бересты, мелких поделочных деревцев, нагромождения для продуктов и спанья во время ночных причалов у берега. Всё это важно и строго предусмотрено.

Ночью плыть нельзя из-за порогов. А днём всё зависит от воды и от погоды. Другой раз и два-три дня туманы держат у берега, да и причалить можно не у каждого берега. Но так или иначе — лошади свободны, на них остались только узды, волосяные «путы» на шеях да шеркунцы, колокольчики и ботала.

Вот табунок лошадей, подгоняемый со всех сторон семью маленькими всадниками — Тютюбай ростом даже ниже Егорки — и всеми провожавшими отцами шести подростков, зазвучал копытами по галькам берега. Не всякая лошадь первой бросится в быструю холодную воду. Игренька Митриев, с мухами на раненой спине, хоть и помазанной деготьком, конь старый, опытный, первым пожелал стряхнуть со спины надоедливых мух и оводов и пошёл в реку, попутно забирая бархатными губами воду. За ним, под окрики и броски гальками, забрели и другие. Всадники крепко сидят в сёдлах до поры до времени.

Егорка ещё слышит крик отца:

— На гриву не надейся, повод замотай на руку.

Он знает. Замотал на всякий случай повод на левую руку, но этой же рукой держится за гриву Карего, того самого — помните, лет шесть тому назад родился у Крутого лога? Но шум воды уже глушит громкие слова отца. Другие мальчики повисли возле сёдел, поплыли вместе с лошадьми, каждый с левой стороны, значит, Егорка уже сделал ошибку, свалился на правую сторону, откуда вода прижимает его к лошади, а это мешает лошади плыть. Но ничего, Карий идёт легко, ноздри его расширены, он дышит со стонами, милый, дорогой Карчик, вынеси!.. А первые лошади, Игрений впереди всех, уже выходили на другом берегу. Вот стукнуло копыто о гальки дна, и Егорка сразу повис возле седла, сесть на коня в воде уже невозможно, вода толкает его на круп лошади, значит, надо тащиться за нею, уцепившись за стремя.

Трудно передать эту переправу, страх и отвагу юных всадников. Когда все лошади, обтекая и струясь водою, вышли на берег, Егорка всё ещё слышал крики отца с другого берега, но не слышал его слов, однако понял, что отец ругает его за то, что он опять подверг себя опасности по собственной глупости. Все же мальчики свалились в воду с левой стороны, а не с правой. Ну, всё прошло благополучно, мокрые уселись в сёдла, Игрений уже пошёл впереди всех по той самой тропинке, по которой четыре недели тому назад сюда пришёл весь обоз лесорубов.

Позади удалявшейся по берегу тропы остался след стекавшей с лошадей и с всадников воды, и вскоре длинная вереница лошадей повисла над обрывом, с которого Егорка ещё раз оглянулся на ту сторону реки, где мужики уже пошли опять на жёлтые, длинные, восковой каймой тянувшиеся вдоль берега плоты, но ещё минута — и ущелье поглотило караван и скрыло плоты и реку, и отцов, только отблески воды внизу под обрывом ещё слепили глаза. Игрений знал дорогу домой и вёл весь караван не спеша, но верно, без ошибки, не свора-

чивая на побочные обманчивые тропки в душистых и густых тёмных лесах.

Путь этот продолжался три дня и две ночи, но описать его невозможно. Это была сказка из самой чудесной книжки. Звон колокольцев и шеркунцов и как бы дальний колокольный звон от ботал (медные полуквадратные звонки, некоторые с малиновым звоном, всё время звенели ласковою музыкой). И никаких трудов, никаких препятствий и опасностей, всё весело, всё зелено, всё солнечно, и всё вокруг родное, любимое, и самый любимый в пути — это ласковый, заботливый, шутливый и смешной Тютюбай. Он так забавно лепетал по-русски, так смешно и с увлечением пел киргизские песни, так самоотверженно пас по ночам лошадей, а утром сам их седлал для всех мальчиков, что эти мальчики полюбили его, как лучшего братишку, и никогда о нём не забудут.

Однажды под вечер, в тот же день отправки из-под Порожной Сопки, караван остановился на одной высоте, откуда раскрывались широко горные виды во все стороны. Вот где-то там, на северо-востоке, где выглядывает вершина с вечным белым снегом, должен быть рудник Риддерский. Там живут Егоркины дедушка и бабушка. Как странно, что вот оттуда два года тому назад, когда Егорка стал писать уже по-мелкому и написал дедушке первое письмо, дедушка с попутчиком прислал ему две старые конторские книги, в которых было много неисписанных, чистых страниц. И прислал дедушка Егорке своё письмо, написанное мелким, красивым, бисерным почерком. И начиналось письмо обращением важным и почтительным:

«Милостивый государь, Егор Митрич!».

И вот этот самый родной дедушка сейчас живёт где-то, может быть, в двух-трёх днях езды верхом на лошади. Каким бы был Егорка героем, если бы вот так поехал и прямо через горы спустился в Риддерск и удивил бы дедушку своим героическим появлением верхом на лошади, в седле.

Сидел Егорка в седле на притихшем, дремавшем Карчике, смотрел на далёкие и близкие горы, и дальнзоркий глаз его запоминал, запоминал, запечатывал в себе эти виденья. Не знал, когда и для чего могут пригодиться ему все эти минуты, но закрепил их против воли, без всякой даже мысли о них, но, как незабвенный сон, он унесёт их с этой высоты с собой в просторы жизни. Вот что было перед его изумлённым и восхищённым отроческим взглядом.

Он видел сон наяву. Прямо перед ним, через уши его лошади, он видел спуск в зелёное ущелье, в которое спускалась серая тропа, в сторону от которой лошади разошлись по узким покатым склонам и, позванивая колокольцами, шеркунцами

и боталами, схватывали ртами верхушки высокой травы. Его друзья и спутники сошли с коней и расположились на небольшой полянке, на обрывчике в журчащий горный ручеёк. Егорка как будто задремал на своём коне, и даже ему казалось — откуда-то из книжек, — он видит на себе отражение былинной правды, он взрослый и даже очень старый, старый человек... Нет, он не богатырь перед распутием трёх дорог, он неизвестный, безымянный старый человек, которому суждено увидеть вот это всё, что перед ним, и понести вот эту правду-быль из века давно-давно прошедшего в века, далеко уходящие в будущее. Вот именно здесь, на этой высоте, он впервые вырос в высоту недетского прозрения: он вот это унесёт с собой далеко в пространстве и во времени, унесёт, потому что вот этот направо, значит, на север, зелёный крутой склон, с коряжистым кедром на одной из седловин, останется вот так, как есть, тёмно-зелёный, ясно видимый, а подальше в сторону, на этом же склоне, серая каменистая россыпь, на край её падают какие-то белые цветущие кустарники. А за ними, немножко ещё правее, на северо-восток, синее вторая полоса гор. Она синее, потому что она очень далеко от этого близкого, перед глазами, значит, та вторая полоса гор — целая цепь, а дальше и выше ещё одна цепь. И видно, как синева, отделяющая ближний ряд гор от дальнего, струится, как вода. Но ещё дальше, позади синего ряда гор, ещё правее на восток, куда нужно повернуть лошадь, чтобы всмотреться, там совсем какое-то чудо. Там ещё выше и ещё дальше полоса гор совсем белая, похожая на облака, но это горы, потому что белизна кое-где пересекается чёрно-синими впадинами, а ниже опоясана синеей каймой лесов, как будто под белизною лежит неровный слой воды, и потому весь белый ряд высоких гор плывёт по волнам этой синевы. Нельзя этого забыть, нельзя не унести с собою в жизнь.

Спускаясь постепенно в долины, где в поле зрения попадались уже более широкие и менее высокие предгорья и где уже показались крестьянские пашни и луга, потом скот и самые деревни, Егорка вдруг решил, что до Порожной Сопки, где остались мужики с плотами, никак не будет двухсот вёрст. Уж очень легко достался им обратный путь.

На третий день после полудня весь караван был уже у перевоза через Убу в селе Шемонаихе. Паромщик, который в первый путь охотно, в три приёма, переправил весь обоз с нагруженными таратайками, на этот раз, надвинув на глаза тёплую войлочную шляпу пирогом, сказал ребятам, что он не будет их переправлять на пароме.

— Ищите броду, — твёрдо сказал он им. — А не найдёте броду — вон там, где Уба узкая, переправляйтесь вплавь.

Тютюбай заспорил, но перевозчик не слушал его, и даже не смотрел на «нехрестя». Он обратил внимание на Егорку, одетого в казённую серую курточку Барнаульского горного училища, которую тот сегодня впервые надел, чтобы чистеньким приехать домой, прищурился и спросил:

— А ты чей?

— Я Митрия Лукича сын, внук Луки Спиридоныча...

— А-а, ну так ты так бы и сказал. А только вот что: в запряжке лошадей на пароме переправлять — одно дело, а гуртом, табуном — опасно. Шут их знает, одна лошадь испугается, все бросятся на один край парома, паром и перевернуться может. Понял?

И вдруг Егорке пришло в голову уговорить паромщика.

Не хотелось ему плыть опять и до нитки вымочить одежду. Он и говорит:

— Дяденька, а на лошадях же узды. Мы размотаем повода да всех по краям к перилам парома и привяжем.

Мужик почесал бороду, сдвинул с глаз свою шляпу на затылок и покачал головой...

— Ой, дотошный ты малый, видать, что внучек Луки Спиридоныча. Ну, гоните половину, загоняйте да привязывайте крепче, чтобы взаболь (всерьёз — как следует).

Сухими, гладкими, со звоном, гиканьем и топотом ста двадцати восьми кованых копыт в облаке пыли возвратился весь табун в село Рудник Николаевский. Лай собак был особенно торжественным, а выбежавшие навстречу пригнанным из леса лошадям бабы и ребятки кричали звонко, радостно, и каждая из баб обнимала подбегавшую к родному двору лошадь. Егорка вырос за этот месяц на целых два вершка.

Но самое-то главное, самое торжественное время будет впереди, когда, как наказали лесорубы, если не задержат их лесообъездчики на лесной заставе и если они благополучно проедут пороги, день их приплыва будет, скажем, в субботу. Тут уж поручиться нельзя: утром ли, в полдень ли, или под вечер, но суббота как будто выходит по всем расчётам правильно.

Так и вышло. В субботу рано утром из села выехали бабы с ребятами и стариками и со всем добром: и пироги, и варёного и жареного вдосталь, и выпить понемногу, и чистые рубашки для сплавщиков, а кто имеет, и палатки для первого отдыха после долгого и трудного пути. Берег реки Убы будет усеян красными, и синими, и жёлтыми платьями, и детский крик заглушит шум реки, когда наконец ровно в полдень из-за серого утёса, изогнувшего Убу, на тихом плёсе появится первый плот. За ним выплывут и другие. Старые и малые будут ловить верёвку, брошенную с первого плота. Упираясь

в твёрдый берег босыми и обутыми ногами, потянут старые и малые, каждая семья, своего родного героя. И свежие, пахучие, восковые брёвна на весь остаток лета завалят берег, пока, после страды, подсохший лес будут возить на длинных дрогах по домам, в село. А это значит, ещё большая семейная радость: появятся, хоть и не сразу, срубы, а из них новые восковые светёлки, а то и пятистенные избы. Вот будет радость когда-нибудь и для Егоркиной матери, Елены Петровны. И будет в новом домике капля и Егоркиного мёда от трудов и участия в походе в глубь лесов и на высоты родных, незабываемых Алтайских гор.

XV

Однажды, в студёную зимнюю пору...

Самый сильный мороз ломился в избу, когда запрягали лошадей ночью, когда Чупиги стояли в небе прямо над головой, и все остальные звёзды как бы усиливали мороз: такие пронзительные, сверкающие ледяные иглы струились с высоты на спавшую, закутанную глубокими снегами деревню. И была ледяная тишина...

В запряжке лошадей Егорка участия не принимал. Никола помогал отцу, — тот уже по шестнадцатому, на вечерки ходит, с холостягами, того гляди, сравняется, но отец всё ещё зовёт его Кольша, а не Николай. Егорка брата не зовёт никак, они враги с тех пор, как Егорку отдали в школу и лишили Кольшу помощника по хозяйству. Егоркины книжки и тетрадки раздражали Миколку, и он всё грозился сжечь их, да матери побаивался, хотя и на неё косился: это её затея из Егорки «писаря доспеть».

В насмешку Никола дал Егорке имя:

— Контора! Эй, ваше благородье, иди «глызы» (застывший навоз) заскребай! — насмехается Никола.

Так и пошло по селу, а потом на пашне, в шутку, мужики и ребятишки:

— Ну что, контора пишет?.. Эй, конторской!

Егорка обижался, но не спорил. Заспоришь — хуже задразнят.

Весь Филиппов пост Егорка по вечерам учился у сапожника шить сапоги, но больше сидел над книжками.

Теперь он собирался в путь-дорогу с отцом, вместо Миколы. Большое это путешествие — сто двадцать вёрст на шести лошадях, запряжённых одиночками в дровни, нагруженные

всякой домашностью и мебелью, — отец подрядился фельдшерское имущество из соседнего села перевезти в город. Воза громоздилась меж высоких сугробов снега на улице ещё с вечера. Погрузка была вчера весь день, и только на закате весь обоз остановился у Митриевой избы. И вот, задолго до рассвета, идёт запряжка.

Под копытами лошадей с визгом скрипел снег, из ноздрей лошадей и изо ртов отца и брата вырывались струйки пара.

Отцовские движенья были молодецки ловки и быстры. Это уже его привычка: на морозе быть проворным и работать вприпляску. В избе же в это время при тусклом свете сального огарка мать снаряжала своего избранника в первый дальний путь.

На полатах с остервенением кашляла Фенька. У неё коклюш.

Мать дочёсывала белокурые начавшие кудрявиться волосы Егорки и шептала ему последние наставления:

— А ты хорошенько попроси Анну Андреевну. Скажи, что мать за тебя просит. Сын-то её, говорят, теперь в управе служит. На «вы» их надо называть... Не скажи «ты»...

Это был тайный заговор против отца: Егорку мать благословляет в люди. Он должен остаться в городе — сперва каким-либо сподручным, хотя бы пол подметать, в лавочке купцу прислуживать.

Анну Андреевну Пальшину Елена знала по рассказам Митрия, но сама её никогда не видела, да и в городе ещё не бывала. Анна Андреевна старушка добрая, она одна может понять дальнейшую судьбу Егорки.

Из-под печи раздался предрассветный петушиный крик. Нету тёплого хлева для кур — всё ещё в избе под печью зимуют.

Как бы в ответ ему из-под кровати, что в углу у двери, двухнедельный телёнок неумело, одним горлом, подтвердил бодрость жить на свете — утро приближалось.

Микола вбежал погреть у разгоревшихся в печи дров закоченевшие руки. Он появился из сеней в белом облаке хлынувшего вместе с ним пара и с нескрываемым ехидством крикнул Егорке:

— Ну, ты, сопли по дороге вытирай, а то и нос в ледяшку обратится...

Он и завидовал Егорке, и гордился тем, что остаётся хозяином вместо отца. С тех пор, как он стал подрастать, отец стал доверять ему даже пахоту весной (сам Митрий всё ещё иногда похаживал за девять вёрст работать в шахтах). Но эта пахота оставила в Егорке самые тяжёлые воспоминания. Заглядится на грачей либо на распутившийся куст черёму-

хи, — передовик выйдет из борозды, борозда искривится, и в спину Егорки летит твёрдый ком дерна. Знает, что виноват, а больно. Заспорит, начнёт плакать — хуже: Николай-Микола остановит всю пятёрку, подойдёт, схватит за кудри и так накрутит, что шея не сгибается. Поэтому Егорка и стремится из родной деревни, да ещё от того, что мать называет «грехом в семье», а посторонние люди в шутку — «дым коромыслом». Оттого ли, что семья у Митрия уже шесть человек, или оттого, что отец и мать изматываются, выбиваются из сил, чтобы жить, как другие люди живут, — Егорка уходил в школу раньше, чем нужно, и приходил позже, стараясь быть дома как можно меньше. И в избе зимой всегда как-то сумрачно после светлой, тёплой и просторной школы. То Андрюшка кричит, то сестрёнка Фенька плачет: Оничка, старшая, уехала недавно к тётке в другое село, а мать всегда в печали, всегда в нужде.

С самых детских лет гнетёт Егорку родное гнездо, гнетёт грех между отцом и матерью, ссоры их — вот это самое страшное в родной избе.

Жалость к матери всегда сосёт Егоркино сердце. Она ещё молода, а уже сохнет, лицо её редко улыбается и оттого раньше времени стареет.

А есть другая жизнь, не только в книжках, которые уже и сам Егорка читает, но и на картинках, развешанных в переднем углу, да и в песнях, что поют мужики на пашнях, девки на полянках, бабы на свадьбах. Есть другая жизнь у соседей: дети как дети, играют, смеются, бегают, одеты, обуты; а в церкви и совсем люди другие — все добрые, все мирные, все чистенько одеты. Любит Егорка петь в церковном хоре, поёт он дискантом, и, когда поёт, почему-то хочется ему плакать, да других мальчиков стыдно. А то бы пел и плакал, пел бы и плакал. Так он и делает, когда бывает один на пашне, либо когда пошлют его отводить лошадей в табун, либо оставят одного гумно караулить. Вот там он отводит душу: поёт почти все материнские песни, и если плачет, то плачет больше о матери, не о себе. Вот так они с матерью и сговорились, поняли друг друга, без лишних слов решили, что пойдёт Егорка в люди, другую жизнь искать.

Но он мечтал не о далёком будущем, когда он будет взрослым человеком, а только о том, что, если ему удастся поступить, только поступить на какую-то «вакансию» — слово это он слышал от отца, осуждавшего лёгкие городские должности, — он прежде всего купит и пришлёт матери настоящие новые ботинки. Он не помнит, чтобы она когда-нибудь имела настоящие ботинки. Были у неё башмаки, подарок Грушеньки Минаевой, да износились. Летом она и дома, и на поле всегда босая, а зимой — в старых, разношенных валенках, в

тех самых, в которых почти четыре года тому назад она впервые отправила Егорку в школу.

И вот теперь и сам он отправляется в далёкую дорогу опять же не в своих сапогах, а в одолженных у Вялковых. Матя уступил, ему сшили новые. Вот эти чужие сапоги уже тревожили его. Он думал о том, как бы оправдать свой побег из дома, о котором знает только мать, и только мать ему была и будет самым дорогим и до слёз «жалким» существом во всей деревне. Оправдать побег и завоевать доверие отца, который снисходит к его ученью, но стоит на стороне Микола. А Микола был на стороне потихоньку выраставшего хозяйства. Вот у них уже три коровы доятся и шесть лошадей в запряжке. Правда, для двух сбрую заняли у соседа, а двое дровней — у другого. Но подрастут Микола и Егорка — можно будет лишнюю десятину хлеба сеять. Понимал Егорка, что и на него возлагается отцом надежда как на подрастающую помощь. Потому и страшился заговора — не отпустит отец, не оставит в городе. И будет ещё хуже, если мечта с сапожками для матери не сбудется и он должен будет с позором вернуться домой. И дома, и на пашне все будут смеяться: «контора, мол, пишет», или «по безграмотству и личной просьбе расписался». Так уже острил над ним один из почтенных пахарей.

Но вот запряжка кончилась, отец и брат вошли в избу. Ещё в сенях отец усердно высморкался, вытер по привычке ноги у порога, вошёл и голосом решительным, но не сердитым, стал отдавать последние распоряжения матери и Миколе: чтобы дров зря не палили и сперва бы сучьями топили, да чтобы ежели сборщик придёт собирать на пастуха, — с осени ещё не доплатил за пастушное — сорок копеек лежат на божнице.

— А ты, Миколай, — впервые назвал большака как взрослого, — зря без меня по вечеркам не шатайся! Мало что там может случиться: другие подерутся либо пожар наделают; чтобы меня из-за тебя на «сходку» не тащили. Ну, сподружник, — обратился он к Егорке, — оболокайся!.. (Одевайся).

Егорке оставалось надеть поверх материнской тёплой кофточки новенький матерью же сшитый халатик — так называли они пальтецо из «киргизина», тёмно-коричневого крепкого материала, с миткальной подкладкой, но и с тонкой прослойкой верблюжьей шерсти. Первое пальтецо, и как раз впору, только уж очень лёгонькое для сибирского мороза. Шапка Микола не по росту велика, опустилась глубоко на уши, рукавицы с тёплой варежкой, но не свои — выпросил на время у товарища-соседа. Одеяние отцовская, праздничная, лет пять тому назад, когда Ольгу замуж выдавали, отец купил для свадебного торжества. С тех пор береглась в сундуке,

вместе с остатками других нарядов семьи. Носили по очереди отец и Микола. Теперь пригодилась для выезда Егорки.

— Ну, помолимся да посидим на дорожку!..

Помолились все стоя, посидели молча. Встали.

— Ну, благословляй! — сказал отец матери, и в это время у ног её согнулся, касаясь лбом холодного пола, Егорка. Надевая на нём поверх халатика сермяга делала его толстеньким мужичком.

— Благослови, мамонька! — Губёнки его тряслись виновато и вместе жалостливо. Когда кланялся ей в ноги, увидел снова старые валенки, ещё раз подшитые кожей, но всё те же, те же, только ещё больше растоптанные, скользкие в подошве, как лыжи, и забрызганные грязью, — в них же и зимой, и осенью она ходит...

«Нет, не ботинки я куплю ей, сапожки небольшие, чтобы можно было и зимой, и летом носить», — так решил Егорка при прощанье с матерью. Видел он, какими новыми, особыми глазами смотрела она на него, когда целовала и крестила на дорогу. В этом взгляде была крепость материнской веры в то, что Бог спасёт и направит её сына на путь правильный, на добрый путь...

Все вышли на мороз. Митрий подошёл к передовой подводе, взял вожжи.

— Господи благослови!

Егорка взял вожжи задней лошади. Ни один не сел на воз. Трогаются передняя, но полозья пристыли к снегу. Надо слегка изогнуться лошади в сторону, чтобы, не сломав оглобли, осторожно сдвинуть воз с места. Так лошадь и сделала, как разумная. Раздался скрип полозьев — пронзительный, ночной, когда все спят, а утро ещё далеко. Вторая лошадь также не сразу сдвинула сани, за ней на поводу Стригунчик, это не тот, давнишний, тот уже большая лошадь. Это трёхлетний (ещё нет трёх лет) буланый, сын всё от той же Буланухи. Четвёртая сама, без понуждения, рванула воз, скользя копытами и упираясь с места. Пятый, опять же молодой, неопытный, некованный, натянул повод, но воз его полегче, сам скользнул и поплыл как по маслу. Теперь Егоркин черёд. Он приготовился, чтобы рассмешить и подбодрить всё семейство — вот-де я какой, не трушу:

— Ну, мёртвая! — Но голос его прозвучал не басом, а потонул детской песенкой в оглушительном скрипе шести подвод.

Елена припомнила его урок в избе, заданный из некрасовского «Мужичка», и усмехнулась. Потом издали перекрестила весь обоз, медленно уходивший в глубь улицы. Кое-где во дворах глухо лаяли собаки.

Лошади уже не тянулись и не отставали друг от друга. Они давно и во дворе, и в табунах друг без друга не ходят. Лай собак и скрип обоза утонул и заглох.

Село осталось позади. Дорога сразу пошла узкая, рядом идти трудно. Придерживаясь за верёвку, которой увязаны столы и стулья, Егорка шагает легко позади своего воза. Изредка подскочит на отводину, подъедет и следит, сел ли на воз отец. Нет, он тоже идёт позади. Но вот дорога пошла под горку, отец вскочил на воз. Видно в просветлевшей ночи, как он оборачивается, маячит: дескать, можно посидеть и на возу.

Ночь распростёрла на небесах неисчислимое количество звёзд, но утренней зари ещё не чувствуется на востоке. Значит, встали в полночь, и день будет сегодня длинный, длинный. Мороз уже хватает за нос и за щёки, на ресницах появились тоненькие льдинки. Шерстяные чулки в сапогах пока что греют. Но лучше слезть с воза, побежать, не давать телу остыть. Халатик не на меху. Да и уснуть опасно, можно упасть с воза. А простор впереди уже белый, бесконечный, и, когда остановились на минутку лошади, тишина вокруг всё та же, мёртвая и ледяная.

Караваны и обозы всегда шли медленно. Но они прокладывали дороги через места непроходимые, перевозили богатства древних патриархов и царей из одной страны в другую, соединяли царства, соединили Восток с Западом. Прокладывали пути и тропки через неприступные горы, мостили болота, прорубали леса и медленно и верно двигали торговлю мира.

Сто двадцать вёрст для обоза Митрия были огромным расстоянием. Грузёные хрупкой мебелью и всяким тяжёлым добром возы быстро не погонишь. Зимний день короток. Только покормить и попоить усталых лошадей — смотришь, а уже солнце склоняется к закату. Да и сам бегом за дровнями не побежишь; сидеть же на возу — не купец в дохе да в тёплой шубе. Значит, лошади шагом, и сам за ними пешим, вот и теплее, а особенно мальчонку жалко: халатик-то ветром подшит. Как в нём он не заоченеет — диво, да и только...

Но весел и краснощёк был Егорка, то и дело подсаживавшийся и опять бежавший за возами, потому что шаги его не так ещё крупны, чтобы за лошадиной поступью шагом поспевать. Другой раз на раскате дровни закружатся, выглаживая, выветляя полозьями снежную скатерть дороги, — любо Егорке видеть сине-огненные полосы на снегу. Всё искрится, всё до ослепления бело: и дорога, и степь, и взлобки, и даль за спящей подо льдом великою рекою Иртышом. Кусается морозный ветер, но не так уж больно: отвернётся в сторону,

приставит к носу рукавицу или потрёт щёки снегом — и лицо опять горит, розовеет...

И важным, нужным чувствует себя Егорка на постоялом дворе. И распрягать умеет, и сена дать, и повести коней на прорубь для водопоя — во всём равняется с отцом. И понятно: одному отцу с шестью лошадьми где же справиться?

Три дня пути, два ночлега, третий будет в городе — ух, какая длинная, какая большая по своей важности для Егорки наука — дорога! Сразу вырос: весной ему исполнится двенадцать, но пусть-ка Микола сунется учить его, как надо идти обозом три дня до города. Он сам его научит. Пусть-ка городские сверстники попробуют успеть запрячь, распрячь три лошади — он так наловчился, почти что и от отца не отставал в распряжке. С запряжкой не хватает сил «супони» затягивать — ремни у хомута, что стягивают дугу. Но ещё год-два — он достанет и хомут подошвой сапога.

Оценил и отец Егоркино усердие в дороге, и, видно, жалко ему было паренька будить в полночь. Сам напоит, покормит овсом, почистит, всех запряжёт, потом будит, когда уже хозяйка постоялого двора чай вскипятит. А в дороге, когда ночь сменится утром, клонит в сон Егорку. Но на возу нельзя ему позволить спать: во сне на морозе даже взрослые замерзают до смерти. Отец вытащит из-за пазухи согретый у груди калач, но калач всё-таки стылый, и приятно грызть его, чтобы не спать.

— Слезай, грейся на ходу! — кричит отец, чтобы перекричать скрип под полозьями обоза. И начинает сыну рассказывать что-нибудь смешное либо из собственного детства.

По-иному, лучше и яснее запомнились рассказы отца в это морозное утро. Запомнил Егорка отцовскую бородку, узкую, серебрёную от инея, и брови в серебре, и ресницы с бисеринками льда над глазами. А лошади тяжёлой поступью шли в гору и упирались копытами в хрустевший снег. Все они были тёмными от пота, хотя и разномастные, вся шерсть в серебристом пуху. Все шесть лошадей как будто впервые видел... В паре, под инеем, они были как никогда тёплые, живые, родные лошадки! Тепло стало от быстрого шага рядом с отцом. А ещё теплее стало оттого, что вспомнил мать и слова её: «Может, хоть ты станешь человеком!».

Не всё точно понял, что рассказывал отец. Но отец стал ему ближе после этих рассказов. Бедняк он на деревне: рассказал, как однажды ходил по соседям занимать полмеры муки до урожая... Полную меру не смел и просить, зато был должен почти что десяти хозяевам. Но до урожая ухитрился половину долга возвратить — тому дрова поможет пилить, тому сено вывезить из заметённого снегом стога, тому двор

вычистит. Вспомнил Егорка, почувал нараставшую в себе вину в том, что он решил уйти из отцовского дома, лишит отца подраставшего работника.

Тяжело было дышать на быстром ходу на морозе. Лошади вытянули обоз в горку, сейчас возы будут толкать их под гору — можно присесть, спрятать лицо от игольчатых когтей мороза, уткнувшись в полог, покрывавший мебель на возу.

Солнце всходит в рукавицах. Нет, не в рукавицах, а в ярко-радужных наушниках, закутанное инистым дыханием земли.

Так начинался особенно памятный для Егорки третий день, когда под вечер на ровном и туманном горизонте, на жёлто-красном предзакатном небе показалось нечто странное, невиданное — город.

Это было видение, почти такое, какое он только однажды видел в полудремоте или в бреду, — неправдишное небо и неправдишный город, но такой тонкий и прозрачный, насквозь был виден весь, как сотканный из полотна: высокие, золотящиеся купола больших, больших церквей и вперемежку с ними тонкие и острые мечети, много мечетей, больше, нежели церквей; все они тонкой длинной полосой перегородили горизонт, а солнышко садилось за них, как нарочно, чтобы город был выше, тоньше и прозрачней.

Отец совсем повеселел, отстал от передовика-коня, который давно знал дорогу и шёл, не нуждаясь в вожжах; стряхнул с бороды и усов влажные ледяшки, ткнул кнутом в сторону видения и спросил:

— Симпалатна! Видишь?

У Егорки слишком заоченел рот, но он сморщил побагровевший за три дня вздёрнутый нос, чтобы проверить — отморозил нос и щёки или нет, и с трудом выдавил:

— Се-ми-па-ла-тинск! — В этой поправке отцовского названия города он не имел в виду показывать, что он учёнее отца и знает, как произносить это название, но он по-своему, по-сонному, любовался даже самыми слогами и длиной этого необыкновенного слова. — Се-ми-па-ла-тинск, — повторял он, ударяя на последнем слоге. Но он продрог и с трудом сжимал зубы, чтобы они не стучали.

Материна фланелевая шаль была свёрнута шарфом и крест-накрест переплетала его шею и грудь. В дороге только раз он позволил отцу развернуть её и надеть на голову по-бабьи. Но на этот раз отец решил ускорить ход обоза даже до рыси, и, значит, надо сидеть на возу, а не бежать. Поэтому Егорка не возражал, когда отец распутал шаль — она местами слиплась от застывшего Егоркиного дыхания — и закутал ему голову и плечи. Он опять был похож на девочку, но

сам этого не видел. Очень зябли руки и ноги, мороз к вечеру опять крепчал, а на равнине ветер дул острее и пронизывал насквозь не только всю его одежду, но и всё щупленькое тело. Он чувал, как рубашка и штаны, и сапоги холодили его, как ледяная кора. Но, сидя на возу, он, как и отец, делал разные движения руками и ногами, чтобы не заоченеть.

Долгими казались оставшиеся вёрсты, но в самые сумерки мимо обоза пошли огоньки: сначала в низких пригородных домиках, потом в двухэтажных, потом вдруг отец круто повернул передовую лошадь влево, и обоз остановился в широкой ограде, сплошь заставленной возами, крытыми кибитками, распряжёнными лошадьми, торчавшими вверх связанными оглоблями, чтобы воз возле воза мог стоять ближе и не занимать лишнего пространства. Над въездом Егорка успел прочесть на вывеске: «Постоялый двор А.А. Пальшиной». Значит, приехали.

XVI Первая ступень

Приехали они в город ночью, и когда Митрий въехал в просторный постоялый двор Пальшиной и начал распрягать свой обозик в шесть упряжек, он крикнул Егорке:

— Беги скорей в тепло, грейся!

Но Егорка не пошёл. Не слушались его руки, не гнулись пальцы — он их даже не чувал в варежках, так они заоченели от мороза, — но всё же он хотел быть молодцом и помогать отцу в распряжке. Там, где не мог развязать супонь у хомута руками, хватал за ремённый конец острыми зубами, и это помогало. В движении немножко согрелся, и доказал отцу, что он не баба. Хотя двенадцать лет ему исполнится в Егорьев день, в конце апреля, через четыре месяца, он отвечал на вопросы о возрасте:

— Двенадцать!

В тёплом просторном помещенье было уже много народу, и ото всех мужиков пахло разогретыми овчинами и зипунами. Разморило его сразу. Не дождался ни еды, ни чаю, уснул, не раздеваясь, как убитый. Ещё до рассвета разбудил его всё тот же шум и непонятный говор. Все говорили сразу, и каждый о своём, но слов отдельно не разберёшь, да это и не важно.

Трудно было всё сразу вместишь в слух и зрение и в неопытный, только пробуждавшийся в жизни разум, ибо всё было для Егорки ново и удивительно. А главное, невероятно.

Невероятно, что он в городе. А города он ещё не видел, так как постоялый двор был на окраине, среди разнокалиберных невысоких домов и пустырей. Невероятно, что он может остаться здесь один, невероятно, что кто-либо может дать ему какую-то должность. Рано утром, ещё до рассвета, за общим шумом он услышал странное, никогда не слыханное, но однотонное — он знал, что такое ноты, — пение:

— А-ал-ла-ах! — Всех слов он разобрать не мог, но понял, что это молится и поёт где-то по соседству татарский мулла.

Позже, когда при ярком солнечном свете он впервые вышел, вернее испуганно выглянул за ворота, он увидел и самую мечеть, совсем близко, и на башне её под позолоченным полумесяцем стоял в чёрном халате и в белой чалме мулла и, приложив руки к ушам, опять взывал к Аллаху и тянул одною нотой, высокой и пронзительной, свой призыв к молитве. В то же время с отдалённых концов города, как бы отвечая на призыв, отзывались другие, такие же пронзительные и печально завывавшие голоса. Это было очень трудно воспринять или усвоить, тем более что Егорку всё больше волновал вопрос о собственной судьбе: «Как и с чего начать?». Нет, он не решится обращаться к хозяйке постоялого двора, Анне Андреевне: уж очень она большая, как башня, ходила среди возов и людей рано утром, собирая за постой. Высокая, полная, в шубе внакидку, и голос её был строг и звучен. Нет, это страшно. Она и слушать его не станет, и прежде всего возьмёт и скажет о его намерении отцу. Нет, он сам... Вот сейчас, пока отец где-то на базаре, а лошади стоят у сена, он пойдёт... Только бы не заблудиться... Он пойдёт прямо по улице туда вон, к самым высоким каменным домам, — там-то и есть настоящий город...

Он ещё не решил, но уже шёл от постоялого, шёл, ускоряя шаги, чтобы кто-либо не кликнул, не остановил его. Он шёл прямо, не оглядываясь и замечая на угловых домах название улицы, чтобы потом найти постоялый двор Анны Андреевны Пальшиной. Ему легко было идти, и совсем не было холодно. Пальтецо его немножко распахивалось на ходу, и новая миткальная подкладка отсвечивала сталью. Это хорошо, что мама сшила ему это пальтецо: всё-таки не стыдно идти по городу и спрашивать о должности... Но надо сделать всё как можно скорее, чтобы смелее можно было просить отца оставить его в городе. «Войти в этот вот дом? Нет, этот слишком большой, каменный... Зайду вон в тот, пониже, деревянный». Прямо постучать и зайти, и спросить, не нужно ли им... Не успел додумать, что спросить, как увидел, что ворота в ограду открылись, и внутри двора пожилой господин в светло-серой офицерской шинели брал вожжи запряжённой в полусанки

лошади и что-то говорил стоявшему возле него солдату. Егорка замер на месте, так и не переходя проезда. Так и не посмел подойти, пока офицер не выехал и укатил вдоль улицы. Но когда солдат стал закрывать ворота, Егорка робко снял перед ним свою большую, не по росту, шапку и, держа её в руках, хотя уши его щипал холод, сказал дрогнувшим голосом:

— Здравствуйте! — Солдат, готовый закрыть вторую воротину, недоумевающе смотрел на него и ждал, что он ещё скажет. И мальчик поспешил сказать, пока ворота закрывались:

— Я вот... приехал в город... — Солдат закрыл ворота, не давши мальчику договорить, но тотчас же вышел через открытую калитку на улицу и переспросил:

— Чего тебе? — Он был из молодых, но с бородкой, и с особенным любопытством, а может, с подозрением зорко осматривал Егорку с ног до головы.

— Не знаешь ли... — Егорка тотчас же поправился, помня, что мать учила: городских людей называть на вы. — Не знаете ли вы... — Он опять запнулся, в то время как солдат спокойно взял из его рук шапку, надел её на него и сказал:

— Ну, ну, кого потерял? — И улыбнулся ему приветливо, как будто узнал в нём своего, быть может, такого же сынка либо братаника на родине. — Откуда, чей? — Слов солдат, видимо, зря не тратил, был скуп на них и почти не слушал самого главного, о чём, наконец, Егорка выразился всё ещё туманно и как будто не всерьёз:

— Я почти что кончил нашу школу... Я кончил, но отец весной взял меня на лесорубку, и экзамены я не держал. Но я с осени ходил опять в школу... Я грамотный!

— Очень даже приятно слышать, — говорил солдат, загребая мальчика правой рукой и увлекая его в глубину двора, где под навесом стояла летняя коляска с фигуристыми приступками. На этих приступках в досужую пору солдат присаживался. Сюда же усадил он и неожиданного деревенского гостя. Ему было приятно поговорить с таким настоящим деревенским пареньком, да ещё грамотным, но он так и не внял словам Егорки, который уже страшился потерять лишнее время и старался круче повернуть от затянувшегося солдатского гостеприимства.

— Ну, я пойду, — сказал он наконец, прерывая солдата как раз на том самом месте, где тот признался:

— У меня дома растёт как раз такой же вот братаник, Васютка, ну, в школу отдавать его для семьи дело непростое. Один остался на поглядочку родителям. А люди они справные, хозяйство — слава Богу, а работников — оба большака в солдаты забраны. А мне ещё девять месяцев осталось!..

Солдат вздохнул, и видно было, что у самого у него есть о чём вздыхать, — зачем вдаваться в заботы и дела других людей, а особенно несмышлёныша деревенского, который сам не знает, чего он хочет и зачем приехал в этот чуждый, скучный, затерявшийся в степи полковой город-лагерь.

Так и не выслушал Егорку первый встречный. И пошёл Егорка вдоль всё расширявшейся улицы с растущими вверх и вширь домами — искать первой ступени жизни.

Он знал, что его на постоялом дворе должен хватиться отец, и чем позднее он вернётся, тем строже будет наказание. Но какая-то внутренняя сила уводила его глубже в город, не в самый центр, а в сторону. Уж очень часто стали на него оглядываться прохожие. Халатик ли его или непомерно большая шапка обращали на себя внимание, поэтому он уходил всё влево, где улицы были узки и дома обнесены высокими заборами. Это была татарская часть города. Здесь было меньше народа, лишь изредка поперёк улицы пробежит стайка женщин в тёмных покрывалах, спущенных на лица. Он слышал их непонятное щебетанье и всё думал, зачем же он ушёл в Татарское, ведь, если он заблудится, ему никто дорогу указать не сможет: не поймут его, и он их не поймёт. И вот он повернул направо. Пошёл по направлению к русскому большому собору, а против собора на площади показались четыре громадных трёхэтажных дома. Они были так велики и так белы, что казалось: это и есть Град-Столица из Конька-Горбунка. Но в эти дома он войти не посмел, даже мимо них почему-то страшно было проходить — таким холодом и величием и недоступной красотой веяло от них. И он повернул вправо, зная, что это и будет теперь направление на постоянный двор Пальшиной.

Он остановился, испугавшись, что не может вспомнить название улицы, на которой, далеко позади, находится постоянный двор. И пошёл опять назад, в Татарское, стараясь возвращаться точно теми улицами, которыми он шёл сюда. Но улицы были и похожи, и не те. Не те, потому что по тем совсем не было вывесок, а по этим — почти над каждым домом вывеска. И вот одна из них его остановила. Остановила потому, что он не мог сразу прочесть её. Как же так? Он грамотный, и вывеска написана по-русски, а прочесть не может. Точно на экзамене сам у себя, он стал читать вслух:

— Хабибулла Хусаинович ХИС-МА-ТУЛ-ЛИН. — Прочёл и повторил, и ниже прочитал ещё более трудное: — Каучуковых и штемпельных дел мастер.

Дом был невелик, но новый, двухэтажный, чистый, и у ворот его сидела женщина, чем-то удивительно напоминавшая Егорке его мать. Она была вся в чёрном, но лицо открыто. Она

смотрела себе под ноги, вытирала глаза платочком и никого и ничего не видела. Она плакала. Этим, должно быть, она и напоминала ему мать. Егорка робко, не без страха, подошёл к ней.

Недаром женщина напомнила Егорке его мать. Она и оказалась первым его прибежищем в этом страшном и холодном городе. Судьбе ли так было угодно, или такая могла быть капризная случайность, но так вот вышло: была эта женщина служанкой в доме штемпельных дел мастера, бухарца Хисматуллина, а Хисматуллин как раз подыскивал себе ученика-подмастерья. Женщина ввела его к хозяину, необычайно бледному, в веснушках, но красивому, в красивой чёрной бороде и в чистом шёлковом халате. Он хорошо говорил по-русски, и допрос его был краток:

— Грамотен? Что-нибудь напиши! — Написал Егорка имя своё и фамилию, и тотчас же трудное имя своего нового хозяина. Вышло без ошибки. — Хорошо, — сказал бухарец. — Приведи отца. Поговорим.

Вот это было самое нужное и самое чудесное: есть о чём поговорить с отцом, есть о чём просить и Анну Андреевну. И та же женщина, служанка Хисматуллина, отвела Егорку на постоянный двор. Она и разговор вела с отцом, а потом с Анной Андреевной, потому что не хотел отец в такое дело впутываться — на пять лет своего мальчонку какому-то татарину отдавать. Но Анна Андреевна, и в особенности сын её, высокий, хорошо одетый, настоящий господин, уговорили Митрия. Согласился.

Неспособно было ему одному на шести запряжках домой возвращаться, тем более — подрядился он везти из города сто двадцать пудов кормовой соли своему же деревенскому купцу. Но согласился. Согласился и на то, чтобы в течение месяца представить бухарцу увольнительный приговор от сельского общества для Егорки: дело нешуточное, бухарец на пять лет берёт мальчика в ученики, будет платить ему по пять рублей в месяц, и одевать и кормить Егорку, а когда выучит, значит, сам Егорка будет мастером, большие деньги будет зарабатывать. Нешуточное дело, есть за что и сельское общество булгачить.

И так всё и было: и приговор был дан, и подписка от родителей, с печатями от села и волости. Пришли бумаги в большом пакете на имя бухарца в феврале, как раз в самые сретенские морозы. Но в этот самый день, в который пришли бумаги, Егорка, ничего о них не зная, шёл через Соборную площадь весь в слезах. Под мышкой у него был узелок с пожитками, а под другой — одеяльце и подушка, присланные матерью с попутчиком недели две назад. Буря была на морозе и сшиба-

ла Егорку с ног, осыпала его снегом, смешанным с песком, и застилала путь туманом вихревым и слёзным. А путь его был длинен: до постоянного двора Анны Андреевны Пальшиной, а оттуда уже наверное — домой, на жестокосердие отца и брата и на смех всему народу. Прогнал его бухарец, и не за его вину, а за вину своей служанки, которая дерзнула привести к нему такого несмышлёного, нерасторопного деревенского парнишку.

Но не оттого Егорка плакал, что прогнал его бухарец, даже не оттого, что над ним будут смеяться его бывшие школьные товарищи — не прошёл-де в барины, не поглянул-де Егорке белый городской хлеб, — а плакал он от первой, самой горькой неправды, и даже не к себе, а вот к этой доброй женщине-служанке, напоминавшей ему мать. Не во всём он разбирался, не всё понимал, но почему-то запирался бухарец с женщиной в своей чистой отдельной горнице, приглушённо кричал на неё, чего-то добивался, а женщина молчала и вырывалась от него в слезах, выбегала на улицу, но никуда дальше ворот не уходила, а долго там сидела и старалась спрятать слёзы от прохожих и даже от Егорки. Жалость к женщине сжимала Егоркино сердце, но он не смел её расспрашивать и даже старался не замечать непонятной ему драмы. Зато усиленно старался Егорка разбирать шрифты по кассам: нравилось ему это дело, и стал он привыкать к придирам хозяина, только бы угодить, только бы чего не перепутать. Большой был мастер бухарец, хорошо у него отливались из расплавленной резины штемпеля, печати, целые странички отпечатывались с мягких каучуковых пластинок. И когда бухарец чистил их маленькой щёткой, зубы у него обнаруживались и блестели молниями из чёрных выхоленных усов и бороды. И русские слова, как пули, вылетали на Егорку, точные, чёткие, как печатные буквы, и наставительно строгие. Бухарец первый называл его не пренебрежительно Егоркой, а настоящим именем: Егор. Это придавало бодрости и веры, что всё пойдёт ладно. Но вот произошло неладное и нелепое. Поручил он служанке-женщине отнести на почту деньги для пересылки фабриканту деревянных ручек для штемпелей в город Омск. Большие были деньги — двадцать пять рублей. Но почему-то женщина не удосужилась сама отнести пакет (тогда деньги отправлялись ещё в запечатанных пакетах, а не переводами), и доверила она Егорке пойти на почту. А там его другие, взрослые и важные, люди оттирали от окошечка, продержали его почти час. Вдруг около него появилась женщина, опять в слезах:

— С ума ты сошёл — столько времени торчишь тут! Он думает, что сбежал с деньгами! — И хотя это была неправда, и

оба они вернулись к бухарцу с почтовой квитанцией, — раскричался, взбеленился бухарец, прогнал обоих — женщину и Егорку. Вот он теперь и шёл сквозь снежную вьюгу, не замечая, что слёзы его на щеках смешивались со снегом и падали на землю льдинками.

Не перешёл он ещё широкой площади, как через неё, мимо собора, вслед за Егоркой, послышался звон и гром. Остановился он в изумлении. Невиданное зрелище: красные громадные телеги, запряжённые тройками и парами лошадей, похожих на львов. Жирные, гладкие, большие, с развевавшимися гривами, лошади мчались прямо на него, а на телегах всё блестело начищенной жёлтой медью, и лошадьми правили ездовые в медных шишаках, как римские воины, которых видел Егорка на картине, при распятии Христа. И на первой телеге, позади ездовых и у чудовищной машины с какими-то чёрными жгутами, как большие змеи, стоял во весь рост высокий офицер, тоже в медном шишаке, только с удлинёнными козырьками спереди и сзади, и, как победитель, поднял правую руку и что-то кричал ездовым. Не успел сосчитать всех экипажей, как услышал с третьего хриплый крик, обращённый прямо к нему, Егорке, и крик этот был:

— Егорка-а!

Совсем ошеломлённый, смотрел Егорка вслед промчавшемуся чудо-экипажу и верил и не верил: это же его родной дядя и даже крёстный, Василий Лукич. Говорил же ему отец, что брат его, Василий Лукич, служит в пожарной команде. Это он! Точно во сне и как бы вихрем, заметавшим хвост промчавшегося поезда, Егорка так и побежал следом. И увидел, как поезд завернул в ближайшую улицу и промелькнул красным громом в боковом переулке. Уж нетрудно было проследить этот гром и разыскать пожарную команду и дядю-крёстного, Василия Лукича. Чудо это было, и чудо недалёкое. Пожарная команда была в центре города. А это была проездка, проминка застоявшихся без дела лошадей под командой самого чудо-брандмейстера. Слово, которое с того дня на всю Егоркину жизнь прозвучало значительнее, чем слово «полицмейстер» или «егермейстер». Уж очень был красив, и высок, и величествен начальник пожарной команды. А главное, не надо было идти на постоялый двор. Вся Егоркина судьба менялась. Как, и к лучшему ли — он ещё не знал, но только бы не возвращаться опозоренным в родное, занесённое снегами рудокопское село в далёких предгорьях Алтая.

Вытер Егорка слёзы на посиневшем лице, высморкал нос обеими руками, меняя их поочерёдно, перед тем, как войти в обширный двор пожарной команды. Нельзя же плаксою встречать дядю — такого молодца в медном шишаке. Трево-

жила эта встреча, даже пугала, но всё же это была какая-то вторая ступень жизни, и сердце Егорки замирало от неизвестности.

XVII

У чужих порогов

Снежная вьюга с той же силой хлестала в лицо Егорки и врывалась в рот и в нос так, что он захлёбывался и чувствовал на зубах песок, взвихренный бурей над улицами города. Теперь Егорка шёл вместе со своим дядею и крёстным, Василием Лукичом, через ту же площадь куда-то в незнакомый закоулок, неподалёку от пожарной команды. Лукич брил бороду, но усы берёг и холил со времени солдатчины. Теперь они свисали вниз сосульками от набившегося снега с песком, и от этого дядя казался старше своего возраста. Но то, что часть Егоркиного багажа Лукич нёс под правую руку, а левую держал Егорку за плечо, согревало Егорку лаской и смягчало его страх перед встречей с тёткой Акулиной. Тётка Акулина была женщиной сухопарой, чернявой, молчаливой и всегда всем недовольной. Так он знал её по отзывам отца и матери: сам Егорка видел тётку давно и случайно. Но, так как он теперь «прогнан» с первой должности и должен дяде и тётке сесть на шею, страх его не могла устранить даже ласка дяди. Так оно и было. Комната была подвальная, сырая и полутёмная, а у Василия и Акулины был мальчик Яша, лет семи, хорошенький, как девочка, и избалованный, как барчук: родители в нём души не чаяли и баловали как могли.

Когда Лукич, войдя в жилище, сказал виноватым голосом, что вот привёл, мол, крестника погостить у них, Акулина, не ответивши на поклон Егорки, разбежавшегося к ней с протянутой рукой, — так его учила мать здороваться в городе, — с нескрываемой злобой крикнула на мужа:

— Да куда тут с ним? У меня вон своего-то негде положить...

Но Лукич тоже повысил голос:

— А ты не базлай! Тебя никто не боится...

Тут Егорка сразу почуял, что дядя её боится. Так его ручонка и повисла в воздухе, и приветствие его осталось неприятным. Но как-то всё уладилось: тётка всё же накормила всех хорошими, жирными и горячими щами с мясом, и, хотя обед был невесёлым, Егорка хорошо согрелся и стал забавлять как мог Яшу, который вытащил из всех углов разные свои игруш-

ки и растащил по полу все Егоркины пожитки. Незванный гость не решался спорить. Он кротко уговаривал Яшу отдать ему обратно подушку, одеяло и две чистые рубашки, но мальчик продолжал забавляться его вещами как ему хотелось, и даже уговоры отца и матери не помогли. Лукич был явно озабочен и спешил в команду, а Акулина сомкнула сухие, тонкие губы в неутешное молчание. Но, уходя, дядя нашёл выход из неприятного Егоркиного положения.

— А ну-ка, племяш, пойди почисти Игреньюху и напой её, сенца ей дай немного.

Это было очень удивительно: дядя Лукич, живя с семьёй в подвале, мог содержать ещё и лошадь.

С трудом Егорка высвободил из рук Яши свой халатик, шапку, опояску и вышел вслед за дядей через двор и ещё через открытую площадку, видимо, в соседнюю усадьбу, к Игреньюхе. Кобылица, увидевши хозяина, мягко и дружески заржала, и это ржание было самым лучшим утешением и приветом для Егорки за все эти тревожные недели его жизни в городе. Ведь это же та самая Игреньюха, которая когда-то шла в пристяжках, когда он ездил в гости к бабушке в рудник Чудак!

Конюшня у Игреньюхи, которую Василий содержал опрятно, была настолько хорошая, сухая и тёплая, что в ней захотелось Егорке даже самому поселиться. Спать можно зарывшись в сено: его было вдоволь, лежало оно на особых досках в виде полатей над просторным стойлом.

С любовью и стараньем Егорка вычистил не только лошадь, согревшись около неё в работе, но и всё в конюшне привёл в хозяйственный порядок: перебрал, почистил, развесил сбрую и начал чистить снег даже вне конюшни, когда к нему незаметно подошла закутанная в большую фланелевую шаль тётка Акулина. Неожиданно и по-иному прозвучал её голос:

— Ну вот и молодец!.. А то ведь это мне же надо делать. На лошадь-то уходит почти половина его жалованья, а продать не хочет... не хочет быть безлошадным. — Она понизила голос: — Без лошади-то ведь запьёт он. Я и сама боюсь, как бы не продал. А то и телегу, и сбрую завёл. Теперь на сани копит денег.

Это было тоже удивительно для Егорки: тётка Акулина вдруг стала такой разговорчивой. И даже Егорку пожалела:

— Да ты чего тут-то скребёшь? Это ведь не наша часть... Иди домой, замёрз!

— Да нет, я даже нисколько! — радостно отозвался Егорка, готовый делать что угодно и сколько хватит сил, только бы тётка не сердилась. Одно было плохо: руки мёрзли, шерстяные рукавички где-то у бухарца затерялись. Там они и не нужны были. А теперь без них — просто беда.

В первую ночь дядя Василий домой не пришёл: он только три ночи из семи в неделю спал дома. Пожарная служба строящая, и хотя зимой пожаров бывает мало, брандмейстер держал команду начеку, да и те, кто не должен был дежурить, спали на большом сеновале, в случае чего — люди вот они, всегда готовы. В эту ночь Егорка спал вместе с Яшей на кровати, а Акулина на полу. Но в следующую ночь Лукич пришёл ночевать домой. Он был усталым и даже сердитым. Ужинали поздно, и сразу стали устраиваться спать. Яшу уложили на лавке, поставивши к ней два стула. Егорке постлали кошомку на полу. Железная печка с вечера горела жарко, а ночью вдруг всё стало ледяным, и лёгкое одеяльце, сшитое Егоркиной матерью, стало ещё легче. Халатик сверху не помог. И захотелось Егорке как-нибудь незаметно убежать в конюшню. Там бы он зарылся в сено, как, бывало, с братом Николаем на пашне, осенью, под стогом часто спали. Но ночь была бесконечно длинной и всё более невыносимой от холода. Долго дрожал, кутался, сжимался в комочек, ворочался с боку на бок, со спины на живот, и никак не мог согреться. Лукич почувял, что Егорке плохо, встал с кровати, зажёл лампу, укутал Яшу и бросил на Егорку какую-то одежку. Потом стал возиться возле печки, ворча и негромко ругаясь: не разгорались сырые дрова. Подвал наполнился дымом. Дым согнал с постели Акулину — она тоже стала кутать Яшу и ругаться возле печки. Лукич ответил ей тем же, и в голосе его послышалось что-то угрожающе-знакомое, как в родной избе Егорки: нужда и холод так же выростали в ссоры между отцом и матерью...

В жилище стало ещё холоднее. Егорка выскочил из-под своих укрытий, наспех обулся, оделся и выскочил на двор. Засунувши руки в рукава, он через новые сугробы снега под ударами всё ещё не утихшей бури побежал в конюшню.

Там он обхватил Игреньюху за тёплую её шею и, чувствуя особый, с детства знакомый, щекочущий в носу запах лошадиной кожи, согрел под гривой свои руки... И вдруг заплакал, не зная почему и о чём. Было по-хорошему тепло около лошади и стыдно перед «белым светом»: стыдно, что замёрз, стыдно, что прогнали с должности, и стыднее всего, что живёт у бедного дяди Лукича как приبلудень. Плакал и не мог остановиться. Слезы бежали из глаз по щекам сначала тёплыми, а к носу уже холодели и на халатик скатывались почти застывшими. Тогда, чтобы согреться, он в темноте нащупал щётку и стал ею скрести тёплую шерсть лошади, поворачивая руки кверху ладонями, чтобы согреть наружную часть руки, но холод всё больше пронизывал его, и даже сено казалось ледяным, а помёт лошади под ногами был вовсе каменным. Егорка почистил из-под лошади объедки сена и помёт;

руки совсем заоченели. Он сунул их под халатик и, услышав шум с улицы, особый, скрипучий, зимний шум обоза, побежал из конюшни за обозом. Это был длинный обоз с сеном. В полутьме раннего утра обоз казался длинным рядом ползущих на брюхе мохнатых зверей.

Что произошло в душе мальчонки? Что его толкнуло на побег за обозом сена? У него тогда не было времени разбираться. Его толкал мороз во власть наружного, ещё более острого мороза с вьюгой, и это было даже против животного инстинкта. Может быть, много лет спустя он вспомнит малую подробность, толкнувшую его бежать из подвального жилища дяди. Это было сложно для маленького сердца Егорки, но это было ударом для его скрытого, ещё неосознанного самолюбия: когда он одевался, а около печки нарастала ругань между дядею и тёткой — она корила его за то, что он купил сырые дрова, а он начал ругаться несдержанной, тяжёлой руганью, — Егорка принял эту ругань на свой счёт. Он искренне принял на себя вину за то, что было холодно, что дрова были сырые, что дядя и тётка живут беднее его бедных родителей, и ему стало их до слёз жалко. И бессознательно в нём пробудилось чувство жертвы, до героизма вспыхнула в нём первая решимость что-то сделать такое, чтобы спасти и дядю с тёткой от унижения, какое он испытал в доме у своих родителей, куда ему теперь так не хотелось, так было страшно возвращаться. Там ждала его та же нужда и те же ссоры. Он не понимал, что та же нужда теперь толкнула его на побег, быть может, к большей нужде, но это был предел его первого отчаянья, из которого не было иного выхода.

Он уцепился сзади за один из возов и, всунув руки в мягкое, свежее, пахнущее покосом сено, сразу почувствовал, что укрыт от острого ветра. Куда увозил его обоз, он ещё не соображал, но, наверное, на базар, а не из города. Теперь он не потеряется. В крайнем случае, он вернётся, он найдёт дорогу в пожарную команду и там согреется. А если будет ближе к постоянному двору Пальшиной, он добежит туда, и Анна Андреевна опять поможет ему найти работу, какую-нибудь работу, самую тяжёлую, такую, чтобы сильно двигаться и согреться. Согреться — вот что было первою, самой острой мечтой Егорки. Но холод всё сильнее обнимал его, проникал под жиденький халатик, иглами вцепился в пальцы ног и в кисти рук. Обоз шёл вдоль улиц долго. Стало уже светло. Держась за верёвку, которой был притянут к возу бастрык, он побежал за возом, чтобы размяться, разогреться на ходу. Но в это время обоз остановился, и возле него появился заиндеветший мужик, весь закутанный в мех: на нём была доха из оленьего меха шерстью вверх и рукавицы из собачьего меха, тоже шерстью

вверх, а большая меховая шапка с ушами сливалась с заиндевелой бородой, и из этой бороды, вместе с паром, вылетел глухой, еле внятный, но сердитый вопрос:

— Ты чего тут? — Из-под белых, заснеженных инеем ресниц мужицкого лица смотрели белесые глаза: — Сено вытеребиваешь?.. — Мужик был опытный — утрами из возов на ходу городские мальчишки часто вытеребивали сено для своих коров или просто из озорства, и этот был застигнут прямо на месте кражи. Егорка как держался за верёвку, так и не выпускал её из посиневших рук. И застывшими губёнками еле выдавил в обиде:

— Что ты, что ты, дяденька?.. Я... Я замёрз!

Мужик оглянулся: сена на дороге не было ни клочка, а в глазах мальчонки были необсохшие, но застывшие на ресницах капельки слёз. Мужик не понял, но не то поверил, не то пожалел, снял с руки тёплую мохнашку и сунул её Егорке.

— Надень да нос-то вытри, — сказал он торопливо и тёплой рукой, что осталась без мохнашки, стал тереть Егорке побелевший мокрый нос. — Чей ты? — спросил он с неожиданной заботливостью. Но Егорка не ответил. Ноги его совсем коченели, он стал на них пританцовывать, и посиневшее его лицо сморщилось от боли, а из горла сам собою вырвался надсадный, какой-то скрипучий, с провизгами, крик. На крик этот прибежал от передних возов ещё мужик.

— Чего тут? Воришку словил?.. Вот это дело — пусть не пакостит...

— Да нет, — заступился первый мужик. — Парнёнок, слышь, замёрз, а не говорит, откуда и чего с ним...

— Ты откуда? — закричал на него, как на глухого, второй мужик, в то время как подошёл третий и, не слушая, в чём дело, твёрдо сказал своё:

— Митроха, полковнику три воза заворачивай. Эти, задние!

Но Митроха, первый мужик, остановил третьего:

— Тут, слышь, парнёнка замерзает. Вишь, посинел до смерти...

— Вороти, говорю, к полковнику! — настаивал третий, а второй поддакнул: — Да и парнёнка сдай полковнику, там на кухне отогреют...

Вот так и переступил порог тёплой, пахнувшей чем-то очень вкусным барской кухни в городе Семипалатинске Егорка, сын Митрия, крестник и племянник пожарного служащего Василия Лукича. Но и это ещё не вторая ступень Егоркиной жизни в городе. До второй далеко.

Но вот отогрели его и напоили горячим чаем с вкусными оладьями на кухне полковника. И сам полковник, вместе со

старушкой в чепчике, пришёл на кухню после того, как сено с трёх возов было смётано на сеновал, и полковник заплатил за него мужикам три целковых и три гривны — по рублю с гривенником за воз. Они пришли, уселись у стола допивать ранний свой чай с оладьями — был полковник старенький, небольшого роста, усатый и седой, на вид простой и без знаков отличия, даже не в офицерской шинели, а в простом овчинном полушубке и в валенках. Допивали они чай, смотрели на стоявшего в уголку, у порога, мальчонку и допрашивали не спеша и без особого любопытства:

— Ну вот и молодец, что рассказал всё по порядку. Только, говоришь ты, штемпельных дел мастер тебя рассчитал, — задавал он вопросы, прикусывая сахар и присасывая с него сладкую влагу: зубы у полковника были непрочные, и он примачивал сахарок в чаю. — Как же он мог тебя рассчитать, ежели ты был во всём аккуратный мальчик, а? И как это так могло быть, что четвертную тебе дали отправить по почте, а ты не справился?.. Не было ли тут греха какого?.. Ну-ка скажи, как это так вышло, что хороший господин, Хабибула Хисматуллин — я его прекрасно знаю, он и мне печати делал... Ну-ка расскажи, как на духу... Не хотел ли ты с четвертной-то убежать к родителям, а?

Очень это был тяжёлый допрос, и очень трудно было отвечать на все вопросы, но Егорка отвечал всё так, как было, ничего не скрывая, и даже точно рассказал полковнику и полковнице, и стоящей у русской печи полнотелой кухарке, сложившей руки на животе, на белом чистом фартуке, почему он никогда бы ничего и ни у кого не украл. Тут Егорка весь пылал от стыда и от тепла в жарко натопленной кухне, но рассказ его был правдив, так правдив и так точен, как правдива и точна была его мать, раз и навсегда наказавшая ему никогда не запинаться ни за что чужое. А почему это наказывала, была тому причина, тяжёлая и самая позорная в Егоркином детстве; об этом-то он и рассказал полковнику и полковнице и чужой бабе, кухарке ихней, всё как было. И даже рассказал, как на духу, как тогда же впервые солгал и был за то наказан, чтобы никогда больше не лгать...

Полковник всё чаще стал поглядывать на мальчугана, усы его обмакивались в блюде с чаем, он их со вкусом обсасывал и, слушая, всё пил чаёк и пил, оладьями уже не интересовался, но сахарок макал в чай и прикусывал, и видно было, что он жил в своём доме в своё удовольствие и слушал случайного деревенского мальчонку уже с любопытством и охотой. И в промежутках запинок рассказчика ободрял его словами:

— Ну, ну, говори, говори! Итак, значит, рядом с тобой в школе сидела дочка батюшки. Как имя-то батюшки?

— Отец Пётр Серебренников, — докладывал Егорка и добавлял для точности: — А имя дочки его было Дуня. Она была старше меня на два года, а может, и на три. Она уже могла писать по-мелкому, а я только что в школу вступил. Мне было восемь с половиной. И вот, значит, остался я без обеда...

— Без обеда? — многозначительно повёл мокрыми усами отставной полковник. — За что же без обеда?

— За смех... Я часто смеялся. Андрюша Зырянов, сын нашего купца, всегда смешил меня, а я не мог терпеть...

— Так, так, — вставлял полковник, — смех и грех, а? Ну, ну, продолжай.

— Ну вот, я, значит, смотрю, а в моей парте лежит ручка металлическая, красивая такая. Я даже тогда не подумал, что это ручка Дуни, и, значит, взял её.

— И, значит, взял её? — повторил полковник, добродушно ухмыляясь в сторону жены-старушки. — Ну и что же? Унёс домой, и что же?

Тут у Егорки раскрылось сердце нараспашку — уж каяться так каяться. Он и покаялся, чтобы всё было ясно, чтобы всякий мог поверить, почему он больше никогда не мог ни лгать, ни что-либо украсть. Он не мог передать теперь, какой невыносимый стыд он пережил, когда всё раскрылось перед родителями, и перед учительницей, и перед классом, а главное, перед соученицей Дуней, но он думал, что «образованный» и благородный полковник поймёт это без объяснений. Он передавал лишь сухой факт события:

— Дома, когда я принёс ручку, я даже похвастался, что это мне благочинный за хорошие ответы по Закону Божию подарил...

— А-га-га! — всхлипнул от восторга полковник. — По Закону Божию! — И тут полковник опустошил последнюю чашку чая, перевернул её доньшком вверх на блюде и резко встал из-за стола. Прекратил Егорка свой рассказ, хотя самого главного рассказать не успел, а ему так хотелось рассказать, как не поверила мать и приказала отнести ручку в школу и при всех всё сказать учительнице... И он всё это так и сделал, и пережил на всю жизнь позор воришки и лгуна, и никогда с тех пор ни за что чужое не запнулся и не запнётся.

— А ну-ка позови кучера, Маланья, — приказал полковник и пошёл внутрь дома, бросивши Егорке на ходу:

— Нет, сударик мой, работы у меня для тебя не найдётся. А к дяде твоему я тебя отвезу. Саврасого пусть запрягут, — сказал полковник выходящей из кухни Маланье.

Егорка остался в кухне один. И вскоре из дома вышел полковник, одетый в шинель с погонами, в шапку с кокардой, а кучер подал ему саночки красивые, и вожжи были синие, лен-

точные. Странно было ехать рядом с полковником, и весело, и жутко, потому что вёз его полковник прямо в пожарную. Там сдал он мальчонка не пожарному служителю Лукичу, а самому брандмейстеру, а тот вызвал Лукича, и тут, в присутствии брандмейстера, Егорка впервые в жизни понял, что первое его чистосердечное покаяние в детской краже оказалось вторым его позором и пятном, с которым никто в городе и, быть может, никогда не даст ему работы.

И только у дяди в подвальном жилище, не сам дядя, а тётка Акулина, выслушавши слёзное повторение рассказа Егорки, вдруг разъярилась львицей:

— Да сам-то он, должно быть, вор неисправимый, коли такую правду повернул на кривду! Да будь на его месте, я бы за такую правду серебром ребёнка осыпала...

Понял тут Егорка, что тётка Акулина была озлоблена какою-то неправдой, и с тех пор полюбил он тётку Акулину, как родную мать. Понял это и сам дядя и крёстный Василий Лукич. Спеша в пожарную команду, он сказал Акулине:

— Ну ничего! Я на днях отпрошусь у начальника и буду сам ему искать какую-нито лёгкую вакансию... На спичечную фабрику Плещеева, говорят, ребятишек принимают. Не унывай, крестник, не пропадём! Иди почисти и напой Игреньюху. А мне надо бежать на службу...

Просветлел Егорка. Главное, что тётка Акулина может его потерпеть хотя бы несколько деньков. А работы он никакой не боится.

XVIII

В чужих сапогах

Казалось бы, Егоркин мир должен был разрастаться. Он и вырастал в его видениях, но по мере расширения видений мир его как-то сжимался, оттачивался острым концом, который всё чувствительнее проникал ко всему его существу испугом. Ни он сам, ни дядя, ни тётка Акулина не могли найти для него никакой «должности», никакой, даже самой тяжёлой работы. Уже третья неделя на исходе с тех пор, как в бурю и буран с песком он пришёл в подвальное жилище своего крёстного и дяди Василия Лукича. Долго рассказывать все подробности о похождениях Егорки по городу с того дня, когда дядя возил его на своей лошади на завод Плещеева, шесть вёрст от города. Это был будничным рабочий день, но он казался для Егорки праздником: была уверенность, что на спичечную фа-

брику Плещеева, только что открытую, набирают мальчиков и девочек-подростков. Работа лёгкая: стоять у какой-то машины и клеивать коробочки со спичками. Шесть рублей в месяц на своих харчах, но помещенье будет при особой школе, которая открывается для бедных детей рабочих. Тут особенно Егоркино сердчишко прыгало от волнения: работать и учиться, и шесть рублей — значит, шестьсот копеек в месяц!.. Трудно было поверить, что это может случиться, и потому, когда этого не случилось, это не было таким отчаянием для Егорки, каким был ежедневный, почти ежечасный страх перед будущим. Чем ближе к весне, тем вероятнее наказание — возвращение домой. Это будет тем более тяжким наказанием, что, помимо издевательства старшего брата Николая и прочих задир, он должен будет вернуться домой в истрёпанных, исхоженных по городу сапогах, а сапоги-то ведь чужие... Сапоги это Мати (Матвея) Вялкова. Пока он только о том и думает: сапоги чужие, и сапоги на износе; сапоги, сапоги — вот в чём теперь все Егоркины думы, весь его свет и вся безнадёжность.

Итак, напрасно он с дядей с утра до полудня дожидался на спичечной фабрике управляющего, доктора Гизлера, в золотых очках, видный такой, чернобородый доктор. Впервые в жизни Егорка видел доктора, в чёрном пальто с меховым воротником и в чёрной же меховой, с козырьком, шапке. Доктор медленно поднялся на второй этаж фабричного здания и долго не выходил к ожидавшей его толпе жаждавших работы. Подростков было мало, но меньше Егорки ни одного не было. Шёл дождь со снегом, и рабочие стояли под карнизами, так что Егорка, приподнявшись на цыпочки, мог заглянуть внутрь здания, где шумели машины, и он видел возле одной из них двух мальчиков босиком... Значит, там тепло и можно работать босиком, а сапоги беречь для ходьбы вне фабрики. Это делало мечту получить работу именно на этой фабрике особенно приятной. Но когда вышел доктор Гизлер и что-то негромко сказал первому ряду прихлынувших к нему рабочих, наступила тишина. Не сразу после отхода доктора к своему экипажу поняли, что работы ни для взрослых, ни, тем более, для подростков, нет. Дядя Василий был особенно опечален и, не сказав Егорке ни слова, обнял его за плечи и повёл к своей телеге. Сжалось у Егорки сердце, когда он по дороге ещё раз внимательно осмотрел свои сапоги: на правом носке была дырка. Это он проткнул гвоздём на тротуаре, на Большой Владимирской улице, где все горожане ходят по узким дощатым тротуарам... Слово-то какое городское: троту-а-ры!! С тех пор Егорка по доскам тротуаров старался не ходить не только потому, что боялся опять наткнуться на вы-

сунувшийся гвоздь, но и потому, что ему, деревенщине, было неловко мешать горожанам, особенно когда шли двое в ряд, нарядные и важные горожане. Надо было всё равно сходить с досок и идти по земле. Так он и ходил после поездки на фабрику ещё целую неделю. Это была суббота второй недели Великого поста. Был полдень, когда он опять на Большой Владимирской улице над входом в один из домов увидел большого, тёмного двуглавого орла. Этот орёл потом запомнился ему на всю жизнь — как поворотный пункт во всей его судьбе. Орёл был из какого-то металла и очень широко распростёр свои крылья, а в самой середине, у груди, краснел образок: Егорий Храбрый мчался на белом коне и поражал красного змия, раскрывшего пасть навстречу копыю. Было страшно на него смотреть, но и увлекательно. Ловко Егорий угодил дракону прямо в пасть копьём. Вот потому и Храбрый. Дома у них на божнице есть Егорий, но икона давно почернела, и змий там маленький, того легче поразить, а здесь всё такое большое, главное же, орёл такой огромный и чёрный, висит над самым крыльцом, а под орлом отчётливо, золотыми буквами, крупно значится только одно слово: АПТЕКА, а потом маленькими буквами и серебром: Александра Гавриловича Ансеева.

Зайти? Спросить? Нет, страшновато! Обошёл дом, полутораэтажный и серый. Сразу же налево переулок, а из переулка открыты ворота в обширную ограду. Остановился у ворот, засмотрелся: внутри малого роста киргиз только что запряг пару лошадей в хорошую коляску и, обходя её, гладил лошадей, поправлял на них сбрую и что-то по-киргизски говорил с собой или с лошадьми. В каретнике была ещё коляска, попроще, и ещё стояла лошадь. Каретник и конюшня под одной крышей казались большим зданием, а справа, в углу ограды, новенький отдельный домик, из которого в это время вышел мужчина без шапки, в одной жилетке поверх клетчатой рубахи и в белом фартуке, не то сапожник, не то повар. Он был светло-русый, и борода его светилась свежим молодым пушком на солнце. Глаза были прищурены, когда тонкий, как у женщины, голос окликнул в сторону Егорки:

— Тебе чего?

Егорка сразу не нашёлся, что сказать. Он даже и не думал ни о чём в эту минуту. Он думал о киргизе: уж очень похож на Тютюбая. Но отступить было уже поздно, и он смело шагнул навстречу мужчине, который в это время вытирал свои руки концом фартука и дожёвывал последний кусок наскоро съеденного в кухне обеда.

— Я вот... это... ищущу места, — с запинкой безнадёжности сказал Егорка. Должно быть, вид его был очень жалок, а в

глазах стояли невольные слёзы, потому, не вслушиваясь в значение его слов, мужчина крикнул по направлению кухни:

— Ксюша, покорми-ка паренька. — И он толкнул Егорку по направлению кухни таким хорошим, приветливым толчком, что сразу стало хорошо. Егорка постарался по дороге в кухню скрыть свои слёзы под внезапной и тоже невольной улыбкой радости. Мужчина же спешил в дом, и вскоре с заднего крыльца послышался его приказ киргизу:

— Подавай к парадному!

Киргиз-кучер быстро прыгнул на козлы экипажа, и лошади, блестя гладкими, сытыми крупами, обе гнедой масти, как одна, красиво тронулись с места. И показалось Егорке, что киргиза этого он точно знает. Неужели это Тютюбай? Но он пока не смел об этом спрашивать: кучер даже и не взглянул в его сторону.

По деревенской привычке Егорка, войдя в кухню, поискал глазами красный угол и, увидав икону, быстро сдёрнул шапку с головы, перекрестился и сказал, как это полагается хорошо воспитанному мужичку:

— Здравия желаем всем крещёным! — И хотя в опрятной новенькой кухне всех крещёных была одна женщина с возвышенным животом, ей, видимо, понравился маленький гость в коричневом деревенском халатике и с шапкой в левой руке. Она усмехнулась так, что на её веснушчатом лице появились нежные, молодые морщинки удовольствия, и ответила так же попросту, по-деревенски:

— Здорово ты живёшь. Проходи, садись, гостем будешь!

Со стола ещё не была убрана посуда, и то, как женщина заспешила её убрать со стола и приготовить для Егорки чистую посуду, а главное, то, как она взяла из его руки и положила на лавку его шапку, повеяло на Егорку чем-то родным, домашним.

— Садись, садись, — повторила она, видя его нерешительность и не совсем обычную для такого возраста обходительность и скромность. Поставивши на стол тарелку с дымившимися наваристыми мясными щами, она взглянула на Егорку пристальнее и не удержалась, погладила его по мягким белокурым кудерцам на непричёсанной голове. Егорка вспомнил, что под шапкой волосы его должны были взлохматиться, достал из кармана штанов маленькую сломанную гребёночку и причесался. Сделал он это быстро, как бы украдкой, и это ещё более растрогало женщину. А в это время вошёл мужчина в фартуке.

Егорка встал с места при его входе, и вышло это опять не по-ребячьи деликатно. Мужчина быстро подошёл к нему и тоже погладил по кудеркам.

— Ну садись, садись да кто-откудова скажись. — Голос у мужчины был теперь гуще, но всё же мягок и звучал не по-отечески, а по-матерински.

Егорка сел и носок сапога с дыркой прикрыл другим сапогом так, чтобы не было видно дырки. Но мужчина дырку заметил, и, может быть, эта именно дырка и была началом новой жизни Егорки. Мужчина ничего не сказал, он только строже посмотрел на мальчика, и голос его зазвучал уже не по-женски, а по-мужски:

— Ешь, ешь сперва! — Он понял, что паренёк какой-то особенный и, пожалуй, не будет есть, если его спрашивать. Поэтому мужчина переменял разговор. Он обратился к жене:

— Выехала наша барыня. Я ей говорю: да ведь обедня-то давно отошла. А она мне: исповедоваться никогда не поздно. Значит, завтра, в воскресенье, причащаться решила. — Он опять ушёл из кухни так же торопливо, как пришёл, и видно было через окно, как он нырнул в подвал под большим домом.

Когда он вернулся, Ксюша передала ему в двух словах весь свой допрос Егорки. Но муж всё же кое-что переспросил. Егорка отвечал кратко, просто, стараясь не повторяться при Ксюше, а новыми словами.

— Да что же, грамотный, что ли? — догадался мужчина. Егорка скромно ответил:

— Немножечко.

— А ну-тко, сними сапог-то, — приказал мужчина просто и прибавил. — Меня зовут Герасим Иваныч. — И вышло так, что в этом имени было какое-то как бы принятие Егорки вот в эту малую семью из двух. Егорка понимал, что будет кто-то ещё, может быть, скоро должен родиться от Ксюши. Он и нянчить готов. А Герасим Иванович с сапожком Егорки быстро вышел, на этот раз исчез в каретнике. Там он был, казалось, очень долго, и было неудобно говорить с Ксюшей, будучи в одном сапоге. Он неловко молчал и был доволен, что Ксюша не задавала ему вопросов, а убирала со стола посуду и всё поглядывала через окно в сторону каретника. Оттуда раздавался лёгкий стук молотка и даже как будто весёлая песенка. Там явно решалась судьба Егорки.

Когда же Герасим Иваныч вернулся с сапожком в руках, он задержал его, рассматривая и разглаживая ногтем ловкий, едва заметный шов на носке и заново подбитый каблук, сказал:

— А ну-ка, дай второй-то, чтобы не хромал. — И ушёл со вторым в каретник. И так же напевал и стучал там молотком.

И был там на этот раз, казалось, ещё дольше.

Когда принёс, достал сапожную щётку и, подав вместе с сапогом Егорке, приказал:

— А ну, почисти. Умеешь чистить? А я пойду к хозяину. —
И ушёл в самый дом.

Ни о чём пока не думал Егорка. Весь его мир теперь был в сапогах. Они ещё не знали ни щетки, ни ваксы, и после чистки блестели как новые, и это было так хорошо, что не надо было говорить о радости. Она светилась в серых любовавшихся сапогами глазах паренька. Но Ксюша нечто поняла и сказала полушёпотом:

— Погоди, он чтой-то задумал. На твоё счастье, барин сегодня дома. Рафаил-то Маркыч по субботам на прогулку идёт, а барин сам один в аптеке.

Долго был в доме Герасим Иваныч. Потом, когда пришёл, заторопил:

— Ну иди, пойдём к барину!

Поднялись они по чёрному ходу в чистый просторный коридор, а из него вошли в светлую аптеку, ударившую по носу Егорки такими приятными запахами — никогда он таких ещё не нюхал. Сам Ансеев стоял у прилавка и, наклонившись, что-то размешивал в маленькой фаянсовой чашечке таким же фаянсовым пестиком. Был он крупный, полный, с чёрной небольшой бородкой, и задумчиво сопел от полноты и усердия. Видно, что не любил он заниматься этим делом, но должен был, когда его помощник (сам он был провизор) выходил на один день в неделю. Он не оглянулся на вошедших, пока Герасим Иваныч, прокашлявшись, не произнёс:

— Вот, привёл я его, Александр Гаврилович! — Егорка понял, что барином хозяина зовут заочно, а лично — по имени и отчеству. В этот момент Ансеев взглянул на Егорку искоса и мимолётно и, продолжая сопеть, лениво процедил:

— Ну что ж. Где ты его спать будешь укладывать? — Он помолчал, помолчал и Герасим Иваныч. Ансеев, соскребая мазь в чашечке особым шпателем, ещё ленивее прибавил:

— Жена-то у тебя, Герасим, должна скоро родить. Неловко будет вам втроем-то... — Теперь он вытер мягкою бумажкой руки, повернулся и грузно зашагал в коридор и по коридору к выходу. Там, перед чёрным входом, в углу, за перегородкой, была кладовка, наполненная ящиками, узлами белья и всякими коробками. — Вот, разбери тут всё. — Он смерил глазами рост Егорки и так же лениво и без улыбки прибавил: — Темновато, зато тепло ему тут будет и как раз по росту. — И пошёл в аптеку.

Всё это было так нежданно-негаданно, что Егорка даже не догадался, не успел вставить словечка, а главное, вышло так, что он не поздоровался с хозяином, и молча наблюдал, как

Герасим Иваныч разбирал вещи в кладовке и быстро уложил их так, что сразу же образовалась лежанка.

— Вот, — сказал он, — тут ты будешь спать. А теперь пойдём, покажу тебе, что делать.

Они спустились по той же лестнице в подвал. Это был обширный, но полутёмный подвал с лавками по стенам, с большим столом посередине, с какою-то машиной и множеством бутылок малого размера. И тут же на столе были пачки этикеток с напечатанными словами, разного цвета. Розовым значилось «земляничная», желтоватым — «яблочная», а зеленоватым — «лимонная», и на каждой этикетке по-мелкому было напечатано ещё: «Завод фруктовых и шипучих вод А.Г. Ансеева». Герасим Иваныч налил из особой бутылки в одну из бутылок маленький стаканчик-мерку сладкого земляничного сиропа, подставил горлышко бутылки под особый кран, наступил ногою на педаль, и что-то зашипело, а потом тут же бутылка запечаталась.

Герасим подал бутылочку Егорке и сказал твёрдым наставительным тоном:

— При мне всегда и сколько угодно можешь пить, а без меня — чтобы ни одного глотка. Понял?

— Понял, — ответил Егорка покорно и чуть слышно. Но не знал, что делать с бутылкой. Он не решался пить, да и не до того ему было. Он и так был подавлен счастьем и даже не хотел верить, что так случайно и так счастливо он устроился. Он не спрашивал и не думал, будут ли ему платить какое жалование. Но Герасим Иваныч, мастер фруктовых вод, сам открыл бутылку, отлил немного в стоявший тут же стаканчик, отпил для пробы и подал стаканчик и бутылку Егорке. И дал последние инструкции:

— Видишь ли, жена у меня в тягости — это было её дело мыть бутылки, а теперь ты это будешь делать. С неё хватит стряпать для господ и для нас с тобой. А ты будешь мыть эти бутылки.

Я научу тебя, это не трудно. Потом, когда я их наполню, ты будешь наклеивать вот эти этикетки. Только не смешай, я буду тебе отдельно ставить, куда какую наклеивать. Понял? Три рубля тебе буду платить в месяц, и харчи, и жить будешь в тепле. Только чтобы всё тихо и всё честь-честью. Понял?

— Так точно, — с невольной хрипотой в голосе, но солдатски лихо отозвался Егорка.

— Ну вот и хорошо. Кучер приедет, я скажу ему, он с тобой за пожитками твоими съездит. Сапоги трепать не надо.

...Кажется, никогда после, в течение долгой жизни, Егор не переживал такого волнения и такой гордости, как в тот час, под вечер, на закате мартовского дня в степном городе Семи-

палатинске, когда ехал на паре полукровок с кучером Тютюбаем, — да, с тем самым, с другом Тютюбаем, с которым ещё прошлую весной они ходили в леса, в верховья реки Убы, — ехал в блестящей барской коляске в бедный пригород к тётке Акулине. Перед тем, как сесть в коляску, было у Егорки мгновенное чутьё — не послушаться кучера, указавшего ему место на барском сиденье, а влез он на козлы рядом с кучером, и с этого момента завоевал он сердце кучера тем, что не поставил себя в разряд выше кучера. Поэтому кучер Тютюбай, не узнавая Егорку, в тот же вечер удостоил его высшего доверия. Он тайно, одним пальцем, поманил его на лесенку, ведущую на сеновал. Там у Тютюбая было жилище. Тут, среди душистого сена, он спал зимой и летом. Тут у него висело красивое киргизское седло, уздечка под серебряным набором, тяжёлая плеть с костяною рукояткой и всякие халаты, ременные пояса, лёгкие сафьяновые ичиги (род лёгких сапог без каблуков), а главное — на гвоздиках под балками висело несколько тюбетеек. Они были все малинового цвета, но расшиты серебром и золотом, и Тютюбай надевал их на бритую голову попеременно и почти в каждую из особого флакончика обильно брызгал одеколоном. Пахло на сеновале замечательно хорошо, а так как Тютюбай не умел хорошо всё объяснять по-русски, то он крикал, цокал языком, всевозможными жестами выражал полное и безграничное благополучие жизни. Это же прибавляло счастья и для Егорки. Только бы не потерять, только бы не пролить, не проспаться чего-либо из этих дней начала его новой, самостоятельной весны.

И тут же, на сеновале, Тютюбай хорошо, с прищуркой, всмотрелся в лицо Егора и спросил полушёпотом:

— Ты Егорка, шево ли?

Егорка обнял Тютюбая прямо за шею — как давно потерянного, но вот нашедшегося братца — и, не сказавши ни слова, спрятал радостные слёзы.

XIX

Егоркино счастье

Так вот Егорка закрепился в Семипалатинске, областном, значит, губернском городе. Если бы позади этого города не было соснового бора, широкой полосой уходящего в глубь Бельгагачских равнин, жёлтые пески давно бы погребли эту одноэтажную деревянную столицу прииртышской Киргизии.

Восточный облик города определяли не только вонзившиеся в небо острые минареты и караваны верблюдов, тянувшихся по узким песчаным улицам или лежавших живыми шерстистыми «барханами» на площадях базаров, но и само население, которое было азиатским. Среди опрятных татар и изысканных бухарцев и сартов, отличавшихся особой белизною лиц и чернотой шелковистых бород, чернолицые монголовидные киргизы преобладали. Здесь было много и прочих кочевых народов, частью ставших оседлыми, а большей частью мимо-проходивших, как пески пустыни. И среди всей этой массы разноликой Азии русские лица, русские одежды и дома почти терялись. Только казачья, западная, часть города хранила твёрдые черты станичного уклада и утверждала здесь прародительскую Русь. Но те немногие высокие белокаменные казённые здания в центре города, большой белый собор в одном конце города и серый корпус губернской тюрьмы в другом занимали командные посты и были порукою в том, что невидимая рука Великороссии была здесь правящей и уверенно-хозяйской.

Вблизи от казённых зданий разросся торговый центр с несколькими магазинами, между этим центром и широко раскинутым базаром строился новый каменный собор.

Егорка, как-то проходя мимо, увидел, как десятки его сверстников на особых деревянных станках, которые нацеплялись на их хрупкие плечи, носили кирпичи наверх. По шесть, по восемь, а некоторые и по десять кирпичей накладывали на станки, и согнутые тяжестью малыши, как вереницы муравьёв, тянулись по извилистым деревянным лестницам на верх загромождённой лесами постройки.

Это был наглядный урок для Егорки. Некоторые мальчишки были меньше и слабей его, и всё-таки таскали кирпичи. И он так может, если, не дай Бог, его прогонят с лёгкой работы — мытья бутылок в подвале аптеки Ансеева. Нет, он теперь не потеряется в этом большом городе. Он будет таскать кирпичи.

И он старался закрепить тем, что мыл бутылки чище, быстрее, делал всё что скажут, быстро и охотно. Большое это было счастье — иметь работу, готовый сытный харч, тёплый уголок для ночлега и три рубля жалованья в месяц.

Большой это был город для Егорки, большими казались ему все дома в сравнении с убогими избушками родного села — всё было большое, всё восторгало и всё-таки пугало. Один он тут, одинёшенек. Дядя Василий только раз приходил на минутку. Да сам однажды в воскресенье ходил к тётке Акулине. Далеко это, по пескам идти.

Первый месяц мытья бутылок подходил к концу. Егорка волновался, ждал, верил и не верил: неужто в самом деле он

получит сполна и сразу — три рубля, нет, больше — триста копеек!

В его каморке под лестницей было темно днём так же, как и ночью, так что утром трудно было не проспать. Но он не просыпал.

Вставши рано, он бесшумно одевался, обувался, на цыпочках прокрадывался к выходу на широкий двор и возле кухни умывался из висящего на цепочке рукомыльника. Утирался во дворе, а причёсываться и помолиться шёл опять в свою каморку. Там было после утреннего света ещё темнее, но он привык, на ощупь знал, где что лежит, приводил себя в порядок и снова выходил в ограду и ждал на кухонном крылечке, пока его не окрикнут на завтрак. Там его приветствовал улыбкой Тютюбай. Если в кухне трое: Герасим, его жена Ксюша, Акси-нья тож, и Егорка, — то Тютюбай уносил свой завтрак и обед в каретник, а если приходилось есть на кухне, то за общий стол он не садился. Егорка понимал: он некрещёный.

Лицо у Ксюши за этот месяц ещё гуще усеялось веснушками, но это ничего, улыбка её была так же ласкова. Новый фартучек, который она сшила для Егорки, казался ему ещё дороже, потому что она два раза приходила в подвал, чтобы примерить фартучек по росту и по поясу, хотя Герасим и берёт её, и часто повторял:

— Не прыгай, ты же в тягостях!

Герасим не скрывал тревоги за жену, но не скрывал и радости:

— Ещё до Троицы «оно» какое-то там явится: точь-в-точь — либо сын, либо дочь!

Раз в неделю, по субботам, Егорка из своей каморки слышал многоголосый шум и говор в доме, часто далеко за полночь. Это значило, что у хозяйна собиралась, как говорил Герасим, «компания политических». Ели, пили, играли в карты, кричали на разных языках. Егорка многого не слышал, многого не понимал, но от Тютюбая узнавал, что эти политические — «джаксы», что значит — добрые. Кучер развозит их по домам и говорит о них с почтением, которое Герасим объясняет по-своему:

— Да они ему на водку хорошо дают!

Однажды Егорка и сам узнал, что политические — люди добрые. Один из них, старый и хромой пан Панкевич, обычно уезжал домой с Тютюбаем. Но случилось так, что Тютюбая не было, он на полукровках увёз куда-то старую барыню. И Егорка с успехом на охотничьих дрожках отвёз хромого барина.

— А ну, добре, хлопчик! — сказал пан Панкевич, когда сошёл с экипажа, и протянул Егорке нечто блестящее. Это была серебряная монета — двадцать копеек. И это было как раз

накануне получки им жалованья, когда его письмо родителям было уже написано, а на конверт и марки денег не было. И вот — двадцать копеек серебром! Егорка понимал, что, если бы пан Панкевич и ничего не дал, он его плохим бы не считал, но чтобы дать двадцать «ни за что» — надо быть хорошим.

В работе Егорка старался. Теперь он умел уже закупоривать бутылки пробками, закреплять их, наклеивать этикетки, укладывать бутылки в ящики.

Просто и неожиданно, за три дня до срока, получил Егорка первое жалованье. Герасим Иваныч принёс деньги, оказывается, к обеду, да забыл в кармане и передал их только за ужином. Егорка взял сложенную вчетверо зелёную новенькую трёхрублёвку и не решился развернуть и рассмотреть её как следует. Стеснялся при других. Только у себя в каморке, в темноте, где ему не позволяли зажигать ни лампы, ни свечки, развернул, погладил рукой — хрустит, гладенькая, пахнет обновой.

Только на другой день утром на заднем крыльце рассмотрел — и ни за что не назвал бы это бумажкой. В ней было что-то красивое: орлы и радуга, а цифра «три» была полна какой-то тайны. Нарисовано: три, а в ней три-иста копеек!

Разделил это на вещи. На базаре видел новую рубашку, с узором по воротнику — двадцать пять копеек. Штаны новые висели, хорошие — шестьдесят копеек. От рубля останется ещё пятнадцать копеек. Пояс лакированный можно купить. Как раз рубль выходит, вот какой он — «рубль серебром». Останется ещё двести копеек — родителям к Пасхе. И вдруг испугался. Сапоги-то он чужие донашивает. Нельзя!. Стараться надо, работать хорошо, чтобы не просыпать. А эти все — отцу и матери! Нельзя себе! Нельзя!

Днём Егорка заметался. Три рубля ещё одну ночь проспали у него под подушкой, а днём он их оставил в своей каморке, спрятал так хитро, что вечером сам забыл, где положил, потому что несколько раз менял места. Надо скорее их послать отцу. Письмо написал в подвале, украдкой, своим карандашом и на своей бумаге — на листке из старой тетрадки. Но не было конверта.

Герасим Иваныч за обедом спросил:

— Ну как, обновы к Пасхе будем покупать?

Егорка не сразу понял.

— Аль деньги в банк положишь?

Егорка понял и ответил деловито:

— Отцу я должен послать.

— Должен? — удивился Герасим. — Все три рубля?

— Ну а как же? Там нужны большие. Только вот конверта нету. — И Егорка достал из кармана штанов помятое письмо.

Герасим Иваныч сходил наверх. Конверт, перо и чернила попросил у Рафаила Марковича.

Герасим Иваныч хмурился. У Егорки всего две рубашки, да и те дырявые. Аксинья недавно выстирала одну и сама пришла в подвал, чтобы заодно другую выстирать и починить. Егорка снял рубашку, застыдился, а потом сидел в подвале в одном фартучке, с медным крестиком на шее, который держался на пожелтевшей тонкой ниточке. И вот этот самый Егорка посылает все свои деньги отцу!

С удивлением смотрел Герасим на Егорку, когда тот писал пером адрес на конверте. Завидно было видеть, как такой «курнос», «аршин с шапкой», может выводить на бумаге штучки-закорючки, да так быстро, что твой сельский писарь. Герасиму уже под тридцать, а так не может. Знает цифры, может печатное по складам прочесть, подписать своё имя, а так не может. Прямо удивительно! Настолько было удивительно, что не поверил Герасим Иваныч, что письмо дойдёт. Боялся он за Егоркины деньги. Взял конверт, в который были вложены деньги и письмо, подул на влажную надпись и сказал:

— А ну-тко, слышь, пойду я покажу Рафаилу Марковичу, что ты тут накуролесил?

Ушёл наверх и долго не возвращался. Егорка мыл бутылки, волновался, слушал. Но вот послышались шаги на лестнице. Герасим спустился в подвал.

— Пойдём! — коротко, но твёрдо приказал Герасим. Егорка оторопел.

Как будто что-то совершил нехорошее и должен дать ответ там, наверху, куда ему до сих пор все пути были заказаны. Даже по коридору до аптечных комнат не решался приближаться. На ступеньках подвальной лестницы он нагнулся и при помощи пальцев высморкал нос, но вытереть руку о чистый фартук не посмел. Вытер о штаны, как это делал его отец.

Когда шли по коридору, свет из окна с улицы больно ударил по его глазам, а когда вошли в самую аптеку, то свет лился из всех окон. Егорка прищурился и не сразу разглядел стоявшего спиной к нему молодого человека. До сих пор ему не приходилось близко видеть Рафаила Марковича. Когда тот повернул к нему своё румяное, с чёрными усиками, лицо, Егорка широко раскрыл глаза. Так вот он какой, Рафаил Маркович, помощник провизора! Если бы не усики, подумал бы, что перед ним стоит красная девица в мужской одежде. Волосы длинные, почти до плеч, лицо белое, брови тонкие, ресницы длинные. Большие карие глаза немножко косили, и оттого взгляд его казался грустным. Подкручивая чёрные усики, Рафаил Маркович взял с прилавка Егоркино письмо и,

показывая его Егорке, тронул его белокурые вихры на голове и спросил:

— Ты это сам писал?

— Сам, — еле слышно и виновато сказал Егорка и опять прищурил глаза. После подвала больно светло было в аптеке.

— Ну, так ты хорошо пишешь! — сказал Рафаил Маркович и потрепал тем же письмом Егоркино плечо.

Очень понравился Егорке помощник провизора. Не потому, что похвалил за письмо, а просто потому, что сразу показался он ему хорошим, а главное, красивы были у него глаза, чуть с прикосью, красивы той же самой грустью, какая была у Егоркиной матери, когда она пела «задумные» песни.

— Ну отправляй письмо! — сказал Рафаил Маркович и взглянул в незапечатанный конверт — не выпали бы деньги. Егорка даже позабыл, что деньги были в конверте.

Письмо с тремя рублями поехало на почту на охотничьих дрожках. Герасим Иваныч хотел сам видеть, что письмо будет сдано правильно и под расписку, без ошибки и сомнения. Он лично знал начальника почтовой конторы, бритого старичка с чёрной узкой повязкой через левый глаз. Начальник бывал у Ансеева с политическими, играл в карты. Герасим угощал его лимонадом. Обходя других чиновников, Герасим прямо подошёл к начальнику, что-то пошептал ему. Тот посмотрел на Егорку одним глазом и сам надписал на конверте: «Денежное, со вложением трёх рублей». Сам разогрел над горящею, оплывшей свечкой красный сургуч, наложил на обратной стороне конверта пять печатей и сам выписал расписку.

Широко разлился Иртыш. В синей дымке апрельского тепла просыпались степи. Через город днём и ночью проносились стаи диких птиц и разлетались по лугам и озёрам. Весна стояла светлая, без длительных дождей. Зазвенели пустыри и задворки в городе. Распускались первые листочки в садике с беседкой у Ансеева.

В Великий четверг за завтраком Герасим Иваныч сказал Аксинье:

— Ксюша! После обеда барыня сама со мной поедет на базар и в кондитерскую Арбузова. Ты с ней не спорь. Что скажет, то и будем делать. К ним разговляться все политические соберутся. Мы с Егорушкой тебе поможем! — Так и сказал впервые: «с Егорушкой». До слёз сугревно.

Начались приготовления к Пасхе. Аксинья, Герасим Иваныч, Егорка, Тютюбай — все измотались в хлопотах. Напекли, нажарили, навезли цветов, начистили посуду и серебро, нагладили скатертей, вынесли ковры из дома, выхлопали,

вновь внесли, разостлали. Накрасили груды яиц. Куличи, торты, мазурки, «баум-кухены» (особые, немецким способом выпеченные, высокие, как готические колоколенки, самые вкусные торты, с пустотой внутри) — всё это в субботу было бережно расставлено на столах вперемежку с жареными поросёнком, гусем, окороком, с душистыми гиацинтами в центре, с батареей лёгких и крепких вин, наливок, водки вдоль стола. Ещё ночью десятки гостей прямо от заутрени, а многие и из своих домов и квартир придут и будут наслаждаться всем, что на столе у гостеприимного бывшего богатого помещика Ансеева.

Старая барыня, обычно скупая и сварливая, на Рождество и на Пасху разоряла сына, но сама уезжала к заутрене в собор и оставалась там до окончания литургии. Для освящения же куличей, яиц и сырной пасхи посылала в ближайшую церковь Герасима, чтобы к разговенью сын имел всё освящённое. Ансеев в церковь ходить ленился, но куличи и пасхи обожал, и угощал всех, кого он знал и кого не знал. Друзья-политические приводили с собой изголодавшихся дворян, недоучившихся студентов и всех, кто «стригся под Бакунина». Оргия кончалась до возвращения старой барыни из собора, и лишь некоторые гости, не в меру выпившие и неспособные к передвижению, спали где придётся. Герасим называл эти собрания «тарарамом», потому что в доме был полный хаос, как после погрома. Сам Ансеев, зная всё это заранее, пил мало, комнату матери запирали, оберегая от случайного вторжения, а свою предоставлял гостям. Сам же уезжал с рассветом на охоту, наказав Герасиму:

— Смотри, пожалуйста, чтобы пожару не наделали!

Герасиму, Тютюбаю, Ксюше и Егорке, конечно, было не до праздника.

Аптека в этот день была закрыта. Рафаил Маркович имел в эту неделю два выходных дня — субботу и воскресенье.

Для Егорки не было ни времени, ни случая пойти к заутрене, да и не в чем было идти в церковь. Штанишки с дырками на коленках в будни закрывались фартуком, а в праздники он редко выходил на улицу. Поэтому и к дяде с тёткой не ходил. В часы редкого праздничного досуга он забирался в каретник, садился в свободный экипаж и, чувствуя себя удобно спрятанным, жадно читал книжку с картинками — Андрюшка Зырянов ещё дома дал за всякие услуги — о Робинзоне Крузо. Ой как хотелось ему всю книжку до конца прочесть, но читать не удавалось, да и нехорошо было прятаться. Иногда его кличут, а он, зачитавшись, не слышит, будто не хочет откликаться. Читает, прислушивается и не всё понимает. Надо снова перечитывать.

Вечером в Страстную субботу вышло вот так: Герасим Иваныч наготовил две корзины с пасхами и куличами для освящения у заутрени. Сказал Егорке:

— Ты мне поможешь пасхи святить.

Егорка начистил поношенные, много раз чиненные сапоги. Попросил у Тютюбая нитку и иголку, зачинил дырки на штанах. Рубашка была чистая. Но только что он явился в кухню, чтобы нести корзины, Ксюша сердито приказала:

— Ну-тко, снимай штаны. Вот тебе новые. — И на ходу бросила ему новенькие. Пахло от обновы праздником и счастьем. И только что он нарядился в новые штаны, вошёл Герасим и подал ему свёрточек: рубашка, как раз такая, желтоватая, с вышивкой по вороту и на груди, которую он сам мечтал купить за двадцать пять копеек. Только эта побольше, наверное, дороже.

Когда Герасим, без фартука, в новом пиджаке, в брюках «навыпуск» и в новом картузе, и Егорка вышли из ворот, у парадного подъезда стоял блестящий фаэтон, запряжённый парюю начищенных, наряженных в лучшую сбрую полукровок. Тютюбай ходил вокруг лошадей, поправляя их гривы и хвосты. Длинный для его роста кучерский кафтан волочился по земле. Всё было готово для торжественного выезда старой барыни в собор. Одетую в пышные, шуршащие шелка старенькую мать Ансеев сам под ручку выведет и проводит до собора. Он побудет у заутрени только до крестного хода. Он не богомольный. Вернувшись домой, он будет встречать и угощать гостей. Тютюбай, доставив барина домой, будет носиться на лошадях по городу до самого утра, привозить и увозить этих знатных дам, нарядных барышень и почтенных стариков. Только к окончанию литургии Тютюбай снова подъедет к собору, из которого старушку выведет и усадит в коляску сам потомственный почётный польский пан Панкевич.

Так, направляясь с корзинами в другую, ближайшую, церковь, объяснил Егорке Герасим Иваныч. Он же рассказал о церкви, в которую они шли:

— Это называется Плещеевская церковь. Купец Фёдор Петрович Плещеев выстроил. — Голос Герасима хрустнул в полушумке, когда он повторил ходившую по городу шутку: — Это тот самый купец, который для этой церкви из Москвы, по телеграфу, выписал резонанс.

Егорка не понял. Едва ли и Герасим понимал смысл шутки, тем более что толпа идущих в церковь сгущалась, говор народа нарастал по мере приближения к церкви. Все что-то несли, все были радостно взволнованы, и в темноте ночи уже ликовало торжество из торжеств.

Новым с головы до ног и новым изнутри почувал себя Егорка, когда они подходили к храму, вокруг которого горели и дымили жировые плашки и который величавой близною возвышался на крутом берегу, над бушующей внизу рекою.

В непрерывный шум широко разлившегося Иртыша врывались голоса: мужские, женские, детские. Люди подходили со всех сторон, всё новые, нарядные. От женщин и девушек веял душистый ветерок. Их голоса звучали нежной материнской песней. Только мать Егорки могла сейчас разделить с ним то, что он переживал. Только она могла понять, что значит торжество из торжеств.

Впервые видел Егорка такое количество корзин, подносов, узелков. Куличи, сырны пасхи, тарелки со сливочным маслом в виде узорчатых крестов, но тут же и раскрытые пакеты с простыми булочками, стало быть, и беднота принесла сюда, что имела, — всё это стояло длинными рядами на особой площадке вдоль церковной ограды, по которой, на каждом столбике, горели плашки.

Поставивши свои корзины в ряд с другими, Герасим сказал Егорке:

— Ну вот, побудь тут, а я пойду куплю свечки.

— И мне купите, Герасим Иваныч! — И Егорка сунул в руку Герасима монетку, которая в руке Егорки согрелась и была тёпленькая.

— Это что же, от письма родителям осталось?

— Так точно!

— Значит, всё, что было!

Егорка весело пожал плечами и потёр ладони рук, как будто очищал их от пыли. Дескать, чисто и свободно, всё в порядке.

Да, это были те самые три копейки, которые остались из двадцати, данных ему паном Панкевичем. Герасим Иваныч помнит: семнадцать копеек пошло на денежное письмо родителям, а три копейки остались у Егорки и пригодились на пасхальную свечку.

И вот когда из церкви полился поток света и по толпе молящихся, стоявших вне церкви и возле куличей и пасхи, побежали огоньки, один к другому, Герасим Иваныч, стоявший рядом, зажёл свою, а потом Егоркину свечку и увидал, что Егоркино лицо подёрнуто белым пушком, такое ещё детское и чистое, и озарилось оно не только светом его собственной свечи, но и сиянием настоящего счастья. И с особой радостью Герасим Иваныч примкнул к пению «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесах...». Воистину и на земле пели ангелы, в сердцах Герасима и Егорки.

Когда вернулись с куличами домой, весь дом был освещён, окна отворены, слышались громкие голоса. Гостей было полно.

Вдоль всего квартала и в поперечной улице стояли экипажи, извозчичьи пролётки и даже осёдланные лошади. Для кучеров и извозчиков праздника не было, но был хороший случай подработать или получить на водку.

Только с рассветом из дома схлынула толпа, затихли голоса, но дом не опустел. Оставшиеся изливали охмеленье в чувствах любви друг к другу или в иступлённых и охрипших спорах... Некоторые запевали запрещённые песни, зная, что на Пасхе даже и жандармы махнули бы на них рукой.

Егорке всё хотелось похристосоваться со всеми, и прежде всего со своим барином Ансеевым, но об этом позабыл даже Герасим. Все они измучились, «едва таскали ноги». Наконец Герасим освободился, пришёл из большого дома с двумя бутылками вина в кухню, где у Аксиньи всё было готово для обильного разговения. Все трое помолились, сели за стол. Герасим налил в три стакана рябиновки: себе и Аксинье до краёв, Егорке меньше половины. Егорка застеснялся, но выпил и, как взрослый, стал степенно, с наслаждением, есть всё, что ему подавали. Никогда ещё он не едал таких вкусных, таких сладких и в таком обилии кушаний.

Всходило солнце, когда Ансеев вышел через заднее крыльцо во двор. Он был с ружьём и охотничьей сумкой. Собака, спавшая с ним, в его комнате, была у его ног.

— Герасим! — крикнул он. — Будь добр, запряги мне Гнедчика в дрожки.

Тут-то Егорка и подбежал к Ансееву:

— Христос воскрес! — сказал он робко.

— Воистину, воистину, — устало и с ленцой протянул Александр Гаврилович. Наклонился и поцеловал Егорку в губы. Губы у Ансеева были пухлые и мягкие, а чёрные усы свисали по-китайски вниз и пощекотали Егоркин нос.

— А ты вот что... Как тебя?.. — так же лениво процедил Ансеев, забывши или даже не зная, как зовут Егорку. — Ты того... Поедем-ка со мной... Я по болоту похожу, а ты побудешь с лошадьёю...

И взял Егорку на охоту.

Егорка думал отпроситься у Герасима, чтобы пойти и похристосоваться с дядей и тёткой, но поехать на охоту с барином — это же радость.

Так в воскресенье Егорка и не спал ни ночью, ни днём. Вернулись же они с охоты после полудня. Все в доме и на кухне спали. И Тютюбай спал в фаэтоне, и даже лошади его, ещё не распряжённые, устало дремали.

Ансеев ушёл в дом и тоже завалился спать — благо, в доме не было гостей и всё было уже прибрано. Егорка только что хотел идти в свою каморку и прилечь, как в ограду въехали четыре всадника. Двое были молодые офицеры (как потом узнал Егорка, братья Ковалевские). Третий — Яша Гизлер, студент, сын доктора, а четвёртый был Рафаил Маркович Бурлянд. Офицеры сидели в сёдлах как природные кавалеристы, Яша Гизлер молодецки им старался подражать. Но Рафаил Маркович, с фуражкой на длинных, как у барышни, волосах, казался на коне забавным. Его голубая шёлковая русская рубашка топорщилась от ветра, а руки слишком высоко поднимали поводья. Лошадь и седло у него были красивые, только видно было, что он впервые в жизни сел в седло и изо всех сил старался казаться смелым наездником. С лошади он слез, а не соскочил, и по ограде прошёлся так, что высокие лаковые сапоги на нём как-то хлопали, как будто в них было полно воды. Егорка подбежал к нему и, обхватив его за шею, звонко выкрикнул:

— Христос воскрес, Рафаил Маркович!

Рафаил Маркович не оттолкнул его, дал ему трижды себя поцеловать, но не ответил: воистину воскрес, а только потрепал его по щеке и, оглядывая с ног до головы, сказал:

— Ну, ну! Так ты же молодец! У тебя новые штаны и рубашка... — Потом он прошёл в подвал, достал четыре бутылки лимонаду и приказал Егорке принести стаканы. Потом он снова сел на лошадь и среди прочих настоящих ездоков понёсся вдоль песчаной улицы по направлению к Иртышу. Рубашка на нём пузырилась от ветра и делала его уродливо горбатым. Егорке так хотелось поправить ему рубашку, и он так хотел, чтобы Рафаил Маркович сидел на коне не хуже, а лучше других.

Когда же он вернулся от ворот к крылечку кухни, Герасим — он видел всё из кухни — вышел на крыльцо, положил на плечо Егорки тёплую руку, и губы его растянулись в усмешку:

— Ты что же, не знал?.. Разбежался с Рафаилом Марковичем христосоваться?..

Егорка смотрел на Герасима с испуганным вопросом и не догадался. Но Герасим досказал по-своему. Он толкнул Егорку к подошедшему из каретника и широко улыбающемуся Тютюбаю и спросил:

— А с Тютюбаем что ж ты позабыл похристосоваться? Он тоже хороший, хоть и не нашей веры.

Егорка, не задумываясь, бросился к киргизу, обнял его за шею и пропищал:

— Христос воскрес! — и поцеловал его три раза. И Тютюбай не оттолкнул его, только засмеялся громче обычного,

прижал к себе парнишку. Хохотал и вытирал глаза. Тогда и Герасим обнял Егорку.

— Ну молодец! Давай поцелуемся как следует! Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — ответил Егорка ещё веселее и громче и почувствовал, что произошло что-то с ним и вокруг него, а что такое — он сам ещё не знал и никого не спрашивал.

Радостно было слушать колокольный перезвон, пасхальный, который в городах и сёлах будет гудеть целую неделю.

А назавтра, в понедельник, перед обедом Герасим опустил-ся в подвал и объявил:

— А ну-ка, парень, собирайся!..

Егорка переполошился. Неужто увольняют?.. За что?

— Иди переоденься. Рафаил Маркович просил хозяина, чтобы ты помогал ему в аптеке. Угодил ты чем-то им обоим... — Он хлопнул по плечу Егорку и прибавил: — Ишь ты, подишь ты. Выписался из подвала!..

Как будто нехотя, не веря счастью, Егорка шёл в свою каморку одеваться в праздничные новые рубашку и штаны. Потому что было это для него как бы восхождением от земли к небеси... Надо быть чистеньким. На новую ступень жизни восходил Егорка.

XX

На пороге юности

Уже больше года прошло с тех пор, как Егорка поступил в аптеку Ансеева. В чистом, светлом и просторном помещении, с ароматными кусками мыла, с пахучим репейным маслом, с сотнями в порядке расставленных по шкафам белых фаянсовых банок с латинскими названиями лекарств, Егорка многому здесь научился. Его уже звали здесь Егором. Ему уже тринадцать лет.

Опрятность в аптеке — первое дело. Быстрота рук и ног и острота глаз во всём, особенно при развеске на крошечных роговых весах порошков и всыпании их в провощённые бумажки, которые Егор делал сотнями в минуты и часы, когда не было других поручений, сделали его незаменимым. Сам Ансеев, ленившийся заменять своего фармацевта в течение единственного дня в неделю его отдыха, то и дело отдавал распоряжения подавать ему те или иные банки с полок. Егор делал это с радостной готовностью и гордостью, когда не ошибался понимать латинские названия.

Городской врач, красивый, с чёрной, чуть с проседью, бородой и в золотых очках, изредка появляясь в аптеке, обратил внимание на расторопного мальчугана.

Вскоре после Пасхи, уже второй для Егорки в этом доме, у подъезда аптеки остановилась знакомая коляска доктора, запряжённая парой серо-яблочных лошадок. В коляске осталась жена доктора, вся в чёрном, красивая и молодая дама, а доктор быстро взбежал по лестнице в аптеку. Егорка встретил его, как и многих посетителей, широко распахнувши дверь в аптеку. Доктор прошёл за перегородку к стоящему там Ансееву и о чём-то с минуту-две с ним пошептался. Они оба громко рассмеялись, и вдруг очки доктора Краснопольского блеснули прямо на Егорку:

— Ну-ка, парень, собирай свои пожитки. Хозяин тебя мне просватал. В больницу со мной поедешь.

Егорка сперва не понял. Посмотрел на Ансеева. Тот так же лениво, как и всегда, как будто нехотя, промямлил:

— Иди, иди, не задерживай доктора. Там, — он взглянул через окно на коляску у подъезда, — там барыня ждёт.

Егорка растерялся. Не то плакать, не то радоваться. Побежал на кухню сказать Герасиму Иванычу и Ксюше, а по дороге увидел кучера, друга своего верного, Тютюбайку, и крикнул ему:

— В больницу меня везут!

Тютюбай как раз чихнул от понюшки табаку, не мог сразу сообразить и поковылял на низких, калачиками, ногах вслед за Егоркой в кухню. Там маленький, годовалый Гришка как раз капризничал, и Герасим Иваныч и мать не могли его утешить. А Егорка спешил, метался, рассказывая новость, надо, чтобы Герасим объяснил Рафаилу Марковичу. Нехорошо выходит, даже проститься не придётся. А там ждут... Он побежал в свою каморку, а оттуда пулей опять на кухню. Сообразил:

— Герасим Иваныч! Там меня доктор ждёт. Пожалуйста, соберите все мои пожитки, там ящичек. Неловко мне его тащить в коляску. Там сидит барыня. Пришлите всё с Тютюбаем в больницу.

Тютюбай испуганно схватил Егора за плечо:

— Джогор! Какой больница? Чему хвораешь?

— Да не хвораю я. Меня в больницу берут... — Он хотел сказать: «на должность», да воздержался, сам ещё ничего не знал. Главное, надо спешить. И побежал.

— А где же твои вещи? — спросил доктор.

— Да их уж мне кучер привезёт.

— Ну молодец! — одобрил доктор. И коляска покатила.

Егорка сидел на козлах, рядом с кучером, и не смел повернуться назад. Смотрел вперёд со страхом. Что там будет? Или

Ансеев им недоволен? Но Рафаил же Маркович его никогда даже не выругал. Слёзы подступили к его горлу, а доктор говорит ему:

— Ты мне больничную аптеку приведёшь в порядок.

Егорка повернулся лицом к доктору, а встретил смеющееся красивое лицо его жены и не посмел ответить. «Аптеку привести в порядок? — мелькнуло у него в голове. — Это ещё страшнее. А вдруг не сумею? Ведь Рафаила Марковича там не будет».

И вот он в больнице проработал год. Нет, не один год, а сто лет прошло с тех пор, как он разливал душистое репейное масло и развешивал порошочки в аптеке. Сто лет опыта, микстур, промывки резиновой трубкой желудков больных, кровавых и гнойных бинтов после операций, впрыскивания морфия умирающим и меряния температур больным, их стон, предсмертный хрип... И эта еврейка, мать пятерых детей, которой четыре раза отрезали ногу: сперва только ступню, потом гангрена пошла выше, отрезали ниже колена, а потом ещё раз, выше, и, наконец, почти у самого бедра. По субботам приходили дети и муж, молодой ещё, а с длинной бородой, торговец старой мебелью. А старший сын оказался тем самым... Да, тем самым!

Как-то прошлую весною мимо аптеки — шум и гам. Толпа евреев, окружившая небольшого паренька, идёт из городского училища, все радостно говорят, понять ничего нельзя. А у паренька в руках бумага трубкой. Потом Герасим, выбежавший на шум, объяснил: первым выдержал экзамен! Теперь он где-то учится в другом городе, но эти четверо, что навещают мать... Старшенькая, зовут Раей, смуглая, с большими тёмными ресницами, четырнадцать лет, а обо всех заботится, как старушка. Все остальные, три мальчика, лесенкой, от четырёх до девяти, точь-в-точь такие же серые глаза и длинные ресницы. Полгода пролежала женщина в больнице, подружился с ними Егор. Даже к себе пригласили. Угощали фаршированную щукой. Отца дома не было. И показалось Егору скучно в доме. Всё опрятно и всё старое, но нигде, ни в одном углу, нет икон, а когда сели за стол, все мальчики надели на головы шапочки... И когда потом Егор будет думать о евреях, он прежде всего вспомнит эту ногу, долго не заживавший обрубок у самого бедра. Он же подавал инструменты, он держал бинты, он потом следил за температурой. Зажили, увезли еврейку-мать домой. (Лет десять позже он встретит Раю в городском театре в Барнауле. Красавица, и рядом муж в военной форме, капельмейстер батальонного оркестра. Узнала, обрадовалась. Мать жива. Родила ещё двоих.)

Да, сто лет за один год здесь вытерпел Егор. В больнице ухаживал за Егорушкой Щербаковым. Мальчик-одногодок из фотографии. Он и устроил первый снимок с Егора. В чёрной курточке, под городское училище, и с ремённым поясом, на пряжке которого вышили: «Г. У.» Читай как хочется: городское или горное училище. Учиться не пришлось в хорошей, настоящей школе, но пусть хоть на поясе знак, что учился. Выздоровел Егорушка Щербаков, стали неразлучными друзьями. Вместе бегали в дни отпуска купаться на Иртыш. Вместе книжки вслух друг другу читали. Только не было хороших книжек, а всё больше про любовь. Егорушка любил такие, а Егору не нравились. Почти все кончаются самоубийством от любви. Какая такая любовь, если надо жизнь молодую кончать? И были ещё причины не любить такую любовь. В больнице отвратился от любви.

Да, уже год миновал в больнице. Опять пришла весна, уже третья вне родительского дома, и никто из родных за это время не навестил его. Только сам навещал два раза крёстного, Василия Лукича. Всё ещё в пожарной. Игреньюха сдохла. Акулина Ильинична постарела, почернела ещё больше, зато Яша так же избалован, ходит в городское училище, а учится плохо.

Но вот на Страстной неделе навестил его Михайла Василыч Вялков. Не узнал он Егорку, когда тот в белом халатике, с белым же продолговатым эмалированным тазиком сбежал с высокого крыльца главного корпуса больницы в широкую песчаную ограду. В тазике были блестящие металлические инструменты.

Егорка вырос, сапожки начищены ваксой до блеска, волосы волнистыми прядками причёсаны как-то на сторонку, на розовом лице серебристый пушок, но нос не дорос. Такой же вздёрнутый, по этому носу и угадал его Вялков.

— Егорша, это ты, что ли?

Егор задержал свой бег. Разглядел, узнал. И как не узнать любимого пахаря-богатыря? Как забыть, как он один вытащил из трясины на пашне в Крутом логу их Булануху? Такой же широкий, в сером опрятном крестьянском зипуне, шапка ещё зимняя, но в длинной бороде ещё ни одной сединки. Егорка поставил белый тазик прямо на песок и бросился Вялкову на шею. Целуя гостя в обе щёки, он чуял, как борода пощекотала его нос и подбородок, и сразу не нашёлся, что сказать.

— Это что там у тебя?

— Хирургические инструменты, — ответил Егор, но понял, что Вялков мог не знать, что это такое, и разъяснил: — Покойницу мне надо для вскрытия приготовить.

— Как это... для вскрытия? Резать, что ли, её будешь?

Глаза у Вялкова, и без того большие, сделались ещё больше, и белки их стрельнули в сторону каменного здания в отдалении от главного корпуса.

— Да нет, не я буду, фельдшер будет её вскрывать, а мне надо эти инструменты прокипятить и потом покойницу раздеть, помыть...

Вялков был явно поражён, отступил от мальчугана, смерил его взглядом, как будто не веря ни своим глазам, ни ушам, что перед ним тот самый соплячок Егорка, которого он ещё недавно подкармливал на пашне куском говядины, ломтем хлеба с мёдом.

— Дак ты, значит, торопишься? — спросил он наконец. — А я тебе от отца-матери поклон привёз. Живы они и здоровы. Печалуется мать, что ты ей редко пишешь...

— Да, этот год у нас тут очень много больных. Вот там, в разных бараках, — Егорка показал рукою на новые, глаголем, длинные деревянные постройки, — больше сотни заразных лежит. Три раза приходится температуру мерять... Понятно, я тут не один. У нас сиделки есть, три фельдшера, служители. Но мне дают работу теперь в остроге.

Через крыши заразных бараков в простор широкой больницы ограда смотрели чёрные квадратные окна с решётками второго этажа большого огороженного высокой каменной стеной острога. Вялков долго молча всматривался в розовое, чистенькое лицо парнишки, потом опять на бараки, на острог и, прищуривши глаза, покачал головою:

— Да ты, парень, тут, видать, и сам, гляди, не заразишься!

— Дак нет, я уж привык. Меня иногда запирают с заразными... На днях киргиз от сибирской язвы умер у меня на дежурстве. Большой такой и молодой ещё. Не мог я с ним отводиться. Смертельная эта болезнь. А в тюрьме арестантов лечит наш фельдшер, а разные перевязки и лекарства раздавать арестантам меня посылает. — И, чтобы перевести разговор на менее страшную тему, Егорка прибавил: — Мне нынче даже в церковь за весь Великий пост не удалось пойти. Но в остроге тут есть церковь, я там нынче буду Христовскую заутреню встречать.

Вялков почуял, что парню некогда с ним даже поговорить. Он потрепал по плечу Егорку и мягко сказал:

— Ну, ну, иди с Богом. Что матери-то в поклоне от тебя сказать?

— Ах, да! — совсем по-городскому выразился Егор. — Ради Бога, не говорите ей, что меня с заразными на дежурство запирают. Она будет беспокоиться.

— Да как же тут не беспокоиться? — совсем недовольно произнёс Вялков, и его широкие плечи передёрнулись от удивления. — Я бы тут ни в жисть не остался.

В это время с того же высокого крыльца сбежал щупленький, прыщеватый молодой человек с нависшими над глазами тёмными волосами и закричал Егору:

— Что ж ты тут стоишь? И как ты смеешь инструменты на землю ставить?

Вялков спокойно смерил читающими глазами молодчика и спросил:

— Это он, что ли, фершал?

— Нет, это старший фельдшерский ученик, — почти шёпотом ответил Егор и, схвативши инструменты, сказал Вялкову виновато: — Вы извините, Михайло Василич. — И побежал к анатомическому покою, в котором только что скрылся прыщеватый молодчик. А Вялков ещё долго стоял как вкопанный и зорко и недружелюбно осматривал всю ограду, большое двухэтажное здание больницы, повара в белом колпаке, показавшегося возле кухни, деревянные бараки, а потом повернулся в сторону острога и пошёл в ворота, покачивая головою и забирая в большой кулак свою пушистую длинную бороду. Он был не на шутку озабочен тем, что он скажет Егоркиным родителям после этого свидания.

Он даже не успел сказать Егорке, что в селе о нём идёт хорошая молва, сельчане удивляются: парень учится на фельдшера, а отцу-матери деньги посылает. Теперь своими глазами видел, в каком разгоне тут Егорка. И Егорке было стыдно, что он не догадался пригласить Вялкова на кухню. Там у него друзья: повар, рыжий, веснушчатый шутливый малоросс, его жена, полная, чернобровая Оксана, когда говорит с мужем, всё время поправляет его: «Ты не малоросс, ты вкринець!». И голос у неё распевистый, приятный, с припрыжкой: начнёт тонким, как бы взвизгнет, а закончит басом, медленно растянет. И у них сын, Прокоп, одногодок Егорки, всегда в белом фартуке, как мать и отец. Трое и управляют на кухне. Только Прокоп, такой же чернобровый и красивый, как мать, ленив и неповоротлив, а выше и полнее Егора. Грамотный и говорит по-русски правильно, только с гаком.

Вот несчастье — не пригласил такого гостя! Оксана бы его задержала, после вскрытия можно бы поговорить, расспросить о домашних. Но надо было спешить, в анатомическом покое ждёт Виктор.

Этот Виктор — самый неприятный человек в больнице.

Низенький, сухой и прыщеватый, с прямыми космами, падающими на глаза, он ходит, склонивши голову, и смотрит на людей не прямо, а как-то сбоку и сквозь космы чёрных волос.

То одною, то другою рукою он всё время подбрасывает волосы назад, а они тотчас же падают и, по-видимому, щекочут

ему нос. К нему по праздникам изредка приходит сестра, высокая, хорошо одетая молодая полька. Егорка знает, что родители их ссыльные, отец умер, мать уже старушка. Однажды Егорка слышал, как сестра Виктора строжилась над братом, показывала на его сальные волосы и учила его манерам. Не всё Егорка понял, но в польском языке есть русские слова, и повторение слов: «Матка Бозка, Матка Бозка!» — выражало явное недовольство братом.

Вот этот самый Виктор уже раздел покойницу, разорвав-ши сверху донизу вместе с сорочкой её цветное платье. В момент, когда вошёл Егорка с инструментами, он рассматривал обнажённый тоненький желтоватый труп и прощупывал его тонкими, крючковатыми руками... Егорка отвернулся и занялся приготовлением спиртовки, на которой нужно было прокипятить инструменты в растворе сулемы. Егорка не смотрел, но чувствовал, как Виктор недостойно издевался над мёртвой девушкой.

Но не мог же он не видеть и не слышать всего, что тут происходило. Он должен помогать, стоять на инструментах, подавать их, принимать, обтирать ватой, класть в другой тазик в карболовый раствор, промывать и снова класть в кипящий раствор сулемы.

Фельдшер вошёл с одним из служителей. Этот, кроме помощи, будет подписывать протокол как понятой; вторым подпишет, кроме фельдшера, Виктор. Это значит, что он старше двадцати одного года. Егорке подписывать не позволят. Он несовершеннолетний. Печатная форма протокола лежала с пером в чернильнице на маленьком столике.

С аккуратно подстриженной рыжеватою бородкой, с усами, закрученными винтиком, фельдшер был одет щеголевато. Он имел частную практику и считался вроде доктора. Свой белый халат он внёс в руках, надел его, подставил рукава для завязки к рукам Егора. Взял один из острых ланцетов из тазика.

— Приготовь сосуд для жидкости, — приказал фельдшер Виктору. — Возни тут особенной не будет. Запиши: «Знаков насильственной смерти на теле не обнаружено». Сердце трогать не будем. Оно и так уже загублено. Нам нужно знать, каким зельем упилась красавица.

Много видел Егор страшного за этот год в больнице. Не одного умирающего сам оплакал. Особенно он не забудет десятилетнего Мишеньку, горбунчика, приёмного сына богатого купца. На личико хорошенький, розовый от воспаления, нежный ангелочек, любил Егорку и давал ему сладости, что приносил ему бездетный одинокий купец. И такой был умненький: всегда что-нибудь расскажет и спросит самое

близкое Егоркиной душе. Другьями они стали, и только за два часа до смерти потерял Мишенька сознание, и эти два часа Егор как будто и сам с ним мучительно умирал. И вот теперь перед ним эта мёртвая... Он видал её не раз. Она, в коричневом платъице, в белом фартучке, ещё в прошлом году пробегала из гимназии, жила где-то поблизости от госпиталя. В собор ходила мимо, весёлая, красивая.

Фельдшер провёл ножом по животу вдоль и сразу же внизу живота — поперёк. Крови не было, только жёлтая вода. А фельдшер не то говорил с собою, не то напевал:

— Смейся, паяц, смейся, негодяй! Хотел бы я видеть морду твоего, девица, соблазнителя!

Виктор, как бы помогая фельдшеру, как бы напоминая ему, где ещё надо вскрыть, стал манипулировать руками ниже живота. Фельдшер спокойно остановил его:

— Да не-ет, там трогать ничего не надо! Мы это узнаем отсюда, через полость живота... Смейся, паяччио, смейся, мерзавец! — уже не голосом, а только тяжёлыми вздохами произносил анатомист. Обычно он вскрывал мёртвые тела с песенкой, как будто делал нечто обыденное и скучное и хотел развеселить себя и других, а тут, вместо песенки, вздыхал всё тяжелее и тише, до шёпота, и, наконец, после усиленного напряжения, вынул и приподнял над раскрытым животом маленькое нечто, всё ещё в одной головке. — А вот и он, плод любви несчастной. — Задержал в руке, определил: — Запиши, Виктор, примерно трёхнедельный удалец... А впрочем, положи, Егор, это в банку, в спирт. Покажем доктору. Он лучше пусть сам определяет...

Но самое страшное было впереди. Когда, подписавши протокол вскрытия, ушли фельдшер и служитель, Виктор ещё долго продолжал непристойности над трупом, потом все куски плоти, им отрезанные под видом изучения анатомии, он побросал в открытую полость живота и, ощеривши жёлтые кривые зубы, приказал Егору:

— Теперь зашивай всё! — И, вымывши руки, ушёл.

Зашивал Егорка труп, слёзы ручейком катились в ту же полость живота и не могли остановиться. На всю жизнь запомнил он этот страшный полдень.

Но и это ещё не всё. На следующий день, как раз в Великий четверг, Виктор устроил для него бесстыдную ловушку.

Как раз по четвергам приезжали на извозчиках шумной, крикливой и разнаряженной толпой девицы, под предводительством их содержательницы, для медицинского осмотра. Когда они сходили с экипажей, то, придерживая свои подолы, обнаруживали много юбок. Особый шик благополучия. Егор знал, кто они такие, потому что Виктор после осмотра их вра-

чом приносил в аптеку подписанные доктором бумаги; это были жёлтые листки, и часть их Виктор оставлял при аптеке: эти девицы оставались на излечение. И вот он приказал Егору:

— Иди в палату номер восемь. Там надо одной больной смерить температуру. — А эта палата была под наблюдением старушки-няни, строгой и никого в палату не пускавшей, кроме доктора. Но няньки как раз в палате не было. Егор даже не сообразил, почему Виктор не может смерить температуру, тем более что и сам он вошёл следом. Перед ним стояла совсем раздетая девица, только одна — остальные смотрели и гыгыкали. Но когда она увидела Егоркино лицо и его строгое, но невинное выражение, какого ей, видимо, никогда нигде не приходилось видеть, она прикрылась платьем и бросилась на Виктора разъярённой львицей:

— Убирайся отсюда, ты, холуй!

Егорка понял, что это была бесстыдная выдумка Виктора, и, красный от стыда и обиды, выбежал из палаты. Он помнит, что и остальные девицы перестали смеяться, отвернулись и молча пошли к своим кроватям. Но это событие хуже, нежели от мёртвого трупа девушки, отвратило его от живой женской плоти.

Но Виктор не успокоился и не устыдился. Он стал добиваться, чтобы Егор заменял его при осмотре доктором этих девиц, а их приезжало около двадцати. Но старший врач в присутствии Егора накричал на Виктора:

— Оставь ты Егора в покое! У него довольно дела при аптеке, а ты как-то мне умудрился намешать сулемы вместо соды!

Но был ещё у Егора друг и покровитель, отставной пожилой солдат-гренадер. Высокий, тонкий, с бритой бородой и молодецкими усами, он всегда был в фартуке служителя, и привязал к себе Егорку своей лаской. Никак его не звал, а просто — либо сынок, либо ещё проще — милачок. Вместе с гренадером, за ширмой в коридоре, они и жили. Когда есть минутка, один без другого никуда. А как начнёт рассказывать про свои походы да про полки, про генералов, смешное и строгое — заслушаешься.

Этот гренадер иногда ходил с Егором и в тюрьму: бутылки, склянки и тяжёлые бутылки для дезинфекции отнести. И там он арестантам шутку расскажет, развеселит, всем улыбнётся по-отечески, а то и спину разотрёт. За это его особенно любили, и когда он долго не приходил, какой-нибудь из несчастных сморщит и без того сморщенное старостью лицо и просит:

— Приведи-и нам гренадера... Он прошлый раз мне спину так погладил — легче стало. — Да и Егорку ждали и встре-

чали, как родного, и каждый, даже ничем не больной, что-нибудь выдумает, просит полечить, а когда приходил к ним гренадер, это был для всех прямо праздник. Отпустить не хотят.

Вот с этим гренадером и пошёл Егор к Христианской заутрене в тюремную церковь. Церковь небольшая, но, как все церкви на Руси, для праздника украшена, вся в цветах и зелени. Приходят сюда с воли не только простолюдины, но и генералы в звёздах, и раздушенные дамы в белых платьях. Заранее уговариваются с тюремным начальством, чтобы избежать жары и духоты в переполненном соборе или в других церквях. Всё переполнено и здесь ещё задолго до заутрени. Служат два священника: один в алтаре, другой исповедует.

Гренадер надел свой чёрный мундир с красными кантами и красными нашивками на рукавах, на груди его медали и Георгиевский крест. Егор в новой своей тёмно-серой курточке, брючки навывпуск. Он ведь получает теперь шесть рублей и шестьдесят шесть копеек в месяц. До плеча высокого гвардейца он далеко ещё не дорос, но нравится он гренадеру, тот ведёт, тот тут командует. Они становятся позади всех, в уголку, пока идут приготовления и уносят Плащаницу. Всё знакомо, всё известно, всё как везде, но здесь особенно всё трогает и волнует. Ведь сюда вот-вот придёт Христос Сам, к обременённому и отверженному.

Вот начал освещаться тёмный храм. Всё больше, всё светлее. У каждого лица горит свеча. Поднимаются хоругви, разбираются иконы людьми с воли. Крестный ход будет в тюрьме, но арестантов не введут, пока крестный ход опять не войдёт в церковь, уже под радостные возгласы: «Христос воскрес!».

И вот тут... Тут будет то, чего нигде, ни в каких храмах на воле не бывает. В церкви радостное, почти непрерывное пение, а откуда-то из глубины, как будто из-под земли наверх, слышатся и нарастают размеренные шумы. Всё ближе, громче.

И хотя ручные кандалы в эту ночь даже с самых отчаянных каторжан сняли, а ножные подвязаны так, чтобы не гремели, всё же в твёрдой, гулкой поступи семидесяти арестантов нарастает и приближается страшная сила вот в этом:

— Тр-ах, тр-рах, трах, трах!

Дверь в отгороженное от частной публики место широко распахивает стражник, загородка заполняется людьми во всём сером, многие с бритыми наполовину головами.

— Тр-ах, тр-рах, тр-рах! — И всё затихает по команде, которой даже не слышно.

И вдруг в ответ на слова священника: «Христос воскрес!» раздаётся потрясающее стены каменного острога: «Воистину воскрес!».

Нет, тут радоваться нету сил. Егорка не читал ещё Достоевского, а когда будет читать его «Мёртвый дом», он увидит многое, чего он здесь не видел, но не найдёт у Достоевского многого, что не столько глазами, сколько сердцем он здесь почувял.

Впереди длинной полуроты арестантов, стоявших рядами по пяти человек, выделился один, повернулся лицом к остальным, в руке его что-то блеснуло. Всё начальство на чеку. Сегодня из тюремной стражи ни один не имеет права молиться. В руке арестанта камертон, он подал тон — и как огнём полоснуло по сердцам и душам всех затихших в храме.

— На Божественной страже! Богоглаголивый Аввакум!..

Никогда: ни раньше, ни после — да и где ему, Егорке, это слышать? — не слышал и не услышит он такого божественного хора! Как, значит, они там у себя по камерам готовили, как и когда так разучили?

— Да станет с нами и покажет светоносна Ангела, ясно глаголюща: Днесь спасение миру! Яко воскресе Христос! Яко всесилен...

Егорка уткнулся в самый уголок и прячет слёзы. Он не знает, почему ему плачется, но он не может забыть растерзанной на куски девушки... Нет, нельзя, это грешно вспоминать!

Позади всех молящихся толкотня: толстая женщина, вся в чёрном, спорит со стражником. И слышно, как она громким шёпотом что-то доказывает.

— А куда же я их больше поведу? Их нигде больше не пускают...

Егорка вытянул шею, женщина повернулась лицом к свету. В глазах её покаянная дрожит слеза. За нею вереница её девиц, все в чёрном. Вот это кто!.. Вереница в чёрном упорно пробивается вперёд, и там, вдоль арестантской изгороди, все падают на колени. Этого на Пасхе не полагается, но они стоят на коленях и не встают, а их водительница пробивается ещё дальше. Она хочет видеть священника, и вот он выходит в одной епитрахили. Значит... Значит, все они пришли сюда исповедаться!..

— Снизшел еси в преисподняя земли!.. — Хор арестантов будто понял лучше всех и глубже всех то, что тут происходит.

И звучит он хором ангелов, победным, которого никогда, никогда забыть нельзя!

Нет, не умел ещё Егорка радоваться даже Пасхе Христовой! Печаль он понесёт отсюда, тяжкую, неизлечимую рану скорби, в жизнь.

XXI

Зигзаги юных лет

Егорка был отозван из сельской школы как раз в половине четвёртого, последнего, отделения. Никакого аттестата об окончании даже сельской школы у него не было. А в больнице, через год, полюбивший его фельдшер нашёл, что Егор может сам стать фельдшером. По-иному забилося Егоркино сердце: невероятно, но мечта обжигающая. Ведь это и значит, как мечтала его мать, «стать человеком».

Сам же фельдшер написал прошение в Омскую фельдшерскую школу, где он сам с успехом выучился медицинскому искусству, и получил ответ: можно и на казённый счёт, но надо представить следующие документы: приговор сельского схода о бедности и хорошем поведении с тем, что всё село ручается за «кандидата» — слово-то какое, — что по окончании школы он из своего жалования выплатит хотя бы половину школьных на него затрат. Свидетельство врача о здоровье и аттестат об окончании четырёх классов уездного училища.

Начались хлопоты. В селе Егора все уже знали, особенно священник, отец Пётр, купец Зырянов замолвил доброе слово.

С волнением размахивал руками на сходе отец Егора, доказывал: парнишка не окончил школу потому, что сам он взял его и погнал с артелью в леса ещё одиннадцатилетнего. Потому он и сидел в школе ещё ползимы. А вот помогает уже и деньгами.

Да он сам себя выведет на дорогу, не придётся обществу ни копейки за него тратить. Всё-таки шумели долго. Нашлись и супротивники:

— Да эдак я бы и своих ребят на казённый счёт восподами сделал, — кричит один.

— Правильно, — кричали враз несколько голосов. — Ещё тут и доктором кто-нибудь захочет быть, а мы отвечай.

Но писарь Филипп Антоныч Лапшин составил приговор, несмотря на все протесты. Он же сам и печать приложил, староста только подышал на неё и покоптил над свечкой. Прислал Митрий общественную отпускную. Теперь учебники, бессонные над ними ночи. Переписка с Шемонаевским четырёхклассным училищем, главным учителем которого был замечательный человек, впоследствии монах, а потом и епископ. Принял близко к сердцу Егоркино дело. Написал инструкции. Надо не меньше года готовиться, а потом приехать в Шемонаиху, он сам будет ещё подготавливать.

Можно понять, с каким особым рвением учил Егор скачками трудные предметы и как он практически проходил саму медицинскую работу в больнице. Ведь фельдшер поручал ему производить в тюрьме уже свои прямые обязанности: вскрывать нарывы, промывать раны, вставлять в них йодоформированную марлю — перевязывать он мог уже давно, и так красиво — залюбуешься. Составление микстур по рецептам делал как настоящий провизор.

— Будешь фельдшером, — уверенно внушал ему фельдшер.

Егор уже давно опередил в опыте, знаниях и терпении с больными своего строгого соратника Виктора, который оставил надежду быть фельдшером, но всё так же околачивался в больнице, и уже завидовал Егору. Всего не перескажешь, что произошло за целый год, но об одном случае необходимо рассказать.

Тою же весною, перед Троицей, в ограде больницы появились две простые женщины. Егор их не узнал, но обе они были с котомками богомолка за плечами. Оказались из села Николаевский Рудник.

— Мы зашли тебе сказать, что твоя мать идёт на богомолье к Абалацкой Божьей Матери. Они отстали, потому что ноги стёрли, а сюда им заходить по пескам будет большой крюк. А мы зашли тебе сказать, чтобы ты её встретил завтра утром, они будут проходить мимо татарского кладбища.

Егор стоял и ушам своим не верил, и ничего не мог ответить, так его поразила эта новость. На этот раз он пригласил обеих женщин в кухню, и добрая Оксана стала хлопотать с угощением, а они в голос:

— Родимая, ты не трудись. Мы постуем. У Абалацкой мы исповедоваться и, если Бог допустит, причащаться будем.

— Да то ж не гоже, — заспорила было Оксана. — Та вы ж голодни...

— Ну нет, у нас сухарики в котомке и водичка. А сегодня мы с утра не принимаем пищи. Завтра доберёмся до обители. Тут уж недалеко.

А когда Оксана узнала, что следом за этими богомолицами идёт и мать Егора, она уставила на него свои большие красивые глаза и взвизгнула:

— Хлопэць! — и тут же басом протянула: — Та ты ж бежи-и, бо то ж твоя маты...

Побежать не побежал Егор, а спать всю ночь не мог, и утром, чуть свет, передавши свои дела Виктору и гренадеру, приготовил всё, что нужно для перевязки стёртых ног, уложил и бинтики, и присыпки, и надел через плечо свою фельдшерскую сумку, с которой ходил в тюрьму. Оделся чистенько и пошёл песчаными, немощёными загородными улицами далеко, на

самую окраину города, к татарскому кладбищу, которое мимо не пройдёшь и не проедешь, если ехать вверх по берегу Иртыша. На татарском кладбище, возле своеобразных памятников с полумесяцами вместо креста и с арабскими надписями на камнях, он долго ждал, потом не выдержал и пошёл по тракту дальше. И долго шёл опять, пока, наконец, вдали показались четыре женщины с котомками за плечами. Егор остановился и стал искать местечка, где бы спрятаться. Мальчишеская мысль ударила ему в голову: спрятаться и выскочить, когда они подойдут совсем близко. Около дороги был небольшой зелёный бугорок вокруг телеграфного столба, возле него он и припал на землю. И изредка выглядывал, вся его радость перешла в смехок. Он даже снял фуражку, чтобы блеском козырька не выдать себя в засаде. Пусть подойдут совсем близко, тогда...

И всё-таки не может утерпеть, выглядывает, видит: двое прихрамывают... Ну ничего, дойдут, тут он их и удивит своим появлением. И вот дошли, он выскочил. Остановились. Не узнала его мать, и он с трудом узнал в худой, постаревшей, загорелой, сгорбленной под котомкой страннице свою мать. Трудно описать эту встречу. Мать присела тут же на бугорок, смотрела на сына, плакала и говорила, вытирая слёзы:

— Нет, милый сын, я тебя увидела. Давно увидела, когда ты ещё шёл. Только потом, когда тебя не стало, подумала: привиделся ты мне...

Когда же Егор помог ей снять пыльные башмаки и когда он развернул фельдшерскую сумку, спутницы Елены охали и ахали, а одна из них даже и заплакала, как и Елена, и, крестясь, делилась своей радостью со всеми:

— Это за молитвы тебе, Еленушка, послал Господь такого сыночка... Ну поглядите, он уж прямо как наш лекарь, Иван Никифорович, дай Бог царство небесное.

— Как, он умер? — Егор даже задержал в руках развёрнутый бинтик и смотрел на богомолиц поочередно, как бы ожидая, что кто-нибудь скажет: «Нет, он жив-здоров».

— Да, преставился, — грустно сказала Елена и перекрестилась. — Дай Бог свято почивать. Он Николаю зренье да и жизнь спас.

Перевязал Егор растёртые песком, набившимся в дырявые обутки, ноги другой женщине. Остальные две отстали за компанию с захромавшими: нельзя же бросить их одних по дороге в святое место.

— А я даже не знал, — признался Егор, — что тут есть монастырь.

— Не монастырь это, сыночек, — разъяснила одна из богомолиц. — Это новое явление Пресвятой нашей Владычицы, названной Абалацкой, в двадцати верстах от Семипалатинска.

А явилась Она, Пречистая, в облике чудотворной иконы некрещёному татарину, в чистом роднике ликом к небу всплыла. Как же, как же, уже лет тому пятнадцать, а теперь там уже и церквица построена, и татарин этот там крестился, и прислушивается нашей нищей братии. Была я там два года тому назад, а нынче опять меня туда ведёт Благодатная. И будет там обитель женская. Уж будет. Может быть, сподобит Господь, я там и останусь. Никого у меня нету, — продолжала говорить женщина уже как бы сама с собою, но Егор заметил по лицам остальных, что все благоговейно слушали и то и дело крестились.

Не мог удержаться Егор. Не вернулся в тот же день в лазарет, а пошёл вместе с матерью и богомолками прямо к Абаляцкой Божьей Матери. И дошёл с фельдшерскою сумкой на плече. И там, в обители, где, кроме церквицы, уже построены одноэтажные странноприимные домики, ключ живой прозрачною струёю привлекает сотни паломниц и паломников, все один другого беднее и все такие мирные, толпой приходят к загороженному лёгкой деревянной оградой роднику, толпою молятся в переполненной церквице, все в неё войти не могут. Толпою ходят следом за монашком, в котором уже не узнать бывшего бритого татарина. Старенький, седой, в ряске, в камилавке, всем служит, а говорит по-русски всё ещё с трудом. Он и на ночлег устраивает всех, и еду варит, и в церкви кадило подаёт священнику. Только когда кто-либо из паломников спросит его, как ему явилась Пресвятая, он поднимет обе руки и скажет коротко:

— Том чудо Боже. Язык шоловеки сказать нелзя.

Да, он понял, и люди стали понимать: нельзя человеческим языком говорить о чудесах Господних.

Провёл в обители Егор весь следующий день, истратил все свои лекарства, не хватило ни бинтиков, ни присыпок. Матери хотел оставить, не позволила. Сказала:

— Ты иди, сыночек, там тебя теперь потеряли. А я тут побуду ещё с недельку, домой вернусь со всеми. Иди со Христом, поторопись, от моего имени попроси простить тебя за отлучку. А мы с тобой наговорились, слава Тебе Господи.

И не ушёл, а уехал с попутчиками Егор. И никакого выговора ему не было, только рассказал доктору Краснопольскому всё как было. Посмеялся, золотые очки протёр. Запотели они у него от набежавших слёз, но ловко скрыл он слёзы от Егора, платочком протирает очки и глаза. Может быть, свою мать в Киеве вспомнил, может быть, там, в далёком Киеве, имя которого звучит так вкрадчиво и напевно, есть тоже святые обители. Сам Егор ещё не знает, но мать сказывала не раз о том, что от Киева вся Русь пошла. И покорило сердце Егора доктор Краснопольский тем, что наказал:

— А ты пошли ей, своей матери, все лекарства, какие ей там нужно: и бинты, и вату, и йодоформ. Я скажу смотрителю, чтобы сам посылочку на почту отвёз.

И не было видно конца усердию Егора в этот год. Трудно было и ему, и доктору, и особенно гренадеру с ним расстаться следующим летом, после Троицы, но надо было ехать держать экзамен. Мечта теперь яснее: больных и страждущих много не только в больницах, но и при святых обителях. Вот бы только выдержать экзамены да выйти в люди фельдшером... Но это трудная мечта...

Не узнал ни дома, ни родных, когда вернулся он домой через три с половиной года. Рядом с уже покосившейся избой стоял пятистенный новый домик, с тесовой, на четыре стороны, «шатровой» крышей, с крылечком под особой крышей на круглых столбиках. И первую выпорхнула с этого крылечка красивая девица, бросилась ему на шею — нет, это не Оничка. Она стоит позади, уже большая и действительно красавица... Но кто же эта, как родная, обнимает, целует и, отшатнувшись, рассматривает его и говорит:

— Так вот он какой, Егорушка.

И только когда позади Онички появился высокий, стройный и красивый брат Николай Митрич, догадался Егор, что брат уже женат.

— Да как же, — напевала Оничка, не отпуская его из своих объятий, — только что перед Троицей отгуляли свадьбу.

— Без шума и грома, — прибавил и сам Николай. — На постройку затратились, я сказал: никаких колокольцев. Под венец — да прямо в новый дом...

Ну как тут было не расплакаться, как было не вспомнить опять же из запаса материнных песен:

Его заныло ретивое, когда увидел отчий дом.

Так оно почти и вышло, если бы не видела его родная мать год тому назад. Тогда бы так и пропелось:

Его родные не узнали, и от сердечной простоты
Все окружили, вопрошали: скажи, служивый, кто же ты?

Ну, не совсем это подходит, и не служивый он солдат, вернувшийся домой красавчиком гвардейцем, а песня вспомнилась до слёз: соседи прибежали, не узнали. Отец вышел из старой избы. Он уже с проседью, а с ним Андрюшка, в чистенькой рубашке, кучерявый, белокурый. Смеётся во всю рожицу, а не подходит. Сам к нему склонился гость. А отец подал сыну твёрдую рабочую руку. Стесняется обнять. Егор обнял его сам и удивился: отец вдруг обращается к нему на «вы»:

— Видите наш новый дом? — И с гордостью показал на светлый в солнце домик. — Это вам спасибо, помогли до-строить.

А много ли посылал он им денег? Не каждый месяц и не всегда по пять рублей, бывало, пошлёт три рубля. Значит, копеечка здесь так же дорога, как прежде. А он там был на всём готовом и на себя тратил больше половины всего, что получал. Даже стыдно, а вот оно как вышло: здесь сумели тратить деньги с пользой.

Ввела его молодлица в новый дом. Ну как же хорошо всё, чисто и светло! Во весь пол половики, на окнах цветные занавески, кровать горой от перины и подушек. Видать, что из богатого дома выбрал Николай себе жену.

Вдруг, запыхавшись, вбегает в горницу Фенька, выросла, ей тоже уж двенадцать, а на руках у неё ребёнок. Она суёт его матери и бросается на шею брату.

— Я в огороде с ним была, — говорит она в своё оправдание, что пришла последней. Смотрит не насмотрится на Егора, говорит: — Ни за что бы не узнала. Вырос-то как. Вон, видишь, где твоя аптечка, в углу стоит в шкафчике. Я маме читаю все надписи на бутылочках.

Егор смущён, а спросить не смеет, чей же был на руках у неё ребёнок. Но Фенька обратилась к матери:

— Ты покорми его, мама, он там базлал, не дал мне ни одной грядки прополоть.

А маленькому года полтора, ещё не ходит, толстенький. Значит, когда мать ходила на богомолье, он уже родился. Правда, по дороге к Абалацкой говорили мало. Богомолки то и дело пели молитвы и псалмы, и в самой обители она с ним говорила, расспрашивала, слушала, а о ребёнке не сказала. Почему? Стыдилась запоздалого греха.

От матери ребёнка взял отец, и видно было, с какою нежностью он назвал «заскрёбыша»:

— Ваничка, Ванёчик, не плачь, не реви. — И вышел вслед за матерью в другую избу.

Но то был праздник, все были дома, был ясный летний день, но наступают будни, страда в разгаре, покос. Когда же тут учиться? Как не поехать на покос со всеми? А всех теперь много, и даже мать поехала, обед варить. Николай и Марья — работники наудалую, на показ кому угодно. Видно, как они счастливы, а обоим одинаково по девятнадцати годов. Оничке семнадцать, косит, как хороший косарь, только косу сама не точит. Отец ей то и дело точит, чтобы почаще отдыхала. А Егору, как малому, и косу дали малую, а лучшей нету. И все его щадят, ласкают, обидно быть малюткой. И правда, смозлил непривычные руки, обжёг лицо солнцем до пузырей. Но

сдаться не хочет. Были ещё деньги, сам себе выбрал новую косу у Зырянова, а тот ему:

— А напрасно это ты, Егорушка. Напрасно, милый сын. Иди своей дорогою, учись.

Но не сдавался Егор. Так заматывался за неделю, что за книжку и в праздник сесть не может. А надо же и в церковь сходить. Не для богомолья, нечего греха таить, а посмотреть людей и себя показать. И показал. Однажды слышит: отец Пётр говорит проповедь об отцах и детях. Не назвал имена, чтобы соблазна не было, но все поняли: говорит он о труде и поведении родителей примерных и о примере их детей.

— И пошла благочестивая жена в обитель Божию воздать благодарение Пречистой Деве за то, что разрешил её Господь от бремени здоровой и невредимой, и встретила на пути в обитель одного из старших сыновей...

— И что же бы вы думали? Господь ей посылает через сына Свою помощь. И раны на ногах её перевязал, и сам пошёл в обитель, там отроческими руками немощных исцелял и домой матери своей аптечку для исцеления ближних оборудовал.

Ну разве это, возлюбленные мои, не чудо Божие? Разве это не награда за благочестие и труд родительский?

Многие плакали в храме. Плакал сам Егор, не мог спрятать слёз, знал, что недостойн, а главное, боялся и стыдился: не учился больше месяца. Самая страшная книжка — алгебра. Не может он понять её без руководителя. А всё-таки ушёл опять со всем усердием в науку. Замотал отца с поездками. Повёз его отец к учителю, а тот был уже на даче. Хороший, образованный человек. Пробыл с ним две недели, ничего учитель не взял с него ни за ученье, ни за содержание. Только тем и заплатил, что от отца привёз ему полмешка муки. Николай не вмешивался, не скупился. Назначил учитель экзамены перед началом сентября, чтобы успеть подать рапорт в Омск. На все вопросы отвечал Егор плавно, легко. Но если бы его он спрашивал по медицине, забил бы он всех «кандидатов», а тот начал его спрашивать по алгебре. Не мог Егор ответить даже на три вопроса. Ничего не сказал учитель, только всё записывал. Потом сказал: напишет рапорт и ответ сам же получит.

Долго ждал ответа Егор. Не дождался. А оказалось, что учитель получил ответ, только пожалел Егора написать ему правду, всё откладывал, а началась его школа — позабыл. Не хорошо было дома. Ни кандидат, ни работник, а кушать надо из отцовского и братского котла.

Вдруг новость: последняя сестра Елены, Варенька Столярова, уже без матери, засиделась в девках, выходит замуж, да за старика. Он не очень стар, лет ему под тридцать, да борода

большая, так двумя крылами по плечам и развеивается, когда он браво мчится по селу в хорошем седле на прекрасном скакуне. Фёдор Гаврилович Аносов, лесообъездчик. Женившись, купил он лёгкую тележку, чтобы вне служебных обязанностей можно было с молодой, красивой женой вместе прокатиться к родным или знакомым. Приехали, сёстры вместе поплакали: шестую дочь, Марию, мать её, чуя приближение смерти, выдала за крещёного киргиза, своего работника. Выдала уже давно, ещё молоденькой. Та не посмела послушаться матери, теперь уже два черномазых мальчика, совсем киргизятки, подрастают.

Увидел бородатый муж тётки Егора, заинтересовался. Тот ему признался, что ждёт и не дожждётся ответа на прошение в фельдшерскую школу. Фёдор Гаврилович вскипел:

— Со мной поедешь в Шемонаиху. Посмотрим. — И, повидав учителя, узнал от него, что Егор провалился. Приехал Фёдор Гаврилович домой скучный, но тоже правды не сказал. Только наутро запряг опять своего иноходца в коляску и повёз Егора к лесничему. Не знал Егор, что Шемонаиха была уже административным центром. Да и проезжал он только через это село всего два или три раза в детстве с отцом, в деревню рудовозов да в леса и в горы. А тут была и большая четырёхклассная школа, и каменное здание лазарета, и резиденция станового пристава, и лесничество на всю Убинскую долину и её верховья, и даже камера мирового судьи, он же и судебный следователь и нотариус.

Подождал в коляске перед двухэтажным деревянным домом Егор, пока Аносов долго сам дожидался в канцелярии. Лесничий и его нарядная жена ходили в палисаднике с гостями. Как раз был у них сын Ивана Никифорыча Горкунова, лекаря, по имени Коронат Иванович, горный инженер, высокий, в мундире с блестящими пуговицами, красавец. А дети лесничего, мальчик и девочка, семи и трёх лет, играли в палисаднике. Но терпелив был Фёдор Гаврилович. Дождался, когда Горкунов нашёл свою фуражку с кокардой и вышел к своему кучеру. Ушёл лесничий в дом, а барыня его осталась с детьми в садике. Егор вышел из коляски и ждал: если взглянет в его сторону, надо стоя поклониться, сняв фуражку. Может быть, это и решило судьбу Егора. Лесничему не нужен был писец — выписывать лесорубочные билеты и объездчики приучены. Но Фёдор Гаврилович, прощаясь с лесничим, подошёл и к барыне. Что он ей сказал, Егор не слышал, но Аносов из вежливости снимал и снова надевал на себя форменную фуражку, пока та не позвала мужа и, тоже смеясь, что-то ему наказывала. Поманил Егора сам лесничий белым пальчиком. Егор подпрыгнул и построился во фронт перед невысоким

усатым господином в форменном белом кителе. Так делали перед начальством избранные арестанты в остроге в Семипалатинске.

— Ну хорошо, — коротко сказал лесничий, не Егору, а Аносову, — три рубля в месяц на всём готовом, спать будет в канцелярии. — А барыня прибавила без улыбки, глаза у неё были голубые, лицо белое, носик чуть вздёрнутый, на шее крестик:

— И будешь с детьми играть, когда не будешь занят в канцелярии.

Говорить ли обо всём, чем и как он жил ровно год? Домой почти не ездил. Авторитет его там пал. Денег едва хватало самому одеться. Но тут он стал читать. Устроился Егор — не завидно никому, а с отцовских плеч долой. Читал, выписывал билеты на порубку леса, забавлял детей лесничего. Мальчи́ка звали Нестером, а девочку Люлей. Лесничий Соколов и его жена гордились тем, что они были назначены сюда прямо Кабинетом Его Величества из Петербурга, и был он не лесничий, а один из помощников лесничего. Главный лесничий на весь Змеёвский округ был в Змеёве. Но жизнь они вели барскую. То и дело у них гости, карты, выпивка. Подписывать билеты на право лесорубки Соколов приходил, покачиваясь. Когда же узнал, что Егор может хорошо писать, он поручил ему составлять и месячные отчёты. Но тут Егору помогал другой лесообъездчик-сокол, Андрей Саватеевич Зоркальцев.

Питался Егор вместе с кучером Зиновием и его женой, кухаркой, на кухне. Барыня отвешивала каждому два фунта сахара на месяц. В еде отказу или скупости не было. Среди гостей изредка стал появляться невысокий, молодой, но уже толстенький новый мировой судья, по имени Пётр Евстафьевич Цвилинский. Имя это часто упоминалось ещё в аптеке Ансеева в Семипалатинске, потому что отец Петра Евстафьевича был председателем окружного суда. Генерал. С небольшими чёрными усиками и бородкой, мировой судья, как-то проходя мимо Егорки, вдруг с такой хорошею улыбкой скажет:

— Ау, Жоржик! — и пройдёт.

Хороший такой, приятный мировой судья, а не женатый. При нём тётка, вдвое его старше, но держит его в строгости, и квартира у них барская. Говорили на кухне, что она его и держит холостым. Но это всё равно: судью Егор заочно полюбил. А потом узналось. Ровно через год лесничий разыграл Егора в карты. Да, да. Приехал сам исправник, нравилась ему жена лесничего. Заезжал, оставался на карты и однажды точно так же, как когда-то доктор Краснопольский увёз его сам из аптеки Ансеева, исправник, просто, видимо, вперёд сговорившись

с лесничим, приказал Егору собирать свои пожитки, усадил его с собой рядом в богатый проходной, значит, собственный, тарантас и на переменных тройках — там две земские станции — увёз его в Змеёво, писцом в полицию.

Тут можно бы ещё полкнижки написать: Змеёво не настоящий город, но и не Шемонаиха. О, там много было нового, но так писать, так красиво заносить во входящие и исходящие реестры, как это делал его предшественник, чахоточный Павел Серебров, так Егор не мог, и научиться не надеялся, как ни старался. И не понадобилось. Всего через три месяца, в мороз и снежную бурю, вошёл из кабинета исправника его помощник, деликатный и приятный подполковник Кочергин, а вместе с ним... а вместе с ним — кто бы вы думали? Егор встал с места, чтобы поклониться, а тот подаёт ему руку, как равному, и говорит:

— Ну, Джорджи! Собирайся, я тебя вчера у исправника в карты выиграл.

Это была самая радостная шутка. Так оно и было: не хотел брат Егора мировой судья Цвилинский прямо от лесничего. Живут в одном селе, пойдут сплетни, дескать, сманивают «прислугу». Был в гостях у исправника и спросил: очень ли большой потерей будет, если он возьмёт Егора себе в канцелярию?

— Да никакой потери. Сделайте ваше одолжение.

И опять на тройке, в тёплом зимнем собственном возке, увёз его Цвилинский в Шемонаиху. А это уже не случай, а судьба. Это уже школа. Ещё один наставник на новом поле, теперь уже в делах закона. Не без волнения прочёл Егор на столе судьи в его судебной камере, на трёхгранном зеркале с гербом на верху этого зеркала: «Правда и милость да царствуют в судах».

С ещё большим волнением услышал Егор первые слова судебного приговора какому-то совсем не важному делу о нарушении тишины и общественного порядка: «По указу Его Императорского Величества...».

Жалованье было на первое время пятнадцать рублей в месяц, разумеется, на своём содержании. За четыре рубля в месяц Егору дали комнату и стол в хорошей крестьянской семье. Престиж его в родном селе сразу вырос, и батюшка, уже в отсутствие Егора, проповедовал, что и испытания, и неудачи посылает Бог тем, кого Он любит. И вот вам пример, в нашем же богоспасаемом селе...

Егору следующей весной исполнится семнадцать лет.

XXII

Кровь на снегу

Ещё год, опять длинный, полный приключений год из четырёх времён — зимы, весны, лета и осени, проведённый Егором у мирового судьи, был годом его роста, равным курсу хорошей школы, тренировки, полировки и испытания юной души.

Только-только у лесничего он начал чтение книг, разных, случайных. Но были приложения к журналу «Нива», который выписывала жена лесничего, и приложения классиков. А сам он выписал журнал «Родина» и не успевал прочитывать всего, что присылалось. Но думать по порядку он не мог. Недоставало постепенного, систематического школьного развития. Думал он скачками и подчас противоречиво, в зависимости от того, кто из писателей или что из прочитанного волновало или даже потрясало, а также от того, что видел, слышал и сам испытал.

Рядом с молодым, хорошо начитанным, вполне культурным и законченным юристом он должен был учиться, прежде всего — как себя вести. Мировой судья брал его с собой в длительные поездки по уезду, из конца в конец, в дожди и снежные метели, зимой и летом, и, видя, как Егор, сидя в тарантасе, несмотря на тряску по дорогам, доглатывал начатую книгу, Пётр Евстафьевич выхватывал у него эту книжку, просматривал бегло, иногда шутя прятал за свою спину:

— Глаза испортишь, читаешь во время такой тряски. Да и книжка эта — чепуха. Я тебе дам другую. — И не забудет, с тётушкой посоветуется. Та сама принесёт в канцелярию книжку, проэкзаменует. Строгая, в пенсне на шнурочке, возраста неопределённого — не то ей под сорок, не то ещё старше. В поясе затянута осой и, как оса, жужжит:

— Читай, но хорошо служи. Жалованье не за чтение получаешь. А ну-ка руки покажи... То-то, книгу не испачкай!

Егор любил судью, но боялся «тётушки». Слушался обоих, и это было ему на пользу. Судья не сделает замечанья, как надо сидеть за столом, а тётушка не церемонилась, учила, как держать нож и вилку, как есть и пить. При людях, за столом, надо и одетым быть подобающе. Судья сам чувствовал, что тётушке не нравится, когда изредка он сажал Егора с собою рядом за стол, а Егор не знал, можно ли отказываться, когда сам судья не просит, а приказывает:

— Садись, садись, сейчас ты мне будешь нужен.

И приучился, даже в доме у своих хозяев-крестьян, больше слушать, а говорить сдержанно, стоять, пока старшие не

попросят сесть. Руками всё время оправляет подол своей рубашки: под поясом, спереди, было бы гладко, а все складочки должны быть позади, так и рукам есть место и работа. А во время вопросов, на которые не сразу сообразишь, как ответить, надо помолчать, подумать. Но в канцелярии удивлял Егор делопроизводителя, придиричивого усатого малоросса Свириденко: какое дело ни потребует, Егор через минуту разыскал и подал. А дел на полках сотни, по трём отделам: подсудных мировому судье и неподсудных, значит, следственных, а есть ещё отдел нотариальный. Все дела запоминает по номерам. На фельдшерского «кандидата» по математике и по алгебре, да ещё по геометрии, не выдержал экзамена, а задачи в школе решал лучше всех. Тут же любое дело помнит, где лежит, за каким номером. Недаром по вечерам, когда камера судьи, она же и канцелярия, закрыта, он строчит повестки и, оторвавшись, увлекается делами, особенно крупными, с оранжевым листом под обложкой. Это значит — «арестантское». По этим каждую неделю представляются товарищу прокурору в Змеиногорск отрезные маленькие купоны о движении дела. Егор уже знает, что товарищ прокурора строго следит, не просидел бы в предварительном заключении подсудимый лишний день. Это хорошо, порядок. Устав Александра Второго. И знал Егор, по какой статье какое преступление наказуется. А когда переписывал начисто представление о предании суду, неразборчиво набросанное судьёй или делопроизводителем, соскакивал с места и робко показывал на одну из важных бумаг в деле или на важное свидетельское показание в предварительном дознании. Делопроизводитель, куря папироску и морща один ус, недовольно ворчал, и всё-таки включал ещё одно обстоятельство в постановление. И не из зависти, а по мотивам справедливости Свириденко распекал Егора и наваливал на него свои работы, и, когда тот с ними справлялся, он должен был признать, что через год-полтора ему придётся искать новую должность. Судья из экономии заменит его Егором. Но судья и сам работал по ночам, писал размашисто и много, а дела всё прибавлялись, разъезды по участку, пространством больше Франции, отнимали много времени, делопроизводитель нужен и дома, и в разъездах. Свириденко был женат, у него двое детей. Ясно, тридцати рублей в месяц ему мало, а судья взял ещё ученика, местного крестьянского подростка, на десять рублей в месяц. Свириденко понял, что о прибавке ему жалованья не может быть и речи, и попросил рекомендации в окружной суд. Судья не возражал, помог ему получить лучшую должность, а Егора стал ещё усиленнее готовить на должность старшего письмоводителя. Совпало это с

двумя памятным датами: Егор вступил в начало восемнадцатого года жизни, а год — в начало двадцатого века.

Но не один, а уже два было помощника у Егора. Один — подросток, а второй — бывший учитель, не писец, а мастер по чистописанию. Каждую букровку выведет на удивление, но, как взрослый человек, не мог же он «гнать» дела с мальчишеским рвением и подчиняться несовершеннолетнему. И ничего не понимал в вопросах судоговорения. И сам судья из деликатности давал ему распоряжения непосредственно самые несложные: главное — писать повестки, сотни и тысячи повесток по расписанию, за полгода вперёд, о явке в суд в разных, близких и далёких, местах горного края. Но жалованья писцу не прибавил: очень медлителен, а Егору стал платить двадцать. Зато сам сидел по вечерам в камере ещё дольше, и все важные бумаги летели с его стола Егору. Писец обиделся. Ушёл. На повестки ещё взяли подростка. Егор теперь мог уже смелее сам распоряжаться обоими, и канцелярия пришла в порядок. В разъездах по уезду во временной судебной камере, чаще всего в пятистенной земской квартире, в отдельной комнате, Егор самостоятельно записывает показания по предварительным следствиям, в то время как судья разбирает мелкие, подсудные ему дела. В Сибири мировому судье подсудны уголовные дела с приговорами до полтора лет тюрьмы, тогда как в центральной России эти дела подсудны окружному суду. А следственные дела, как кражи со взломом, грабежи и убийства, в Сибири поручались мировым судьям как «предварительные следствия». И эти дела нередко доверялись Егору для допроса сторон и свидетелей. По закону это недопустимо. Но судья закона не нарушал: после того, как показания были записаны Егором, судья вызывал всех допрошенных, прочитывал им показания, кое-что исправлял, отбирал «подписку о присяге» и сам подписывал протокол допроса.

Но вот однажды товарищ прокурора неожиданно прискакал по следам судьи Цвилинского и, что называется, «накрыл» судью на месте преступления. Судья в этот час разбирал какое-то путаное семейное дело с массой свидетелей, когда возле земской квартиры прозвучали и остановились колокольчики. Егор только что закончил допрос по делу сложному и совершенно необычному.

Товарищ прокурора вышел из повозки и, не раздеваясь, вошёл прямо в эту комнату, где на протоколе допроса чернила Егорового рукописания ещё не высохли. Егор испугался. Он понял положение и не хотел предать судью, а товарищ прокурора сел на его место и начал читать то, что было написано на нескольких страницах. Егор не растерялся, выбежал,

протолкался в судебную камеру, подошёл к Петру Евстафьевичу и доложил о приезде неожиданного ревизора. Судья, не снимая цепи, прервал заседание и с улыбкою, какую только могло выразить его лицо, вошёл в другую комнату. Егор не отставал. Товарищ прокурора, тонкий, вышколенный чиновник, встал навстречу судье, вежливо раскланялся, но руки не подал, и снова сел за чтение протокола. Судья, человек культурный, но горячий, не стерпел и немедленно ушёл в камеру заседания, взволнованный, но уже увлечённый этим чисто бытовым делом, продолжал суд. Егор, видя, как товарищ прокурора увлёкся чтением, тоже вышел вслед за судьёй. Он растерялся и боялся оставаться наедине с ревизором. Судья взглянул на него и понял: мальчик в затруднении. Он помянул его ближе к столу и шепнул:

— Иди и, если спросит, говори как есть.

Но говорить Егору не пришлось. Товарищ прокурора продолжал читать одно из показаний, самое длинное. Читал и опять перечитывал. Потом мановением двух пальцев подозвал Егора:

— Это ты записывал?

— Так точно, — по-солдатски отвечал Егор. Руки назад, одёргивают курточку.

— И сам допрашивал?

— Так точно. Но господин судья всё равно будет передопрашивать.

— И ты не врешь? — резко уставились на Егора серые глаза из-под запотевших очков.

— Никак нет, — твёрдо и с правом на такой ответ ответил Егор.

— Забавное дело! — сказал товарищ прокурора и встал с места.

Из камеры заседания в промежуточную комнату повалил народ. На улице ждала толпа, и сельский писарь, заменявший судебного пристава в деревне, вызывал по корешкам повесток людей в судебную «залу». Судья вошёл без цепи, но с папиросою в руках. Он никогда во время заседаний на народе не курил, а тут демонстративно вошёл с папиросой к ревизору. Но ревизор рассыпался в любезностях, пожал судье руку и начал так:

— Вы знаете, господин судебный следователь, когда я был мировым судьёю, я никогда не применял... — он замялся, подыскивая подходящее слово. — Не применял, так сказать, беллетристической формы. А у вас тут, я вижу, целый роман записан. Всё в диалогах. И я узнаю почерк... Вот этот юнец, да? — он указал на Егора.

Ожидая более красноречивого подхода к нарушению рутины предварительного следствия и, значит, указания на

кассационный повод, судья решил предупредить событие. Он простёр руку с папироской по направлению улицы и сказал:

— Господин прокурор! Вы только взгляните на эту толпу.

У меня ещё не менее десяти дел сегодня да завтра дел до двадцати...

Но товарищ прокурора не дал ему говорить.

— Да, да, перегрузка у всех у нас ужасная!.. Но я, конечно, верю вашему писцу, что вы потом сами передопрашиваете всех этих лиц... Я, собственно, и не по этому делу заехал. — Он снял очки, протёр их, снова надел и взглянул в лицо судьи с улыбкой доверия и даже как бы сочувствия: — Тут старшина один... Волостной старшина подал на вас жалобу. Я хотел бы, чтобы дело это не доходило до высшей инстанции. Знаете, оскорбление действием... Я не хочу от вас требовать письменного объяснения. Поэтому удовлетворюсь простым вашим словесным ответом: имело ли место это оскорбление действием волостного старшины при исполнении им служебных обязанностей?

Пётр Евстафьевич Цвилинский, сын известного крупного судебного деятеля, сам судья и блюститель закона, вспыхнул до ушей. Егор не знал, стоять ему здесь или уйти. Судья заметил его движение и сказал:

— Ты никуда не уходи. Стой тут! — Потом он бросил на пол папиросу, чего бы никогда не сделал дома, в присутствии других, смело посмотрел в глаза ревизора и сказал:

— Если вы считаете предложение мне взятки и вход в судебную камеру с заднего крыльца служебными обязанностями, то я, конечно, виноват. Но толпа, в которую я выгнал в шею этого старшину, была побольше этой. Я, конечно, виноват, погорячился и действительно толкнул его, чтобы все видели, что он меня купить не может... Мне думалось, что я защищаю честь нашей юстиции... Во всяком случае, люди во всей моей округе знают, что со взятками ко мне ни старшина, ни купец и никто другой прийти не посмеют...

— Это обстоятельство для меня ново... Но, знаете ли вы, в газете, в Томске, об этом деле целый фельетон был напечатан... Получается большая неприятность. Сам прокурор и председатель окружного суда весьма встревожены...

Судья Цвилинский учтиво поклонился и ничего не мог сказать. Наступило молчание. За дверьми раздавались голоса, кричала женщина, бубнили голоса мужиков. Судью ждал народ. Товарищ прокурора после паузы сказал, надевая одну из перчаток на руку:

— Я сделаю всё, что от меня зависит. Конечно, в интересах престижа наших судебных установлений. — И вдруг он широко улыбнулся Егору и сказал судье: — А применение диало-

гов при допросе сторон — это, признаться, мне понравилось. Я тут прочёл, и мне ясна полная картина. Тут у вас материалу на целый роман...

Он мило простился, тронул мимоходом рукой в перчатке по волосам Егора и уехал. Судья нахмуренно склонился к протоколу допроса, на котором так долго задержался товарищ прокурора, и спросил:

— Какие у тебя тут диалоги? — Егор не мог ответить. Он не знал, что это слово значит. А над протоколом теперь задержался и сам судья. И вполне понятно. Дело это оказалось исключительным, и притом — ни одного свидетеля. Только потерпевший и подсудимый. Расскажем о нём своими словами, без прикрас.

Рассылались тысячи повесток во всех направлениях уезда. Сотни разноликого народа проходили мимо судьи, и с каждым из этих лиц происходила встреча перед лицом закона. Судья всматривался в каждое лицо — глупое и хитрое, бабье, мужицкое, старое и молодое, красивое и безобразное. Не всякий судья — премудрый Соломон, но всякий должен всматриваться и угадывать, где правда, где неправда, где хитреца и запирательство, где открытая невинная простота. И эти же лица стояли каждый день перед Егором, который поневоле должен был быть взрослым и серьёзным, не уронить себя, не подвести судью, не струсить перед строгими, читающими глазами возмужалой мудрости почтенных старцев, не поддаться лукавой улыбке молодой деревенской красавицы.

Но вот перед ним только двое: потерпевший и обвиняемый, разных сословий, разных рас и разных вер, и ни одного свидетеля. А в деле два преступления, одно вытекает из другого. И вот что выяснено подробностями их допроса: случилось это зимой, в канун Рождества Христова.

В живописных и диких горах Алтая, в южных горных ущельях, разбросаны русские сёла и деревни, починки которых возникли ещё в те времена, когда Алтай был во владениях Китая и когда русские староверы, убегая из родных пределов, чтобы сохранить неповреждённым старое благочестие, тайно заселяли самые недоступные места в потаённых долинах горных рек.

В одной из таких деревень жил простой многосемейный и бедный крестьянин, труженик и безупречный семьянин. Накануне Рождества, спозаранку, запряг он свою лошадку в простые дровни и поехал в лес за дровами. День был ясный, солнечный, но снегу в горах было много, дорога узкая, непроптанная, и не близко удалось ему найти сухостойные деревья на дрова. На всё это потребовалось ровно полдня. Но вот

он нарубил дров, наложил на дровни, попутно срубил ёлочку, небольшую, но зелёную, для праздничного украшения избы, хотя никаких украшений для самой ёлочки не предвиделось. Ёлочку спрятал под сухими деревьями на случай встречи с лесным объездчиком, так как билета на рубку ёлочки не брал. Оно может статься, что лесообъездчик за ёлочку и не станет писать протокол, а всё-таки — не колоть глаза ему беззаконием. Воткнул топор остриём в верхнее бревёшко на возу и двинулся домой.

Воз был тяжёлый, дорога пошла в гору, лошадка худая, несколько раз останавливалась для передышки. Сам мужик шёл пешком возле воза.

Вдруг видит — с горы навстречу ему едет подвода. Лошадь жирная, кошева обита войлоком, дуга крашенная, сбруя на лошади украшена медным набором. Мужик сразу узнал татарина, разъезжавшего по деревням с мелочным товаром. Воз татарина был тяжело нагружен. Видно, что татарин на Рождество рассчитывал бойко торговать среди зажиточных крестьян.

Когда оба воза съехались, мужик и татарин мирно поздоровались и стали обсуждать вопрос: кто кому должен уступить дорогу. Хотя татарин ехал под гору и лошадь его была крепче, всё же он не хотел свернуть в глубокий снег, боясь, что воз его загрузнет в снегу, а товар его — не всё шурум-бурум, есть и красный товар, ситцы и всякие ткани — легко попортить в снегу. Дрова же, в случае если воз увязнет, можно сложить на снег, а потом опять наложить на дровни. Но мужик упёрся и уговаривал татарина уступить ему дорогу, и даже предложил помочь татарину вытащить его кошеву из снега на дорогу. Татарин уступил, и так они и сделали. Но лошадь татарина так увязла в глубоком снегу, что её пришлось выпрягать, а может быть, и самый товар выгружать.

И вот в то самое время, когда татарин, занятый распряжкой лошади, отвернулся от мужика, в глазах мужика сверкнул воткнутый в бревёшко его топор. С такой же быстротой, как топор блеснул в глаза, в душу его стрельнул соблазн:

«Вот этим самым топором!.. Да поскорее, пока татарин на тебя не смотрит. Повернётся к тебе лицом — ты раздумаешь и не ударишь. А татарин богатый. Твоей семье добычи от него на всю жизнь хватит.. Ну, скорее!».

И выхватил мужик топор, и только об одном испуг: не оглянулся бы татарин. И не успел оглянуться татарин, и упал под ударом топора в белый снег. В глазах мужика на момент остановилась слепота: снег уж очень ярко-белый под полуденным солнышком. Но не белизна снега остановила поднятый для второго удара топор — а мужик знал, что топор ту-

пой, а зимняя шапка на голове татарина довольно толстая и мягкая, — нет, не снег, а брызнувшая на белизну снега кровь задержала в воздухе второй удар топора.

Кровь брызнула струёй из головы татарина и окрасила белый, чистый снег, озарённый полуденным солнцем, и солнце остановилось на месте, задержалось, чтобы показать мужику то, что произошло. Он так и замер с поднятым для второго удара топором. Кровь на снегу, такая ярко-красная! Как же это? Ведь завтра Рождество Христово, а Христос тоже пролил кровь Свою. Неужто это он, мужик, так поспешил, ударил? Да, это он ударил! И выронил топор из рук и бросился к лежащему навзничь татарину и бормотал:

— Господи! Только бы не до смерти!

И, видимо, Господь услышал молитву мужика: татарин шевельнулся, застонал, но не мог подняться. Кровь ручьём лилась через прорубленную меховую шапку. И мужик стал голою рукою зажимать кровавую рану и лепетал:

— Прости ты меня Христа ради!.. Это нечистый... Нечистый меня попутал. — И стал метаться мужик, бросал и поднимал татарина, решил во что бы то ни стало спасти его от собственного преступления. Беспомощно озирался по сторонам, искал помощи и совсем по-ребячьи стал всхлипывать. А солнце на середине неба остановилось, показывало всё, что было на снегу. Недораспряжённая лошадь тяжело вздыхала, чужала, несчастная животина... Умела бы говорить, всё бы рассказала. Нет, не расскажет, но помочь она может... Поможет — сытая, сильная.

Распряг лошадь, вывел на твёрдую часть дороги, протянул к возу верёвку, вытащил татарский воз и стал в него тащить татарина, укладывал, уговаривал, как малое дитя. Закрыв, завязал как мог, его голову, бросил свой воз с дровами на дороге, подпряг свою лошадь и повёз татарина домой.

И солнце вдруг упало, вмиг упало на закат, и только поздно вечером, при темноте, привёз мужик татарина домой, сказал жене, что тот в лесу с горы свалился, изувечился. Все дети в испуге спрятались по углам, и ёлочка, срубленная для них, осталась в лесу, вместе с дровами. Занесёт её снегом. Вся ночь и самый рождественский день ушли на хлопоты возле татарина, который только на третий день пришёл в себя и был поражён, когда увидел склонившееся над ним то же мужицкое лицо, которое он увидал в лесу перед ударом. То же самое, только совсем доброе и виноватое. И тем удивительнее было слышать ласковые слова из рыжей бородёнки:

— За товар ты не сумлевайся. Всё будет сохранно. Лошадь тоже накормлена-напоена. — И стал мужик шептать над самым ухом татарина, чтобы из домашних никто не услышал:

«Господи, прости-помилуй... Это сатана меня попутал. Это он мне нашептал: ударь да ударь скорее...».

Татарин молчал. Молчал он все три дня. Лишь на четвёртый день ответил на вопрос: «Ты бы чего-нибудь поел? Дать тебе попить?». Мужик был вне себя от радости: татарин оживёт, а иначе погубил бы свою и татарскую душу, и семью бы сиротами, нищими оставил.

Целую неделю ухаживал мужик за татаринном, сам перевязывал ему рану на голове, сам кормил-поил, никого к нему не допускал. В конце второй недели снял повязку с головы татарина. Татарин мирно и беззлобно стал с ним разговаривать, как будто ничего не произошло между ними плохого. Выходил мужик татарина, стал татарин другом всей семьи. В конце третьей недели пошли они вместе запрягать татарский воз. Перед прощанием наградил татарин подарками из своих товаров всех детей и жену мужика, а самому хозяину за его спасение и уход поднёс тридцать серебряных рублей. Да, да — тридцать рублей серебром. И расстались оба верными, испытанными кровью друзьями.

Далеко спрятал мужик серебряные рублёвики и только через год стал их по нужде расходовать. А первая нужда пришла — платить подать старосте. Достал и отнёс несколько рублёвиков, получил расписку. Никто не спрашивал, откуда серебро, которого в те годы на Руси было довольно в руках народа. Никого это не удивило. Но дня через три зовут мужика к старосте. Спрашивает писарь, ловкий грамотея:

— Откуда у тебя, Федотыч, эти серебряные рубли?

Федотыч простодушно объяснил:

— Гостил у меня друг-татарин, торговый человек, заплатил за то, что я его привёз изувеченного из леса... Три недели за ним ухаживал.

Всё это правильно, и мужику поверили. Но писарь перед самым носом Федотыча взял и согнул в корытце один из рублёвиков.

— Ну и сила у тебя, Петрович! — похвалил мужик, ничего не подозревая.

— Сила? — вскрикнул писарь и так же легко согнул следующий рублёвик. — Понял? Это серебро тюрьмой, дружок, пахнет.

Не сразу понял мужик, а лишь когда писарь составил протокол и стал его допрашивать по форме: имя, фамилия, возраст, женат? — понял Федотыч, что все рубли, данные ему татаринном, оказались не из серебра, а из мягкого олова. Пришлось ему вынуть из подполья и остальные рубли. И дело пошло на дознание полиции. Татарина полиция разыскала без труда. Он не прятался, и, когда его стали допрашивать, он возмутился

тем, что мужик нарушил их договор дружбы и донёс на него как фальшивомонетчика. Он без труда доказал, что и сам не знал о том, что серебро поддельное, и не скрывал, когда и кто платил ему этими рублями. Дело о рублях пошло до расследования, а татарин рассказал всю правду, происшедшую в лесу больше года тому назад, накануне Рождества. Мужик был привлечён по обвинению в убийстве с целью грабежа. А мужик, в свою очередь, обозлился на татарина и стал запираяться:

— Я и пальцем его не тронул, он сам свалился с косогора вместе с возом. Снега были такие глубокие, я насилу его вытаскивал.

И трудно было что-либо доказать. Снега давно растаяли, кровь ушла в землю, глубокий шрам на голове зарос и не показывал следов острого орудия. Топор был туп и вместе с шапкой произвёл рваную форму раны. А свидетелей — ни одного.

Вот в этой-то стадии это дело и попало в руки Егора, юного, неопытного, робкого письмоводителя мирового судьи.

Первый появился для допроса потерпевший, татарин. Просто и чисто одетый во всё тёплое, в высоких валенках, в нескольких тонких халатах один на другом; он наголо брил голову, усы торчали вокруг губ, а бороду совсем не брил. Но голова была покрыта вышитой под золото тюбетейкой, которую он снял лишь для того, чтобы показать шрам на голове, вокруг которого волосы хорошо не выбривались. Ему было лет за сорок, женат, трое детей, дочка замужем. Держался татарин с достоинством, говорил по-русски правильно, с акцентом, и на вопросы отвечал коротко, убедительно. По всему было видно, что ничего не прибавляет, но подробности рассказывает только после повторных вопросов.

Вначале видно было, что татарин не доверял самой постановке вопросов. Слишком молод был спрашивавший. Потом, когда Егор стал добиваться подробностей, татарин точно рассказал о встрече.

— Я ему говорю: друг, ты вороти с дороги. Моя кошева — тяжёлый воз. Он говорит: нет, ты вороти с дороги — моя лошадь плохая, завязнет, не вывезет.

— А был у него топор в руках? — спрашивает Егор.

— Топора в руках я не видел. Тогда, может быть, я сам что-нибудь подумал бы нехорошее.

— Но вы видели, как он вас ударил? Хотели вы защищаться?

— Да нет, я распрягал свою лошадь, она совсем завязла. Я не смотрел. — Всё было так рассказано, что нельзя было татарину не верить. Егор отпустил татарина, сам вышел в сени, вызвал мужика.

Это был плохо одетый мужичонко, в зипунишке и старых валенках, волосы на голове и борода — как клоч соломы на вилах. Глаза свирепо смотрят на Егора, и при первых же вопросах об имени, возрасте и какой веры он начал мять в руках свою шапку и не сказал, а выкрикнул:

— Сказал, что пальцем я его не трогал!.. Он сам свалился с косогора. Повредился. А мне поддельными деньгами заплатил за добро...

— Ты садись на стул. Садись, не стой, — успокаивал его Егор. — Садись, — повторил он. Но мужик не садился. Всё это дело казалось ему несерьёзным, коль скоро допрашивает его такой юнец.

— «Садись, садись!» — передразнил он. — Сидеть мне некогда, у меня пятеро детей, баба нездорова. Я один работник.

— Желаете, я попрошу самого судью тебя допрашивать, но он сейчас дела разбирает, освободится только вечером. Хочешь подождать?

— Ну нет. Тогда уж ты спрашивай. Но только говорить мне нечего. Я всё сказал.

— А ты всё-таки садись! — Егор даже привстал, подвинул ему табуретку.

Было в этом мужике что-то схожее с отцом Егора, когда отец, бывало, с мякиной в голове, растрёпанный на ветру, придёт сердитый в избу и ругается. И не то отца, не то этого мужика стало ему жалко. Должно быть, эта жалость почуялась и мужиком: он покорился, сел, и сейчас же опустил глаза.

У Егора уже не было сомнения, что татарин рассказал всю правду, а мужик определённо запирается. Тогда он наклонился к мужику и тихим голосом спросил:

— Хочешь, я позову татарина? Быть может, вы помиритесь?

Мужик вскочил с места.

— Чего мне с ним мириться? Он меня избил, перед людьми на всю жисть позорит. Вон старосте и до сегодня подать не заплачена. По судам меня таскает.

Егор снова встал с места, обошёл свой стол и приблизился к мужику вплотную. В правой руке его было перо. Он переложил его в левую руку, а правую поднял в направлении висевшей в углу избы иконы и сказал:

— А ну-ка, посмотри туда. Перекрестись!

Мужик только взглянул, но тотчас же увернулся и не только не перекрестился, а ещё злобнее закричал на молодого своего мучителя:

— Да что ты за наставник выискался? Душу мою выматывать?

Егор поднял голос:

— Потому что татарин, некрещёный человек, говорит правду, а ты — крещёный, а не признаёшься! Слушай! — уже приказывал Егор. — Хуже тебе будет, если не признаёшься. Ты говоришь, у тебя пять человек детей и жена больная. О них подумай. Ежели не признаёшься, тебе суд может дать каторгу на десять, а то и на пятнадцать лет...

— Да я ж ему что? — заколебался мужик. — Вреда ему большого нет. Как бык, здоров. — И сел, опустил голову. Шапка в руках его тряслась.

— А ежели сознаешься, всё по правде, как перед Богом, расскажешь, тебе, может, пяти лет не дадут — тюрьмы, а не каторги. И тогда ты опять вернёшься домой.

Мужик встал на ноги, потом опять сел. Короткий взгляд его на Егора был не то молящий, не то угрожающий. Но он опять опустил глаза на свою шапку, вяло опустил на табуретку, ткнул шапкой в сторону лежавшего на столе листа бумаги, и не сказал, а захлебнулся только одним словом:

— Пиши... — И упал лохматой головой на стол, весь затрясся в глухих мужицких покаянных рыданиях.

Егор не сел за стол, не стал писать. Он подошёл к мужику с другой стороны, потрогал его трясущуюся от всхлипываний голову и сказал:

— Мой отец такой же бедный человек, как ты, и нас вырастил шестерых. Ты не думай, что я тебе желаю зла... Я добра тебе желаю!

Мужик собрался с силами и встал на ноги совсем другим человеком. Но слёзы теперь текли из его глаз не переставая, он даже их не смахивал, они так и катились в его рыжеватую растрёпанную бороду.

— Пиши, — повторил он совсем покорно и тихо. — Мой грех ко мне пришёл... Всё расскажу как было...

И он рассказал, а когда рассказывал, Егор не поспевал записывать. Записывал о жизни мужика, о праведных и покойных его родителях, о бабе, и как он брал её из хорошего дома, и как родился мальчик-первенец, и как последняя девчонка умирала от простуды... Это был рассказ почти что о жизни и судьбе самого Егорова отца. И рассказал Федотыч о татарине. Хороший это, редкой доброты человек. Надавал он им не только эти злополучные фальшивые рубли, а надавал всего понемногу из своих товаров. Но чёрт его попутал с этими рублями... Кто-то надавал ему эти мошенские рубли... Себя и мужика под суд подвёл...

К концу рассказа оба они устали, успокоились, мирно кончили. Ушёл мужик, а в это время вошёл в избу товарищ прокурора... Вот почему и засиделся ревизор за чтением протокола.

Вот почему теперь сидит и читает его сам судья и не может оторваться. Большая драма жизни записана торопливым почерком Егора на десяти страницах. И будет вызван мужик, будет всё это ему прочитано, и повторит он то же:

— Так! Так, ваша честь. Всё правильно. Мой грех ко мне пришёл.

И не заключил судебный следователь подсудимого в тюрьму до разбора окружным судом этого дела, а вызвал старосту и сотского и отдал им на поруки Федотыча. И так и было сказано в постановлении о предании суду: «По обстоятельствам дела и ввиду чистосердечного признания подсудимого».

Через полгода получил Федотыч ровно пять лет тюрьмы.

А татарин остался его верным другом. Он позаботился, чтобы семья мужика никаких бедствий не терпела. И так и было. Дело это — где-то в архивах окружного суда, может всё подробно подтвердить.

XXIII Первая любовь

Затянулась наша повесть. Такая длинная история о таком маленьком человеке. Пора её кончать. А для заключительной главы всё же кратко пересмотрим прошлое Егорки, которому, быть может, суждена долгая и полная ещё более пёстрых приключений жизнь. Без преувеличений и без ненужных унижающих человека преуменьшений примем эту жизнь так, как она здесь рассказана, — как жизнь одного из сынов простого и всё-таки великого народа. Ведь о народе и был наш главный сказ.

Мы видели, как ещё на руках матери впервые увидел Егорка небо — не в звёздах, нет, а в весенней луже. И как он его увидел? Увидел таким, каким должно быть или оказалось Царствие Божие на земле, ни больше, ни меньше. И его первую любовью была мать с её твердынею любви к ребёнку.

Мы видели, как он увидел и всем своим малолетним существом приник к земле, босыми ногами прошёл по родной пашне, и как, ещё бессознательно, взял от неё плодородную любовь и мудрость простоты.

Мы не можем отрицать, что из нищеты своего детства он выносит силу терпения, богатство впечатлений и познание души народной. И первая его любовь, любовь к матери, опло-

дотворяется любовью к Богу; любовь простая, без сомнений и мучительства вопросом: «быть или не быть?». Душа его, несмотря на юность, раскрылась как простой полевой цветок, лишённый поливки и ухода садовода; раскрылась для утренней росы, и для дождя, и для губительного зноя, и всё-таки в грозе и буре природной стихии цветок этот выжил, удержался корешком за землю, хотя и растерял лепестки, развеял ветер невидимые семена.

Мы видели Егорку ещё до того, как его стали звать Егором, в его вольной и невольной, но неустанной борьбе с препятствиями на пути и лицом к лицу со смертью. И всё это он перенёс без ропота, но с благодарностью судьбе и Богу, потому что сама жизнь оказалась его практической школой. Но он не возненавидел и оранжерейно вскормленных и заботливо, по системам, выученных современников. Но возлюбил их без зависти. Причудливыми, ничуть не для него одного приуроченными путями он пробивался через тёмные бездорожья жизни, через толпы себе подобных простых и невежественных людей, и даже не знал, куда и для чего ведёт его стихия жизни. В пространстве и во времени он был потерян, как былинка среди бесконечных трав и бурьяна в его родных горах и степях, или, как сухое, вырванное из земли перекаטיפоле, силой ветра он был гоним под серым осенним небом, пока случайный кустик зацепит его и задержит до первого снегопада. Но придёт весна, придавленное к земле перекаטיפоле прорастёт зелёною травой, само востановится каким-то стебельком, возникнет тонкой былинкой, поклонится соседним цветочкам. Своя жизнь и не своя — общая со всеми растущими вокруг и около.

Несмотря на свою всегдашнюю подтянутость, всё же вырастал — неловкий, неуклюжий в робости, стыдливый, долгие годы чужой среди чужих, наивный среди циников, невежда среди знающих все искушенья. И всё больше и всё чаще удивлялся обнажённости просвещённого бесстыдства. Сам стыдился своей стыдливости и не умел ценить своей простой крестьянской чистоты.

Вот исполнилось ему восемнадцать лет... Идёт девятнадцатый. Как-то сами собой развернулись плечи, все рубахи вдруг стали узки и в рукавах, и в воротах. Как ни стрижёт волосы, они всё равно овсяною «брунью» вьются, и сквозь серебристый пушок на щеках пробивается нежная розовая кровь румянцем. И избрал себе забаву: из песни научился желанию оседлать коня быстрого и помчаться, полететь в дальнюю сторону... Ну, дальность не такая дальняя, а только бы покрасоваться, соколом мимо купеческого либо мимо поповского дома пронестись... И даже не знал, что люди потешаются над

ним за глупые его наряды: то рубаху шёлковую цвета неба, то широкие лиловые штаны из бархата, то какой-нибудь особенный азам из верблюжьей шерсти. Думает, что всё это кого-то помрачает, а оно наоборот: и Маничка поповская смеётся-заливается, и та, за сорок вёрст, в большом селе, купеческая Аннушка, рассказывает где придётся о забавном молодом цыгане...

— Кто такой? — спрашивают у неё.

— Да, кажется, писцом у мирового судьи служит...

А мировой судья смешного парня всё ещё обтёсывал. Учил, как надо одеваться, как дамам кланяться. То к батюшке проездом завезёт его, то к учительницам, медвежонком позабавиться. Краснеет парень, а это всех смешит. Заехали к отцу Петру, на Маничку взглянуть. Но парень женихом себя ещё не чувствует. Нет у него храбрости в глаза весёлой Манички смотреть: ведь она та самая, из-за которой он когда-то в грехе перед отцом Петром каялся. А Маничка чудесная: вся тоже рдеет, голосок — как колокольчик под дугой в лунную снежную ночь, улыбка — чистое, святое целомудрие. Но глупостью какой-то пристыдил себя: не то хотел сказать нечто учёное, не то какую-то обмолвку допустил, так что вышло грубо — так себя пристыдил в глазах всего застолья, что больше и сам не захотел глаза показывать...

Но вот на Пасху выщелкнулся в чёрный сюртук... Именно в сюртук — с белой манишкой и с широким чёрным галстуком, а сюртук новёхонький и длинный, и на этот раз не в седле, конечно, а на паре выездных судейских лошадей — коренник-то был даже иноходцем — разлетелся в то село, которое за сорок вёрст, к заутрене... А Аннушка-то в церкви и не появлялась. Староверкой она оказалась.

И вот... И вот... Неописуемо было отчаянье молодого искателя... Чего он ищет? Почему-то куда-то рвётся ретивое, и нет душе ни сна, ни покоя?.. А Аннушка всё больше и невидимо волнует. Как и у Манички, он не видал ещё и глаз её. Только видал краем глаз своих, когда проносился на коне мимо дома, что вышла из ворот и пошла к лавке со связкою ключей, стройная и юная, и с длинной чёрной косой... С тех пор вот и задумался детина. И чем больше желал повстречать и познакомиться, тем сильнее брала робость...

Но как-то, видимо, сама судьба устроила совершенно невозможное событие. В купеческом доме, во второй половине, почему-то было суждено судье и, значит, его письмоводителю остановиться как бы на квартире. Суд в этом селе длился целую неделю. И сам судья, как сердцеведец, взял и ввёл юнца в купеческую семью. Ввёл, познакомил, поболтал, и ушёл к себе заниматься делами.

Но разве можно описать волнение восемнадцатилетнего ребёнка, который просто обалдел от Аннушкиной красоты?

Да разве смел он когда-нибудь мечтать, чтобы вот такая могла за него выйти замуж?.. Полюбить?.. Нет, он хотел лишь одного: чтобы она не смотрела на него, когда он на неё смотрит... А он смотрел, смотрел без всякой совести, забывши обо всех...

Он знал, как записывать показания свидетелей и потерпевших по самым серьёзным уголовным делам. Судья поручал ему важные бумаги составлять. Но вот описать Аннушкину косу, одну только косу — как она падает за спину, то сползает на одно плечо, то перекидывается на грудь, когда Аннушка наклоняется поднять упавший платок, — описать это не хватит ни сил, ни умения, ни смелости... Потом целое огромное показанье можно написать об Аннушкином голосе, который исходит из её губ, чуточку припухлых, чуточку смеющихся, немножко бледных, но тонких, таких святых, таких чистых, что оттого и голос такой баюкающий: вот так взял бы упал к её ногам и слушал бы, и так уснул бы до смерти. Голос этот как-то переливается от песни в плясовую: то запоёт, как свирель, то застучит под самым сердцем таким мягким, быстрым, шутивным — «трепака»... Нет, описать тут вообще ничего нельзя, потому что человек, привыкший хорошо писать протоколы и постановления о заключении подсудимых под стражу, согласитесь, не может же причинять неприятности девушке, которая буквально отняла всякое желание не только писать, но и говорить... Даже дышать при ней нужно украдкой, чтобы и самому не слышать своего дыхания. И всё это случилось в одночасье, пока он сидел за столом и делал вид, что кушает. Какое уж там кушать? Разве можно при ней чавкать ртом?

Боже, как он потерял свой стыд в те дни! Все способы находил убежать из временной судейской канцелярии... Вдруг, ни с того ни с сего, появится в купеческой квартире... Знал, что может всё сам испортить, всё сломать в себе самом, но справиться не мог. И, главное, говорить не мог. Язык костенел, а если произносил два-три слова, то непременно самых глупых...

Аннушка смеётся с придыханием и ничуть не стесняется. Не говорит, а поёт.

Но повезло ему чертовски наконец. Судья приехал с ним в одном тарантасе. А тут перед отъездом подъехал становой пристав. Им подали первую тройку, а письмоводителю с делами подали пару отдельно, и пара эта, на счастье, запоздала.

Судья с приставом уехали, а он остался, и опять, теперь уже с целью попроситься, вошёл в купеческую квартиру. Все бы-

ли на кухне, ужинали. Аннушка им подавала, а потом сказала матери:

— Мама, ты кисель сама разлей, — и повела непрошеного гостя в горницу. Там было темно. Она зажгла лампу, и слышно было, как в темноте коса её скользнула по стеклянному абажуру, и видно, как потом, при огне, сверкнули белизною ровные, мелкие Аннушкины зубы... Она повернулась к нему, шагнула ближе, и голос её как-то хрустнул внутренним подавленным смешком:

— Ну чего тебе от меня надо? — Вдруг такой простою, такой доверчивою шуткой прозвучали эти слова. Это было так неожиданно, и так просто, и так по-родному, что он окончательно потерялся и не знал, что ей сказать. Должно быть, он был очень жалок, очень юн, очень глуп, и всё-таки так бесконечно мил для неё сразу, что она взяла за отворот его верблюжьего, какого-то необычайного азяма и, тряхнув, приблизила его лицо к своим глазам...

И вот... Этого невозможно рассказать словами...

Он в самом деле перестал дышать, так как взгляд её, глаза её и близость смеющегося лица настолько ошеломили его, что он похолодел и побледнел... Должно быть, это так было ей дорого и так понятно, что голос её вдруг задрожал, и в нём, ещё через улыбку, ещё через шутку, звучали уже слёзы...

— Ну что ты?.. Что ты?.. Испугался?..

Потом она вдруг замолчала и долгим, долгим взглядом рассматривала это нежное и чистое, в пушку, лицо со вздёрнутым носом, с белокурыми кудерьками на висках...

Потом она прочла какие-то стихи, немного, может быть, лишь восьмистишьё, которого он не запомнил, так как всё, что с ним происходило, было выше всякой поэзии, глубже всех трагедий.

Раньше, когда он не смел мечтать о поцелуе, он всё же втайне помышлял о нём как о предельном счастье, а теперь ему и в голову не приходило, чтобы взять её за плечи, привлечь и спрятать своё лицо хотя бы в растрепавшейся косе. Нет, он как-то сразу был поднят на самую вершину обожания и сразу вырос, и сразу затих, и сразу понял нечто более трагическое, нежели страх когда-либо потерять это счастье. Он просто сразу, тут же, без раздумий, в одну минуту убедил себя, что он никогда не должен прикасаться к ней, потому что он её не стоит...

Но зато сама Аннушка — не здесь, не в комнате, а около повозки, когда она проводила его к позванивавшей колокольчиками паре лошадей — опять так же за отвороты взяла, притянула его лицо к своему и, не боясь, что кто-либо увидит, медленно и несмело, как бы ожидая его поцелуя, прикоснулась к его губам, а потом толкнула его от себя и сказала:

— Ты глупый мой мальчик! — И ждала, когда повозка тронется... Даже привстала на приступку и со смехом заглянула ещё раз в лицо его, когда он уже сел в повозку. Как девочка, которую кто-то обидел, он старался спрятать слёзы, которые вдруг покатались, покатались... Она это увидела, перегнулась внутрь повозки и губами припала к его влажным глазам и повторяла дрогнувшим, таким глубоким, задохнувшимся голосом:

— Милый мой!.. Милый!.. — И слёзы их смешались вместе.

Была осень... Была ночь, дождливая и тёмная... Колокольцы звенели острою тоской в душе вдруг возмужалого девятнадцатилетнего парня. Он отъезжал от Аннушки три месяца спустя, в третий и в последний раз. На этот раз она так же выходила провожать его и так же целовала, но он знал, что это был последний раз... Она выходила замуж за серьёзного, за взрослого... За настоящего мужчину... За станowego пристава... Теперь он увозил от неё запах её платья, запах волос её, ибо на этот раз она целовала его долго, в комнате, и он упивался её поцелуями, упивался глубиной и чернотой её глаз, а сам всё-таки целовать не смел...

В душе своей он увозил под звон колокольцев ещё грохотавшую первую весеннюю грозу, и было грустно, грустно, что Аннушка навсегда, на всю жизнь, покрыла поцелуями его залитое слезами лицо...

Прошли года... Нет, не года, а целые тысячелетия... Глаза его увидели весь мир... Весь мир в грозе и буре, в огне великих войн и в кровавом море революций... И смерть не раз грозила погасить его глаза... Он вырос, он многое познал, он многое и многих возлюбил и испытал хмель непрочной славы. И если скоро Высший Судия предъявит к нему обвинение во многих согрешениях и, испытывая его, скажет: «Не было у тебя ничего святого на земле!» — он заспорит с Богом. Он скажет смело:

— Нет, я возлюбил Тебя, Господи, свою первую любовью!

И первую любовь свою не оскорбил даже помышлением!..

И ещё скажет он Судие своему:

— Возьми, Господи, мой разум, мою память, мой слух и все иные Твои блага, но оставь мне по ту сторону жизни глаза мои — дивный и извечный дар Твой. Ибо глазами возлюбил я и благословил всю мудрость творения Твоего... Глазами я увидел небо на земле.

Послесловие

Под именем Егорки здесь описаны, по силе разуменья, детство, отрочество и начало юности пишущего эти строки уже пожилого автора этой книги, который, конечно, не мог не упустить множества подробностей и даже, в ущерб себе, некоторыми подробностями загроздил текст книги. Но всё же есть ещё отблески прошлого, не отражённые в воображаемом фильме этого повествования. Необходимо ещё раз бросить взгляд из настоящего, чтобы дополнить ими заключительные главы, уже как причины некоторых последствий прошлого.

У всех нас было детство, у кого сладкое, у кого горькое, но всяк по-своему вспоминает его для своих ли или для чужих детей, особенно под старость. Особенно в зимние сумерки перед камином, если есть этот камин и если есть кому слушать.

Перед моим лесным домиком в Чураевке уже много лет стояла на поляне старая яблоня. Она была коряжиста, скривлена на сторону, и многие её ветви высохли. Яблоки на ней не очень ровные, с пятнами, потому что яблоню давно не чистили, не обмазывали известью, не ухаживали за нею, потому что дальше было много молодых яблонь... Но эти молодые все пошли от старой яблони: либо от семян её, либо от ушедших под землю корней. И старая яблоня сама свалилась и удобрила собою землю.

Такова и простая мудрость жизни: всё либо от корней, либо от семени того же старого древа жизни. Всё ново потому, что живо соками старого, прошлого, давно забытого...

Вот так случилось и со мной. Открыл кладовую своих воспоминаний, и там, из убожества моей среды, нашёл непочатый склад материала. Может быть, и вся наша жизнь питается этими неисчерпаемыми запасами детских впечатлений? Там корень всех утверждений.

Мой дедушка Лука Спиридонович умер в 1911 году, когда я был уже литератором. В 1910 году летом, когда я путешествовал по горам и изучал сектантство и мараловодство, я с ним виделся в живописнейшем из сёл Алтая, в вершинах рек Убы и Ульбы, — в селе Риддерском. Ещё бодрый и румяный, низенький, коренастый, он имел там свой домик и, живя на пенсию, кажется, в девять рублей в месяц от Горнозаводского управления Кабинета Его Величества, кроме того, занимался писарством. Ему было тогда девяносто шесть лет, но он отлично видел, слышал, быстро ходил, никогда не болел, изредка любил немножко выпить и при этом любил выкрикивать: «Каналья возьми! Народы!». Этой кличкой его дразнили все, кто знал его, но все его уважали за великий опыт жизни и за незлобивый, простой, но положительный харак-

тер. Лука Спиридонович пользовался большим почётом и среди начальствующих лиц, так как пенсию выслужил тем, что пятьдесят лет беспорочно служил в разных должностях в рудниках Сузунском, Сугатовском, Змеиногорском, Николаевском, на Чудаке и прочих, и всё в должностях по конторской части.

Когда он услышал, что я стал писать в газетах, он и умилился, и опечалился. Газет он никогда не читал, и вообще всё новое считал непрочным. Однако моему приезду очень обрадовался и, заглядывая на меня снизу вверх, плакал от изумления перед внуком больше его ростом.

Впрочем, погостил я у деда недолго, и поговорили мы немного. В летний июньский полдень, яркий и зелёный, когда я должен был уехать из села Риддерского в глубь гор, бабушка Соломонида Игнатьевна снаряжала дедушку на чью-то пасеку. Он только что потерял службу сельского писаря в деревне Бутачихе и нанялся сторожем к богатому крестьянину. И вот, оказывается, третий день хозяин не может его выпроводить из дома в лес на пасеку, где начали роиться пчёлы и настала самая горячая пора работы. Дедушка снарядится, выедет, а по дороге раздумает, вернётся, выпьет и уснёт. Так было и при мне. В четвёртый раз бабушка уговорила его ехать, привязала позади зипун, подушку, мешок с запасной рубашкой, спички, чай и сахар. Дед надел красную рубашку, трогательно распрощался со мною, сел в седло и, согнувшись, скрылся за околицей. Только, смотрим, часа через два едет обратно. Бабушка так и завопила:

— Да ты, старик, рехнулся, что ли?.. Как же ты в глаза хозяину-то глядеть будешь?

— Прочь, каналья возьми! Народы! — закричал Лука Спиридоныч и потребовал обедать. За обедом выпил, закусил, прилёг отдохнуть и крепко заснул. Мне вскоре надо было уезжать. Я не мог разбудить деда, поцеловал его в лысину — и больше никогда его не видел.

Ровно через год, также в красивый летний денёк, получив пенсию, дедушка ходил на базар, купил мяса и, приказавши бабушке печь мясные пирожки (он называл их «проженики»), лёг уснуть. Когда румяные пирожки были на столе вместе с уютно кипящим самоваром, бабушка пошла будить дедушку, а он, оказывается, уснул навсегда. Так и умер, никогда не хворавши, девяноста шести лет от роду.

Соломонида Игнатьевна умерла годом позже деда.

Когда в июле 1920 года умерла моя мать, отец не мог перенести этой потери и, как дед, никогда серьёзно не болевший, зачах, затосковал, свалился, и через три месяца ушёл вослед за своей испытанной и верной подругою.

Оба они умерли без меня в тяжёлый для всех русских людей период, когда только что началось великое рассеяние. Писали мне, что мать умерла на посту своей постоянной добродетели. Она всегда всем помогала чем могла. А последние годы ездила лечить и повивать по множеству окрестных сёл и деревень. Слава о её лечении была так велика, что и врачи с нею дружили. И вот, видимо, простудившись или заразившись от больных, она заболела и внезапно умерла в тридцати верстах от дома, в деревне Большая Речка. Умерла она семидесяти лет, а отец на семьдесят шестом году.

Моя встреча с ним осенью 1916 года была последней. Я был в краткосрочном отпуску из своей части, стоявшей на Карпатах, и пока доехал до Сибири, срок отпуска подходил к концу, но в родное село я всё-таки заехал повидать своих стариков. Оба они заметно подались, усохли, поседели, но всё ещё работали, и мать обильно угощала меня горячими пирожками. Новый дом у них сгорел ещё в 1904 году, сын-большак был в отделе, а мы, трое младших братьев, все были на войне, и старики жили в своём отдельном домике одни, рядом с зятем, тоже взятым на войну.

Я прекрасно помню эти последние минуты перед расставанием. Мне было как-то весело ехать в свою часть, к своим солдатам, к лошадям, в огромную многомиллионную семью-армию, но я чувствовал, что матушка моя всё что-то хочет мне сказать большое и важное, но не может или не находит времени. Она то и знай хлопочет с подорожниками, целое утро возилась: жарила мне на дорогу шаньги, сдобные булочки, петушков. Как-то незаметно наступил час отъезда, я пошёл в низенькую мазанку, служившую отдельной кухней на дворе, — так мне захотелось что-то сказать ласковое матери, а главное — побыть с ней наедине. Но ничего сказать не могли мы друг другу. Наконец зазвенели колокольчики: ямщик мне подал лошадей. Я заспешил, надел фуражку и шинель, уложил в тележку вещи и подошёл к матери, чтобы попросить у неё благословения. Вижу: руки у неё затряслись и всё лицо перекосилось от какого-то застывшего в нём, не выраженного словами желания или несказанного слова. Перекрестив меня, она вдруг бросилась ко мне на грудь, и впервые в жизни я почувствовал её, такую маленькую, сухонькую, затрепетавшую в отчаянных рыданиях последнего прощания с самым ласковым из четырёх сыновей. Это был именно какой-то краткий и покорный вопль сознания, что она впоследствии со мною видится.

Попрощавшись затем с отцом, я сел в тележку, и вдруг увидел, что он вывел из двора старую кобылу с жеребёнком, по имени Зойку, сел на неё без седла и поскакал рядом со мною. Смотрю: выехали из села, поднялись на Крещенскую Гор-

ку — он всё скачет рядом. Начались поля, показались с детства знакомые лиловые горы за рекой Убой, а отец всё скачет, скачет, разговаривая со мной... Точно не мог расстаться, чуял, что тоже впоследствии со мной расстанется — версты три уехал от села, и только тут остановились, распрощались и... расстались навсегда...

И вот эти три образа: дедушки, отца и страдальницы-матери встают в моих воспоминаниях как примеры труда, терпения и утверждения жизни и как самые прекрасные образы той многострадальной и суровой жизни, после преодоления которой я не имею права хныкать и смотреть на Божий свет печальными глазами. Но об одном я вечно буду сожалеть — это о том, что мне не удалось побольше уделить внимания старым людям.

Как же это мог я не вспомнить о нашей сельской учительнице, Ольге Афиногеновне?

Тогда не было странным её имя. И фамилия её не казалась странной, как далёкое эхо: Ольга Афиногеновна Чуманова.

Да, после матери она первая дала мне свет разума, а крепость духа — наш сельский батюшка, отец Пётр Викторович Серебренников, прообраз Фирса Чураева. Об этих двух можно бы написать большие книги, а я не удосужился. Впрочем, об отце Петре написал рассказ «Отец Порфирий», вошедший в первый том книги «В просторах Сибири». Отец Пётр читал его ещё в Барнауле, смеялся и плакал. А потом сказал:

— Вот когда тебе будет лет сорок, только тогда ты поймёшь жизнь и зачнёшь писать, как надобно...

Был тогда уже отец Пётр старенький, в отставке, но служил во вновь открытом женском монастыре близ Барнаула.

А Ольгу Афиногеновну видел в последний раз в Семипалатинске, года за два до Первой мировой войны. И странно было слышать, когда она впервые назвала меня на «вы», по имени и отчеству.

Я не скажу, чтобы учительница наша была к нам ласкова. Она была даже скорее строга и, помню, однажды выдрала меня за ухо. Я отличался невероятной смешливостью. Всякий пустяк вызывал во мне приступ смеха. И чем больше я крепился, тем сильнее был взрыв смеха. Вот за это однажды подошла, взяла двумя пальцами за левое ухо и слегка потерела. Не очень было больно, так как пальцы, помню, были очень нежные и мягкие, но оба уха горели потом целый день. Стыдно было...

И мы, школьники, очень любили Ольгу Афиногеновну. Так любили, что, бывало, не дождемся осени, когда она вернётся из городка Старого Колывана, на реке Алее. И до чего точно помню я каждый её жест, голос, причёску, большие, глубокие тёмные глаза и шаль на плечах. Она носила постоянно шаль, чтобы

в концах её прятать свою сведённую в кисти левую руку. В гимназические годы порезала руку в сгибе кисти, и пальцы у неё свело. Когда она чинила для нас карандаши, она с трудом скрывала эту руку, и, может быть, за это мы ещё больше её любили.

Вот и сейчас вижу всю нашу школьную обстановку: большой класс в казённом доме; когда класс пуст — голос в нём троится эхом, но когда заполнен школьниками, голос Ольги Афиногеновны звучит для нас как колыбельная песня матери. Вот я вижу у доски Ольгу Афиногеновну с мелом в руках; вижу, как её белые пальчики становятся ещё белее от мела. Шаль сползает с плеча, левая рука её старается поправить, но на доске появляются идеальной красоты прописные буквы. Никогда никто из нас не мог достигнуть этого каллиграфического совершенства, и за это все мы ещё больше преклонялись перед нею.

Иногда между чёрных, густых и дугообразных её бровей появлялась складочка: это она молча сердилась на кого-либо из нас за шалость или за тупость; но вот складка разгладилась, и на прекрасном лице её улыбка, а в голосе еле сдерживаемый смех над кем-либо из нас. И так, и этак она красавица для нас. Или вдруг засмотрится в большое окно на пустынные улицы села, а через них в далёкие, засыпанные снегом поля и горы, и голос её станет тоже далёким, непонятным и грустно-одиноким.

На всё село она была одна вот такая особенная, одинокая в самой себе, чужая и малодоступная всем на селе, но близкая каждому из нас. Может быть, самая красивая и самая святая во всём мире для меня. Благодаря сведённой руке, она носила пальто-доломан, без рукавов, с внутренними для рук кармашками, и белую шапочку пирожком. Она была высокая, тонкая, белолицая, и, если сравнить её с обычными учительницами всех времён и всех народов, она осталась в моей памяти прекрасней всех.

Когда мы впервые её увидели в школе, ей было девятнадцать лет, и мы были её первыми учениками. Когда я ушёл из школы, ей было двадцать три года. Но всегда, когда я городским, прилично одетым подростком появлялся в селе, я считал своим долгом навестить сначала батюшку, отца Петра, а потом Ольгу Афиногеновну. Она была всё та же, только относилась ко мне мягче, угощала чаем и вела беседы как со взрослым, хотя и называла на ты и по фамилии. Когда же я навестил её перед войной в Семипалатинске, она заметно поседела, но всё ещё учительствовала.

Я знаю, что она никогда не вышла замуж, может быть, из-за руки, а может быть, потому, что отдала себя школе, как монастырю. И часто, когда я вспоминаю детство, я живо представляю Ольгу Афиногеновну как нечто самое светлое в моей

детской жизни, мне становится тепло, и почему-то подступают к горлу слёзы... Ольга Афиногеновна, далёкая, незабываемая! Луч света в тёмной нашей жизни, где вы, живы ли и знаете ли, что один из ваших учеников всегда с благодарностью носит ваш образ в своём сердце?

И вот что я хотел ещё здесь вспомнить.

Все мы, дети, ждали какого ни на есть Рождества. Какие уж там подарки на селе? Никто о них не думал, кроме нескольких счастливиц, у которых родители побогаче. Наш праздник хорош уж тем, что кончится полуголодный Филипповский пост. Но вот мы видим: перед самым Рождеством наша учительница входит в класс в особенно хорошем настроении. Таинственно улыбается, отменяет некоторые уроки, выбирает несколько старших учеников и уводит их из класса в соседнюю, холодную комнату. Школа помещалась в большом казённом здании, некогда служившем резиденцией горного начальника над нашими рудниками, которые давно закрыты. И вот входят наши делегаты с большими узлами...

— Тише, тише! Все сидите на местах.

Развёртываются узлы, а в них... Боже! Суконные ученические куртки, такие же брюки, холщовые рубашки, нижнее бельё... Каждому по паре того и другого... Правда, всё старое, местами рваное, но всё чистое, добротное. И всё можно починить.

Оказывается, Ольга Афиногеновна всю осень хлопотала перед каким-то начальством, чтобы из Барнаульского горного (реального?) училища прислали нам всю эту старую казённую одежду... Многие куртки были нам не по росту, но наши матери всё это быстро укоротили, и в ночь под Рождество все мы превратились почти что в настоящих реалистов. Сколько было радости, шума, хвастовства друг перед другом! И сколько после этого всякой не одетой голытьбы бросилось учиться в нашу школу, потому что тут дают готовую одежду. И приняла, и одела ещё многих Ольга Афиногеновна. И учились, и росли мы в этих ученических суконных формах, даже пуговицы начищали, чтобы походить на реалистов...

Пишу теперь и думаю: заметены родными метелями следы почти всех из нас, моих сверстников по школе. Многие унесены революционными ветрами за моря, а многие придавлены могилами. Никого уж нет в родном селе, ибо и села уж нет... Разнесены остатки изб в колхозы... И новые тропинки в снегах протаптывают новые Егорки, Кольки и Ваньки... Да и новые учительницы теперь другие. Одно неистребимо там: белые снега в полях и на горах, морозы и метели почти что вплоть до Благовещенья. Но и там потекут опять весенние ручьи, и сама всё воскрешающая весна-жизнь углубит тоску о воле и о просветах народного счастья.

О прозе Георгия Гребенщикова

Его называли когда-то «Баяном Сибири». Зарубежные слависты и сейчас считают его главным изобразителем Сибири, а на родине, увы, его всё ещё знают мало. В Томске, благословившем прозаика на путь литератора-профессионала, нет ни мемориальной доски, ни улицы Гребенщикова. С большим опозданием возвращается на родину крупнейший сибирский прозаик, сказавший: «Широка и необъятна сибирская земля, так широка и так необъятна, что не пришёл ещё певец, чтобы воспеть её и изобразить её величие».

Справочники называют разные годы рождения Георгия Дмитриевича Гребенщикова: 1882-й, 1883-й или 1884-й. Сразу после смерти писателя, в 1964 году, жена продиктовала: «Георгий Дмитриевич Гребенщиков родился 23 апреля 1884 года в Сибири, в маленьком селении под названием Николаевский Рудник, затерянном в предгорьях Алтая» (в Томской губернии). Значит, в 2014 году исполнилось 130 лет со дня рождения писателя. Сам он сообщил: «Дедушкин дед был калмыком» (так до революции называли алтайцев). Отец-горнорабочий ушёл с рудника, потеряв здоровье, и семья стала крестьянской, когда будущему писателю было четыре года.

Гребенщиков прошёл путь писателей-самоучек, даже более трудный, чем у известных, — С. Подъячева, И. Вольнова, М. Горького. Бедность не позволила ему закончить даже начальную школу, но в Америке стал он доктором философии. С десяти лет без семьи — санитаром в больнице, помощником лесничего, писарем в суде, письмоводителем у адвоката — и мало-помалу он выбился из нищеты: при своём трёхклассном образовании был даже столоначальником по судебным делам в Управлении государственными имуществами. Литературный дебют состоялся с опозданием, первые рассказы он опубликовал уже двадцатидвухлетним. В Семипалатинске вышел в 1907 году сборник его рассказов «Отголоски сибирских окраин». Дальше начинающий писатель редактировал газету «Омское слово», и за её «вредное направление» вскоре оказался в тюрьме, правда, не надолго. Известность эта открыла ему дорогу в самое известное периодическое издание Зауралья — в газету «Сибирская жизнь»: «Я жил в Омске, где

редактировал небольшую газету «Омское слово» и откуда направился в Томск со специальной целью познакомиться с литературным миром сибирской столицы, а главное, с Г. Н. Потаниным».

Поездка в Томск имела серьёзные последствия: по совету Потанина молодого писателя пригласили в редколлегию альманаха «Молодая Сибирь», затем он выдвинулся в редакции ежемесячников «Сибирский студент» и «Сибирская новь». Свой жизненно-профессиональный выбор Гребенщиков сделал в Томске. Он должен был решить, стоит ли писать дальше. Колебания толкнули его в Ясную Поляну: толстовское слово — самое веское. «Интеллигент-калмык, литератор, возвращающийся к земле», — так записал Лев Толстой 20 марта 1909 года в дневнике. Беседу с Толстым писатель считал важнейшим событием своей молодости, и опубликовал в разные годы три статьи об этой памятной встрече. Великий романист одобрил пафос пьесы «Сын народа»: «Не сомневайтесь и продолжайте... Хорошо то, что у вас здоровая идея, а без идеи разве есть смысл жизни?..».

Потанин предостерег молодого писателя от романтической беспочвенности. У сибиряков свои задачи: освободить родной край от колониального состояния, развивать культуру сообразно климату и традициям местных народов. Гребенщиков прибавил своё: «...разрушить пагубный пессимизм российской литературы, которая, по моему глубокому убеждению, накликала на нашу общую судьбу множество совершенно ненужных несчастий».

Формировать эстетическую платформу выпало ученикам Потанина — А. Новосёлову, В. Шишкову, Г. Гребенщикову. Эта тройка — надежда и опора «Молодой Сибири», а судьбы у них оказались разные. Новосёлов погиб в разгар гражданской войны, Шишков покинул Сибирь, Гребенщиков умер в эмиграции. Позднее он с благодарностью описал потанинскую опеку и наставничество: «Лишь значительно позже я стал догадываться, почему Григорий Николаевич относился ко мне с таким вниманием, то есть почти с отеческой заботливостью ко мне. Быть может, он уловил во мне ту первобытную нетронутость народной почвы, на которой лучше прорастают его семена. Я был моложе всех, я был настоящий выходец из простой среды и, по его мнению, мог вспыхнуть настоящим пламенем его идей <...> И, наконец, когда вышли первые мои книги сибирских рассказов, я получаю в Петербурге письмо от Г. Н. Потанина, из которого отчётливо помню очень взволновавшие и смутившие меня строки: «Знамя Ядринцева лежит не поднятым, и, я думаю, вы должны его поднять и понести в будущее».

По рекомендации Потанина Гребенщиков совершил два длительных путешествия по горному Алтаю. Очерк «Река Уба и убинские люди» — первый подступ к замыслу главного его произведения; тема продолжена в очерке «Алтайская Русь» и стала основой романа «Чураевы». На должность редактора «Жизни Алтая» рекомендовал его Потанин. В 1914 году Гребенщикову, редактору уже солидной газеты, удалось издать в Петербурге «Алтайский альманах».

Томск он покинул в 1912 году, но приезжал в город много раз и часто присылал рассказы. Так, «Сибирский студент» (1915, № 1—2) опубликовал повесть «Кызыл-Тас», одну из самых примечательных в дореволюционной сибирской беллетристике. А в передовой статье высказаны идеи Гребенщикова о «великой миссии», завещанной старшим поколением патриотов Сибири. Вскоре в Петербурге вышел его двухтомник «В просторах Сибири», затем книги «Змей Горыныч», «Степь да небо». Столичная печать отзывалась о сибиряке с похвалой, а влиятельная газета «Русские ведомости» направила его корреспондентом на фронт. Первый том романа «Чураевы» он дописывал в лазаретах и землянках.

Гражданскую войну писатель пережил в Киеве и в Ялте, и страдал, пожалуй, меньше друзей-интеллигентов: всюду в новых местах — в Турции, в Болгарии, во Франции, в Германии, позднее в Соединённых Штатах — он сначала добывал на жизнь физическим трудом. Покидая Крым в 1920 году, он надеялся попасть в Сибирь через Стамбул, Францию и Владивосток. В среду русских парижан он вошёл на удивление легко: первый номер главного эмигрантского журнала «Современные записки» открывает его роман «Чураевы». А в 1924 году, при содействии Н. Рериха, Гребенщиков уехал в Америку. Ему было всё равно, где устраиваться: языков европейских он не знал, а художник предложил ему возглавить издательство в Нью-Йорке. В Соединённых Штатах писатель создал уголок Сибири — посёлок Чураевку.

Вот парадокс: крестьянин бежит от своего народа — как это понимать? Вопрос этот задал ему Есенин в Берлине: ты же, мол, не белая кость, как тебя занесло сюда? Писателю этнографической школы нельзя без любви к народу, а он увидел бесоодержимую массу: «Изнасиловали волю и убили понятие о справедливости — да здравствует! Потеряли сердце, душу, совесть — да здравствует! Изнасиловали чужих жён и дочерей, прокляли отцов и матерей, предали друзей, растлили детей — да здравствует! Пошли войной и лютой казнью брат на брата — да здравствует!». Это из «Былины о Микуле Буяновиче». По-настоящему громким его имя стало после публикации этого романа. Эмигранты называли эту большую

прозаическую балладу настоящим откровением о русском простаче, соблазнённом кровавыми посулами.

Г. Н. Потанин предвидел, что сибирский взгляд на жизнь лучше всего выразится в романе-хронике. Первым воплотил этот проект Гребенщиков. «Чураевы», роман со многими сюжетными зигзагами и расплеснувшийся, как сибирская река, — это одна из вершин региональной эпопеи. Классические образцы этого жанра — дилогия П. Мельникова-Печерского о поволжских староверах («В лесах» и «На горах») и романы М. Шолохова о Доне. Место «Чураевых» — где-то между ними. Заметим: «Беловодье» А. Новосёлова, «Чураевы» Гребенщикова и «Ватага» Шишкова — самые значительные создания сибирской прозы грани 10—20-х годов XX века — посвящены старообрядцам. Интерес Потанина к староверам объяснялся ожиданием «не машинного» развития Сибири. Кержаки воспринимались как осколок древней Руси, где сохранился деспотизм традиции. Но ведь их предки — бунтари, искатели воли.

В малой прозе Гребенщикова кто-то видит лишь путь к многотомному семейному роману, но она имеет свои несомненные достоинства. Его произведения варьируют конструкцию: несколько затянутая экспозиция (описание быта и нравов патриархальной среды) вдруг, срываясь, устремляется к драматической развязке. Темы рассказов — самые традиционные: деревенский быт и нравы, раскол крестьянского «мира» на зажиточных и голытьбу, жизнь, покосившаяся, как хижина одинокой Маркеловны.

Гребенщиков, несомненно, продолжает толстовскую линию. Он язычник, животное-стихийная жизнь у него подлинная, и конфликт природы и культуры в сознании человека укрупнён по-толстовски. Критика, ориентированная на модернизм, говорила о нём как о художнике, владеющем только простой, докультурной жизнью. Но трудно назвать равных Гребенщикову по точности изображения тайги, гор, степей и пашни. Особо отметили критики-эмигранты «бестиальность» его героев и «недоверие» к культуре. Повести и рассказы «Ханство Батырбека», «На Иртыше», «Степные вороны», «Кызыл-Тас» изображают важный для Сибири процесс — стирание культуры аборигенов и русских старожилов.

Сцены зверства потрясают, но космизм снимает чувство безысходности, всегда остаётся надежда на возврат к нормальной жизни. Теперь, оглядываясь на истекший век, мы понимаем, что прозаик видел: патологические отклонения замещают обычай. Возможно, писатель познал в эмиграции чувство вины, разрыва с народным миропониманием. Героев своих он наделил комплексом блудного сына; есть, впрочем,

и блудные дочери, но окончательное возвращение к родному пепелищу им не дано.

К повести о роде и своём детстве писатель шёл долго, а создал её в конце жизни, в эмиграции. Первое издание — сентябрь 1966 года — вышло посмертно. Встреча с Львом Толстым не прошла бесследно. Писатель понял, насколько трудно изобразить народ — без идеализации и без сгущения тёмной краски (а это встречлось в прозе эмигрантов): «Какое у народа сердце, какова душа его? Не всякий даже искренне кающийся раскроет душу и сердце. Никто, нигде не разглядел во всём величии народа от земли. Никто не разгадал».

Повесть «Егоркина жизнь» стала первой ласточкой «деревенской прозы», вернула в русскую литературу реалистическую струю народознания. На этом фоне понятно, почему в последние годы писатель, оставив свой большой роман недописанным, отдал последние силы лирической повести «Егоркина жизнь». Это крестьянская философия, поэзия векового, уложившегося быта. В повести Гребенщикова спрессована классическая автобиографическая трилогия, три эпохи жизни: детство, отрочество и начало юности. Если искать шедевр литературы о крестьянской жизни — вот он. И нет спору, Гребенщиков — классик «деревенской прозы». Он ведь и начинал печататься под псевдонимом Крестьянин Г-щ.

Размышляя о своём пути, прозаик сказал: «Ни Горький не заразил меня безумством храбрых, ни Лев Толстой, одобривший во мне призыв сынов народа обратно на работу на земле, и ни Г. Н. Потанин, надеявшийся, что я подниму ядринцевское, т. е. его, потанинское, знамя, — никто не сделал из меня своего честного последователя». Однако писатель подхватил рериховское знамя, но, похоже, также не остался до конца верным знаменосцем. Собственно теософия его не увлекла, оказалась зигзагом в пути, крестьянская закваска отторгла беспочвенные оккультные мотивы. Он был противником модернизма. Случалось, конечно, и крестьяне «выходили» в декаденты (Клюев и Есенин), но Гребенщиков сохранил потанинское, просветительское отношение к литературе.

Книга «Моя Сибирь» продолжает потанинскую идею, новое в ней сравнение Сибири с Америкой. Жизнь среди американцев дала и критическое отношение к сибирякам: «Надо сказать правду, что большинство сибирского населения привыкло черпать из природы всё в неограниченном масштабе, но совершенно не привыкло глядеть в будущее». А далее автор отмечает, что русский быт «строился на трёх кошунственно уживающихся между собой основах: церкви, кабаке и матерщине. Там, где вы увидите или услышите один из этих русских признаков, — это ещё не означает русской

оседлости, но там, где все три рядом, смело почувствуйте себя в России».

В одном из его писем на родину читаем: «Несмотря ни на что, всё же думаю о возвращении в Сибирь и о работе на родной земле». Конечно, устал жить в чужом мире. Но и советский мир был для него совсем чуждым, он чувствовал свою полную несовместимость с ним. Как выразился Г. Адамович, дух советской литературы и «весь новейший идеал революции — в антипочвенности». Областники же были сибирскими почвенниками, с удара по ним и началась советская литература Сибири. Авторы советских областных эпопей — Е. Пермитин, С. Сартаков, К. Седых, А. Иванов — героизируют братоубийство. Советская пропаганда прославляла «ускоренное развитие бесписьменных литератур». У Гребенщикова совершенно особое, можно сказать, сыновнее, отношение к культуре сибирских аборигенов. Приспособление к суровому климату вовсе не означает ограбление живой природы. А разве можно создать хоть что-то прочное без любви к малой и большой родине?

Мысль о будущем Сибири писатель никогда не упускал из виду: «Проклятая страна изгнаний, каторги и стонов скоро превратится в благословенную обитель, куда откроется паломничество со всех частей света...». Книга «Моя Сибирь» — это программа возрождения Сибири. Это взгляд на историю не из Европы, а из Азии: Сибирь — центр мира, а не окраина.

Погружаясь в мир Гребенщикова, мы, нынешние сибиряки, возвращаемся домой, на дедовское подворье, узнаём и не узнаём свой край. На грани веков литература Сибири заново осмысляет свой путь, намечает перспективы, и возвращение Гребенщикова сейчас очень своевременно. Учеников, продолжателей у него пока нет. И такой веры в великую миссию Сибири трудно найти у нынешних писателей.

А. Казаркин

Источники текстов

Рассказы и повести печатаются по тексту двухтомника «В просторах Сибири», а также по тексту сборников «Степь да небо», «Любава», «Родник в пустыне».

В большинстве случаев в нашем издании сохраняются орфография и синтаксис источника.

Лесные короли. Впервые — Ежемесячный журнал, 1914. № 1.

Змей Горыныч — Ежемесячный журнал, 1914. № 10.

Смолокуры — Русские ведомости, 1916, 6 марта.

Кызыл-тас. Впервые — Томский студент, 1915. № 1—2.

Колдунья — В просторах Сибири. Т. 1.

Царь Максимилиан — В просторах Сибири. Т. 2.

Рассказ охотника. Впервые — в кн. «Гонец. Письма с Помпеяга». Чураевка: Алатас, 1928.

Полынь-трава. Впервые — Киевская мысль, 1917, октябрь.

Любава — Летопись, 1916. № 1; Сб. рассказов: Одесса, 1919.

Волчья сказка — Чураевка: Алатас, 1928.

Пришельцы — Жизнь Алтая, 1912. № 57.

Егоркина жизнь — Славянская типография. Southbury, Connecticut, 1966.

Содержание

Лесные короли	5
Змей Горыныч	25
Смолокуры	44
Кызыл-Тас	53
Колдунья	65
Царь Максимилиан	69
Рассказ охотника	79
Полынь-трава	81
Любава	89
Волчья сказка	127
Заскрёбышек	141
Пришельцы	147
Егоркина жизнь	161
О прозе Георгия Гребенщикова	451
Источники текстов	457

«Томская классика»

Произведения, включённые в серию, соответствуют трём критериям: содержат местный материал; имеют художественную и общественную ценность; известны за пределами области.

1. И. А. Кушчевский. «Николай Негорев, или Благополучный россиянин». (Кушчевский Иван Афанасьевич (1847—1876) — автор первого «томского» романа «Николай Негорев...», объективно описавший идейный разброд молодёжи 1860-х годов).

2. Н. И. Наумов. Рассказы. (Наумов Николай Иванович (1838—1901) — крупнейший сибирский писатель-народник).

3. Г. Д. Гребенщиков. Рассказы. (Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1883—1964) — крупнейший сибирский прозаик первой половины XX века; с 1920 г. эмигрант. Автор «крестьянской эпопеи» «Чураевы»).

4. В. Я. Шишков. Рассказы. «Тайга». «Ватага». (Шишков Вячеслав Яковлевич (1873—1945) — классик сибирской литературы. Автор романа «Угрюм-река», экранизированного в 1969 г.).

5. Г. М. Марков. «Строговы». (Марков Георгий Мокеевич (1911—1991) — автор романов, положивших начало традиции «романа поколений». Романы «Строговы» и «Сибирь» экранизированы в 1976 г., «Соль земли» — в 1978 г., повесть «Тростинка на ветру» — в 1980 г., роман «Грядущему веку» — в 1985 г.).

6. М. Л. Халфина. Рассказы. «Мачеха». (Халфина Мария Леонтьевна (1908—1988) — автор произведений о проблемах семьи (повесть «Мачеха» экранизирована в 1973 г., рассказ «Безотцовщина» — в 1976 г.).

7. В. В. Липатов. Рассказы и повести. (Липатов Виль Владимирович (1927—1979) — писатель социальной проблематики (экранизированы повести «Деревенский детектив» — в 1969 г., «Инженер Прончатов» — в 1972 г., «Анискин и Фантомас» — в 1974 г., роман «И это всё о нём» и повесть «И снова Анискин» — в 1978 г., повесть «Ещё до войны» — в 1984 г., роман «Игорь Саввович» — в 1987 г., повесть «Серая мышь» — в 1988 г.).

8. Вл. А. Колыхалов. «Дикие побеги». (Колыхалов Владимир Анисимович (1933—2009) — автор романа «Дикие побеги», показавший объективную картину жизни в послевоенной Сибири.

9. В. Д. Колупаев. Рассказы и повести. (Колупаев Виктор Дмитриевич (1936—2001) — выдающийся писатель-фантаст, «русский Брэдли»).

Литературно-художественное издание
Георгий Дмитриевич Гребенщиков
Избранное

Редактор книжной серии Г. К. Скарлыгин
Редактор-составитель тома *А. П. Казаркин*
Технический редактор *А. Р. Рубан*
Корректор *И. А. Сердюк*

Издание Томской писательской организации.
Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания».
Подписано в печать 15.04.2014 г. Печать офсетная.
Формат 140×240 мм. Шрифт Cambria.
Усл. печ. л 28,6. Уч.-изд. л. 25.06. Тираж 1 000 экз.